

# Беседы на Радио «Свобода». Том 1

## протопресвитер Александр Шмеман

[Том 2 →](#)

[Предисловие](#)

[От редакции](#)

«У нас в студии профессор философии священник отец Александр», – так на протяжении тридцати лет представляли слушателям Радио «Свобода» протопресвитера [Александра Шмемана](#). Собиравшие у приемника тех, кого и в самые глухие советские времена волновали вопросы веры и христианской культуры, его выступления в эфире долгие годы оставались для многих и многих в СССР важнейшим источником знания о христианской вере.

Отец Александр вел свои радиобеседы по воскресным дням с марта 1953 года практически до самой кончины в декабре 1983 года. Несколько десятков из них были опубликованы в виде сборников и по отдельности, но в целом эта часть наследия о. Александра остается и поныне малоизвестной. Настоящее издание устраняет этот пробел. Собрание составили аудиозаписи, сохранившиеся в архивах радиостанции «Свобода» и Свято-Владимирской семинарии в Крествуде и любезно переданные издательству ПСТГУ. Распределенные по тематическим рубрикам, они с особой наглядностью являют все многообразие тем, бывших в центре внимания отца Александра как проповедника и богослова: Евангельская весть в современном мире, Таинства и, особенно, Евхаристия, [Церковь](#) и общество, христианская культура, положение гонимой в Советском Союзе Церкви.

Беседы отца Александра, открывавшие истину и красоту православной веры и церковной жизни самым неподготовленным слушателям, навсегда останутся в золотом фонде христианской апологетики XX века.

[Предисловие](#)

Имя протопресвитера Александра Шмемана – это один из самых известных символов эпохи XX века с его революциями,

мировыми войнами, переселениями народов, с той сменой цивилизации и человеческого менталитета, результатом которой становится вопрос о выживании самого человечества. Можно с уверенностью сказать, что о. Александр был одним из самых ярких и талантливых проповедников XX века, столь богатого, как мы теперь видим, гениями духа. Его живое слово действовало еще сильнее, чем его статьи и книги. Сегодня мы имеем возможность слышать голос отца Александра благодаря сохранившимся магнитофонным записям. Его проповеди, звучавшие на Радио «Свобода» в течении тридцати лет, уже вошли в сокровищницу духовного наследия прошлого века и, конечно, можно только порадоваться тому, что они будут доступны читателю и в печатном виде.

Отец Александр раньше других чувствовал веяние времени, быстрее реагировал и умел предупредить об опасности, призвать к действию, т.к. духовная интуиция была особенно ярким его талантом. Всем людям суждено изведать страдание на своем жизненном пути, но великаны, подобные отцу Александру, видят дальше, чувствуют острее и потому сильнее страдают. Отец Александр всегда искал Истину и «бил тревогу», как только ощущал угрозу неподлинности, подмены, особенно там, где она более всего опасна – в сфере духовной жизни. Всякая фальшь вызывала в нем отвращение и стремление немедленно ее отвергнуть. Он всегда писал и говорил о главном, а главным для него было выяснение и утверждение правды во всем, к чему он обращался: в истории, в богослужении, в церковной политике, в сиюминутной жизни, в своей собственной душе и в душе человека, которого Бог послал на его пути. Он открывал для себя правду и сразу хотел поделиться с другими своим открытием. Все, что он говорил и писал, им выстрадано и рождено огнем его веры и любви. Поэтому его слово столь притягательно: оно всегда показывает новую глубину, заставляет почувствовать, увидеть и полюбить по-новому, обрести иной смысл, понять лучше, чем раньше понимал. Отцу Александру была чужда трусливая осторожность, побуждающая молчать по соображениям: «как бы чего не вышло». Он говорил, даже спешил сказать, он

действовал с риском ошибиться, но не мог оставаться пассивным свидетелем, потому что был деятелем, шел вперед и вел народ Божий ко Христу. Господь наделил его редким обаянием и дал ему «слово со властью». В XX веке проповеди протопресвитера Александра Шмемана нередко были спасительным глотком свежего воздуха для тех, кто был лишен возможности жить нормальной духовной жизнью, слышать свободное церковное слово. XXI век предоставляет пока полную свободу, но «почему-то» она особенно легко используется для соблазна, греха, преступления. Извечная война Добра и Зла не знает перемирия, ее фронтовые раскаты не оставляют никого в тишине и покое. И слово отца Александра сегодня не менее нужно и важно для тех, кто ищет Бога, блуждая во мраке по путям греховного мира.

Протоиерей Владимир Воробьев

Сергей Александрович Шмеман

О беседах о. Александра Шмемана на Радио «Свобода»<sup>1</sup>

Одно из самых ярких моих воспоминаний об отце связано с тем, как я, еще мальчишкой, сопровождал его на радиостанцию «Свобода». Тогда, в 1950-е, она называлась Радио «Освобождение» и была органом вещания «Американского комитета по освобождению народов России». Русские же нью-йоркцы называли ее просто «комитет», поэтому и отец мой продолжал именовать ее так все тридцать лет, что вел на ней передачи. Мы жили неподалеку от «Свободы», но это был совсем другой Нью-Йорк. Радиостудия помещалась на последнем этаже старого офисного здания в самом сердце Манхэттена – в шумном, оживленном районе, где евреи-хасиды занимались алмазным бизнесом.

Даже простой поход туда становился для меня приключением. Мы обитали в «верхнем городе», в академическом «гетто» вокруг Колумбийского университета, где находятся протестантская и иудаистская семинарии, прославленная музыкальная школа «Джулиард» и Риверсайдская церковь с ее грандиозной колокольной – не только самой высокой в США, но и обладающей самым большим в мире колоколом. В созвездии таких выдающихся

учреждений бедная и маленькая Свято-Владимирская православная семинария была едва заметна. В ней насчитывалось около пятнадцати студентов, трое из которых поначалу жили с нами в нашей квартире; другую квартиру занимали часовня и библиотека.

Наша семья перебралась туда из Франции в 1951 году, когда папу – отца Александра Шмемана, которому было тогда всего-навсего двадцать девять лет, – пригласили преподавать в Свято-Владимирской семинарии. Вскоре после этого, 1 марта 1953 года (в тот самый день, когда Сталина постиг смертельный удар), открыло свое вещание Радио «Свобода», и мой отец оказался среди первых внештатных его сотрудников. С ним работали Борис Шуб, один из организаторов радиопередач, сын выдающегося меньшевистского деятеля Давида Шуба, и Роман Гуль, который был редактором на «Свободе» и одновременно возглавлял толстый «Новый журнал».

Приключения начинались, как только мы выходили из метро и ныряли в глубокие ущелья «среднего города» с его толчеей на тротуарах, вечными дорожными пробками, оживленными уличными беседами и ароматом от ларьков с хот-догами. Все это было так не похоже на наш академический оазис в «верхнем городе» и так по-ньюйоркски! Пробег через городской центр часто включал в себя поедание хот-догов прямо на улице и посещение одного-двух книжных магазинов. На папе всегда была черная рубашка с белой вставкой в воротнике – униформа всего американского духовенства, что вызывало особое уважение к нему в стране, которая была тогда, да и по сей день остается страной верующих. «Привет, отец!», «Доброе утро, отец!», «Как дела, отец?» – мог неожиданно произнести первый встречный, и папе это было по душе. Он любил улицы, жизненный напор, музыку, огни, ритмы Нью-Йорка. Ежегодной традицией была прогулка в Рокфеллер-центр, где мы любовались громадной рождественской елкой, а еженедельным ритуалом, неотделимым от похода на Радио «Свобода», – покупка французских книг и журналов в «Librairie de France» неподалеку оттуда. Папа любил Нью-Йорк и Америку со всем пылом новообращенного – так же, как любил он дикую природу

Северного Квебека, где мы проводили лето и где вместо небоскребов были березы и сосны, а вместо запруженных рек Нью-Йорка – прозрачные воды Лабельского озера. Это была любовь к жизни, которая распространялась на всех вокруг, так что простая прогулка или еда в забегаловке становились событием. Главным же праздником была, конечно, церковь. Мне часто задавали вопрос: то, что отец наш был священником, означало ли для нас обязанность ходить в церковь? Я отвечал: нет, но, имея такого отца, как отец Александр, нам самим хотелось туда идти.

Обшарпанные и битком набитые кабинеты радиостанции «Свобода» были совершенно отдельным миром: голоса, вещавшие на разных языках, – языки бескрайней советской империи смешивались, казалось, с густым сигаретным дымом и носились над хаосом бумаг, телефонов, пленок с записями и переполненных пепельниц. «Здравствуйте, отец Александр!» – уже по-русски звучали приветствия. Вскоре он оказывался в звукоизолированной студии за огромным микрофоном, и я ждал, что из динамика в аппаратной вот-вот раздастся его густой русский баритон – совсем не такой голос, каким он всегда говорил по-английски, но куда более родной. В его выступлениях были элементы и лекции, и проповеди, но больше всего, как отметил Джин Сосин, бессменный главный редактор Радио «Свобода», это напоминало разговор с близким другом, хотя он и не имел тогда никакого представления о своих слушателях<sup>2</sup>.

Его беседы были больше, чем просто дружеские, – это были беседы с русскими братьями. Папа постоянно говорил о том, чтобы поехать в Россию, но сделать это ему так и не удалось. И, несмотря на это, он оставался русским до глубины души – так, как это удавалось очень немногим из обширной и блестящей эмигрантской среды.

Он родился в 1921 году в Эстонии, куда родители его попали после Гражданской войны. Папин дед, Николай Эдуардович Шмеман, был сенатором и членом Государственного Совета, а отец, Дмитрий Николаевич Шмеман, сражался в Первую мировую и в Гражданскую как офицер

Семеновского лейб-гвардии полка. Позже семья переехала в Белград, а затем, когда папа был еще малолетним, – в Париж. После обучения в Кадетском корпусе, созданном силами русской эмиграции, и французском лицее он поступил в парижский Свято-Сергиевский богословский институт (1940), где его наставниками были величайшие богословы той эпохи – А.В.Карташев, В.В.Зеньковский, архимандрит Киприан (Керн), отец Николай Афанасьев, отец Сергий Булгаков.

Для многих эмигрантов Россия и русские существовали как проекция нашего собственного, эмигрантского мира. Мы молились о «многострадальной и богохранимой стране Российской», ненавидели Сталина и безбожных большевиков, сочувствовали народу, которого воображали во всем подобным нам, хотя и живущим в страхе и лишениях. Когда в 1960-е годы оттуда, из-за железного занавеса стали пробиваться первые признаки жизни, мы жадно их отслеживали. Помню, как «Новое Русское слово» – ежедневная газета, выходившая в Нью-Йорке по-русски, – объявила о новых пластинках из Советской России и мы собрались, чтобы послушать на скрипучем 78-оборотном диске знаменитые военные песни: «Темная ночь», «Эх, дороги», «Через реки, горы и долины», «Человеку – человек». Потом появились потрясающие фильмы о войне – «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Иваново детство»; благодаря им мы узнали, сколько же русские выстрадали, и увидели настоящих русских «оттуда». Папа был частью этого мира и разделял все его радости и скорби. Когда в России наступила «оттепель» 1960-х, он написал серию скриптов (так он называл заготовки для своих радиобесед), объединенных общей мыслью, что русская культура и православная вера не раздавлены, несмотря на всеусилия большевиков. Находясь в Нью-Йорке, отец Александр был активным участником Русского студенческого христианского движения в Париже и журнала «Вестник РСХД», который издавал там его давний друг Никита Струве. Он постоянно поддерживал тесные отношения с русской интеллигенцией – в частности, с «Новым журналом», который в те дни издавали М.Карпович и Роман Гуль.

При этом отец Александр всего себя отдавал свидетельству об истине и радости своей веры в Новом Свете. Со временем он стал деканом Свято-Владимирской семинарии, после чего она переехала в чудесный современный кампус за пределами Нью-Йорка. Нагрузка у него была огромная. Кроме руководства семинарией и преподавания в ней, он изо дня в день был занят работой по учреждению Православной Церкви в Америке, постоянно разъезжал с лекциями и проповедями по всему континенту и за его пределами. Но подготовка и распечатка скриптов изо дня в день, из года в год оставались неизменной осью всей жизни моего отца и его миссионерских трудов в Америке. Мама, Ульяна Сергеевна Осоргина, вспоминала, что тексты для Радио «Свобода» часто составлялись им поздно вечером, накануне записи.

И где-то около полуночи они впрыгивали в машину, чтобы отвезти рукописный текст машинистке в соседний город. На следующее утро приходилось забирать отпечатанный текст и возвращаться электричкой на Радио «Освобождение» (в 1959 году переименованное в Радио «Свобода» и переехавшее в более солидное помещение).

«Скрипты эти писались кровью,— вспоминает отец Фома Хопко, зять отца Александра, бывший декан Свято-Владимирской семинарии, который часто останавливался у нас дома в те годы. — Это было неизменной частью его жизни. Он без конца обдумывал, как преподнести понятия “вера”, “молитва Господня», “русская литература», постоянно спрашивал: “Как сделать это понятным в советском контексте? Как передать видение, а не просто доктрину?”» Подготовка бесед становилась, по сути, внутренним диалогом двух миров отца Александра — русского и нового, американского мира, который он так горячо принял. Радиопередачи давали ему возможность подняться над обоими мирами и свидетельствовать о них.

Его передачи никогда не были, да и не могли быть, «пропагандой». Тобыли в буквальном смысле беседы с русским человеком, изголодавшимся по духовной пище, и одновременно беседами с самим собой. Он говорил о вечных вопросах и великих истинах, о литературе и культуре, о надежде, но прежде

всего, конечно же, о красоте и истинности православной веры. Говорил словами, понятными всем, ибо верил в то, что говорил. Как сказал К.С.Льюис, который в годы Второй мировой войны сам вел передачи на Би-Би-Си, «писать по-ученому может каждый болван. Разговорный язык – вот пробный камень. Кто не может облечь в него свою веру, тот или не понимает ее, или сам не верит». Отец Александр и понимал и верил. Как пишет в своих замечательных воспоминаниях о работе на Радио «Свобода» «Проблески свободы» Джин Сосин, «воскресные беседы были адресованы не только тайно верующим, но и тем, кого не удовлетворяло марксистско-ленинское атеистическое мировоззрение, тем, кто искал духовной поддержки, чтобы заполнить пустоту жизни. Отец Александр одинаково избегал и крикливого пафоса, и нарочитой отстраненности. Он спокойно обсуждал этические и религиозные проблемы, обращаясь к верующим и “сочувствующим» в СССР». По словам Д.Сосина, «Воскресные беседы» с самого начала стали там одной из самых популярных программ и люди тайком настраивались на «голоса», несмотря на усиленное глушение и всю небезопасность этого занятия<sup>3</sup>.

Я постоянно спрашиваю себя: что сказал бы, что подумал бы отец, если бы находился в России. Мы много говорили с ним об этом после моего назначения корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве (в 1980 году). И когда я показывал ему фотографии или говорил с ним о своей работе, его реакция никогда не была в точности такой, как я ожидал. Это всегда был вопрос, начало новой дискуссии. К счастью, папа дожил до того дня, когда узнал, что Россия, с которой он вел эти дискуссии всю жизнь, услышала его и ответила. Несосчитать, сколько людей из России говорили мне, как важны были для них эти беседы. В 1970-е годы Александр Солженицын в Москве сказал журналистам, что «Воскресные беседы» – это «храм, в котором я молюсь». Тоне было односторонним признанием: вспоминаю громадную радость отца, когда по «оттепельной» литературе и особенно по солженицынскому «Ивану Денисовичу» он обнаружил, что великая культура и великая вера России не погибли в огне ГУЛАГа и войны.



Свою знаменитую последнюю работу, «Евхаристию», отец Александр посвятил России. Во введении, написанном за месяц до кончины, он говорит об этой книге так:

«Я писал ее с думой о России, с болью и одновременно радостью о ней. Мы здесь, на свободе, можем рассуждать и думать. Россия живет исповеданием и страданием. И это страдание, эта верность есть дар Божий, благодатная помощь.

И если хоть часть того, что я хочу сказать, дойдет до России и если хоть в чем-то окажется полезной, я буду считать, с благодарностью Богу, дело мое исполненным».

У меня нет сомнений: слушая эти записи, люди скажут, что дело его поистине исполнено.

От редакции

Наше издание представляет читателю печатную версию более чем пятисот радиобесед протопресвитера Александра Шмемана (1922–1983), произнесенных им в разные годы на Радио «Свобода». Все собранные здесь тексты Воскресные беседы – это «храм, в котором я молюсь результат расшифровки и последующей редакторской обработки магнитофонных записей, сохранившихся в архивах Радио «Свобода» и переданных нам в виде аудиофайлов. По своему составу предлагаемое издание идентично вышедшему в свет несколько ранее собранию аудиодисков, которые содержат оцифрованные и реставрированные оригиналы бесед в формате MP3 (с общим временем звучания более 80 часов).

Редакция выражает глубокую признательность руководству Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» (PCE/PC) за любезное разрешение опубликовать эти беседы и за содействие в их получении. Мы, в частности, благодарны Джеффри Тримблу, который в качестве исполнительного директора Совета по радиовещанию ведает всем зарубежным вещанием США, Россу Джонсону, специалисту-историку PCE/PC, Джону Линдбургу, корпоративному юрисконсульту PCE/PC, а также Джину Сосину, многолетнему руководителю нью-йоркского отделения Радио «Свобода» и автору книги «Sparks of Liberty: An Insider's Memoir of Radio Liberty» (Pennsylvania State University Press, 1999). Хотелось бы также поблагодарить за помощь

Георгия Нахичеванского из юридической фирмы Kilpatrick Stockton.

Считаем особым долгом засвидетельствовать самую сердечную благодарность Сергею Михайловичу Осоргину (студия Serge Audio, Нью-Йорк), потратившему многие месяцы на то, чтобы разыскать и оцифровать все сохранившиеся записи бесед. Нельзя также не выразить глубокую признательность специалистам московской студии «Вимбо» (в особенности Александру Валентиновичу Власову), благодаря высокому профессионализму которых записи, в оригинале весьма неровного качества, были отреставрированы и подготовлены к изданию.

Поскольку доступные нам аудиозаписи в большинстве своем не датированы, распределение их по хронологическому принципу заведомо исключалось. И хотя, используя многочисленные «подсказки» самих бесед, мы стремились наметить более или менее приблизительную их хронологию (см. многочисленные примечания о современниках автора, как и о современных ему событиях, публикациях и т.д.), решено было скомпоновать материал исходя только из его содержания. Ярко выявляя все многообразие тем, которые были в центре внимания отца Александра как миссионера и проповедника, этот принцип классификации обусловил и структуру настоящего издания, где тексты сгруппированы по тематическим разделам (названия последним, как и самим беседам, даны редакцией).

Некоторую часть переданных нам аудиозаписей составляли варианты одних и тех же бесед, относящиеся, судя по всему, к разному времени (так, беседы, посвященные церковным праздникам, нередко повторялись о. Александром по несколько раз с более или менее значительными вариациями). При компоновке аудиодисков предпочтение в подобных ситуациях отдавалось наиболее обработанным вариантам, прочие же отсеивались. Однако для печатной версии решено было, принимая за основу текста лучший вариант, в ряде случаев комбинировать его с самыми удачными фрагментами отсеянных.

Беседы, наиболее близкие друг другу по содержанию и композиции, публикуются нами под общим названием как «параллельные версии». Иной случай одноименных текстов представляют беседы, отнесенные автором или редакцией к одному циклу, части которого, следующие за первой, обозначаются нами как «продолжение» и «окончание».

За рамками нашего издания остались и те беседы о. Александра, бóльшую часть которых составляют тексты единомысленных ему авторов (С.Л. Франка, И.А. Ильина, священника Сергия Желудкова), причем собственные его комментарии сведены к минимуму.

Учитывая, что устная и письменная речь воспринимаются неодинаково, мы публикуем тексты радиобесед с редакционной правкой. Последняя предполагала прежде всего устранение стилистических погрешностей через инверсию, замену слов, словосочетаний и значительно реже – целых фраз. В других случаях правка была продиктована стремлением прояснить или конкретизировать мысль автора и производилась с учетом других его текстов. Некоторые места подвергались сокращению – в первую очередь за счет пассажей, где излагается содержание предыдущих бесед, как и за счет обширных фрагментов Священного Писания, приводимых в двух и более беседах подряд. Все перечисленные исправления, а также исправление случайных обмолвок (например, когда текст апостольского послания назван «евангельским») нами специально не оговариваются. Неоговорено и большинство исправлений в цитатах из Священного Писания, незначительно расходящихся с синодальным или церковнославянским текстами. Более существенные расхождения оставлены без исправления, но снабжены пометами «ср.» и «см.» при указании местоположения цитат. Точные библейские цитаты выделены курсивом, цитаты, обозначенные через «ср.» и через «см.», выделены кавычками или оставлены без выделения соответственно. Прочие тексты приводятся в авторской цитации с указанием верного чтения или ссылкой на соответствующие издания в примечаниях. Тексты Священного Писания приводятся по последним изданиям Московской Патриархии с

незначительными орфографическими изменениями (прежде всего в области строчных – прописных букв). .

Поскольку тематика публикуемых бесед потребовала четкого разграничения понятий «мир» как мироздание и «мир» как мирное состояние, было сочтено целесообразным в первом случае следовать дореволюционной орфографии, употребляющей «і» (при этом орфограммы с «і» восстановлены нами лишь для форм единственного числа; для форм множественного числа, как и для сложных слов с корнем «мир», сохраняется написание через «и»).

Сравнительно небольшая часть представляемых бесед уже публиковалась в сборниках: Шмеман А., прот. Воскресные беседы. Париж: YMCA-Press, 1989; Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. [М.]: Паломник, 2000. И хотя при подготовке настоящего издания все эти тексты были расшифрованы и обработаны заново, мы сочли необходимым в примечаниях к ним сослаться на более ранние публикации. Добавим, что ссылки на «Воскресные беседы» даются по их репринтному переизданию 1993 г., осуществленному в Москве издательством «Паломник».

## Часть I. Вера и неверие

## **«Я верю в Бога...» Предельно личная религия<sup>4</sup>**

Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей – писателей, философов, людей искусства – с просьбой высказаться на тему «Во что я верю».

Большинство этих людей – верующие и при этом принадлежащие к одной церкви – Католической, меньше, чем другие, допускающей пресловутую «свободу мнений» и требующей от своих членов конформизма по преимуществу. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается с захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, в личном восприятии и переживании, становится новой и уникальной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей.

Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве в плане «объективном», догматическом. Нетолько враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, чему учит христианство, что утверждают авторитетные богословы. Между тем вера по самой природе и сути своей есть дело глубоко личное, и по-настоящему живет она только в личности и в личном опыте. И только когда то или иное учение Церкви, тот или иной, как мы говорим, «догмат», т.е. утверждение некоей истины, становится моей верой, моим опытом и, следовательно, содержанием моей жизни – только тогда вера эта живет.

И если взглядеться, вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, станет очевидно, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера, на глубине своей, есть личная встреча с Христом, приятие не того или иного «догмата» о Христе, а в конечном счете Самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречаются, узнают, любят Одного и Того же Христа. Но это значит, что и Христос обращен к

каждому, чья вера, будучи укоренена в вере общей, в то же время единственна.

Напомнить об этом важно потому, что в наши дни враги веры все пытаются свести всякий разговор о ней к «научному» спору, разбить верующих «научными» аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, хотя в этом «научном», лучше же сказать – псевдонаучном плане, все, что утверждают о своей вере христиане, совершенно недоказуемо. Для христиан, однако, это и не требует доказательств, будучи содержанием их опыта. Реальность же этого опыта известна им из непосредственного его переживания, подобно тому, как известна всякому человеку реальность любви и восхищения, жалости и сострадания.

Но если веру нельзя «доказать», то рассказать о ней можно. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является, в сущности, само Евангелие. Ибо оно есть непосредственная передача личного опыта тех, кто видели и слышали Христа, и поверили, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Потому-то и остается Евангелие навеки живым, потому-то и ударяет оно прямо в сердце, тогда как богословские трактаты слишком часто оставляют и ум и сердце холодными. И больше всего нужен нашему холодному и жестокому веку живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов о вере, а самого ее опыта.

Пусть каждый из нас знает твердо и несомненно, что при всей недостаточности его веры – ибо к нам обращены слова Христа: «О вы, маловерные!» (ср.: [Мф.8:26](#), [16:8](#)) – есть у него этот опыт, единственный и несравненный. Ибо не будь его у миллионов людей прежде, откуда пришла бы к нам эта вера, по чему узнали бы мы, что событие двухтысячелетней давности имеет решающее значение для нас сегодня? А ведь именно в этом и состоит вера – в непостижимой уверенности, что все сделанное и сказанное Христом сделано и сказано для меня, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространствами – ничем, кроме моего маловерия, кроме моего забвения, кроме бесчисленных моих измен Ему.

Эти беседы я хотел бы посвятить вере, но не только в ее «объективном» и, так сказать, собственно богословском содержании, но прежде всего тому, как прорастает она в отдельной душе. В самом деле, что бы я ответил, если бы меня спросили: «Что значит для вас Бог? Что, собственно, понимаете вы под этим таинственным и одновременно – таким знакомым словом? Кто такой для вас Христос? Вот говорят христиане, что Он умер за нас и воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть; вот слышится в ваших церквах: “И мертвый ни один во гробе<sup>5</sup> – а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же значит все это не на словах только, не по ученым книгам, а в реальной жизни единичного человека? Вы говорите всегда о Церкви – но в чем ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов, но за всеми этими словами должен ведь стоять живой личный опыт, иначе к чему они? А между тем в нашем мире, далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем!»

Так вот – попробуем. За тридцать лет священства я понял, что самое трудное дело – говорить о самом простом и самом насущном. Как легко излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами и как трудно – от сердца к сердцу! Итак, в следующий раз попробуем начать с Начала всех начал – с Бога. «Бог есть», – говорит верующий; «Бога нет», – говорит неверующий. Но чем наполнено, как живет, как действует во мне это слово – Бог?



## «Я Верю в Бога» Каково мое истинное «я»?

«Я верю в Бога!»

Произнося эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всем остальным, что мною произносится. Я знаю, что произнося их, перехожу, так сказать, «в другое измерение».

И все же, произнося их, я в девяноста девяти случаях из ста не задумываюсь, пожалуй, о смысле сказанного, и они звучат так, как если бы относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним – привык к тому, что верю в Бога, как и к тому, что есть вокруг меня люди, которые в Бога не верят. И именно привычка эта не дает мне прорваться к единственности, особости, неслыханности того, что я утверждаю как нечто само собой разумеющееся. Поэтому новое углубление в смысл этих слов, новое раскрытие этого смысла хотя бы для меня самого не может не начаться с удивления – с особого восприятия их как впервые услышанных.

Таков между прочим тайный закон всякого подлинного знания: оно всегда начинается с очищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только раскрыв в себе способность заново удивляться, можно начать проникновение в скрытый большей частью смысл всего, что составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит освободиться от чувства привычного, которое точно серой пылью покрывает наше восприятие. И тогда слова «Я верю в Бога», благодаря этому удивлению, начинают звучать как непривычные. Я обращаю на них свой внутренний взор и слух, стараясь как можно вернее, честнее, глубже сам себе ответить на вопрос, что же они означают. И вот первое, что становится мне очевидно, – то, что каждое из этих слов окутано некоей тайной, которая усиливается по мере того, как я в них вникаю.

Кто такой, прежде всего, этот «я», который утверждает свою веру в Бога? Конечно, «я» – это я сам, сознающий в себе, однако, множество разных «я». И которое же из них, как и когда обращено к Богу?

«Верующий в Меня жив будет Мною» (ср.: [Ин.6:57](#)), – говорит Христос. Но сколько часов, а лучше сказать – сколько минут в день действительно живет Богом мое «я»? И не погружено ли оно все остальное время в заботы и интересы, никакого отношения к вере моей не имеющие? И есть ли во мне тогда вера, память о Боге, опыт Его присутствия и сама нужда в этом присутствии?

И вот оказывается, что вера и Бог приходят мне на память лишь тогда, когда они очень нужны, и выпадают из моей жизни всякий раз, когда что-то другое оказывается нужнее. Но тогда и это, по существу, уже не вера, а суеверие, рождающееся из страха, незнания, инстинктивной потребности в защите и т.п.

Я говорю все это в глубоком убеждении, что для такой лишь изредка вспыхивающей веры в нашем мире скоро не будет уже места. Мир, по слову древнегреческого мудреца, всегда был полон богов<sup>6</sup>, но это отнюдь не означает, что он был полон веры. Эти боги (и тут антирелигиозная пропаганда действительно права) требовались людям как защита, помощь в житейских делах или утешение – словом, как то, на чем можно утвердиться в этом загадочном и крайне опасном мире.

Но разве о такой вере, о таких богах говорит на все времена Евангелие? Посмотрим правде в глаза: все Евангелие направлено на разрушение веры как суеверия, как эгоистического ожидания «пользы». Кто Мне служит, Мне да последует ([Ин.12:26](#)), – говорит Христос. А тем, кто следует за Ним, Он не обещает в этой жизни ничего, кроме того, что составляло Его жизнь, а значит – ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы со злом этого мира, кроме бесконечно трудного послушания воле Божией и высокому замыслу Божию о мире.

Все это означает, что в отношении моего «я» слова «Я верю в Бога» требуют глубокой и мучительной проверки. И проверка эта должна показать мне, что мое «я», дерзнувшее заявить о своей вере в Бога, было не только самым глубоким, самым сердцевинным из всех моих «я», но и объединяющим остальные своей ответственностью за них.

Сказать «Я верю в Бога» – значит свободно и ответственно выбрать то, что отныне будет главным в моей жизни и судом над всем прочим в ней, дабы вся она, включая остальные мои «я», без остатка отнесена была к вере и оценивалась в ее свете. Утверждающий «Я верю в Бога», таким образом, уже переступил некую черту – самую важную, самую ответственную и определяющую отныне всю его жизнь. Ибо вера – это не то, что сразу дает мне нечто, но то, что прежде отдает меня самого, делая всю мою жизнь чем-то бесконечно важным, после чего уже невозможно жить так, как если бы эти слова «Я верю в Бога» не были мною произнесены. Отныне в моей жизни не может, не должно быть ничего нейтрального, несущественного. В свете моего решения и моего выбора все приобретает особое значение, все становится верностью или же изменой вере. И все это потому, что вера, которую я принимаю этим необратимым утверждением, есть некий свет, озаряющий всю мою жизнь как новое и целостное ее понимание.

К ней, к этой вере, засвидетельствованной вторым словом утверждения «Я верю в Бога», мы и перейдем в следующей беседе.

## **«Я Верю в Бога» «Я верю» – что это значит?»<sup>7</sup>**

«Я верю в Бога». Но что такое вера?

Нестранно ли это – вновь и вновь задавать все тот же вопрос, и прежде всего – себе самому? И не дан ли ответ на него тысячи, миллионы раз в религиях всех времен и народов?

Но вот в последней беседе я говорил, что, если вдуматься в это утверждение заново, оно перестает казаться привычным. И прежде всего выясняется, что вера – не то же, что знание, во всяком случае в общеупотребительном, житейском смысле последнего слова.

Сказав «Утверждение “Я верю в Бога” означает: “Я знаю, что Бог есть”», мы ни в коем случае не сделаем это знание подобным моему знанию о том, что в моей комнате стоит стол, а за окном ее идет дождь. Знание последнего рода, которое мы называем «объективным», не зависит от меня, оно входит в мое сознание помимо моей воли, помимо всякого свободного выбора. Это знание в самом деле «объективно», и я, т.е. субъект, личность во мне, могу только принять его, сделать своим.

Утверждение же «Я верю в Бога» предполагает выбор, решение – предполагает, иными словами, какое-то очень личное участие всего моего существа. И как только это личное участие исчезает, мертвой и фактически нереальной становится и моя вера. И об этом я говорил в прошлой беседе, заявляя, что по-настоящему верим мы отнюдь не всегда, ибо веру никак не превратить в «объективную», всегда самой себе равную часть моих убеждений, моего мировоззрения.

Многие обращаются к Богу в страхе, несчастье, страдании. Но проходят трудные минуты, и они возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющей, живут так, как если бы никакого Бога не было.

Еще больше таких, кто верят не столько в Бога, сколько, как ни странно это звучит, в «религию». Им попросту хорошо, уютно, покойно в храме. Многие из них с детства привыкли к этой «священности» храма и обряда, где все так красиво и глубоко-

таинственно – не то, что в уродливой и плоской повседневности. И они держатся за эту «святость», ни во что толком не вдумываясь. Конечно, такая «религия» порой дает высокие и светлые переживания, помогающие жить, но все же и она сама по себе, а жизнь – сама по себе.

Есть и такие, кто считают религию полезной и нужной для нации, для общества, семьи, для больных и умирающих, для поддержания морали – иными словами, сводят ее к некой «пользе». Помню, когда я был еще молодым священником, матери обращались ко мне с просьбой помочь им посредством исповеди искоренить в детях дурные наклонности: «Скажите моему ребенку, что Бог все видит! Он испугается и не будет больше так делать».

Религия помощи и утешения, религия как некое удовольствие от священного и возвышенного, религия как польза... Замечу, что в таком ее понимании есть своя доля правды. И однако, сведенная только к этому, религия не имеет ничего общего с той верой, о которой апостол Павел на заре христианства сказал: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1). Вдумаемся в эти странные слова: осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Странные – потому что заключают в себе, по-видимому, противоречие. Ибо если я ожидаю чего-то, то именно потому, что оно еще не осуществилось, иначе незачем было бы и ожидать. И как может невидимое – т.е. то, что не может быть проверено и засвидетельствовано, – стать во мне уверенностью, т.е. реальностью, обладанием?

А между тем именно так, этими с виду парадоксами определяет апостол Павел веру. Заметим прежде всего, что в этом определении нет слова «Бог». Это слово появляется дальше, в следующих стихах его послания, а тут он говорит о вере как присущем человеку особом состоянии, как о некоем даре, которым он обладает. Что же это за дар?

На вопрос этот можно ответить так: стремление, тяга к самому желанному, предчувствие совсем иного, чем то, что уже есть, ожидание того, для чего только и стоит жить. И вот странно: почти так же определяет человека безбожник –

философ Сартр. «Человек, – говорит он, – есть бесполезная страсть»<sup>8</sup>. Бесполезная, потому что предмет ее иллюзорен и человеку на деле некуда стремиться, нечего ожидать, нечего жаждать. Но важно то, что и он, Сартр, находит в человеке это ожидание и эту жажду.

Так вот, вера, по апостолу Павлу, есть жажда, ожидание и одновременно стремление человека к тому, о чем он знает своим глубинным опытом. Небудь того, чего человек жаждет, не было бы в нем этого ожидания и стремления, а без этого стремления не было бы и встречи. Встречи, в которой невидимое становится уверенностью, т.е. реальностью и обладанием.

Все это значит, что вера в христианском опыте не итог рассуждения и проверки, не мимолетное эмоциональное переживание, но встреча самого глубокого человеческого ожидания с тем, на что оно, порой неведомо для самого человека, направлено.

Об этой встрече, об этом осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом лучше всего сказал блаженный Августин: «Для Себя Ты создал нас, Господи, и не успокоишься сердце наше, пока не найдет Тебя»<sup>9</sup>.

## **«Я Верю в Бога» В какого Бога?<sup>10</sup>**

Бога никто из людей не видел и видеть не может (1Тим.6:16). Это сказал не атеист, не агностик, не усомнившийся искатель веры, не обыватель, которому не до «возвышенного»... Это сказал апостол Павел, чья огненная вера и через две тысячи лет опалает всякого, кто берет в руки его послания.

Но что же означает тогда извечная вера? На что, на Кого она направлена? Что вкладывает человек в самое таинственное, самое неизъяснимое из всех слово «Бог»?

До сих пор мы говорили о двух первых словах утверждения «Я верю в Бога». О «я», с которого оно начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. О вере мы говорили, что это, прежде всего, некая отдача себя, или самоотдача, возможная лишь тогда, когда узнал человек то, чему возможно себя отдать, подобно тому, как и любовь загорается в душе у нас с появлением любимого. Но вот любимого мы видим и, видя, узнаем, а узнавая – любим, Бога же никто из людей не видел.

Значит ли это, что мы Его чувствуем? Здесь обнажается бедность, беспомощность наших слов для выражения самого главного и потому остающегося невыразимым. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувствовать» может означать столько разных состояний и настроений, что им одним наше восприятие Бога не выразить. Да, Бога мы, несомненно, чувствуем, но чувство это глубочайшим образом отлично от всех других чувств, будучи по отношению к ним вполне иноприродным. Ибо чувства во многом подобны вкусам, а о вкусах спорить не принято. Одному нравится одно, другому – другое, один чувствует так, другой эдак. Если вера – одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших преходящих эмоций, то о ней, действительно, не поспоришь.

А именно к субъективному чувству, к мимолетной эмоции и сводят веру те, кто борются с ней. «Одни, – говорят они, – верят в несчастливое число 13, другие в наговоры и заклинания, третьи в святую воду, четвертые еще во что-то!» И

вот выходит, что за верой нет ни твердого знания (ибо Бога никто не видел), ни даже единого чувства (ибо чувства зависят от человеческого темперамента). Поэтому повторим: слова «чувство» недостаточно, или же оно должно быть уточнено, очищено от всего, что не имеет отношения к собственно вере.

Итак, в чем же единственность, абсолютная особость состояния, которое мы называем верой? – В том, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому отвечают, но и удостоверяет это наличие. Можно сказать несколько иначе: вера есть ответное движение. Движение не души одной, а всего человека, всего его существа, внезапно узнавшего нечто и отдающего себя узнанному. На языке христианства это можно выразить так: вера от Бога, от Его призыва. Она всегда есть ответ Ему, т.е. человеческая самоотдача Тому, Кто Сам Себя отдал. Об этом изумительно сказал Паскаль: «Бог говорит нам: ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел»<sup>11</sup>.

И именно потому, что вера – ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте ответ на вопрос: «Почему я верю?» – и вот, не нахожу его. Что есть для меня Бог? Ключ к объяснению мира и жизни? Нет, ибо для меня очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него, и, во-вторых, что моя вера в Него как раз и не объясняет всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И мог ли я «объяснить» что-нибудь окружающим, «религиозно оправдать», как говорят иногда, эти мучения, эту смерть? Нет! Я мог сказать только одно: «Бог здесь, Бог есть!» Я мог лишь исповедать всю несоизмеримость Его присутствия с нашими скорбными земными вопросами.

Нет, конечно, не из нужды в объяснениях рождается вера. Но тогда откуда же? Из боязни загробных мук? Из заложенного во мне страстного и в конце концов эгоистического желания не исчезнуть до конца? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и т.д. Что знаю я обо всем этом? И что могу сказать



другим? И не потому верю я в Бога, что хочу загробной жизни и вечности, а потому верю в жизнь вечную, что верю в Бога.

Но тогда на вопрос всех вопросов «Почему я верю?» можно ответить только одно: потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал как дар, в реальности которого удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего внешнего не зависящий мир, которые ощущаю в себе в те редкие минуты, когда слово «Бог» перестает быть только словом, становясь изливающимся на меня водопадом света, любви, красоты, истинной жизни. Мир и радость во Святом Духе (Рим.14:17) – так сказал об этом апостол Павел, и нет уже других слов. Ибо когда веришь и живешь верой, слов не нужно, да они и невозможны.

Но спросят: «Почему же не всем дан этот дар веры? Почему одни верят, а другие нет? Что здесь – какое-то избранничество? В самом деле, когда смотришь вокруг, поражаешься глубине неверия и безбожия, заполонивших мир. И закрадывается в душу сомнение: «Так ли всемогущ всеблагой Бог?»

К этим вопросам, органически связанным с природой и сущностью веры, мы и перейдем в следующей беседе.

## «Я верю в Бога...» Всечеловеческое достояние

Вера, по утверждению христианства, есть дар Божий. Никто,— говорит Христос, — не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня (Ин.6:44).

Но почему же тогда дар этот дан не всем? Почему выходит так, будто одних Бог избрал и привлек к Себе, а для других остался закрыт? Вопрос этот — и вправду мучительный, и на нем часто так или иначе спотыкались защитники и истолкователи христианского вероучения. Например, один из основоположников протестантизма Кальвин во главу своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одни от века избраны и предназначены Богом к спасению, а другие — к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Нам сказано апостолом любви, что Бог есть любовь (1Ин.4:16); сказано также, что Бог послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено (см.: Ин.3:16–17).

Вот почему так мучительно труден вопрос, с которого началась наша беседа. И ответ на него, конечно, только один. Да, вера есть дар Божий и дар этот дан каждому, как и сказано в чудной церковной молитве о «свете Христовом, просвещающем всякого человека, грядущего в мир»<sup>12</sup>.

Все Евангелие пронизано той особой арифметикой, согласно которой добрый Пастырь оставляет девяносто девять овец, дабы спасти одну заблудшую. Все Евангелие излучает любовь к грешнику, к падшему, к погибающему. И, следовательно, вопрос не в том, кому дан или не дан дар этой веры (ибо дар этот дан всем), а в том, почему не все его принимают, почему верующие всегда составляют в мире малое стадо (Лк.12:32), почему сам Христос с горечью вопрошает: Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк.18:8).

И вот, в поисках ответа лучше всего, быть может, начать с изумительных по глубине слов Достоевского: «Каждый перед всеми во всем виноват»<sup>13</sup>. И виноват, продолжим мы, конечно, прежде всего, в том сокрытии или прямом отрицании

божественного дара, которое миллионы людей делает безнадежно слепыми и глухими к вере.

Неслучайно в Евангелии так часто говорится о детях. О них сказано: Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Лк.18:17). Что это значит? Это значит, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все в глубочайшем смысле слова вера, но только еще не отделенная от жизни, не противостоящая ей. Она проявляется как безраздельное доверие, отовсюду ожидающее только любви. И все мы знаем, как с уходом детства разрушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, разделения, страдания.

И вот тут, где-то близ этого решающего момента человеческой жизни, и начинается страшный бой за душу, исход которого – сохранение или утрата такого первоначального опыта как дара свыше. Именно тут в какой-то момент все висит на волоске, и одно слово, а равно и отсутствие его могут оказаться решающими. Но вот, как ни страшно это, но снова и снова убеждаешься в том, что опыт зла, вернее, само зло приходит к человеку всегда от других людей. Мы определяем жизнь окружающих нас – и в зле, и в добре – нашими собственными словами и делами, всей нашей жизнью. Как вера зарождается в человеке от веры другого, так и безверие – от чужого лицемерия и лжи, от торжества зла и греха вокруг.

Мир во зле лежит (1Ин.5:19). Но кто же погрузил его в это зло? Если в самих верующих зачастую не живет дар веры (или, лучше сказать, они сами не живут им), если, говоря о любви и праведности, они продолжают ненавидеть, а призывая к вышнему – всецело погружаются в земное, то как бесконечно трудно обрести веру тем, кто смотрит на них! Тогда возникает разъедающее душу сомнение. Тогда приходит страшный опыт безлюбности, безрадостности жизни. Тогда загорается в сердце темный огонь отрицания, ненависти к высшему, почти бессознательная жажда разрушить внутреннюю свою святыню.

Я приводил слова апостола Павла: Бога никто из людей не видел и видеть не может (1Тим.6:16). Но вот Он является нам в человеке, который есть образ Его. Мы видели, мы знаем

Его во Христе, но можем увидеть Его и в каждом человеке, подобно тому как в каждом человеке может прийти к нам демоническое отвержение Бога и вся тьма сатанинской ненависти к миру Божию.

«Я не верю в Бога, – говорит неверующий, – потому что вижу вокруг слишком много зла, страдания и бессмыслицы. Если бы Бог был, Он не допустил бы этого». «Я верю в Бога, – говорит верующий, – потому что среди зла, страданий, бессмыслицы пережил силу, радость и правду веры». Тот же мир, то же знание его – и абсолютно разный опыт! Нет, не лишает никого Бог Своего дара, Своей любви и избрания, но слишком часто скрыты они завесой зла, что висит над миром и помрачает человека.

Но тогда неизбежно возникает вопрос: а откуда же это зло? И почему так часто торжествует именно оно, а не Всесильный, всеблагий, вселюбящий Бог? Почему добро, начиная борьбу со злом, куда чаще полагается на его методы и само исподволь превращается в зло? Об этом – в следующей беседе.

## **«Я верю в Бога...» Опыт веры – мой ли он?<sup>14</sup>**

Сегодня мы можем подвести итоги нашим раздумьям о самом важном и самом таинственном из всех человеческих утверждений: «Я верю в Бога».

В утверждении этом мы распознали, почувствовали, пусть неясно – так сказать, «ощупью души», – некий дар свыше. Я не столько сознательно, дедуктивно, разумно прихожу к вере в Бога, сколько нахожу ее в себе – нахожу с удивлением, радостью и благодарностью. Я нахожу ее в себе как присутствие – таинственное, но явственно ощущаемое присутствие Того, Кто весь – мир и радость, тишина и свет. Это присутствие не может быть от чего-либо во мне, ибо нет ни во мне, ни в окружающем мире такой радости, такого света, такой тишины. Откуда же оно?

И вот я произношу слово, которым все это выражено и названо и которое в отрыве от этого опыта, от достоверности этого присутствия не имеет никакого смысла. Я произношу слово «Бог», которое не мог бы произнести, если бы не имел этого опыта. Однако, произнося его, я освобождаю этот опыт, это чувство присутствия от его субъективности, мимолетности, расплывчатости. Я определяю содержание этого опыта и тем самым принимаю его как дар и отвечаю на этот дар встречным движением всего моего существа. «Я верю в Бога!» И вот оказывается, что вера, которую я нашел на самой глубине своей души, есть не только мой личный и неизреченный опыт, но и то, что по-новому связывает меня с людьми, жизнью, миром, становясь освобождением от одиночества, на которое в той или иной мере обречены все люди.

Ибо если радостно бывает обрести веру в собственной душе, то не менее радостно обрести ту же веру, тот же опыт в других. И не только в людях, окружающих меня теперь, но и в отделенных от моего времени многими веками. Вот раскрываю я книгу, написанную более чем за тысячу лет до нашей эры в мире, так мало похожем на теперешний, и читаю: Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда

встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, – высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: «может быть, тьма сокроет меня, и сеет вокруг меня сделается ночью». Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и сеет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это....Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. ... Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный (Пс.138:1–14,17–18,23–24).

Это псалом 138, написанный, повторяю, три тысячи лет назад. Но вот читаю и изумляюсь и радуюсь: Господи, да ведь все это именно так, как я сам чувствую и переживаю! Это мой опыт, это обо мне и от моего лица сказано! И даже это детское косноязычие, пытающееся выразить то, что выше слов, – тоже мое. И значит, вера эта жила и живет веками; значит, миллионы людей почувствовали то же самое.

И наполняется сердце радостью, когда избытком веры вспыхивают эти удивительные слова: Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет. И в этом свете я по-новому вижу мир. Несмотря на всю его тьму, он осветился для меня первозданным светом. Действительно, дивны дела Твои и душа моя сознает это!

Я повторяю за псалмопевцем: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен – и по-новому узнаю себя, грешного, слабого, поработанного, ибо дан мне тайный орган знания внутреннего, чтобы постичь то, что высоко, дивно и славно, чтобы захотеть

высокого ведения и высокой жизни, чтобы различить между путем тленным и путем вечным.

И еще одно открывает мне эта вера – что все в мире являет Бога, светится Им: лучезарное утро, но и ночные сумерки, счастье, но и страдание, радость, но и печаль. И если столь многие не видят этого, не ощущают ночь жизни светлой как день, то потому лишь, что я и подобные мне – слишком слабые свидетели веры, потому лишь, что с самого детства окружаем мы человека ложью, внушая ему искать не глубины, но маленького земного счастья, привязывая его к суетному и тщетному. И вот отмирает в человеке тяга к свету и любви, и наполняется его мир липкой тьмой скепсиса и неверия, озлобления и ненависти.

Но и в этой тьме, и в этом страшном падении не оставил нас Бог. И беспомощные мои слова о вере были бы пустыми, если бы в заключение я не исповедал веру уже не просто в Бога, а в того единственного Человека, в Котором Бог пришел в мир, а в мире – к каждому человеку, чтобы спасти и возродить его.

Я верю в Бога, но Бог в полноте радости обладания открывается во Христе. Бога не видел никто никогда, – говорит апостол Иоанн Богослов и тут же прибавляет: – едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин.1:18). И он же извещает нас, что слова его есть свидетельство о том, что ...мы... видели своими очами... и что осязали руки наши, о Слове жизни (1Ин.1:1). О Нем, о Слове жизни – наша следующая беседа.

## **«Я верю в Бога...» Единственное имя**

Итак, в конце наших размышлений о вере мы пришли к имени, которое для нас, христиан, составляет одновременно и содержание этой веры, и ее источник. Мы пришли к имени Христа.

Стоит только назвать его, и сердце наше всякий раз заново исполняется изумления. И может быть, именно с этого изумления все и начинается.

Почти два тысячелетия отделяют нас от событий, описанных в Евангелии. За это время в мире совершилось столько грандиозных перемен, сменилось столько героев, оставивших по себе и добрую, и страшную память, что должен бы, кажется, потускнеть, отдалиться от нас образ Христа, запечатленный в одной из самых коротких книг. Образ Того, о Ком мы знаем, в сущности, неизмеримо меньше, чем о Наполеоне, Ленине или Эйнштейне, чьи биографии подробно изложены в тысячах книг, а каждое слово – тщательно проанализировано. Но вот насколько не потускнел этот образ, ибо для верующих в Христа Он жив и любовь к Нему, общение с Ним составляет смысл их жизни.

Мы читаем Евангелие и заново повторяем слова тех, кого послали фарисеи к Христу, чтобы найти против Него хоть какое-нибудь обвинение: Никогда человек не говорил так, как этот Человек (Ин.7:46). И по сей день ощущаем мы правду, абсолютную правду этих слов. Действительно, никогда не говорил человек, как этот Человек. Никто в мире не произнес слов, исполненных такой истины и одновременно такой любви, такого смирения. И вслушиваясь в них, мы начинаем с того, что верим Христу, ибо не можем не верить, не можем не принять всем сердцем все, что Он говорит. И, поверив Ему, приходим к вере в Него.

Путь от веры Ему к вере в Него можно описать так. Сначала мы чувствуем – и опять всей глубиной своего существа, – что не мог Человек этот лгать. Если слова Его – ложь, тогда все в мире ложь, все тьма и бессмыслица. И когда говорит Он, что послан



для спасения человека, что верующий в Него обретет радость, которую никто не сможет отнять, мы, принимая эти слова, верим в Христа. И вера эта удостоверяется водворением в нас такой радости и такого мира, что уже других доказательств не нужно. Неоставлю вас сиротами, приду к вам (Ин.14:18), Я с вами во все дни до скончания века (Мф.28:20). И вот потрясено сердце этим присутствием, и с каждым из нас происходит то же, что с неверующим Фомой, который хотел доказательств, а кончил восклицанием: Господь мой и Бог мой! (Ин.20:28).

Нет, не на отвлеченное божество, отрицаемое безбожниками, направлена наша вера, не в нем ее содержание, а в Боге, Которого явил нам Христос. И не чудесами, не силой и не властью привлекает Он нас, а любовью, добром и красотой, которые изливает Его образ. Поистине никогда человек не говорил так, как этот Человек!

Все в мире изменяется и забывается, все проходит. Но Христос остается, Кем был, – объектом такой любви, такой веры и верности, что миллионы людей предпочитают смерть и страдания отречению от Него. Более того, в самих страданиях видят они возможность разделить Христовы страдания, а в смерти – залог пребывания с Ним. И что на земле сравнимо с этой любовью, с этой верой и верностью?

Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя<sup>15</sup>.

Эти строки Тютчева – о России. Но их можно отнести ко всей земле, ко всем временам. Ибо это хождение, это присутствие Христа среди нас все так же очевидно, как две тысячи лет назад в Галилее.

И поэтому наши беседы о вере можно заключить так: говоря «Я верю в Бога», я вижу перед собою лик Христов. Он смотрит так, как если бы смотрел только на меня. Я знаю умом, что Он – для всех, но вот ощущаю в Нем именно ко мне обращенный призыв, на меня направленную любовь и как будто слышу слова: «Я к тебе пришел и ради тебя отдаю всего Себя! Я люблю тебя и хочу вечного общения с тобой!»

И в минуты, когда опыт этот не заглушен во мне суетой жизни, я отдаю Ему себя ответной любовью, и не нужны мне ни доказательства, ни рассуждения. Я знаю всем существом, что подобным же образом стучит Он в сердце каждого. И хочется сказать: «Вглядись в Него, вслушайся в Его слова, ибо никогда не говорил человек так, как этот Человек. И наступит для тебя та единственная встреча, глубина и радость которой не сравнимы ни с чем в мире. Начнется новая жизнь, засияет новый свет. И сколько бы ни падали, сколько бы ни изменяли мы им на жизненном пути, радости этой никто не отнимет от нас!»

Вот, в сущности, содержание нашей веры, но и источник ее. Вера эта начинается Христом, рождаясь от встречи с Ним, и Христом заканчивается. Она часто как бы умирает в нас, мы забываем о ней, погружаясь в житейскую суету, но попадается нам в руки все та же маленькая книжица – и снова перед внутренним взором тот же образ, снова стоит Кто-то у дверей сердца и стучит.

И как важно, как бесконечно важно в грохоте жизни распознать этот стук!

## Непрекращающийся спор. Время сравнить

В мире не прекращается, по сути, лишь один спор: «Есть Бог!» – «Нет Бога!». Между этими утверждениями извечно колеблется человек, человеческая мысль, человеческая культура.

И смешно думать, как думают многие в наши дни, что этот спор может прекратиться, быть разрешен чем-то посторонним – наукой, философией, полетами в космическое пространство и т.д. Смешно читать, будто в наши дни наука доказала, что Бога нет, – ведь вот и в XIII веке та же наука доказывала, что Бог есть, и средневековым философам казалось, что споров на эту тему быть не может. Как бы далеко ни опускались мы вглубь веков, повсюду видим жертву Богу и слышим слова Псалмопевца: Рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс.52:1). И одно, казалось бы, должно быть очевидно каждому: никогда не решался этот спор, да и не может решиться никакими доказательствами!

Но следует ли отсюда, что спор этот не нужен и что его нужно попросту прекратить? Нет, конечно. Ибо спор этот – самый насущный, самый человеческий из всех. Без него не был бы человек человеком, ибо это, прежде всего, спор его с самим собой, и ведется этот нескончаемый спор на самой последней глубине его сознания.

Мир делится не на верующих и неверующих, а на верующих, постоянно испытываемых неверием, и неверующих, постоянно испытываемых верой. Недоказательства сделали верующего верующим, нет! – он потому и ищет доказательств своей вере, что она постоянно размывается неверием. Верую, Господи! помоги моему неверию (Мк.9:24), – со слезами восклицает в Евангелии человек, открывая всегдашнюю, неизбывную хрупкость веры, всегда как бы распростертой над неверием. Но и неверующий, когда он со страстью и фанатизмом, с каким-то отчаянием утверждает, что Бога нет, не может не чувствовать, не сознавать хотя бы иногда, что в самом

этом отрицании, в самой этой страсти есть уже нечто странное, ибо зачем так отрицать то, чего нет?

Да, как только опускаешься на глубину этого извечного спора, сразу же понимаешь его сложность и парадоксальность, понимаешь, что это спор человека с самим собой. И что не вовне – не в философии, не в науке, не в ученых выкладках и доказательствах решается он, а всегда и только – в душе человеческой, и каждый раз по-новому. Нет двух одинаковых вер, как нет и двух одинаковых неверий. Но если не дано человеку «доказать» свою веру, то, быть может, он в состоянии рассказать о ней, явить ее другим? И ведь вся религия, в сущности, есть не что иное, как рассказ о вере, явление веры. Но и антирелигия, и атеизм есть тоже своего рода рассказ о неверии, явление его сущности. Об этом и говорится в Евангелии: По плодам их узнаете их (Мф.7:16). А вот плоды как религии, так и антирелигии можно изучать объективно и даже научно.

И тогда у каждого, кто подходит к вере и неверию объективно, т.е. как к явлениям, требующим изучения, а не как к априорным утверждениям или отрицаниям, непременно возникнет вопрос: почему антирелигии, чтобы преуспевать, необходима ложь о религии, тогда как религии ложь об антирелигии не нужна?

Действительно, вся антирелигиозная пропаганда построена исключительно на фальсификации фактов. Она никогда не говорит: «Да, учение христианства прекрасно и возвышенно, оно дало примеры жизни бесконечной красоты и чистоты, вдохновило искусство и культуру, как ни одно другое явление мировой истории. Но, как ни грустно, учение это ложное по той простой причине, что Бога нет». Нет, эта пропаганда обязана обливаться христианство грязью, отрицать самоочевидное, истолковывать в дурную сторону все положительное, но прежде всего – скрывать истинную сущность религии от тех, чью веру необходимо разрушить.

Вот факт, поистине достойный удивления и изучения. Ибо столь же объективно можно было бы доказать, что религия хотя бы в этом пункте действует иначе – по принципу,

провозглашенному в Новом Завете: Ищите, и найдете (Мф.7:7), Все испытывайте, хорошего держитесь (1Фес.5:21). Иными словами, искание, проверка, испытание, глубокий спор человека с самим собой здесь не только допускаются, но признаются благом, и вера, не прошедшая через горнило сомнений, не считается подлинной и твердой верой.

Поэтому то, что на поверхности выглядит как спор о Боге, есть, в сущности, спор о плодах веры и неверия. А плоды эти – осмысление мира и человека. И вопрос, в сущности, прост: в каком свете являются они верующему и неверующему?

Может быть, настало время просто сравнить два эти мироощущения? Возможно, они ничего сами по себе не докажут. Но в мире, растерянном, мятущемся, наполненном страхом и ненавистью, это сравнение, этот спор о плодах, быть может, что-нибудь явит и прояснит. И только этот путь достоин человека, ибо всякая пропаганда есть всегда лишь обман и насилие.

## Непрекращающийся спор. Необъяснимое неверие

Если не ограничиться поверхностными рассуждениями, а вдуматься поглубже, то удивляться, в сущности, нужно не вере, а неверию. Что значит «не верить»? Это значит отрицать не только существование Бога, но также реальность духа, всей духовной жизни человека.

Так и поступает последовательный, или, как он сам себя называет, «научный», материалист: «Реальна только материя, – говорит он, – реальна только борьба всего существующего за пропитание». Отсюда примат экономических, или «производственных», явлений в мире. И не только примат, ибо все остальное – все то, что так или иначе относится к духовной сфере, есть, как известно, «надстройка» над этой материей, всецело и до конца ею же определяемая.

На словах выходит как будто гладко. Но стоит только перейти к действительности, как слова и теории эти оказываются чудовищным абсурдом. Ибо немедленно встает вопрос – давний, но отнюдь не устаревший: как от материи, от борьбы за существование и, так сказать, «от брюха» добраться до девятой симфонии Бетховена, до «Троицы» Рублева, до лермонтовского «По небу полуночи ангел летел»<sup>16</sup>? Каким образом из «производственных отношений» возникло и родилось учение, в центре которого слова: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин.15:13)? И вопрос этот не устарел, потому что ни один последовательный и убежденный материалист никогда на него не ответил. А пока вопрос остается без ответа, его нельзя сбрасывать со счетов.

В самом деле, как из «борьбы за существование», из «борьбы классов» и «диалектики экономического развития» родилось у человека понятие красоты, добра, нравственного совершенства, святости? Тут ничего не решить презрительными отписками о «буржуазной морали», «буржуазной эстетике» и т.п. Преподобный Серафим Саровский, например, не был ни с какой точки зрения «буржуем». Какая «буржуазия», какая

«прибавочная стоимость» могли создать человека, который каждого проходящего к нему называл «Радость моя»?

И уж ничего решительно не объясняет пресловутое материалистическое учение о происхождении религии. Религия, по учению сначала Фейербаха, а потом Маркса, родилась вся целиком из эксплуатации. Но так и остается, в сущности, неясно, кто ее создал – эксплуататоры или эксплуатируемые? По Фейербаху выходит, что эксплуатируемые. «Бедный человек, – говорит он, – верит в богатого Бога», т.е., иными словами, создает для себя идеальный образ того, чего лишен на земле. На земле ему плохо, на небе будет хорошо; буржуй, эксплуатирующий его, плох, зато Бог добр и т.д. С другой стороны, выходит, что религию выдумали какие-то сознательные обманщики, причем сами в нее тут же и поверили, ибо трудно предположить, что священники, богословы, святые все и всегда были сознательными обманщиками.

Итак, материализм не отвечает ни на один из обращенных к нему серьезных вопросов, и, зная это, он по приходе к власти вместо ответа действует грубым принуждением. А между тем все эти вопросы указывают на необъяснимость и противоречивость не веры, но неверия.

Верующие в своих объяснениях веры могут спорить о Боге, о том, как понимать Его, но исходят они из очевидного, неопровержимого факта – из наличия реальности, несводимой к материи и материальным процессам, из реальности в самом человеке опыта красоты, добра, совершенства, святости и, наконец, веры – не как идеи, а как живого общения с областью высшего бытия. Повторяю, тут исходная точка ясна: есть материя со своими законами и есть духовная реальность со своей динамикой. Это соответствует извечному опыту человека.

Но приходит материалист-атеист и говорит: «Никакой духовной реальности нет, есть только материя». Но с чего это он взял и откуда у человека в таком случае духовные нужды и запросы? Но материалист, не слушая возражений, продолжает бубнить: «Все в мире детерминировано причинно-следственной связью, у всего есть своя причина». Его робко спрашивают: «Но ведь тогда и у материи должна быть своя причина, свое

начало? Откуда-то ведь она взялась?» «Нет, – твердо и упрямо заявляет он, – материя вечна и начала не имеет».

В каком странном и необъяснимом мире живет неверующий материалист! Реальность невидимую, но столь для многих очевидную он попросту отвергает: «Ее нет, это призрак. Все выдумка: и красота, и добро, и совершенство, и “По небу полуночи ангел летел” – все это лишь надстройка!» А про реальность видимую он утверждает, что постиг ее законы. Но откуда взялось, к примеру, Марксово понимание истории? Ведь понимание – тоже «надстройка». Каким же образом материальный процесс и диалектика производственных отношений создали Маркса, всю жизнь просидевшего за книгами и ни в каком производстве никогда не участвовавшего?

И приходит момент, когда говоришь себе: Боже мой, до чего же все это надуманно, глупо и неубедительно! И как могут миллионы людей видеть в этом не только истину, но еще и «освобождение»? Насколько же умнее, глубже, ближе к жизни и реальности вера, т.е. тот опыт реальности духа и духовного мира, которым всегда и всюду жили люди! Насколько же она выше, чище и, наконец, правдоподобнее! Как это естественно и человечно – верить в Источник и Цель жизни, верить в одухотворение материи, открывать в жизни и в самом себе вечный и светлый закон истины, добра, красоты! И каким жалко-упрощенным выглядит в сравнении с этим мироощущение материалиста!

Поистине прав древний поэт-псалмопевец, воскликнувший: Сказал безумец в сердце своем: нет Бога (Пс.52:2).



## Непрекращающийся спор. На последней глубине

Недавно перечитывая статью знаменитого русского философа Франка «Материализм как мировоззрение», я был поражен следующей фразой: «Если брать материализм как... научно-философскую теорию, – пишет Франк, – то он есть одно из немногих философских построений, о которых можно с полной достоверностью сказать, что ложность и несостоятельность его... неопровержимо доказаны. Доказаны с той достоверностью и отчетливостью, которые присущи, например, математическим истинам»<sup>17</sup>.

Поражен же я был этой фразой, потому что по прочтении ее непременно приходит в голову следующая мысль: если это столь достоверно и самоочевидно, то почему же так много людей достоверности и очевидности этой не видят и не принимают? Почему им, напротив, именно материализм, сведение всего сущего к материи кажется столь же достоверным и очевидным?

А это, в свою очередь, наводит на сомнения касательно того, что мы называем доказательством. «Доказано!» – бессчетно звучало в мире это торжественное и, так сказать, «окончательное» слово! У нас, например, просто нельзя найти книги, в которой на первой же странице не стояло бы что-нибудь вроде: «Как доказал Карл Маркс (или Энгельс, или Ленин)...». Но вот и в противоположном лагере тоже твердят: «Доказано!» А мы продолжаем жить в мире, где, с одной стороны, все как будто доказано, а с другой – доказательства эти не действуют или, лучше сказать, действуют на тех только, кому, в сущности, они не нужны, ибо в то, что доказано, они верят как в истину, без всяких доказательств.

Что же все это значит? И вот тут откуда-то из глубины приходят слова Христа: Люди более возлюбили тьму, нежели свет (Ин.3:19). Возлюбили!.. Нет, не доказательства, не математические выкладки привели их к тому, что они потом начинают доказывать. Их привела к этому любовь, а значит –

некий глубокий, целостный выбор, который совершается не в разуме, а где-то в тайниках человеческой души.

Нам кажется – нет, мы уверены: все то, что мы любим, на что направлена наша любовь, есть свет и добро. Но вот Христос говорит, что можно тьму возлюбить больше света. Какие страшные слова! Но как внезапно объясняют они, с какой неумолимостью высвечивают то, что казалось непонятным и необъяснимым! Как ясно становится вдруг, что мироощущение, известное под отвлеченно-научным именем «материализм», есть на деле страшная и загадочная любовь человека к тьме.

Ибо материализм – это вовсе не утверждение, а страстно-напряженное отрицание. Материализм прежде всего не хочет. Нехочет, чтобы за материей, над ней и в ней самой был дух, духовная реальность. Он не хочет, чтобы такие таинственные вещи, как красота, добро, истина были чем-нибудь, кроме как «надстройкой» над элементарным, безличным, низменным, т.е. материальным. И всюду, где материализм натывается на дух, он отрицает и обличает. Какие тут доказательства? Только стихийная ненависть!

Но ненависть – всегда обратная сторона любви: я ненавижу одно, потому что люблю другое и потому что ненавидимое мною мешает любимому. Так, материалист ненавидит религию, но совсем не потому, что она, по его словам, есть зло, обман и надувательство, а потому, что она попросту несовместима с его верой и с его любовью – с верой в тьму, с любовью к тьме. И тогда остается спросить: но почему же, почему возлюбили люди тьму более, нежели свет? Почему продолжают они выбирать тьму и служить ей, вкладывая в это служение столько страстной веры?

И вот здесь-то мы и подходим к последней глубине человеческой трагедии – к настоящей тайне человеческой свободы. «Сердце тайно хочет гибели»<sup>18</sup>, – сказал когда-то поэт. Почему? Да потому, что человек на глубине, подсознательно отказывается от того высокого, подлинно божественного призвания, которое находит в себе, не может не найти. О, этот восторг людей, наконец отделавшихся от Христа, отдавших Его на смерть! Как Он мешал, как беспокоил их, сводя все на свете

к главному и конечному: Ищите прежде Царства Божия (Мф.6:33), Будьте совершенны (Мф.5:48), Блаженны алчущие и жаждущие правды (Мф.5:6)! И как нарастала злоба и ненависть к Нему!

Но это и есть вечная беда человека – видя свет, выбирать тьму. Ибо тьма проще, понятнее, она не требует от человека внутренней свободы, напротив, как бы говорит: «Отдай свою ненужную свободу, прими объективно достоверную жизнь без души и конечного света! Стань головой в стаде, номером в шеренге, этапом в процессе! Тебя ведь не было раньше, не будет после, поэтому служи безличному и общему!» Ах, насколько все это спокойнее, чем тот нестерпимый свет, который врывается в мир, чем призыв к вечной и божественной свободе!

Вот почему никакие доказательства, в сущности, ничего не значат, а решается все на той глубине, где человек совершает последний свой выбор.

## Непрекращающийся спор. Исконное содержание

Одно из классических, вечно повторяемых обвинений против религии состоит в том, что она сковывает свободу человека, заключает его в железную клетку догматов и, таким образом, противится прогрессу, т.е. движению вперед, открытию все новых истин, развитию знания, науки и т.д. Атеизм же, по этой теории, наоборот, освобождает человека, делает его хозяином собственной судьбы. Так ли это?

Обвинение это повторяют столь привычно, что даже сами верующие часто сдают и даже как будто соглашаются с ним: конечно-де, моя вера противоречит свободе, но так как в ней истина, то можно и без свободы... Поэтому абсолютно необходимо показать, что на деле это обвинение чудовищно ложно и что нигде старое русское выражение «с больной головы на здоровую» не применимо более, чем здесь. На деле давно пора признать, что не вера, а тот атеизм, что провозглашается и навязывается как необходимая составная часть «всеобъемлющей идеологии», начисто отрицает свободу и давно уже выявил свою действительно антипрогрессивную сущность. Но начнем с веры.

Быть может, и сами верующие удивятся, до какой степени христианское понятие веры, т.е. та вера, о которой говорит Евангелие, неотделимо от свободы. Ключом к этой вере являются слова Христа: Ищите, и обрящете (Мф.7:7), т.е. ищите, и найдете. Но Христос никогда не говорит, что нахождение прекращает искание, что, найдя то, что он искал, человек может успокоиться, остановиться и уже не искать. По Евангелию, искание, т.е. постоянное, никогда не прекращающееся движение человека вперед, есть неотъемлемая часть самой человеческой сущности. Блаженны алчущие и жаждущие правды (Мф.5:6), т.е. блаженны те, кто стремятся к все большей правде, – вот евангельский образ человека, и ему чужда всякая успокоенность, всякое самодовольство, всякая окаменелость. Дух дышит, где хочет... (Ин.3:8), – говорит Христос и призывает Своих учеников искать

этого духа, вдохновения, движения. И именно так поняли учение Христа Его ученики и последователи. Все испытывайте, хорошего держитесь (1Фес.5:21), – пишет апостол Павел, а в другом месте: Стойте в свободе, которую даровал вам Христос (Гал.5:1). Он сравнивает верующего с атлетом, который никогда не удовлетворяется достигнутым результатом, но стремится к все большему: «Забывая все, что сзади, я стремлюсь вперед» (ср.: Флп.3:13).

Все это с очевидностью показывает, что христианское понятие веры и религии – не статическое, а динамическое. «Я пришел, чтобы дать людям жизнь с избытком» (ср.: Ин.10:10), – говорит Христос. И именно преизбыточествующая жизнь, этот вечный голод и жажда, это движение, усилие, искание и составляют истинное содержание религии. Ничто не бичует Христос с такой силой, как самодовольное фарисейство, всезнайство – все то, что угащает дух и сводит жизнь человека к формальным предписаниям. Между тем атеизм есть предельная форма статического понимания человека и его сущности, и потому именно он по-настоящему поработывает его. Атеизм говорит человеку: «Не ищи того, что ищешь, – его нет, это доказано, как дважды два четыре. Все уже сказано, определено, уже известно, что и как. Все твоё искание – бред воображения, а на деле жизнь плоска и в конечном итоге не имеет никакого смысла». Ибо, по правде говоря, нельзя же признать смыслом жизни материальное благополучие каких-то «будущих поколений». Они-то, поколения эти, достигнув «рая на земле», что будут делать, чем жить? Атеизм – это отрицание искания во имя найденной догмы, но это ведь и есть самое чистое выражение рабства. По христианскому учению, искание, жажда, полет, восхождение составляют сущность человека и, следовательно, предполагают свободу как свое условие. По атеизму всего этого просто нет и быть не должно, прочти Маркса и все узнаешь, а узнав, успокоишься: вместо свободы – полная предопределенность.

Неслучайно те, кто защищают и насаждают казенный атеизм, одновременно удушают искусство и творческую свободу человека. Ибо искусство сродни религии: оно тоже живет и

движется исканием, оно тоже основано на принципе дух дышит, где хочет. Если же заранее известно, как и где дышит дух, если искусство уже определено – как «социалистический реализм», «служение индустриализации» или еще как-нибудь, творческое искание убито и подлинное искусство невозможно. Можно говорить что угодно, но остается абсолютно бесспорным факт, что великое искусство всегда, так или иначе, связано с религией, и даже атеисты вынуждены в конечном итоге показывать людям соборы и иконы, давать им слушать Баха, т.е. указывать на дух как источник творчества.

По христианскому учению, вера есть освобождение от всякого ложного абсолютизма, или, говоря религиозным языком, от идолов. «Дети, – пишет апостол Иоанн, – берегите себя от идолов» (ср. Ин.5:21). Идол – это и есть ложный абсолют, но именно таким ложным абсолютом и живет атеизм. Отрицая Бога, т.е. Источник жизни, свободы и духа, он поневоле, неизбежно выдумывает и насаждает великое множество ложных богов. «Класс», «материя», «законы истории», «диамат» – вот самые настоящие идолы, которые требуется непрерывно защищать и превозносить, и отсюда еще яснее видно, что они идолы, т.е. ложные абсолюты.

Но защищать идолов можно только насилием, и потому атеизм живет исключительно насилием. Так, он разоблачает Евангелие как «наивную и бесполезную мифологию», но Боже упаси дать это самое Евангелие в руки читателю! Казалось бы, если все в этой книге так глупо и ненаучно, то чтение лучше всего разоблачит ее -- но нет: Евангелия боятся как огня. Конституция обеспечивает «свободу культа» и «свободу антирелигиозной пропаганды», хотя совершенно ясно, что это понятия неоднородные и настоящая свобода означала бы и свободу религиозной пропаганды.

Таким образом, пора спросить: где свобода, а где рабство; где призыв к исканию, вдохновению, а где – к слепому принятию мертвой догмы; где образ человека, открытого к самому высокому о нем замыслу, а где низведение его в разряд природных явлений, до конца определенных «материей»? В конечном итоге все это поймут – но потому-то и ненавидит

казенная идеология религию, ибо религиозная вера живет этим вечным: Дух дышит, где хочет (Ин.3:8).

## Непрекращающийся спор. Высшая разумность

«Рождество Твое Христе, Боже наш, возсия мирови свет разума...» Так начинается тропарь праздника Рождества Христова – утверждением, что с Христом в мир вошел не только образ совершенного Человека, совершенного Добра, совершенной Святости, Красоты и Любви, но и высшее, всеобъемлющее откровение Смысла.

«Свет разума...» Именно тут, в плоскости разума, ведется извечный бой против христианства и против Самого Христа. И восстают против них все, кто думает, будто весь разум – у них, что во имя разума и разумности можно и должно сокрушить все связанное с двухтысячелетним Царством Младенца из вифлеемской пещеры. Да, почти две тысячи лет длится этот спор. Вот апостол Павел приходит в Афины и поднимается на ареопаг, где восседают все светила науки и философии того времени. Там, в самом сердце разума античного мира, проповедует он Христа, распятого и воскресшего. И эти ученые мудрецы со смехом говорят ему: Об этом послушаем тебя в другое время (Деян.17:32). А за ними – вся культура, вся мудрость античного мира и вся организация объединившей его великой Римской империи, для которой христиане были вне закона, как лишенцы и парии. На протяжении двухсот с лишним лет с христианами боролись, их преследовали и убивали, они подвергались клевете, их учение и обряды всячески высмеивались. Но сквозь эпоху мрака и гонений не переставали звучать слова все того же апостола Павла: Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем (2Кор.6:8–10).

Проходит время, и те же мудрецы и люди науки начинают задумываться над этим учением, которое казалось им поначалу столь неразумным. Вот перед нами живший в середине II века нашей эры философ по имени Иустин<sup>19</sup>. Он провел всю жизнь в



искании истины, изучил все доступные в то время науки и наконец пришел к христианству. Что же привело его к этой гонимой вере? Свет разума, высшая разумность, всеобъемлющая мудрость христианства, утверждает он в своих дошедших до нас произведениях. Только христианство, говорит Иустин, способно ответить на все вопросы, до конца утолить пытливість нашего ума и жажду нашего сердца. И разве в Евангелии от Иоанна не сказано про Христа, что Он есть Логос (что по-гречески означает смысл и разум), Логос всего? «В начале был Логос» (ср.: Ин.1:1) – так начинается это Евангелие. Еще несколько десятилетий – и перед нами другой представитель того же учено-философского Олимпа древнего мира – Климент Александрийский<sup>20</sup>. Также и по его словам христианство открылось миру как вершина разума, как предел и исполнение всех человеческих чаяний и исканий. И сколько было их, подобных Иустину и Клименту? Но вот наконец и сама империя склоняет свою гордую голову перед распятым Учителем, Которого она так долго гнала и презирала. Начинается христианская эра человеческой истории.

Неужели можно забыть корни, из которых выросло решительно все, чем мы живем и дышим? Христианством пронизаны плоть и кровь нашей жизни, без него нельзя ничего понять ни в великом искусстве, ни в философии, ни в самой науке, занятой поисками смысла и обращенной к разуму. Но снова восстает гордыня маленького человеческого ума против сокровищницы добра, разума и красоты. Вглядитесь в это восстание. Чем оно держится? Только грубой силой. Про Христа запрещено говорить, Евангелие нельзя печатать, христианские храмы в принудительном порядке закрываются. Это ли спор и убеждение? У врагов христианства в конечном счете не оказывается никаких других аргументов, кроме бессовестной лжи, оглуляющей пропаганды и полицейского принуждения. Хороша же истина, во имя которой борются такими методами с христианством! И верит ли такая истина в саму себя?

Нет, рано еще христианство сбрасывать со счетов и считать отмершим. С той же силой, с той же радостной убежденностью, что и многие века назад, несется из храмов торжествующая

песнь: «Рождество Твое Христе, Боже наш, возсия мирови свет разума». Все так же твердо исповедуем мы, что честное искание, жажда истины и любовь к ней приводят рано или поздно к Христу, ибо, по слову евангелиста Иоанна, *в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин.1:4–5)*. В этом утверждении заключается для нас важнейший смысл праздника Рождества. Свет разума, который однажды вошел в мир и засиял в нем с Христом, – свет этот не ушел от нас, не погас. Как бы далеко ни зашли мы в изучении мира, лучшие умы человечества по-прежнему видят в нем отражение Божественной славы, свет Божественного разума. Звезда, что привела мудрецов с Востока к вифлеемской пещере, уже не кажется сказочным образом, и мы снова ощущаем предвечную правду слов псалма: «Небеса поведают славу Божию, творения же рук Его возвещает твердь» (ср.: Пс.18:2).

Мир стремится к единству. Но где же он найдет его? В экономике? В бряцании оружием? В политическом соперничестве государств-гигантов? Все очевиднее нарастает в нем тоска по тому, что одно только и могло бы стать сердцем всей жизни, всеозаряющим ее светом. Ибо нет у человечества иного сердца, чем Христос, нет иной цели, чем возведенное Им Царство Божие, нет иного пути к этому Царству, чем дарованная Им заповедь о любви и явленное в Нем Самом совершенство.

Вот этой космической любовью, космическим светом горит и сияет нам Рождество Христово. Духовным слухом слышим мы все ту же торжествующую хвалу: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк.2:14). Духовным взором видим мы все тот же засиявший в мире свет разума и отзываемся на эту весть благодарной песнью: «Христос рождается – славьте, Христос на земле – встречайте, Христос с небес – возноситесь»<sup>21</sup>.

## Непрекращающийся спор. Растворяя ставни

У одного современного русского писателя рассказывается, как умирает после тяжелой болезни пожилой человек. Он лежит в комнате с закрытыми ставнями и мучительно решает вопрос: есть ли там, после смерти, что-нибудь или нет, и наконец, устав от этих сомнений, со вздохом решает: конечно, ничего нет, это так же ясно, как то, что за окном идет дождь. «А между тем, – продолжает писатель, – за окном играло яркое весеннее солнышко, а этажом выше женщина поливала цветы на подоконнике, и вода шумными каплями падала на тротуар»<sup>22</sup>.

Это описание удивительным образом напоминает все доказательства, все рассуждения антирелигиозной пропаганды. Умиравшему было ясно, что идет дождь: он слышал шум воды. У него не было никаких причин предполагать, что за окном – ликующий весенний день. Это-то и есть символ определенного типа доказательства, к которым, как к якобы научным, прибегают в наши дни для решения самого важного, самого глубокого, самого окончательного вопроса.

И многие, даже верующие, поддаются на эту удочку логики и «научности». Как часто при виде страданий, хаоса, разгула зла на земле они говорят: «Если бы был Бог, то разве Он допустил бы все это?» или: «Если есть Бог, то почему Он хоть как-нибудь, но несомненно не явит Себя нам, не подтвердит, не докажет Своего существования?» От Бога ждут, чтобы он ответил на все эти отрицания, на всю эту пропаганду против Него, чтобы Он, иными словами, опустился до уровня этого ничтожного спора.

Отсюда и столь частые у верующих ссылки на чудо как решающий аргумент. Чудо – нарушение законов природы, прорыв в нашу жизнь сверхъестественного, и кажется им тем доказательством, тем окончательным аргументом, который наконец разрушит все доказательства врагов религии. Но пора понять, что чудо, если даже оно и стояло когда-то в центре религиозного сознания, не составляет доказательства для христианства. Больше того: чудо отвергается христианством как

аргумент, как способ приведения к вере, как основа религии. «Сойди со креста, и мы поверим Тебе!» (Ср.:[Мф.27:42](#)) – говорили Христу с насмешкой те, кто распинали Его. Но Он не сошел. А ведь если верить, как верят вот уже две тысячи лет христиане, что на кресте пригвожден был Сын Божий, то разве не стало бы такое сошествие с креста доказательством раз и навсегда? «Ты уповал на Бога, пусть поможет Тебе!» (Ср.:[Мф.27:43](#)). Но вот и Бог не помог...

Я не знаю, чувствуют ли, сознают ли христиане, какую коренную перемену произвело Евангелие в самом подходе к религии, в самих глубинах религиозного сознания. Про Христа, например, сказано в Евангелии, что из-за неверия людей Он не смог совершить многих чудес (ср.:[Мф.13:58](#)). И это значит, что для самого Христа чудо – а Он творил чудеса любви, сострадания, помощи – никогда не было самодовлеющим явлением, способом что-то о Себе доказать, кого-то к Себе обратить. Вот почему современным борцам с религией, всем тем, чьи доказательства построены на вот этом «совершенно ясно, что...», «доказано, что...» и т.д., не только бесполезно противопоставлять другие доказательства, другую пропаганду, но делать это – значило бы изменить чему-то самому главному, самому важному в самом христианстве.

Слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих ([Мф.13:14–15](#)) – вот настоящий корень и источник неверия: окаменел, закрыл человек сердце свое, и уже не способен увидеть, неспособен услышать или видит и слышит не то. А если бы не окаменел, не закрыл свое сердце, то, без сомнения, назвал бы чудом саму жизнь, сам мир, блаженную возможность видеть, слышать, дышать и за всем существующим в мире с такой очевидностью ощущать присутствие бесконечной любви, призыв к светоносному добру, свидетельство о вечности.

Стоит подумать, что живут среди нас люди, которые так же, как мы, встают по утрам, одеваются, идут на работу, но чья работа, чей хлеб насущный в том, чтобы доказывать, будто и Бога нет, и после смерти ничего нет, и, следовательно, вся эта жизнь – мимолетная вспышка бессмысленного бытия, а такое

восприятие ее еще и «освобождает» человека, – ощущаешь в душе не злобу даже, не гнев, а какое-то скорбное удивление и настоящую жалость: как можно этим жить? И тогда так ясна, так физически ощутима становится эта окамененность сердец, которые не размягчить, не изменить «обратной пропагандой», не разбить другими камнями.

И, может быть, все дело в том, что не было тогда в комнате умирающего, о котором мы говорили, никого, кто в минуту его страшного, безнадежного вывода подошел бы к окну и молча раскрыл ставни на весенний ликующий день. И потому вывод, к которому пришел он в своей темной комнате, показался ему несомненным и самым последним, а был он на деле ошибкой.

И так для миллионов людей, которым от нас, верующих, нужны не доказательства и пропаганда, а свидетельства, нужен свет, нужна любовь, нужно добро. Нужно, чтобы они в нас, верующих, увидели не идеи наши, не аргументы и доказательства, а ту новую жизнь, какую дает встреча с божественной реальностью, с божественной жизнью. Только тогда свидетельство христиан, свидетельство верующих в этом темном мире, где все ставни закрыты, снова начнет побеждать.

## Непрекращающийся спор. Беспомощная трактовка

Недавно на страницах «Литературной России» произошел обмен открытыми письмами между Ильей Сельвинским и Львом Озеровым<sup>23</sup>. Поводом к этому обмену послужила новая теория личного бессмертия, созданная Сельвинским и изложенная им в стихотворениях и поэмах, особенно в поэме «Арктика». Исходя из электронной физики, Сельвинский устами одного из своих героев предлагает гипотезу:

Отчего же  
не допустить,  
что тот рецепт сложенья электронов,  
который породил мое дыханье,  
через десятки миллионов лет  
ошибкою  
не повторится снова?<sup>24</sup>

За эту гипотезу Сельвинский ухватился и предлагает ее как надежду. В ответном письме, теплом и даже ласковом, Лев Озеров выражает свой скептицизм: гипотеза кажется ему недоказуемой, а потому и бесполезной. К этому, в сущности, и сводится содержание переписки. Но многое в ней заслуживает внимания и прежде всего, конечно, сама ее тема.

Вот на пятидесятом году торжества «самой научной» и «всеобъемлющей» идеологии, будто бы освобождающей человека от всех обманов прошлого, от всякого дурмана и «ненужных» вопросов, два писателя признаются в том, что оба они бесконечно боятся и не хотят смерти и что эта мысль о смерти превращает жизнь в черную бессмыслицу. Один из них, Озеров, не находит ничего лучше и умнее, как признать в страхе смерти полезный стимул для творчества. «Дума о смерти, – пишет он, – о ее ежеминутной возможности, ее неминуемости – это грозное напоминание: *memento mori*, спеши, не забывай! Без этих молчаливых напоминаний не было бы великого искусства Шекспира, Данте, Байрона и Пушкина». Вот и все. И с этим, конечно, не может примириться Сельвинский – для него смерть, как он говорит, есть нечто «до

тошноты омерзительное», и с нею не должен, не может мириться человек, ибо ему неестественно отрицать самого себя.

Так вот, повторяю, достойно и удивления, и особого внимания само появление этой темы, и еще более достойна удивления та беспомощность, с которой она трактуется, словно не было многовековых философских раздумий о смерти, словно не было дано пускай не окончательных, но гораздо более обоснованных и убедительных ответов на этот вечный мучительный вопрос. Стимул к творчеству, с одной стороны, и какая-то очень маловероятная случайность, которая, конечно, никакой настоящей надежды дать не способна, – с другой... Как страшно удручает философский и культурный уровень, делающий возможным подобный обмен мнениями – обмен, участники которого искренне убеждены, что говорят нечто очень умное и очень новое! И это после Платона, после Федорова с его «Философией общего дела»<sup>25</sup>, после богословия смерти Булгакова<sup>26</sup>, после Иоанна Креста<sup>27</sup>, да и попросту после всей мировой культуры.

Но еще показательнее отношение обоих мыслителей к религии, которую они, как бы похлопывая по плечу, просто сбрасывают со счетов. «Неукротимый натиск науки, победа материализма в мировоззрении человека решительно опрокидывают наивные сказки о бородатом Боге, об ангелах и архангелах, о рае и аде» – так пишет Сельвинский, так же приблизительно и Озеров. И вот хочется взять Сельвинского за плечи, посмотреть ему прямо в глаза и спросить: «Зачем ты это пишешь? И прежде всего, что это за “неукротимый натиск науки”, в чем эта “победа материализма в мировоззрении”, если собственное свое мировоззрение ты выражаешь воплем: “Я обожаю жизнь и ненавижу смерть!”, если вся твоя никчемная теория насквозь пропитана страхом? Где же тут победа? Но важнее вот что: ты поэт, ты не можешь не знать, не чувствовать, не помнить, что религия – это не “наивные сказки о бородатом Боге, об ангелах и архангелах”, а нечто совсем другое. “Животé, како умираеши?”, или “Жизнь, как ты умираешь?”, – неужели ты не слышал этого потрясающего начала самой прекрасной из всех церковных служб – утрени Великой Субботы, когда в

темноте и тишине предпасхальной ночи мы задаем последний вопрос и получаем всё наполняющий светом ответ: “Смерти царство разрушаеши”<sup>28</sup>? Неужели ты не слышал радостного возгласа апостола Павла: Последний же враг истребится – смерть (1Кор.15:26) и не понимаешь, что речь здесь не о “загробном мире”, а о победе человека над смертью – победе, одержанной всей силой жизни, любви и веры? Вы с Озеровым только сейчас открыли, что “неукротимый натиск науки” и “победа материалистического мировоззрения” на деле “опустошили душу” – это ваши слова, а не мои! Отняв у человека надежду на посмертную жизнь, наука ничего не дала ему взамен. И опять хочется спросить: да что же это за наука, что за мировоззрение, когда все в любом случае оказывается бессмысленным, ненужным и ты, как утопающий, хватающийся за соломинку, принимаешь невероятную случайность – будто бы повторяющееся через десять миллионов лет “сложение электронов”»? Какой тоской, какой действительно опустошенностью веет от этой надежды и от всего этого обмена мнений! И уж тогда надо прямо признать: любой религиозный ответ и глубже, и умнее, и философски более обоснован.

Но в конечном итоге вопрос о смерти и бессмертии решается не доказательствами. И Озеров и Сельвинский согласны: это вопрос веры. Сельвинский верит в свою недоказуемую теорию, Озеров в нее не верит – это их право. Но тогда признаем право и тех, кто верят не в «бородатого Бога», а в подлинное бессмертие человека, зависящее не от случайного сцепления электронов, а от божественности духа человеческого. Признаем право и тех, кто всей душой, всем сердцем, всем разумением знают правду пасхальной радости – радости победы над смертью. «Христос воскрес из мертвых, смертью поправ и сущим во гробех живот даровав»<sup>29</sup> – по-человечески рассуждая, эта «гипотеза» ничуть не хуже вашей, и она, во всяком случае, породила миллионы святых и наполнила радостью миллионы сердец. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп.1:21) – нет, это не «утешение», как говорите вы, но вера и радость, показывающие, что здесь не гипотеза, а факт, о который разбиваются все волны



материалистического мировоззрения. Тут ничего нельзя «доказать», но как хотелось услышать от поэта не устарелые усмешечки по поводу религии, а правду! Как хотелось бы, чтобы этот спор, сам собою доказывающий неистребимость темы бессмертия в человеческом сознании, пришел бы к тому, с чего начинается христианская вера!

Обмен мнениями на страницах «Литературной России» между Ильей Сельвинским и Львом Озеровым – явление крайне симптоматическое. Он доказывает ту самую опустошенность души, о которой оба пишут; он доказывает, что те вечные вопросы религии, над которыми столько смеялись, сохраняют все свое значение и для человека, живущего пресловутым «научным мировоззрением». Ни просто снять, ни разрешить их нельзя без углубления в религиозные источники бессмертия.

## Непрекращающийся спор. Познается по плодам

Если есть темы, на которые верующие и неверующие могли бы беседовать особенно плодотворно (при условии, конечно, что такая беседа ведется свободно, от сердца к сердцу, а не под давлением партийных и иных идеологий), то это темы морали.

Мораль отвечает или, может быть, только хочет ответить на вопрос, как жить, как правильно строить свою жизнь. Каждый человек, верующий и неверующий, ощущает в себе это стремление жить хорошо, т.е. правильно, в согласии с каким-то положительным идеалом жизни. Все так или иначе тянутся к добру, к доброму. Но в чем состоит этот положительный жизненный идеал, откуда он берется, как приложить его к моей жизни? Вот вопросы, которые извечно ставит себе и на которые не устает искать ответа человек. Каждое философское учение, каждая религия рано или поздно предлагают ему свою мораль, свою этическую систему. И, быть может, справедливо было бы к каждой из этих систем обратиться с вопросом: «Скажи мне, чего ты хочешь от человека, и я скажу тебе, какова ты».

Мы часто слышим разговоры о «коммунистической морали», о гуманизме коммунистов. Значит, и эта система пришла к той же извечной проблеме, к тому же неумирающему вопросу: как жить? Тут нужно прибавить, что и борьба с религией ведется, как правило, тоже во имя морали. Христианство или, вернее, христианская мораль обвиняется в аморальности, в том, что она проповедует на деле эгоизм, самодостаточность, равнодушие к человеческой судьбе, к страданиям человека, к социальной несправедливости, к эксплуатации и т.д. Христианство, со своей стороны, предъявляет ряд обвинений, тоже морального порядка, идеологиям материалистическим: в разжигании ненависти, в сведении всего человеческого к «материальным ценностям», в отсутствии любви и т.д. Иногда эти взаимные обвинения кажутся разговором глухонемых. Каждый имеет свою, четко определенную позицию, свое понимание позиции противника и

ничего больше слышать не желает. Очень часто встречаются неверующие, которые говорят: «Возьмите ваше монашество. Разве это моральное явление? Человек уходит от всего, чтобы заботиться исключительно о своей душе. Разве это не эгоизм, не бегство с поля сражения, не равнодушие к участи страдающих людей? А между тем ваша Церковь предлагает монашество как высший идеал жизни, т.е. фактически насаждает религиозный эгоизм. И как вы согласуете это с заповедью, на которую так часто ссылаетесь, – на слова Христа, что нет большей любви, чем отдать свою душу за ближнего?»

Признаем сразу, что ответить на этот вопрос ясно и просто в двух словах, действительно, нелегко. По видимости прав неверующий. Но, быть может, только по видимости, и его пониманию монашества не хватает чего-то самого главного? Но если так, то нужно не спорить, а постараться объяснить. А для этого нужна готовность слушать, готовность пересмотреть те расхожие определения, которых так много расплодилось в мире, те упрощенные доводы, что делают невозможным понимание действительности во всей ее сложности и глубине.

«Атеизм неизбежно ведет к отрицанию морали, к аморализму и преступности. Если Бога нет, то все дозволено» – таково убеждение подавляющего большинства верующих. Но возьмем недавно трагически погибшего французского писателя Альбера Камю<sup>30</sup>. Он был неверующим, а между тем все его творчество – страстные поиски ответа на вопрос: как жить? Один из героев замечательного романа Камю «Чума» спрашивает: «Как быть святым без Бога?» Это вопрос самого автора, и надо признать, что за последние десятилетия мало было в нашем темном, разделенном, полном ненависти мире таких светлых и светящихся добром людей, как неверующий Альбер Камю.

Но можно пойти еще дальше. Критики религии часто говорят: «Все ваше добро, вся ваша мораль неразрывно связаны с учением о вознаграждении. Даже если вы делаете добро, то делаете его из желания получить награду и из страха быть наказанными, попасть в ад. Но разве такое корыстное

добро – добро? Разве этот страх наказания достоин человека?» И опять-таки, просто отмахнуться от этого обвинения не так-то легко. Все это означает одно: разговор о морали – стоящий разговор. Если доказать бытие Божие так же нельзя, как и его небытие, то можно честно, свободно и открыто обсудить те идеалы жизни и человека, которые на своих высотах и глубинах предлагает каждое учение, – постараться понять, иными словами, его мораль. И тогда мы убедимся, что моральное учение, выработанное конкретной религией или конкретной философией, как правило, очень отличается от расхожего представления о нем. Мы убедимся далее, что в основе всякой подлинной морали – не просто свод правил и предписаний, но целостная и глубокая интуиция, охватывающая и отдельную человеческую жизнь, и жизнь всего человечества. Мы убедимся, наконец, что о морали, то есть об этой интуиции, следует судить не только по текстам, но по тому, как воплотилась она в жизни людей, принявших ее всерьез и до конца. Ибо тут поистине применимы слова Евангелия: по плодам их узнаете их (Мф.7:16). Да и все в мире познается в конечном итоге по плодам – по той реальности, какую формируют идеи и идеологии.

Повторяю: спор или попросту разговор о морали – дело важное и давно назревшее. И именно с него и ни с чего другого нужно начинать разговор о религии. Действительно, пока мы говорим о монашестве как об абстрактной теории – картина одна, когда же заменяем эту абстракцию реальностью – преподобным Сергием Радонежским или Серафимом Саровским, – совсем другая. В том-то и дело, что мораль, в отличие от всякой теории, не имеет особого смысла на бумаге. Мораль стоит или падает, оправдывает или обличает себя как правда или неправда только в жизни.

Может быть, забегая вперед, следовало бы сказать: вся суть христианства – не в его учении, а в том и только в том, что учение это явлено было в образе реального человека, реальной жизни – в Христе. Но об этом мы еще будем говорить. Сейчас же согласимся в том, что глубокое и свободное обсуждение

вечно актуальной, вечно мучительной проблемы «Как жить и в чем состоит хорошая жизнь?» возможно и необходимо.

## Новая «религиозная война». «Религия» против религии

Атеизм есть разновидность веры, т.е. религии. Вот что давно пора понять и признать тем, кто, не вникая и не задумываясь, принимают основное утверждение антирелигиозной пропаганды, согласно которому борьба с религией ведется во имя «объективного», «научного» мировоззрения.

На деле же борьба эта – религиозная и ведется она во имя торжества одной религии над другой. Атеист – это человек, который верит в то, что Бога нет. Именно верит в это, совершенно так же, как религиозный человек верит в то, что Бог есть. В конечном итоге тот и другой исходят не из доказательств и рассуждений, а из устремления всего своего существа, из внутреннего порыва, из признания некой ценности ценностью всеобъемлющей, главной, конечной. В плане же так называемых доказательств атеист столь же мало может доказать, что Бога нет, как верующий – что Бог есть.

Ни один ученый, мало-мальски заслуживающий этого имени, да и ни один человек, хоть немного приобщившийся подлинной науке с ее объективными методами, не согласится по доброй воле с превращением науки в какую бы то ни было пропаганду, тем более – пропаганду антирелигиозную. Ибо пропаганда и наука – понятия взаимоисключающие. Поэтому при сравнении атеизма и религии нужно сравнивать не доказательства, а тот опыт, из которого доказательства эти вытекают, и, главное, те последние ценности, то видение человека и жизни, которыми этот опыт определяется и в вере верующего, и в вере атеиста.

В одной из прошлых бесед я цитировал слова Евангелия: По плодам их узнаете их (Мф.7:16). Да, только по плодам – духовным, материальным, культурным – мы можем оценить то или иное явление, т.е. узнать его подлинную ценность.

Так вот, спросим себя: что составляет такую последнюю, всеобъемлющую любовь верующего, то видение, про которое

можно сказать словами Пушкина: «Он имел одно виденье, непостижное уму»<sup>31</sup>? Конечно, это видение совершенства – такого, в котором сливаются и мудрость, и красота, и добро, и творчество, и свобода. Об этом и призыв Христа: Ищите прежде Царства Божия (Мф.6:33), т.е. желайте, любите, стремитесь к тому, что одно по-настоящему достойно желания, любви, стремления, – к тому, что есть предел и исполнение всех желаний. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5:48); К свободе призваны вы, братья (Гал.5:13); Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин.13:34) – вот святая святых, вот сердце религии! И что это так, а не иначе, свидетельствуют те, кто приняли христианство всерьез и до конца, сделав своей жизнью. Таково свидетельство Серафима Саровского и его «белой», пасхальной радости, таково свидетельство тысяч и тысяч людей, ставших почти физически проницаемыми для этого совершенства, для этой любви, для этого света.

И вот нужно спросить: что этому всему противопоставляет атеизм? В чем его «виденье»? В чем его свет? В чем его любовь? Только это важно, только об этом и нужно говорить.

## Новая «религиозная война». Две веры

О чем бы люди ни спорили по существу и всерьез, они ищут в конечном счете ответа на вопрос: «В чем смысл жизни, для чего мы живем?»

Вопрос этот и составляет в последнем итоге тему культуры, т.е. той сферы человеческой деятельности, которая понимается как совокупность духовных исканий, творческих усилий, размышлений о себе, в отличие от обывательской жизни, сводящейся к поискам средств забвения. Действительно, хотим мы или нет, но центральный факт человеческого опыта есть знание о том, что все мы смертны. «Я умру» – вот единственное безошибочное утверждение, какое я в состоянии произнести. Все остальное в моей жизни, включая то, что произойдет со мною через пять минут, покрыто мраком неизвестности. Поэтому в утверждении антирелигиозной пропаганды, что религия живет страхом смерти, невыносимостью для человека непонятного, но неизбежного конца, есть доля правды.

Только к этому нужно прибавить, что не одна религия, а в каком-то смысле вся культура, все созданные ею ценности тоже проникнуты мыслью о неизбежности смерти. Можно сказать, что детство человека кончается в тот момент, когда он осознает свою смертность. Ребенок ничего такого не осознает, отсюда и возможность для него самого полного, самого беспримесного счастья – счастья, не знающего о своей мимолетности. Мироощущение же взрослого человека (и это относится ко всем эпохам, ко всем культурам) определяется сознанием того, что он смертен, отчего и вопрос: «Что значит эта жизнь, которая неизбежно кончится?» – приобретает для него решающее значение. Поэтому все, что он делает, есть на последней глубине попытка так или иначе преодолеть бессмыслицу и ужас собственной обреченности. Как сказал Пушкин: «Нет, весь я не умру»<sup>32</sup>, так – пусть иными словами – хочет сказать и каждый человек. И потому всякое изучение человека, человеческого общества, человеческой культуры, которое не принимает во внимание этой трагической глубины, трагического измерения, –



всякое такое изучение неполно и в конечном счете ложно. Ибо, повторяю, вовсе не только религия говорит о смерти, вовсе не она одна пытается ее объяснить, примирить с нею человека. Тоже делает и любая идеология, смысл и назначение которой в том, чтобы раскрывать человеку цель его жизни и деятельности. Вот почему и идеология ищет того же – чтобы человек в первую очередь примирился со своей смертной судьбой и нашел оправдание своего кратковременного существования.

Нам говорят: вред религии в том, что она, перенося центр тяжести в иной, загробный мир, отрывает человека от заботы об этом мире, делает его равнодушным к этой жизни. Но ведь совершенно то же можно сказать, например, и о марксистской идеологии, которая цель человеческой жизни полагает в усилии, направленном на идеальное «общество будущего». Ведь это идеальное будущее – тоже своего рода другой и даже «загробный» мир, поскольку те, кто его строят и ради него умирают сейчас, сами его не знают и в нем не участвуют. Если религия во имя будущего призывает отказаться от многого в настоящем, то этого же требует и всякая идеология, направленная на идеальные ценности будущего. Французский писатель Марсель Пруст<sup>33</sup>, человек неверующий, буквально довел себя до смерти нечеловеческими усилиями, которые он предпринимал, чтобы закончить свой знаменитый роман «В поисках потерянного времени», ибо для него этот роман означал преодоление собственной смерти, т.е. бессмертие в творчестве.

Поэтому спор, вечный спор идет не о загробном мире, не о том, есть он или нет, а о том, в чем человек видит последнее свое назначение или, еще проще, – как преодолевает бессмыслицу смерти. Спор идет о реальности, о действенности того идеала, которым живет и ради которого готов отдать свою жизнь человек. Человек по существу своему религиозен. И если он отказывается от религии трансцендентного, т.е. надмирного Бога, то необходимо принимает религию бога имманентного, которым может стать социализм, история, культура – всё что угодно. И тут и там мы имеем проекцию человеческой жизни в какой-то идеал, в идеальное будущее, повседневным опытом

нам не данное. И тут и там, иными словами, мы имеем веру, и только она, только вера, каков бы ни был ее объект, по слову Евангелия, движет горами (см.: Мф.21:21). Давно пора понять, что материализм – тоже вера, ибо утверждать, что на его основе можно выстроить «идеальное общество», – значит высказать априорное религиозное суждение.

Объекты веры могут быть разные, но вера как движение человеческого сознания – та же самая. Поэтому в мире идет спор не между верой и неверием, а между разными верами. Те же, кто не верят ни во что, – те просто оппортунисты, ловкачи и обыватели-приспособленцы, в конечном итоге выпадающие из сферы человеческой нравственности.

Особенность нашей эпохи не в том, что она менее религиозна, чем другие, ибо это неправда, а в том, что она, в отличие от них, лишена единого объекта веры, единой системы религиозных ценностей, которые были бы безоговорочно приняты всеми. Наша эпоха, как ни странно это звучит, есть эпоха новой религиозной войны, ибо в ней сталкиваются разные религиозные идеалы, разные понимания смысла человеческой жизни. Прежние религиозные войны решались огнем и мечом, и мы знаем, что это решение провалилось – в наше время, во всяком случае, оно невозможно. Ибо если что и можно считать доказанным, то это полную невозможность истребить или замолчать идеи. Превосходство идеи над силой есть, собственно говоря, потрясающее открытие нового времени. Поэтому если сталкиваются на последней глубине разные теории о смысле и цели человеческой жизни, то единственным настоящим полем сражения между ними может быть лишь свободный спор. Ибо победит в этом сражении только тот ответ, который сумеет объять собой всю бесконечную глубину человеческого искания, человеческой жажды. Именно к этому и призывает Евангелие: Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф.7:7).

## Новая «религиозная война». Спор о Боге и богах

«Между «Есть Бог» и «Нет Бога», – записал когда-то в свою книжку Чехов, – огромная пропасть, и пересечь ее можно только с большим трудом и усилием. Поэтому одни глупые считают, что это легко»<sup>34</sup>.

Цитирую по памяти, но смысл именно таков. И поверхностная вера, и поверхностный атеизм одинаково неубедительны. Многие люди говорят: «Я верю в Бога», но живут фактически так, как если бы Бога не было, и это значит, что их вера – по существу не вера, а привычная дань традиции, которая их по-настоящему не волнует. И многие так называемые неверующие вполне удовлетворяются элементарными доводами наподобие этого: «Наука доказала, что Бога нет». Что это значит, не знает никто, и как наука может решить эту неподведомственную ей проблему – не известно. Но вот один сказал, а другой повторил, и эта бессмысленная фраза выдается за осмысленное утверждение и попадает в учебники.

Между тем, как я уже говорил в одной из бесед, вопрос о вере можно в каком-то смысле и, так сказать, методологически отделить от вопроса об объекте или содержании этой веры. И начать надо с того бесспорного факта, что все люди во что-то верят или, во всяком случае, те, кто ни во что не верят, большинством окружающих считаются дефективными и бесполезными личностями. Казалось бы, с точки зрения атеизма, который выдает себя за «научный» (т.е. построенный всецело на логике и опыте), утверждение наподобие «Человек этот ни во что не верит», должно звучать как высшая похвала: «Вот, мол, человек, который освободился наконец от дурмана всех верований и пришел к истинно научному миропониманию!» Но откройте биографию любого деятеля революции, и там на каждом шагу будет сказано, что он «глубоко верил» в торжество идеалов, в торжество своего класса и т.п. Про того же Чехова в скучно-казенном предисловии к полному собранию его сочинений мы читаем, что он «верил в светлое будущее».

Так вот, скажите на милость, почему вера в никому не ведомое «светлое будущее» не только допускается, но и превозносится, а вера в Бога и будущую жизнь считается дурманом и вредным суеверием? Получается двойная бухгалтерия: верить можно, но только в то, во что приказано верить. Но ведь в основе научного мировоззрения, в основе подлинного атеизма должно лежать, казалось бы, отрицание веры – веры как таковой, веры как убежденности в том, что не вытекает из непосредственного опыта и знания. С точки зрения непосредственного опыта и знания, идеалы и цели вроде «свободы», «равенства» и «братства» так же утопичны, так же недоказуемы, как Царство Божие. Почему же, спрашивается, словами о вере и призывами верить переполнены книги тех, кто выдают себя за стопроцентных атеистов? Почему жизнеописания их героев и вождей, как и партийные их программы насыщены религиозной, по сути, терминологией? Понятно почему: без веры человек всего этого не только не услышит, но и не поймет.

Человек, который ни во что не верит, – это животное, все подчиняющее своему чреву, самым низким и грубым потребностям своего организма. Человек без веры – это нигилист, отрицающий присутствие в жизни всякого смысла и живущий минутой. Отсюда ясно и неопровержимо следует, что все, так или иначе возвышающее человека над этой животнo-эгоистической и нигилистической пустотой, есть вера. И поэтому нужно признать веру таким же неотъемлемым свойством человека, как стремление к знанию, как способность любить и т.д., но при этом – свойством, отличным от всех других, поскольку оно не вытекает из данных непосредственного опыта, из непосредственного восприятия реальности как таковой. С точки зрения логики, вера – понятие иррациональное, но оно выражает то, что реально есть и без чего человек попросту выпадает из человечности.

Только признав это положение, можно пойти дальше и спросить уже о содержании и направленности веры. Только теперь можно обратиться к человеку с единственно верным, единственно достойным его вопросом: «Во что ты веришь?»

Подчеркнем – не с вопросом: «Веришь ты или не нет?», к которому хочет свести все дело казенная антирелигиозная пропаганда, а с вопросом: «Во что ты веришь?» Ибо в том, что он во что-то верит, сомнений быть не может, и только вопрос о содержании его веры плодотворен и может привести к какому-то ответу.

Теперь допустим на минуту, что объект веры – любой веры – мы назвали Богом. Ибо слово «Бог» неоднозначно и может означать множество самых разных объектов веры. Всякая вера, как мы видели, направлена на некий абсолют, на что-то совершенное. Сказать: «Я верю в торжество свободы (или справедливости, или равенства, или бесклассового общества)» – значит признать и исповедовать, что все эти ценности признаются мною высшими и абсолютными. И вот если всякую высшую и абсолютную ценность, поскольку она вытекает не из опыта и знания, а из веры, назвать для простоты «Богом», то вопрос, с которым мы обращаемся к человеку, можно уточнить: «В какого Бога ты веришь? Что или кто твой Бог?» И спор между верующими превращается тогда в спор о богах. То, что ты называешь «Богом», заслуживает ли оно этого имени как действительно высшая и абсолютная ценность, достойно ли оно веры?

Когда зародилось христианство, проповедь его была адресована не безбожникам, а людям, которые верили в нечто, и по-своему глубоко. Но оттого-то и христианство обратилось к ним с такими словами: «То, во что вы верите, – не Бог, а идол, т.е. ложный бог, и значит, вы – жертвы обмана».. И вот, сказав про современный мир словами древнегреческого поэта, что он «полон богов», необходимо признать большинство этих богов идолами. И потому давно пора спросить: чему каждый из нас отдает свое сердце, свою веру? Ибо отсюда, и только отсюда, может начаться настоящий спор о религии. Ведь в том, что у всех людей какая-то вера, какая-то религия так или иначе есть, сомнений быть не может. В наши дни ставится вопрос об истинной религии – о том, что в нашей жизни заслуживает поклонения, заслуживает имени Бога.

## Начало всего. Главная тема

Сущность всякой религии – только в Боге. Вот что нужно понять всем, кто участвует в давно уже длящемся споре о религии. Все остальное в ней второстепенно. В определенном смысле можно согласиться и со знаменитой формулой Маркса: «Религия – опиум для народа»;<sup>35</sup> с другой стороны, можно при желании без труда доказать социальную и политическую пользу религии, и оба ряда доказательств будут основываться на фактах. И все же по-настоящему религия начинается там, где человек перестает думать о вреде и пользе, отвлекается, так сказать, от себя и возвышается над миром собственного, всегда маленького, неизбежно ограниченного «я».

«Бог» – одно из человеческих слов. Его пишут, произносят, переводят на разные языки, анализируют с филологической точки зрения. Но слово это выросло в человеческом языке, чтобы обозначить то, что стоит за всеми другими словами, что в слова до конца не вмещается, что взрывает изнутри их узко-грамматический или узко-социальный смысл, выводя человека из пленения земным.

Ложь борцов с религией, как и ошибка ее защитников, в том, что и первые, и вторые часто говорят о ней безотносительно к тому, в чем только и заключается ее смысл. А смысл ее – именно в этом переживании, в этом опыте Бога и божественного, в этом прорыве за и ввысь. Без этого все разговоры о религии бессмысленны, как изучение нотных значков без всякого представления о звуках, которым они соответствуют. Но что бы ни говорили, как бы ни спорили о религии в социально-общественном или даже научно-философском плане, ясно одно: не было эпохи, не было культуры, в которых человек не ощущал, не переживал бы таинственное присутствие Того, Кто на человеческом языке называется Богом. Никакие открытия, никакие полеты в космос не могут ни отменить, ни развенчать этот таинственный опыт, как не отменяют, как не развенчивают они, скажем, опыт любви. Наука может очень многое открыть о любви, но никогда не

скажет ничего о самой ее сущности, о чуде нашего преображения, когда мы любим. И так же ничего никогда не скажет никакая наука о чуде веры. Ибо что означают утверждения: «Есть Бог» – «Нет Бога»? Ведь Бог – не один из предметов, про которые можно сказать, что они либо существуют, либо нет. Бог – это опыт того запредельного, что дает новую глубину, новый преображающий смысл всем нашим словам и представлениям, но не укладывается в них.

Еще древнехристианские мыслители говорили про «отрицательное богословие», т.е. про такое учение о Боге, в котором вернее всего – опыт, а присутствие Божие выражается в отрицании: «Бог не то и не это, но знаем, что Он есть». Мы знаем также, что на протяжении всей мировой истории загорались души такой радостью и таким светом, что не хватало слов выразить их. Мы знаем, что в звуках, красках, словах человек вечно пытался эту радость и этот свет выразить и никакие силы в мире не смогли этот опыт уничтожить.

Тут, и только тут – главная тема религии.

## Начало всего. Универсальное знание

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и Того, Кого Ты послал, – Иисуса Христа» (ср.: Ин.17:3).

В этих слова Христа, записанных в Евангелии от Иоанна, дано, пожалуй, наиболее точное, наиболее полное, наиболее глубокое определение самой сущности христианской веры. Я говорил в прошлой беседе о необходимости отличать веру как знание от того знания или, вернее, той части знания, которая сейчас называется знанием «научным». Я говорил, что главной и поистине трагической ошибкой многих наших современников нужно признать постоянное сведение, или редукцию, всего доступного человеку знания к одному лишь дискурсивному и эмпирическому методу естественных наук. Только признав ограниченность этого типа знания одной, хотя и очень важной сферой эмпирического опыта, – опыта, доступного измерению, лабораторному воспроизведению и математическому анализу, – только признав эту ограниченность, можно заняться другими видами и сферами знания и прежде всего – верой. Ибо вера, конечно, есть знание, и, как утверждает христианство, – самое высшее знание, больше того: такое знание, которое дает жизнь вечную. Но это знание недоступно эмпирическому анализу, расчету и даже описанию в так называемых научных категориях.

В чем же оно, это знание, состоит? Как может оно, не будучи рассудочным, передаваться от одного к другому? И наконец, как можно доказать, что такое знание вообще есть? Я думаю, что нужно прежде всего попытаться ответить на последний вопрос, ибо в той путанице слов и понятий, в которой мы живем и которую поддерживает примитивная антирелигиозная пропаганда, вопрос этот вызывает обычно больше всего сомнений и возражений. В самом простом виде он известен каждому человеку: есть Бог или нет? Это знаменитая проблема так называемых доказательств бытия Божия. Я говорю: «Бог есть», вы говорите: «Бога нет». Но что, собственно, означают и это утверждение, и это отрицание? Оба



они предполагают, очевидно, какое-то знание, и в одном случае его можно выразить формулой: «Я знаю, что Бог есть», в другом – «Я знаю, что Бога нет». Но что такое это знание? Отрицательная его формула доказывается, как я уже говорил, редукцией знания к «знанию научному». В расширенном виде она звучит так: «Поскольку знание есть всегда знание научное, т.е. знание о чем-то, что можно измерить, изучить, связать с другими существующими предметами, и поскольку, далее, никакая наука, никакой опыт, никакое измерение никогда не могли обнаружить объект, именуемый Богом, то такого объекта и нет. Если ни физика, ни химия, ни биология, ни экономика, никакая другая наука не могут даже помыслить нечто, именуемое Богом, а с другой стороны, в Нем не нуждаются, то у нас достаточно оснований сказать, что Бога нет и что мы это знаем». Вот, вкратце, главная суть доказательства, что Бога нет. И с этой точки зрения заявление космонавта, что он был на небе и не видел там никакого Бога, вполне логично, ибо небо всегда мыслилось как местопребывание Бога (вспомним хотя бы молитву Господню: «Отче наш, Иже еси на небесех...»).

Но если я прав, отрицая законность простого отождествления знания с таким вот «научным знанием», и если я прав, утверждая, что не только Бог, но и многое другое, связанное с человеком и миром вокруг нас, не укладывается в «объект» естественных наук, тогда все это доказательство рушится, теряет всякую цену, оказывается иллюзорным. Тогда и утверждение: «Я знаю, что Бог есть» – необходимо отнести к другому плану знания и к другому плану опыта. Я сказал «опыт». И действительно, нет и не может быть знания без опыта, знания, так сказать, «в себе». Знание – это всегда отношение субъекта к объекту, и отношение, вызванное действием объекта на субъект. Можно сказать: «Я вижу». Но для того чтобы я мог видеть, должно быть то, что я вижу; и для того чтобы я слышал, должно так или иначе звучать то, что я слышу.

И вот первым и самым важным доводом в пользу веры как знания служит, конечно же, универсальность религиозного опыта. Универсальность не только в том смысле, что всегда и

всюду были люди, верующие в Бога, но и в смысле глубочайшего единства этого опыта. Ведь даже с самой что ни на есть естественнонаучной точки зрения, если одно и то же явление повторяется и наличествует в самых разных условиях и фактически вне зависимости от времени и пространства, то можно законно утверждать, что у явления этого одна и та же причина. Если столько людей самого разного происхождения, принадлежащих к самым разным ступеням культурного, экономического и политического развития, верило и верит в Бога, если, далее, их опыт в основном совпадает и его можно свести к нескольким основоположным утверждениям, если, наконец, никакие перемены внешних условий не привели к радикальному прекращению этого опыта как универсального явления, то не может быть, чтобы у такого опыта не было причины. И равным образом не может быть, чтобы причина эта была иной, чем та, которую признает и которой живут все этот опыт имеющие.

Вот, опять-таки в сжатом виде, обоснование формулы: «Я знаю, что Бог есть», или объяснение веры как знания. Остается, правда, несколько существенных возражений и, в частности, следующее: «Вы говорите об универсальности и единстве опыта Бога, а между тем существует огромное множество религий, отрицающих друг друга». Это правда. Но можно ответить так: «На свете существует бесконечное множество языков, и большинству людей большая их часть совершенно непонятна. Между тем язык как явление универсален, и сравнительное изучение языков приводит к утверждению единства их структуры». Различие, иными словами, не отрицает и не исключает единства, поскольку все различия суть различия внутри некоего изначального единства.

Так же и с религиями. Различия между ними существуют внутри основного единства. А про единство это, выраженное в формуле «Я знаю, что есть Бог», мы только что говорили.

Мы приходим, следовательно, к очень важным выводам. Религия, или вера, есть знание, так же основанное на опыте, как и знание естественнонаучное. Далее, опыт этот не единичный, но, как и опыт природы, универсальный. И наконец, опыт этот

всегда и всюду приводит к одному и тому же утверждению: «Я знаю, что есть Бог». Только теперь мы можем пойти дальше и попытаться заглянуть внутрь этого опыта.

## Начало всего. Доказательство от света

В прежние времена в учебниках богословия и философии приводились так называемые доказательства бытия Божия. Потом не только неверующие, но и сами верующие отказались от них, признав неудачными или, вернее, не соответствующими своему назначению. В Бога верят, но как раз потому Его и не «доказывают», ибо доказательство по самой своей природе ни в какой вере не нуждается. В таблицу умножения верить не приходится именно потому, что вся она построена на доказательствах. Таким образом, веру можно определить как знание, не нуждающееся в рациональных доказательствах, или как знание о том, что доказательству не подлежит. С этим, повторяю, согласны и верующие и неверующие.

И только на основе этого согласия можно поставить главный вопрос, ответ на который разделяет верующих и врагов веры. Я говорю сейчас именно о ее врагах, потому что вне веры остается много сомневающихся, колеблющихся или же неверующих, так сказать, по отсутствию веры, но без всякого желания ее искоренять. Активные же враги веры утверждают, что Бога нет и что это можно доказать. Вот тогда-то впору спросить: как можно доказать отсутствие, несуществование чего-то или кого-то, когда нельзя доказать его существование, когда понятие «Бог» по самой своей сути исключает доказательства в ту или другую сторону?

Верующие говорят: «Единственным нашим доказательством здесь является наша вера». И если бы враги веры сказали в ответ: «А для нас доказательством является наше неверие», это было бы честно и просто. Но нет, они утверждают, что отсутствие Бога можно доказать «научно», что оно уже доказано. Но как же оно доказывается? Если ссылкой на то, что «Бога никто никогда не видел», то ведь то же самое говорил пламенно верующий апостол Иоанн Богослов. Если низведением Бога в разряд предметов, подлежащих научному исследованию, то это противоречит понятию Бога как стоящего вне и над всем сущим. Иными словами, если невозможно

научно доказать существование Бога, то так же невозможно научно доказать и Его несуществование. И так называемой научно-атеистической пропаганде давно пора перестать позорить себя смехотворными аргументами, ибо в этом пункте она лет на сто отстала от религии, не претендующей доказывать то, что доказательству не подлежит.

Но означает ли это, что тут и кончается всякая возможность спора или диалога между верой и неверием? Напротив, лишь тогда, когда вера и неверие убеждаются в невозможности навязать себя силой или неуместным обращением к авторитету науки, лишь тогда и возможно по-настоящему говорить о вере. Ибо объектом такого разговора будет, конечно, не Сам Бог, а вера в Бога. А вот существование веры, и притом всегда и всюду, во все эпохи человеческой истории и во всех культурах, доказать нетрудно. Что религия – явление универсальное, с этим спорить невозможно.

Что же такое вера? Здесь опять безбожная пропаганда прибегает к подтасовке. Она почти никогда не говорит о содержании веры, об опыте веры, о том, что отличает верующего от неверующего, но всегда либо о том, что сама выдает за причины религии, либо о нравственных недостатках верующих. Отбросим сразу же второй аргумент, ибо никто не говорит о своих недостатках и грехах больше, чем сами верующие. Вот сейчас пост, и в храмах звучат слова, которые потрясают душу прорывающимся в них рыданием. Привожу их по-славянски, чтобы лучше передать всю силу покаянного порыва: «Согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сохранихом якоже заповедал еси нам»<sup>36</sup>. Нет, о недостатках верующих говорить не стоит, о них все сказано и в самом Евангелии – например, в горьком вопрошании Христа: «Когда Сын Человеческий вернется, найдет ли Он веру на земле?» (ср: [Лк.18:8.](#))

Но столь же неубедителен и, по существу, ложен разговор о причинах религии. Любое сложное явление в мире имеет не одну, а тысячи причин. И старый довод, будто религия рождается из невежества, страха и эксплуатации, сегодня не выдерживает критики. «Невежество» – но идеологической

цензуре приходится скрывать, что в Бога верят профессора и ученые. «Страх» – но за веру люди всегда были готовы умирать. «Эксплуатация» – но вот на пятидесятом году так называемого бесклассового общества религия живет, и если бы не полицейские меры и не открытое преследование, жила бы еще лучше. Все эти объяснения никуда не годятся, и следовало бы, конечно, говорить не об этом, а о содержании или, точнее, об опыте веры.

И тут-то мы и подходим к самому главному. Ибо если об этом опыте судить по его лучшим представителям, то, опять-таки, не может быть никакого сомнения, что опыт этот – положительный, светлый и радостный. Я не могу и не хочу сказать, что этот опыт «доказывает» существование Бога. Но я могу и хочу сказать, что ничего выше, чище, светлее и лучше праведников, т.е. истинных свидетелей веры, человечество не дало. И, конечно, не случайно то, что антирелигиозная пропаганда никогда об этом не говорит. Она тратит массу энергии, стремясь доказать, что Христа не было, но никогда не объяснит, что же притягивает к нему миллионы людей. Она никогда не скажет, что если бы Он был, то это был бы лучший из людей всех времен, никогда не процитирует Его слова: *Большая любовь никто же имеет, аще кто душу свою положит за други своя* (ср.: [Ин.15:13](#)). И если Его выдумали, то само бытование такого образа среди нас – все равно остается фактом, ни с чем не соизмеримым.

И вот в каждом поколении по всей земле являются люди, живущие такой радостью, такой любовью, такой силой веры, что мир на время просветляется ими. Вот выходит из своей лесной кельи светлый старец Серафим, и всё вокруг него – радость и свет. Доказательства? Нет, факты. И только об этих фактах стоит говорить, только о них стоит спорить, ибо вера – не доказательство, не теория, а живой пример человека, вдруг ощутившего в себе несказанный свет, несказанную радость и произнесшего слова, на которые никакая пропаганда ничего возразить не может: «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих»<sup>37</sup>.

## Начало всего. Доказательство от полноты

Ничто, может быть, не вводит так в самую сущность веры, в ее опыт и радость, как праздник Преображения. Нам говорят: «Вера от страха, от рабства, от неудовлетворенности; религия – от недостатка того-то и того-то. И потому, когда наступает достаток, вера должна отмереть как ненужная».

Нет, друзья, вы ошибаетесь и сознательно или бессознательно вводите в соблазн тех, кто еще верит вам. На деле вера – не от недостатка, а от избытка, от полноты радости. Вот солнечным летним утром выбегает в сад мальчик. И так все прекрасно кругом – солнце и небо, утренний свет и цветы, что он бьет в ладоши, смеется и кричит: «Как хорошо!» Это лишь слабая, бледная аналогия вере, но аналогия верная. А в Евангелии рассказывается, как Христос взял с Собой трех учеников и поднялся на гору. И там, на горе, лицо Его преобразилось, а одежда засияла светом. И вот Петр, один из учеников, сказал: Господи! хорошо нам здесь быть! (Мф.17:4) Но ведь то же сказал мальчик поутру в саду, и то же говорил когда-то, в самый счастливый, самый светлый день своей жизни каждый из нас.

От нас постоянно хотят, чтобы мы изложили содержание своей веры «строго научным» языком. Но разве наука может определить, в чем радость утра и солнца, любви и самой жизни? Нет, и никто от нее этого не ждет, ибо у науки свои задачи, свое назначение. И совсем иное дело – таинственный язык евангельского повествования, как наверху горы, в чистоте и первозданной красоте мира явлено было то, к чему призван человек — чистая радость, свет и полнота. Такая полнота, когда ничего другого не нужно и остается лишь сказать: Господи! хорошо нам здесь быть!

Это и есть опыт веры. И кто хоть раз в жизни испытал это, того разуверить нельзя: он был на этой горе, видел, ощутил и помнит этот свет.

Уничтожить можно верующих, но не веру. Можно изолировать детей от церкви и богослужения, можно запретить

чтение и даже само издание Евангелия, можно вытеснить Церковь на обочину жизни, можно печатать «разоблачительные» брошюры о пьяных священниках и корыстных епископах, можно употребить государственный аппарат, армию, полицию – все это можно сделать. Но никакими силами в мире нельзя убить веру, как нельзя убить вечный, неумирающий свет любви. Вера останется и разрушит все преграды. Всегда и всюду найдутся в этом мире насилия и жестокости люди, способные сказать: «Господи! Хорошо нам здесь быть!», способные разглядеть во всем тот свет, что засиял на земле в день Преображения и отблеск которого остался на ней.

Про борьбу с религией можно сказать только одно: она напрасна.



## Начало всего. Возможность невозможного

Произнося Символ веры, т.е. краткое изложение того, во что они верят, христиане упоминают всякий раз Понтия Пилата.

Понтий Пилат был римским губернатором Палестины во времена проповеди Иисуса Христа. Его имя и служба в Палестине должным образом зарегистрированы в анналах римской истории, и, таким образом, историческое его существование не может вызывать сомнений.

Я начал с упоминания Пилата, потому что включение его в Символ веры, где сказано, что Христос был распят «при Понтийем Пилате», напрямую связывает веру христиан с историей и географией. Действительно, вера, согласно которой в определенный момент истории, в определенном месте земного шара произошло событие не просто важное, но исключительное, не сравнимое ни с каким другим – пришествие в мир, рождение в образе Младенца Самого Бога, – вера эта составляет парадоксальную особенность христианства.

Конечно, другие религии тоже могут быть в большей или меньшей мере связаны с историей. Так, магометане верят в особое призвание и особую роль пророка Магомета, евреи считают свою историю историей богоизбранного народа, и даже буддисты связывают себя с полуисторической личностью Будды. Но только христианство вот уже почти две тысячи лет утверждает как самую сердцевину, как святая святых всей своей веры, что Человек Иисус, родившийся в Вифлееме Иудейском при царе Ироде, пострадавший и умерший позорной смертью тридцать лет спустя при Понтии Пилате, – что Иисус этот есть воплощенный Бог, ставший Человеком, чтобы навсегда соединить человеческий род с Собою, спасти его от греха и смерти, ввести в вечную жизнь и вечную радость. Вера эта не перестает удивлять скептиков. Не было эпохи, когда люди, руководимые в своей жизни так называемым здравым смыслом, научным мировоззрением и т.д., не спрашивали бы с искренним недоумением, как можно в это верить. И потому не следует думать, будто вопрос этот возник только в наши дни,

будто лишь «современная наука» (как утверждает, в частности, антирелигиозная пропаганда) доказала, что все это выдумки, суеверия, легенды. В Деяниях апостолов, одном из самых ранних текстов христианства, рассказывается, что когда апостол Павел пришел в Афины и стал проповедовать тамошним философам о Христе, те рассмеялись и сказали: Об этом послушаем тебя в другое время (Деян.17:32). И так было всегда: всегда были люди, считавшие христианское учение невероятным, а потому и ложным, всегда отвергавшие его во имя своего «здорового смысла», своей науки.

Но, с другой стороны, всегда были люди, не только принимавшие это учение, но и считавшие его пределом мудрости, окончательным ответом на все человеческие вопрошания, вершиной всякой философии, всякого знания, всякой науки. Такие люди были в I веке нашей эры, но таких людей великое множество и в наши дни. И никто не может доказать, что на стороне неверия всегда были люди передовые и ученые, а на стороне веры – одни неучи и простецы. Зачем далеко ходить, возьмем нашу собственную историю: в то, что Христос был Бог, пришедший в мир, верили и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, верил академик Павлов, верили бывшие корифеи марксизма Булгаков, Бердяев<sup>38</sup>, Струве<sup>39</sup> и многие-многие другие. И следовательно, на вопрос: «Как можно в это верить?» одни отвечали: «В это верить нельзя», а другие: «Ничего нет выше, прекраснее и разумнее этой веры, все к ней ведет, и она разрешает все проблемы».

И нельзя сказать даже, что количество верующих сокращается. Было время, когда казалось, что интеллигенция верит меньше, а так называемый простой народ – больше. Но сейчас наоборот: интеллигенция все чаще возвращается к вере, тогда как менее образованные люди все еще повторяют смехотворное утверждение: «Наука доказала, что Бога нет», как будто существовала наука, целью которой было что-то доказывать в этой области. Если раньше образование часто уводило от веры, то теперь оно, напротив, все чаще приводит к Богу. Поэтому и вопрос: «Как можно в это верить?» есть вопрос

в конечном счете бессмысленный: если люди верят, значит, можно.

Гораздо важнее узнать, во что именно они верят, почему не только считают свою веру совместимой с научным знанием, здравым смыслом и современностью, но видят в ней увенчание всякого знания, высший смысл всего и главную нужду современного человека. А отвечая на этот вопрос, нужно начинать не с рассуждения о том, что возможно, а что невозможно. Ибо если бы средневековым людям сказали, что человек со временем будет за несколько часов перелетать океан, они тоже возразили бы, что это невозможно. Но вот оказалось, что возможно. Неверующий человек говорит: «Никакого Бога нет, а потому утверждение, что Бог стал человеком, – вздор». Со своей точки зрения он, конечно, прав: если Бога нет, то все, что о нем говорят – в равной степени вздор.

Но допустим, что Бог есть, что есть Начало всех начал, что есть Высший разум – источник всякого разума, что есть Высшее добро – мерило всякого добра, есть Высшая жизнь – источник всякой жизни. И если Бог есть, если Он Источник, Начало и Мера всего знания и добра, красоты и любви, то почему невозможно, что Он явил Себя людям в земной истории, в человеке как образ любви, совершенства и сострадания? Более того, если Бог есть, тогда все это не только не невозможно, но, напротив, соответствует основной человеческой интуиции, что Бог есть совершенное Добро, совершенная Красота, совершенная Любовь, и потому явить Себя людям в любви, красоте и добре естественно для Него.

Учение Христа, Сам образ Его невозможно вывести ни из какого материализма, ни из какой науки. Невозможно – но это учение и этот образ присутствуют в мире. И вот эту возможность невозможного, реальность неслыханного, исполнение невероятного мы и празднуем в Рождестве. И снова и снова утверждаем, что тут – сердцевина и глубина человеческого самопонимания, что тут – начало божественного призвания человека.

## Начало всего. Историческое лицо, Господь, Учитель

Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, т.е. никогда не существовавшая? Ведь теорию эту не разделяет уже ни один уважающий себя историк, и повторяют лишь те, кому приказано это делать вне всякого отношения к подлинно научному методу. Не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом – куда большим, чем чудеса, описанные в Евангелии.

Христианство появляется в истории внезапно, распространяясь на протяжении каких-нибудь тридцати лет. Сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце века римский историк Тацит (не христианин, а враг христианства) уже говорит то, о чем сообщается и в Евангелии: что Христос жил в Палестине и пострадал при Пилате. Но Пилат – не миф: многие еще помнили его в ту пору, когда писал Тацит. И все имена людей и городов в Евангелии предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве.

Но оставим исторические доказательства, хотя они и неопровержимы. Вдумаемся в суть самой потребности доказать во что бы то ни стало, что Христа не было. Ведь куда проще было бы сказать: «Христос существовал, но мы в Его учение не верим, ибо оно ложно, оно есть зло». Но нет, этого-то как раз и не говорят, и не говорят потому, что никто никогда еще не решился прямо сказать такое о Христовом учении. Это значило бы назвать злом учение о любви, прощении и сострадании, о человеческом братстве и солидарности. Ведь именно это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. Достаточно однажды прочесть эту книгу и убедиться, что все в ней – о любви к человеку, все этой любовью пронизано и вдохновлено. Ребенок в гневе толкает стул, о который ударился, и сердито кричит: «Уйди, ты мне не нужен!» Но стул по-прежнему стоит. Вот так же и люди, в тайниках души своей не желающие любви, боящиеся ее как огня и проповедующие

ненависть, ударяются об эту маленькую книжку и кричат: «Тебя нет!»

Но она остается, и другие люди уже две тысячи лет читают ее и вопреки всему черпают в ней силы жить и верить, что настоящее счастье только в любви, что любовь – не обман, но сила, победа и радость. Во все времена одни верили, другие не верили в Христа как в Бога. Но те и другие верили Ему, т.е. в то, что учение Его – мерило человечности.

Допустим на секунду, что Христа не было. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший все, сказанное Христом, принесший людям поразительное учение о грехе и прощении, о новой жизни, свободе и любви, выдумавший и эту смерть на кресте, и воинов, издевавшихся над Распятым, и стоявшую у креста Мать. И того, кто это выдумал, нужно, опять-таки, признать единственным и неповторимым учителем. И мы снова упрямся в ту же проблему.

Но Христос был. А для людей, которые услышали Его учение и хоть немного стараются им жить, Он по-прежнему остается Учителем и Господом, зовущим к тому единственному, что достойно человека.

## Начало всего. Заново поверить в непобедимость добра<sup>40</sup>

«Верующий», «неверующий» – какие это, в сущности, отвлеченные слова! Как будто верующий всегда, все время верит, как будто неверующий все время живет своим неверием. Вот в Евангелии отец больного ребенка бросается к Христу со словами: Верую, Господи! помоги моему неверию (Мк.9:24), и в словах этих больше правды о человеке, глубокой, подлинной правды, чем во всех отвлеченных спорах о вере и неверии. Вот во дворе у первосвященника трижды отрекается от Христа апостол Петр, и Христос взглянул на него, и Петр вспомнил, как обещал Христу умереть с Ним, и сказано про него, что выйдя вон, плакал горько (Мф.26:75). И наконец, Сам Христос в предсмертной муке обращает к Богу эти страшные слова: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? (Мф.27:46).

И что по сравнению с этими примерами могут значить все наши ученые «доказательства»? Верующий, как нечто само собой разумеющееся, доказывает свою веру, неверующий так же точно – правду своего неверия. Но верующий, если только он сам с собою правдив, знает, что слишком часто живет так, как если бы не было никакого Бога, слишком часто в суматохе и шуме жизни где-то теряет, растрчивает свою веру. А в ином неверующем больше печали по Боге, больше тоски по свету и истине, чем в ином самодовольном фарисее из числа верующих.

Поэтому и так пусты, так беспредметны на последней глубине все споры о вере и неверии. Ибо никогда еще и ни в ком не родилась вера от доказательств и аргументов, не родилась она даже от чудес. Евангелие полно рассказов о чудесах Христа, но как же вышло так, что в последнем счете все оставили, предали Его? А вот когда не было никакого чуда, когда, брошенный всеми, Он умер на кресте, распинавший Его сотник воскликнул: «Воистину Человек сей – Сын Божий» (ср.: Мф.27:54).

Вспоминается другой библейский рассказ – о пророке Илии, которому сказано было, что он увидит Бога. И сначала была буря, но не в буре был Бог; а потом был огонь, и не в огне был Бог; и был наконец, как удивительно сказано в Библии, глас хлада тонка (3Цар.19:12), и в нем был Бог. Был, иными словами, тихий голос, дуновение, прикосновение чего-то или Кого-то к душе человеческой, была таинственная встреча.

И вот о такой-то вере и говорит все христианство, в ней его суть. Оно не о громе, и не о буре, и не об огне. И доходит оно по-настоящему только до того, кто может, как опять-таки сказано в Евангелии, «вместить», т.е. принять таинственные слова: Дух дышит, где хочет... а не знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин.3:8), кто способен услышать неслыханную весть о Царе Небесном в рабском виде, невероятное благовестие о смиренном Боге.

Эти мысли приходят в голову, когда читаешь и слушаешь споры о религии, когда с обеих сторон несется похвальба своими победами и торжествами. Сила против силы, пропаганда против пропаганды, ненависть против ненависти и в конечном итоге так часто – зло против зла. Но все христианство утверждает, что злом не разрушить зла, ненавистью не победить ненависть, все это – «мир сей», про который давно уже сказано, что он лежит во зле (1Ин.5:19). И не пора ли нам, называющим себя верующими, вспомнить этот сердцевинный парадокс христианства – что побеждает только Крест, его непобедимая и непостижимая сила, его единственная красота, его дух захватывающая глубина? Непришел Христос спасти нас ни силой, ни внешней победой, но заповедал нам познать, какого мы духа, иметь в себе силу крестную. И вот поразительно, что и сейчас там, где идет борьба с религией, побеждают лишь те, кто силе противопоставляют только правду, ненависти – только любовь и жертву, шуму и грохоту пропаганды – тот самый глас хлада тонка, тишину и свет подлинной веры. И вот над шумом слышен только их голос, во тьме светит только их свет, и свет этот тьме действительно не объять (см.: Ин.1:5).

Когда-то Владимир Соловьев написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра»<sup>41</sup>. В ней он ясно показал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро, и когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть. Так вот, пора, пора оправдать добро, и значит – снова поверить в его силу, в его внутреннюю и божественную непобедимость; пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, как в легенде о Великом инквизиторе у Достоевского<sup>42</sup>, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. И только в самих себе оправдав добро и поверив в него, начнем мы снова побеждать.

В эти послепасхальные дни все еще поется в церкви «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Смертию – смерть, ибо до Своего воскресения Он самое страшное из всех зол – смерть и разрушение наполняет добром, любовью, жертвой, самоотдачей, саму смерть наполняет Жизнью. И когда разрушает Он смерть, тогда, только тогда наступает светоносное утро Воскресения. Тогда, и только тогда тем, кто отдают Ему всю свою земную любовь и идут, ни на что не надеясь, ко гробу помазать Его тело, Он говорит: «Радуйтесь!» Тогда и начинается христианство.

Об этом думаешь, об этом тоскуешь в наши дни разгула ненависти, страха и подлости.



## Начало всего. Почему замалчивается Рождество?

С конца ноября начинает ощутимо приближаться праздник Рождества Христова. Словно нарастает что-то в самом воздухе, в этих все более коротких, все менее светлых днях, в пронизывающем холоде ранней зимы, в звездах, зажигающихся на морозном небе. Приближается Рождество – праздник, смысл которого все больше и больше забывают на нашей земле.

Неслучайно, конечно, столько лет уже предпринимаются попытки попросту уничтожить его, вытравить из человеческой памяти, заменить какими-то нейтральными «Дедами Морозами». Неслучайно хотелось бы некоторым, чтобы люди забыли раз и навсегда самую странную и самую таинственную историю из всех рассказанных когда-либо миру – историю о Ребенке, бездомном и беспомощном, родившемся когда-то на задворках мира, и о несказанной радости, вспыхнувшей с Его рождением.

«Не случайно», – сказал я. Но почему? Ведь вот не запрещают же, не замалчивают другие легенды и сказки. И что такого вредного, такого опасного в этой истории? Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение (Лк.2:14). Я возвещаю вам радость великую (Лк.2:10). Казалось бы, в мире так мало мира и благоволения, так мало радости, что все возвещающее о них нужно беречь и хранить. А тут начинается: «опасное мракобесие», «поповщина», «антинаучное», «вредное» и т.д. Видимо, чем-то опасен этот Ребенок, если Он вызывает такую вражду и такой страх спустя две тысячи лет после Своего рождения в мир! Почему замалчивают Рождество, почему не говорят о нем, когда тысячами огней вспыхивают елки и загорается вокруг них детская радость?

Я думаю, что ответы на эти вопросы очень важны, что от них зависит, в сущности, нечто самое главное в нашей жизни. И первый ответ заключается в том, что рассказ, из которого вырос праздник Рождества, – рассказ о Ребенке и принесенной Им радости – противоречит всем представлениям о религии, ее

содержании и месте в нашей жизни, которые пытаются нам навязать. Нам говорят, что религия произошла из страха и рабства, из эксплуатации и обмана. Бога, мол, выдумали те, кто хотел запугать остальных людей какими-то «таинственными силами». Но вот при самом начале христианства не видно ничего похожего – ни страхов, ни угроз. Напротив, оно начинается с Ребенка и радости, со слов о мире и благоволении, со звезды и пастухов. А ведь от начала зависит и все остальное, и если в начале, в основе христианской веры радость, то кто же обманут – не те ли, кому непременно хочется, чтобы религия возникала всегда из страха?

Далее, враги религии говорят о Боге как о чем-то несуразном и «антинаучном»: наука доказала, мол, что Бога нет и т.д. Но вот христианская религия начинается не с «научных» разговоров о том, есть ли Бог, каков Он и где обитает, а с рассказа о том, как Он действует, как является людям, что значит в их жизни. И – парадокс всех парадоксов! – рассказ этот не о громе и молниях, не о чудесах и всемогуществе, а опять-таки о Ребенке. Гораздо яснее и проще, чем вся «антирелигиозная пропаганда» вместе взятая, христианское учение утверждает: Бога не видел никто никогда (Ин.1:18). Но вот происходят события, с виду такие простые и немудреные, и через них мы словно прикасаемся к чему-то совсем иному, очень высокому, глубокому, чистому, и сердце начинает гореть странной радостью, и загорается свет, и мы говорим «Бог». Мы не говорим «Бог есть» или «Бога нет» – мы говорим «Бог», и это означает, что с нами что-то произошло, что-то открылось, вошло в нас, и этот единственный, ни с чем не сравнимый опыт и есть опыт Бога.

И тот, кто этот опыт имеет, уже не сомневается, и ему смехотворными и глупыми кажутся рассуждения каких-то кандидатов философских наук, будто наука что-то там «доказала». Что может она «доказать» мне, когда я познал радость, любовь и свет, испытал счастье, подобного которому нет на земле? Мы слушаем в который раз рассказ о Рождестве и произносим слово «Бог», и то же слово звучит в песнопении Церкви: «Разумейте, языцы, и покаяйтесь, яко с нами Бог»<sup>43</sup>.

Как это объяснить? Может быть, только намеками, заведомо неполными, заведомо недостаточными, – примерно так: только Бог мог явиться людям в образе слабого, беззащитного Ребенка, ибо Богу не нужно Себя «доказывать», Богу не нужно Себя защищать, Богу не нужно шума и гама земных вождей с их убогой, скучной пропагандой. Ведь ребенок – это только радость, только любовь и только счастье. Он никому не опасен, и ему нужна только любовь, бескорыстная любовь, и ничего больше. Ребенок целиком предается нам, и мы тоже предаемся ему целиком; он ничего как будто нам не дает, но нет дара, подобного дару ребенка. И те, кто хотят обидеть ребенка, – нужно ли доказывать это? – люди дурные, служащие злу.

И вот первое явление нам Бога – не суровый властелин, не заоблачный мудрец, а Ребенок. Он отдает себя нам и ждет, чтобы и мы отдали Ему себя – больше ничего. И тут, в сущности, с религии и вере уже явлено и сказано все самое главное: «Отроча младо, превечный Бог»<sup>44</sup>. С чего начинается вера? Она начинается с ответной и бескорыстной любви – такой, которая любит не за что-то, а потому что не может не любить, ибо то, на что она направлена, можно только любить и все остальное – от этой любви. Так вот, снова приходит к нам время этого вечного и любимого Ребенка, приходит к нам Бог любви и приходит за любовью. И все загорается радостью, светом, праздником. Приближается, приходит... Смотрите на небо, ждите, ищите знаки и зовы этой единственной, всеобъемлющей любви. О ней и в ней – Рождество Христово, его сила, вечная красота и правда.

## **Начало всего. Блаженны не видевшие и уверовавшие**

В Евангелии от Иоанна рассказывается, как Христос по воскресении явился Своим ученикам, но одного из них, Фомы, тогда не было. И когда они рассказали, что видели Христа, Фома заявил: «Если не увижу Его сам, если не дотронусь до Его тела, не вложу пальцев моих в раны от гвоздей, я не поверю» (ср.: [Ин.20:25](#)).

И вот, когда Христос снова явился и Фома на этот раз увидел Его, Господь сказал: «Подойди и тронь Меня, и вложи пальцы твои в раны Мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Тогда Христос сказал: «Ты поверил, потому что увидел; блаженны невидевшие и уверовавшие» (ср.: [Ин.20:27–29](#)).

Этот рассказ можно применить ко всей сложной проблеме веры и неверия, которую так грубо и упрощенно пытается решить казенная антирелигиозная пропаганда. Пропаганда эта вся целиком построена на принципе: «Вы не видите Бога – значит, Его нет». Иными словами, она приравнивает веру не к знанию вообще, а к знанию сугубо эмпирическому, т.е. низшего и самого упрощенного типа.

Но если логику эту применить даже не к вере, а к самому знанию, то и от него мало что останется. Ибо, по существу, как мало мы видим, как мало мы знаем, как ограничен и случаен круг предметов, попадающих в поле нашего непосредственного знания! И потому разница между человеком и животным как раз в том, что человек не ограничивается грубо эмпирическим знанием, а поднимается над ним. И если быть честными, то этот высший, умозрительный этаж нашего человеческого знания следовало бы назвать верой.

Ведь мы посмеялись бы над человеком, который сказал бы: «Я не люблю, и потому любви нет». Этому суждению единственного человека мы противопоставили бы весь безмерно громадный опыт любви всего человечества – той, про которую уже тысячи лет назад было сказано, что она крепка, как

смерть (Песн.8:6), той, что освящала и преображала жизнь бесчисленных поколений. И не в том ли состоит все человеческое воспитание, что мы постепенно вводим ребенка, подростка, юношу в этот опыт, превышающий его собственный, в это общее знание, общее богатство?

Какими нищими и бездарными существами мы были бы, в какой страшной темноте жили бы, будь у нас только наше личное знание и ничего больше, не будь вся наша жизнь вхождением в опыт, мудрость и веру всего человечества! Я тоже, как Фома, не видел Христа, меня тоже не было среди учеников в то пасхальное утро, когда Он явился. Но любовь и вера донесли до меня сквозь века Его образ, Его слова, Его учение и этот потрясающий рассказ о Сыне Человеческом, в Котором все было свет, все – любовь, все – самопожертвование. Сквозь века дошла до меня радостная вера, что в Нем, в этом нищем и бездомном Учителе явлена людям божественная любовь. И свет Его образа наполнил душу навсегда. .

Читаешь антирелигиозную пропаганду, все ее нудные «доказательства», а потом раскрываешь Евангелие, и «доказательства» эти рассеиваются как дым. Там упрямый и слепой ко всему человек лепечет что-то о том, что выше его, копается в земле и не хочет приподнять голову, чтобы увидеть небо и солнце, тут звучат особые слова, и сердце знает, что они – правда.

Что здесь можно доказать? Какие доводы привести против Христа? Что Он обманывал людей? Хотел славы и власти? Но Он умер на кресте, оставленный всеми. И вот, к Нему две тысячи лет идут люди, которые верят в Него.

Блаженны не видевшие и уверовавшие. Блаженны те, кто способны подняться в мир духовного опыта и стать настоящими людьми!

## Враги одухотворения. Во имя чего?

Я хочу остановиться сегодня на некоторых темах антирелигиозной пропаганды. Когда-то замечательный русский мыслитель и писатель В.Розанов написал: «Знаете ли, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, с тем не для чего произносить “А” споров, разговоров; мимо того нужно просто пройти. Обойти его молчанием»<sup>45</sup>.

А Розанов много и долго думал о религии, о христианстве, о Церкви, много спорил с ними, многим в них возмущался. Это не был человек слепой веры, напротив, – вечно сомневавшийся, вечно пытавшийся до всего дойти сам, по-своему. Он написал «Темный лик» и «У стен Церкви» – книги, в которых страстно и запальчиво спорил с историческим христианством. И вот, он, Розанов, говорит: «Религия – самое важное, самое первое, самое нужное».

Я вспомнил эти слова, читая – в который раз! – все те же десятилетиями повторяющиеся выпады казенной пропаганды против религии. В этих выпадах религия всегда представляется каким-то глупым недоразумением, тем, что должно рассеяться от первого же соприкосновения с логикой, естественными науками и т.п. Но вот Розанов, который был очень образованным человеком, в минуту полного самоуглубления произносит эти удивительные слова! И что же против такого опыта могут означать все убогие, бескрылые доводы, повторяющиеся из брошюрки в брошюрку? Что могут они против всей религиозной истории человечества, против того огня веры и той духовной жажды, что запечатлелись в самых известных произведениях искусства и литературы?

Действительно, прав Розанов, когда говорит о проповедниках безбожия, что их нужно «обойти молчанием». Иногда кажется, что вся эта, теперь уже многолетняя, борьба с религией – плод какого-то безумия, какой-то внутренней слепоты и одичания. А потом понимаешь: нет, не одичания, не слепоты, а страшной лжи и ненависти. Бороться с религией так,

как борются с ней в казенной антирелигиозной пропаганде, могут только ненавидящие добро, ненавидящие свет, ненавидящие тот образ человека, который раскрывается и сияет в религиозном опыте всего человечества.

Вот пример такой лжи: вся антирелигиозная пропаганда основана на утверждении, что религия порабощает, унижает человека, что она – плод рабски низменного представления о нем. Но вот раскрываем книгу профессора богословия, на весь мир известного философа отца Василия Зеньковского и читаем: «Человеку дано быть в центре всего земного бытия, господствовать и повелевать – человек выступает перед нами как царь природы, как хозяин ее, определяющий “имя” всему, чем свидетельствуется подчиненность всего человеку»<sup>46</sup>.

Так пишет христианский ученый. Где тут порабощенность, униженность? А образы людей в христианском искусстве, эти предельно одухотворенные, духовно прекрасные лица – разве они унижают человека?

Но обо всем этом казенная пропаганда никогда ничего не скажет, а будет твердить свое. И понятно почему – потому что этой духовной красоты, этого одухотворения человека она как раз и не желает, потому что ненавидит этот высокий образ человека. Но уберите этот образ, и что останется на земле? Тупая, бессмысленная борьба! Во имя чего? .

## Враги одухотворения. Контрабандный идеал

Природная религиозность человека – вот о чем я говорил в моей прошлой беседе, вот о чем свидетельствует не только вся история человечества, но и внимательный анализ жизни, побуждений, исканий каждого человека.

Человек, говорил я, живет, относя свою жизнь, по существу, к чему-то абсолютному – к тому, что он признает как высшую ценность, как критерий оценки собственной жизни и всего к ней относящегося. Конечно, это стремление к абсолютному человек может в себе заглушить и задавить, но таких людей всегда было принято считать выпавшими из нормы. Поэтому, говорил я, спор между верующими и неверующими идет не о том, есть ли Бог, но о том, что те и другие считают Богом, чему себя отдают. Ибо невозможно человеку (насколько он подлинный человек, а не нравственная развалина) не отдавать себя тому, что является в его понимании высшим. И об этом хорошо писал Владимир Соловьев: «Ибо нет отрады не отдавшему себя»<sup>47</sup>.

И нельзя сказать даже, что для одних Бог – это понятие трансцендентное, т.е. надмирное, а для других – имманентное, т.е. в пределах этого мира заключенное, поскольку абсолют тех и других не находится в сфере эмпирического, или непосредственного, опыта. С точки зрения этого опыта сказать: «Я буду жить вечно» или «Человечество построит когда-нибудь совершенное, справедливое и свободное общество» – есть одинаково акт веры, акт внутреннего убеждения, который ни на чем, кроме внутренней самоотдачи абсолюту, не основан. Но откуда возникает, как появляется в человеке сама эта жажда абсолюта, или то, что мы называем «природной религиозностью»? Вот, по существу, единственно настоящий и нужный вопрос. Ибо ничто в самой природе, в психобиологической структуре человека жажду эту, действительно, не объясняет и причиной ее не является. В биологическом отношении человек – только высшая ступень животного, не правда ли? И какой игрой органических клеточек объяснить его духовную жажду, его нравственные требования?



Логический порок так называемого научного атеизма в том, что он всеми силами старается низвести человека в разряд животных, отрицает в нем все, кроме биологически детерминированных свойств, но при этом постоянно утверждает, что такая редукция человека и есть почему-то условие его свободы и самоисполнения. Получается очевидная неувязка. Казалось бы, одно из двух: или человек в чем-то радикально отличен от всего остального в мире, не сводим ни к биологии, ни к экономике, ни к материи, и тогда понятно и справедливо, что исполнения своей человечности он ищет в нравственных ценностях. Либо же наоборот: человек, как и все в мире, не свободен ни биологически, ни психически, ни социально, но целиком детерминирован внешними факторами, но тогда отпадают и все разговоры о его освобождении, о «скачке из царства необходимости в царство свободы»<sup>48</sup>. И так, одно из двух. Либо весь мир есть сплошное царство необходимости (а ведь к этому и ни к чему другому сводятся все утверждения атеистического материализма), и тогда нужно отбросить всякий «идеализм», всякую духовно-нравственную «надстройку». Либо же царство свободы есть иная, духовная реальность, и человек принадлежит ей или, вернее, является ее носителем, выразителем и одновременно творцом. И тогда все духовно-нравственное в нем начало – не «надстройка» над материей, а определяющее начало его единственной, ни к чему в мире не сводимой сущности.

В первом случае само искание абсолютных ценностей есть абсурд. И потому не случайно такие несхожие идеологи последовательного материализма и детерминизма, как Маркс и Фрейд, сходятся в одном – в выведении всех этих исканий не сверху, а снизу, в опровержении всех попыток представить эти абсолютные ценности как автономную, ни от чего высшего не зависящую реальность. У Фрейда это выражается в сведении не только любви, но также всех видов человеческого творчества, религии, всего на свете к половой энергии, у Маркса – в сведении всего многообразия жизни к экономическим отношениям. Фрейд, правда, имеет мужество сделать из своих предпосылок все логические выводы. Его учение – глубоко

пессимистическое: все духовные искания, все абсолюты не только бесполезны, но и вредны. Если человек хочет быть здоровым, он должен понять иллюзорность всех своих «надстроек» и принять себя как животное. Маркс этого мужества не имеет и, сведя человека к экономическому базису, лишив его всех духовно-нравственных определений, ни с того ни с сего пускается в риторику о «скачке из царства необходимости в царство свободы». Но «скачок» этот, очевидно, есть абсурд, ибо как камень сам по себе, без вмешательства творческого замысла человека не может превратиться в колонну или здание, так и животный организм без заложенного в нем духовно-нравственного начала не может желать ни духовной, ни нравственной свободы. Поэтому тот абсолют, то религиозное начало, которое мы находим и в интеллектуальных схемах атеистов, проникают туда как бы контрабандным путем, а проникнув – разрушают их изнутри.

Поэтому так смешно выглядят все усилия развенчать веру и религию во имя «освобождения» человека. Религия-де порабощает человека. Но не ясно ли, что религия как раз и начинается с утверждения, что человек по природе свободен, будучи существом духовным и нравственным? Евангелие все целиком основано на утверждении этой свободы: Ищите, и найдете (Мф.7:7). Искание и жажда (т.е. выражение свободы) – это априорная предпосылка того религиозного мировоззрения, в котором Бог есть, если можно так выразиться, гарант и основа человеческой свободы. Нет Бога – и человек не более чем животное; есть Бог – значит, есть она, нерушимая, или, как говорит философия, онтологическая духовно-нравственная свобода.

Так приходим мы к схеме, обратной той, что навязывается нам в качестве «подлинно научного» мировоззрения. Ибо это мировоззрение, выводящее свободу из сплошного детерминизма, по сути своей есть фарс и подтасовка. Нет, имейте мужество сказать, что свободы тут нет и быть не может! И до тех пор, пока это не станет очевидно для всех, величайший фарс в истории человечества будет продолжаться.

## **Враги одухотворения. Объект ненависти**

Человек от природы религиозен – вот что старается всеми силами опровергнуть материалистическая догматика, и это опровержение составляет последнюю цель всех ее усилий. Почему?

Вопрос этот – бесконечно важный, ибо от него в последнем счете зависит действительно все. Все в мире живет согласно своей природе, и если религия, т.е. вера в бессмертие, вечность, неподвластность человека этому преходящему, кратковременному миру, признание над миром некой вечной реальности, – если все это только выдумка, обман или иллюзия, тогда, конечно, и устройство жизни должно быть совсем другим. Тогда, например, все индивидуальное, личное, все мое и ко мне относящееся не может и не должно иметь никакого значения, ибо какое такое значение может быть у существа, чья жизнь, сознательная и трудовая, длится от силы сорок-пятьдесят лет? Тогда и добро и зло – понятия относительные, но никак не абсолютные и т.д.

Повторяю: вопрос о том, соприродна религия человеку или, напротив, навязана ему кем-то как выдуманная и ложная, есть вопрос краеугольный. Мы знаем, что вся человеческая культура в прошлом так или иначе не просто была связана с религией, но прямо ею определялась. И только из религиозной предпосылки вытекало осмысление человека в мире, да и самого мира. Теперь нам говорят, что предпосылка эта – вредная и ложная. Оставим в стороне так называемый научный аспект проблемы, т.е. попытки разрушить религию с помощью естествознания. Каждый мало-мальски серьезный человек, я думаю, понимает сегодня, что попытки эти, в сущности, к делу не относятся. Давно пора признать, что если нельзя научно доказать существование Бога, то нельзя и «научно» его опровергнуть. Ни один настоящий ученый никогда вопросом этим не занимался и всегда знал, что он вне его компетенции.

Борьба с религией родилась, таким образом, не из науки и пришла не от ученых. Откуда же? Долгое время могло казаться,

что она вызвана органической якобы связью религии с властью, насилием, эксплуатацией и т.д. Обвинение это куда серьезнее, чем построенное на «науке», но в наши дни отпадает и оно. Действительно, организованные религии часто грешили своей подчиненностью несправедливому строю, часто находились в плену у сильных и власть имущих. Появилась даже теория, выводящая саму сущность религии (т.е. веру в вечность и бессмертие) из необходимости найти какую-то «компенсацию» слабым и эксплуатируемым и тем самым отвлечь их от борьбы за свои права и счастье в этом мире. Но повторяю: каковы бы ни были грехи организованной религии в этой области, современный опыт показывает, что теория эта – ложная. Давно прошли века привилегированного положения религии, ее связи с государством, властью, богатством. По антирелигиозной теории такое положение должно было бы привести к простому отмиранию религиозных верований, но этого не случилось. Напротив, освобожденная от былой искусственной связи со всем этим, религия приобрела ореол, какого раньше, пожалуй, никогда не имела. Поэтому только сегодня, только в наше время вопрос о природе религии, как и о природе ненависти к ней, может быть поставлен в чистом виде.

Только теперь, только в наши дни можно по-настоящему, всерьез спросить человека: «Почему ты веришь?» или же: «Почему ты так страстно не веришь и стараешься уничтожить веру в других?» Ибо никаких внешних выгод от своей веры верующий больше не получает. А неверующему все труднее сослаться на связь религии с «капитализмом», «насилием», «эксплуатацией». Поскольку же неверующий не верит в Бога, он не может ненавидеть того, кого нет. Следовательно, ненависть его обращена на верующего человека. Тут-то и нужно спросить: «Почему?», и я думаю, что ответ на этот вопрос бесконечно важен. Ибо верующий человек, сколь бы ни была иногда слаба его вера, на последней глубине остается свободным от окончательного, безоговорочного подчинения чему бы то ни было на земле: власти, идеологии, обществу и т.п. Всеми этому верующий может подчиняться лишь постольку, поскольку оно не

противоречит закону, который признается им абсолютным и вечным.

Между тем материалистическая идеология требует от человека всецелого подчинения ее пониманию жизни, счастья, общественного устройства, добра и зла. Допустить здесь хоть какое-то сомнение – значит разрушить все здание. Ведь только когда над обществом ничего нет, само общество и определенное его устройство можно сделать богом – последней и высшей ценностью; только когда над землей ничего нет, мерилom всего становится земля, и только земля. Таким образом, ненависть к религии – это ненависть к основе свободы, к ее метафизическому принципу.

Для миллионов людей вопрос о религии может показаться сегодня вопросом периферийным. Они не понимают его предельной важности, не понимают, что от того или иного его решения зависит судьба человеческой личности, ее свобода. Уже и сейчас свободы этой на земле остается все меньше и меньше. Человека почти убедили, что он только песчинка, только винтик, что он до конца и безнадежно подчинен «законам науки», «законам общества», «законам материи». Успеет ли он проснуться и понять, что от малой горстки верующих зависит сегодня, уцелеет ли он как личность, удержит ли свою свободу, вернется ли в мир не рабом, а господином, не средством, а целью?

Поэтому совсем по-новому звучат в наши дни слова апостольской проповеди: К свободе призваны вы, братия (Гал.5:13); по-новому звучат слова Христа: Познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин.8:32); по-новому, наконец, звучат все пророчества, все предупреждения таких людей, как Толстой или Достоевский, знавших и всем своим творчеством доказавших, что там, где умирает Бог, воцаряется зверь.

## Враги одухотворения. Поразительное мировоззрение

Христос воскрес! .

В первое воскресенье после Пасхи читается в церкви Евангелие об уверении Фомы. В нем рассказывается, как воскресший Господь пришел к ученикам, но одного из двенадцати, Фомы, не было при этом. Когда же остальные рассказали Фоме, что видели Христа, тот сказал: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей... и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин.20:25). После восьми дней,— продолжает евангелист, — опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай... руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин.20:26–29).

Рассказ этот — нужно ли доказывать? — не о Фоме только, а о многих людях, и в первую очередь о современном человеке, так как именно это неверие Фомы возвела наша эпоха в принцип, провозгласив единственно достойным человека отношением к жизни: «Не увижу — не поверю». Разве не навязывают нам мировоззрение, полностью отказывающееся в существовании всему, что нельзя потрогать, измерить, взвесить? Фома-скептик стал своего рода прототипом современного человека, ибо подобный же скепсис вызвал к жизни поразительное учение — материализм. Ибо что такое материализм, как не сведение всего на свете к проверке «на ощупь», к измерению, взвешиванию?

Я называю это учение поразительным, поскольку оно стоит в очевидном противоречии с непосредственным опытом человека — опытом, который почти во всем основан на обратном, а именно — на вере. На вере в то, чего никто не видит, на стремлении к тому, что как раз невозможно ощупать, измерить, взвесить или, как принято теперь выражаться,

«эмпирически доказать». Каким образом, спрашивается, вывести из материализма свободу? Разве у материи есть свобода? Разве не подчинена она принципу детерминизма, который представляет всякое, в том числе человеческое, бытие как всецело предопределенное? А между тем материализм, обещая человечеству «скачок из царства необходимости в царство свободы», требует от него настоящей веры в этот скачок и, оказавшись у власти, сажает в тюрьму тех, кто веры этой не обнаруживает. Материализм – и в самом деле поразительное мировоззрение, а то, что в двадцатом веке оно выдает себя за «самое научное» и «освобождающее от религиозного дурмана», еще поразительнее. «Не верю ни во что, чего нельзя доказать на опыте, но живу ради того, что никаким научным опытом недоказуемо» – так мог бы вкратце сформулировать свое мировоззрение убежденный материалист наших дней.

Но вернемся к Фоме. Вот самые близкие люди говорят ему, ссылаясь на свой опыт: Мы видели Господа (Ин.20:25). Почему же он не поверил им? Это обстоятельство, если вдуматься, многое объясняет в психологии современного человека. В самом деле, не было у Фомы причин не верить тем, кого он так хорошо знал, с кем был так близок – не верить их радости очевидцев. Но и это свидетельство, и эту радость Фома отвергает не как внутренне свободный человек, а как раб своей гордыни, своего эгоцентризма, своего маленького «я». Столетиями миллионы людей утверждают: «Мы видели, мы слышали, мы опытно познали Бога!», но маленький, гордый и слепой человек закрывает глаза, затыкает уши и упрямо твердит: «Не видел и потому не признаю». Все глядят на небо, он один тупо уставился в землю и бубнит: «Неба нет, есть только земля». «Подними голову, – говорят ему, – и увидишь то, что видим мы!» «Не подниму! – отвечает он. – Пусть мне докажут, что есть небо, пока я смотрю в землю».

Вот диалог веры и неверия, который длится веками. Только что наступила Пасха, и множество людей вновь ощутило с необычайной силой присутствие среди нас воскресшего Господа. «Воистину воскрес!» – вот радостное исповедание

этого опыта. А окружающая их незрячая толпа, эдакий коллективный Фома, по-прежнему твердит: «Этого нет! Невижу, а потому не верю!». Этот Фома подавляет мир своей упрямой слепотой. Собственная тюрьма выдается им за рай и свободу, собственное неверие – за доводы науки.

Но и Фому не оставил, не презрел Христос, явившийся ему особо, дабы тот, обратившись, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» И для этой встречи, для этого обращения никогда не бывает слишком поздно, а потому не только к верующим, но и к неверующим, к Фоме, который присутствует в каждом из нас, обращено самое радостное на свете утверждение: «Христос воскрес!»



## Враги одухотворения. Парадокс нашей веры<sup>49</sup>

В пасхальные дни особенно сильно ощущается то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры – соединение в ней печали и радости, Креста и Воскресения. «Се бо прииде Крестом радость всему миру»<sup>50</sup>—ибо через Крест пришла радость всему миру. Крестом, через Крест, т.е. через страдание, мучение, смерть. Пасхальной ночи с ее ликованием и светом предшествует мрак Страстной недели, печаль Великой Пятницы, пронизанная воплем с креста: «Боже Мой! Боже Мой! Вскую Мя оставил еси?» (ср.: Мф.27:46; Пс.21:2). И само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью: В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин.16:33).

Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни – в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и сознания людей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней всех, кто не желают Креста, т.е. узкого пути самоотречения, неустанной внутренней борьбы. Все или почти все современные идеологии борьбу за счастье и за осмысление жизни переносят из человеческой души вовне, полагая центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных условиях общества. Человек для этих идеологий – всегда объект, а не субъект исторического процесса. Иными словами, в них начисто отрицается внутренняя жизнь человека и решающее ее значение для самой истории.

В схематическом виде спор этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит человеку: «Все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить. Судьба всего мира определяется твоей внутренней свободой, чистотой и совершенством». Итак, все в этом мире предельно лично, и творцом исторического процесса является личность. Христос ни слова не сказал ни о политических, ни о социальных проблемах

своего времени, весь его призыв всегда был обращен к конкретному человеку, к этой вот личности, к этому ты. А между тем невозможно отрицать, что в историческом плане именно христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изменило изнутри психологию государства и общества, не говоря уже о всей мировой культуре.

Антихристианская идеология, со своей стороны, отрицает не только всякое значение личности в истории, но в конечном итоге и саму личность. Ибо человек в ней – продукт общества, и потому вся его жизнь целиком зависти от общественных условий. Христианство устами преподобного Серафима Саровского говорит: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Антихристианская же идеология возражает: «Ты не спасешься иначе, как через изменение общественных условий». В христианстве изменение, преображение мира зависит от личности; антихристианская идеология ставит изменение личности в зависимость от преобразования общества. Христианство делает акцент на личной свободе и личной ответственности человека, антихристианская же идеология, напротив, целиком подчиняет человека коллективу, без остатка растворяет его в партии, государстве, обществе и т.п.

Спор этот, конечно, старый, он-то и привел к крестной смерти Христа. Но в наши дни он возобновился с небывалой силой. Технический прогресс, так называемые завоевания науки, необходимость плана и всесторонней организации говорят как будто в пользу антихристианского подхода. Действительно, все в этом мире настолько превышает возможности отдельного человека, так безнадежно отдает его во власть коллектива! Что могу я? Больше, чем когда бы то ни было может показаться, что, проповедуя примат внутреннего над внешним, личности над коллективом, христианство толкает своих приверженцев на путь эгоистического мироотрицания: «Какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной душой!» Но так ли это? Можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть вокруг и убедиться, в какой кровавый и бессмысленный хаос, в какой страх и страдания завели людей

идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняющие человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть расхожее утверждение, будто христианская вера, сосредоточив все внимание человека на душе, заставляет его пренебрегать нуждами мира?

Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры в бессмертие души<sup>51</sup>. С первого взгляда это утверждение кажется спорным, если не абсурдным. При чем тут бессмертие души, если нужно добиваться элементарной свободы, справедливости, сытости? Ненадо ли, напротив, забыть о бессмертии, чтобы тем сильнее полюбить смертного человека на этой земле? Но, как утверждает Достоевский, если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда великого писателя, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными. Ибо если нет в человеке вечного, неразрушимого начала, которое возвышает его над материей, то что же любить в нем? Поэтому рано или поздно мир снова обратится – увы, ценой страшных страданий, крови и слез, – к этим простым словам Евангелия: Царствие Божие внутри вас есть (Лк.17:21). И всякий, кто узнал это Царство, кто живет его красотой, светом и истиной, делает для мира и человечества в конечном итоге больше, чем все носители отвлеченных программ грядущего «счастья», ради которых нужно сперва лишить свободы и превратить в рабов чуть ли не всех людей.

Обо всем этом напоминают, свидетельствуют нам пасхальные дни, ибо они наполнены живым воспоминанием о Том, Кто не искал ничего, кроме торжества в человеческой душе Царства Божия, и вот наполнил учением Своим весь мир.

## Враги одухотворения. Слепота и зрячесть

«Если не увижу сам, если не прикоснусь руками, если не трону пальцами ран от гвоздей, не поверю» (ср.: [Ин.20:25](#)). Так отвечал Фома, один из учеников Христа, другим ученикам на их утверждение, что они видели своего распятого и умершего Учителя воскресшим.

Примерно так отвечаем все мы, каждый из нас, на куда менее невероятные утверждения. Фома Неверующий – это образ самой страшной трагедии человечества – трагедии разочарования, маловерия и скепсиса. Я говорю сейчас не об отношении к тем или иным религиозным догмам, а об основной направленности и окрашенности человеческого сознания. Это сознание постоянно не доверяет, сомневается; больше того – принцип недоверия и сомнения положен человеком в основу земной мудрости, а значит, земного счастья, благополучия и самой жизни. Мы живем в странном мире, где не верят никому и ничему: человек не верит человеку, народ – народу и т.д., и мы так привыкли к этому факту, что считаем его не требующим ни объяснений, ни оправданий. Но вот начинаешь задумываться: неужели так и должно быть? Ибо если это и в самом деле норма, то в мире становится страшно и темно, и тогда о каком счастье, о каком благополучии может идти речь? Если жить следует всегда ошестившись, всегда вооруженным до зубов, если в каждом слове, в каждом взгляде подозревать ложь и подвох, то стоит ли вообще жить? Невольно вспоминается молодой человек, который в двадцатых годах этого века покончил самоубийством, предварительно написав на клочке бумаги: «Я не хочу жить в мире, где все жулят». А мы вот в таком мире преспокойно живем, попиваем чаёк и благодушно строим планы о «светлом будущем» человечества. Страшно, темно и бесконечно печально!

И когда начинаешь думать об этом теперь, когда после Пасхи<sup>52</sup> с ее светом и радостью вспоминает Церковь о Фоме Неверующем и о его словах: Если не увижу – не поверю, понимаешь вдруг, что это страшное, все отравляющее собою

маловерие убило Самого Христа и что именно от него Он и пришел нас избавить. Как просто было Его учение: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением и всем существом своим; возлюби ближнего своего, как самого себя. Любите врагов ваших, проклинаящих вас благословляйте, ненавидящих прощайте. Будьте детьми света, в котором нет никакой тьмы» (ср.: Мф.5:44–45, 22:37,39; 1Ин.1:5). Радости любви нельзя отнять. Но посмотрите, как от начала стала сплетаться вокруг Христа паутина недоверия, клеветы и ненависти. С ним не то что не соглашались, недоумевали, спорили – нет. Его сразу возненавидели, ибо немедленно заработал этот поразительный механизм недоверия и подозрительности. И начались попытки уловить Христа в слове и деле, «вывести на чистую воду». И вот наконец уловили: «Он хочет стать царем, Он опасен, Он враг! Распни, распни Его!»

Христос знал все это наперед и потому сказал: «Даже если кто из мертвых воскреснет, все равно не поверят» (ср.: Лк.16:31), т.е. не захотят поверить, упрутся в свое жалкое недоверие. И так остается по сей день. Трупным запахом разложения стелется по земле недоверие, а от недоверия – страх, а из страха – злоба, а из злобы – страдания и смерть.

Что же мы противопоставим этому? О Христе сказано, что верующим в Него Он «дал власть быть сынами Божиими» (ср.: Ин.1:12). А сын Божий есть тот, кто преодолел в себе недоверие раба. Недоверие слепо – вера зряча, недоверие разрушительно – вера созидательна. Про нее сказано, что она движет горами, и это правда: Петр поверил – и пошел по воде, перестал верить – и начал тонуть. Но важно понять, что здесь подразумевается вера не просто как доверие к чему-то, а как содержание и способ жизни.

Нам возразят: «Как же верить, если все кругом обманывают и мы знаем это?» Что ответить на это, кроме того, что кто-то ведь должен разорвать когда-нибудь эту inferнальную цепь: я обманываю, зная, что меня обманывают, а меня обманывают, зная, что я обманываю, и т.д. до бесконечности. Эту мудрость мира сего апостол Павел назвал безумием пред Богом

(1Кор.3:19), веру же – «безумием для мира», или мудростью во Христе (ср.: 1Кор.1:24–25; 3:19).

Но если принять это «безумие для мира», происходит нечто странное: само доверие наше оборачивается тогда оружием против лжи и Обмана, слабость – могуществом, а поражение – победой. И в этом смысл Евангелия. Христос ни разу не усомнился. Зная всю злобу, всю ненависть и коварство врагов, Он продолжал Свое служение, продолжал взывать к высшему и лучшему в человеке. О, далеко не все ответили, и казалось, что восторжествовали недоверие, злоба и зависть, ведь Христос был к злодеям причтен (Мк.15:28). Но Его вера победила: Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе (Ин.12:32). И быть может, пора нам очнуться от кошмара недоверия и маловерия, пора сделать своим молитвенный вопль, который находим в Евангелии: Верую, Господи! помоги моему неверию (Мк.9:24).

## Псевдонаучность. Одно из главных обвинений

Одно из главных обвинений против религии, предъявляемых ей ее официальными врагами, – обвинение в «ненаучности», – стоит того, чтобы вернуться к нему еще раз. Тем более что в наши дни идет новый натиск на религию, в который включаются (во имя как раз науки) даже астронавты. Все помнят, наверное, как один из них после полета в космическое пространство заявил, что Бога там не видел. Но ведь это заявление почти буквально повторяет торжественное утверждение, сделанное на самой заре христианства одним из главных его проповедников, апостолом Павлом, который сказал, что Бога «никто из человеков не видел никогда» (ср.: 1Тим.6:16; 1Ин.4:12).

И если бы те, кто заставили астронавта сделать такое неумное заявление, были истинными приверженцами науки, они знали бы, конечно, что одно из основных утверждений христианства, во имя которого оно веками боролось с идолопоклонством и суеверием во всех их формах, – это утверждение, что Бог невидим и к Нему нельзя подходить как к явлениям мира видимого. «Безначальный, невидимый, непостижимый, неизреченный» – таким обращением к Нему начинается одна из самых торжественных церковных молитв<sup>53</sup>. И все эти и подобные им слова начинаются с отрицательной частицы не, все говорят о Нем, как о Том, Кто находится за пределами понятий и категорий нашего обыденного опыта. Между тем, наука по самой природе и назначению своему занимается исключительно тем, что подлежит эмпирическому опыту, тем, что можно определить по отношению к видимому, осязаемому и исчисляемому. Поэтому при всей ее ценности и огромных возможностях она занимается далеко не всем, и каждый подлинный ученый потому и ученый, что знает пределы своей науки.

Так, например, никакая наука (я разумею лабораторную, опытную науку) не занимается красотой. Ученый – историк, философ – может проследить, что разумели под «красотой» в

разные эпохи, как она действовала на людей. Но определить, что такое красота, наука не может, да и не должна. Почему становятся красотой слова, записанные в рифму? В чем воздействие на мою душу этой сонаты, этой симфонии? Почему при взгляде на закат, на звездное небо, на пробивающийся сквозь листву солнечный свет человек всем существом своим ощущает то, чему точное, строго научное определение дать не может? Ученый отвечает на это: «Не знаю». И любой настоящий ученый, а не всезнайка-верхогляд, не скажет никогда: «Не знаю, и потому никакой красоты нет». Незнание в науке так же ценно, как знание, и открыто признаваться в нем для истинных ученых – дело чести. Так вот, наука ничего не может сказать о Боге, кроме того что всегда были, есть и будут люди, всей своей жизнью свидетельствующие, что в их опыте Бог присутствует как Безначальный, Неизменный, Невидимый, Неизреченный, как Тот, Кто за всем и превыше всего, но в Ком, тем не менее, конечный смысл и радость, самая суть всего сущего, жизнь самой жизни. «И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога»<sup>54</sup>. Написав это, Лермонтов не случайно соединил слова «счастье» и «Бог». Для верующего Бог – это счастье. А что может возразить наука против опыта счастья, опыта любви, опыта красоты? И почему так упорно хотят, чтобы она боролась с ним? Непотому ли, что в той идеологии, которую хотят навязать человечеству силой, в конечном счете нет места ни счастью, ни любви, ни красоте?



## **Псевдонаучность. Догматизированная пропаганда**

Недавно по московскому радио передавали беседу: «Марксистский атеизм и его основные черты».

Ничего нового и оригинального в ней нет – только бесконечное повторение слышанного миллионы раз. Вот пример: «Великим завоеванием марксизма явилось материалистическое объяснение общественной жизни и изгнание из этой области науки идеализма. Благодаря этому открытию, марксистский атеизм дал строго научное объяснение происхождения и сущности религии как формы сознания, показал социальные ее корни и наметил пути и средства полного освобождения трудящихся от религиозного дурмана». Повторяю: подобные фразы мы слышали миллионы раз, и они, как теперь уже очевидно, ничего не доказывают. Недостаточно без конца твердить о «строго научных» доказательствах – надо их предъявить. Ведь все, что строго научно, доказывается фактами. Объяснению религии, выдаваемому за научное, вот уже сто лет, но это никак не мешает полнокровному существованию религии там, где ее не преследуют полицией и грубой силой. Все строго научное никогда не требует полицейских мер защиты: вот, к примеру, открыли новое лекарство, и если оно вылечивает, то оно научно, если нет – нужно его отбросить.

Все действительно ценное и научное в марксизме давно уже стало общим достоянием, было принято и усвоено как подтверждаемое фактами и потому – научно обоснованное. Но в вопросе о религии Маркс, безусловно, заблуждался, ибо теория его сто лет подряд опровергается фактами. И пора это открыто признать.

В беседе на московском радио прозвучала фраза, заслуживающая того, чтобы на ней остановиться: «Материализм в полном соответствии с данными науки считает, что материальный мир, природа существуют вечно, не имеют ни начала, ни конца как во времени, так и в пространстве». Это утверждение поражает. Какие такие «данные науки», какая

вообще наука говорит что-либо о начале и конце в таком абсолютном смысле? «Ни начала, ни конца» – звучит как самое настоящее исповедание веры, как религиозное утверждение; именно так, в частности, христиане говорят о Боге. В мире же, если уж на то пошло, все начинается и заканчивается, и наука по природе своей занимается только тем, что можно уложить в схему «начало – конец». Потому-то наряду с естественными науками и существуют философия с религией, что поле естественнонаучного знания не может быть неограниченным, ибо аксиома науки: «Изучаемо только то, что измеримо». Но без представления о начале и конце она уже не наука, а вера, которую так и нужно называть.

И заметим тут же, что если все различие между верой религиозной и подобной атеистической «верой» свести к этому пункту, то окажется, что исходные установки той и другой не столь уж непримиримы, ибо представление о начале и конце в религиозном сознании совсем не так просто, как в изложении казенных пропагандистов. Но в таком случае это уже философский или даже религиозный спор, столкновение двух вер, двух видений мира, а не война науки и религии, как старается доказать автор радиопередачи.

А между тем упрощения и подтасовки, которыми все время оперирует так называемый научный атеизм, разоблачают его как узко догматизированную пропаганду, лишь выдающую себя за науку.

## **Псевдонаучность. Смещение понятий**

Как-то так вышло, что все современные разговоры и споры о религии непременно сводятся к одной теме: религия и наука.

Под наукой же здесь понимаются, конечно, исключительно так называемые естественные науки. Я неоднократно доказывал, что такая постановка вопроса, попросту навязанная казенной антирелигиозной пропагандой, порочна и бесплодна от начала до конца. Сравнивать и, следовательно, противопоставлять можно только понятия и величины соизмеримые, т.е. относящиеся к одной категории. Так, например, когда астронавт, облетевший Землю, говорит, что не нашел на небе Бога, слова его могут иметь какой-то смысл при условии, что «небо» означает в религиозной картине мира то же, что и в науке, т.е. физическое небо. Если же это не так, замечание астронавта попросту глупо.

Между тем все, буквально все «научные», с позволения сказать, аргументы против религии, построены как раз на таком умышленном смещении понятий, на предпосылке, что религия для верующего – это своего рода наука, которая разлетается в пух и прах от соприкосновения с «настоящей наукой». На деле единственной плодотворной темой, могущей объединить верующего и неверующего в их споре, будет образ мира и человека в свете конечного их смысла. Верующий – не просто тот, кто верит в существование непостижимого Бога, но тот, кто в мире и людях, в самой ткани жизни видит и ощущает присутствие и действие света и любви, которые он называет божественными. Для него мир и жизнь – не тупик, исчерпывающе объясняемый с помощью двух-трех аксиом физики, химии и экономики, но тайна, постичь которую может лишь тот, кто признал и пережил высоту и глубину, т.е. духовное измерение мироздания.

Возьмем, к примеру, Пушкина. Он не был ни «церковником», ни ученым в строгом значении этих определений. Он был поэтом, творцом, который создал прекрасный и прозрачный, высокий и чистый мир. Про этот

пушкинский мир один историк русской литературы сказал так: «В часы тоски и отчаяния, сомнений в человеке и человечестве мы раскрываем Пушкина, все равно, на какой странице, и... пьем – как назвать этот напиток? – не воду, конечно, но и не вино, – а какой-то божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к человеку»<sup>55</sup>.

Так вот, спросим себя: удовлетворился бы Пушкин этим тупым псевдонаучным «развенчанием» религии? На чьей стороне он был бы – тот Пушкин, который написал «Пророка» и который при всей своей жизнерадостности и открытости ко всему земному и человеческому знал, что значит «сердцем возлетать во области заочны»<sup>56</sup>? На стороне утверждающих, будто мир и жизнь можно без остатка объяснить, исчерпать плоскими формулами, или тех, кто различает глубину и высоту всякого явления, укорененность его в божественном, в том, что неопишимо никакими «научными» формулами? Поставить вопрос так – значит ответить на него. А ответить – значит признать, что, кроме науки, для объяснения человека и мира существуют также поэзия, искусство и запечатленное ими неукротимое устремление человека ввысь – то, что древний поэт назвал «огнем вещей». Та религия, с которой сражаются от имени химии и физики, – не религия, а жалкая карикатура на нее. На подобные доводы религии, действительно, нечего ответить, как нечего ответить художнику детям, которые не видят на холсте картины и готовы уже замазать ее цветными мелками. Но человек, написавший:

Туда б, сказав прости ущелью,  
Подняться к вольной вышине!  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрыться мне!..<sup>57</sup>

– такой человек опытно знает, о чем говорит. Он, быть может, еще не уверовал, но уже не опустится до вульгарной борьбы с верой.

## Псевдонаучность. «Борьба» с наукой?

В сегодняшнем моем выступлении я хочу вернуться к статье Курочкина «Модернизация и идеология современного православия», напечатанной недавно в журнале «Политическое самообразование»<sup>58</sup>.

Я уже говорил, что статья эта производит странное впечатление своей расплывчатостью и голословностью. По существу нам так и не объясняют, в чем состоит «модернизация» религии, заранее объявленная несостоятельной. Но сегодня я хочу остановиться на одной стороне аргументов Курочкина, а именно на том, что он говорит о взаимоотношениях религии и науки.

Как известно, «несовместимость» религии и науки составляет главную и излюбленную тему казенной антирелигиозной пропаганды. Десятилетиями она утверждает, что наука «развенчивает» и «упраздняет» религию, и поэтому Курочкин особенно негодует на утверждение «новых идеологов» Православия, что на деле это не так, но вера и знание составляют гармоническое единство. «В условиях колоссального научно-технического прогресса, – пишет он, – роста культуры масс Церковь уже не может открыто шельмовать и преследовать науку, как это она делала раньше. Ее защитники пытаются представить дело таким образом, будто Православие и раньше не было врагом научного знания... Новая обстановка заставляет служителей культа все чаще заявлять об отсутствии конфликта между знанием и верой»<sup>59</sup>. И Курочкин цитирует доктора богословия Л. Парийского, утверждающего, что «данные науки, добытые... настойчивыми... усилиями человеческого ума, подтверждают... тесный союз науки с верой»<sup>60</sup>. Цитирует он и священника В. Поветкина: «Порознь наука и религия бесплодны, как самые прекрасные в мире жених и невеста. Ныне я совершу над ними брачные церемонии, и ставши мужем и женой, религия и наука станут отцом и матерью истины, которая весенним солнышком согреет наши души»<sup>61</sup>.

Что же на все это отвечает Курочкин? Ничего. Или, вернее, нечто столь противоречивое и странное, что, прочтя это, с первого раза думаешь: да точно ли я понял? Православие, пишет он, не отказалось от борьбы с наукой. Оно теперь ведет эту борьбу под ширмой совместимости знания и веры. Спросим: как же это так? Ведь казалось бы, одно из двух: либо борьба, либо совместимость. Как можно бороться «под ширмой совместимости»? Но Курочкин, процитировав богословов и священников, столь ясно утверждающих не только совместимость, но союз и взаимную необходимость религии и науки, ничтоже сумняся утверждает, что богословие не согласилось и не может согласиться с достижениями научной мысли. И все, точка. Ни доказательств, ни рассуждений.

Но в том-то и дело, что никаких «доказательств» нет и не может быть, ибо главное утверждение антирелигиозной пропаганды, будто религия борется с наукой, а наука – с религией, есть основная и грубейшая ложь всей этой пропаганды, которая делает ее от начала до конца порочной. Ибо на деле религия никогда не боролась с наукой, и это можно подтвердить бесчисленными фактами, начав с того, что современная наука зародилась в университетах, устроенных Церковью. И то, что выдается за их борьбу, было на деле борьбой разных течений, передовых и более отсталых, в самой науке. Но никогда, подчеркиваю, никогда ни один богослов не сказал, что наука как таковая есть зло и с ней нужно бороться во имя религии. Вот почему и остается Курочкину, которому сказать нечего, выезжать на голословных утверждениях. Поэтому и у нас речь идет, в сущности, совсем не о «модернизации» Православия, а о его ответе на ложь и клевету.

Такая ложь и клевета – позор нашего времени. И это давно уже понимает всякий, кто знаком с утверждениями казенной пропаганды вроде тех, что мы находим в статье Курочкина.

## Псевдонаучность. Порабощенное знание

В связи с начавшимся учебным годом невольно вспоминаешь старую и порядком избитую пословицу: «Учение – свет, а неученье – тьма».

Вспоминаешь потому, что в наши дни справедливость этой пословицы, как ни грустно, перестает быть самоочевидной. Во всяком случае, в первой ее части, ибо учение для миллионов людей – не только свет, но, увы, и тьма пропаганды, тьма заезженных теорий, которые приказано принимать не рассуждая. И нет более грустного тому примера, чем тот, что у всех на глазах. Кажется совершенно диким, что строго научное и объективное изучение религии подменяется глупейшими и примитивными выпадами против нее. Причем и школьник и студент обязаны верить, что религия – вред и зло еще до того, как им что-нибудь сообщили о ней. Под это априорное утверждение подгоняются и все дальнейшие уроки «научного атеизма».

Но возьмем для примера любую область знания и спросим: можно ли всерьез, научно и объективно изучать русскую литературу, не давая школьникам и студентам ее произведений? Какова будет ценность любого курса о Пушкине, если преподаватель скроет от слушателей текст «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы»? Между тем именно так изучается религия. Вот брошюрка о происхождении христианских праздников, изданная каким-то учреждением по «распространению знаний». В ней можно найти все что угодно, кроме того, что дает истинное представление о Пасхе или Рождестве. Пример еще грубее: скрывают от учащихся текст Евангелия, но при этом внушают им, что Евангелие – книга ненаучная, устарелая и вредная. Все это крайние примеры того, как принцип «Учение – свет» превращается в свою противоположность, как учеба становится зубрежкой готовых формул и не просвещает, не освобождает, а затемняет и порабощает.

Неслучайно пословица называет учение «светом». Свет нужен затем, чтобы видеть вещи и явления как они есть, узнавать правду обо всем. В потемках все двоится, приобретает странные, а порой и страшные очертания. Обычная комната кажется в сумерках полной призраков, но стоит зажечь свет – и они рассеиваются. Так и учение: с незапамятных времен складывалось и укреплялось представление, что оно есть просвещение истиной. Поколение за поколением приучались бесстрашно искать истину, какова бы она ни была, чего бы ни стоило ее достичь. И в этом поиске был свет, в этом был залог свободы, а все, что ему препятствовало, признавалось темным. Человек имеет право знать и только на основании собственного свободного знания может решать сам за себя, что истина, что ложь. Все освободительные движения стремились к этой свободе знания. А вот теперь, через столько лет, больше того – через столько столетий, мы стали свидетелями страшной и убогой картины – обучения по приказу. И если таково положение с изучением религии, то намного ли лучше оно в других областях знания? Человеческое знание нераздельно, и если оно поработщено в одном, то поработщено и всюду. Вот над чем стоит задуматься в первые дни нового учебного года.



## Псевдонаучность. Объективно и честно

Мы говорили уже о том, как важно подлинно научное изучение религии. В университетах западных стран давно существуют кафедры сравнительного изучения религий – науки, стремящейся на основании данных археологии, антропологии, психологии и истории культуры восстановить ход религиозного развития человечества. И здесь хорошо видно все различие между научным и ненаучным подходом к религии. Не научность так называемой антирелигиозной пропаганды в том, что она рассматривает религию вне всякой исторической перспективы – как нечто единое и всегда равное себе. Как удивились бы те, кто слушает эту пропаганду, если бы до них дошли слова Райнхолда Нибура<sup>62</sup>, одного из виднейших христианских мыслителей современности: «Ничто в Библии не поддерживает взгляда, будто религия как таковая есть непременно нечто хорошее. Напротив, ко многому из того, что принято называть “религией”, Библия относится весьма подозрительно». И далее тот же Нибур говорит: «Религия как таковая очень часто вырождается в идолопоклонство и усиливает, а не ослабляет самообожествление людей, учреждений и народов. Религия и вера сами по себе совсем еще не положительные явления».

Иными словами, религия, как и решительно все в мире, требует изучения, анализа, оценки. Такое изучение началось давно, еще в XVIII веке, но расцвета своего, а главное – полной научности своих методов достигло в конце следующего века, в работах таких ученых, как Узенер, Дитрих, Хакман и особенно Шантепи де ля Соссей<sup>63</sup>. Они-то и пошли путем сравнительного изучения религии с привлечением богатейших данных археологии, антропологии и психологии. Учеными установлено, что истоки религии и фактические ее признаки восходят к первобытным временам, к первым сведениям о человеке. Так называемый неандертальский человек, живший, по всей вероятности, за сто тысяч лет до нашей эры, уже хоронил мертвых с каким-то религиозным обрядом. Но, как было сказано, глубочайшая древность религии совсем не означает,

что она изначально была возвышенной. Напротив, источниками этой примитивной религии могли быть страх, жестокость – все что угодно. Для науки интересно ее развитие, и здесь нет примера более показательного, чем идея жертвы, свойственная всем без исключения религиям в любую историческую эпоху.

Вначале жертва была проявлением страха, желанием задобрить и «купить» более сильного. Человек отдает божеству лучшее, что у него есть, думая получить за это здоровье, богатство или другие выгоды. Но, как пишет один историк религии, жертва, несмотря на вполне земные и даже эгоистические ее корни, может развиваться в один из благороднейших религиозных актов, став средством самоотдачи, благодарения и наконец соединения с высшей реальностью. Между жертвоприношением дикаря и учением Церкви о Христе, отдающем Себя в жертву всем людям для обновления и очищения их жизни – бесконечный путь развития, углубления, одухотворения самого понятия жертвы. Говоря о ком-то, что он «принес себя в жертву» своему народу или какой-то идее, мы разумеем самое лучшее и высокое, на что человек способен, и уже не думаем о кровавых и страшных жертвоприношениях первобытной религии.

Таким образом, истинно научный подход к религии учитывает постепенную сублимацию, т.е. возвышение тех первоначальных чувств, из которых она рождается, с одной стороны, и наполнение старых форм новым содержанием – с другой. И если честно применять этот метод, это приведет к объективному ее пониманию и оценке.

## **Псевдонаучность. Подлинно научный подход**

Основой религии является вера. «Я верю в Бога», – говорит верующий. И это значит, что он утверждает некий свой опыт. Этот опыт есть опыт внутренний. Он не поддается рационалистической проверке, как научная теория. А между тем враги религии в борьбе против нее сознательно или бессознательно делают всегда одну и ту же логическую ошибку – опыт веры, как и само исповедание веры, приравнивают к некой научной теории и затем доказывают (и по-своему очень даже убедительно), что при рационалистической проверке теория эта оказывается несостоятельной.

Но в основе, в исходной посылке остается ошибка, ибо вера – не рационально-научная теория. Никому ведь не приходит в голову проверять научно, утверждать или опровергать химией, физикой, математикой или биологией человеческий опыт человеческой любви. «Я люблю», – говорит человек, и если он действительно любит, мы видим в нем свет, радость и вдохновение любви. И всем этим любовь не столько «доказывается», сколько показывается. Поэтому мы говорим: вера, как и любовь, принадлежит внутренней, сокровенной жизни человека. И как любовь для того, кто любит, так и вера для того, кто верует, не нуждается в доказательствах. А если так, то никакая проверка и никакие доказательства не могут их уничтожить или опровергнуть.

Но возможен и научный подход к вере. Подлинно научный подход к ней требует от нас, по крайней мере, признать, что во все эпохи человеческой истории, во всех странах и культурах мы находим опыт веры. Но этого мало. Подлинно научный подход требует также, чтобы мы по возможности попытались понять этот опыт изнутри. Так и поступают ученые, которые в своих научных поисках свободны от обязанности во что бы то ни стало веру опровергать. Именно они и стремятся всесторонне осмыслить человеческий опыт веры, а осмыслив – описать его. Давно уже сформировалась целая наука – философия и феноменология религии. Но о ней как раз ничего не знают, да и

не хотят знать те, кто пытаются навязать миллионам людей свои убогие теории о «не научности» религии – теории, выводящие ее из экономики, социальных условий и чуть ли не из желудка.

В наши дни, когда человечество заблудилось на путях своей судьбы, следует свободно, честно и совершенно непредвзято поставить вопрос о вере, вникнуть в ее тайну – именно тайну, ибо все, что происходит во внутреннем мире человека, таинственно.

В следующих беседах я попытаюсь рассказать о том, как подходит к вопросам веры подлинная, т.е. свободная в своих поисках, наука.

## Псевдонаучность. Скучная помеха

«Сущность религии – это вера в фантастические и несуществующие сверхъестественные силы». Фраза эта взята из журнала «Наука и религия», где некто Беляев подвергает гневному разбору диссертацию Адлера о религиозной философии Ленина<sup>64</sup>.

Я привел эту фразу не случайно, она мне кажется ключевой в том разоблачении религии, типичным представителем которой является упомянутый Беляев, да и все прочие казенные идеологи так называемого научного атеизма. Их исходная точка приблизительно такая: научно доказывать и защищать религию, т.е. существование Бога, нельзя, но научно доказывать несуществование Бога можно и нужно. Я не знаю, чувствуют ли сами эти казенные идеологи парадокс своей позиции. Думаю, что в каком-то смысле чувствуют, иначе их разоблачение религии не было бы столь страстным и гневным. Настоящая наука таким языком никогда не говорит, ведь ее правда зиждется не на эмоциях и страстях, а на самоочевидности фактов и ясности доказательств. Но в этом случае самоочевидности и ясности быть не может по той простой причине, что объект доказательства, т.е. Бог, заранее объявляется несуществующим. А так как объект этот вообще не подлежит эмпирическому исследованию, то и все доказательство оказывается цепью запальчивых и надуманных утверждений. В худшем случае такие утверждения грубы и нелепы (вроде того что космонавт Гагарин «Бога на небе не видел»), в лучшем – туманны и исчерпываются ссылками на Ленина и Фейербаха.

Надо сказать, что тезис Адлера, который приводит Беляева в настоящее бешенство, а именно, что существование религии по сути доказывает существование Бога, с методологической точки зрения неизмеримо научнее, чем все ухищрения «научного атеизма». Оно хотя бы не противоречит здравому смыслу, выраженному в известной пословице: «Нет дыма без огня». Действительно, если всегда и всюду, во всех обществах и

всех культурах, на всех ступенях развития люди, и притом не одиночки, а множество, верили в Бога, что-то да должно служить причиной этой веры. Научный атеизм говорит: «Да, такой причиной была эксплуатация!». Но вот кончается эксплуатация, а люди верят в Бога. «Ну, тогда невежество!» – но вот мир покрыт сетью университетов, а люди, даже профессора, продолжают верить в Бога. «Пережиток прошлого!» – но со времени Галилея, Декарта, Вольтера и Фейербаха прошли столетия, а люди по-прежнему верят в Бога. «Выгода!» – но в Советском Союзе, например, уже пятьдесят лет как крайне «невыгодно» верить в Бога, но люди все еще верят.

Явление, с которым хотели разделаться в два счета, оказывается не только более живучим, но и неизмеримо более сложным, а это-то и выводит казенный атеизм из себя. «Ленин сказал...» Но почему я должен верить Ленину больше, чем Достоевскому и Толстому, академику Павлову и Тейяру де Шардену<sup>65</sup>? «Фейербах доказал...» Да, но вот через сто лет ученый-геолог и антрополог Тейяр де Шарден доказывает обратное. «Фантастическая вера в сверхъестественное!» – в отчаянии твердит атеистическая пропаганда, но «сверхъестественного» в смысле таинственного, необъяснимого, магического в современных толкованиях религии гораздо меньше, чем в абсолютно недоказуемом догмате, будто коммунизм ведет к всеобщему счастью. Вот тут, действительно, вера и больше ничего, ибо все доказательство касается будущего, заведомо неизвестного. У веры же религиозной есть настоящее и прошлое, есть правда и красота религиозного искусства, есть удивительное счастье и радость святых, есть ни с чем не сравнимая глубина и красота Евангелия, такая глубина и красота, что книгу эту запрещают переиздавать.

У религии, короче говоря, фактов неизмеримо больше, и она, указывая на них, говорит: «Вглядитесь, вдумайтесь!» Она не призывает поверить сразу, но спрашивает: «О чем эти факты свидетельствуют?» А научный атеизм отвергает факты или же замалчивает их. Действительно, он фактически никогда не

говорит о религии в ее подлинной сущности, а всегда о каких-то вторичных явлениях, недостатках, грехах представителей религии, но разве это спор, разве это наука? По существу, самое поразительное – это крах и банкротство пресловутого «научного атеизма». В мире масса неверующих. Но не потому они не верят, что кто-то что-то доказал «научно», а потому что нет у них опыта веры. И в мире есть масса верующих, и не потому они верят, что не дошла еще до них атеистическая пропаганда, а в силу своего опыта веры. Но если этот опыт есть, доказывать его отсутствие так же бессмысленно, как объяснять музыку Баха или древнерусскую икону «Капиталом» Карла Маркса.

Непора ли хотя бы допустить, что в отношении религии Фейербах, Маркс и их эпигоны попросту ошиблись? Увлеченные своим экономическим анализом, они распространили его на все в мире, но оказалось, что великое множество явлений ему не подвластно. Неподвластно искусство, не подвластна любовь к Родине, не подвластна любовь и, конечно же, религия. И вот страшный размах кулака, который должен был, согласно теории, сокрушить религию безвозвратно, поражает воздух, ибо то, что он крушит, не имеет отношения к живой, опытной вере. И всякий знает, что без постоянной поддержки государства, партии, милиции и целого аппарата агитаторов вся эта «научно-атеистическая» пропаганда просто лопнет. Это совсем не значит, что все сразу поверят в Бога, но только то, что на вечном пути человеческого искания «научный атеизм» – скучная помеха, ибо он органически чужд последней глубине, на которой решает человек настоящие свои вопросы.

## Псевдонаучность. Обывательщина

И наука, и философия, и религия суть, прежде всего, объяснение того, что есть. Или, может быть, лучше сказать – ответы на один вечный вопрос, который человек будет задавать, пока он человек. Вопрос этот: что такое бытие? Что значит существовать, быть, развиваться, жить? Для человека – и в этом смысле он одинок во всей необъятном многообразии существующего – вопрос этот еще усугубляется знанием человека о своей смертности, о хрупкости и кратковременности своего личного бытия.

Нет, не может быть человека, который бы не задумывался об этом страшном парадоксе смерти. Но ведь вопрос о смерти – это и есть вопрос о жизни, и не только моей личной жизни, жизни моего «я», но и о жизни мира, Вселенной, космоса. Если все во Вселенной подвержено смерти, а сама она существует вечно, то для чего? Часть людей, может быть даже большинство, однажды задавшись такими вопросами, потом в испуге отбрасывает их и начинает жить «сегодняшним днем», т.е. в постоянном забвении. Для таких людей вопросы эти превращаются в «проклятые вопросы», мешающие жить, отравляющие те минуты доступного и незамысловатого наслаждения, какие способна подарить жизнь.

Уже в древности эпикурейцы<sup>66</sup> сделали своим лозунгом фразу: Будем есть и пить, ибо завтра умрем (Ис.22:13). В наши дни техника этого забвения, техника отвлечения людей от всего, что так или иначе может их взволновать на глубине, достигла неслыханных размеров. Современная цивилизация есть, в сущности, цивилизация гедонистическая<sup>67</sup>, от греческого слова «ἡδονή» – наслаждение. Так называлось в древности учение, заявлявшее, что поскольку ни на один из «проклятых вопросов» человек ответить все равно не может, то лучше и не пытаться на них отвечать, а искать сиюминутного счастья. Но такой подход к теме «жизнь – смерть» мы называем сегодня обывательским. Обыватель – прежде всего тот, кто не хочет, чтобы его беспокоили глубиной или высотой, кто сознательно или



бессознательно ищет от жизни лишь забытья. А если иногда гложет его глубоко внутри какой-то червячок беспокойства и страха (ведь вот время бежит, и с годами и старостью приближается смерть!), то он инстинктивно стремится беспокойство это заглушить шумом жизни, суетой повседневщины.

Надо прямо сказать, что в стремлении этом обыватель часто обращается и к религии. Есть обывательская религия, как есть обывательская наука и обывательская философия. Ведь если всерьез прочесть Евангелие, станет очевидно, что ничего успокоительного, утешительного, ничего из того, что нужно обывателю, в книге этой нет. Напротив, все в ней до бесконечности углубляет и заостряет те самые «проклятые вопросы». Углубляет и заостряет прежде всего тем, что ставит перед человеком невозможное, неслыханное требование: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен» (ср.: Мф.5:48). Уже одно это требование несовместимо, очевидно, с обывательской жадой спокойствия, беззаботности, с обывательским идеалом маленькой, тихенькой «благополучной жизни». Евангелие, далее, говорит об узком пути самоотречения, жертвы, подвига: «Кто хочет спасти душу свою, погубит ее» (ср.: Мф.16:25; Мк.8:35; Лк.9:24). Оно говорит о том, что богатому и даже надеющемуся на богатство невозможно спастись (см.: Мк.10:23–24); оно зовет к такой высоте, к таким вершинам, на которых захватывает дух. Однако так сильна обывательщина в мире, что даже это учение, изнутри взрывающее всякую успокоенность, всякий минимализм, обыватель ухитряется обратить себе в помощь, в своеобразное оправдание обывательщины. И тогда сама религия становится обывательской.

Но то же происходит с наукой и с философией. Обыватель очень часто ссылается на науку: «Наука доказала, наука показала....» Но всякий хлебнувший науки знает, что ответы, найденные ею – ничто по сравнению с бездонными вопросами, которые каждый такой ответ поднимает; что чем дальше идет наука, тем очевиднее встает перед нею страшная тайна мира, в котором все так слаженно, так мудро устроено и где все

наполнено тоской и бессмыслицей смерти, постоянно поглощающей жизнь. И тут все «научные доказательства» оказываются бесполезными. И Паскаль, оторвавшись в ужасе от телескопа, восклицает: «Меня ужасает молчание этих бесконечных пространств!»<sup>68</sup>

Обыватель любит пофилософствовать, пощекотать нервы поэзией, музыкой, но запрещает себе понять, что и философия, и поэзия, и музыка, все то, что мы называем «культурой», родилось из того же испуга, из того же трепета, из той же попытки преодолеть мировую бессмыслицу, найти вечность во временном, обрести жизнь, про которую нельзя будет сказать так просто и страшно, как сказано у Толстого в «Смерти Ивана Ильича»: «И после глупой жизни придет глупая смерть»<sup>69</sup>.

Человечество всегда, а не только сейчас, делилось на обывателей и тех, кто, намного уступая им численно, с обывательщиной примириться не могут, зная, что настоящее, последнее призвание человека – бесстрашно взглянуть в «проклятые вопросы», которые ставит перед ним сам факт его бытия, и всеми способностями своего разума, души и сердца попытаться на них ответить. Особенность нашего времени в том, что, кроме обывательщины как факта, оно создало еще обывательщину как идеологию. Прежде в обществе и культуре живо было хотя бы знание о том, что обывательщина не есть высшая мудрость человека. Теперь, к нашему стыду, именно обывательщина провозглашается последним словом, последней истиной.

Лучшим, хотя, конечно, не единственным примером этой идеологии обывательщины является коммунизм, ибо он сознательно и якобы «научно» сводит всю человеческую жизнь к материи. Он отрицает само существование «проклятых» вопросов и человеческое счастье выводит из материально-экономической сферы, что и есть обывательщина в чистом виде. И потому истинная борьба сейчас есть борьба с обывательщиной как в жизни, так и в идеологии. И тут должны объединить усилия и религия, но подлинная религия, и наука, но подлинная наука, и философия – подлинная философия.

## Сверху или снизу? Единство веры и разума

Существует множество теорий происхождения религии, но все они сходятся в одном: в признании религии изначально явлением человеческой истории.

Это значит, что религия возникла вместе с человеком, возникла с момента, когда человека можно считать существом, коренным образом отличным от других живых существ. Каково бы ни было происхождение человека, но с момента, когда он известен нам как человек, мы вправе назвать его существом религиозным.

Факт этот следует напомнить потому, что современные теоретики атеизма, одержимые какой-то глубинной и до конца необъяснимой ненавистью к религии, стараются представить ее явлением акцидентальным, т.е. случайным, возникшим из тех или иных причин. Однако беспристрастные исследования показывают, что религиозность – такое же изначально и универсальное достояние человека, как разум.

Но воинствующий атеист согласен на разум и не согласен на религию. В ней видит он нечто ненормальное и враждебное, а отнюдь не соприродное человеку. Разум человеку нужен, а религия не нужна. Почему?

На этот вопрос ответа, в сущности, так и не дано, ибо нельзя же всерьез считать ответом знаменитый марксистский материалистический тезис, что «религия есть всецело продукт эксплуатации имущих неимущими», т.е. своего рода эпифеномен<sup>70</sup> экономики. Ведь, согласно марксизму, разум тоже всего лишь «надстройка» над матери- ей, точнее – над «материальным базисом». Но ведь вот ни Марксу, ни его последователям в голову не приходило отрицать на этом основании разум и бороться с ним. Напротив, с самой религией марксисты борются с позиций «науки», т.е. рационального, разумного.

Поэтому не пора ли открыто признать, что религиозность, подобно разумности, всегда была основным свойством человека? С самого начала своего сознательного,

рефлексирующего, т.е. подлинно человеческого бытия, человек познавал мир и самого себя, соотносил себя с миром двумя различными, но взаимосвязанными путями – путем разума и путем веры. И на протяжении веков разум и вера не только не враждовали, но дополняли и обогащали.

Разрыв и начало войны между ними – дело сравнительно недавнее, и если сегодня это состояние объявляется «естественным» и «неизбежным», то только в силу странной аберрации современного разума. Ибо разум в лице сравнительно небольшой горстки ученых и философов, опьяненных новооткрытыми возможностями науки, в какой-то момент провозгласил себя всесильным и самодостаточным, способным, во-первых, все постичь и объяснить, а во вторых, научить человека всему для него необходимому. Но беда в том, что эта малая горстка начала преследовать всех отказывавшихся принять догмат всесилия разума. И вот эти поклонники разума усиленно позаботились создать видимость того, что все «передовые» и «истинно просвещенные» люди принимают этот догмат, а на стороне веры – лишь глубоко невежественные, чуждые всякой науки простачки.

И так продолжается до сих пор, и похоже, никто не смеет сказать, как ребенок в знаменитой сказке Андерсена: «А король-то голый!» Ибо все это ложь и обман – грандиозных, впрочем, размеров! За примерами далеко ходить незначем. Возьмем лучших русских людей XIX века – тех, кто останется в истории и тогда, когда грошовой идеологии всех мастей будут забыты. Возьмем Державина и Пушкина, Баратынского и Лермонтова, Гоголя и Тютчева, Достоевского и Толстого, а в XX веке – Пастернака и Ахматову, Мандельштама и Солженицына... Все они – верующие, а уж их-то вряд ли можно обвинить в темноте и невежестве. Больше того, у каждого из них вера так или иначе определяла все мировоззрение и творчество.

А что можно сказать о тех, кто противопоставили разум вере, отбросив веру как «вредный пережиток»? Чем обогатили они мир, что останется от них в памяти человеческой? Вот на наших глазах решили в одной стране построить всю жизнь на безбожии, на отвержении веры и обожествлении разума. Но

почему же именно в этой стране нужно до сих пор защищать эту идеологию тюрьмами и лагерями, новыми преследованиями всех инакомыслящих? Почему именно в этой стране небывалых размеров достиг страх?

Нет, видно, роковую ошибку совершили те легкомысленные люди, которые, решив, что человеку нужен только один из двух элементов, от века определявших его бытие, тем самым разрушили целостность человека, да так, что он окончательно сбился с пути и не знает, для чего существует и куда бредет.

А потому не пора ли подумать о том, как эту целостность восстановить?

## Сверху или снизу? Полярные объяснения

Может ли современный человек верить в Бога? Вопрос этот, который очень часто задают как неверующие, так и сами верующие, стал элементом духовной атмосферы нашего времени.

Одни отвечают на этот вопрос отрицательно: «Нет, не может и не должен». На их стороне находятся все те, кто вот уже больше столетия утверждают, что вера несовместима с научным знанием, что религию убила (и заслуженно!) наука. В самой упрощенной форме высказал это космонавт Гагарин, который побывал-де на небе, и никакого Бога там не нашел. Разрезав мертвое тело, не находят в нем души; изучая все глубже природу, не находят в ней никаких божественных, сверхъестественных сил и т.д.

На это защитники веры чаще всего отвечают, что процент верующих среди ученых, изучающих эту самую природу, не только не уменьшается, но увеличивается, а это означает все более бесспорное признание того, что за природой стоит тайна, которую наука с ее эмпирическими методами разгадать бессильна. Тоже и в других отраслях знания, ибо неверующим физикам, химикам, психологам и социологам можно противопоставить немало верующих собратьев.

Спор, начавшийся в эпоху Просвещения и достигший апогея в XIX веке, с некой глубокой точки зрения зашел в тупик, ибо никто никого ни в чем не убедил – ни неверующие верующих, ни верующие неверующих. И не случайно в наши дни религия преследуется отнюдь не учеными (ибо неверующие ученые отлично уживаются с учеными верующими), а исключительно государственно-идеологическим аппаратом, усматривающим в ней источник неблагонадежности. Иными словами, вера подавляется грубым государственным насилием, а в предельных случаях – террором.

Конечно, не надо утаивать и то, что если не в настоящем, то в прошлом государственному преследованию подвергались и неверующие. Но для нас важно то, что ни истинная вера, ни

истинная наука в том и другом случаях оказываются ни при чем. Ни при чем, вроде бы, и современная цивилизация, достоянием которой в равной мере признаются писатели, художники, ученые, открыто исповедовавшие как свою веру, так и свое неверие. Тем не менее религиозная проблема приобрела в нашей цивилизации такую остроту, как ни в какой другой. В чем же дело? Почему каждый из нас чувствует, что вопрос о вере и неверии по-новому обращен к каждому из нас? Думается, что для ответа на него необходимо заново увидеть одну беспрецедентную черту современности.

Всякий историк согласится, что цивилизации, предшествовавшие нашей (которая зародилась приблизительно в эпоху Возрождения), смотрели, так сказать, вверх – иными словами, прилагали к человеку и всем сторонам его жизни некий высший критерий. Христианство, пришедшее на смену античному язычеству, в определении этого высшего критерия решительно с ним расходилось. И все же основной подход к нему в обоих случаях был общий: и там и здесь признавали, что все в человеке сверху, а не снизу, и что его жизнь отнесена к некоему высшему смыслу, и только в отнесенности к нему становится он до конца человеком.

Так вот, именно от этого «сверху» и «к высшему» начала освобождаться наша цивилизация. Если в эпоху Возрождения был выдвинут лозунг «Человек есть мера всех вещей»<sup>71</sup>, то очень скоро потерял смысл и он. Ибо если человек не сверху, а снизу, если человек – всего лишь часть природы, то уже не он, а именно эта природа – настоящая мера всех вещей. Поскольку же природу изучает безличная наука, то именно ей, науке, надлежит, объяснив природу, объяснить и ее часть – человека.

Действительно, наша цивилизация с самого начала отвергла – и сознательно! – всякое объяснение мира и человека сверху, и в этом смысле вынесла веру за скобки: «Всё снизу, а не сверху». И это нужно помнить, если мы хотим понять особую остроту вопроса о вере для современного человека. Ибо он, даже сохраняя веру, все равно ощущает ее разрыв с основной установкой нашей рационалистической, к маленькому человеческому «счастью» устремленной цивилизации.

Вот об этом конфликте между высоким и низким объяснением человека и мира нужно говорить в наши дни. К нему мы и вернемся в следующей беседе.



## Сверху или снизу? Цена отказа

В одной из прошлых бесед я говорил о том, что наша современная цивилизация, в сущности, первая в истории человечества, которая ищет объяснения всему в мире и в человеке не сверху, а снизу. Первая, которая, сознательно провозглашая такой подход «прогрессом» и «освобождением», отказалась от того, что еще совсем недавно называли «метафизикой» (греческим словом, составленным из μετά – после, ту сторону и φύσις – природа, откуда и «физика»), отказалась, иначе говоря, от того, что по ту сторону природы и физики, от того, что над ними, выше их, что одной физикой, т.е. одними законами природы, одной эмпирической наукой не объяснить.

Надо понять, что современная цивилизация основана на чудовищном парадоксе: она называет «прогрессом» и «освобождением» сведение всего в мире к самым элементарным, животным процессам.

Вот недавно знаменитый французский биолог, нобелевский лауреат Жак Моно<sup>72</sup> написал нашумевшую книгу, которую он назвал «Случайность и необходимость». Всё в мире, по его мнению, результат, с одной стороны, чистого случая, а с другой – чистой необходимости. Какие-то клеточки случайно сталкиваются, какие-то процессы случайно перекрещиваются – слепой случай, слепая необходимость, в которой нельзя открыть и распознать никакого смысла, никакого значения, никакой цели. Впечатление от этой книги страшное: мы живем, по существу, в какой-то ледяной пустыне, наша жизнь угасает, едва вспыхнув, и всё в ней – иллюзия. Иллюзия личность, иллюзия свобода, иллюзия творчество, иллюзия любовь...

Все, чего ждет и требует Жак Моно от человека, – это примирения с такой бессмыслицей, и все, что он предлагает, есть своеобразная этика терпения. И поскольку Моно – один из величайших представителей современной науки, то и эту безнадежную книгу следует признать самым знаменательным выражением духа нашей цивилизации. Моно спрашивают: а как

же религия, дух, истина, красота? И он честно отвечает: «Ничего нет, все это иллюзия, выдумка». Почему? Да потому, что всего этого не знает точная наука, потому что все это не вытекает из «объективного» изучения природы. А поскольку нет у человека иного пути к познанию мира, кроме «объективно-научного», то не о чем и говорить. Итак, главный и окончательный итог нашей цивилизации – отречение от высокого замысла о человеке, каковой замысел признан иллюзией.

Единомышленники Моно отвергают не только религию. Столь же ненужными, ненаучными, иллюзорными представляются им идеологии, сделавшие религией «прогресс», обещающие человечеству свободу, равенство и братство, о которых никакая «настоящая» наука ничего, опять-таки, не знает. В самом деле, какая может быть свобода, если всё в мире – плод случая и необходимости? Какое равенство и откуда братство? Братство может быть между личностями, но если и сама личность – все та же иллюзия, все тот же случай, все та же необходимость, то откуда оно?

Нет, только если честно взглянуть в нашу цивилизацию, сняв с нее все покровы и докопавшись до последней ее глубины, станет ясно, что на глубине этой – безнадежность, что в основе ее – полный мрак, сплошной нигилизм. Правда, от миллионов людей безнадежность эта скрыта, потому что на поверхности наша цивилизация выглядит, напротив, крайне оптимистической: вот завоевали пространство, прошли по Луне, вот построили еще более мощный и скорый самолет, нашли еще одно средство от какой-то болезни!

Но если на секунду задуматься и спросить, а на что направлены в конце концов вся эта скорость и мощь, все это безостановочно растущее знание и умение, то от вопроса этого идеологи нашей цивилизации всячески уходят. «Это, – говорят они, – метафизика, а метафизикой мы не занимаемся!» Но сквозь напускной оптимизм современности все яснее проступает страх. Ибо никогда еще не были так переполнены больницы для душевнобольных, никогда еще не был так высок процент самоубийств, никогда еще не жил человек в такой

страшной растерянности, в таких мучительных сомнениях, в такой животной боязни.

И, может быть, пора спросить, какова же цена цивилизации, неспособной ответить на главный вопрос: для чего живет человек и в чем смысл его жизни? Может быть, пора под вопрос поставить сам этот отказ от метафизики, само это обожествление науки, все это торжество плоского рационализма, обещающего человеку рай на земле и создавшего не то всемирный дом умалишенных, не то планетарную тюрьму. И, быть может, в самом этом отказе от метафизики, от конечных вопросов источник всей страшной запутанности жизни в современном мире?

Когда-то русский человек с улыбкой говорил: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»<sup>73</sup> Но в этой шутке, почти насмешке над верой не открывается ли теперь глубокая правда? Именно теперь, когда стало так холодно, бесприютно и страшно жить на земле? Да, блажен, кто верит, и тепло ему на свете. И впору задать вопрос: что же это за вера, от которой светло, радостно и тепло, и так ли уж развенчана она пресловутой «наукой», так ли наивна, как стараются уверить нас те, кто ничем, кроме «случая» и «необходимости», заменить эту веру, это радостное тепло не может?

## Сверху или снизу? «Какো веруеши?»

В прошлой беседе я приводил старую пословицу: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» Пословица эта звучит теперь как некая насмешка над верой, как мягкое сожаление умного в адрес глупенького, который все еще верует в «боженьку», в чудеса и прочие «благоглупости».

Но вот поскольку этот умник сам не создал никакого тепла, не явил никакого света, не дал никому никакой радости, а напротив, наполнил мир страхом и бессмыслицей, то я предложил вслушаться в эту старую пословицу по-новому и спросить себя, а не заложена ли в ней та простая и вечная правда, без которой невозможно человеку жить на этой земле полной, настоящей жизнью?

И прежде всего я предлагаю несколько простых истин, никаких доказательств не требующих.

Истина первая: человеку свойственно стремиться к счастью, искать вот этого самого «блаженства», или тепла. С этим согласится всякий – верующий и неверующий, умный и глупый, и потому именно счастье обещают человеку и все религии, все философии, все идеологии.

Истина вторая столь же проста: счастлив на этой земле, в этой жизни только тот, кто верит. Оговорюсь сразу же, что имею в виду веру не религиозную, а как непрменный элемент человеческого мировосприятия: можно верить в Бога, но можно верить, к примеру, и в науку – важно верить и важно то, что именно вера, а не иное что, дает счастье.

И что же в таком случае есть вера? В первую очередь принятие сердцем некоего идеала, любовь к нему и переживание его как источник счастья. И с этой точки зрения, всякая вера, а не только религиозная вера в Бога, недоказуема, будучи именно верой, а не знанием. Для влюбленного счастье – в соединении с любимой, но поскольку он соединения этого еще не испытал, то не знает, а только верит, и сама эта вера – уже счастье. Когда Карл Маркс говорит, что итогом революционного процесса будет скачок из «царства необходимости» в «царство

свободы» и всеобщее счастье, он еще ничего опытно не знает ни об этом скачке, ни об этой свободе, ни об этом счастье. Он, следовательно, тоже верит, и только в этой вере – счастье всех разделяющих подобную идеологию.

Таким образом, счастье – в вере, а вера не требует, не ищет доказательств именно потому, что она вера, т.е. устремление всего человека к тому, что он воспринял и пережил как идеал, как ценность – иными словами, как то, что способно дать счастье. Но тогда воистину «блажен, кто верует», и остается лишь спросить, какая вера, какой идеал обещают и уже приносят ему наибольшее счастье, наибольшее блаженство, наибольшее тепло.

Отсюда третья истина: люди всегда спорят, в сущности, лишь о вере. Настоящий предмет спора – всегда вовсе не наука или религия, не социализм или капитализм, не та или другая идеология, а то, чему отдал свое сердце человек, в какой замысел о жизни он верит, какого счастья ищет для себя и других. В этом смысле всякий человек религиозен, всякий во что-нибудь верит, и когда перестает верить, перестает быть и человеком, а главное – становится бесконечно несчастным. Это несчастье он может залить водкой, прекратить пулей в лоб или петлей, но само оно – всегда от безверия, от выпадения из самой насущной, самой глубокой данности человеческой природы – необходимости верить.

А если так, то не только уместно, но и необходимо к каждому человеку подходить с вопросом «Како веруеши?», т.е. в чем твой идеал, твоё счастье, твоё блаженство, твоё тепло, – затем сравнивать эту веру с нашей и, если нужно, спорить о ней.

И не говорите нам, что вы не верите в Бога постольку, поскольку «наука доказала», что Бога нет. Вы не хуже нас знаете, что никакая подлинная наука Богом не занималась и не могла доказать ни Его существования, ни Его не существования. Вы не верите в Бога, в Которого верим мы, именно потому верите в другого бога! Так скажите же нам – в какого? Вы отрицаете наше счастье, наше тепло, потому что хотите другого – тогда скажите, какого же? Давайте спорить

честно и открыто. Без ссылок на науку, ибо наука ведает тем, что можно проверить опытом, увидеть, а про Бога сама наша вера говорит: Бога не видел никто никогда (Ин.1:18). Без ссылок на недостатки, грехи и преступления верующих всех времен, ибо все они нам известны и даже сама вера наша есть вера в Того, Кто был преследуем, распят и убит не неверующими, а верующими. Нигде не сказано против злоупотребления верой и религией так много, как в Евангелии, поэтому оставим в стороне и этот аргумент. Важно только одно, самое глубокое, самое существенное – во что верю я, во что веришь ты.

Ибо ты и я, оба мы верим, а если бы не верили, то и жить бы не могли. Итак, давай начнем спор: я буду говорить о своей вере и – пытаюсь отвечать на вопросы о ней так, как если бы ты отвечал на вопросы о своей. Только такой спор о вере и нужен и возможен в наши дни – спор без ложных доказательств и ссылок на ложные авторитеты, спор о том, что происходит на подлинной глубине человека – в его сердце, спор о том, чему человек хочет и должен себя отдать.

## СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ? Общее – поиск

Несколько недель тому назад в Париже вышла замечательная книга, где приведены беседы молодого французского философа Христиана Шабаниса<sup>74</sup> с двадцатью выдающимися представителями различных наук (физики, философии, экономики и других), известными своим неверием, т.е. непринадлежностью к какой бы то ни было религии. Он обратился к ним с вопросами о причинах их атеизма и о том, каково его место в их мировоззрении. Беседы дали поразительный результат, и нам кажется, что книга эта должна представлять исключительный интерес для всех, кого занимают проблемы веры и неверия в современном мире. Шабанис начал с нобелевского лауреата профессора Альфреда Кастлера<sup>75</sup>, одного из известнейших физиков. С первых же слов профессор Кастлер заявил, что для современного физика идея случайного зарождения мира исключается: слишком очевидно проступает в нем странная согласованность и ничем не объяснимая направленность к неведомой нам цели.

«Таким образом, – спрашивает Кастлера составитель книги, – ваши научные выводы ни в чем не подтверждают обычных утверждений атеизма, ни в чем не противоречат идее Бога?»

«Нет! – отвечает ученый. – У меня создалось впечатление, что в наши дни биолог находится в том же положении, в каком находился физик в 1900 году. Тогда физики думали, что они уже все знают, что физика, в сущности, законченная наука. Но опыт показал, что все нужно пересматривать. Тоже самое теперь с биологией, и поэтому никакие синтетические утверждения сейчас невозможны».

«Следовательно, – спрашивает Шабанис, – если вы не защищаете гипотезу Бога, то и не отрицаете ее и, во всяком случае, ваше неверие не основано на вашем научном знании?»

«Совершенно верно», – отвечает профессор Кастлер.

«Но тогда на чем же?» – спрашивает собеседник.

«Должен сказать, – говорит Кастлер, – что меня бесконечно волнует невозможность сохранить собственную детскую веру, и

особенно веру в идею столь же прекрасную, сколь, как мне думается, и ложную, что Бог есть любовь. Если бы я и принял существование всезнающего и всемогущего Бога, то все равно не смог бы поверить, что этот Бог есть любовь. Мой опыт изучения мира вынуждает признать, что в основе жизни на всех ее уровнях лежит смерть».

«Но вы усматриваете противоречие между любовью и смертью?»

«Да, – отвечает Кастлер. – Если бы я был Творцом, то нашел бы, мне кажется, возможность создать мир без того, чтобы прогресс его был основан на разрушении и страдании».

Шабанис замечает на это, что христианство отнюдь не случайно ставит во главу угла победу над смертью.

«Я знаю только одно, – отзывается Кастлер, – и знаю это на основании многолетних исследований: в мире присутствует цель, но мы не видим пока, в чем она заключается».

«Итак, – заключает его собеседник, – наука в наши дни сама подводит нас к тайне. Что же касается веры, то она остается тем, чем была всегда, – скачком в эту тайну, не правда ли?»

«Да, может быть», – отвечает Кастлер.

Вот в сокращенном виде разговор одного из великих, если не величайших современных физиков с честным и открытым собеседником-христианином. Многое в историческом бытии религии мешает Кастлеру: разделения среди самих верующих, формулировки отдельных догматов и т.д. И все же как далек он от той тупой вражды, от того дешевого всезнайства, которые так поражают в нашем казенном атеизме с его постоянным: «Наука доказала, что Бога нет»! Но вот послушайте профессора Кастлера: нет, ничего она не доказала. И когда остается верной себе, т.е. честной, открытой, глубокой, когда действует в согласии с собственными принципами, то сама в конце концов признает наличие в мире цели, финальности, превосходящей все возможности науки и всякое разумение.

Да, профессор Кастлер потерял свою детскую веру. Но, может быть, и тут есть своеобразная диалектика – диалектика самой веры. Неслучайно в Евангелии так много сказано об



искании, о жажде и алкании, не случайно все оно – сплошной призыв стучать в дверь. И если что роднит сегодня подлинную веру с подлинной наукой, то это неизменная готовность искать, неизменная открытость к тайне бытия.

Спор между верой и наукой чаще всего протекает на необычайно низком уровне, как спор псевдонауки и слабенькой, самодовольной, фарисейской веры. А на вершинах этого спора – там, где не боятся глядеть истине в глаза и всем пожертвовать для ее достижения, – начинается тот высокий разговор, в котором решается, по сути, судьба человека и человечества.

Вот первый вывод, который можно сделать из замечательной книги Шабаниса, посвященной современному атеизму и обнажающей всю его сложность и противоречивость. Все дело в том, что неверие, отказ от Бога долгое время представляли как итог поступательного развития человеческого разума. Книга Шабаниса разрушает этот миф. Вера предстает в ней тем, чем всегда была, и тем, как определяется она в Евангелии, а именно даром; отказ же от Бога оказывается не итогом научного развития, а плодом упорного нежелания увидеть пребывающий в мире свет. Именно об этом свете, который он не может пока назвать, и говорит профессор Кастлер.

## Сверху или снизу? Нужда в безмерно большем

В прошлой беседе мы говорили о только что вышедшей во Франции книге, автор которой, католик Шабанис, обратился к двадцати ведущим ученым-атеистам с вопросом о причинах и природе их неверия. Я привел несколько высказываний нобелевского лауреата по физике Альфреда Кастлера.

Сегодня я хочу процитировать представителя другой науки – социолога с мировым именем Эдгара Морена<sup>76</sup>. Морен прославился трудами историческими, этнографическими, культуроведческими, и только что вышла очень нашумевшая его книга о развитии человечества.

На вопрос, чем вызван его атеизм, Морен отвечает: «Я чувствую необходимость сразу же уточнить, что мое неверие следовало бы назвать “неоатеизмом”». На вопрос, что же это такое, Морен уточняет: «Это прежде всего убеждение, что религия не исчерпывается тем, что принято так называть, – она повсюду и во всем. Говорить о Разуме с большой буквы – та же вера, ибо идеи могут занимать место Божества, и с этой точки зрения почти все люди так или иначе религиозны. Однако – и это очень важно – мой неоатеизм признает существование того, что еще не объяснено и, в сущности, необъяснимо. Когда я слышу от христианских ученых о мистическом богословии, подразумевающим соприкосновение с Незъяснимым, я чувствую, как что-то во мне отзывается на это. В мире все объяснимо, кроме самого последнего и самого главного. И поэтому мне в высшей степени присуще чувство тайны».

В молодости Морен состоял в компартии, которую покинул, по собственному его признанию, именно из-за отсутствия глубины в коммунистической идеологии. Коммунизм для него – это редукция человека к одному измерению, а между тем мы стоим перед непостижимой тайной бытия. «И в этом смысле, – поясняет Морен, – я не могу попросту отождествить мой неоатеизм с неверием. С одной стороны, я не могу примкнуть ни к одной из существующих религий, и с этой точки зрения, я, пожалуй, неверующий. Но с другой стороны, я совсем не

считаю, что вера – всего лишь сплав суеверий, которому противостоит истина разума; такое отношение к религии примитивно и глупо».

И прибавляет: «Ни в какой мере я не делаю божества или фетиша из науки: я уже сказал, что наука по самой природе своей очень ограничена. Несомненно, существуют другие способы мышления и постижения – метафизические и символические, и эти способы, эти пути куда глубже научных. Поэзия, например, говорит нечто необычайно глубокое, но, переведенная на язык обычной логики, делается предельно плоской. Поэзия, метафора, символ – все это носители таких истин, которые наука, по моему глубокому убеждению, перевести на свой язык не может. Я нахожу, что нет ничего более глубокого и значительного, чем язык религии, когда она говорит, к примеру, о смерти».

Шабанис задает вопрос о взаимоотношениях науки и веры в современном мире.

«Я не вижу никакой необходимости в конфликте между ними, – отвечает Морен. – Пастер<sup>77</sup> был ученым и верующим, Тейяр де Шарден – верующим и ученым. Можно жить на разных планах и уровнях – натуральном и сверхнатуральном одновременно. Лично я не считаю, что развитие науки чем бы то ни было угрожает религии. Мы все яснее видим, что человек нуждается в духовном, поэтическом, в глубокой внутренней жизни и что эта нужда особенно сказывается там, где религия осуждена официальной идеологией. Это происходит, например, в Советском Союзе, где официальный марксизм-ленинизм есть мировоззрение столь догматизированное, столь схематичное, столь бедное, что не объясняет решительно ничего ни в одном измерении человеческой жизни. Наука, в сущности, обнажает, обостряет глубинную нужду человека в чем-то неизмеримо большем, чем она сама. И речь, с моей точки зрения, может идти лишь о том, удовлетворяют ли эту нужду прежние религии, или же произойдет еще одна религиозная мутация, религиозная метаморфоза – рождение еще одной религии».

Таковы мысли о вере и неверии знаменитого французского социолога Эдгара Морена. Он называет себя «неоатеистом», но

опять-таки, как и в случае физика Альфреда Кастлера, мы видим, что этот «неоатеизм» бесконечно далек от плоского атеизма казенной пропаганды. И можно спросить: да атеизм ли это? Неближе ли это признание тайны и глубины во всех измерениях жизни к подлинной религии, чем дешевое безбожие и, увы, столь же часто – дешевая вера, которых так много в нашем мире? И не служит ли этот неоатеизм на деле углублению нашей собственной веры, погружению в ее последнюю, радостную глубину?

Таким образом, выходит, что изучение этого нового атеизма, а лучше сказать, атеизма ученых, свободных от всякого догматизма, в каком-то глубоком смысле полезно для религии.

## Сверху или снизу? За пределами науки

Я говорил в двух прошлых беседах об ученых, считающих себя неверующими и пытающихся объяснить свое неверие. Один из них – нобелевский лауреат по физике Альфред Кастлер, другой – знаменитый французский социолог Эдгар Морен.

Сегодня речь пойдет о представителе третьей основной науки современности – экономики. Тот же автор, который изложил высказывания о вере и неверии Кастлера и Морена, обратился к одному из мировых светил в этой области – Жоржу Элгози<sup>78</sup>. И тоже потому, что Элгози причисляет себя к неверующим.

На вопрос, как понимает он свое неверие, Элгози отвечает следующим образом: «Мне кажется, что большинство людей постоянно колеблется, как и я, между верой и неверием. Из этого вечного внутреннего конфликта человек всегда выходит, так сказать, еще больше человеком: в нем появляется духовная напряженность, и мне кажется, что главное здесь – не ответ на вопрос, а сам вопрос. В этом вся драма человека: нет ни одной коренной проблемы, которая при углубленном изучении ее не оказалась бы еще более острой. Надежда и любовь, очевидно, суть первые этапы веры. Но ведь можно остановиться на них и не пойти дальше. Что же касается меня, то я предпочитаю любовь без веры вере без любви».

Собеседник просит пояснить последние слова.

«Любовь для меня, – отвечает Элгози, – это самое конкретное, что человек может делать в жизни. Тут уже не остается ничего отвлеченного, тут только жертва, которую человек приносит ради другого человека, – дальше этого он пойти не может. А вера без любви – это какое-то чудовище эгоизма».

«Но разве верить, – спрашивает собеседник, – не означает ли верить в любовь, в то, что она сильнее смерти и сильнее всего того, что есть отрицание любви?».

«Да, конечно, – отвечает Элгози, – ибо иначе вера была бы верой лишь в самого себя».

«Но тогда вы, в сущности, не делаете различия между верой и неверием?»

«Я думаю, – говорит Элгози, – что в действительности тут все сложнее. Ибо само признание человека чем-то абсолютно единственным и исключительным, признание за ним сущности, которая не признается ни за чем другим, само это выделение и возвышение человека есть своего рода вера, своего рода отрицание атеизма».

«Но тогда это означает, – замечает собеседник, – признание каждого человека частицей Бога».

«Да, – отвечает Элгози, – но ведь это еще не значит признать существование личного Бога. Для меня честность заключается в том, чтобы никогда не утверждать больше того, чем ты веришь. Да, в человеке я, действительно, вижу и признаю нечто, коренным образом отличное от всего прочего в мире. Это для меня самоочевидный постулат, но пойти дальше мешает моя научная формация. О да, я признаю, что наряду с материальным в мире есть и нематериальное – то, чего мы отрицать не можем. Назовите это “душой”, назовите это “мыслью”, но идти дальше и определять это нематериальное – для меня уже спекуляция, тогда как любовь – это конкретно, опытно».

«Вы говорили, – замечает Шабанис, – о проблеме смерти».

«Да, – отвечает ученый, – эта проблема занимает меня последнее время все больше и больше. Верить в бессмертие было бы верой, однако я все еще сомневаюсь. И сомнение представляется мне основным человеческим свойством, хотя, по существу, я завидую тем, кто верят в бессмертие человека».

«Иными словами, вы сомневаетесь в собственном сомнении?» – спрашивает собеседник.

«Да, – говорит Элгози. – Я думаю, что воспитание человека должно было бы быть совсем другим. Сейчас в нашем мире пренебрегают основными проблемами человека, попросту заставляют его забыть о самом главном, и потому люди не умеют ни жить, ни умирать».

«Считаете ли вы, – спрашивает Шабанис, – что религия является этапом в развитии человечества и что за этим этапом наступит царство всеобщего атеизма?».

«Нет, ибо общество никогда не останавливается в своем развитии, не завершено и развитие человека, – отвечает Элгози. – При любом техническом прогрессе объяснимое и объясненное всегда останется ничтожной частью необъяснимого и необъясненного. Поэтому и в будущем я предвижу все то же колебание между верой и неверием: человек вечно сомневается, если нет у него веры».

Физик Кастлер, социолог Морен и вот теперь экономист Элгози – трое ученых, честно признающих, что нет у них веры – быть может, еще нет, – но признающих также, что та самая наука, которой они служат, не есть последнее объяснение мира и человека; что за ней и над ней есть тайна бытия, тайна любви и жертвы, тайна человечности, тайна человеческой души.

Но разве мы, верующие, не знаем, что и в Евангелии вера названа даром? И не ближе ли к этому дару все эти неверующие, чем люди, создавшие себе божков из маленьких и ограниченных человеческих идей и идеологий?

Мы знаем, мы верим: где есть подлинные искания, там близок свет, там близка несказанная радость веры; мы знаем, и не наши по-человечески маленькие аргументы заставят неверующих поверить.

И поэтому диалог, начатый Шабанисом с неверующими, которые признают дух, признают тайну, – диалог этот нужнее и важнее всякой дешевой полемики.

## Сверху или снизу? Радость или сытость?

Христос воскрес!

«Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа» – какие удивительные, какие прекрасные слова, удивительные по самому звучанию, по самой своей направленности. Они радостью отзываются в сердце прежде, чем успеваешь вдуматься в их смысл, в их церковно- религиозное значение. Этими словами мы живем все недели, отделяющие Пасху, праздник праздников, от дня, завершающего пасхальный период церковного года и который издревле называется последним и великим днем – Пятидесятницей. На протяжении этих пятидесяти дней не становятся верующие на колени, звучат в церквях пасхальные песнопения<sup>79</sup>. Это самое светлое, самое радостное время в Церкви, и про него хорошо сказано в одном ее песнопении: «Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует»<sup>80</sup>.

О религии враги ее говорят, что она порождена страхом, приниженностью, рабством, возникла из чего-то отрицательного, унылого и мрачного. Но разве могли бы эти слова, этот поток радости и света родиться и зазвучать из тьмы и печали? Разве не начинается Евангелие словами о радости: Я возвещаю вам, – говорит ангел пастухам в Рождественскую ночь, – великую радость (Лк.2:10). И разве не оканчивается оно тем, что с горы Вознесения возвратились ученики Христовы в Иерусалим с радостью великою (Лк.24:52)? «Да, – отвечают враги религии, – но это какая-то будущая, еще только обещанная радость, которая относится к другому миру и, так сказать, компенсирует человеческие страдания, печаль и приниженность в нынешней жизни!» Неправда: радость эта зажглась и воссияла на нашей земле, в нашей жизни, и ею на глубине живет без малого две тысячи лет христианство. Но Я увижу вас опять, – обещает Христос ученикам в ночь предательства и страдания, – и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин.16:22). Радуйтесь! (Мф.28:9) – говорит Он в утро Воскресения женщинам, пришедшим плакать на гроб.



«Радуйтесь, и снова говорю вам: радуйтесь!» (ср.: Флп.4:4), – пишет апостол Павел в одном из своих посланий и всю христианскую жизнь определяет как радость, мир и праведность в Духе Святом (см.: Рим.14:17). И так сквозь все века. «Огонь, мир, радость, радость, радость», – записывает Паскаль в ночь своего обращения<sup>81</sup>; «Радость моя!» – этими словами встречает преподобный Серафим Саровский каждого приходящего к нему человека. Эта радость льется из небом просвечивающих икон, из храмов, из всех пасхальных песнопений: «Ныне вся исполнишася светом... просветимся торжеством... радостью друг друга обйдем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся Воскресением»<sup>82</sup>.

Нет, пора бросить недостойную и никуда не годную ложь о религии как о чем-то печальном, неотмирном, исполненном страхов и чувства вины. Напротив, где забывает человек об этой радости, где отказывается от нее во имя земного, материального счастья, там рано или поздно воцаряются серость и скука, овладевает душой уныние. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вокруг: что же взамен радости христианства обещают людям те, кто мнят себя единственными в мире специалистами по счастью? В сущности, только одно – сытость. Ибо они давно уже провозгласили в толстенных своих трактатах, что единственный двигатель всех человеческих дел, всей истории – это борьба за сытость. Сытость, равенство в ней и какая-то фиктивная, чисто абстрактная «свобода» от столь же абстрактной «эксплуатации» – вот все, что смогли выдумать и предложить человеку взамен. Но взамен чего? Взамен Воскресения, Вознесения, Сошествия Святого Духа и той радости, которую они дарят и которая наполняет собою все. Какая страшная подмена, какое ужасающее падение самого идеала, самого замысла о жизни!

И если бы еще эти апостолы и проповедники сытости сами были радостны, умиротворены и счастливы, как животное, которое накормили! Но нет! Всюду, где им удастся навязать свою теорию, в воздухе повисают страх и подозрительность, а земля покрывается тюрьмами и лагерями для несогласных, и только грубая сила способна оградить это безобразное видение

жизни, подменяющее ее тягостно-безрадостным существованием.

Можно не понимать всего, что стоит за словами Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа, можно по-разному их толковать, как делали то на протяжении двадцати веков тысячи философов и богословов. Для каждой эпохи, а возможно и для каждого человека они звучат по-своему, отбрасывают какой-то особый свет, и все же каждый чувствует за ними высокий, чистый, радостный замысел о мире, жизни и человеке. Каждый ощущает здесь тайный источник радости, для которой создан, которой только и может по-настоящему жить человек. И вот почему, сколько бы ни принуждали его ограничиться сытостью, он, несмотря на все запреты и рогатки, пойдет туда, где живут эти слова, где светит их радость, где веет Духом Святым и вливается в душу мир, про который сказано, что он превосходит всякое разумение (см.: [Флп.4:7](#)).

Христос воскрес! Воистину воскрес!

## Сверху или снизу? В едином мире

Сорок дней спустя праздника Пасхи христиане празднуют и всегда праздновали праздник Вознесения Господня. О вознесении Христа на небо рассказано в Евангелии от Луки. Рассказав о явлении воскресшего Господа ученикам, евангелист Лука пишет: И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога (Лк.24:50–53).

Как видим, евангельский рассказ предельно краток и прост. Но именно поэтому ничто другое в христианстве, разве только само Воскресение, не вызывало, наверное, столько сомнений, столько насмешек и «разоблачений», сколько то, что Христос после Своего восстания из мертвых вознесся на небо. Еще задолго до разгула воинствующего безбожия и борьбы с религией в нашем веке человеческий разум искушался евангельскими словами о Вознесении. Что это за небо и где Христос теперь, если Он совершил восхождение туда в воскресшем Своем теле? Как же отвечает на это вера, да и может ли она вообще ответить?

Но прежде необходимо разрешить другой важнейший вопрос: что чем проверяется – вера разумом или разум верой? У верующего нет сомнений, что именно верой нужно проверять наш немощный, тремя измерениями и тремя законами логики ограниченный разум. Но неверующий, который этим разумом только и живет, все равно не поверит, даже если объяснить ему, какой смысл вкладывают верующие в слово «вознесение». И это потому, что нет у него внутреннего органа, способного этот смысл воспринять. Слепорожденному можно сколько угодно рассказывать о свете и красках – у него все равно нет и не может быть непосредственного знания самого света, самих красок. Но не значит ли это, что вера попросту отказывается от разума, как бы говоря: «Если разум не способен что-то понять – тем хуже для него, верь слепо и не рассуждай!» Нет, в том-то и

дело, что сам разум в опыте веры как бы расширяется и углубляется, а потому делается способен понять то, что вне света веры понять невозможно. Верующий живет не в разобщенных друг с другом мирах веры и разума, но в едином мире, где разум пронизан верой и где вера воспринимается как высшая разумность, как подлинный ответ на все конечные вопрошания и недоумения разума.

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником...»<sup>83</sup>, – поется в главном песнопении этого праздника. И в другом: «Еже о нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы»<sup>84</sup>. И вот, слушая эти слова, мы сразу ощущаем себя в сердце радостной тайны: ушел – но остался в мире неотлучно, вознесся – но исполнил обещание: «Я пребуду с вами!» И как становимся далеки мы от той плоской логики, по которой если ушел, то уже и не с нами, если вознесся, то уже и не на земле. И, следовательно, весь ответ, вся радость этой веры и этого праздника заключены в чем-то неизмеримо более глубоком, что в понятиях нашей логики не выразишь. Ибо здесь говорится не о том небе, которое называют «астрономическом» и которое, сколько ни поднимайся на него, все равно остается частью нашего мира, нашего космоса. На языке веры, на языке Евангелия небо – это сама божественная реальность, тот духовный мир, приобщиться к которому можно только вознесшись, т.е. поднявшись духовно и, значит, преодолев страшную инерцию и тягу вниз, не дающую нам эту божественную реальность ощутить.

Нет, Христос не ушел из мира, не ушел от нас, но явил в мире и в нас свет, радость и силу Вознесения, которое вводит человека в то поистине небесное измерение, ради которого он сотворен и вне которого не может не ощущать себя жалким и злым существом. Восхождения в сердце своем положи (Пс.83:6), – говорит древний псалом. И вот во Христе, в этом совершенном, а потому Божественном Человеке и дан нам образ этого восхождения, открыто нам небо как победа любви и

истины, добра и красоты. И всякий, кто возлюбил Христа, знает, что нет разлуки, что не ушел Он в неведомую заоблачную высь, но явил и даровал нам небо на земле. Вот почему сказано в Евангелии об учениках, что возвратились они в Иерусалим с радостью великой. Все осталось по видимости таким же: дорога, которой они возвращались в город, сам город, куда они вошли, люди, которых они встретили. Вот и вокруг нас все осталось по видимости прежним. Но вера видит, знает и радостно приемлет просвечивающий сквозь все это небесный свет, но вера во всем и во всех узнает образ Христа. И разум, озаренный верой, все очевиднее постигает, что цель и назначение каждого из нас — только вознесение, только преодоление в себе всего низменного, что небо, куда вознесся таинственным образом не разлучившийся с нами Христос, есть последняя, всепобеждающая и все объясняющая правда о человеке.

## Сверху или снизу? Разоблаченный «гуманизм»

Недавно по московскому радио передавалась беседа доктора философских наук, профессора Василия Ивановича Прокофьева<sup>85</sup>, посвященная гуманизму и христианству. Профессор начал с простого утверждения: «Гуманизм – это любовь и уважение к людям». И далее добавил: «Истинным гуманизмом в наше время может быть только гуманизм социалистический, революционный. Этот гуманизм строителей нового мира основан на глубочайшей вере в человека труда, на заботе о нем и о его счастье».

Но это утверждение для профессора Прокофьева – только присловье. Настоящая цель его беседы — доказать, что притязания «современных христианских идеологов» отождествить гуманизм с христианством ложны, т.е. очередная атака против религии. «Христианские богословы – говорит Прокофьев, – прилагают все усилия, чтобы убедить людей, будто только евангельская нравственность характеризуется гармоничностью и человечностью. Пытаясь приписать христианской морали гуманистические черты, ее апологеты особенно часто ссылаются на заповеди о любви к Богу и к ближнему. Любовь к людям, с их точки зрения, немыслима сама по себе. Человека можно любить только в Боге и для Бога».

Христианство действительно утверждает, что если нет Бога – Источника любви, если человеческое сознание, ум, совесть и т.д. суть всего лишь «надстройка» над безличной материей, ею же до конца определенная, то любовь к человеку невозможна и неизбежно подменяется любовью к отвлеченному «человечеству». Именно это утверждает христианство, и на это основное его утверждение Прокофьев не отвечает, поскольку ответить тут нечего. Ибо всякий безрелигиозный гуманизм рано или поздно приводит к уничтожению тысяч, а то и миллионов одних людей ради «счастья» других. И, конечно, нелегко доказать обратное людям, живущим в нашей стране и годами испытывающим на своей шее плоды «революционного» гуманизма. Но, повторяю, профессор Прокофьев и не пытается

ничего доказать. Цель его беседы – не защита безрелигиозного гуманизма, а обличение гуманизма христианского. И тут, начав с правильного по форме утверждения, он переходит к систематическому извращению христианского учения. Почему? Да потому, что, скажи он правду о религии, эта правда окажется в противоречии с казенной, раз навсегда принятой точкой зрения.

Но не будем голословны, а приведем несколько примеров. «Любовь к Богу, по христианскому вероучению, – говорит профессор Прокофьев, – это первый, основной вид любви, а любовь к человеку – второй, низший ее вид». Спрашивается: кто, когда и где это сказал? Апостол Иоанн Богослов говорит прямо обратное. «Как ты можешь любить Бога, – спрашивает он, – Которого не видишь, если не любишь брата своего, которого видишь?» (ср.: [Ин.4:20](#)). Да и Сам Христос говорит, что только по любви узнают люди Его учеников. Да, Христос действительно говорит, и профессор Прокофьев цитирует эти слова: Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником... ([Лк.14:26](#)). Но если прочесть Евангелие целиком, то окажется, что слова эти не только не направлены против любви, но, напротив, являются самым ярким примером христианского ее понимания. Ведь любовь к «своим», очень часто эгоистическая, есть проявление любви не к людям, а к самому себе. И такую эгоистическую, самозамкнутую любовь Христос и христианство действительно обличают. Ибо подлинной любви к человеку, любви очищенной от эгоизма не может быть без отнесенности всего в жизни к чему-то высшему – к тому, что возвышается над инстинктами, над животной привязанностью только к себе и своему. «Эти слова, – говорит профессор Прокофьев, – призывают ничего и никого в этом “мире греха” не видеть». Но про этот «мир греха» Христос сказал: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного...чтобы ничего не погубить... ([Ин.3:16](#); [6:39](#)).

Дальше– больше. «Христианская мораль, – с возмущением говорит профессор Прокофьев, – призывает любить даже своих врагов». Тут-то и вскрывается вся логика профессора

Прокофьева, делающая все дальнейшие его рассуждения совершенно бессмысленными. Ибо, конечно, не христианские богословы противоречат себе, а именно он в своем утверждении, что подлинный гуманизм на его стороне. В самом деле, ведь «социалистический», или «революционный», гуманизм призывает, как известно, врагов истреблять. Но не сказал ли сам Прокофьев, что гуманизм – это любовь и уважение к человеку? Нетолько к человеку, с тобою согласному, не только к тому, чье существование санкционировали партия и самое передовое учение, а к просто человеку. То, что люди стали врагами друг другу, христианство объясняет торжеством зла и греха. Любить врагов, говорит оно, можно и должно, потому что любовь и братство первичны, а вражда вторична. Идеология же профессора Прокофьева начинается с разделения людей по признаку «враги – свои» и кончается тем, что смертельную ненависть к врагам возводит в основной принцип жизни. А гуманизмом называет она заботу о «своих», и только о них. И потому закономерно, что путь такого «гуманизма» – всегда путь насилия, крови и рабства. О чем еще спорить?



## Мнимый антагонизм. Основополагающее различие

По вере вашей да будет вам (Мф.9:29) – эти слова Христа часто повторяются в Евангелии<sup>86</sup>. «Вера горами движет», – говорит русский человек. И как важно почувствовать эту реальность и первичность веры в религии, как важно понять, что вера не однозначна тем философско- богословским формулам и построениям, к которым враги религии так часто ее сводят и с которыми полемизируют в своих трактатах.

Говорить о вере как знании можно и нужно, но только если предварительно признать, что знание это радикально отлично от того, которое мы называем «научным». Чтобы согласиться с положением «дважды два – четыре», не нужно ничего, кроме элементарной логики. Такое знание не зависит от внутреннего состояния того, кто высказывает подобное утверждение – оно обязательно, очевидно и постоянно всюду и всегда. Человек на вершине радости и человек на глубине отчаяния (например, замышляющий самоубийство) одинаково знают, что дважды два – четыре, и это знание ни в коей мере не зависит от радости одного и отчаяния другого и, в свою очередь, вряд ли влияет на них – это так, это бесспорно, и больше ничего. Но утверждение, что Иисус Христос есть Бог и Человек или что в Человеке Иисусе Бог сошел на землю к людям, – утверждение это самоочевидной истиной для всех стать не может, ибо вне веры не имеет вообще никакого смысла. Но для верующего оно предельно точно выражает его внутреннее знание, его душевный и духовный опыт.

Дело, однако, в том, что антирелигиозная пропаганда берет слова и формулы, выражающие веру, и оперирует с ними так, как если бы они относились к плоскости «дважды два – четыре», в каковом случае ей и вправду нетрудно показать недоказуемость этих религиозных утверждений. Бог стал Человеком – как это возможно? Действительно, с точки зрения простой логики, это кажется невозможным, и даже если бы это и было теоретически возможно, то как доказать окончательно и бесспорно, что соединение Бога и человека совершилось

именно во Христе? Вся эта атака, годами ведущаяся на религию и объявляющая ее своего рода «наукой», чтобы тем легче затем разгромить с позиций науки настоящей, только унижает самих атакующих. Ибо религия начинается с различения веры и знания – не с противоположения, а именно с различения. И как любовь невозможно измерять градусником, так веру нельзя сводить к логическим и научным утверждениям.

Настоящий вопрос – вопрос о том, не есть ли вера особое знание, не сводимое к знанию всецело и исключительно рационально- дедуктивному. Антирелигиозная пропаганда покоится на наивном убеждении, что в человеке все и всегда до конца рационально и что пресловутое «научное познание», во имя которого «развенчивают» религию, составляет единственный первичный опыт и первичную потребность человека. На деле это убеждение, конечно, наивно: в человеческой жизни есть множество областей, к которым неприменимы методы, используемые наукой. Да, без науки, пусть самой элементарной, без «дважды два – четыре», пожалуй, и обеда не сварить, и уж, конечно, не долететь до Луны. Но вот никто никогда еще не полюбил другого человека на основании научных выкладок. Бесконечная наивность примитивного рационализма, к которому хочет свести решительно все в жизни антирелигиозная пропаганда, противоречит элементарному опыту всех людей. Ни красота, ни любовь, ни вера попросту никак не зависят от той бесконечно ценной, бесконечно нужной, но далеко не всеобъемлющей науки, что основана на принципе «дважды два – четыре».

И потому само выражение «научное мировоззрение», по существу, нелепо. И хотя наука, ее выводы, достижения и методология составляют, без сомнения, часть целостного мировоззрения, это последнее столь же несомненно наукой не исчерпывается, поскольку в него входят или, по крайней мере, должны входить и опыт любви, и опыт красоты, и опыт веры. Ибо все эти три опыта в человеке первичны, так же как потребность научного постижения явлений природы и жизни. Чем полнее человек, чем полнее его мировоззрение, тем более открыт он ко всем основным проявлениям человеческой

природы. Ученый-химик, равнодушный к красоте, такой же получеловек, как эстет, ко всему в мире подходящий с позиции «красивости».

Но это многообразие человеческого опыта не значит, что всякая его сфера отделена непроницаемой стеной от всех прочих – иными словами, что науке нет никакого дела до любви, красоты и веры, а вере, в свою очередь, до науки и т.д. Если трагическая и, повторяю, наивная ошибка так называемого научного мировоззрения в том, что оно, сводя все к пресловутой «науке», попросту отвергает самобытность и самостоятельность других видов человеческого опыта, то мировоззрение религиозное, христианское совершенно свободно от такого упрощения. Христианство, напротив, утверждает, что каждый из этих опытов обогащает другие, что все они взаимосвязаны. Основное религиозное утверждение, что вера без дел мертва (Иак.2:20), как раз и означает, что вера, не прорастающая в любовь, – не настоящая вера. С другой стороны, знание, которое в какой-то момент перестает стремиться к целостному овладению всей реальностью, – ненастоящее и неполное знание. И, наконец, опыт красоты, не преобразующийся в знание, любовь и веру, остается мертвым эстетизмом.

В конечном итоге христианский замысел о человеке – это замысел о человеке целостном, в котором все примирено и соединено, без отрицания или уничтожения любой из сторон многогранной и бесконечно богатой человеческой природы. И с этой точки зрения, конечно, не религия, не опыт веры сужают, упрощают и обедняют человека, ато самое «научное мировоззрение», где нет места всему, что во все времена составляло глубину и радость человеческой жизни.

Только сказав все это, только установив все необходимые различия, можно по-настоящему поставить вопрос о вере и знании.

## Мнимый антагонизм. Неоправданное разделение

Еще сравнительно недавно философы считали своим долгом разрабатывать доказательства бытия Божия. От Аристотеля, жившего в III веке до нашей эры, и вплоть до наших современников – знаменитых французских философов Бергсона<sup>87</sup> и Маритена<sup>88</sup>, философия видела одну из главных своих задач в том, чтобы предложить человеку стройное и гармоничное учение о мире, невозможное без понятия Абсолюта, или Бога.

Так, по Аристотелю, выходило, что раз мир – прежде всего движение, то необходимо постулировать наличие некоего Перводвигателя, который, оставаясь сам вне мира, делает движение это возможным.

Идея Бога выводилась здесь, таким образом, из первого элементарного принципа физики – принципа физической причинности. Поскольку же, продолжал Аристотель, люди всегда и везде верили в богов, то, очевидно, что перводвигатель этот – причина всех причин, начало всех начал – и есть Бог.

Существовало, далее, «телеологическое доказательство» бытия Божия, в котором понятие Бога выводилось из очевидной целесообразности всего сущего. Все в мире, от самого большого до самого малого, следует определенной цели и способствует ее осуществлению. Откуда же могла взяться эта цель, эта упорядоченность всеобщего движения, этот таинственный закон, которому все так очевидно подчинено? Все это, отвечали философы, возможно лишь как дело надмирной Премудрости, имя которой – Бог.

Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант предлагал, со своей стороны, «нравственное доказательство» бытия Божия<sup>89</sup>. Человек находит в себе таинственный и ни из чего в мире не выводимый закон добра и зла, как бы инстинктивно распознавая их. Больше того, он находит в себе и то, что Кант называл «категорическим императивом», в силу которого не только знает, что есть добро, а что зло, но и в своей жизни

стремится следовать добру и сопротивляться злу, не чувствуя никакой нужды оправдывать это стремление. А поскольку ничто в мире не имеет такого нравственного критерия, то откуда же он в человеке? И Кант отвечает: так как на основании всего доступного нам знания ответить на вопрос этот невозможно, само наличие нравственного закона непреложно доказывает, что над миром есть Бог – Существо, в Котором и укоренено это абсолютное различие добра и зла.

Наконец, французские философы Декарт и Мальбранш предлагают так называемое «математическое доказательство»<sup>90</sup> бытия Божия, выводя его из математических постулатов абсолюта и бесконечности.

Впоследствии же, примерно с середины XVIII века, и верующие, и неверующие начали в равной мере сомневаться как в необходимости, так и в самой возможности подобного рода доказательств. Верующие соглашались с доводом, что Бог, Которого можно «доказать», перестает быть объектом веры, а поскольку религия основана на вере, то доказательства здесь не только не нужны, но и вредны. Неверующие же отрицали доказательства бытия Божия совсем по другим причинам, ибо эмпирическая наука, расцвет которой начался в XVIII веке, сама по себе была в их глазах доказательством против существования Бога.

Таким, за немногими исключениями, остается положение и поныне. Верующие, считая всю науку безбожной, заключаются в слоновую башню ее отрицания, а неверующие в своем наукопоклонничестве все более ожесточаются против веры как «антинаучного суеверия».

Между тем, разобравшись в этом конфликте спокойно и беспристрастно, приходишь к двум очень простым и очень важным выводам. Вывод первый: никаким «научным мировоззрением», во имя которого и отвергались философские доказательства бытия Божия, ни одно из этих доказательств опровергнуто не было. И если пресловутый «диалектический материализм» – философия, особенно претендующая на научность, – попросту отбросил все вопросы о Боге, то это еще не значит, что он на них ответил.

И чем дальше, тем все очевиднее становятся нищета и убожество этой философии. В самом деле, если из материи нельзя вывести никакого высшего смысла, никакого целеполагания, то почему человек обязан бороться за какое-то будущее «счастье»? Откуда является сама его идея? Если человек – всецело продукт материи, откуда в нем чувство добра и справедливости? Или, как шутил Владимир Соловьев, если все мы произошли от обезьян, то почему, собственно, мы должны любить друг друга?<sup>91</sup> Иными словами, очевидно, что наука, которая имеет дело преимущественно с материей, не заменяет философии и не может ответить на ряд вполне реальных вопросов, без ответа на которые человек все равно жить не может.

Второй же вывод таков: если вера зарождается в человеке не от доказательства, не от философии и науки (а на это указывал уже Аристотель), то это не значит, что она не имеет к ним никакого отношения. Напротив, для миллионов людей вера оказывается тем светом, который сквозь всю сложность мира указывает тот последний и абсолютный смысл, который ни наука, ни философия сами по себе раскрыть и увидеть не могут. А это значит, что разрыв между верой, с одной стороны, и наукой – с другой, ничем не оправдан и вреден обоим. Вера, отказывающаяся от объяснения мира, есть вера больная и ущербная. Наука, не стремящаяся выйти за собственные пределы, есть наука слепая и рабская. Об этом следует задуматься в наши дни.

## Мнимый антагонизм. Отказ от подлинного знания

Продолжим сегодня тему, связанную с так называемым научным мировоззрением. Дело в том – и на это мы уже не раз указывали, – что в современных спорах между материализмом и идеализмом, атеизмом и религией и т.д. гораздо больше страсти, чем объективности. Точно у всех спорящих что-то наболело, какая-то общая болячка, которую все время задевают и от боли и раздражения теряют способность друг друга выслушать и понять. Неговорю уже о слишком очевидном кое-где политическом контроле над мыслью, который исключает спокойный и объективный диалог.

Между тем совершенно очевидно, что по изучении космоса, т.е. законов, управляющих его структурой, становлением и развитием, определяющих анатомию и физиологию живых организмов и т.д., – по изучении всего этого остаются вопросы, на которые невозможно ответить, руководствуясь лишь эмпирическим знанием.

Вопросы эти с глубокой древности составляли предмет того, что еще Аристотель назвал «первой философией» и что после него стало именоваться «метафизика», от греческого μετὰ (после) и φυσική (физика), т.е. то, что следует за физикой как общий и умопостигаемый из нее вывод. Совсем еще недавно никто не стал бы спорить, что эта «первая философия», она же метафизика, представляет собой также научную дисциплину, и притом очень важную. Но в наши дни под влиянием причин, к которым мы еще вернемся, очень многие фанатически противятся не только признанию метафизики наукой, но и самому ее существованию. Наукой в их понимании следует считать лишь то, что основано на эксперименте и поддается экспериментальной проверке.

Это тоже в своем роде «философское» утверждение заставляет поставить вопрос о правоте его сторонников. Ибо если мы и согласимся признать наукой только достоверное, или объективное, знание, то это еще не значит *a priori*, что такое знание возможно лишь на основе эмпирического опыта. Будь

это так, из разряда наук пришлось бы исключить, например, математику, поскольку вся она построена не на опыте, а на рациональных умозакл<sup>ю</sup>чениях. Таким образом, надо еще доказать, что единственное основание истинной науки – это лабораторный опыт и что человеческий разум не может достичь достоверно- го и объективного знания без лабораторных инструментов.

Заметим тут же, что и для самого Аристотеля метафизика вовсе не была наукой, не зависящей от того, что дано человеку в его эмпирическом опыте. Напротив, он исходил из того, что человек способен этот опыт обобщать, углублять и на его основе создавать умозрительные построения. Кстати сказать, само греческое слово «теория» (θεωρία), вопреки позднему его значению в других языках, означает именно в<sup>и</sup>дение и осмысление увиденного – иными словами, эмпирический опыт и его организацию разумом. Вопрос, следовательно, в том, возможно ли, исходя из опыта, достичь подлинного знания, т.е. такого, которое не только устанавливает факт, но и указывает его смысл, как и смысл всей совокупности фактов. Именно это отрицается столь многими в наши дни, именно это и есть установка пресловутого «позитивизма»<sup>92</sup>, а проще говоря – наукопоклонства. На деле же она противоречит не какой-то другой теоретической установке, а самому что ни на есть очевидному наблюдению. Согласно этому наблюдению, человек всегда стремится разглядеть за фактами их смысл. Ему недостаточно знать, что есть, ему необходимо знать больше – что означает, к каким последним выводам ведет то, что есть.

Отрицать это наблюдение так же глупо, как всякое другое бесспорное наблюдение. Почему же его отрицают? Да потому, что уверовали в несколько никем никогда не доказанных и, следовательно, не научных, а идеологических предпосылок. Кто и когда доказал, что человеческий разум зависит всецело от чувств, т.е. от телесного, чувственного опыта? Это предпосылка так называемых эмпириков, но она уже давно разбита самой наукой. Ибо даже установление самого что ни на есть «материального» факта невозможно без математического анализа и статистических выкладок, которые относятся к



области рационального исследования, а не чувственного опыта. Например, в 1846 году французский ученый Леверьер доказал существование планеты Нептун при помощи математического анализа и лишь потом попросил астронома Галле направить телескоп на определенную точку в пространстве, после чего планета была действительно обнаружена. В 1869 году Менделеев при помощи своей периодической системы доказал существование еще не найденных элементов, и все они потом были найдены. Эмпирическая предпосылка – это своего рода суеверие, недостойное науки. Метод подлинной науки гораздо сложнее того, что утверждают о нем догматические эмпирики. Никакой чувственный опыт сам по себе еще не дает и не означает знания. Миллионы людей каждый вечер видят Луну. Но кроме голого факта ее существования, никакое другое знание о ней отсюда не вытекает. Все, что мы знаем о Луне, есть плод уже некой «метафизики», т.е. постановки вопросов и поиска ответов, гипотез и их подтверждения или опровержения. Непосредственному, или чувственному, опыту не откроется ни вращение Земли вокруг Солнца, ни вращение ее вокруг собственной оси.

Но если элемент метафизики присущ и самой экспериментальной науке, то изучение всех этих частных «метафизик» как метафизики общей, или как науки о смысле нашего знания, о смысле мира и жизни в целом, кажется не только возможным, но и необходимым. И тогда встает следующий вопрос: к какой метафизической теории космоса приводит нас современное научное знание о нем? К этому вопросу мы и перейдем в следующей беседе.

## Мнимый антагонизм. Путь к соединению

Полет на Луну, уникальное и незабываемое зрелище человека, опускающего ногу на таинственную лунную почву, – почти видение, свидетелями которого были миллионы потрясенных людей, – вновь ставят нас перед давней и, казалось бы, избитой темой о соотношении религии и науки, веры в Бога и веры в технические возможности человека.

Обратиться к ней нужно прежде всего потому, что в основе современной цивилизации, – цивилизации, приведшей к чудесному прыжку на Луну, но при этом наполнившей мир страхом чудовищных войн и полного самоуничтожения, – лежит одно старое и поистине трагическое недоразумение.

Вряд ли кто-нибудь, кроме фанатиков антирелигиозной пропаганды, где все средства хороши, будет отрицать сегодня, что идея космоса не только как многообразия жизни, но и как гармонического целого, доступного изучению, – что идея эта религиозного происхождения. Небудь религиозно-философских прозрений древних греков о мировом единстве и гармонии, с одной стороны, и библейского учения о сотворении мира Божественным разумом и мудростью – с другой, не было бы и научного знания, не было бы и науки. Но совершенно невозможно отрицать и то, что в какой-то момент истории именно Церковь оказалась тормозом научного прогресса, именно христианство как бы отреклось от религиозного источника и религиозной природы знания и тем самым оттолкнуло от себя науку, надолго сделав ее соперницей и даже врагом религии.

И вот вышло так (и здесь корень трагедии, о которой я говорю), что два этих мира – мир научного знания с его головокружительными успехами и перспективами и мир веры с его сосредоточенностью на духовно-нравственном, внутреннем, а не внешнем – оказались разделены враждой и непониманием, страхом и взаимными подозрениями. И хотя в лучших представителях веры и науки вражда эта, похоже, ослабевает и даже исчезает (и символ такой перемены – подлинно

религиозное вдохновение, религиозный восторг самих космонавтов), до полного примирения и сотрудничества все еще далеко. И не будем скрывать, что виновны в этом вовсе не одни лишь люди науки. Вспомним гонения и запреты, которым еще недавно подвергался потрясающий мыслитель Тейяр де Шарден, совместивший в себе христианского священника и ученого-исследователя. Да и теперь, после полета на Луну, нашлись христиане, усмотревшие в этом полете нечто дьявольское, нечестивое и осудившие его как дело антихриста.

Между тем найти выход из создавшегося тупика требует от нас не только отвлеченное рассуждение. Ибо трагедия взаимного непонимания и отрицания порождает жуткую раздвоенность, в которой живет сегодняшний мир. Да, открыта дверь в бесконечное пространство, и на наших глазах наука торжествует свои величайшие победы, но над миром все страшнее полыхают зарницы ненависти, насилия, страха, жестокости. И выйти из этого тупика можно, по-видимому, лишь соединив нравственные принципы с научными, духовное с разумным. Однако, чтобы примирение это состоялось не только на поверхности, но и на глубине, как восстановление органического единства человеческого сознания и самосознания, недостаточно одной терпимости и уж во всяком случае простого разграничения «сфер влияния»: тут, мол, наука, которую религия обязуется уважать и в дела ее не вмешиваться, а тут – религия, которую наука также обязана уважать, не позволяя себе ничего ей враждебного. Недостаточно потому, что человек не может не стремиться к единому и целостному миропониманию. Если Бог есть, Он должен быть источником всего, а не только того, что относится к специфически религиозной сфере, и значит – должен быть также источником знания. И если существуют разум и знание, то они должны находиться в некоем соотношении, а не разобщении с верой. Даже самое мирное «разграничение сфер» в конечном итоге недостойно ни веры, ни знания. Поэтому подлинное их примирение возможно только при глубоком и искреннем приятии науки верой, а веры – наукой.

Такое приятие требует глубокого пересмотра вековой и ничем не оправданной вражды, взаимных страхов и подозрений, т.е. восстановления доверия. Христианам, запуганным наукой, пора вспомнить чудные, освобождающие слова апостола Павла: Все испытывайте, хорошего держитесь (1Фес.5:21). Ведь на нашем теперешнем языке это значит: «Изучайте, углубляйтесь, постигайте, и пусть в вашем сознании, в вашем мироощущении найдется место всему истинному, прекрасному и доброму!»

Но те же слова хорошо бы услышать людям науки, запуганным религией. Пусть поймут и они, что подлинная вера – не в узком и мелочном страхе, не в призывах всего опасаться, все возненавидеть, от всего уйти, а в радостной и любовной свободе, в открытости ко всему хорошему и подлинному. Религия – это не только о Боге, но и о мире. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь (Пс.18:2). Эти слова псалма так уместно вспомнить в наши дни, когда небосвод открывается человеческому знанию и созерцанию, любви и обладанию! Космонавт, приближаясь к Луне, не только передавал на Землю научные сведения, но и восклицал: «Боже мой, как это прекрасно!» Но почти такое же восклицание находим мы и в начале Библии: И увидел Бог, что это хорошо (Быт.1:10).

В своих беседах я хотел бы показать, что тема космоса – это и есть на последней глубине та тема, которая может в наши дни по-настоящему соединить мир Веры и мир знания. Соединить их в подлинной жажде общего роста.

## **Мнимый антагонизм. Метафизический «уклон»**

В 1955 году парижский астроном Поль Кудер писал: «Отныне уже невозможно разделять космологию и космогонию, ибо световые лучи приносят нам образ галактик на самых разнообразных стадиях развития». Перед нашими глазами сейчас не менее миллиарда лет эволюции. Самые большие телескопы достигают галактик, отделенных от нас двумя миллиардами световых лет. Уже в 1960 году можно было созерцать галактики, находящиеся от нас на расстоянии до шести миллиардов световых лет. Таким образом, мы можем видеть эти галактики такими, какими они были в эпоху, когда наша Земля еще не сформировалась.

Действительно, глядя на космические объекты, мы видим их не такими, каковы они сейчас, а такими, какими были они в момент, когда испускали видимый нами световой луч. Чем дальше мы смотрим, тем более древние миры видим. Если космологией называется наука о Вселенной, то в наши дни эта космология предстает перед нами как космогония, т.е. как наука о мире в стадии становления и развития. В течение долгого времени принцип становления, развития, эволюции казался людям веры и религии подозрительным. Я говорил, что в этом страхе перед расширяющимся горизонтом научного знания заключалась одна из драм нашей цивилизации, до сего времени разделяющая человечество на два лагеря. И лишь сравнительно недавно теория эволюции не только перестала пугать религиозное сознание, но и сама открылась ему в своем религиозном содержании. Ибо нет, по существу, более религиозной идеи, чем идея возрастания и исполнения.

Но начавшееся сближение исходных позиций нигде, быть может, так не очевидно, как в области космогонии. Ибо ничто так не вывело и науку, и религию из состояния узкого догматизма, как созерцание бездонной и все расширяющейся вместе с нашим знанием о ней Вселенной, как проникновение в тайну звездного неба, которое когда-то так поражало своим безмолвием французского философа Паскаля.

Итак, что же происходит в этой поразительной и всеобновляющей науке? Я начал с цитаты из астронома Кудера, и цитату эту можно было бы подтвердить множеством иных свидетельств. По словам другого современного астронома, «мы перестали жить в таком космосе, как понимал его, например, Аристотель, – в космосе, не знающем ни происхождения, ни перемен, ни старения. Для Аристотеля космос – не только несотворенный и вечный, но, подобно парменидовой сущности<sup>93</sup>, сама устойчивость, сама вечность, то, что само по себе божественно». Отказ от идеи происхождения и изменения был для аристотелевской космологии результатом своеобразного обожествления мира. Современная же космогония «разбожествила» мир, научившись определять его физический и химический состав, восстанавливать его историю, измерять возраст звезд и распознавать признаки их старости. И с точки зрения религиозно-философского осмысления мира и жизни эти открытия в области космологии имеют исключительно важное значение. Ибо перед учеными впервые в истории науки встала проблема начала и конца Вселенной.

Чтобы понять все значение этой новой проблематики, вспомним, что человечество веками держалось аристотелевского миропонимания. В средние века к этому миропониманию было «пришито» извне библейское учение о творении, согласно которому Бог однажды прекратит существование мира. Но, несмотря на это, мир средневековых мыслителей – арабов, евреев, христиан, мир Маймонида, Фомы Аквината, Декарта – оставался миром без всякого движения, миром изначально готовым, лишенным развития и истории. Его начало и конец мыслились по отношению к нему как явления внешние, как своего рода божественный «каприз», ничего в самом мире не объясняющий.

Но сейчас это статичное, внеисторическое и внеэволюционное понимание мира окончательно сдано в архив. Мы знаем теперь непреложно и на основании уже не умозрительных построений, а эмпирически, т.е. путем опытной проверки, что мир есть физический и генетический процесс, имеющий свой генезис и свою эволюцию. Мир – это постоянное

возникновение, постоянное появление нового. Мы находимся на противоположном полюсе по отношению к древнегреческой мысли, отрицавшей всякий генезис, всякое становление.

Здесь мы и подходим к тому, что составляет главный итог этого глубочайшего переворота в научном миропонимании. Суть его в том, что физика впервые возвращает нас к метафизике, т.е. к проблеме глубинного смысла самого физического процесса. Ибо если космос находится в процессе становления, то совершенно очевидно возникает вопрос о начале и конце, о целенаправленности этого процесса. Пока в согласии с древнегреческой мыслью за миром отрицалось всякое развитие и всякое становление, тема начала и конца могла мыслиться лишь в качестве религиозной догмы. Неимея отношения ни к области непосредственного опыта, ни к науке, она, таким образом, ничего не давала для постижения мира. Но сегодня тема эта возникает в недрах научной проблематики как таковой. Все, что мы постепенно узнаем о Вселенной, о звездах и т.п., настойчиво выдвигает ее как центральную тему и как самоочевидную цель самой науки.

Это и есть основной переворот, постепенно наполняющий науку совершенно новым содержанием и одновременно ставящий ее в новое отношение к религиозным интуициям, религиозным перспективам. Понять это – значит сделать огромный шаг вперед на пути восстановления единства человеческого сознания, утраченного в эпоху бессмысленной и бесплодной борьбы между религией и наукой.

## **Мнимый антагонизм. Сближение исходных позиций**

Как уже говорилось в прошлой беседе, поворотным пунктом в развитии современной науки надо признать утверждение, что космология неотделима от космогонии и что мир необходимо воспринимать как процесс становления и роста. Утверждение это привело к тому, что наука занялась началом и концом означенного процесса и, таким образом, проблема начала и конца вселенной по-своему сблизила научную проблематику с религиозной.

Вернемся теперь к этой теме немного подробнее. В наши дни ученые высчитывают возраст Земли, что для неподвижной, статичной космологии Аристотеля, воспринятой позднее средневековой мыслью, было бы не просто бессмыслицей, но и настоящим кощунством. Мы знаем, что возраст самых древних минералов приближается к трем миллиардам лет. Возраст Земли – приблизительно четыре миллиарда лет. Высчитывается и возраст Луны, которая, как известно, все время удаляется от Земли, возраст Солнца и звезд. Мы знаем, что нормальные звезды представляют собой раскаленные газовые шары.

С 1938 года известно, что энергия звезды происходит от превращения ядер водорода в гелий – реакций так называемого цикла Бете. Так, например, наше Солнце на протяжении миллиарда лет превращает в гелий массу водорода, равную приблизительно одной сотой части всей своей массы. Солнце как бы «съедает» 800 миллионов тонн водорода в секунду. С другой стороны, мы знаем, что водород составляет около 50 процентов всей массы Солнца. Таким образом, становится возможным высчитать сроки полного использования Солнцем собственного водорода. Когда весь водород превращается в гелий, звезда гаснет. Звезды гаснут с разной скоростью: пока одни угасают, другие рождаются из межзвездного газа. Большинство звезд нашей Галактики возникло около шестидесяти миллиардов лет назад. Пропорция кислорода и гелия позволяет нам высчитать возраст звезды. И наконец, мы знаем теперь, что наша галактика простирается приблизительно



на сто тысяч световых лет и состоит по крайней мере из ста миллиардов звезд. До недавнего времени еще допускался вопрос, не ограничивается ли Вселенная нашей галактикой. Но в 1923–1924 годах были открыты и другие галактики, так что мир воспринимается теперь скорее как своего рода газ, состоящий из галактик численностью в несколько миллиардов.

Мы знаем, кроме того, что сама материя имеет историю, предполагающую генезис и эволюцию. Элементы иные, чем водород, возникают в результате термоядерных реакций внутри самих звезд. Первичное облако газа, откуда рождаются галактики, не содержит в себе тяжелых элементов, которые возникают уже внутри звезд. Таким образом, железо или кальций, обнаруживаемые в спектре очень многих звезд, суть явления довольно позднего времени. Поэтому даже периодическая система элементов Менделеева может быть прочитана как бы с «исторической» точки зрения, с учетом генезиса и роста материи.

Сложная материя молекулярного порядка есть явление еще более позднее. Та организация материи, что предшествует возникновению жизни, насчитывает, по всей вероятности, около трех миллиардов лет. Можно сделать первый вывод: материя имеет свой возраст. Какие-нибудь сто лет назад такое утверждение показалось бы абсурдным. Но после открытия радиоактивности, т.е. спонтанного распада неустойчивых атомов, научная достоверность его стала самоочевидной. Каждый атом имеет свой период жизни, т.е. время, необходимое для сокращения его количества наполовину (период жизни урана-238, например, составляет четыре с половиной миллиарда лет). Так стало возможно определять возраст тех или иных атомов.

Все это приводит к следующему вопросу: когда в наши дни ученые говорят о вечности материи, то о какой материи они говорят? Ясно, что не о живой материи – сложном явлении, которое, как всем известно, имеет сравнительно недавнее происхождение. Но и так называемые тяжелые ядра тоже не так уж стары. Следовательно, нужно восходить к атому водорода и еще выше. Но чем дальше мы восходим, тем очевиднее для

нас упрощение материи. Что же получится, если это восхождение мыслить бесконечным, как хотят того философы, настаивающие на вечности материи? Вот проблемы, вот вопросы, неизбежно возникающие сегодня в сознании ученых.

И поскольку однозначного ответа на них пока нет, то в настоящее время имеется несколько моделей Вселенной. Назовем, во-первых, теорию, предложенную астрономом Парижской обсерватории Полем Кудером в его книге «Экспансия Вселенной» (1950). По этой теории, Вселенная имеет начало во времени и ограничена временем и пространством. На основании очень сложных математических и физических расчетов автор приходит к выводу, что Вселенная несколько миллиардов лет назад заключалась в сравнительно ограниченной по объему газовой массе, которая с некоторого момента начала свое расширение, или экспансию. Таким образом, можно предположить нулевую точку времени, его математическое начало. «Сам я, – пишет профессор Кудер, – не придаю этой теории никакого метафизического значения и не приравниваю ее к учению о творении мира. Теория эта – прежде всего научная и рациональная, и тем хуже для тех, кто осуждают ее *argiori*, во имя какого-то “правоверного” материализма, а также для тех, кто делают из нее трамплин для прыжка в богословие».

Вот точка зрения истинного ученого. Мы тоже не будем рассматривать эту теорию как «трамплин для прыжка в богословие». Важно, однако, что представление о начале мира, совсем еще недавно казавшееся антинаучным и абсурдным, перестает быть таковым во мнении очень серьезных исследователей и становится необходимым для понимания Вселенной и самой материи.

Но теория эта – не единственная, и прежде чем заняться ею вплотную, необходимо, справедливости ради, послушать, что думают о космогонии другие ученые. Этим мы и займемся в следующей беседе.

## **Мнимый антагонизм. Современная наука о начале и конце**

Я говорил в предшествующих беседах о том повороте в космологии или, точнее, в космогонии, который заставляет современных ученых полностью пересмотреть вопрос о материи и ее развитии. Материя имеет возраст, материя стареет, материя перерождается. Но что значит тогда вечность материи и вечность мира?

В прошлый раз я указывал на один из ответов, приведя слова французского астронома Кудера о математическом начале времени, т.е. о той отвлеченной точке, с которой началось наблюдаемое нами развитие Вселенной. По этой теории Вселенная имеет начало во времени и ограничена одновременно и временем и пространством. На основании очень сложных математических и физических расчетов ученые приходят к выводу, что Вселенная несколько миллиардов лет назад заключалась в сравнительно ограниченной по объему газовой массе, которая начала свое расширение, или экспансию. Таким образом, можно предположить некую нулевую точку времени, его математическое начало. «Сам я, – пишет профессор Кудер, – не придаю этой теории никакого метафизического значения и не приравниваю ее к учению о творении мира. Теория эта – прежде всего научная и рациональная, и тем хуже для тех, кто осуждают ее *a priori*, во имя какого-то “правоверного” материализма, а также для тех, кто делают из нее трамплин для прыжка в богословие». Кудер предчувствовал, что теория, к которой он пришел чисто рациональным, строго научным путем, вызовет бурю протестов как справа, так и слева: слева – из-за того, что он создал будто бы «трамплин для прыжка в богословие», т.е. в библейское учение о творении, а справа – из-за того, что сам трамплином этим не воспользовался.

Так и случилось. По замечанию одного историка современной науки, «вокруг этих проблем космологии между учеными идет сейчас настоящий бой, философское значение

которого огромно». Вот, например, что пишет о теории Кудера другой французский ученый, профессор Довилье в книге «Космогонические гипотезы»: «Гипотеза эта не только не подтверждается опытом – она неприемлема *a priori* в силу ее метафизического характера. Она предполагает сверхъестественное творение из ничего, но научная мысль вместить это не может. И если даже у нас не остается ничего, кроме единственного принципа – принципа сохранения энергии, мы, по крайней мере, не должны его нарушать, принимая идею сотворения, или начала, энергии».

В этом тексте поражает откровенное признание: научная теория должна быть отвергнута лишь потому, что открывает путь к религиозному осмыслению мира. В самом деле, ни в чем не раскрывается с такой силой поистине иррациональный страх науки и религии друг перед другом, как в постоянной оглядке: «А не поможет ли моя теория врагу?» Сто лет назад так же испуганно отреагировал на теорию эволюции религиозный мир. Но сейчас подобным аффектом больны многие ученые. Для них наука именно *a priori* не может и не должна иметь никаких точек соприкосновения с религией, и даже если факты указывают в сторону последней, тем хуже для фактов. Таким аффектом одержим и Довилье. И потому, как пишет в ответ ему другой исследователь, его собственная теория полна противоречий и несообразностей, ибо для науки важно только одно – соответствует ли учение о начале и развитии имеющимся данным. Утверждение же, что теория эта неприемлема *a priori* в силу ее метафизического характера, отдает скверной шуткой.

Здесь мы подходим к самой сердцевине проблемы – к тому, что наука неизбежно должна так или иначе принять это метафизическое измерение<sup>94</sup>. Действительно, почему говорить о начале мира – вредная и опасная метафизика, а говорить о вечности материи – это наука? Понятие вечности так же метафизично, как и понятие начала, ибо то и другое в равной мере не подлежит прямой экспериментальной проверке. И речь, следовательно, идет лишь о том, какое из двух понятий наиболее рационально, т.е. наиболее соответствует всему тому, что мы знаем о мире и материи.

Любое мировоззрение все равно неизбежно приводит к метафизическим выводам и обобщениям, и бояться их – значит отрицать науку. Как замечает тот же Кудер, «я не разделяю мнений всех, кто отреагировали на теорию начала не так, как подобает людям науки. Одни сразу заговорили о творении, другие отвергли мою теорию за ее буржуазный якобы характер». Единственным возражением против теории необратимого роста Вселенной могло бы стать возражение, основанное на циклическом понимании этого роста. Согласно ему, вселенные сменяют друг друга, рождаясь, развиваясь, старея, умирая и, если так можно выразиться, «воскресая». И некоторые ученые так панически боятся идеи начала и конца, насквозь пропахшей, как им кажется, ненавистной для них религией, что предпочитают стать на сторону этого воображаемого круговорота. Но именно воображаемого! Ибо в области фактов и эксперимента ничто, решительно ничто на него не указывает. Это своего рода возврат к воззрениям Анаксимандра, Гераклита и стоиков<sup>95</sup>. вечная и несотворенная Вселенная развивается от единого к множественному, затем от множественного возвращается к единому, и так без конца. Но Анаксимандр, Гераклит и стоики строили эту теорию как раз на религиозном основании. Вечность и несотворенность мира нужны были потому, что мир этот мыслился ими как божественный, а лучше сказать – как сам Бог. Впрочем, и материя для многих современных материалистов – понятие едва ли не религиозное, и всякое непочтительное прикосновение к ней считается у них кощунством.

Так или иначе, можно лишь повторить, что идея вечного и неподвижного мира в настоящее время не подтверждается никакими научно установленными фактами. Все, что мы знаем о Вселенной, неизбежно подводит нас к понятию о необратимой космической эволюции. Если же утверждать, как делают некоторые, что необратимость эта не абсолютна, что эволюция после некоего периода времени начинается заново, в новом цикле, то утверждение это само требует научного доказательства. Мир, каким мы его знаем и узнаем все больше, предполагает начало и конец. И в этом пункте нет,

следовательно, никакого априорного расхождения между научным и религиозным миропониманием.

## **Мнимый антагонизм. Ложная предпосылка**

В прошлых беседах мы говорили о том, как ставится и разрешается в современной науке проблема космоса, и о том, какое значение может иметь это для философского и в конечном счете для религиозного сознания. Мы говорили, что наука, чьи возможности за последние десятилетия безгранично расширились, на основе предельно точного анализа космических элементов все очевиднее приходит к взгляду на мир как такое целое, которое развивается и потому необходимо предполагает начало и конец. О подлинном смысле, о метафизических, так сказать, возможностях этих открытий среди ученых до сих пор идут ожесточенные споры. Но важно то, что споры эти касаются уже не самих фактов – о фактах больше не спорят, а их истолкования, и что в этих спорах сталкиваются убеждения и предпосылки, выходящие за пределы эмпирической науки как таковой.

Но прежде чем перейти к этой стороне дела, подведем некоторые итоги. Как пишет один ученый, «нам не нужны поспешные обобщения». Да не будет и наш философско-религиозный анализ научных открытий насилием над тем, что составляет еще предмет споров и вопрошаний. Поэтому лучше всего воспользоваться так называемым минималистическим методом, а это значит – опереться только на то, что уже вне споров, вне вопрошаний. Наука, идя от теории к теории, проходит некий необратимый путь, общее направление которого и должно, как нам кажется, лечь в основу нашего анализа.

Для философского размышления всегда налицо две главных опасности. Во-первых, опасность целиком отождествить себя с одной-единственной научной теорией, чтобы затем, когда теория эта будет отброшена самой наукой, с нею же потерпеть мировоззренческий крах. Этой опасности не избежал диамат, сделавший ставку на своего рода материалистическую статику и потому оказавшийся теперь в довольно печальной роли научного анахронизма. Другая опасность – это философствовать о мире и человеке в полном

отрыве от науки, и прежде всего – науки о космосе и его генезисе. Такая опасность подстерегает многих философов и в наши дни. Современная философия слишком часто развивается вне всякой связи с физикой, химией, биологией. Философы рассуждают так, как если бы жили во времена Декарта, в своеобразном интеллектуальном изоляторе, куда не проникают никакие открытия, никакие новые факты. Так, например, современная физика начисто покончила с теорией микротел – самых малых, но зато уж, так сказать, «целиком материальных» частиц материи. Это же обстоятельство, в сущности, покончило и с определенной разновидностью материализма. Но большинство философов не знает об этом предельно научном, предельно объективном факте попросту ничего. Как замечает физик Башлар, «когда говоришь об этих явлениях – об уничтожении и творении материи – перед аудиторией философов, на их лицах написано полное непонимание, полное отсутствие интереса к тому, что, казалось бы, должно иметь для них первостепенное значение».

Таким образом, нужно опасаться двух крайностей. Философу надлежит быть одновременно открытым к миру научного искания и свободным от догматического усвоения одной-единственной теории, одного-единственного вывода. И ему же надлежит опираться на то, что установлено как бесспорное. И вот с этой точки зрения можно считать бесспорным, общепризнанным и составляющим основной вывод современной науки то, что мир (космос, вселенная) находится в становлении. Это первая, но очень важная предпосылка, ибо за ней немедленно следует вопрос первостепенной важности и для философии, и для человеческого сознания вообще: «Предполагают ли становление и эволюция мира некое абсолютное его начало?» Мы знаем уже из предыдущих бесед, что по этому пункту идет самый ожесточенный бой.

Хорошо, оставим на время идею «самого первого», абсолютного начала, которая слишком многим ученым все еще кажется позорной сдачей «своих позиций» религиозному сознанию, вере. Но зато уж никакому сомнению теперь не



подлежит начало, так сказать, «неабсолютное» или, точнее, множество неабсолютных начал. Тостановление, та эволюция, которую мы можем на протяжении нескольких миллиардов лет проследить, вся состоит из непрерывного возникновения – возникновения новых тел, новых форм материи, новых, все более сложных структур. Галактики формируются, звезды соединяются, возникают тяжелые ядра... Для нас, желающих не только знать, но и философски осмыслить знание и науку, этого, быть может, достаточно. Оставим, повторяю, «самое первое» начало. Довольно с нас того, что и космогенез и биогенез и, наконец, антропогенез есть в объективном смысле история начал – история, никем не оспариваемая. И если ученый наших дней боится сделать отсюда последний вывод и признать логическую необходимость самого первого, абсолютного начала, оставим его – пока что! – в покое. Важно то, что идея неподвижной, всегда равной себе самой, неизменной и вечной материи противоречит всем данным, всем открытиям, всем тенденциям современной космогонии. Важно то, что в свете этих открытий основная проблема философии, проблема бытия и конечного его смысла ставится по-новому – так, как не ставилась во все века бессмысленной, ничем не оправданной войны сознания религиозного и сознания научного.

## МНИМЫЙ АНТАГОНИЗМ. Два пережитка

В прошлых беседах мы доказали, надеемся, что современная наука о мире (космология, космогония, биология) ставит вопрос, и чем дальше, тем острее, о его начале и конце. Иными словами, ученые возвращаются, хотя и совсем по-новому, к религиозным вопрошаниям и прозрениям прошлого. Но если в религиозной плоскости вопрошания эти разрешались при помощи мифологического языка, мифологических образов, то наука подходит к ним в контексте своей методологии, своей научной проблематики. А это значит, что на очереди стоит вопрос о новой философии, т.е. о предпосылках научного знания и выводах из него.

И тут научное знание наталкивается на два, если можно так выразиться, «пережитка прошлого», на две системы мысли, которые все очевиднее обнаруживают свою несостоятельность и непригодность: с одной стороны, пресловутый философский идеализм, с другой – марксистский материализм. Попробуем как можно проще объяснить, во-первых, в чем заключается основная установка каждого из них по отношению к миру, и, во-вторых, почему ни та, ни другая философия уже не могут быть ничем полезны подлинно научной мысли.

Если взять за исходную точку простую истину, что человек живет познанием мира, то возникает вопрос, как он его познает, как многообразная реальность мира человеком претворяется в представления, умозаключения, идеи и т.д. Говоря иначе, это вопрос о соотношении мысли и действительности. Так вот, сущность философского идеализма в том, что главное ударение он делает не на действительности, а на той мысли о ней, которая возникает в моем мозгу. По-настоящему реален не мир, а мое представление о нем. Величайший немецкий философ-идеалист Иммануил Кант прямо утверждал, что познать саму реальность, т.е. то, что он называл «вещью в себе», мы не можем, ибо она известна нам лишь постольку, поскольку присутствует в нашей мысли. Таким образом, знание, утверждает философский идеализм, есть знание не вещей, а

наших мыслей о вещах. Несколько утрируя, можно сказать, что для идеализма неважно, существует ли мир реально, и если существует, то что же он в таком случае реально есть. Узнать это невозможно – узнать можно только образы и мысли нашего сознания.

Именно против этого разрыва между мыслью и реальностью выступил марксизм. Марксизм, в сущности, и родился как страстное отрицание философского идеализма. В марксизме главное ударение переносится с мысли на реальность, или, как говорят марксисты, на материю. Здесь нужно подчеркнуть – что, увы, не всегда делают противники марксизма – двоякий смысл понятия «материя» у марксистов. Первый его смысл прямо вытекает из марксистского антиидеализма, указывая прежде всего на объективное существование мира вне зависимости от познающего человеческого ума. Если для идеалиста мир есть в конечном итоге его представление о нем, то для марксиста мир существует как первичная реальность, имевшая бытие до человека и независимо от человеческой мысли. Марксизм, таким образом, начинается со своеобразной веры в мир, в его первичность, в его подлинное и полновесное существование. Мысль, знание, будучи лишь производными от этой реальности, имеют ценность постольку, поскольку сами ей соответствуют. Отсюда врожденная любовь марксистских философов к таким словам, как «объективность», «конкретность».

Тут перед нами, повторяю, вера в первичность мира, тогда как в идеализме – сплошной скепсис по его поводу. Заметим, кстати, что христианское, а до него библейское миропонимание с этой точки зрения гораздо ближе к такой вере в мир, чем идеализм. В Библии, в христианском откровении мир тоже всегда реален, и его существование, а не мысль о нем, есть источник и радости, и вдохновения, и хвалы: Вся премудростию сотворил еси (Пс.103:24). Именно в этом смысле Сергей Николаевич Булгаков, бывший марксист, вернувшийся в Церковь и ставший христианским мыслителем, говорил о «священном материализме» христианства<sup>96</sup>. В борьбе против скептического идеализма, весь мир растворяющего в какой-то

мысли и представлении, в какой-то субъективной иллюзии, христианство гораздо ближе к первому смыслу марксистского понятия «материя», чем думают многие христиане.

Но у этого понятия в марксизме есть и второй смысл слова «материя». Главное ударение здесь сделано уже не на объективной реальности мира, а на его вечности и несотворенности, безначальности и бесконечности. С тем, что мир и его материя реальны, а не иллюзорны, неверующий ученый и христианский мыслитель не только могут, но и должны согласиться. Иначе мы имеем дело с иллюзией, как в тютчевском «не дым, а только тень, бегущая от дыма»<sup>97</sup>. Но почему из этого правильного утверждения вытекает, что материя и мир не имеют ни начала, ни конца; что вне их ничего нет и не может быть? Каким образом вера в мир оборачивается его своеобразным обожествлением? Между тем именно это и ничто другое утверждает как догму марксистская мысль от Маркса и Энгельса вплоть до наших дней.

Но тут-то мы и подходим к главному: именно в этом своем втором утверждении марксистский материализм оказывается вовлечен, и чем дальше, тем больше, в конфликт с наукой, на которую он, однако, постоянно ссылается, выдавая себя за «научное мировоззрение». Что науке нечего ожидать от философского идеализма – это давно уже стало очевидно. Действительно, вся наука основана на опыте, который в свою очередь предполагает реальность мира. При изучении строения геологических напластований или распада атома ученому нет дела до праздных вопросов: сами напластования ли эти реальны или только мое представление о них? Для него они реальны, иначе не стоило бы ими заниматься. Но тут начинается конфликт и с марксистским материализмом. Ибо сама наука, само исследование реальности ставит, например, вопрос о начале материи. А марксизм говорит: вопрос этот ставить нельзя, потому что материя должна быть безначальной. За философским крахом идеализма наступает философский крах материализма. Вот что нужно каждому понять сегодня, а это совсем по-новому ставит вопрос о соотношении науки и религии.

## Мнимый антагонизм. Встреча смирения и мудрости

«Издалече пришли мы»<sup>98</sup>, – так говорят таинственные восточные мудрецы, пришедшие поклониться, согласно евангельскому рассказу, родившемуся в вифлеемской пещере Христу. Но что же привело их «издалече»? Откуда узнали они об этом Младенце, об этой пещере, об этой радости и что означает их поклонение? Скептически настроенный, в духе научного позитивизма воспитанный человек пожмет, должно быть, плечами: для него это глупый, ничего не значащий вопрос. Ибо как можно всерьез относиться к давно уже развенчанной легенде, к сказке, в которую верят одни лишь малокультурные люди? Конечно, в ответ можно сказать, что «сказка» эта, как-никак, на две тысячи лет вошла в плоть и кровь человечества, глубочайшим образом изменила его самосознание, дала начало неслыханному цветению мировой культуры, породила величайшее искусство. Но допустим даже, что рассказ об этих таинственных мудрецах, исчислявших звезды и по звездам пришедших к колыбели Христа, – что рассказ этот – миф и ничего исторически достоверного об этих людях мы не знаем, да и не узнаем никогда. Но ведь остается фактом то, что «миф» этот поставлен христианством в самом начале его истории. И не значит ли это, что он открывает нам нечто очень важное в вере самих христиан – то, как они понимали и переживали ее на заре своего исторического существования?

Нам постоянно твердят, что христианство – это запрет человеческой свободе, это сплошной догматизм, требующий, чтобы человек отказался от разума и поиска, от анализа и критической проверки, это тьма, порожденная суеверием, страхом и невежеством. Но почему же тогда в самых первых строках Евангелия находим мы рассказ о людях, которых на современном языке не можем назвать иначе как учеными? Восточные мудрецы! Мы до сих пор изучаем вавилонскую астрономию, и современные исследователи знают не только о ее ценности для своей эпохи, но и о том, что древнее знание это сделало возможным дальнейшее развитие науки. Так вот,

какова бы ни была наука того времени, это все же была наука, а значит – поиск, анализ, критическая проверка. И каковы бы ни были ученые того времени, это были люди, сумевшие проникнуть в тайны мироздания дальше, чем все их современники. И что самое важное – их привела к Христу готовность искать, иными словами, их наука. «Мы исчислили звезды, – как бы говорят они, – мы искали, и искание наше привело нас сюда». И если рассказ о волхвах, повторяю, помещен в начале Евангелия, не означает ли это, прежде всего, важность для христиан именно искания?

Ищите, и обрящете (Мф.7:7), – говорит Христос. «Ищите, и обрящете», – говорит, в сущности, и наука. Ведь ученый очень часто сам не знает, чего ищет, но знает, что в конечном итоге ищет истину, только истину, всю истину, а если не ищет, то он и не ученый. Но ученый не знает часто, куда приведет его это искание, однако заранее знает (опять-таки, если он настоящий ученый!), что примет истину, какой бы она ни была, и смирится перед нею. Смирение перед истиной – не есть ли это главная предпосылка науки, основа всякого научного мировоззрения? Вся история науки наполнена своего рода чудесами. Ученые искали одно, а находили совсем другое: искали материю, а нашли энергию; искали ограниченность, а нашли безграничный космос; искали железный детерминизм, а нашли свободу. Вот на наших глазах, в наше время совершилось и совершается такого рода научное чудо, и оно стало возможным только благодаря исканию и смирению научного разума перед истиной.

И сегодня, в наши дни совсем не религия, не христианство налагает запрет на это искание, а узколобый фанатизм и догматизм идеологов, заранее определивших, что может и чего не может наука искать и найти. Христианство устами Самого Христа просто говорит: Ищите, и обрящете. Догматизм же современной идеологии говорит: «Ищите, но не смейте находить духа и души, потому что их все равно нет, и главное – не смейте находить Бога!» Иными словами, когда поиск приводит к главному, запредельному, глубинному (к тому, что предчувствовал и о чем писал между прочим Эйнштейн, да и все великие ученые) звучит приказ: «Извольте остановиться: тут

граница, тут запрет, ибо мы вашим именем, от лица науки объявили людям, что никакого Бога нет, не может и не должно быть!» Так кто же налагает запрет? Кто противится исканию?

Вот почему так драгоценен, так важен этот рассказ о мудрецах в самом начале Евангелия. Да, мы ничего не знаем о них кроме того, что они мудрецы, но знаем, что они пришли «издалече», и это «издалече» не относится ли ко всему человеческому исканию? Мы все идем «издалече», бесконечно долг путь человеческого роста, искания и обретения. И так часто не знаем мы, куда мы идем, но только бы идти, только бы не иссякала в нас эта жажда, эта потребность в истине, только бы не удовлетвориться нам поверхностными, половинчатыми, дешевыми ответами! Христианская вера говорит: «Если идти, то до самого конца». Итак, если смиряться всегда перед истиной, если думать только о ней, служить только ей, искать только ее, если, иными словами, быть такими, каким хочет видеть человека подлинная наука, мы придем – как и когда, не знаем – к все той же светоносной Рождественской ночи, к Младенцу, Чье пришествие в мир ознаменовано было торжественной и радостной хвалой: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк.2:14).

Тогда, у колыбели Христа, встретились люди очень мудрые и люди очень смиренные – встретились мудрость и смирение, наука и человечность, истина, любовь и бесконечная радость.

## Часть II. Человек



## Коллизия объяснений. Божественное измерение

Ни о чем так много не думают и не спорят в наше время, как о человеке. Кто он? Каково его место в мироздании? К чему он призван, на что способен?

Все эти вопросы как будто заново поставлены теми глубочайшими духовными и психологическими переменами, вызванными научно-технологической революцией, которая совершается на наших глазах. С одной стороны, революция эта, казалось бы, вознесла человека на недостижимую высоту. Действительно, человек победил природу, победил стихии, достиг Луны, а завтра сможет достичь и другие планеты. Хотя бы потенциально нет предела этому научному постижению мира, проникновению во все его тайны. Да и сама тайна, попросту говоря, постепенно рассосалась, исчезла: то, что раньше по неведению приписывали таинственным силам, о чем могли только гадать и ворожить, стало прозрачным для трезвого и рационального анализа, превратилось из тайны в задачу, которую нужно всего лишь правильно сформулировать и правильно разрешить. Непроходит буквально дня без очередного потрясающего открытия, очередного поразительного завоевания. «Все могу, – говорит современный человек. – А что не могу сегодня, смогу завтра». Таков, несомненно, первый результат научно-технологической революции. Человек не только научился управлять космическими стихиями, но стоит на пороге активного вмешательства в действие этих стихий, полного их подчинения, и у многих дух захватывает от таких перспектив.

Но это только одна сторона, один аспект. Ибо одновременно на наших глазах совершается небывалое умаление человека, растворение его в какой-то безличной массе. Неслучайно в наши дни ключевыми словами стали «масса», «коллектив», «народ». Спорят, волнуются, кричат об их судьбе, и слово «человек» все реже означает отдельную личность, конкретного и в своей конкретности единственного человека. Здесь словно действует некий неумолимый закон:

чем больше распространяется власть и могущество человечества, тем меньше остается места для человеческой личности, для внутреннего мира, внутренней жизни человека.

Человечество побеждает, а человек побежден – так можно сформулировать этот несомненный закон. Чтобы одержать эти огромные, дух захватывающие победы, нужно, чтобы как можно меньше было личного. Оно мешает, оно, как капля воды, попавшая в мотор, портит слаженное действие чудесного механизма. Действительно, если сегодня нужно достичь Луны, а завтра – Марса или Венеры, то какое значение могут иметь личные переживания этого вот поэта, несчастная любовь этого вот маленького существа, страдания или радость отдельных человеческих песчинок, винтиков? Винтик не должен думать, винтик должен только исполнять свою функцию. Поэтому те же силы, что влекут человечество к научным победам, к воцарению над природой, одновременно влекут его к тоталитаризму в самом глубоком и страшном смысле этого слова. Все в современном мире как бы говорит: «Добиться чего бы то ни было можно только при безоговорочном, абсолютном подчинении всех частей целому. И по-настоящему счастлив, по-настоящему полезен лишь тот, кто до конца себя этому целому подчинит».

Поэтому борьба с личностью и личным не случайна, не есть продукт только какой-то злой силы, чьей-нибудь злой воли. Ее требует сама система, она вписана в неумолимую логику того, что в наши дни принято называть «прогрессом». И, конечно, еще менее случайна борьба со всем тем, что защищает личное и личность, ставит их во главу угла, и прежде всего – с религией. Ибо религия не только обращена к личности, к личной вере, к личной любви, к личному совершенству, но всей своей сущностью утверждает и провозглашает несводимость человека ни к какой массе, ни к какой стихии, ни к какому коллективу. По парадоксальной арифметике Евангелия один человек и его судьба так же ценны, как судьба девяноста девяти. Евангелие не согласно пожертвовать ради целого ни одним самым маленьким человеком, ни одной самой мелкой, самой незаметной с виду судьбой. Как говорит Иван Карамазов у

Достоевского, если счастье человечества основано хотя бы на одной слезинке ребенка, то это счастье негодное и его нужно отвергнуть.

Так вот, мне кажется, что ни один человек, мало-мальски способный задуматься над тем, что происходит сейчас в мире, не может, не должен попросту отмахнуться от поистине решающего и последнего выбора, перед которым ставит каждого из нас наша эпоха. Чего я хочу: полного и «научно обоснованного» торжества человечества за счет отмирания человека или же, пусть частичной, победы человечности, т.е. признания высшей, абсолютной ценности каждого человека, который ни при каких условиях не может быть признан средством, а не целью?

Но нужно помнить, что тоталитаризму при таком выборе противостоит только религиозное восприятие человека. Никакая наука, никакая техника ничего «личного» не знает и знать не может. Таинственное, божественное значение личного начала в человеке открыто совсем иному знанию о нем. Если это знание скинуть со счетов, защищать человека станет очень скоро невозможно.

К этой поистине судьбоносной теме мы вернемся в следующий раз. Ибо нужно, чтобы до сознания людей дошло наконец, что мир и общество неумолимо соскальзывают в безличность, и, самое главное, чтобы они поняли: вопрос о религиозном подходе к человеку или, еще шире, о месте религии в мире не сводится к правам какого-то «гонимого меньшинства», но есть краеугольный вопрос о смысле и цели всей нашей земной деятельности, всех наших желаний и стремлений. И я глубоко уверен, что только сейчас, в эпоху научно-технической, психологической, какой угодно революции, человек по-настоящему способен понять, что происходит, вернее, что произойдет с ним, если он окончательно забудет о божественном своем происхождении и назначении.

## Коллизия объяснений. Спасительная тайна<sup>99</sup>

Невероятный прогресс и успехи человечества, с одной стороны, страшная деградация и порабощение человека – с другой. Так определил я в прошлой беседе то парадоксальное положение, в котором все очевиднее оказываемся мы в нашем великом и одновременно трагическом XX веке. Невольно вспоминаются пророческие строки блоковского «Возмездия»:

Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).  
Пожары дымные заката,  
(Пророчества о нашем дне),  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине,  
Безжалостный конец Мессины.  
(Стихийных сил не превозмочь),  
И неустанный рев машины,  
Кующей гибель день и ночь,  
Сознание страшное обмана  
Всех прежних малых дум и вер,  
И первый взлет аэроплана  
В пустыню неизвестных сфер...  
...  
И черная, земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...  
Что ж, человек?— За ревом стали,  
В огне, в пороховом дыму,  
Какие огненные дали  
Открылись взору твоему?  
О чем – машин немолчный скрежет?  
Зачем – пропеллер, воя, режет

Туман холодный – и пустой?

Мало где, мне кажется, выражена так глубоко специфическая музыка нашей эпохи – музыка, упирающаяся в этот «туман холодный – и пустой». Но Блок не один слышит эту музыку и ужасается ей. На Западе уже в наши дни с такой же тоской, с таким же ужасом вслушивается в нее Альбер Камю, и ему, чем ближе к ранней его гибели, тем яснее становится, что этот рев машин, это царство техники и технократии, этот пафос коллективного, безличного, принудительного счастья все очевиднее делает большинство людей одновременно палачами и жертвами. Палачами – потому что все включены в эту страшную механику принуждения и каждый волей-неволей вынужден давить другого. Жертвами – потому что все подчинены коллективному целому и на каждого направлено давление целого. Об этом, конечно, и «Доктор Живаго» Пастернака, об этом одинокий голос уже теперь, в наши дни, Солженицына.

И дело, повторяю, не в одной политике или идеологии. Уже генетики спокойно, недрогнувшим голосом объявляют, что они накануне того, чтобы научно регулировать подбор людей, их, так сказать, «биологическое соответствие» требованиям коллектива. Уже удаляется постепенно из школ и университетов все так или иначе способное укрепить, развить личное самосознание и заменяется тем, что еще лучше приспособит, еще лучше подчинит человека нуждам современного мира. Уже как преступление перед миром и перед обществом рассматривается всякая попытка человека хотя бы пассивно противостоять им, просто-напросто отказавшись участвовать в этом лихорадочно- всеохватывающем строительстве.

Обыватель, чей умственный кругозор ограничен повседневностью, возможно, всего этого не замечает. Общество, власть умело отвлекают его внимание от все усиливающегося нажима. Улучшается его материальное положение: квартира, домик, дача, а на горизонте – автомобильчик... Чего еще желать от жизни? И опять вспоминается Блок:

Будьте ж довольны жизнью своей,

Тише воды, ниже травы!  
О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих дней!<sup>100</sup>

«Что же, – спросят, возможно, у меня, – значит, весь этот технологический прогресс, весь этот, как вы говорите, успех человечества, есть, по-вашему, зло, от которого нужно отказаться, осудив его? Значит, хорош и необходим только индивидуализм, борьба за личное счастье и личные интересы? И откуда вы взяли, что каждая личность непременно ищет добра, служит чему-то хорошему? И не есть ли нынешний примат целого, коллектива, общества над единичным и индивидуальным как раз победа над разнузданным эгоизмом личности? Не есть ли эта самая личность источник зла и страдания на земле?»

Вот тупик, перед которым мы стоим сегодня, вот страшный выбор, который угрожает нам. И только осознав весь ужас и безысходность этой дилеммы, можем мы, мне кажется, понять и то, почему в центре ее, в самой сердцевине всей человеческой проблематики оказывается вопрос о религии. Только в религиозном подходе к человеку снимается безысходность этого выбора: или человечество, или человек.

И как странно, но и как показательно то, что при любом выборе начинается преследование религии. Было время, когда религию обличали и отрицали во имя правды личности, когда все было сосредоточено только на человеке, а не на человечестве. В наши дни – наоборот. Религию гонят во имя человечества, гонят как непрошеную защитницу личности. Ибо в том-то и дело, что только в религиозной, только в христианской интуиции есть место тому и другому – и человечеству как целому, и человеку как ни к чему не сводимой абсолютной ценности. Только в Евангелии засиял и до сих пор сияет свет, в котором исчезает это страшное «или – или». Или тьма машинной цивилизации, ее «туман холодный и пустой», или тьма индивидуализма, одинокой личности, которая только себя и признает целью мироздания. Христос всегда обращается к миру, ко всем, ко всему человечеству, и всегда к каждому – ко мне и к тебе, к данному и конкретному человеку. И в этом

состоит чудо и тайна Евангелия. В нем каждый находит себя, но в себе – всех. В нем каждый находит всё, но во всем – себя.

Вот об этой тайне, о которой все больше и больше забывает мир, которую никто не хочет принять во внимание при решении поистине страшных вопросов современности и которую гонят во имя счастья и коллективного, и личного, – об этой тайне нужно сегодня кричать с крыш, ибо только в ней спасение.

## Коллизия объяснений. Что и для чего ест человек?

Когда-то немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах написал свою знаменитую фразу: «Человек есть то, что он ест»<sup>101</sup>. Этой фразой он думал покончить со всеми идеалистическими спекуляциями о человеческой природе. На деле же он невольно выразил самую что ни на есть религиозную идею человека. Ибо задолго, очень задолго до Фейербаха то же определение человека дано было и Библией. В библейском рассказе о творении человек показан прежде всего как существо алчущее, т.е. голодное, а весь мир – как пища человека. Непосредственно за заповедью о размножении и обладании землей Бог призывает человека питаться от нее: Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево... вам сиебудет в пищу (Быт.1:29). Чтобы жить, человек должен есть, т.е. принимать мир в свое тело и претворять его в себя, в свою плоть и кровь. Да, действительно, человек есть то, что он ест, и весь мир в Библии показан как некий пир, приготовленный для него. И этот образ пира, трапезы остается на протяжении всей Библии центральным символом жизни. Символом жизни при ее создании, и символом жизни при ее конце, или исполнении. Да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем (Лк.22:30), – говорит Христос.

Я начинаю с темы пищи и еды (темы, которая и верующим, и неверующим представляется обычно второстепенной с точки зрения религии) ввиду главного вопроса: о какой жизни идет речь в вечном споре между верой и неверием, религией и атеизмом? Неверующие упрекают верующих в равнодушии к человеческой жизни и ее нуждам. И надо сказать, что верующие сами очень часто дают повод к этим обвинениям. Ибо они слишком легко забывают, что говорит о подлинной природе и подлинном содержании жизни Священное Писание, и особенно – Сам Христос. Для значительной части христиан слово «жизнь» означает всегда жизнь религиозную, составляющую в их понимании замкнутую сферу, которая наглухо отделена от жизни светской, или мирской. Здесь царит пафос «чистой духовности»



– пафос ухода, развоплощения, мироотрешенности. Соблазн такой мироотрешенности, такого ухода существует всегда, ибо жизнь с ее суетой, неудачами, страданиями, разочарованиями и, наконец, смертью всегда и всюду была и остается трудной, а зачастую и непосильной для человека. И как же тянет тогда уйти от всего, сбросить с себя всякую ответственность, погрузиться в своего рода нирвану – в тишину «чистого созерцания» и молитвы! При такой установке все сказанное о пище в Библии понимается лишь в смысле пищи духовной.

Но наряду с таким пониманием жизни и религии всегда существовало другое. Согласно ему, назначение религии в том, чтобы улучшать жизнь, помогать миру и людям. Христианство расценивается здесь как политическая и социальная программа. Это понимание сторонники его также выводят из Евангелия, поскольку и Христос призывал Своих последователей заботиться о нищих, голодных, страждущих, заключенных.

И вот мы стоим перед парадоксом. Если христиане призывают к духовности, если они напоминают людям о словах Христа «Ищите прежде Царства Божия, а остальное приложится вам» (ср.: Мф.6:33), их обвиняют в равнодушии к миру и его нуждам. Если же они понимают христианство как призыв бороться за лучшую жизнь, их осуждают за вмешательство в чужие дела, в сферу, которая религии не подведомственна. И, повторяю, сами христиане часто оказываются разделены между собою относительно того, в чем состоит главный призыв Евангелия, в чем основное содержание христианской жизни. В самом деле, что нужнее: уйти в себя и молиться или включиться в борьбу за то, что всевозможные мирские идеологии называют «светлым будущим»? Что важнее: одухотворять жизнь или, напротив, обмирщать религию, ставшую такой далекой от «реальных нужд и запросов» современного человека? Вот вопросы в равной мере мучительные для верующих и неверующих. И на них невозможно ответить, не вдумавшись в исконно религиозное понимание человека. Человек есть то, что он ест. Но что же он ест и для чего?

Вопрос этот казался праздным и нелепым как Фейербаху, так и его религиозным противникам. И для него и для них

питание представляло самоочевидно материальную функцию, и единственным, что их разделяло, был другой вопрос: есть ли в человеке что-нибудь вдобавок к этой функции, как некая сверхматериальная, духовная надстройка? На этот вопрос религия отвечала: «Да», Фейербах отвечал: «Нет». Но для нас важно, что и «да» религии, и «нет» материализма понимались в контексте все того же противопоставления материального – духовному, телесного – душевному. И с этой точки зрения Фейербах, враг всего религиозного, на деле являл собою плод многовекового развития самой христианской мысли, которая частично усвоила, как свой собственный, тезис о противоположности души и тела, материи и духа, естественного и сверхъестественного, священного и профанного. Фейербах считал, что наступило время во имя реальности материи, во имя жизни «как она есть» упразднить всякую надстройку над ними. И сказав: «Человек есть то, что он ест», считал, что этой формулой покончил с религией. Но трагедия в том, что все возражавшие ему с религиозных позиций понимали пищу и питание, зависимость человека от мира и материи по сути, так же, как он, настаивая лишь на том, что над пищей есть и нечто духовное.

Но сводится ли спор к этому противопоставлению? Мы видели, что и Библия начинается с пищи, что и она, принимая фактически формулу Фейербаха, также, в сущности, отвергает разделение и противопоставление материального и духовного, говорит о человеке как целостном существе. Итак, что же сообщает нам Библия о мире, пище и зависимости человека от них? На этот вопрос мы и постараемся ответить в следующей беседе.

## Коллизия объяснений. Что и для чего ест человек? (окончание)

«Человек есть то, что он ест» – делая это утверждение, немецкий философ-материалист Фейербах был убежден, что он завершает и обесмысливает все идеалистические рассуждения о человеческой природе. На деле, сам того не зная, он выражал глубоко религиозное понимание человека, ибо задолго до Фейербаха точно такое же определение было дано человеку в Библии.

В библейском рассказе о сотворении человека тот показан прежде всего как существо голодное и весь мир – как его пища. Немедленно за заповедью размножаться и обладать землей человеку дается заповедь питаться от земли: И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей Земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам сиебудет в пищу (Быт.1:29). Чтобы жить, человек должен есть, он должен приобщаться к миру и претворять его в себя, в свое тело и в свою кровь. Он действительно есть то, что он ест. И весь мир показан в Библии как некий пир, приготовленный человеку, и этот образ пира, трапезы красной нитью проходит как один из главных символов жизни. Это образ жизни в претворении, но это также и образ жизни в ее конечном завершении: «И Я завещаю вам, – говорит Христос ученикам в последнюю ночь Своей жизни, во время Тайной вечери, – как завещал Мне Отец Мой, Царство, чтобы вы ели и пили за Моею трапезой в Царстве Моем» (ср.: Лк.22:29).

Я начинаю с этой, казалось бы, второстепенной с религиозной точки зрения темы о пище, потому что вопрос, на который мне хотелось бы дать посильный ответ, – это вопрос о том, о какой жизни мы говорим, какую жизнь мы проповедуем, провозглашаем и возвещаем, когда как христиане утверждаем, что Христос отдал Себя за жизнь мира (Ин.6:51). На этот вопрос существует два общих ответа. Одни отвечают, что жизнь, о которой учит христианство, – это религиозная жизнь, которая есть жизнь самодовлеющая и не зависящая от мира и его

жизни. Таким образом, это особый, замкнутый мир «духовности», и немало на свете религиозных людей, живущих исключительно в нем и равнодушных ко всему прочему – к миру повседневной действительности. Потерянный и раздавленный в шуме, спешке и разочарованиях реальной жизни, человек легко поддается искушению уйти в затвор своей души и обрести там другую жизнь, другой пир с обильной духовной пищей. И эта духовная пища помогает ему восстановить душевное спокойствие, терпеливо нести тяготы и невзгоды реальной жизни и даже попросту не замечать ее.

В этом первом общем ответе на поставленный нами вопрос имеется много вариаций: от простой или так называемой народной веры до почти патологического интереса к всевозможным «тайным» учениям. Но результат всех этих вариаций тот же: подобная религиозная жизнь обесмысливает и опустошает жизнь реальную, духовная пища обесмысливает пищу физическую и делает весь мир всего лишь упражнением в благочестии и терпении.

Но есть второй ответ, и для его сторонников за жизнь мира означает, прежде всего, за улучшение жизни в мире. Защитникам чистой духовности противостоят, таким образом, защитники религиозного активизма. Это те, которые считают, что христианство потеряло мир, потому что свело себя почти целиком к духовности, к созерцанию, к молитве, к молчанию и богослужению, потому что оно недостаточно всерьез приняло реального, т.е. ядущего и пьющего человека. И оно должно, по мысли этих людей, снова завоевать мир своим включением в социальные, политические, экономические проблемы, своим деятельным участием в «реальной жизни». Но и тут вопрос остается без ответа. Если первый, чисто религиозный и духовный ответ просто отрицает жизнь, то во втором остается неясно, каково же все-таки последнее назначение, последняя цель той жизни, которую стремятся вернуть религии и христианству – какова, иными словами, последняя цель всей этой «религиозной активности».

Предположим, что мы достигли хотя бы одной из этих практических целей, что наша активность увенчалась успехом.

Что же потом? Вопрос может показаться наивным, но в конечном счете никакое действие невозможно без веры в последнюю и всеобъемлющую цель той жизни, во имя которой действуют, борются, организуются. Мы едим и пьем, мы боремся за свободу и справедливость, для того чтобы жить полной жизнью. Но в чем заключается сама эта полнота, что в итоге делает жизнь жизнью? Чем больше, чем глубже мы анализируем наши действия, тем неизбежнее упираемся в какой-то тупик и убеждаемся, что сами по себе они бессмысленны, ибо в конце всякого действия, всякого усилия должна была бы наступить совершенная радость. Радость о чем? Таким образом, ни один ответ по-настоящему не удовлетворяет нас. Один, уводя от жизни в религию, делает жизнь бессмысленной; другой, растворяя религию в жизни и попросту отождествляя с внешней деятельностью, лишает ее собственного смысла. И потому ответ приходится искать дальше и глубже.

Итак, «человек есть то, что он ест» – но что же он ест и почему? Вопрос этот казался наивным и глупым не только Фейербаху, но и его противникам из религиозного лагеря. И для него и для них пища сводилась к чисто физической, т.е. материальной функции, и единственным вопросом было, обладает ли человек, зависящий от питания, еще и некоей духовной «надстройкой» над своей физической природой. Фейербах отвечал на этот вопрос отрицательно, его религиозно настроенные противники – положительно, но оба ответа исходили фактически из одинаковой предпосылки, а именно, что духовное обязательно противостоит материальному, и эта предпосылка, противопоставляющая духовное материальному, священное профанному, сверхъестественное естественному и, наконец, религию жизни, веками оставалась общей для верующих и неверующих.

В каком-то смысле Фейербах был прямым наследником средневекового христианского идеализма. Но Библия, как мы видели, тоже начинается с человека как существа, требующего пищи, с человека, который ест и который есть то, что он ест. Только вся перспектива, весь подход здесь – совсем иные, ибо

Библия просто не знает того противопоставления «духовного» и «материального», которое определило позднейшее развитие человеческого самосознания. Вот об этом религиозном материализме Библии, о том, как понимается в ней пища, и стоит поговорить особо, ибо отсюда начинается христианская диалектика жизни, здесь заложено начало ответа на вопрос о конечном ее смысле. Об этом – в следующей нашей беседе.

## Коллизия объяснений. Что и для чего ест человек? (параллельная версия)

«Человек есть то, что он ест». Приведя эту известную фразу философа-материалиста Фейербаха, я заметил в прошлой беседе, что напрасно он видел в ней формулу, приканчивающую все религиозные рассуждения о природе человека. Я говорил, что на деле этой формулой можно выразить и библейское учение о человеке, поскольку в первой книге Библии он показан прежде всего как существо голодное, чья жизнь зависит от мира как пищи. И спор, следовательно, идет не о пище как таковой и не о том, насколько зависит от нее человек, а о смысле этой пищи. Я говорил, наконец, что библейское учение о человеке было в известной степени искажено теми христианами, которые слишком легко восприняли не из Библии, не из Евангелия идущее противопоставление материального духовному, мирского священному.

На деле мы нигде не находим в Библии этого противопоставления. Согласно ей, пища, которую человек ест, мир, от которого он должен питаться, чтобы жить, даны ему Богом и даны как средство общения с Богом. Мир как пища человека не есть нечто сплошь материальное, ограниченное своей материальной функцией и, как таковое, противоположное и даже враждебное специфически духовному. По Библии, все, решительно все существующее – от Бога и потому свидетельствует о Боге, приводит к Нему, к общению с Ним. Если Бог, по слову Нового Завета, есть любовь (1Ин.4:8), то про мир можно сказать, что он есть божественная любовь, данная нам в пищу, ставшая нашей жизнью. Бог, по свидетельству Библии, благословляет все, что творит. На библейском языке это означает, что Он делает все творение, все сущее знаком и средством своего присутствия и мудрости, любви и откровения. Вкусите и видите, яко благ Господь (Пс.33:9), – восклицает древний библейский поэт, автор псалмов. Да, человек – существо алчущее, голодное, но алчет он Бога. За всей нашей

жизнью как голодом, желанием, стремлением стоит Бог. И всякое наше желание в конечном счете есть желание обладать Им.

Человек, конечно, не единственное существо, испытывающее постоянный голод, который есть закон для всего мира, для всего сущего. Но только человек в ответ на благословение Божие способен благословить Бога за дар жизни, ответить на него благодарением. В библейском повествовании о первых днях человека поражает то, что ему дано было от Бога наименовать другие создания. Так, после сотворения животных Бог приводит их к человеку, чтобы тот дал имя каждому. Но нужно, опять-таки, вспомнить, что имя в Библии означает неизмеримо больше, чем способ отличать одну вещь от другой. Во всех древних культурах имя есть выражение сущности его носителя. Таким образом, назвать, именовать вещь – значит раскрыть смысл и назначение, данное ей Богом, значит принять ее с благодарностью как Божий дар.

Но тогда понятно, почему в Библии хвала, благодарение и благословение – не просто «культовые акты», а сама глубина, сама изначальная форма жизни. Бог, согласно Библии, благословил мир, благословил человека, благословил день седьмой, т.е. время. Это значит, что Он все сущее наполнил своей любовью, своей «добротой»<sup>102</sup>, все сотворил добра зело (Быт.1:31). И потому естественная реакция, естественный ответ человека на этот дар мира и жизни – благодарение и радость. Это значит, что он видит мир таким, каким создал и любит его Сам Бог, и в этом акте благодарения и хвалы познает мир, дает ему имя и обладает им. Все человеческие способности, умственные, духовные и волевые, все отличающее человека от прочей твари, корнем и источником своим имеет это благословение и благодарение, знание того, что есть предмет его голода и жажды.

Одни ученые называли человека латинским термином *homo faber*, т.е. «человек-искусник», указывая на его способность возделывать мир, другие же – *homo sapiens*, т.е. человек разумный, подчеркивая его способность мыслить. Но прежде этих определений следует назвать его *homo adorans* – «человек



благодарящий<sup>103</sup>», т.е. испытывающий благодарную радость. По своему происхождению и призванию человек занимает во Вселенной место священника. Он создан как венец творения, он своим знанием Бога Творца и Бога любви объединяет в себе весь мир; он принимает мир от Бога и возвращает его Богу в жертве хвалы; он, наполняя мир хвалой и благодарностью, преображает его жизнь в непрестанное общение с Богом. Можно сказать, что весь мир создан был как материя, или вещество, одного всеобъемлющего космического таинства, совершить которое призван человек. И люди все еще понимают это – если не разумом, то чувством и инстинктом. Века удаления от религии не смогли, например, превратить питание, принятие пищи в сплошь утилитарную, исключительно физиологическую функцию. Человек все еще относится к пище с благоговением. Трапеза все еще остается обрядом, ритуалом, последним, можно сказать, «натуральным таинством» семьи, дружбы, общения – всего того, что в жизни больше и значительнее, чем просто еда, просто питье. Мы приглашаем к себе друзей и непременно угощаем их. Как же иначе выразить общение, дружбу, любовь?

Итак, есть и пить даже для современного, т.е. технологического и утилитарного, человека – всегда больше, чем просто поддерживать тело физиологически. Люди могли забыть источник и корень всего этого, но они все еще празднуют пищу и в ней, через нее – таинство жизни. Да, человек есть то, что он ест. Но ест-то он свою пищу затем, чтобы, живя от нее, саму эту пищу, т.е. свою жизнь, наполнять светом, хвалой, смыслом, творчеством – короче говоря, Богом. Таков религиозный замысел о человеке и его пище. Но сохранил ли верность ему сам человек? К этому вопросу мы теперь и перейдем.

## Коллизия объяснений. Что и для чего ест человек? (параллельная версия, окончание)

В прошлой моей беседе я цитировал Фейербаха, сказавшего: «Человек есть то, что он ест». По мысли немецкого философа- материалиста, это утверждение означало конец какого бы то ни было религиозного или духовного истолкования человеческой природы. Но на деле (и я говорил об этом тоже) такое же определение дает человеку и Библия, и в ней тоже человек показан как существо прежде всего голодное, алчущее и жаждущее. Но только в Библии этот материализм имеет совсем другое значение: пища, которую человек ест, мир, от которого он зависит, даны человеку Богом, и даны для общения с Богом. Мир как пища не есть нечто сплошь материальное, ограниченное своей физиологической функцией и, как таковое, противостоящее другим, специфически духовным функциям. Все существующее – дар Божий, во всем и через все открывается и общается с человеком Бог. Мир, по Библии, – это божественная любовь, ставшая пищей, претворенная в жизнь для человека. Бог благословляет все, что творит, и на библейском языке это значит, что все творение делает Он знаком и средством своего присутствия и мудрости, любви и откровения: Вкусите, сказано в псалме, и видите, яко благ Господь (Пс.33:9). Да, человек есть существо голодное, алчущее, но алчет он в конечном итоге Бога.

Конечно, все в мире, а не только человек, живет питанием и зависимостью от пищи, но единственность человека в том, что он один знает или, вернее, может знать, чего или Кого, в пределе, жаждет; в том, что он один в ответ на Божие благословение может благословить Бога за пищу и жизнь, которую от Него получает. Как знаменательно, что в библейском рассказе о творении человеку поручается назвать, наименовать вещи: когда Бог творит животных в помощь Адаму, он приводит их, чтобы тот дал им имя, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым (Быт.2:20). Но имя в библейском подходе к миру есть нечто неизмеримо более

глубокое, чем просто кличка, отличающая одну вещь от другой. Имя – это то, что являет саму сущность вещи или, еще точнее, сущность вещи как Божия дара. Назвать, наименовать – значит проникнуть в смысл вещи, узнать ее как дар Божий и узнать также ее место в космосе, созданном Богом. Иными словами, назвать что-либо – это благословить Бога, обрадоваться тому, что Он дает, тому, что мы от Него получаем. И в Библии благословлять Бога – это не какой-то особый, специфически религиозный акт, но первичное и глубинное проявление самой жизни. Бог благословил мир, Бог благословил человека, Бог благословил время – это значит, что все наполнил Он Своей любовью, все сделал, как сказано в Библии, очень хорошим – добра зело (Быт.1:31).

Но потому и по-настоящему естественная, а не сверхъестественная реакция человека, которому Бог подарил благословенный и освященный мир, – это ответно благодарно благословить Бога, увидеть мир таким, каким видит его Бог, и в этом акте благословения и благодарения узнать мир, наименовать его и обладать им. Все рациональные, духовные и иные способности, отличающие человека от остального мира, сосредоточены и находят свое исполнение в этой способности человека благословлять, благодарить и познавать конечно-радостный смысл той жажды, того голода, что составляют его жизнь. Номо sapiens, человек разумный, homo faber, человек, способный работать, – так определяли человека древние, а Библия каждым своим словом прибавляет – homo adorans, человек благодарящий. Человек всей своей жизнью как бы совершает таинство претворения мира в общение с Богом, объединяет мир в себе, дает ему смысл, цель и глубину и само питание делает причащением высшей жизни.

И люди, даже неверующие, даже целиком погруженные в житейские и материальные заботы, инстинктом знают и понимают это. Так, например, ничто, никакой материализм, никакое сведение человека к физиологии не смогли превратить питание в простую физиологическую функцию. Человек продолжает относиться к пище с благоговением: трапеза остается священнодействием и обрядом, последним

«естественным таинством» семьи, дружбы, общения— всего того, что делает жизнь больше, чем просто борьбой за существование. Есть и пить— это все еще то, что больше и глубже простой заботы о теле. Люди могут не понимать, в чем это «больше», в чем эта глубина, но продолжают уважать их, они алчут и жаждут не просто пищи, но жизни, которая этой пищей дается.

И если не принять даже, а хотя бы только почувствовать эту библейскую перспективу, станет понятно, почему в Библии, в ее системе символов падение и грех человека тоже связаны с пищей— человек съел запретный плод. Каковы бы ни были другие смыслы у таинственного Древа познания добра и зла и у запрета питаться от него, ясно одно: плод, который вопреки Божью запрету съел человек, не был ему дан, не был благословен, и он съел его ради самого себя, не ради общения с другим— с Богом. И потому смысл падения в том, что, съев его, человек закрыл свою жизнь от Бога, сделал ее самоцелью и она перестала быть общением, приобщением, претворением. Из акта любви жизнь стала актом эгоизма, из акта благодарения— актом самосохранения и самоутверждения. И, совершив этот акт, человек потерял рай— потерял способность радостного общения с миром и через мир — с Богом. Он стал рабом пищи, и она превратила всю его жизнь в тупую, страшную, смертельную борьбу за существование. Человек остался тем, что он ест, но есть он стал по-другому и для другого. И только поняв эту библейскую перспективу, можно пойти дальше и почувствовать, в чем и как видит Библия спасение человека.

## Коллизия объяснений. Истинное величие

«Человек – это звучит гордо»<sup>104</sup>. Как часто мы слышим этот лозунг! И прямо связанный с ним призыв: «Долой все, что мешает этому величию человека, и прежде всего – христианство с его смирением, терпением, с его постоянными вздохами о “малых сих”!» Такова, в сущности, исходная точка всякой антирелигии.

Совсем недавно один молодой человек, студент – славный, энергичный, преуспевающий – сказал мне: «Религия – это костыли. Но зачем мне костыли, когда я могу ходить сам, и сам всего добиться, и сам на все вопросы ответить?» И таких молодых людей много, и всем им религия с ее воплем: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды»<sup>105</sup>, с ее мольбой «Заступнице усердная!»<sup>106</sup>, с ее видимой приниженностью представляется ненужной. Это восприятие религии разлито в воздухе, это часть нашего мира. И не заполняется, а как будто углубляется ров между двумя установками – «Человек – это звучит гордо» и «Не имамы иныя помощи». И, казалось бы, как не согласиться с первой установкой? Действительно, нужны ли по-прежнему эти «костыли»? Да, человек был так слаб, забит, беспомощен, так мало знал, жил в таком страхе перед природой, перед людьми и даже перед самим собой, что только и оставалось в этой тьме, в этой приниженности, в этом страдании пасть на колени с мольбой о помощи и заступничестве. И отсюда это множество храмов, отсюда эта вечная мольба о спасении, это устремление к нездешнему миру, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание»<sup>107</sup>.

Современного молодого человека можно понять: все это ему чуждо и непонятно. Он не живет в мире этих «напуганных» людей. И если религия – только для «труждающихся и обремененных», то не пора ли скинуть ее со счетов истории и позаботиться о том, чтобы труд и бремя стали гордыми и свободными? Конечно, на все это можно было бы возразить, что христианство тоже учит о величии человека; что человек почтен

от Бога славою и честью, призван воцариться над миром, что Он – образ и подобие Божие. Но сейчас почему-то эти аргументы так мало действуют! Исторический опыт религии как будто другой: «Вся она, – писал Розанов, – вышла из народных вздохов, из этой вот мольбы и тоски о помощи и заступничестве»<sup>108</sup>. И потому было бы нечестно отрицать этот элемент – такой важный в религии.

Да, христианство не скажет: «Человек – это звучит гордо», а будет вечно повторять слова псалма: Сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит (Пс.50:19). Да, христианство действительно призывает к смирению, а не к гордости, оно действительно говорит, что без Бога и веры человек жалок, беспомощен и одновременно страшен. В нем, в христианстве, нет того оптимизма, который утверждает: «Мы наш, мы новый мир построим!». Со стороны христиан делаются сейчас попытки засыпать ров, отделяющий христианство от неверия, и при этом отречься от христианского сострадания, милосердия и смирения во имя лозунга «Человек – это звучит гордо». Но в том-то и дело, что засыпать ров этот таким образом нельзя, ибо для христианства важнее всего не внешний успех человека, не завоевание пространства, не скорость самолетов и даже не материальное благополучие общества. Всего этого оно не отрицает, все это считает важным, но превыше всего ставит нравственную красоту и духовное совершенство человека или, точнее, отрицает всякую ценность за материальными достижениями человечества, если эти достижения препятствуют духовным его достижениям и нравственному росту. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26) – вот единственный вопрос, с которым Евангелие обращается к каждому из нас.

Спор между христианством и материализмом – только об этом, и стержень христианства – в духовно-нравственном подходе ко всему на свете. И если с этой точки зрения вдуматься в те элементы христианства, которые кажутся столь чуждыми «современному» человеку (и которые уже упомянутый мною замечательный юноша назвал «костылями»), то они предстанут совсем в ином свете. «Не имамы иныя помощи, не

имама иныя надежды» – нет, не о внешней помощи взывает эта мольба. Это мольба человека, который видит образ нравственного совершенства и высшей духовной красоты, знает, как далек он от этого образа, и потому взывает о помощи.

Можно полететь на Луну, можно побить еще один мировой рекорд. Но как прибавить хоть немного любви и света в душе? Как полюбить человека? Как победить в себе зло, зависть, мелочность? Как не остаться равнодушным ни к одной детской слезинке, о которой говорил Иван Карамазов? Напрасно думают, что христианство вышло из вздоха боязни и беспомощности. Да, это вздох, но вздох о праведной жизни, вздох о мире, который светится правдой, милосердием и любовью, вздох тоски о подлинном братстве и единстве. «Много нас по свету бродит, правды ищет»<sup>109</sup>, – говорит Касьян с Красивой Мечи в знаменитом рассказе Тургенева. Прислушиваешься к этому вздоху, и вдруг открывается, что величие, достоинство, богоподобие человека – не в успехах техники, не в завоевании пространства, а в том самом смирении, в котором враги христианства видят его слабость. Вот ученый фон Корен в «Дуэли» Чехова. Он преисполнен гордости и чувства собственного достоинства и с высоты их презирает слабого, порочного Лаевского. Но только когда смиряется, когда понимает, что любовь и жалость выше, больше его формальной праведности и безупречности, когда открывает для себя душу Лаевского – только тогда он действительно побеждает. И только в этом, только об этом христианство! В чем величие, гордость и достоинство человека? К этому вопросу мы и вернемся в следующей нашей беседе.

## Коллизия объяснений. Объект борьбы

Недавно один видный французский коммунист сказал, что коммунисты верят так же, как и христиане. Только верят они не в Бога, а в человека. «Вера в человека, – сказал тот же коммунист, – несовместима с верой в Бога. Тут или – или. Если есть Бог, то человек – раб, свобода его призрачна, он не хозяин своей судьбы и не творец своего мира. Поэтому вера в Бога не просто антинаучна, но вредна и опасна».

В этих словах французского коммуниста мы находим в который раз самое глубокое обоснование антирелигии. Бороться с религией нужно во имя человека, во имя его свободы и полного господства в мире. Между тем христианство утверждает приблизительно то же: что человеку для полноты его человечности нужен Бог и что без Бога человек – раб, ничтожная песчинка, которая сегодня есть, а завтра нет, всецело и до конца подчиненная стихиям и законам безличной материи. Коммунизм призывает во имя человека бороться с Богом, христианство же величие человека основывает на вере в Бога. И поскольку, по утверждению христианства, бытие Божие недоказуемо, как доказуема всякая эмпирическая истина, поскольку вера в конечном счете есть дар, то остается сравнивать два эти утверждения и спрашивать себя: чье утверждение – безбожника, ратующего за человека, или христианина, тоже ратующего за человека, – более последовательно.

Первый вопрос, какой хотелось бы задать французскому коммунисту, чьи слова мы только что процитировали, следующий: что означает «верить в человека»? На чем может быть основана и в чем может заключаться такая вера? И далее, о каком человеке идет речь? О каком-то отвлеченном, собирательном «человеке с большой буквы», которого еще нет и который явится в будущем, или о каждом живом, конкретном?

С христианской точки зрения здесь никакой трудности нет. Когда христианство говорит о человеке, оно действительно имеет в виду каждого отдельного живого человека. Ради него



одного, сказано в Евангелии, нужно оставить девяносто девять других. Он облечен образом и подобием Божиим, он призван к вечности. Поэтому судьба его – будь он даже самым незначительным, самым ничтожным в общественном смысле – так же важна, как судьба вождя, ученого, гения. Даже христианское учение о гибели и спасении – учение, над которым так любят издеваться пропагандисты безбожия, – основано на вере в личную ответственность каждого человека и его свободу. Хочу – спасаюсь, хочу – гибну, и никто, даже Бог, ничего против этой свободы сделать не может.

Повторяю: когда христианство говорит о вере в человека, это ясно. Это учение можно не разделять, с ним можно спорить, но невозможно отрицать, что в основе его – утверждение каждой человеческой личности как бесконечной ценности, и притом ценности вечной.

С коммунистической же точки зрения эта вера в человека решительно ни на чем не основана. Прежде всего, человек, по коммунистическому учению, есть, как и все в мире, продукт лишь материального процесса, такая же часть материи, как всякая другая. Ничего «трансцендентного», если воспользоваться языком философии, в нем нет: он появляется и исчезает навсегда. Таким образом, отпадает значение человека как вечной ценности и вместе с тем как личности. Далее, пока человек живет и поскольку он, как и все в мире, подчинен тем же абсолютным законам материи, он не свободен: всякий поступок, всякая мысль, всякий выбор его обусловлены причиной, которая в свою очередь обусловлена другой причиной, и так без конца. Где же тут свобода?

Христианство утверждает, что человек, в отличие от всего другого в мире, имеет в себе дух. А про дух в Евангелии сказано, что он «дышит, где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит» (ср.: Ин.3:8). Таким образом, дух в человеке есть носитель не иллюзорной только, но подлинной свободы – такой, которая возвышает его над законами материи. Но человек диалектического материализма этой свободы лишен, потому что ее вообще нет в природе вещей.

Но что же значит тогда «верить в человека»? С этой точки зрения можно только знать: знать, как поступит «буржуй» и как – «пролетарий». Но это знание ни в какой вере не нуждается. Ибо и «буржуй» и «пролетарий» поступят одинаково – в силу железной и неумолимой логики законов природы. Следовательно, можно утверждать, что коммунистическая вера не направлена на живого, конкретного человека. Но тогда на кого же? На человечество? Но человечество, как ни верти, состояло, состоит и будет состоять из живых и конкретных людей.

В кого же мы верим? Как говорят, в итоге построения коммунизма создан будет «коммунистический человек». Но, сколько можно судить, это будет человек, до конца подчинивший себя коллективу, т.е. безликий и бесцветный, «серийный». И если правда, что вся история движется к появлению этого человека, неотличимого от всех других, то почему это хорошо, желательно и ценно? Но допустим, что подлинного своего учения о человеке, того, что принято теперь называть «коммунистическим гуманизмом», коммунизм еще не создал, не сформулировал. Но предпосылки этого учения все-таки ясны: нет личности и нет свободы.

Но что же тогда остается? Это трагический вопрос, и мы задаем его без всякой иронии. Целым поколениям предлагают бороться за человека, но при этом никакого учения о ценности человека, о том, что же составляет объект этой борьбы, нам не дано. Бесклассовое общество? Но ведь это определение – отрицательное, оно ничего не говорит о положительном содержании человеческой жизни – той, которой живет каждый человек, а не «человечество вообще». Отсутствие эксплуатации? Но тогда присутствие чего? Кто же, в конце концов, верит в человека? Те, кто отрицают его вечную ценность как личности, или те, кто вслед за Христом говорят, что весь мир был создан для каждого конкретного человека и нет в мире ничего более ценного, чем его душа?

Французский коммунист говорит, что коммунисты тоже верят, только не в Бога, а в человека. Но оказывается, что без Бога нет и не может быть веры в человека. Могут быть знания о

нем – много знаний. Может быть даже симпатия и любовь к нему, может быть борьба за его хлеб и благополучие, но не может быть веры в него как носителя единственной и вечной ценности. Не может быть того последнего, ради чего стоило бы жизнь свою отдать за него. И вот почему борьба с религией в конечном итоге всегда оказывается борьбой с вечным и божественным в человеке.

## Коллизия объяснений. Тупик материалистической антропологии

Спор о религии есть, конечно, всегда и прежде всего спор о человеке. Утверждения «Бог есть» и «Бога нет»— это выражение не каких-то отвлеченных, метафизических идей, а двух основоположных интуиций человека, и отсюда, конечно, ожесточенность спора, который есть борьба не на жизнь, а на смерть. Ибо все в осмыслении и мира и жизни зависит от того, что такое сам человек и в чем его сущность.

И религия и атеизм — тот атеизм, во всяком случае, который называет себя «научным» и выводится из целостного материалистического мировоззрения,— заняты в первую очередь спасением человека. Но почему и от чего нужно его спасать? Каковы глубочайшие мотивы этого неумирающего стремления изменить, улучшить, преобразить человеческую жизнь? Этот вопрос предполагает другой, более глубокий: что есть сам человек? И надо прямо признать, что в попытках ответить на него открывается невообразимая путаница, отчасти невольная, отчасти же умышленно созданная. Путаницу эту необходимо преодолеть, ибо от этого зависит, ни много ни мало, судьба человека и человечества.

Одно из немногих положительных свойств нашей бесконечно трудной и даже трагической эпохи в том, что она вынуждает нас в поисках ответа на главные и решающие вопросы как бы заглядывать в пропасть. Между тем иногда кажется, что оба лагеря, и религиозный, и атеистический, этих вопросов-то и боятся, все более запутывая их побочными и второстепенными соображениями. Религия, вместо того чтобы явить свою глубочайшую сущность, сама себя подводит под удар атеизма, дает все новые поводы для ее развенчания, а атеизм в свою очередь, постоянно взывая к «науке» и «объективности», действует почти исключительно шулерскими методами. В итоге вместо спора получается нечто жалкое и позорное.

Выход из этого положения один – честно и открыто поставить основной вопрос. И «религиознику» и атеисту мы обязаны сказать примерно следующее: «Вы оба заняты человеком, его жизнью и судьбой; вы оба хотите не только служить человеку, но даже спасти его. Так вот, объясните прежде всего, кто такой этот человек, откуда он взялся и почему, в отличие от всего остального в мире, нуждается в этом самом спасении? Ибо, с одной стороны, очевидно, что спасать можно и нужно лишь то, что гибнет. Но тогда нужно объяснить, в чем состоит, как началась эта гибель человека. А с другой стороны, столь же очевидно, что спасения заслуживает лишь нечто ценное – то, что не должно погибнуть, то, что по природе своей чуждо гибели. Итак, какова природа человека? Ведь вот есть, несомненно, что-то печальное в осеннем умирании природы, но никому в голову не придет жалеть мертвый лист, который, медленно кружась, падает на землю. Гибель листа “вписана” в его природу и не вызывает ни вопросов, ни потрясений. И вот вы оба хотите служить человеку, но во имя чего? Почему можно и должно ему служить?»

Так и только так ставится вопрос, могущий внести хоть какой-то смысл в спор о религии, прояснить сознание и верующих и неверующих. С него, с этого вопроса и начался на самом деле спор. Ибо идеология, которая в наши дни не просто отрицает религию, но считает своим священным долгом освободить от нее человека, началась с обвинения религии в умалении человеческого достоинства. Согласно основоположникам диалектического материализма Фейербаху, Марксу и Энгельсу, религия – это последняя, высшая, и потому самая опасная, самая страшная форма «отчуждения» человека от самого себя, от собственной природы, а следовательно, и самая страшная форма его порабощения. Религиозный человек, по утверждению этой идеологии, отчуждает себя от своей человечности, и потому в каком-то смысле он уже не человек. Итак, нужно не только прояснить причины религиозности человека, но и в буквальном смысле спасти его от религии.

Как видим, во всем этом присутствует очень высокий по-своему замысел – «спасти и освободить». Но вот, доказывая

основной свой тезис, диалектический материализм обходит полным молчанием главное: кто же все-таки этот человек, которого нужно спасти ради него самого и для спасения которого нужно идти на все жертвы? Можно перелистать весь «Капитал» Маркса, так и не узнав, что такое человек, в чем состоит его жизнь и, главное, для чего в последнем итоге он живет. Грандиозно-чудовищное учение приводит к тупику: освободить, спасти – но кого? Незнаем. Освободить – но для чего? Незнаем и знать не можем.

И чем больше упирается диалектический материализм в этот страшный тупик, в это ничто, тем ожесточеннее ненавидит он религию, тем сильнее хочет ее уничтожить. Туг-то и закрадывается мысль: не потому ли так ненавидит, не потому ли так страстно хочет уничтожить, что весь смысл религии, человеческий ее смысл – в ответах на «последние» вопросы о человеке – кто он и для чего? Иными словами, материализм, во имя человека отрицающий Бога, невольно и неизбежно, вопреки всей своей логике, со всей страстностью своего отрицания подводит нас к последнему вопросу: «Что есть человек?» и потому – к вопросу о Боге.

К этой-то интуиции религиозного человека о самом себе, к тому, как понимает сущность человека религия, мы и должны перейти. Ибо, узнав, кто такой для религии человек, можно понять и смысл религии для верующих.

## Коллизия объяснений. Настоящий замысел

В центре всех споров о религии должен всегда стоять вопрос о ее моральной стороне: какой замысел о человеке она провозглашает и какую цель жизни предлагает человеку?

Одно из главных заблуждений – вольных или невольных – всех критиков религии в том, что они сводят дело к религиозной картине мира, т.е. к области естественнонаучной. Религия же обращена к человеку прежде всего своим этическим, нравственным утверждением. Христиане всех эпох, как правило, разделяли естественнонаучные представления своего времени. Но развитие науки не приводило к изменению религиозно-этического идеала христиан, который и есть подлинное сердце христианства. Будьте совершенны, любите друг друга, прощайте врагов – эти призывы, эти заповеди не зависят от тех или иных научных взглядов, от той или иной разновидности «научного» мировоззрения.

Таким образом, весь спор о религии должен сводиться к оценке ее этической стороны, ее замысла о человеке, ее призыва – к тому, признаем или отвергаем мы этот замысел и этот призыв. Вот веками светят миру образы святых, полных любви к миру и людям, призывающих человека к нравственному возвышению, ибо он всегда может стать лучше. Итак, плох или хорош этот образ святости, признать его или отвергнуть? И, говоря о христианстве, необходимо подчеркнуть, что все в нем не только неотделимо от его нравственного идеала, от основного замысла о человеке, но прямо им подчинено. Вера без дел мертва (Иак.2:26), – говорит Священное Писание. И не только без дел, но также без любви и милосердия. Ибо оно же говорит: «Если имею всю веру, а любви не имею, тоя ничто» (ср.: 1Кор.13:2) и Милости хочу, а не жертвы (Мф.12:7).

Все эти утверждения свидетельствуют об одном: вера и религиозное учение не имеют смысла, если они не укоренены в нравственном законе, в нравственном замысле, о котором только и нужно говорить в ответ на все «разоблачения». Но разоблачители религии хорошо понимают, что всякий разговор

об этой стороне дела разоблачит их собственную несостоятельность. Вот потому-то для «разоблачения» религии необходимо всячески ее исказить.

Что и происходит.



## Коллизия объяснений. Объяснение сверху

Казалось бы, мы все говорим на одном и том же языке и, говоря на нем, понимаем друг друга. Но так ли это?

Все эти дни я слушал и сам читал слова, произносимые в церкви во время Великого поста. Слушал и думал: «Что значат, что могут значить они для так называемого современного человека, какое отношение имеют к его языку?» Вот цитирую почти наугад отдельные фразы и выражения: «Всечестное воздержание начнем свѣтло, сияюще лучами заповеди, светлостию любви, блистанием молитвы, чистоты ощущением, благомужества крепостию...»<sup>110</sup> И дальше: «Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?»<sup>111</sup>

«Ну, хорошо, – скажут мне, – это по-славянски, а не по-русски и потому не всем понятно». Но вот мы переведем – и все равно слова эти окажутся чуждыми нашему повседневному, обыденному языку, все равно нет им места в нашем языковом обиходе. «Светлость любви», «блистание молитвы», «благомужества крепость» – ведь это не просто слова и понятия, это прежде всего воплощение, выражение, запись некоего опыта, а именно опыт-то этот и чужд современному человеку. Он слышит слова – и не понимает, слышит звуки – и не воспринимает. Он в этом не виноват, конечно. Ему с детства внушали, что никакого другого опыта, кроме того, что изложен в определенных книгах, и записан на определенном языке, нети быть не может; что все остальное – обман, тьма и больше ничего.

Тьма... Но почему же тогда слова эти почти сплошь все о свете? И не только о свете, но и сами светятся, сами изливают свет? Или вот еще: «Лучезарной Твоей молнией воссияй мне, Боже мой, Триипостасный Вседетелю, и домом соделай мене Твоя не pristupnaya славы, светлым, и светоносным, и неизменным»<sup>112</sup>. Что это за «тьма», которая вся о свете, излучает свет, тоскует о нем и только им и наполнена?

Но вот, если после этих слов, после служб, до предела наполненных этой «светлой печалью» и тоской по свету, возьмешь в руки книги и газеты, в которых записан повседневный наш опыт, то моментально ощущаешь почти физически беспросветную темноту. И поражаешься: как могут люди так жить – этими интересами, этими вопросами и волнениями? Как могут, как могли поверить они в такую беспросветно скучную социалистическую идеологию, всю жизнь человека сводящую к бездушной материи и слепым ее законам?

И именно отсюда, из разительного противоречия между языком этой идеологии, этого восприятия человека и великопостным языком света, тоски по свету возникает главный, последний вопрос: как могла в бездушной материи зародиться эта тоска по свету, как, почему возник в ней этот опыт лучезарности? «Сотвори меня домом Твоея неприступная славы, светлым, и светоносным, и неприступным...» Никаким материализмом, никакой экономикой, никакой борьбой за существование не объяснишь возникновение этих звуков, слов, понятий, символов в человеческом языке и человеческом сознании. Как не объяснишь ими стремления к святости, чистоте и совершенству, как не объяснишь ими совсем особой, таинственной радости, что излучается теми, кто этим стремлением живет. Можно читать и перечитывать сочинения Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, всех их бесчисленных толкователей и комментаторов – и постоянно ощущать изливающуюся оттуда ненависть и тьму. Они все хотят сокрушить каких-то «врагов» и только в этом видят смысл человеческой жизни. А последний, главный и неизменный враг для них – конечно же, светоносный человек. Человек, обращенный кверху, а не книзу, человек, внезапно и на самой глубине своего внутреннего опыта познавший свет. Он враг, потому что, если свет этот реален, ничего не остается от ученых, но ненавистью и темнотой пронизанных слов всех вождей и идеологов. Ибо тогда нельзя свести жизнь только к борьбе за «экономическое освобождение», только к «экспроприации экспроприаторов», только к проблеме насыщения. Тогда нужно искать другое объяснение человека, а

этого-то больше всего и боятся схоласты и догматисты материализма.

В сегодняшнем мире борьба идет не между противоположными политическими и экономическими системами, а между противоположными подходами к человеку, между противоположными интуициями или опытами человека. А опыт воплощает себя в языке, символах и понятиях. Ведь и понятие «свет» тоже можно свести, или редуцировать, к только физическому и материальному (например, к электрическому свету). Ведь и религию тоже можно свести лишь к страху, суеверию и привычке. Но когда все это сделано, остается главный вопрос – сверху или снизу, и об этом главном продолжается вечный спор. Есть объяснение всего сверху, есть объяснение всего снизу, и между ними не может быть ни примирения, ни компромисса. Материализм выбрал раз навсегда объяснение снизу и с какой-то почти необъяснимой страстностью желает, чтобы все, решительно все объяснялось самыми низкими причинами. А потому не только отвергает, но поистине ненавидит объяснение сверху, стремится всегда и всюду его искоренить.

Можно по-разному судить, кто побеждает на поверхности. Но достаточно войти в храм в эти светлые и светлой печалью пронизанные дни Великого поста, достаточно вслушаться в звучащие здесь слова-символы о «неизменном свете», чтобы до конца уразуметь умом и сердцем, что свет этот, действительно, «неприступен» (ср.: [1Тим.6:16](#)) и его не объять, не омрачить, не уничтожить никакой тьме, идущей снизу.

## Духовное существо. Главная жажда<sup>113</sup>

Много лет назад первую свою воскресную беседу я начал цитатой из пушкинского «Пророка»: «Духовной жаждою томим...» Сколько бы ни проходило лет, да и столетий, удивительные слова эти остаются как бы эпитафией к судьбе человека на земле.

Происходит смена цивилизаций, изменяются формы жизни и само лицо земли. Но вот неистребимой, неутолимой остается эта духовная жажда – драгоценный, а вместе с тем и мучительный дар, данный на земле только человеку как признак и как сущность самой его человечности. Драгоценный – ибо влекущий человека ввысь, не дающий успокоиться в одном животном счастье, приобщающий высшим, ни с чем не сравнимым радостям; мучительный – ибо так часто противоречащий его низменным инстинктам, делающий всю его жизнь борьбой, исканием, тревогой.

Почти все в мире говорит человеку: «Отрекись от этой духовной жажды, и будешь сыт, здоров и счастлив!» Как писал на заре этого века в одном из самых печальных своих стихотворений Блок: «Будьте ж довольны жизнью своей тише воды, ниже травы». И вот возникают целые идеологии, построенные на этом отречении от духовной жажды, на ненависти к ней, – идеологии, стремящиеся к тому, чтобы заглушил в себе человек сам источник этой жажды, чтобы признал ее «иллюзией», «самообманом» и включился в строительство жизни, уже начисто лишенной всякой жажды, всякого искания.

И если чем-нибудь на глубине, а не только на поверхности отличается наш двадцатый век от предшествующих, то, конечно, предельным заострением противоположности между двумя видениями человеческой жизни и самого человека. Согласно одному, человек потому и человек, что есть в нем эта духовная жажда, это искание, эта высшая тревога. Согласно другому, истинно человеческая судьба начинается лишь с убийства в себе этой жажды. Противоборство этих видений

лежит в основе всякой борьбы в современном мире, ибо отсюда вытекает все остальное в нем – политика, экономика, культура, все то, о чем так страстно спорят и во имя чего борются.

И потому, сознаем мы это или нет, главный вопрос современности – вопрос религиозный. Ибо религия, по самому существу ее, есть явление и присутствие в мире духовной жажды. Как запах дыма свидетельствует, что где-то горит огонь, даже если огня не видно, так и само наличие в мире религии, каковы бы ни были ее формы, есть несомненное свидетельство, что не перестает в человеке жить духовная жажда и духовное искание.

Нам, правда, стараются доказать, что религия – это, напротив, дешевая успокоенность, отказ от борьбы, измена человека себе, что вся она – мертвый и неподвижный догматизм, уводящий от острых вопросов и поиска. Однако утверждающие это неизменно замалчивают слова, составляющие самую сердцевину религиозного опыта: Блаженны алчущие и жаждущие правды (Мф.5:6), ищите, и обрящете (Мф.7:7), не мир пришел Я принести, но меч (Мф.10:34). Примечательно, что борьба с религией изначально основана на элементарной лжи и без этой лжи не могла бы вестись ни дня. Но ложь эта сегодня столь очевидна, что о ней, пожалуй, и говорить не стоит. А вот о самой этой духовной жажде – о том, на что она направлена, в томлении о чем состоит, говорить нужно, и нет сейчас в мире более важной темы. Ибо мир вновь находится на том перепутье, о котором говорит поэт:

Духовной жаждою томим,  
В пустыне мрачной я влачился,  
И шестикрылый серафим  
На перепутье мне явился<sup>114</sup>.

Сталкиваются в мире с небывалой силой разные призывы к человеку, сходятся и расходятся разные пути, и все страшнее, все ярче над ним зарево неслыханных катастроф, небывалых потрясений: Имеющий ухо да слышит (Откр.2:7). Уже не выбраться нам из всего этого какими-то частичными мерами, заплатами на распадающейся и истлевающей материи. Вновь

начинаем понимать мы, почему именно о спасении возвещает Евангелие, почему именно к гибнущим оно обращено. Огонь пришел Я низвести на землю, – говорит Христос, – и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк.12:49). У нас нет силы шестикрылого серафима, явившегося пророку на перепутье, но каждый в меру своих слабых сил призван сегодня свидетельствовать о главном.

Вот об этом главном пусть и будут наши беседы. Ибо религия – только тогда религия, когда она о главном, когда она и проявление духовной жажды, и ответ на нее, когда она попадающий огонь, но и очищение, преображение этим огнем нашей слабой и так часто постыдной жизни. Новый Завет оканчивается словами, внушающими страх и одновременно радость: Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се, грядущее скоро ... Жаждающий пусть приходит, и жаляющий пусть берет воду жизни даром (Откр.22:11–12,17). Только бы оказались мы достойны этих слов, только бы не изменили богоданной своей духовной жажде; только бы открылись наши глаза и слух к потоку света, любви и красоты, что извечно льется на нас!

Пусть поможет Бог всем нам, и говорящим и слушающим, быть верными и смиренными, твердыми и любящими. Тогда не сможет скрыться свет, извечно сияющий в мире как дарованное ему спасение.

## Духовное существо. Корень недуга<sup>115</sup>

Несколько недель назад в связи с праздником Сошествия Святого Духа я говорил о духовности. Сегодня я хочу вернуться к этой теме – вернуться потому, что нет, по моему убеждению, темы более насущной, более актуальной, нет ничего, в чем больше нуждался бы современный человек.

Про человека говорят обычно, что он умный или глупый, добрый или злой. Но мы совсем разучились видеть и распознавать в нем еще одно, все другие превосходящее качество – открытость или закрытость к миру духовному, к духу. И разучились не потому, что это требует каких-то особых знаний, которых у нас нет, а потому, что мироощущение, которым пронизана современность и которым мы бессознательно проникаемся, начисто отрицает эту самую духовность. Но такое отрицание приводит, в свою очередь, к глубочайшему духовному же заболеванию человечества и лежит в основе глубокого пессимизма, разочарованности, психического неблагополучия, примеры которых не стоит и перечислять, настолько они очевидны.

Странное дело: человек отказался от духовного и духовности во имя счастья, ибо таков был лозунг пресловутого «нового времени» – эпохи, которая и по сию пору называется в учебниках «эпохой Просвещения». Про эту эпоху принято говорить, что она противопоставила себя «мрачному средневековью» с его упором на духовность и отрицанием простого человеческого счастья во имя трудного, неотмирного счастья духовного. И вот пришли все эти вольтеры, дидероты, жан-жаки руссо<sup>116</sup> и сказали: «Довольно с нас развоплощенной духовности! Наш удел – земля, наша задача – построить на земле счастливую жизнь, а остальное не нужно». Началась эпоха, про которую можно сказать, что она была буквально одержима идеей счастья. Во имя этого счастья бушевали революции, освобождались народы, создавались громоздкие идеологии, «научно» определявшие путь к счастью. Что такое, например, весь марксизм, как не попытка «научно» построить

окончательное и прочное счастье на земле? Что такое, в свою очередь, капитализм, как не другая теория счастья? И замечу здесь, что хотя обе эти идеологии, марксистская и капиталистическая, давно уже вступили в смертельный поединок, в основе обеих лежит одинаковое, по сути, убеждение, по которому счастье зависит только от соответствующей организации материальной жизни и ничего общего не имеет с тем, что называлось прежде духовным. И вот уже свыше трехсот лет живем мы и весь мир в этой одержимости счастьем, в этой погоне за ним.

Но почему, хочется спросить, нет счастья, которое так запросто и так весело провозгласили отцы и пророки современного мира? Почему ни в какую другую эпоху мировой истории не было в человечестве столько отчаяния, разочарованности и печали? Почему мечется оно, не зная, за кем идти, во что верить, что думать? Почему половина земного шара живет в условиях тоталитарных режимов, как будто порожденных этой самой идеологией счастья? Почему философы не могут предложить ничего, кроме философии абсурда, искусство – ничего, кроме раздробленного и мрачного видения мира, поэзия – ничего, кроме вопля отчаяния? Где же, спрашивается, оно, это счастье, казавшееся столь близким, простым, доступным? И выходит, что с тех пор, как замкнул человек свой горизонт этой землей и этим маленьким земным счастьем, разучился он и землю понимать, и находить на ней счастье.

А что если прав блаженный Августин, воскликнувший так давно: «Для Себя Ты создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя»? А что если прав апостол Павел, сказавший: Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1Кор.2:9)? А что если в конце концов правы те, кто всегда утверждали, что человек – прежде всего существо духовное и всякое отречение от духа, всякий отказ от духовности, всякое забвение своей духовной сущности неизбежно и неумолимо приводит его к заболеванию и распаду? «Человек есть то, что он ест», – сказал Фейербах, и ему казалось, что он раз навсегда



покончил с какой бы то ни было духовностью. И Маркс вслед за ним строит на этой убогой теории все свое учение о грядущем счастье. Но проходит сто лет, и учение это нужно защищать штыками и цензурой, иначе оно не продержится и неделю. Человек – существо духовное, и значит, не только питающееся и даже не только мыслящее, но и предназначенное к обладанию духовными ценностями.

Что это за ценности? По старинке их можно перечислить так: истина, добро, красота – ценности, совсем не прагматические, но несущие, являющие счастье в самих себе. Если и современному человеку кажется иногда, что все в мире слишком утилитарно и для жизни и счастья в нем даже необходимо, быть может, немножко истины, немножко добра, немножко красоты, то человек духовный знает, что живет для постижения истины, добра и красоты. Он не просит счастья, но в этом постижении обретает его. А когда соединяются они, истина, добро и красота, в один опыт, одно счастье, одну реальность, человек произносит слово «Бог». И с этой минуты, что бы ни случилось с ним, как бы ни была трудна, печальна и горестна жизнь, он знает, что счастье его не- возможно разрушить. Но ведь об этом и слова Самого Христа: «Ищите прежде Царства Божия, и остальное приложится вам» (ср.: Мф.6:33).

## Духовное существо. Где искать счастья

Человек, говорил я в последней моей беседе, перестал искать Бога, потому что захотел искать счастья, а ему объяснили, что искание Бога мешает исканию счастья. Однако, перестав искать Бога, человек не только не нашел счастья, но наполнил весь мир разочарованием, пессимизмом и отчаянием. Человек начинает искать Бога, не думая о счастье, и само искание это приносит ему счастье. Все это, я знаю, звучит очень просто и в простоте своей, пожалуй, неубедительно. Тем не менее это самоочевиднейшая, тысячами фактов проверенная истина.

Быть может, со временем, испив до дна всю чашу бессмыслицы и ужаса, поймет современный человек, что трагедия его началась тогда, когда на своем знамени он написал слово «счастье» и решил, что в этом счастье – цель и содержание жизни. Но человек забыл спросить себя, в чем же смысл и содержание счастья. «Быть сытым!» – услужливо подсказали ему идеологи «научно обоснованного» счастья. И вот он насытился и не нашел счастья. «Быть свободным!» – прошептали те же голоса. Но, пролив массу крови ради своего освобождения, человек оказался в тюрьме. «Быть хозяином мира, все знать о нем, всем в нем обладать, до бесконечности расширять это знание и обладание!» – и вот человек долетел до Луны, покорил пространство, сократил время, но задыхается от безнадежно отравленного воздуха, от унылого безобразия машин, от скуки городов, от шума, грохота и бессмыслицы им же созданной технической цивилизации. «Уничтожить частную собственность, освободить трудящихся от эксплуатации!» – и вот уничтожили, освободили, но никогда еще, кажется, не были эти трудящиеся так поработаны безличным «аппаратом», как сегодня.

Кажется, что мечта о счастье, которое так бодро возвестили пророки современности, – мечта эта свелась к воплю: «Немного отдыха, немного тишины, чуть-чуть человечности!» Стоило ли возвещать? Действительно, ни одна идеология, ни

одна теория не терпела такого краха, как эта теория счастья, ради которой отказался человек и от Бога, и от истины, и от добра, и от красоты. Все в мире стало утилитарным, все потеряло прелесть, отовсюду ушла радость. Поэтому то, что я сказал в начале нынешней беседы, – правда, простая и горькая. Человек последовал за лжепророками и платит теперь страшную цену за эту ошибку. И прежде всего он должен осознать ее именно как ошибку, пересмотреть исходные позиции, откуда начал борьбу за то, в чем виделось ему счастье. Да, конечно, человек призван к счастью. Но счастье это неотделимо от той глубины человеческого существа, которую издревле сам он называл духом, духовностью. Только найдя эту глубину, находит он и счастье. И в забвении, отказе, отречении от этой глубины – неизбывная трагедия современного человека.

Ну а спрашивать, в чем состоит счастье, нужно у счастливых людей. И каждый подлинно счастливый человек ответит, что оно не в одной лишь сытости, не в одном лишь богатстве, не в одной лишь свободе, не в одном лишь знании. «В чем же?» – спросите вы, и тут, пожалуй, счастливому человеку трудно будет ответить. Ответ придет частичный, неполный, но приблизительно такой: счастье внутри нас, в том непостижимом ощущении ясности и мира, которое не зависит от внешних обстоятельств и, следовательно, приходит не извне, а из глубины. Счастье, далее, – в чистой совести, во внутренней правдивости и цельности; еще оно в постоянной обращенности внутреннего взора к истинному, доброму и прекрасному, в постоянном внутреннем общении с радостью истины, радостью добра, радостью красоты. «Прекрасное есть радость навеки»<sup>117</sup>, – сказал английский поэт, и вот прекрасны и дают эту «радость навеки» истина, добро, красота. Счастье, далее, в постоянном преодолении суеты и мелочности, зависти и страха, самолюбия и эгоизма – всей той нечисти, что затемняет душу. Счастье в любви и любовании, счастье в благодарности и благодарении, счастье в обращенности кверху, счастье, наконец, в обретении Того, Кто во всем и за всем этим, – в обретении Бога. Снова и снова повторим слова блаженного Августина: «Для Себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет

Тебя», потому что нет лучших и более правдивых слов о счастье.

И неизъяснимый мир в душе, и чистая совесть, и способность любить и благодарить, искать и находить, как и способность преодолевать в себе дурное и злое, – все эти слагаемые подлинного счастья не могут нам быть даны ничем в этом мире. И духовность человека в том, что он находит их выше мира, над миром и, найдя их, находит и сам мир. И вот в конечном итоге счастье открывается в той цельности, когда всё вместе – небо и земля, душа и тело, истина, добро и красота – образуют гармонию мира и когда остается только повторить такие простые строчки Гумилева: «Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога»<sup>118</sup>.

Пора, пора, уйдя от псевдосчастья и от тоски его, снова искать путей к подлинному счастью! Пора развенчать мелких, дешевых пророков, кричащих о счастье и наполнивших мир страхом, злобой и бесконечным одиночеством! Пора стряхнуть с себя многовековой сон и вернуться к Духу, о Котором так хорошо сказано в молитве: «...Утешитель, Дух истины, пребывающий везде и все Собою наполняющий, Сокровище благ, Податель жизни»<sup>119</sup> – в молитве, что призывает Его прийти и вселиться в нас. Эти слова, повторяемые Церковью каждый день, каждый час, и есть, в сущности, настоящая молитва о счастье.

## Духовное существо. То, что глубже и подлиннее

«Человек нового духовного облика»— выражение это все чаще встречается в высказываниях власть имущих<sup>120</sup> и попало даже на страницы новой истории партии.

Только нам не разъясняют, в чем же состоит и как выражает себя «новый духовный облик». А между тем само словосочетание это внушает радостную надежду: человечность, обновление, духовность— этого действительно ждет, в этом действительно нуждается наше время, и даже больше, может быть, чем в успехах техники и завоеваниях науки.

Неподлежит сомнению, что новые эти слова попали в казенный обиход под давлением все тех же нарастающих повсюду поисков человечности и духовности. Раньше мы их не слыхали, их не было в официальном словаре. Они появились из какого-то другого мира, из другого измерения, из новых, ранее не признававшихся устремлений. Из каких же?

Ответить на этот вопрос и просто, и сложно. Итак, нам говорят о «человеке нового духовного облика». Но чтобы выражение это имело какой-то смысл, нужно ведь признать и наличие духовности в человеке. А духовность не просто сознание, разум, психология, ибо в таком случае достаточно было бы именно этих слов. Духовность глубже, подлиннее, шире. И она есть нечто иное по отношению ко всему, что человек просто узнал, чему он просто научен, ибо знания — извне; развитие разума — извне; идеология, убеждения — все это извне. А духовность — изнутри. Это как бы луч света, пробивающийся из самых глубин человека и освещающий его знания, его убеждения, все в его жизни. Если есть в человеке духовность, если она неотъемлемо присуща ему, то он не может рассматриваться как «чистый лист», на котором природа, общество и история пишут все что угодно, всецело определяя этим его сознание и деятельность.

Несколько лет тому назад Дудинцев<sup>121</sup> дал первое, как бы отрицательное определение этой духовности, только намекнул на нее в романе «Не хлебом единым». И одно это утверждение,

вынесенное им в заглавие, равносильно было духовному взрыву. Ибо хлеб есть символ не только материальной нужды человека, но в первую очередь всего, что определяет и поддерживает человеческую жизнь извне. Оказывается, что этого внешнего – хлеба и знаний, программ и идеологий – недостаточно для полной жизни человека. Он живет еще и тем, что приходит изнутри: потоком любви и правды, стремлением к свободе – всем тем, чем преображается и побеждается внешнее. И вот эта сила, эта реальность внутреннего «я», это стремление к правде, эта часто заглушаемая, но никогда не уничтожаемая тоска по какому-то иному миру, – все это и есть в человеке духовность.

Слово «дух» вызывает в нашем сознании представление о легкости, прозрачности, свободе, полете. Дух – все то, что противостоит тяжести, инерции, окаменелости форм и идеологий, все то, что открыто в человеке для правды, откуда бы она ни шла. Дух дышит, где хочет (Ин.3:8), – говорит Евангелие. И это где хочет включает в себя и обещание и утверждение той настоящей, духовной свободы, к которой призван человек. Какой бы смысл ни вкладывался в выражение «человек нового духовного облика», мы знаем, что корень истинного обновления и истинной духовности – в свободе, в любви, в правде.

## Духовное существо. Напоминание о забытом

Есть в книге Деяний апостольских таинственный рассказ о сошествии Святого Духа на учеников Христа. Прослушаем его:

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили поодному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на разных языках, как Дух давал им провещать. И когда находившиеся в Иерусалиме удивились этому, апостол Петр привел им слова древнего еврейского пророка Иоиля: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать... прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Деян.2:1–4,17–18, 20–21).

Вот этот рассказ, и он не перестает удивлять нас. О чем тут поведано, что все это значит? Ответить на эти вопросы невозможно, пока не вспомним мы слово или понятие, которому отказано в праве на существование всеми современными идеологиями, всем современным восприятием мира и человека. Понятие это – духовность. Говоря о человеке, мы обычно рассматриваем его либо с материально-физической, либо с психологической стороны, и только эти два полюса, только эти две реальности и признаем. Одни всё, в том числе и психологию, выводят из материи и материального, а всё, что над материей, считают всего лишь «надстройкой», корнями своими так или иначе уходящей в ту же материю. Любовь, с их точки зрения, возникает из полового инстинкта, творчество – из борьбы за существование, горе же и счастье в последнем итоге зависят от состояния желудка. И есть, с другой стороны, те, кто

согласны признать за психологией некую автономию, признать, что сознание, ум, внутреннее чувство в человеке не до конца выводимы из материального. Но и тут и там нет, в сущности, места духовному, и я не побоюсь утверждать, что единственная, по существу, трагедия и катастрофа современного человечества именно тут – в этой страшной атрофии, в этом болезненном отрицании реальности духа.

И одна из многих причин этой атрофии в том, что дух и духовность не определишь на языке эмпирической науки, который современному человеку кажется единственно подходящим для всех решительно сторон человеческой жизни. Подсознательное убеждение современного человека таково: если что-то нельзя определить и объяснить научно, значит, этого нет и быть не может. Но в Евангелии про дух и духовность сказано так: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Неудивляйтесь, что Я сказал: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа» (ср.: [Ин.3:6–8](#)). Выходит, что дух и духовность не определимы: их сначала нужно почувствовать, пережить, распознать, только тогда становятся понятны и слова о них. Однако современный человек уже утратил как будто сам орган такого ощущения и распознавания. Его мир – мир одного измерения, мир расчета и меры, железной закономерности и детерминизма. Все остальное кажется ему чуть ли не итогом психического заболевания.

Но тогда только и остается напомнить о том, что все знают, но стараются забыть. Почему во все времена, во всех без исключения условиях появляются те, кто не мирятся с миром одного измерения, – пророки, святые, вещающие о Духе, сами наполненные Им, словно веянием ветра, и всегда зовущие к иному, высшему? Люди погружены в свои мелкие дела, в свои маленькие заботы и полагают, что это есть «настоящая жизнь». Они готовы принять как последнюю правду ту жалкую идеологию, где только и говорится, что о «прибавочной стоимости» и «производственных отношениях»; они готовы согласиться жить, по слову поэта, «тише воды, ниже травы». И



вдруг неизвестно откуда приходит духоносец и говорит о Боге и небе, о радости и истине, о том, что есть в мире опыт такого непостижимого счастья, такого света, что впору все оставить ради него. И внезапно скучной, серой и бессмысленной делается та жизнь и та идеология, которые за минуту до этого признавали мы единственно возможными и само собой разумеющимися. И пробуждается в нас дух – огненная точка в душе и сознании, которую ощущаешь одновременно и как страшную жажду, и как желание, но уже и как встречу, как радость, как свет. Рождается духовный человек, совершается таинственное рождение от Духа, о котором говорит Евангелие: Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой (Ин.7:37–38). И все в мире становится новым, наполненным новым смыслом, новым светом: Се, творю все новое (Откр.21:5).

Вокруг продолжается все та же жизнь с ее суетой, заботами, горестями и радостями, но человек, родившийся от Духа, уже не может просто вернуться к ней, войти в нее без остатка. Как сказал поэт: «И прежней радости не надо вкушившим райского вина»<sup>122</sup>. Вот об этом рождении от Духа, об этой реальности духа и духовности, о предназначенности человека к одухотворению, о невозможности для него найти подлинное счастье, подлинную радость в чем бы то ни было ином – обо всем этом праздник Пятидесятницы.

## Духовное существо. Самая нужная правда

«Пятидесятницу празднуем и Духа пришествие!»<sup>123</sup> – так искони пелось и поется в церквах на пятидесятый день после Пасхи, в радостный день праздника Троицы. Что же это за Пятидесятница и кто этот Дух Святой, пришествие Которого мы празднуем или призываемся праздновать?

Вопрос этот мы задаем потому, что живем в эпоху почти повсеместного отрицания духа – в эпоху материализма. Что-то случилось с человеком, после чего как будто разучился он слышать своим внутренним слухом и сердцем некоторые слова, больше того – решил почему-то отрицать то, что означают они, бороться с их содержанием. К числу таких слов принадлежит и слово «дух». Действительно, как случилось, что человек вдруг стал обожествлять материю и даже целую идеологию назвал «материализмом», начал отрицать дух и все духовное?

Задавая эти вопросы, мы вплотную подходим к самой жуткой тайне современности. Ибо веками человек не то что знал, а всем своим существом органически ощущал, что, кроме материи, есть еще и дух. Знал, что есть бытие материальное, законы материи, но знал также и то, что ими бытие не ограничивается. Знал, что есть в нем самом что-то, чего не выведешь из материи, клеточек, желез, ген, и радовался этому наличию, этому присутствию, этой жизни духа и духовного в себе. Знал, что есть время опускать глаза к земле, т.е. к материи, и с любовью возделывать ее, но также и то, что есть время, когда до очевидности необходимо поднимать взор ввысь, измерять и наполнять свою жизнь высшим. Можно сказать и так: человек сознавал себя существом вертикальным, стоящим на земле, но устремленным к небу. Тело, душа, дух – все это были реальности, не требовавшие доказательств, узнаваемые в свете любви, в молитвенном напряжении, в творческом вдохновении.

Но вот кто-то почему-то решил этот опыт, этот образ, это самочувствие человека уничтожить и разрушить. «Только материя! Все снизу: не только ничего сверху, но и самого этого

“верха” попросту нет!» И вот начали разрушать, обличать, выкорчевывать, и всё будто бы для счастья людей. Но какое же счастье возможно, если кроме материи ничего нет, если все озарения мысли и вдохновения, радости и творчества, вся устремленность человека кверху, а не книзу— только самообман? Нам говорят: «Свобода!» Но какая же может быть свобода от материи и ее железных законов? Нам говорят: «Творчество!» Но откуда оно, если и в сознании человека всё — только игра клеточек? Нам говорят: «Счастье!» Но откуда и о чем это счастье? Вспоминаются слова поэта: «О том, что мы живем. О том, что мы умрем. О том, как страшно все. И как непоправимо»<sup>124</sup>.

И другого не может сказать себе в час последней с самим собой правдивости человек, не признающий в мире ничего, кроме материи. Человек восстал против духа, и пророчески стали звучать другие стихи — незабываемые строчки Блока: «О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней!»

Этот холод и мрак наступили. Для миллионов людей мир стал бессмысленным муравейником, какой-то гигантской стройкой все той же материи, за которой и над которой — пустота.

Что же на это ответить? Кто не чувствует, не знает Духа, тому не докажешь Его существование никакими аргументами философии. Христос сказал: Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин.3:8). Кто не ощутил хотя бы раз это пришествие, это вдохновение, это странное и радостное преобразование жизни — как рассказать ему обо всем этом? Остается только утверждать, что Дух есть и что Он приходит, касается сердца, расправляет душу, все наполняет светом, радостью и, главное, опытом другой, духовной реальности. «Духовной жаждою томим», — так начинается пушкинский «Пророк», и мало найдется на земле более прекрасных и потрясающих душу свидетельств. «Духовной жаждою томим...» Но откуда же родилась в Пушкине эта жажда, из каких клеточек и материальных «процессов»? Тоже обман, тоже незнание «диамата» и экономических «прозрений» Маркса и Энгельса?

Как нелепы, казалось бы, такие вопросы, а между тем их-то и нужно поставить! Ибо одно из двух: или была в Пушкине, веселом, прозрачном Пушкине, эта духовная жажда, и тогда все теории Маркса, Энгельса и кого угодно, даже если они не ложны, дают лишь частицу правды, или же в них вся правда, но в таком случае мы не знаем, да и незачем нам знать, о чем говорил Пушкин, о какой «жажде», о каком «духе». Но и тогда остается факт, опровергнуть который ничто не может, а именно – всемирно известный, извечный опыт духа, как и другой факт – полная невозможность для материализма объяснить этот опыт, объяснить красоту, добро, радость, а главное – эту неутолимую жажду человека. Вот кто-то полюбил, и уже не остается ничего от материализма, ибо в печали, радости, творчестве разлетаются в пух и прах все мнимонаучные рассуждения, и остается человек – земной, но и духовный, способный духом пронизать землю и вознести ее к Духу.

Мы, верующие, Бога называем Духом, а опыт прикосновения к иному, внеземному, Божественному – духоносным. И в день Пятидесятницы празднуем пришествие Божественного и Святого Духа, в Котором всегда и всюду узнаем с радостью и трепетом откровение о последнем смысле нашей жизни. Была засуха – и полил дождь, была тьма – и сделалось светло, было грустно – и вдруг все залито радостью, была лишь материя – и вдруг за нею стал просвечивать дух. Земля не может жить без влаги, свет побеждает тьму, человек создан для Духа, а значит – для постоянной победы над тем, что только материя. Вот почему, когда приходит наконец этот «последний великий день праздника Пятидесятницы»<sup>125</sup>, когда падает на нас словно с неба эта молитва всех молитв: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны...» – мы ощущаем и переживаем этот праздник как самую драгоценную, самую нужную правду о мире, о жизни, о самих себе, и радуемся, и знаем, что эту радость, этот опыт никто не отнимет у нас.

«Пятидесятницу празднуим и Духа пришествие...» Вот об этом пришествии, об этом присутствии, об этой победе Духа мы

молимся в Церкви, ее ожидаем, ее празднуем и ею живем.

## Духовное существо. Невидимая история

Через две недели после Троицы празднует Русская Церковь особый день – Всех святых, в земле Российской просиявших.

Праздник этот был установлен в самый разгар революции Всероссийским Церковным Собором, заседавшим в Москве под звуки выстрелов Октябрьского восстания. Кончался в крови и ненависти один период русской истории, и начинался в той же ненависти другой. Распадалось величественное здание Российской империи, отбрасывались, взрывались вековые ценности, обрывалась народная память. Опять, как бывало, увы, и раньше, брат восставал на брата, и начиналась самая страшная из всех войн – братоубийственная гражданская. Каждый определял себя ненавистью: один – к России имперской, другой – к России революционной, один – к красным, другой – к белым. Да и что такое революция, как не восстание против прошлого, как не страстное стремление, отказавшись от всего, начать как бы сначала? И вот в те страшные дни, когда распадалась национальная судьба и перед Россией раскрывалась бездна неизвестного будущего, когда всюду царили страдания, горе и ненависть, несколько сот человек, собравшихся в Москву для устройства церковных дел, подняли над этим хаосом ненависти и страдания знамя русских святых– святых, в земле Российской просиявших. Нецарей, не полководцев, не ученых, не писателей и даже не народа, а только тех, кто просияли – именно просияли! – светом, добром и любовью. Тех, которые как будто не искали ничего в этой жизни, в этом мире, которые как будто ушли от них, но на самом деле и жизнь эту, и мир этот сделали лучше и светлее, теплее и любовнее.

У каждого народа, у каждой страны есть две истории. Одна – история внешняя, вся сотканная из войн и завоеваний, из политических удач и трагедий, из взлетов и падений. Тут ключевыми словами будут «могущество», «слава», «национальная гордость», «благосостояние державы». И в этой истории, пропитанной кровью и страданием, могущество, слава

и благосостояние всегда бывают за счет кого-то другого, всегда бывают торжеством сильных над слабыми, гордых над смиренными. Строятся империи, но строятся всегда на завоевании и подчинении, и для их могущества и славы всегда нужно, чтобы кто-то дрожал в страхе: нужно залить кровью Польшу и подавить венгерское восстание, нужно, чтобы гордые советские танки прогремели по улицам страхом раздавленной Праги, нужны железные занавесы и миллионы до зубов вооруженных бойцов на всех границах, нужно отрицание свободы и безостановочный грохот самовосхваления. И такова всегда и всюду эта внешняя история, которую одну только зубрят в школах и которой одной заставляют восхищаться.

Но есть, слава Богу, у каждой страны, у каждого народа и иная история. Есть она и у нашего народа. Сейчас ее стараются замолчать, сделать небывшей, но это невозможно, ибо она всегда просвечивает сквозь кровавую и страшную ткань истории внешней. Творцы же ее – это и есть святые, т.е. люди, с точки зрения истории внешней, бесполезные, если не вредные; чудаки и безумцы, ушедшие от жизни в какую-то мечту.

Но проходят века, и распадается могущество, истлевает слава. Где эти древние империи, страхом наполнявшие вселенную, – Ассирия, Вавилон, Персия, Рим? Повсюду в мире видны заросшие травой остатки римских колонн, которые так красноречиво свидетельствуют о нищете и бренности всякого земного могущества, всякой земной славы. Но распятый могущественным Римом нищий и бездомный Учитель продолжает до сих пор царствовать в душах миллионов людей. А вглядываясь во мрак и нищету Древней Руси, мы до сих пор погружаемся в свет преподобного Сергия Радонежского и бесчисленных его святых учеников. Когда все внешнее в этом прошлом покрылось ржавчиной, сгнило и истлело, остается только чистое золото, над которым бессильны века, бессильно время. Великий русский историк В.О.Ключевский написал когда-то книгу «О добрых людях Древней Руси»<sup>126</sup>. Вот эти добрые люди в конце концов одни и остаются, только их светом она, Русь, и светится. И сколько их! В какую глушь ни заглянешь, в какие дебри ни зайдешь, всюду держится и живет память о

святom, там просиявшем, именно это место наполнившем светом и любовью. С далекого севера сияют нам Зосима и Савватий Соловецкие, с юга – Димитрий Ростовский и Иоасаф Белгородский, с востока – Тихон Задонский, с запада – Иов Почаевский. И сотни, тысячи других: епископы, монахи, князья, просто хорошие люди, такие как праведная Иулиания Лазаревская, светлый старец Серафим Саровский, мученик-митрополит Филипп Московский, не побоявшийся самому Иоанну Грозному, т.е. страшной и несправедливой власти, напомнить о правде, любви и справедливости...

Так за внешней историей раскрывается во всей своей неземной красоте и вечности история внутренняя – история духа, веры и любви. И если есть у нашей страны будущее, если есть надежда, то будущее и надежда эти не в силе и могуществе, а только здесь – в этом духе, в этой вере и в этой любви. Только вспомнив внутреннюю свою историю, только вернувшись с любовью и раскаянием ко всем святым, в земле Российской просиявшим, найдет снова Россия свою душу, найдет ту правду, без которой бессильна и не нужна сила, страшно и бесполезно всякое могущество.

Об этом и напоминает нам через две недели после Троицы праздник Всех святых, в земле Российской просиявших.



## Духовное существо. Свидетель Духа<sup>127</sup>

Вернемся сегодня к теме о духе и духовности, которой посвящена была моя последняя беседа. Я говорил тогда, что современный человек живет в обществе, в мироощущении и идеологии не знающих и потому отрицающих духовность – или, иными словами, отрицающих возможность для человека приобщиться высшей реальности, и больше того – отрицающих само духовное призвание человека, его предназначенность к одухотворению, к тому рождению от Духа, о котором говорится в Евангелии.

Но есть в русской истории событие, о котором умалчивают. Конечно, казенные историки, но в котором эта духовная реальность, этот духовный мир воочию явлены. Событие это произошло не в одной из тогдашних столиц, где шумела общественная жизнь, а в далеком от них глухом лесу ничем не приметным и пасмурным зимним днем. Это событие – разговор между простым и, опять-таки, ничем не замечательным человеком по имени Мотовилов и стареньким монахом Серафимом, с юности ушедшим в Саровский монастырь и жившим в одинокой избушке среди леса. Серафим не был ни ученым, ни вождем, но известность его росла, о нем говорили, к нему шли. И на все вопросы он отвечал всегда одно и то же: что цель человеческой жизни – в стяжании Святого Духа, в одухотворении – вхождении, иными словами, в высшую, духовную реальность, которая обычно закрыта от нас бесконечными делами и делишками, заботами и суетой. Но Мотовилов не удовлетворился этим ответом или, может быть, не понял его, как не понимает его современный человек, требующий всему научных объяснений и доказательств. И вот в уединенной беседе, которую он почти сразу же записал, старец согласился поведать ему, в чем состоит, в чем выражается это одухотворение, это стяжание Святого Духа.

Но послушаем самого Мотовилова. «Я сказал, – пишет он, – что я все-таки не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божиим. Как мне самому распознать

его истинное явление? Старец отвечал мне: “Я уже сказал вам, что это очень просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божиим и как нужно понимать явление Его в нас. Что же вам еще нужно?” “Нужно,— сказал я, — чтобы я понял это хорошенько”. Тогда отец Серафим взял меня крепко за плечи и сказал мне: «Мы оба теперь в Духе Божиим с тобой. Что же ты не смотришь на меня?” Я отвечал: “Я не могу смотреть, потому что лицо ваше сделалось светлее солнца и у меня глаза ломит от боли”. Отец Серафим сказал: “Небойтесь: и вы теперь сами тоже светлы, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Святого, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. Благодарите Бога за милость Его”. Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечо, но не только рук не видите — не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет. “Что же вы чувствуете теперь?” — спросил меня отец Серафим. “Необыкновенно хорошо”, — сказал я. “Да как же хорошо, что именно?” — “Я чувствую такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу”. “Это, — сказал отец Серафим, — тот мир, про который Христос говорил: Мой мир даю вам, не так, как мир дает». Это мир, по слову апостола, который превосходит всякое разумение. Что же еще чувствуете вы?” “Необыкновенную сладость”, — сказал я, а он продолжал: “Это та сладость, про которую сказано в Писании: И потоком сладости напоишь меня (ср.: Пс.35:9). От этой сладости сердца наши тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете?” — “Необыкновенную радость во всем моем сердце”. И отец Серафим сказал: “Дух Божий радостью наполняет все, к чему бы Он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Христос говорил: В мире скорбны будете, но я увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не возьмет от вас (ср.: Ин.16:22,33). Что же вы еще

чувствуете?” “Теплоту необыкновенную”, – сказал я. И отец Серафим отвечал: “Она-то и есть та самая теплота, про которую в молитвах сказано: Теплотою Духа Твоего согрей меня. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: Царство Божие внутри вас (ср.: Лк.17:20). Вот это Царство Божие внутри нас теперь и находится, а благодать Духа освещает и согревает нас и наполняет сердце наше радостью неизглаголанной”».

Вот маленькая часть этой удивительной записи. Конечно, можно не поверить ей, можно отвернуться от нее как от чего-то несущественного, странного, не имеющего отношения к нашей жизни. Одного только нельзя сказать: что это просто выдумка и ложь. Во-первых, Мотовилов не был журналистом, профессиональным писакой, а во-вторых, такое не выдумать. А значит, это было.

Но еще поразительнее, что опыт этот не единичный и то, что произошло в заснеженном саровском лесу, происходило, оказывается, почти так же совсем в других местах, в других условиях, давно и недавно, далеко и вблизи от нас, происходит и сейчас. Мы живем окруженные свидетелями Духа и свидетельствами о духовности, но в своей гордости, занятости собой и вере в одну лишь «научность» решили не замечать их. Но если о чем-нибудь и тоскует наша эпоха, то именно о Духе и о дарах Его – свете и радости, тишине и мире, теплоте и вере. Пора, пора за суетой и нищетой нашей жизни увидеть другое, пора серьезно вспомнить о Духе и духовности. Преподобный Серафим – только один из тысячи таких свидетелей Духа. За его опытом, за его словами стоит опыт и слова множества людей. Неужели не найдется у нас времени послушать их?

## Духовное существо. Неумолкающий призыв

...Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк.1:14–15). Так описывает Евангелие от Марка начало служения и проповеди Иисуса Христа две тысячи лет тому назад в Палестине.

По историческим меркам христианство – очень древняя религия. Но вот, когда читаешь эти слова снова и снова, вслушиваясь в них внутренним слухом, они не кажутся древними. Напротив, кажется, будто кто-то произносит их сейчас, сообщает эту благую весть мне, тебе, всем нам. Удивительнее всего, что слова эти не переставали звучать в мире столетиями и вот не устарели. Сколько книг, написанных каких-нибудь двадцать-тридцать лет назад, дошло до нас? Единицы. Вчерашние вожди, наполнявшие мир страхом и трепетом, забыты и имена их повторяются лишь иногда, да и то шепотом. Для прославления Сталина, например, печатались в свое время миллиарды слов, и кто их теперь читает? А со словами Христа все наоборот. Их двести с лишком лет гнала могучая Римская империя, но империи этой давно нет, а слова Его живут. С ними столько раз думали покончить разные «властители дум», политики, мудрецы, ученые, чьи писания канули в небытие, а слова Христа звучат все так же неотразимо, как и на заре христианства.

Задумаемся: почему это так? Вот на наших глазах, в XX веке – веке успехов образования, расцвета и бесконечных достижений науки – целых пятьдесят лет, т.е. уже полстолетия, ведется неслыханный натиск на религию и в первую очередь – на учение Христа. Мобилизовано все – и школа, и пропаганда, и печать, и самое откровенное, подчас кровавое насилие. Сказано решительно все, что можно сказать против Христа, – сказано, да и сделано. Но не пора ли признать, что и этот, самый страшный, самый организованный натиск тоже не удался? Да, конечно, в количественном отношении религия ослабела, оказалась

вытеснена из жизни куда-то на задворки. Да, неверующих сейчас, без сомнения, больше, чем верующих. Но вместе с тем появляются все новые верующие. К словам Христа тянутся молодые, и значит, они не перестают действовать. Ясно, что в плане внутреннем, духовном антирелигия сражение проиграла и страшного удара ее оказалось недостаточно. И опять мы слышим: Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк.1:14–15).

В чем же сила этих слов, этого неумолкающего никогда призыва? Прежде всего в глубочайшем его соответствии основному стремлению, основной нужде человека. Антирелигиозная пропаганда ошибается не только насчет религии, но, что еще важнее, – насчет человека, и в этом ее слабость, как и гарантия будущего поражения. Евангелие говорит: «Ищите, жаждите, стучите» (ср.: Мф.5:6, 6:33, 7:7). В нем человек явлен как существо ищущее, стремящееся к полному осмыслению своей жизни, к бесконечному возрастанию и в конце концов к обожению, а антирелигиозная пропаганда утверждает, что искать, в сущности, нечего, ибо в середине XIX века один немецкий экономист каким-то чудом уже нашел все нужное. Что же он нашел? Он нашел, что человек без остатка сводится к «производственным отношениям» и что это объясняет в нем решительно все. И потому, когда исчезнет или, вернее, путем страшного насилия будет исправлена неправильность этих отношений, наступит поистине «золотой век». В чем он будет заключаться, не ясно, но к нему только и должен стремиться человек. И вот это бездушно-детерминистское понимание человека противопоставляют евангельскому, объявленному плодом суеверия.

Нам говорят: «Религия – это сплошной страх и пессимизм, это проповедь унижительного терпения». Но сравните Евангелие и «Капитал» Маркса. В этом последнем слово «радость» отсутствует начисто, в Евангелии же оно буквально на каждой странице. Про страх же говорится, что совершенная любовь изгоняет страх... боящийся несовершенен в любви (1Ин.4:18). И, наконец, сказано также: «Дерзайте, ищите большего, будьте совершенны» (ср.: Ин.16:33; 1Кор.12:31; Мф.5:48). Сравнив

образ человека, который сияет в Евангелии, с тем, какой предполагается идеологией, выдающей себя за последнее слово науки, не устаешь поражаться дивной красоте и свободе одного и рабской скованности другого. И здесь объяснение того, почему слова Христа живут и будут жить. Они обращены к главному в человеческой природе и одновременно к живому, подлинному человеку, а не к абстрактной выдумке ученых-экономистов. Они – о жизни и потому сказаны для любого, а значит, и для нашего с вами времени. Исполнилось время означает, что сейчас, сегодня нужно ощутить в мире вечное присутствие Божественной любви, небесного света, чистой радости, без которых мир – душная и страшная тюрьма. Покайтесь означает: взгляните на свою жизнь со стороны, углубитесь в тайный ее смысл, спросите себя: для чего мы живем, в чем последняя радость и полнота нашего существования? И веруйте в Евангелие означает: веруйте в радостную весть о том, что есть духовная реальность, есть вечно-светлый мир правды, любви, единства и что это – Царство Божие.

Так правдивы, так человечны эти слова, но потому-то и скрывают их, потому-то и подменяют бездарной клеветой и жалкой карикатурой, потому-то и боятся больше всего на свете. Будь у человека свобода хотя бы сравнить Евангелие Христово и псевдоевангелие материалистического «рая», он всей душой устремился бы за Тем, Кто сказал вечные слова любви и Кто сказал также: Возьмите иго Мое на себя... ибо иго Мое благо, и бремя Моелегко (Мф.11:30).

## **Источник и тайна. Очищенный и вознесенный**

Я говорил уже о центральном утверждении христианства: о вере в Христа как Богочеловека. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна». Я говорил, что именно так учил о Себе Христос и так верили и верят христиане на протяжении почти двух тысяч лет. Я говорил, наконец, что это соединение в Христе Бога и человека христиане всех эпох видели высшим явлением Божественной мудрости – Истиной, удовлетворяющей все потребности человеческого ума и сердца.

То, что агитаторы безбожия выдают за абсурд и темное суеверие, лучшие умы и великие святые признавали за совершенную и светозарную истину. В чем же они эту истину видели?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы в нескольких словах напомнить христианское учение о человеке и то представление о Боге или, лучше сказать, ту интуицию, то ощущение Бога, из которого это учение о человеке вытекает. Христианство всегда видело в человеке венец творения, лучшее и самое совершенное создание Бога. Больше того, оно видело и видит в нем образ и подобие Божие, а это значит – божественную первооснову, божественный источник человеческой природы. Говоря философским языком, христианство исповедует предельный антропологический максимализм: человек действительно божествен: его разум, его воля, его творческие способности – все это в нем не просто от Бога, но соответствует божественному разуму, воле, творческому совершенству. Человек как бы представляет Бога в мире, через себя, через свои способности исполняет волю Божию о мире и в мире. Человек – не Бог, но он способен к Божественному, похож на Бога, призван быть другом Божиим. Мир и природа дарованы ему, чтобы возделывать и взращивать их, раскрывая через них все свои таланты и дарования. По христианскому учению, мир призван стать космическим храмом

славы Божией, в котором раскроется во всей своей полноте божественное призвание человека. Таким образом, человек в мире несет божественное служение и божественное призвание.

Но это значит, что и Бог, так сказать, «похож» на человека, которого Он запечатлел и украсил Своим образом, Своими дарами. Между Богом и человеком есть соответствие: человек создан сотрудником Бога, сотворцом, соучастником и соисполнителем Божественного плана о мире, Бог же действует в мире через человека. И вот из этого высокого представления о человеке и вытекает для христиан не только возможность, но и, так сказать, естественность их соединения, т.е. такого единства, где Бог является в человеке, а человек всецело являет образ Бога. Это единство, по христианской вере, осуществлено во Христе. «Вся полнота Божества, – пишет апостол Павел, – обитала в Нем телесно» (ср.: Кол.2:9). И действительно, если верить в Бога так, как говорит о Нем Библия, т.е. в Бога-любовь, в Бога, творящего и изливающего Свою жизнь на все создание, в Бога-истину, в Бога-добро, – а о каком другом Боге можно помышлять? – тогда высшим и совершеннейшим явлением Бога в мире не может не быть явление Его в Человеке. И вот эта высшая точка соприкосновения Бога и творения, Бога и человека, предельное явление человечности Бога и божественности человека есть Христос.

Каковы бы ни были наши сомнения, допустим на минуту, что это именно так, что во Христе явился в мире Сам Бог и что явился Он в самом совершенном из всех людей. И тогда спросим себя: что узнаём мы, всматриваясь и вдумываясь в образ Христа, – что узнаём мы о Боге и о человеке? Какой Бог является в мир? Ненапрашивается ли в ответ одно всеобъемлющее, все в себе заключающее слово любовь? И если Христос есть Бог, то Бог, действительно, есть любовь. Ибо, как пишет апостол Иоанн Богослов: «Не любящий брата своего не знает Бога, ибо Бог любовь есть» (см.: 1Ин.4:8,20). Мы узнаем от Христа, что любовью и для любви Бог сотворил мир, любовью пребывает в мире и в любви отдает ему Самого Себя. «Я пришел, – говорит Он, – чтобы имели жизнь с избытком» (ср.:



Ин.10:10), т.е. пришел возлюбить, спасти, восстановить, прославить, покинуть девяносто девять ради одного, открыть всю истину, все добро, всю красоту, воскресить, дать вечную жизнь. Все это и многое другое во Христе совершает Бог.

Но, быть может, еще прекраснее, еще поразительнее то, что от Христа мы узнаём о человеке. В каком Человеке является Бог? Что неизменно прекрасно в Христе? Любовь! Любовь к Богу, к человеку, к миру. Христос всецело живет для других; Христос никогда не насилует человеческую свободу, ничего не требует от человека силой. Он всегда открыт человеческому страданию, всегда милосердует, помогает, исцеляет. И все это в поразительно безмерном смирении!

Какая религия, какая философия достигла такой вершины, где Бог и человек соединились бы в любви и смирении и где это соединение любви и смирения открывало бы последнюю правду о самом бытии? И если спросят: «Во что вы веруете?», каждый ответит: «Я верую в учение, выше и прекраснее, разумнее и сильнее которого нет и не было на земле. В этом учении все совершенно, и потому я знаю, что оно Божественно. В нем до конца упраздняется понятие о Боге как только абсолютном Властелине, карающем и милующем. Ибо когда христианство говорит “Бог”, оно говорит “Бог любовь есть”. И в нем, в этом учении очищен и на небывалую высоту вознесен образ человека, сияющий таким светом, каким не сиял никогда прежде. Ибо Христос есть совершенный Бог и совершенный Человек, совершенный в любви, в мудрости, в силе».

Учение, которое столь многими отбрасывается как невероятное, открывает на деле потрясающие возможности. В нем ничуть не умалена свобода человека, но сама эта свобода приводит к Богу; в нем Бог открывается как дыхание и полнота жизни. И вот почему святые всех времен вместе со многими поколениями богословов и философов согласно утверждают, что христианское учение о богочеловечестве есть последнее и самое полное откровение Божественной мудрости, основа всего здания человеческой культуры и всей человеческой истории.

## Источник и тайна. «Желание чудное»

Богослужение и обряды Церкви, которые так часто высмеивались антирелигиозной пропагандой, заслуживают того, чтобы глубже вдуматься в их значение для человека. Ведь даже те, кто борются с религией, пришли к выводу, что взамен церковных крестин, свадеб, похорон нужно создать какие-то другие, не религиозные, но все же обряды. Стало быть, есть в обрядах то, что отвечает какой-то вечной и неистребимой потребности человека. Потребности в чем?

Главные свои обряды христианская Церковь называет таинствами. Понятие «таинство» явно связано с понятием «тайна». Но вывод, который отсюда часто делается, – что сосредоточенность на тайне свойственна, дескать, примитивному сознанию, запуганному магией и суевериями, – совершенно неверен. Мы часто говорили, что именно христианство веками боролось с суевериями и магией, положив на это больше усилий, чем кто бы то ни было. С самого начала своего существования христианство разоблачало языческое обожествление государства, магическое понимание власти, природы, человеческих взаимоотношений. Поэтому, называя свои обряды таинствами, христианская Церковь разумела нечто в корне отличное от «тайного» в расхожем понимании.

Возьмем для примера первое и основоположное церковное таинство – крещение. Со времени его установления прошли многие века. Глубоко изменилось сознание человека, бесконечно углубились и расширились его знания, а этот простой обряд – погружение новорожденного в воду, омовение водой – сохраняет всю свою силу, ни развенчать, ни уничтожить его нельзя. О чем же говорит таинство крещения? Оно говорит о желанности для человека новой жизни – чистой, омытой, обновленной. Жизни, в которой утолена главная, неизбывная, вечная жажда человека – жажда полноты. Крещение водой нужно потому, что в нем находит свое символическое выражение опыт всех людей, всех эпох. Оно выражает удивительное предчувствие, что за природной, обыденной

жизнью, в ней и одновременно над ней, возможна лучшая, иная жизнь. Или, другими словами, что зло, страдание, ненависть, разобщенность – все это не последняя правда о человеке. Вот об этой неудовлетворенности, об этом чувстве греха, об этой жажде очищения, об этом стремлении к полноте и говорит церковное таинство, указывая на другое измерение жизни, которое всегда предощущал в себе человек. Это не магия, не суеверие, не пережиток темных и слепых страхов. Это утверждение религиозно-символическим языком того, что известно всему духовному опыту человечества, о чем сказал поэт в стихотворении, посвященном душе: «И долго на свете томилась она, желанием чудным полна»<sup>128</sup>. Отнимите у человека это чудное желание, и что останется?

Своими таинствами христианство как бы говорит нам: «Человек сам есть тайна, которую не разгадать с помощью плоских и односторонних объяснений. Тайна любви, свободы и вдохновения, тайна “желания чудного”... И как бы ни был порой темен и жесток человек, это желание в нем должно быть сохранено».

## Душа. Единственная защита<sup>129</sup>

В «Опавших листьях» Розанова есть такая запись: «Имей всегда сосредоточенное устремление, не глядя по сторонам. Это не значит – будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на одно»<sup>130</sup>.

Как верно это сказал Розанов и как именно этого «сосредоточенного устремления» не хватает современному человеку! Нехватает, иными словами, глубины. Вся современная цивилизация построена на сознательном или подсознательном отрицании глубины, и все ее споры, увлечения, драмы – в последнем счете о неважном, о второстепенном.

Но ведь то, что сказал Розанов, в сущности, давно уже сказано в Евангелии: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26). Душой же и называет Евангелие именно глубину человека, тот внутренний его мир, который составляет, в сущности, ценность, неповторимость, единственность человеческой личности.

Вот борются с религией, борются потому, что она де-факто форма эгоизма, что она призывает человека заботиться о своей душе и пренебрегать всеми так называемыми «проблемами» мира, общества и т.д. Человек будто бы не смеет, не имеет права ни на секунду отрываться от своего «общественного долга», он должен все время служить общественным целям, быть, как говорят, «полезным членом общества». Это внушается людям буквально с колыбели. И строится общество, в котором все труднее и труднее человеку остаться наедине с собой, углубиться в себя и, как говорилось у нас в старое время, «подумать о душе».

И вот мне кажется, что религия должна спокойно и с чистой совестью принять это обвинение, спокойно и твердо ответить: «Да, душа человека, личность человека, действительно, важнее, интереснее и ценнее всех общественных проблем вместе взятых. Да, мир существует и создан для каждой души человеческой, и только для нее».

И об этом, конечно, весь спор, вся борьба нашей мутной и во многом страшной эпохи. Одни говорят: «мир, общество, человечество, история» – и всему этому подчиняют, ко всему этому сводят, в сущности, человека. Другие, которых почти уже и не слышно, говорят: «человек, душа человека». И прибавляют: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И борьба между двумя этими установками ведется не на жизнь, а на смерть.

И в центре этой борьбы – конечно, вопрос о религии. Ибо религия и есть, прежде всего, это «сосредоточенное устремление» человека на одно, главное; религия и есть, прежде всего, забота о душе. И потому позволить религии существовать – значит признать существование того, что бесконечно важнее всех «общественных проблем»; это значит в конце концов подпилить то дерево, которое с таким пафосом насаждают идеологи современности; это значит освободить человека от принудительной духовной коллективизации, которая составляет самую сущность современной идеологии.

И нужно, очень нужно понять всю глубину и остроту этого спора. У нас ведь есть и такие, кто думают, будто все дело тут в каком-то недоразумении и можно соединить в гармоническом единстве идеологию и религию, которые по сути своей не должны бы мешать друг другу. Трагическая ошибка! Ибо здесь сталкиваются два понимания человека, две глубинные интуиции его природы, или – или. Общество, человечество, история оказались обожествленными, потому что в какой-то момент стали отрицать в человеке душу, а его самого свели к природе, объявили лишь частью некоего целого, не имеющей смысла вне его.

Но если так, то не поможет никакая либерализация, никакие «оттепели», ибо всегда останется опасность ради этого целого принудить, ограничить и подчинить часть. Только если человек не часть, не производная от общества, не винтик какой-то безличной машины, только если, иными словами, он – душа и ценность его – в душе, возможна та самая свобода, которой так охотно, с таким риторическим восторгом прикрываются те, кто на деле всей своей идеологией отрицают ее.

Да, религия – о душе. Религия есть призыв поставить душу, свою глубину в центре всей жизни. Религия есть забота о душе, и нечего этого стыдиться, ибо никакой другой ценности у человека нет. Если нет души, остаются мускулы, более или менее одинаковые у всех, остается «объективный», т.е. безличный, ум, остается чрево. Но тогда и общество человеческое, и вся история человечества остается бессмысленным столкновением мускулов и больше ничем.

И потому есть только одна настоящая проблема и у человека, и у человеческого общества: оградить душу, оградить глубину личности, сделав так, чтобы личность, а не безличное «человечество», стала и целью, и заботой самого общества. Ибо если приобретет человек весь мир, а душе своей повредит, мир тот обернется и уже на наших глазах оборачивается тюрьмой, концлагерем, чудовищным муравейником, адом. И потому не стыдиться нужно примата души и личности в религии, а провозглашать и исповедовать этот примат как единственную защиту, единственное противоядие от бесчеловечного тоталитаризма, истребляющего все сокровенное в человеке. Вот это и имел в виду Розанов, когда задолго до катастроф, обрушившихся на нас, писал, что устремление к одному, самому важному, составляет единственную задачу человеческой жизни. «Глазами смотреть везде, а душой – на одно». И только о душе, о глубине, о подлинности жизни стоит заботиться человеку.

## **Душа. Не повредить!**

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26)

Нет в Евангелии, нет, может быть, и во всей религиозной литературе слов, над которыми стоило бы современному человеку задуматься больше, чем над этими. Ибо слова эти можно поставить эпитафией ко всей нашей эпохе с присущим ей стремлением приобрести мир и удивительным забвением о духовном и внутреннем.

Некоторые мыслители Запада называют современную цивилизацию «потребительской», ибо человек в ней осознает себя, прежде всего, потребителем, и притом с неограниченным аппетитом. Он вышел из стадии элементарной борьбы за существования, и теперь ему всего мало, он хочет все большего. Однако стремление оказывается на поверку очень мелким и ограниченным.

Когда-то все лучшие люди всё мечтали о том, как человек, освободившись от мучительно-бесконечной заботы о пропитании, от рабства пище, от естественной потребности в жилище, тепле и одежде, сможет наполнить свою жизнь высшим смыслом и высшей красотой, станет не просто существовать, а именно жить.

Но вот по мере того как удовлетворяются элементарные потребности человечества, эта мечта лучших его представителей не только не осуществляется, а напротив, умаляется в объеме и содержании. Вот он, этот сытый и одетый человек. Чего же он хочет? Оказывается, все того же, но только в непрерывно возрастающих масштабах: количества, а не качества, внешнего, а не внутреннего. И так с отдельным человеком, с целыми народами, со всей нашей цивилизацией. Народы, если они большие и сильные, хотят в буквальном смысле «приобрести мир», т.е. завоевать, подчинить своим интересам и потребностям; отдельный человек хочет «приобрести мир» по-своему, урвав как можно больше индивидуальных «земных благ».

Как странно это и как бесконечно грустно! Во времена, которые историки называют «темными», – в эпохи, когда человек, казалось бы, только и боролся «за существование», формировалась великая культура души, создавались величайшие духовные ценности. И поныне миллионы туристов изо дня в день изумленно созерцают памятники этой культуры. Созерцают и всё пытаются понять, откуда возникли они и что подвигло того «порабощенного» человека возмечтать о такой красоте, выработать такое видение мира, оставить нам такой замысел, такую мечту, такие сокровища?

Теперешний же «освобожденный» человек, похоже, и создать-то ничего не может, кроме уродства и бессмыслицы. Больше того: когда среди этого потребительского, т.е. сосредоточенного исключительно на внешнем, общества появляется каким-то чудом человек, напоминающий нам о внутреннем, обращающийся к нашей душе, общество и власть немедленно затыкают ему рот, заставляя всех остальных хором утверждать, что им ничего не нужно, кроме материальных удобств, и в особенности не нужно им никакой души. Но это и значит буквально «душе своей повредить». Неужели не видим мы, что именно душе все больше и больше вредит страшная наша современность с ее обездушенным оптимизмом, с ее гимнами количеству, с ее торжествующим отречением от духовного смысла? Неужели не тревожат нас собственные дети, вырастающие сытыми и довольными, но никогда не задумывающимися о душе?

Веками говорил человек: «Придет свобода, я не буду больше дрожать над куском хлеба, умирать от голода и холода, я дам своим детям все то, чего не имел сам, – дам им счастье». И вот пришло оно, это «счастье»: миллионы, миллиарды людей с поврежденной душой – отмирающим и ненужным органом. Им приказали желать потребительского счастья – и они его желают; приказали назвать его свободой – и они назвали; приказали забыть о душе – и они забыли.

Но, быть может, в эти праздничные дни что-то дрогнет в их сердце? Быть может, ощутят они, что есть там, на глубине странная пустота, которой не заполнить всем миром, даже если



и приобрести его? Вспомнят, быть может, написанные давно-давно совсем еще мальчиком строчки о звуках небес, которых «заменить не могли... скучные песни земли»? Снова найдут, быть может, свою поврежденную, заснувшую в тяжком потребительском похмелье душу и услышат: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Вот об этой душе и хочется напомнить сегодня из самой сердцевины нашей все более обездушивающейся цивилизации.

## Душа. Потеря равновесия

Мы живем в эпоху, когда всеобщее внимание сосредоточено почти исключительно на внешней деятельности человека – на том, сколь производителен его труд, сколь велико его участие в жизни общества, в государственном строительстве и т.п. Конечно, сами по себе все эти сферы жизни не только законны, но и бесконечно важны: человек призван жить в обществе и зависит от общественной среды, он участник общей жизни и существо социальное. И все же есть в этом исключительно «социальном» подходе к человеку что-то глубоко неблагоприятное. Что же?

Думается, что неблагоприятие это лучше всего определить как потерю равновесия. Направляя все внимание на внешние условия человеческой жизни, общество как будто забывает о внутреннем мире человека. И не только забывает, но что еще хуже – часто просто отрицает его наличие или, вернее, его примат в человеческом сознании. Есть учения, согласно которым внутреннее есть лишь результат внешнего, проекция общества, жизненных условий, не больше. Были и есть учения прямо противоположные – отрицающие все внешнее, умаляющие роль общества и зовущие человека в некую внутреннюю «пустыню».

Стоит задуматься над односторонностью подобных взглядов, усмотрев в ней настоящую трагедию и причину того, что человеческая жизнь становится недостаточно человеческой. И тут уместно вспомнить христианское учение о человеке. Его часто хотят представить в извращенном виде – как отрицание внешнего во имя внутреннего, как равнодушие к общественной, социальной судьбе человека. Но на деле это не так. Именно здесь, в христианском учении о человеке, мы находим то равновесие, отсутствие которого так мучительно переживает современный мир.

Да, несомненно, на первое место учение это ставит внутренний мир человека, или то, что в Евангелии называется душой. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а

душе своей повредит? (Мф.16:26) – говорит Христос. Но нужно помнить, что под душой здесь разумеется не какая-то особая часть человеческого устройства, а самосознание, ум, сердце, воля и совесть, т.е. та глубина, на которой человек ищет и находит смысл жизни, внутреннее единство всего своего существования, то согласие с самим собой, без которого он не человек, а раб. Раб случайных жизненных обстоятельств, раб другого человека, раб собственных страстей – короче говоря, всего внешнего. Только освящая и осмысливая все внешнее изнутри, оценивая его в свете совести, со всей трезвостью ума и глубиной сердечного понимания, человек становится свободным участником внешней жизни и ее творцом.

Таким образом, внутреннее не отрицает внешнего. Христианское учение о душе не имеет смысла без учения о любви – той силе, что направляет душу человека во внешнем мире. Любите друг друга (Ин.13:34, 15:12), – говорит Христос, и такой любовью, чтобы эту самую душу отдать, если нужно, за братьев. Внутренний мир человека оказывается миром любви. Уходя в себя, углубляясь в свою душу, человек находит в ней новую чудесную силу, позволяющую не только преодолеть свое одиночество, но и созидать вокруг себя новую свободную жизнь. «Царство Божие внутри вас» (ср.: Лк.17:21), – говорит Христос. Но Царство Божие есть, кроме того, и цель и задача человека в мире. И в то же время Царство Божие – это свобода, любовь, единство и счастье человека, т.е. все то, чего так страстно ищет и жаждет современное человечество, не зная, что путь к нему лежит через внутренний мир каждого – через его душу.

В романе Солженицына «В круге первом» молодой преуспевающий дипломат Иннокентий Володин почти накануне новой и интересной командировки в Париж совершает очень странный поступок. Движимый какой-то ему самому непонятной силой, он звонит по телефону почти незнакомому старому доктору, предупреждая его о готовящейся против него провокации. Телефонный разговор кто-то обрывает, и два дня до ареста Володин проводит в мучительном страхе и размышлениях о том, что привело его к этому шагу, который прекратит не только его счастливую карьеру, но, возможно, и его жизнь. Солженицын пишет: «За последние годы Иннокентий ... набросился на чтение. Оказалось, что и читать – это тоже нужно уметь, это не просто бегать глазами по строчкам. Так как Иннокентий с юности был огражден от книг неправильных, отверженных, и читал только заведомо правильные, то и привычка укоренилась в нем: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Итак, теперь, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему.

Он поехал в Париж, работал там в системе Экономического и социального совета в ООН и там еще много читал, что успевал за службой. И на какой-то поре почувствовал, что и сам словно держит руль.

Нето, чтобы он открыл за эти годы много, но кое-что.

Раньше истина Иннокентия была, что жизнь дается нам только раз, теперь созревшим, новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже дается нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести. Так стал понимать и думать Иннокентий, когда в субботу, за несколько дней до новой поездки в Париж он на беду свою узнал о готовящейся провокации с простаком Доброумовым. Он давно уже был умным, чтобы понять, что не

одним профессором окончится такое дело, что целую кампанию сумеют вывести из этого профессора.

Несколько часов с расступившимся умом он бродил по служебному кабинету, шатался, качался, брался за голову и решился-таки звонить, хотя представлял, что телефон Доброумова могли уже взять под контроль. ... Это было как будто очень давно, а на самом деле только вчера»<sup>132</sup>.

Это короткий отрывок из романа Солженицына, но по существу вся его огромная, замечательная, потрясающая книга написана именно о совести. Совесть – это ее герой, ее движущая сила, ее внутреннее мерило. Все люди в ней, от Сталина до дворника зэка Спиридона делятся на тех, кто вот так, как Володин, знают или открыли для себя, что совесть, как жизнь, дается нам один раз и что, как пишет Солженицын, «как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести», и тех, кто этого не знает. Но что же такое эта совесть, эта странная сила, способная поверхностного эгоиста и эгоцентрика Володина, ничем, кроме как жаждой жизни и жаждой удовольствия, не замечательного молодого человека превратить, и так просто, почти незаметно, в героя и мученика? Как бы прощаясь с ним в последних главах романа, показывая нам его в последний раз, уже уходящего на первый допрос, Солженицын пишет: «С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся, мудрость великого философа древности казалась лепетом ребенка. “На допрос, руки назад!” Володин взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса»<sup>133</sup>.

Солженицын велик тем, что всем своим творчеством ставит самый насущный, самый главный вопрос нашего времени – вопрос о совести. Ставит и свидетельствует: есть совесть, и она неистребима.

Но потому-то и нужно задать себе вопрос: что же такое эта совесть, что значат эти такие простые и одновременно такие таинственные и глубокие выражения – «по совести могу», «по совести не могу», что это за голос, который внезапно и часто помимо нас вдруг властно врывается в нашу судьбу и коренным образом меняет ее, так что казавшееся белым, привычным,

правильным оказывается столь очевидно черным, ато, что как будто вообще молчало, вдруг начинает говорить? Но в том-то и дело, что совесть принадлежит к тем явлениям, которые не поддаются определению, не укладываются ни в какие логические и юридические формулы. Нельзя сначала определить совесть, а потом жить по ней. Она – в нас, а вместе с тем как будто говорит нам, обращается к нам откуда-то извне, из какой-то глубины или вышины, которых обычно мы как будто в себе и не сознаем.

Материалистическая наука о человеке просто отвергает наличие совести в нем. Она пытается объяснить ее социальным инстинктом, давлением наследственности, коллективным сознанием – т.е. опять-таки сводит ее к детерминизму, к отрицанию свободы у человека. Поэтому с ее точки зрения поступок Володина, будучи асоциальным, преступлением против коллектива, оказывается тем самым поступком вредным и нехорошим. Христианство же очень просто и очень спокойно утверждает, что совесть – это врожденная, изначально данная человеку способность различать добро и зло, но не в социальной, т.е. относительной их форме, а как бы абсолютно. Совесть – от Бога, и потому она есть свидетельство о Боге. Совесть – это голос Божий в душе человека, и вот почему он говорит хотя и изнутри, а вместе с тем как бы извне. Совесть – это и есть то, что христианская религия называет образом и подобием Божиим в человеке.

Человек может, человек свободен заглушить в себе совесть, и поразительным примером этого абсолютного отказа от совести в романе Солженицына является Сталин. У него остаются понятия добра и зла, но их мерилom становится он сам: добро то, что служит ему, зло то, что ему сопротивляется. Человек может бороться с совестью, и этому примером в романе Солженицына множество измученных людей – измученных именно этой внутренней борьбой и либо, как Володин, Герасимович, Нержин, избирающих совесть, либо, как Яконов, после мучительной ее вспышки совесть отвергающих. Но так или иначе все с нею, с совестью связано, все в мире становится на свои места по отношению к ней, все сводится к

последнему вопросу: если есть совесть – есть человек, есть свобода, есть возрождение и, наконец, есть счастье. Если ее нет, есть только ад, будь то на свободе, будь то в бетонированной даче Сталина или тюрьме.

В наши страшные десятилетия люди спорят о чем угодно – об экономике, о кибернетике, о будущем мироустройстве, но ничего не значат все эти споры, пока не воссияет над людьми только одно, все освещающее, все оживотворяющее солнце – совесть, эта таинственная частица, сила и слава Божества в слабом и нищем человеке.

## Совесьть. Последний шанс

В прошлой моей беседе я говорил о совести – о том таинственном голосе внутри человека, о котором так хорошо сказал Солженицын в своем романе «В круге первом». Он сказал, что не только жизнь, но и совесть дается человеку только один раз, и как не вернуть отнятой у человека жизни, так и не восстановить испорченной совести.

Продолжим сегодня эти размышления о совести, и главным образом потому, что никто, кажется, не занимается ею в нашем трудном, сложном, несчастном мире: ни философы, которые говорят об истине, ни вожди, которые как будто знают и без всякой совести, что́ добро и что́ зло, ни даже богословы, говорящие и учащие о Боге. Философы утверждают, что истина доказуема. Но вот на протяжении многих веков не было еще двух философов вполне согласных друг с другом относительно того, как понимать истину. Вожди, политики, законодатели говорят: «Вот это – добро, а вот это – зло». Но сколько раз мы слышали, как те же вожди сегодня называли добром то, что вчера провозглашали как зло, и наоборот; как подчищали или просто сжигали по их приказанию ранее написанные учебники истории. По-видимому, и тут мерило различия между этим добром и этим злом не очень ясное и твердое. ·

Наконец, верующие говорят о Боге и утверждают, что знают Его и что Он Сам наставляет их на всякую истину. Но вот тоже: они столетиями спорят и враждуют о Нем, а подчас и ненавидят друг друга, и кровь проливают. Значит, и здесь что-то не в порядке. Значит, ни доказательствам истины, ни разговорам о добре и зле, ни, наконец, самой вере еще не хватает чего-то, что вывело бы их из сферы спорного, неубедительного, относительного, что дало бы им силу, правду и свет, о которых уже не только нечего, но и не хочется спрашивать.

Что бы нам ни говорили о заключенном на «шарашке» инженере Герасимовиче в солженицынском «В круге первом», нам этих объяснений не надо. Ведь ему предлагают досрочное освобождение за исполнение задания, из-за которого будут



арестованы другие люди. Солженицын пишет: «Это было исполнение молитвы Наташи (жены Герасимовича.— прот. А.Ш.).... Ее иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом. Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце. ... А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. ... Она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона». И вот он отказывается. «Ах, — продолжает Солженицын,— можно было смолчать! Можно было темнить, как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, вислощекого, тупорылого... в генеральской папахе: “Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он.— Сажать людей в тюрьму— не по моей специальности! Я — не ловец человеков. Довольно, что нас посадили...”»<sup>131</sup>

Так вот, читая, слушая эти строки Солженицына, не нуждаешься ни в философских, ни в моральных, ни даже в религиозных объяснениях и доводах. Сам Герасимович о них не думает, он думает о жене и о своей жизни, которых одним этим словом губит. И даже если бы нам стали освещать поступок Герасимовича с разных сторон, мы все равно заранее и совершенно твердо знали бы, что он прав и, главное, что это как раз не требует никаких объяснений. Что же дает нам эту бесспорность? Что делает все рассуждения и доказательства ненужными? Что, вне всякого сомнения, соединит в одной и той же оценке и искреннего философа, и верующего, и честного, правдивого неверующего? Ответ ясен: совесть. Совесть заставила Герасимовича поступить так, как он поступил, и совесть в нас узнаёт его совесть и с нею без всяких слов и даже мыслей соглашается. И тут совпадают и истина, и добро, и, наконец, вера, ибо совесть — это и есть вера. Вера, сколь бы она ни была бессознательной, в то, что есть закон абсолютный, вечный, ни от чего не зависящий — закон, преступить и нарушить который нельзя, не разрушив чего-то самого важного, священного и глубокого в себе, еще проще — самого себя.

Возьмем еще Евангелие. Там мы находим два примера, очень важных для нашей темы. Вот, во-первых, Пилат, перед которым стоит преданный и осужденный Христос. Во власти Пилата отдать Его на смертную казнь или же отпустить. Вся политическая конъюнктура, все соотношение сил в завоеванной, оккупированной, но бурлящей стране говорит Пилату, что лучше уступить толпе и убить Христа, однако, что-то удерживает его – именно совесть. Но вот он уступает и отказывается от этого голоса совести, вспоминает философов, спорящих об истине, и бросает Христу этот действительно мудрый вопрос: Что есть истина? (Ин.18:38). Как ее узнать? Совесть все уже сказала, но Пилат решил не слушаться ее. Его карьера, по всей вероятности, спасена, все в порядке. Но человек Пилат, единственный и неповторимый, кончается на этом предательстве, скрепленном постыдным умыванием рук.

Проходит несколько часов, и на кресте рядом с распятым и страдающим Христом висит разбойник. И снова молчание, снова никаких доказательств, объяснений, доводов. Из груди умирающего человека, столько сил отдавшего злу, вырывается это ничем не объяснимое, непонятно из какой глубины прогремевшее: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем» (ср.: Лк.23:42). Спасаящий себя предательством совести погибает; гибнущий и умирающий – вступает в таинственное и лучезарное, увиденное и принятое им в последнюю минуту жизни Царство добра.

Два явления совести, два примера таинственной силы ее в человеке. А так как явление ее, так как этот абсолютный закон превосходит все разделения человеческие, так как он один для всех и все его понимают, так как он один во всем мире так очевидно свыше, а не снизу, то, может быть, на нем и сойтись? Может быть, им все можно проверять? Может быть, в нем последний шанс спасения человека и человечества от тьмы ненависти и разрушения, в которую мы погружаемся? Пусть каждый подумает об этом. Пусть каждый поймет, что каждый день, каждый час, всегда стоит он перед выбором, который нельзя отменить философскими рассуждениями о добре и зле, – перед выбором, который в конечном итоге зависит только от

одного: услышит ли он тот тихий, но всепобеждающий голос совести, который никогда не замолкает в нашем сердце.

## **Христианство и личность. Конечный оплот**

В наших беседах мы много и часто говорили о христианском понимании человека, и это, конечно, не случайно. Ибо за великим спором о религии, о Боге – споре, который на глубине составляет главное содержание, главную тему нашего XX века, все яснее обозначается спор о человеке. «Скажи мне, что ты думаешь о Боге, и я скажу тебе, как относишься ты к человеку» – вот предельно точная формула, которую, в сущности, можно было бы отнести к каждому.

В мире, повторяю, сталкиваются два понимания человека, его природы и призвания – атеистическое и религиозное. И каждый из нас должен вдуматься в сущность обоих, ибо человеку свойственно не только проживать свою жизнь, но и задумываться над ее целью и в соответствии с этой целью стараться жить.

Вот у нас уже десятилетиями насаждается и официально признается обязательным именно атеистическое понимание человека. Что же оно предлагает, как определяет оно человека, какую цель жизни провозглашает? Люди так привыкли к казенной риторике, настолько оглушены ею, что им часто и на ум не приходит, что в основе атеистического понимания человека лежит элементарное, но тем более страшное противоречие – противоречие между природой человека и конечной целью человечества. Элементарной истиной всякой науки является истина о соответствии природы объекта его цели. Но атеистическое учение о человеке эту истину фактически отрицает. С одной стороны, оно провозглашает некую высшую, предельную цель – всеобщее и абсолютное счастье, «скачок из царства необходимости в царство свободы». Оно и религию-то отрицает в первую очередь потому, что та якобы мешает достижению этой цели, выводит ее за пределы жизни в какой-то иной, загробный мир. Ради достижения этой цели атеизм зовет человека к борьбе, к жертвенности, к тому, чтобы отдать, если нужно, и саму жизнь. Но атеистическое учение о человеке – и здесь начинается противоречие – никогда

не способно определить, в чем же, наконец, будет заключаться это «всеобщее и абсолютное счастье», почему и как будет оно именно счастьем. Тут – полное молчание, тут атеизму сказать решительно нечего. Он красноречив лишь до тех пор, пока говорит о борьбе, ее методах и тактике, пока манит таинственными обещаниями. Но почему же неспособен он это «абсолютное», «всеобщее» и «научно обоснованное» счастье хоть как-то описать и определить? Да очень просто – потому что цели этой, по существу, нет в самой природе человека, как трактует ее, эту природу, атеистическое мировоззрение.

Ибо атеизм приложил все силы, чтобы разрушить то, что определяется им как «идеализм», т.е. всякую духовную реальность. Нет ничего, кроме материи, и потому человек всецело определяется материей. Материя же, в свою очередь, определяется абсолютно безличными «законами». Понятие «счастье» из материи никак не выведешь именно потому, что понятие это как раз духовного, т.е. идеалистического порядка. Сама по себе материя ни к чему не стремится и никакой цели не имеет, кроме той, что заложена в ее природе: питаться, расти, умирать. Материализм отрицает и ненавидит дух, но ставит человечеству своего рода духовную цель. И тогда приходится либо замалчивать содержание этой цели, либо же определять ее, так сказать, «отрицательно», как отсутствие эксплуатации, отсутствие голода, отсутствие нужды и т.п.

Ну, хорошо, все это – «отсутствие» того-то и того-то, но чего же тогда присутствие? И тут раскрывается не только философская нищета этой идеологии, но нечто гораздо более страшное – то, что в атеистическом учении о человеке нет самого человека. Есть какое-то отвлеченное «человечество», какие-то «массы», «классы», но нет личности, а счастливой может быть только личность. Нет, никогда не было и не будет никакого «коллективного счастья», ибо нет, в сущности, и самого коллектива, ведь коллектив – это отвлеченное и в конце концов «идеалистическое» понятие. Растворяя человека в массе, атеизм тем самым отрицает его единственность, уникальность, неповторимость.

И вот здесь-то и проходит черта, разделяющая атеистическое и религиозное понимание человека. Ибо религия всегда начинается с личности. Только установив личность как абсолют, только наделив ее божественным смыслом и целью, переходит религия к человечеству. И там, где атеизм говорит: «Счастье каждого – только в счастье всех», религия говорит: «Счастье всех – в счастье каждого». Ибо счастье – т.е. наполненность жизни смыслом, светом, знанием, любовью, радостью – возможно только в личности. И конечно, последнее и вечное счастье – только в любви. Любит же человек человека, а не «человечество».

Борьба, все очевиднее разворачивающаяся на наших глазах во всем мире, есть борьба между личным и безличным пониманием жизни, истории и, наконец, самого человека. И тогда понятно становится, почему такая ненависть направлена на религию, почему жаждет все безличное ее уничтожения. Ибо именно она, религия, – последний в мире оплот мира личного. Если нет личности, этой абсолютной и единственной в своем роде ценности, то откуда взяться ее правам, почему нужно ее защищать и о ней заботиться, почему нельзя ее уничтожить во имя отвлеченного «общего блага»? Где воцаряется атеизм, там рано или поздно исчезает и всякая забота о личности, там начинается царство безличного, а в пределе – бесправие, насилие, террор и кровь. Многие, слишком многие этого все еще не видят. И думают, что можно защищать личность, ее права, ее достоинство, саму ее жизнь, оставаясь материалистом. Увы, нельзя! Ибо само знание о личности или, вернее, ослепительное откровение о ней приходит не «снизу», не от материи и даже не от науки. Оно пришло, оно всегда приходит и, верим, никогда не перестанет снова и снова приходить в мир только от Божественного Света.

Мы живем в эпоху торжества идеологий. Ужасное слово, возникшее, в сущности, совсем недавно и уже почти непоправимо отравившее наш мир, нашу жизнь.

Что такое идеология? Это учение или теория, не только выдающая себя за абсолютную, всеобъемлющую истину, но и предписывающая человеку определенное поведение, образ действия. На глубине идеология – это, конечно, эрзац, подмена религии. Но разница, и огромная, между ними в том, что религия, вера – это нечто всегда очень личное, невозможное без глубоко личного и внутреннего опыта, тогда как идеология – всякая идеология – начинается с того, что все личное просто отрицает и отвергает как ненужное. Религия, призыв верить всегда обращены к человеку. Идеология всегда обращена к массе, коллективу, в пределе – к народу, к классу, к человечеству. Цель религии в том, чтобы человек, найдя Бога, нашел себя, стал собой. Цель идеологии – подчинить себе человека без остатка так, чтоб он стал ее исполнителем и слугой. Религия говорит: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» Идеология говорит: «Для моего торжества нужно приобрести весь мир!» Религия во всяком человеке призывает видеть ближнего – идеология всегда направлена на «дальнего», на безличное, отвлеченное «человечество». Повторяю: мы живем в эпоху торжества идеологий, их страшного владычества над людьми. В одном только нашем веке, а ему всего 70 лет, во имя их погибли миллионы и миллиарды людей. И нет у человека сегодня более спешной и насущной задачи, чем отвержение этого идеологического засилья, тирании идеологий. Но исполнить эту задачу можно, лишь поставив над всеми идеологиями, как всех их превышающую и ограничивающую, идею личности, а значит – живого, конкретного, единственного и неповторимого человека.

Закат религии и торжество идеологии привели почти к полному отмиранию этой идеи и стоящего за нею опыта. Опыт

же этот, конечно, в первооснове своей – религиозный. Только в религии и только из религии возможна идея личности – вот чего не понимают, не могут, не хотят понять современные люди, по-прежнему жаждущие спасения от той или иной идеологии. Мне скажут, что сама религия в эпоху своего исторического торжества очень часто попирала идею личности, что сам принцип личных прав и свобод родился в борьбе с религией. Отчасти это правда. Но правду эту нужно понять во всей ее сложности. Да, конечно, Христа распяли религиозные люди. Но распяли как раз за то, что Он обличил их религиозность как ложную, или, говоря нашим современным языком, обличил их за превращение религии в идеологию. Ибо весь смысл конфликта между ними и Христом сводился к тому, что Он человека поставил выше всего как предмет особой любви, внимания и заботы. А враги Христа от религии хотели порядка, спасения родины, оправдания их самодовольства и т.п. и ради этого настаивали на слепом подчинении человека безличным законам. Но Христос обо всем этом не сказал ни слова, равно как и о государстве, обществе, истории, культуре – обо всем том, что извечно составляет предмет всех идеологий. Внимание Христа все время было направлено на окружавших Его конкретных людей. Но Он не говорил об их правах, а был обращен к ним всей Своей любовью, всем Своим участием и состраданием. И вот за то, что живой человек оказался для Христа превыше всего в мире, Он и был осужден. Но в этом осуждении – пора понять! – переродилась и сама религия. Из идеологии она стала живой силой, и над миром навсегда воцарилась идея личности.

Впоследствии и само христианство, надо признать, слишком часто вырождалось в идеологию, требовало себе слепого подчинения, служило побочным целям. Но все же не в этом заключалась и заключается его сущность. Сущность его – в евангельском образе Христа, в образе Человека, обращенного к другому человеку, в нем видящего ближнего, в нем полагающего цель и смысл жизни.

И нет в истории человечества другого обоснования личности. Нет ее в великой и глубочайшей философии



греческого мира, нет ее в Риме, родившем идею права, но не считавшем за человека раба. И конечно, нет этой идеи личности ни в одной современной идеологии, занятой всегда «человечеством», но ради него преспокойно уничтожающей миллионы живых людей.

Я утверждаю, что идея личности – идея религиозная. Ибо очевидно: если не укоренена она в Боге свыше, если человек не сверху, а снизу, если он всего лишь мимолетное явление, тогда, действительно, не о чем волноваться, и над миром царит только закон больших чисел. Тогда уродов, больных и стариков нужно уничтожать, тогда и заботиться нужно лишь о естественном отборе, и мы скоро к этому придем. Тогда и знаменитая «слезинка ребенка» у Достоевского – бессмысленная сентиментальность. Проще всего это сформулировать так: если нет Бога, то нет и человека, а есть только «человечество» – безличная масса, о животном благополучии которой и заботится идеология, не считаясь с расходами. Вот в таком страшном идеологическом мире, в мире «масс», «классов», «коллективов» мы сейчас и живем. И об этом нужно подумать, этому нужно ужаснуться, пока не поздно, пока еще не заменена живая личность простым порядковым номером, пока не стал человек, действительно, только винтиком все более усложняющейся, все более огромной машины.

Поэтому вопрос о религии сейчас – вопрос прежде всего о личности. К нему, этому важнейшему из всех современных вопросов, мы вернемся в следующих беседах.

## Христианство и личность. Абсолютная ценность человека<sup>135</sup>

Я говорил в моей прошлой беседе, что понятие личности может быть обосновано только в религиозном мирозерцании. Я говорил также, что вне этого понятия, вне этой интуиции личности все современные заботы о человечестве в конечном счете призрачны и обречены на неудачу.

Между тем даже те, – увы, их все меньше и меньше – кто отстаивают человеческую личность и борются за ее права, не могут или не хотят видеть, что проблема личности находится в органической связи с религиозным учением о человеке, и стараются часто даже отмежеваться от религии. Вот в последние годы много говорили, пока грубым насилием не было восстановлено молчание, о «социализме с человеческим лицом»<sup>136</sup>. И говорили, по всей вероятности, вполне искренне. Но можно – и совсем не риторически, совсем не коварно – задать вопрос: а почему, собственно, у социализма должно быть «человеческое лицо» и что, собственно, кроется за этим с виду красивым словосочетанием? Мне кажется, что употребляющие это словосочетание не чувствуют всей его внутренней парадоксальности. Ведь лицо – это как раз то, что предельно индивидуально, лично, это лик, личность. Нет «лица вообще» – есть мое, твое, его лицо. А ведь социализм – и как раз принципиально, всегда «научно обоснованно» – общее ставит над частным, индивидуальным, личным. Он не просто всегда утверждал, что человек живет в обществе, в окружении других людей (это и так самоочевидно!), но именно сводит человека к общему, обрекая его на полную зависимость от класса, нации, общества и т. п.

И я повторяю, что в любой перспективе, кроме религиозной, это сведение неизбежно. Ибо, оставаясь в пределах материалистического и атеистического мировоззрения, совершенно невозможно доказать, почему, собственно, личность как таковая, лицо, отдельный человек имеют особую ценность, какие-то прирожденные «права». В атеистическом

мировоззрении все эти права человек получает от общества, которое *apriori*<sup>137</sup> есть ценность высшая. В этом мировоззрении – неужели нужно еще доказывать? – не общество для человека, а человек для общества. Сейчас некоторые благодушные, благонамеренные и по-своему героические люди пытаются доказать, что свобода и большее уважение к личности полезны – для самого общества и его целей. Ведь при свободе и производство улучшится, и наука задвигается скорее, и всяческих оппозиций будет меньше. Но очевидно, что и тут свобода и достоинство личности мыслятся по-прежнему лишь с точки зрения их «полезности». Однако и из этого подхода, сколь бы благородными чувствами он ни определялся, ничего в конце концов не выйдет. Любой крестьянин знает, что, если лошадь не накормить и не дать ей отдохнуть, она перестанет работать. Утилитарное обоснование прав личности не только недостаточно, но попросту недостойно человека. Ибо конечная ценность человека здесь все равно определяется исключительно его пользой для коллектива, его «продуктивностью»: «Дайте немножко свободы, чтобы он больше производил, позвольте ему меньше бояться, и он станет полезнее». Тут все остается на своих местах, и главное – этот кошмарный миф о «полезном члене общества», жертвами которого стали миллионы людей в исправительно-трудовых лагерях. Из принудительно составленного коллектива, из производственной пользы никакой личности и никаких настоящих ее прав не выведешь – эти права мыслимы лишь там, где личность признана абсолютной ценностью (ибо «абсолют» в переводе с латыни означает то, что ни от чего другого не зависит и ни к чему другому не сводимо).

Признать каждого человека абсолютной ценностью – значит не только дать ему какие-то независимые от общества права, но и, что неизмеримо важнее, лишить абсолютного значения все остальное в мире, и прежде всего – само общество. Это значит – опрокинуть все наши привычные представления и признать человека существом, стоящим вне простого природного порядка, т.е. существом высшим. А таким видит человека только религия. Научно вывести это нельзя, в это можно только

верить. Неслучайно ярый ненавистник христианства Ницше восклицал: «Любовь к ближнему мы заменим любовью к дальнему!»<sup>138</sup> Дальний – это никто, дальний – тот, кого не видишь, собирательный, еще не существующий человек. А ближний, по Евангелию, тот, кто рядом со мной, всегда живой, конкретный и неповторимый. Неслучайно и то, что все философии, идеологии, программы, которые ориентированы на «дальнее», «общее», «коллективное», так люто ненавидят религию и по некоему непреложному закону всегда борются с ней. Их приверженцы знают, конечно, что искоренить религию – значит уничтожить постепенно личность, и потому им страшны не те, кто декларируют о свободах и правах, а те, кто верят в Божественный дух и бессмертную душу, не сводимые ни к какой земной «пользе».

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26). Пока звучат эти слова на земле, пока помнят люди ту парадоксальную евангельскую арифметику, по которой один всегда важнее и ценнее девяноста девяти, не удастся уничтожить человеческую личность, не удастся, следовательно, и построить то до конца коллективизированное человечество, которое свое рабство назовет «свободой», свое подчинение безличной пользе – «правами», свою тюрьму – «земным раем». Как страшно, когда столь многие не понимают еще, что тоталитаризму во всех его видах противостоит на нашей земле только одно: вера в Бога, сотворившего человека по Своему образу и подобию, призвавшего его к свободе и вечности, – это и ничто другое.

Спор нашей эпохи – спор религиозный. Непонимать этого, не видеть, что все страшные проблемы современности можно понять лишь на глубине религиозного мирозерцания – значит прятать голову, по подобию страуса, под крыло. «Дальний» или ближний, человек или «человечество», с чего начать, во имя чего творить – вот вопросы, на которые рано или поздно придется ответить всем и каждому.

## Христианство и личность. Что отрицает и утверждает Рождество

Праздник Рождества Христова приобретет в наши дни особое значение, особую остроту. И это потому, что в основе его такой образ, такое понимание человека, которое яростно оспаривается прямо противоположным пониманием. И выходит, что праздник Рождества приобретает характер некоего вызова, т.е. одновременно и отрицания и утверждения.

Что же отрицает и что утверждает Рождество? Оно отрицает, прежде всего, образ человека, не только предлагаемый, но, увы, насильно навязываемый материализмом. Сколько бы ни говорил материализм о высоком достоинстве человека, в нём нет и не может быть человека как высшей и абсолютной ценности, ибо человек там – всецело от материи и без остатка ею определён.

С этой точки зрения, например, та «защита неотъемлемых прав человека», о которой теперь так много говорят, в перспективе материализма есть форменная бессмыслица и заранее обречена на полную неудачу. В самом деле, откуда у человека какие-то «неотъемлемые права»? Неужели нужно еще доказывать, что сама идея их, положенная в основу «Декларации прав человека»<sup>139</sup>, – идея религиозного происхождения, которая вне религиозного контекста рано или поздно оказывается совершеннейшим абсурдом? В материалистическом понимании человека права даются ему обществом, и оно же их может отнять, ибо общество, его процветание и прогресс суть ценности первого порядка. Поэтому никаких «неотъемлемых прав» человек не имеет, у него одно право – подчиняться обществу и следовать «объективным законам» его развития.

Все это избито и банально, что не мешает, однако, попыткам соединить несоединимое, т.е. принимать материализм как «научное мировоззрение» и одновременно ратовать за «права человека». Инициаторы этих попыток до сих пор думают, что миллионы уничтоженных жизней – всего лишь

недоразумение, трагическая ошибка, и не могут допустить, что это с железной необходимостью вытекает из основного закона материализма. А по этому закону все противящееся «объективному» ходу истории должно быть уничтожено.

Все это я говорю лишь с намерением подчеркнуть, что идея человека, провозглашаемая праздником Рождества, есть абсолютное отрицание этого «основного закона». Если материализм прав, то не было не только никакого Рождества, но и все то, чем было оно для человечества и мировой культуры, является наивеличайшим из всех бывших когда-либо на земле заблуждений.

Рождество отрицает, но, отрицая, – утверждает. Утверждает же оно то, что одно только и позволяет говорить о «правах человека», а именно, что человек божествен по своему замыслу и назначению, что он свободен и потому может возвыситься над законами природы, подчинив их себе, что призвание его – совершенство в свободе и творчестве.

Пора понять, что в контексте безбожно-материалистического миропонимания слово «свобода» не имеет и не может иметь никакого смысла. И что это так, опытно подтверждается тем, что ни одно общество, на таком миропонимании построенное, не было свободным. Ибо свободным может быть лишь то общество, которое как аксиому признает верховной и абсолютной ценностью человеческую личность. А этого как раз не признаёт, этого как раз и не может признать, не уничтожив сам себя, материализм.

Поймут ли наши борцы за права и свободы, что страшному расчеловечению человека противостоят не декларации и законы, не конституции и не гарантии, а только религия, и потому никакой компромисс здесь невозможен? Никакого «материализма с человеческим лицом», как принято говорить теперь, не было и никогда не будет.

И вот почему недостаточно знать, что есть Рождество, и недостаточно его просто по старинке праздновать. Нужно в наши дни всем существом своим взглянуться в излучаемый им свет, понять, что в нем только и сияет образ подлинной человечности, что свет этот – последний и единственный, что

вне его – крошечная тьма и уничтожение человека, сколько бы ни было в мире дутых деклараций!

Но как слабо мы сами, верующие, блюдем этот свет; как мало погружены в него! А сроки все укорачиваются... И неужели не поймем мы в этот страшный и, может быть, последний час, за что ведется на конечной глубине борьба и где та единственная сила, с которой возможна победа?

## **Внутренний человек. Самый насущный подвиг**

Больше всего не хватает современному человеку внутренней жизни – умения, да и просто желания, искать на глубине собственной души то, что не зависит от суеты и превратностей внешнего мира.

Ему так долго твердят, что все в мире и в нем самом определяется внешними условиями или, как теперь говорят, экономическими, политическими и общественными «структурами», его так оглушают информацией, набивают чужими словами и мыслями, от него требуют столь неопустительного участия во всем внешнем, что он и в самом деле оглох к внутреннему миру, сокрытому в нем. Наш мир живет под знаком действительно демонического замысла – превратить людей в послушных роботов, в существа, одинаково думающие, одинаково на все реагирующие и вследствие этого – одинаково управляемые.

И, конечно, потому и борются творцы этого общества роботов с религией, что она – последняя в мире сила, которая противостоит все ускоряющемуся обезличиванию человека, превращению его в социализированного робота. Бог обращается к каждой душе, и всегда по-особому. В Евангелии торжествует странная, так не похожая на нашу арифметика, согласно которой один человек ценнее девяноста девяти, ибо каждый из нас заключает в себе уникальный мир и на каждого направлен луч Божественной любви.

Религия никогда не обращена к толпе, или, как теперь говорят, к «массам». Никаких «масс», никакой толпы не знает Библия, не знает Евангелие, но только человека, связанного с остальными людьми не «общими интересами», а любовью, которая обращает каждую личность к другой, рождает желание встретиться с нею не на поверхности, а на глубине, проникнуть в ее внутренний мир.

Мы знаем чудное русское выражение: «Глаза – зеркало души». И действительно, есть что-то таинственно-радостное, когда встречаются люди глазами, когда хоть на секунду, но дано



нам увидеть в человеке не внешнее, а внутреннее. И если мы любим кого-нибудь по-настоящему, то не скажем, что любим в нем его нос, уши, руки или что-либо еще, нет – мы любим его. Мы любим самого этого человека, и чем глубже любовь, тем меньше способны мы определить, за что, в сущности, любим.

И как характерно, опять-таки, что идеология, которую нам навязывают, никогда ни слова не говорит о любви, но всегда – только о ненависти. Она утверждает, что люди разделены на «классы» и каждый человек определен не своей неповторимой внутренней сущностью, а «классовой принадлежностью». Какая злая, какая страшная ложь о человеке! И именно потому, что мы живем в этой лжи и она постепенно завоевывает, усыпляет, растворяя в себе, сознание миллионов людей, нам нужно, если мы не хотим погибнуть, начать подвиг возвращения к своему внутреннему миру, к своей душе.

«Есть целый мир в душе твоей!»<sup>140</sup> – сказал Тютчев. И только обретя этот внутренний мир, обретя свою душу, можно понять мир внешний и не стать его рабом. Ибо только в этом внутреннем мире встречает человек Бога – не себя, не «свое», а тот свет, что, по слову молитвы, «просвещает всякого человека, грядущего в мир»<sup>141</sup>. Никогда не обращается Бог к человеку в грохоте и суете внешнего – Он говорит изнутри, Он светит из души, из глубины совести, и потому, как сказал другой поэт, «закрой глаза, и ты увидишь, заткни уши, и ты услышишь, погрузись в блаженное и светлое молчание, и ты найдешь подлинные слова»<sup>142</sup>, и ты поймешь, что та брехня, то словоблудие, в которых мы живем, – жалкая и отвратительная карикатура на человеческую жизнь.

О, если бы мог современный человек, если бы мог каждый из нас сделать самое первое и, может быть, самое трудное усилие – обратить свой взор, свой слух вовнутрь, поставить между собою и оглушающим нас внешним миром невидимую преграду, чтобы не все видеть, не все слышать, не всему давать доступ в сокровенную глубину души, чтобы очистилась она от облепившей ее неправды и начала исподволь собирать себя, находить свой строй и лад, собственную гармонию.

Нелюбите мира, ни того, что в мире (1Ин.2:15) – так сказано в Новом Завете. Это совсем не значит, что мы призваны не любить мир Божий, данный нам Богом; но мы призваны не любить ту злостную и страшную карикатуру его, что видим вокруг. И, опустившись на светлую глубину души, мы снова найдем тот свет и ту радость, которые уже перестали различать в мире.

Подвиг внутренней жизни здесь и сейчас – самый насущный для человека. Об этом подвиге говорит Христос в Евангелии, когда призывает каждого войти во внутреннюю клетку души и обещает, что Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф.6:18). Этот призыв вовнутрь звучит в Евангелии постоянно. Ибо только тот, кто находит свое внутреннее, оказывается победителем внешнего.

Наша цивилизация направлена против внутреннего человека, и наша победа над этой цивилизацией должна быть победой внутреннего, т.е. духовного, по-настоящему свободного человека.

## Внутренний человек. Смертельная борьба

В одной из бесед я говорил о том, сколь трудно современному человеку понять смысл таких религиозных установлений, как Великий пост. Я говорил, что установление это родилось из самоочевидной, но забытой потребности человека – прервать обычное, суетливое течение жизни, погрузиться внутрь себя, в тишину и созерцание и, таким образом, попытаться увидеть свою жизнь с более глубокой и духовной точки зрения. И вот, говорил я, как раз потому, что этой тишины, этого созерцания, этого внутреннего так мало осталось в современном мире, нам особенно необходим Великий пост, или, вернее, то, к чему он призывает.

Вернемся сегодня еще раз к теме внутренней жизни. Как важно было бы понять, что именно на нее ведется натиск в наши дни, что именно ее хочет совершенно упразднить тот мир, та система жизни, которые воздвигаются на наших глазах. В одной из книг Нового Завета есть такое выражение – «внутренний человек» (см.: [2Кор.4:16](#)). Так вот, этого внутреннего человека и приговаривает к смерти современное общество, видя в нем величайшую для себя опасность. Это общество хочет безостановочного внешнего действия, требует, чтобы каждый человек целиком и без оглядки в него включился. Немог бы хорошо действовать мотор, если бы каждый винтик и пружинка в нем думали самостоятельно и были внутренне свободны. Но вот с некоторых пор именно мотор, именно машина и ее безличное действие стали провозглашаться идеалом человеческого общества и человеческой жизни. Уточним: идеал этот не в том, чтобы всем действовать совместно, а в том, чтобы каждый растворился в деятельности некоего безличного целого.

На наших глазах происходит, таким образом, смертельная схватка прямо противоположных пониманий человека. Веками самоочевидным считалось, что все общее, всякое «вместе» изнутри подчинено человеку, т.е. личности, т.е. каждому участнику этого «вместе». Самоочевидность эта укоренена была

прежде всего в религиозной интуиции, в религиозном понимании человека. На разных языках, в разных символах, на разных уровнях религия всегда утверждала одно: человек не сводится до конца ни к какому «целому». Все на земле временно и условно, не временна, но вечна и потому безусловна только человеческая личность. Поэтому, так или иначе, все в мире существует, всякое дело делается затем, чтобы каждый человек постиг и принял свое назначение и тем самым стал до конца человеком.

Мне возразят: «Как же так? А рабство? А эксплуатация? А бедность и приниженность миллионов людей в прошлом, недоступность для них элементарных жизненных благ, самого примитивного человеческого, земного счастья?» Я отвечаю: да, все это, несомненно, было, но лучшие люди всегда и всюду с этим боролись. Но и борясь с этим, они боролись, прежде всего, за признание вечной и абсолютной ценности каждого человека, – боролись, иными словами, со всем тем, что превращало каждого из людей в вещь, отрицая или ущемляя его «внутреннего человека». И как бы ни был плох и ограничен этот мир, в нем, в самом сердце этого мира как нравственный его закон всегда звучали слова: «Я пришел отпустить измученных на свободу (Лк.4:19). Я принес каждому человеку весть о его царском и божественном достоинстве».

Этой вестью, этим пониманием человека измерялась вся его жизнь. И вот произошел перелом, и я не знаю, до конца ли понимаем мы весь его трагический и зловещий смысл. Кто-то пришел и сказал: «Нет у человека никакого царского и божественного достоинства, нет вечности, нет ничего, что возвышает его над слепым и безличным законом материи. Он всего лишь пузырек, на секунду рождающийся и немедленно исчезающий на поверхности бескрайнего океана. И потому остается одно – слившись с океаном, найти в этом единственный смысл своего мимолетного существования». «У человека, – сказано было далее, – никакой цели нет. Цель есть только у человечества, и она в том, чтобы стать до конца однородным коллективом, где никто и никогда не скажет “я”, не поглядит на небо, не вздохнет всей грудью об иной судьбе».

Вот почему центральной задачей создаваемого на наших глазах общества остается борьба с внутренним человеком, а это значит – с подлинной свободой, подлинным творчеством, но прежде всего – с религией. Ибо нужно всеми силами помешать человеку встретить на своем пути нищего и бездомного Учителя, который посмотрит ему в глаза и скажет: «Знай, что ты дороже всего на свете, что у тебя есть вечная и бесценная душа, и если ты даже весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ты не будешь тем, что ты есть». Этого Учителя нужно заставить замолчать, Он слишком опасен для машины, ибо нарушает ее слаженность, портит винтики и пружинки. И если не будет этой встречи, то люди, быть может, постепенно забудут о своем «внутреннем человеке», заглушат в себе голос, все время зовущий к вечному, глубокому и несказанному.

Но вот послушайте, что поют в церкви Великим постом: «Душѣ моя, душѣ моя! Востани, что спиши? Конец приближается, и ймаши смутитися, но воспряни...»<sup>143</sup> Вот это «воспряни» и обращено к каждому из нас. «Конец приближается», еще немного, и мы уже не сможем проснуться, до конца растворившись во внешнем, окончательно превратившись в винтики и пружинки. И что пользы, если придет к нам когда-нибудь мизерное земное «счастье» – еда повкуснее, квартира побольше, автомобильчик и всякий ширпотреб? Нет, про него ли, не про это ли целиком внешнее, до конца расчеловеченное счастье сказал Блок в одном из самых печальных во всей русской поэзии стихотворений: «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы! О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней!»

Вот об этом Великий пост. Он смотрит мне в душу и говорит: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26).

## **«Вечная детскость». Восстановить целостность<sup>144</sup>**

Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк.10:15). Эти удивительные слова мы находим в Евангелии. В Евангелии вообще много и часто говорится о детях: «Будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное» (ср.: Мф.18:3; 19:14). Что это значит?

Тот мир, в котором мы живем, та цивилизация, которая определяет все наши взгляды, мысли и вкусы, пожалуй, почти уже неспособна услышать эти евангельские слова, поверить и, прибавлю, обрадоваться им. Ибо этот мир, эта цивилизация прежде всего предельно и угрюмо серьезны и гордятся этой своей серьезностью. Недавно, поддавшись общему настроению, даже некоторые христиане на Западе стали утверждать, что, поскольку мир достиг совершеннолетия, поскольку человек стал взрослым, прежняя, «детская» религия ему уже не подходит, и ее нужно перетолковать «по-взрослому». А это значит, по мнению «взрослых» христиан, – переложить на язык современной науки. Таким образом, даже религиозно настроенные люди стесняются детской своей веры и пытаются приспособить ее к «взрослому», или «научному», мировоззрению нашей цивилизации.

Но, может быть, стоило бы для начала спросить себя: что означают эти евангельские слова, этот призыв быть как дети, принять Царство Божие как дитя? Ибо вряд ли, конечно, означают они принципиальный отказ от развития знания, роста науки и т.д. В том же Новом Завете мы находим столько призывов к возрастанию, к тому, чтобы достичь «полной меры возраста Христова»! (см.: Ефес.4:13.) Все христианство есть сплошной призыв расти, развиваться, искать пути совершеннейшего. Поэтому, повторяю, призыв Христа быть как дети нельзя никоим образом выдавать за сопротивление знанию, за желание оставить человека темным и непросвещенным. И нужно ли снова и снова доказывать, что та самая наука, во имя которой теперь отрицают веру, религию, христианство, началась в монастырях; что первые университеты

были созданы Церковью; что на заре нашей цивилизации фактически все просвещение, или, как говорили тогда, «книжность», вдохновлялось именно религией? Философия, физика, медицина, химия – все они вышли из этого христианского вдохновения. Слова «доктор», «магистр», «кандидат» взяты из церковного словаря, ибо первоначально все ученые степени присуждались Церковью. Поэтому отбросим то крайне поверхностное, несправедливое и клеветническое толкование, согласно которому «быть как дети» означает принципиально оставаться на низшей ступени образования и развития и, в результате, стать жертвой обмана и эксплуатации корыстных людей.

Но вот Христос говорит: Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк.10:15). И еще: «Будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное». Что же составляет сущность этой детскости, в чем вечное, непреходящее ее значение? Для правильного ответа на этот вопрос нужно, я думаю, напомнить общеизвестный факт, что едва ли не для всех людей детство остается тем «золотым веком», «потерянным раем», к которому неустанно, с радостью и тоской, с любовью и печалью возвращается в воспоминании человек. Иными словами, теряя детство, человек теряет то, чего ему всю жизнь болезненно не хватает, о чем он непрестанно сожалеет, к чему все время мысленно возвращается. Что же это такое? Ответить можно одним словом – целостность. Это таинственное качество позволяет детям – и только им одним – безраздельно, всем существом отдаваться как радости, так и горю. Благодаря ему ребенок всегда весь без остатка пребывает в том, что его сейчас занимает. Вот выпала из рук у него игрушка – и, Боже, какое горе! Как он плачет, как все существо его содрогается от безутешной скорби! Но вот кто-то поднял, вернул ему эту игрушку, и он снова держит ее в своих маленьких ручонках, и снова он сама радость, и залитое слезами лицо сияет такой полнотой жизни, так благодарно и светло, что все кругом освещено этим светом и ликует этой радостью.

И именно эту целостность теряем мы, уходя из детства. И с этой точки зрения взрослость есть в первую очередь торжество

в нас раздвоенности, неспособности ничему целиком отдаться. Это глубокий, всеразъедающий скепсис, глубочайшее внутреннее недоверие и, как их следствие, – страх, постепенно отравляющий наше сознание. Посмотрите вокруг и убедитесь, что наш мир, наша цивилизация построены на этом скепсисе, взаимном недоверии и страхе, имеют в сердце своем эту «взрослую» раздвоенность. И вот все христианство есть сплошной призыв увидеть как бы со стороны этот безрадостный мир, эту взрослую грусть, в которой все двоится и распадается, отравленное недоверием, враждой, скукой. Ищите же прежде Царства Божия (Мф.6:33). И мы спрашиваем, что такое это Царство Божие, и слышим в ответ: «Радость и мир в Духе Святом» (ср.: Рим.14:17). Что же это за радость, что же это за мир, которых, по слову Христа, никто не может отнять у нас, если не возврат к детской способности жить целостно?

И все христианское учение есть учение о том, как вернуться к этой целостности, как восстановить ее в себе. «Кто не примет Царства Божия как дитя, тот не войдет в него». Кто не полюбит всей глубиной своего сознания, всем сердцем и душой иной образ жизни, кто не начнет медленного и трудного возврата к нему, тот никогда не поймет конечного смысла христианства, не услышит его тайного благовестия. Для чего тысячу дней и тысячу ночей стоял на камне в лесном одиночестве Серафим Саровский, если не для того, чтобы в самом конце этого длинного подвига собирания души и очищения ума вернуться к подлинной детскости, т.е. к целостности; если не для того, чтобы снова увидеть Божий мир и каждого человека как источник радости. Ибо именно этими словами – «Радость моя!» обращался он к каждому приходящему.

Да, мир возрастает в техническом знании, в умении, как мы говорим, «управлять силами природы». И все это окажется ни к чему, все это ни на йоту не улучшит жизнь на земле, пока каждый из нас не примет в самое сердце то, что один великий поэт назвал «вечной детскостью Бога»<sup>145</sup>.



## «Вечная детскость». Дар радости

В эти пасхальные дни уместно вспомнить самому и другим напомнить о радости. Ведь вот странная вещь: можно прочесть «Капитал» Маркса и ни на одной из сотен его страниц не найти даже слова «радость», можно прочесть Энгельса, а затем Ленина, да и любого идеолога или толкователя этой «всеобъемлющей» и «научно обоснованной» идеологии, и нигде не найти упоминания о радости, как будто она – дело столь детски несерьезное, что и вспоминать его стыдно. Только «экономический базис», «производственные отношения», «прибавочная стоимость», «капитал», «эксплуатация», «массы»... Читаешь-читаешь, и вдруг становится нестерпимо душно, и понимаешь, что главная ложь этой идеологии – не те или иные утверждения, а потрясающе глубокая безрадостность. И тогда ясно понимаешь и другое: именно из-за безрадостности своей идеология эта не способна понять ничего, что дарит радость, говорит о ней.

Отсюда и ее ненависть к религии. Как типично, что казенно-антирелигиозная пропаганда все время хочет доказать, будто религия есть нечто темное, безрадостное, полное страха и какой-то замогильщины. Но ведь это самая очевидная ложь! Вот Чехов, про которого всегда говорят, что он был неверующим, а потому и заслуживающим доверия, пишет в своей «Степи»: «Старики, возвращающиеся из церкви, всегда испускают сияние»<sup>146</sup>. И каждый раз, когда он касается религии, – например в рассказах «Студент», «В овраге», «Святой ночью» – в грусти его общего мироощущения начинает сиять маленький луч радости. Вслушайтесь в песнопения и молитвы Церкви, в них все время не только говорится о радости – они испускают эту радость, светятся ею: «Вот день, который сотворил Господь, – возрадуемся и возвеселимся»<sup>147</sup> (ср.: Пс.117:24).

И вот пишут, пишут о религии, разбирают ее по косточкам, уличают во лжи – и снова о радости ни слова, говорится ли при этом о Серафиме Саровском, который каждого проходящего к нему встречал словами «Радость моя!», или о святом

Франциске Ассизском<sup>148</sup>, вся жизнь которого – сплошной гимн радости о мире, о Боге, о человеке. В лучшем случае назовут эту радость «детски наивной», предполагая, что она недостойна взрослого, серьезного, делового человека. А вот христианство никогда не стыдится говорить: «Будьте как дети», имея в виду в первую очередь детскую способность к непосредственной и чистой радости. Для ребенка все праздник, все радость – каждое утро, каждый луч солнца, каждая встреча, каждый предмет, каждый человек. Итак, вопрос в том, что это – наивность и глупость, которая должна пройти с возрастом, сменившись «трезвым», «научным» подходом к жизни, или же то, что человек, увы, постепенно растрчивает, уничтожает в себе, то, к чему он хочет, но уже не может вернуться? Христианство утверждает второе. Оно учит, что падение привело человека к утрате радости и что спасение и восстановление человека – в возвращении этой чистой радости. Я возвещаю вам великую радость (Лк.2:10) – вот начало Евангелия, слова ангела пастухам в ночь Рождества; Радуйтесь! (Мф.28:9) – вот завет Христа ученикам в утро Пасхи; «Радость, которую никто не отнимет у вас» (ср.: Ин.16:22) – вот обещание Христа и, наконец, «великая радость» (ср.: Лк.24:52) – вот состояние, в котором ученики Христовы возвращаются с горы Вознесения. Радость, таким образом, поставлена во главу угла христианства как его движущая сила и вдохновение. Но о чем эта радость и в чем она?

Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся снова к детству и к детям. Для ребенка радость – не приложение к его миру, но метод узнавания этого мира. Ребенок входит в отношение с миром и овладевает им через радость. Но ведь то же можно применить и к радости взрослого. Мы, люди «серьезного», «технологического» века, считаем, что у нас только один орган познания, а именно разум. Мы разлагаем каждое явление на части и анализируем, измеряем, взвешиваем, думая, что познаём. Но это далеко не все знание. В любви, например, мы сначала радуемся человеку и только потом узнаём его. И можно сказать даже, что любовь – это и есть радость о человеке или о вещи и что в ней,

в этой любви, и человек, и вещь, и все на свете познаются так, как рассудку и научному анализу никогда не познать. Любовь и радость оказываются, таким образом, не чем-то добавочно-случайным, чего могло бы и не быть, а по-своему единственным и незаменимым путем узнавания и обладания. В Библии сказано, что Бог не только сотворил, но и благословил мир. И вот это благословение и есть радость о мире, и ею пронизана жизнь. И когда мы теряем, предаем ее в себе, мир становится темным, непроницаемым, холодным, чуждым и в конечном итоге непознаваемым. И холодным, мертвым делается наше познание мира. И пускай мы называем его «точным» знанием – оно, может быть, и точное, но неверное. Да, мы можем знать вес и размер самой прекрасной картины в мире, можем изучить все краски, все линии, но это не откроет нам красоты ее. И мы можем внезапно обрадоваться ей, и она станет для нас ясна и прозрачна.

Вот и в эти пасхальные дни нужно говорить о радости. Пасха – ведь это и есть вхождение в мир радости, возвращение ее к нам, это и есть всякий раз новый дар праздника человеку. Этой радостью продолжают жить миллионы людей, и ее, действительно, никто не отнимет у них.

## Последний враг. Мучительная дилемма<sup>149</sup>

Скажем прямо и без обиняков: вопрос о религии, о Боге, о вере неотделим в человеческом сознании от вопроса о смерти или, вернее, о том, есть что-нибудь после смерти или нет. Это пресловутый, не перестающий мучить человека вопрос о загробном мире. А так как никаких «научных», т.е. поддающихся проверке доказательств ни в ту ни в другую сторону здесь нет, вопрос этот остается, так сказать, вечно открытым и вызывает на протяжении тысячелетий страстные и мучительные споры.

Правда, официальные отрицатели потустороннего мира претендуют на какие-то «научные доказательства», позволяющие отрицать существование чего бы то ни было после смерти, в том числе бессмертие души. Но все эти «доказательства» можно разбить так, как разбивает их почти мимоходом писатель Набоков. Заметим при этом, что сам Набоков – человек неверующий. Вот в одном из его романов умирает после долгой и мучительной болезни человек. За несколько минут до смерти он пришел в себя, очнулся от длительного бреда, и к нему со всей силой возвращается в последний раз вопрос: есть что-нибудь там, после, или нет? В комнате, где лежит умирающий, закрыты ставни, и за ставнями слышится журчание воды. И вот умирающий говорит себе: «Конечно, ничего нет, это так же ясно и очевидно, как то, что за окном идет дождь». «А между тем, – замечает автор, – за окном сияло радостное весеннее солнце и квартирантка верхнего этажа поливала цветы на подоконнике, и вода, журча, лилась на нижнее окно». Таково ироническое опровержение всех подобных «доказательств» Набоковым. Да, идет дождь – ясно и очевидно! А на деле нет никакого дождя, есть солнце. Отсюда понятно, что не к науке надо обращаться с вопросами о загробной жизни – науке тут, в сущности, делать нечего. Ибо она занимается исключительно посюсторонним миром и все ее методы, инструменты, гипотезы и выводы только к нему, к его изучению и приспособлены.

Но если не к науке, то к чему же? К философии? Да, философия уже на заре человеческой мысли пыталась дать окончательный ответ на этот мучительный вопрос. Вот знаменитый диалог Платона «Федон», целиком посвященный доказательству бессмертия души, – по всей вероятности, одна из самых глубоких книг на эту тему. И не случайно герой другого литературного произведения судорожно ищет именно эту книгу перед тем, как покончить самоубийством. «Вот сейчас узнаю, – говорит он, – есть ли там что-либо или нет»<sup>150</sup>. Книгу он, правда, не находит. Но все же и доказательства Платона действуют, кажется, только на тех, кто и без него уже верит в это самое бессмертие души. Что-то не слышно, чтобы кто-нибудь на протяжении всей истории человечества, прочтя платоновского «Федона», сказал: «Да, раньше я не верил в бессмертие души, но вот Платон доказал его, и теперь я верю!» И то же можно сказать почти про все философские попытки это сделать.

Дополнительная трудность или же недостаток доказательств вроде платоновских в том, что ради утверждения другого мира они, в сущности, отрицают реальность и ценность мира посюстороннего. Вся жизнь мудреца, говорит Платон, есть вечное умирание, в этом мире – только страдания, только бессмыслица, только мучительные перемены, и, значит, должен быть другой мир, где все – счастье и блаженство, все – вечность и неизменность. Но ведь именно против подобного развенчания этого единственно ведомого нам мира, против его отрицания, обесценивания, обесмысливания и произошел в мире великий бунт, великий отход человека от религии. Ибо не может быть так, что Бог сотворил мир, жизнь и всю их красоту, все их возможности только для того, чтобы человек отказывался от них во имя неизвестного, всего лишь обещанного ему другого мира! А поскольку именно к этому призывают, по-видимому, все религии, то долой религию, обойдемся без нее, станем жить как можно лучше здесь на земле!

Получается, что человечество разделилось на два лагеря, вечно враждующих друг с другом из-за осмысления смерти. Одни во имя потустороннего мира отрицают этот мир и его

жизнь, уступая их бессмыслице и злу, ибо только там, говорят они, нет ни зла, ни бессмыслицы. Другие во имя этого мира, во имя здесь, отрицают всякую возможность вечности и, таким образом, превращают человека в нечто мимолетное и случайное. Но можно ли признать любое из этих решений приемлемым? Неужели выбор, стоящий перед нами, – это и вправду выбор между двумя абсурдами? С одной стороны – вера в Бога Творца, но отрицание Его творения, жажда уйти из мира Божия, с другой – утверждение этого мира как ужасающего по своей бессмыслице, ибо тот, кто только и может им наслаждаться, а именно человек, есть в нем случайный гость, обреченный на полное уничтожение.

Такая дилемма приводит к вопросу, который должен задать себе каждый из нас: «Как я на самой последней глубине своей отношусь к смерти? Что говорит о ней моя вера, основанная на учении о Воскресении?» Именно отсюда начинается обсуждение этой бесконечно мучительной проблемы. И, может быть, все дело в том, что настало время подойти к ней с мужеством и смирением.

## Последний враг. «Последний же враг истребится – смерть»<sup>151</sup>

Последний же враг истребится – смерть (1Кор.15:26). Так на заре христианства пишет апостол Павел, обратившийся к Христу от яростного преследования, от страстной ненависти к христианам. В прошлой беседе я говорил, что вопрос, точнее, недоумение о смерти стоит в самой сердцевине человеческого сознания и что отношение человека к жизни, то, что мы называем его мироощущением, или мировоззрением, определяется, в сущности, отношением к смерти. Я говорил также, что существует в основном два таких отношения и оба явно неудовлетворительны, оба не дают настоящего ответа. С одной стороны, это своего рода отрицание жизни во имя смерти. Я цитировал греческого философа Платона: «Жизнь праведника есть вечное умирание». Здесь, как и во многих религиях, смерть побеждает, неизбежность ее обесмысливает жизнь, ибо если каждому суждено умереть, то лучше все надежды, все упования перенести туда, в таинственно-потусторонний мир. Но такой ответ я называю неудовлетворительным, потому что именно о потустороннем мире и не знает ничего человек. А как можно сделать предмет своей любви то, чего не знаешь? Отсюда – и я тоже говорил об этом – восстание человечества против «погребальных» философий и религий, отрицание этих печалью пронизанных мировоззрений. С другой стороны, отрицая их во имя этой жизни, этого мира, человек не освобождается от навязчивого ощущения приближающейся смерти. Напротив, лишенный перспективы вечности, он делается еще более хрупким, еще более эфемерным на этой Земле: «И мы по квартирам пройдем с фонарем, и тоже поищем, и тоже умрем»<sup>152</sup>, – писал Пастернак.

И вся современная цивилизация пронизана, оказывается, страстным желанием заглушить страх смерти и каплющее из нее, как яд, чувство всеобщей бессмыслицы. Что такое напряженная борьба с религией, как не безумное стремление

выкорчевать из человеческого сознания память о смерти и, следовательно, вопрос: «Для чего живу я этой мимолетной, хрупкой жизнью?» Итак, два ответа, и оба в конечном итоге настоящего ответа не дают. Это заставляет нас спросить: «Что же говорит о смерти христианство?» Ибо, даже и не зная почти ничего о христианстве, мы не можем не помнить, хотя бы смутно, что его подход к смерти – другой, не сводимый ни к одному из тех, о которых говорилось. Этот подход ясно выражен в словах апостола: Последний же враг истребится – смерть (1Кор.15:26). И вот мы сразу же попадаем совсем в другое измерение: смерть – это враг, который должен быть истреблен! И сразу оказываемся бесконечно далеки от Платона с усилиями заставить нас не только свыкнуться с мыслью о смерти, но и полюбить ее, сделать саму нашу жизнь, как он говорит, постоянным упражнением в смерти. Христос плачет у гроба Своего умершего друга Лазаря – какое это потрясающее свидетельство! Христос не говорит: «Ничего, зато он теперь в раю, ему хорошо, он освободился от этой трудной и печальной жизни...» Христос не говорит всего того, что говорим мы в своих жалких неутешительных утешениях, – Он плачет. А затем, по рассказу Евангелия, воскрешает Своего друга, т.е. возвращает его в ту самую жизнь, освобождение от которой мы якобы и должны принимать за благо. И разве не составляет сердцевину христианства Пасха с ее радостной вестью, что смерть побеждена, что «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ»; разве не вошло христианство в мир и не побеждало его столетиями неслыханной вестью о том, что поглощена смерть победой; разве христианская вера не есть вера в воскресение Христа из мертвых и в то, что «восстанут мертвые и сущие во гробах возрадуются»?<sup>153</sup> Да, конечно, все это так, но, пожалуй, и в самом христианстве, и у самих христиан тоже ослабела эта победная, эта действительно новая и, с точки зрения мира сего, безумная вера. И христиане тоже стали тихенько возвращаться к Платону с его противопоставлением не жизни и смерти как двух врагов, а противопоставления двух миров: этого и потустороннего – мира, в котором якобы блаженствуют бессмертные души людей. Но ведь Христос



говорил совсем не о бессмертии души, он говорил о воскресении мертвого, и как не видеть, что между двумя этими явлениями существует целая пропасть. Ведь если дело только в бессмертии души, то тогда, в сущности, и смерти никакой нет и зачем тогда все эти слова о победе над ней, о разрушении ее и о воскресении? Последний же враг истребится – смерть. Так вот, спросим себя: в каком же смысле смерть – враг? Чей она враг? И если так, то как же стал этот враг царем земли и владыкой жизни? Помните стихотворение Владимира Соловьева:

«Смерть и время царят на земле, Ты владыками их не зови». Но как же можем мы не звать владыками все то, что стало нормой, законом существования, с чем давно уже примирился сам человек, против чего он сам перестал протестовать и возмущаться и в своей философии, в своей религии, своей культуре ищет с этим врагом какого бы то ни было примирения и компромисса? Да, неслыханно христианское учение о смерти. И сами христиане его не выдерживают. Ибо не о примирении со смертью, а о восстании против смерти идет речь в христианстве. И когда об этом говорят, как говорил «безумный» русский философ Федоров, то сразу раздается голос разума, голос примирения, голос неизбежности. Но если так, повторяю, бессмысленна христианская вера, ибо уже апостол Павел сказал: Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна (1Кор.15:17). Вот к этой теме, христианскому пониманию смерти мы и перейдем в следующей нашей беседе.

## Последний враг. Отравленный плод<sup>154</sup>

В прошлой беседе я вспоминал евангельский рассказ о Христе, плачущем у гроба Своего друга Лазаря. Надо еще раз вдуматься в этот плач, ибо тут совершается своего рода революция внутри религии, внутри прежнего ее подхода к смерти.

Я уже говорил о смысле этой революции: до этого момента смысл религии, как и смысл философии, заключался в том, чтобы примирить человека со смертью и сделать ее, если возможно, желанной. Смерть как освобождение от темницы тела, смерть как освобождение от страданий, смерть как избавление от изменчивого, суетного, злого мира, смерть как начало вечности – вот, собственно, сумма всех религиозных и философских учений до и вне Христа – в древних культах, в греческой философии, в буддизме и т. д. Но Христос плачет у гроба и этим самым являет Свое возмущение смертью, Свой отказ принять ее и примириться с ней. Внезапно смерть как бы перестает быть «натуральным» явлением, вскрывается как нечто предельно недолжное, противоестественное, страшное и уродливое, провозглашается врагом: Последний же враг истребится – смерть (1Кор.15:26). И чтобы почувствовать всю глубину, поистине революционность этой перемены, нужно начать с истоков этого совершенно нового, неслыханного подхода к смерти.

Истоки же эти определены с предельной краткостью в другом месте Священного Писания, где сказано: «Бог смерти не сотворил» (ср.: Прем.1:13). А это значит, что в мире, в жизни, в природе воцарилось и продолжает царствовать то, что не восходит к Богу, то, чего Он не хотел, не сотворил, что против Него, вне Его. Бог сотворил жизнь, Бог всегда и всюду Сам называет Себя Жизнью и ее Подателем. Бог вечно детском, вечно новом рассказе Библии радуется Своему миру, его наполненностью светом и радостью жизни. Предельно заостряя смысл библейского откровения, можно сказать так: смерть – это отрицание Бога, и если смерть «натуральна», если она –

последняя правда о мире и жизни, высший и непреложный закон всего существующего, то Бога нет и весь рассказ о творении, о радости и свете жизни – обман.

Но тогда и самый важный, самый глубокий вопрос всей христианской веры – это вопрос о том, откуда возникла смерть, как и почему стала она сильнее жизни, как и почему воцарилась в мире, превратив его в космическое кладбище, где приговоренные к смерти изнемогают от ужаса или ищут забвения в суете. На этот вопрос христианство отвечает так же твердо и кратко: «И грехом вошла в мир смерть» (ср.: Рим.5:12). Для христианства, иными словами, смерть есть явление прежде всего нравственного порядка, катастрофа духовная. В каком-то последнем, почти не передаваемом словами смысле человек захотел смерти или, может быть, лучше сказать, не захотел той жизни, которую свободно, в любви и радости дал ему Бог. Жизнь – нужно ли доказывать? – есть сплошная зависимость. Человек «не имеет», говоря словами Священного Писания, «жизни в себе» (ср.: Ин.6:53), он всегда получает ее извне, от других, и она всегда зависит от другого: от воздуха, пищи, света, тепла, воды. Именно эту зависимость подчеркивает с такой силой материализм, и здесь он прав, ибо человек, в самом деле, биологически и физиологически подчинен миру. Но там, где материализм видит последнюю правду о мире и человеке, где он принимает этот детерминизм как самоочевидный закон природы, там христианство видит падение и извращение, видит то, что оно называет первородным грехом. Ибо в библейском рассказе Бог дает человеку мир как пищу, и это значит, что пища, дар Божий, дана человеку, чтобы он жил, сама же его жизнь не в пище, не в зависимости от мира, а в Боге.

Человек жив Богом – вот смысл удивительного рассказа о том, как Бог беседовал с Адамом в прохладе дня (см.: Быт.3:8). Мир – это вечное самооткровение Бога человеку, это только средство общения, это постоянно свободная, любовно-радостная встреча с единственным содержанием жизни, с Жизнью самой жизни – с Богом. «Для Себя Ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя».

Но как раз этой жизни – и здесь смысл христианского учения о грехе, – этой жизни в Боге, с Богом и для Бога не захотел человек. Он захотел жизни для себя, в себе самом увидел цель, смысл и содержание жизни, и в этом свободном выборе себя, а не Бога, в предпочтении себя Богу, сам того не сознавая, стал до конца рабом мира и своей зависимости от него. Человек ест, чтобы жить, но через свою пищу он приобщается смертному, ибо нет жизни в пище как таковой.

«Человек есть то, что он ест», – сказал Фейербах. Да, это правда, но ест он только то, что умерло. Человек ест, чтобы жить, – но вот он стал жить, чтобы есть, и в порочном круге заключен страшный детерминизм человеческой жизни. Смерть, таким образом, есть отравленный и вечно действующий плод того распада жизни, в котором человек свободно подчинил себя смертному, не имеющему в себе самом жизни миру. «Бог смерти не сотворил», ее ввел в мир человек, свободно захотевший жизни лишь для себя и в себе, оторвавший себя от источника, цели и содержания жизни – от Бога. И потому смерть стала верховным законом жизни – смерть как распад, смерть как разлука, смерть как временность, скоротечность, призрачность всего на земле. Чтобы утешить себя, человек создал мечту о другом мире, где смерти нет, и тем самым отдал этот мир, до конца подчинив его смерти.

И только уяснив христианский взгляд на смерть как плод изменения самой сущности жизни, можно заново расслышать христианское благовестие о разрушении смерти Воскресением.

## Последний враг. Причастие смерти

Враги христианства ничто так не любят обличать в нем, как его учение о грехопадении. В этом учении видят они унижение и оскорбление человеческого достоинства, пессимистическое отношение к человеку. Но, может быть, в свете того, что я говорил в предыдущих беседах, обвинение это теряет свою демагогическую остроту?

Я начал одну из предыдущих бесед крылатой фразой основоположника новейшего материализма Фейербаха: «Человек есть то, что он ест». Только вместо того, чтобы возмущаться редукцией человека к пище и материи, я утверждал, что Фейербах, сам того не зная, сказал буквально то же, что говорит о человеке Библия. Ибо Библия учит о человеке как о существе алчущем и жаждущем, как о существе, претворяющем мир в собственную жизнь. Но в отличие от Фейербаха, подчинившего человека пище и материи, Библия видит в этом претворении человеческое призвание сам мир претворить в жизнь и таким образом в путь к общению с ее началом и вечным смыслом – Богом. Я говорил, что на Божий дар человеку – дар мира как пищи и жизни – человек отвечает благодарением и хвалой, наполняя и преображая ими мир. И только в свете библейского учения можно понять и то, почему символом грехопадения человека в Библии тоже является пища.

По библейскому и, значит, символическому рассказу, человек получил в пищу весь мир, кроме «запретного» плода. И вот человек этот плод съел, не поверив, не послушавшись Бога.

Что же значит библейский рассказ, который звучит как детская сказка? Он значит, что плод этого дерева, в отличие от всех других, не был Божиим даром человеку. На нем не было благословения Божия, и, пожелав его, человек пожелал иметь жизнь не для Бога, а для себя и потому, съев этот плод, подчинил себя пище.

Итак, грехопадение человека состояло в том, что он захотел жизни для себя и в себе, но не для Бога и в Боге. Бог сделал

весь мир общением с Собой, но человек захотел его только для себя. На любовь Бога человек не ответил любовью: он полюбил мир, но как самоцель. Но мир не может быть самоцелью. Как пища, не претворяемая в жизнь, попросту бесполезна, так и мир, переставший быть прозрачным для Бога, есть суета сует, бессмысленный круговорот времени, где все течет, все умирает и исчезает.

В божественном замысле о человеке зависимость его от мира все время преодолевалась претворением самого мира в жизнь, жизнь же есть имя Бога. В Нем, – говорит Евангелие, – была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин.1:4). Но если мир не во что претворять, если жизнь перестает быть его претворением в общение с абсолютным смыслом, абсолютной красотой, абсолютным добром, то мир этот не просто обесмысливается – он становится смертью. Ничто не имеет жизни само по себе, но гибнет и исчезает вне источника жизни. Отрезанный от своего стебля, цветок еще некоторое время может жить в воде и украшать комнату, но мы знаем, что он уже умирает, уже подчинился тлению. Человек съел запретный плод, думая, что он даст ему жизнь. Но сама пища вне и без Бога есть причастие смерти. Неслучайно все, что бы мы с тех пор ни ели, прежде чем стать нашей пищей, должно умереть. Мы едим, чтобы жить, но поскольку все время вкушаем то, что лишено жизни, сама пища неуклонно ведет нас к смерти. Ибо из смерти не происходит, не может произойти жизнь.

«Человек есть то, что он ест». Так вот, он ест... смерть! Ест мертвых животных, мертвую траву, все, что поражено тлением и распадом, а в итоге умирает сам. И, может быть, еще большее падение человека в том, что эту смертную и распадающуюся жизнь – жизнь, от рождения пораженную тлением и безвозвратно утекающую, – он, человек, считает «нормальной». И в этом лишний раз убеждают нас все обвиняющие христианство в «унижении человеческого достоинства». Но Христос, придя на гроб Своего друга Лазаря и услышав: Господи! уже смердит (Ин.11:39), не нашел это «нормальным» и заплакал.

«Образ есмь неизреченная Твоя слава», – говорит Церковь о человеке от его собственного лица. Но кого убивают, прячут по смерти, чтобы не смердел и не мешал живым? Все того же человека, образ и подобие Божие, царя и венец творения. И вот эту страшную бессмыслицу мира, эту суету на космическом кладбище, эти смехотворные попытки что-то выстроить для уже умирающих и мертвых и, наконец, признание всего этого «нормальным» и «естественным» христианство объявляет падением, изменой человека своему божественному назначению. И не желая с этим мириться, твердо и ясно заявляет: Последний же враг истребится – смерть (1Кор.15:26).

Мы начали эти беседы с пищи, с фейербаховского «Человек есть то, что он ест». И увидели, что христианство согласно с этой формулой, но совсем иначе отвечает на вопрос, какова та пища, которая только и может насытить человека. Фейербах и материалисты всех оттенков, отвечая на этот вопрос, говорят: «Человек хочет свободы, благоустройства и сытости!» Но зачем нужны свобода, благоустройство и сытость приговоренному к смерти? Зачем строить дачи на кладбище? Что бы мы ни делали, все упирается в ту же бессмыслицу, которую так хорошо выразил Владимир Соловьев: «Смерть и Время царят на земле...» Христианство же на этот вопрос отвечает: «Человек хочет жизни, и не на миг, а на целую вечность». Той жизни, которая в церковном песнопении так изумительно названа «жизнью нестареющей»<sup>155</sup>. Но жизнь эта не в пище, хотя человек и получает ее через пищу, а в Том, Кто Сам есть жизнь. Поэтому впавший в смерть и рабство пище, сделавшийся только «тем, что он ест», человек нуждается в спасении. Это спасение, восстановление, воскрешение человека от смерти к жизни – другая важнейшая тема христианства.

## Последний враг. Приобщение к жизни<sup>156</sup>

Все то, что в прошлых наших беседах сказали мы о смерти, теперь уже вплотную подводит нас к главной, сердцевинной теме христианства – благовестию Воскресения. Подчеркиваю: к благовестию не просто бессмертия души после ее разделения с телом, не какого-то развоплощенного существования в «потустороннем» мире, а именно воскресения. «Воскреснут мертвии, и востанут сущии во гробех, и вси земнороднии возрадуются» – как победно гремят эти слова, как торжественно и радостно, словно обещание, словно уже видение будущего, падают они поздней ночью в Великую пятницу, когда сквозь мрак и печаль Гроба, Креста, Плащаницы начинает исподволь разгораться свет нарастающей Пасхи! И самое древнее христианское исповедание веры, так называемый Апостольский символ<sup>157</sup>, попросту утверждает: «Верую в воскресение тела».

Когда воскресший Христос явился испуганным, растерянным ученикам, те, по слову Евангелия, думали, что видят привидение. Но Он сказал им: «Не бойтесь, это Я. Осяжите Меня и убедитесь в этом, потому что привидение не имеет тела» (ср.: Лк.24:38–39). И потом взял пищу – рыбу и хлеб – и ел перед ними. С проповедью Воскресения вышли из Иерусалима апостолы, о Воскресении проповедовали они до краев земли. И это благовестие апостолов принимали, о нем радовались, им жили те, кто делали его своим. А для тогдашнего мира то была неслыханная проповедь: этот мир еще мог как-то, с грехом пополам, поверить в бессмертие души, но воскресение тела казалось ему абсурдом. Когда апостол Павел заговорил об этом в Афинах – в самом сердце греческой мудрости и просвещения, поначалу заинтересовавшиеся им философы рассмеялись и сказали: Об этом послушаем тебя в другое время (Деян.17:32). Но я не побоюсь сказать, что и теперь, спустя две тысячи лет от начала христианства, трудно, почти невозможно человеку принять эту проповедь – принять и понять, почему именно с нею стоит и без нее падает само христианство.



Да, мы празднуем Пасху; да, несомненно, что-то происходит в нас и с нами, когда слышим мы каждый год, как разрывается ночная тишина этим единственным возгласом – «Христос воскрес!», этим единственным ответом – «Воистину воскрес!». Но когда начинаем думать о смысле всего этого, о том, что же, собственно, празднуем мы в пасхальную ночь, чему радуемся и что значит радость эта для нас, все становится смутным и непонятным.

Воскресение тела – но что же это значит? Где оно, это тело, растворившееся в земле, вернувшееся в таинственный круговорот природы? Что, эти кости воскреснут? Да и для чего нам тело в той таинственной для нас, потусторонней «духовной» жизни? И не научили ли нас философы и мистики всех времен, согласно которым положительный смысл смерти в том, что она освобождает нас наконец от «темницы тела», упраздняет нашу зависимость от материального, физического, телесного, делает нашу душу легкой, невесомой, до конца свободной, «духовной»?

Но может быть, все эти вопросы предстанут для нас в новом свете, если мы поглубже вникнем в понятие тела, причем не абстрактно, не отвлеченно-философски, а, так сказать, опытно, – если, иными словами, задумаемся о его месте в нашей жизни. С одной стороны, совершенно очевидно, что тело изменчиво и непостоянно. Ученые-биологи подсчитали, что все без исключения клеточки, составляющие наше тело, меняются каждые семь лет и что, с физиологической точки зрения, через каждые семь лет у нас, таким образом, оказывается новое тело. Итак, то тело, которое в конце жизни полагают в могилу или сжигают, не больше мое, чем все предшествующие тела. Ибо тело каждого человека есть не что иное, как форма его воплощения в мире и зависимости от мира, с одной стороны, и его жизни, его действия в мире – с другой. Тело – это, в сущности, мое отношение к миру, к другому человеку, это моя жизнь как общение и как взаимосвязь.

Все, решительно все в человеческом теле, в человеческом организме создано для этой связи, для этого общения, для этого как бы «выхода из себя». Неслучайно, конечно же, именно

в теле находит свое воплощение любовь – наивысшая форма общения. Тело – это то, что видит, слышит, участвует и, таким образом, выводит меня из одиночества моего «я». Но тогда, может быть, нужно сказать не «Тело – темница души», а наоборот: «Тело – ее свобода», ибо тело есть душа как любовь, душа как общение, душа как жизнь, душа как движение. И потому, теряя тело, отделяясь от тела, душа, в сущности, теряет жизнь, умирает, даже если это умирание души не есть полное исчезновение, а uspение, или сон. И ведь действительно, всякий сон, а не только сон смерти, есть некое умирание организма, ибо во сне спит и бездействует именно тело. Но тогда нет жизни, кроме призрачной, нереальной, нет ничего, кроме сна.

А если так, то христианство, говоря о воскресении тела, говорит не об оживлении костей и мускулов (ибо и кости, и мускулы, и вся материя, вся ткань нашего мира – это все те же несколько основных элементов, а в итоге – атомов, и нет в них ничего специфически личного, ничего лично моего). Оно говорит о восстановлении жизни как общения, о том «теле духовном» (см.: 1Кор.15:44), которое сами мы за всю нашу жизнь создали себе любовью, заинтересованностью, общением, выходом из себя. Оно говорит не о вечности материи, а об окончательном ее одухотворении, о мире, который до конца, целиком становится телом, а значит – жизнью и любовью человека, о мире, который до конца становится приобщением к жизни.

Кульτ кладбищ и памятников – не христианский кульτ, ибо не о растворении в природе некоей части материи, бывшей кому-то телом, идет речь в христианском благовестии, а о воскресении жизни во всей ее полноте и целостности, осуществленном любовью. В этом смысл Пасхи, в этом последняя сила и радость христианства, которое говорит: Поглощена смерть победою (1Кор.15:54).

## Последний враг. Спасение: от чего и как?<sup>158</sup>

Христианство есть религия спасения. Но спасения от чего и как?

Увы, здесь опять сами христиане так часто упрощали, так часто огрубляли учение Евангелия и Церкви о спасении, что давали повод для упрощения и огрубления его врагам религии. «Христиане – это маленькие и слабые людишки, которым нужно спасение. Нам спасения не нужно, мы сами себя спасем. В борьбе обрешь ты право свое! Можно прибавить – и спасение» – так или примерно так в тысяче вариантов отвечает христианству антирелигия. Вот почему понять, что значит «спасение» на языке Евангелия и Церкви, – дело насущно необходимое.

Но понять это можно только в свете того, что говорилось в прошлых беседах о падении человека. Ибо речь идет не о спасении от несчастных случаев, болезней, страданий и т.п. И это, казалось бы, должны ясно понимать христиане, которые между тем в религии своей частенько видят некую «страховку», гарантию сверхъестественной помощи, как бы восполняющей помощь естественную. Но такое понимание спасения есть понимание извращенное и огрубленное. Это со всей очевидностью следует из свидетельства самого Евангелия о том, как в страшную ночь предательства Христос, молившийся, чтобы миновала Его чаша сия, начал скорбеть и тосковать (Мф.26:37). И если бы христианство было религией спасения от земных зол и печалей, его следовало бы считать провалившимся. Нет, не об этом спасении говорит оно, но о спасении человека от той радикальной и трагической перемены, что произошла и происходит все время в нем самом, – перемены, исправить которую он неспособен самостоятельно. Имя этой перемены – смерть как не просто прекращение жизни, но превращение ее в бессмысленное угасание, а всего мира – в космическое кладбище. Неслабый, а сильный хочет спасения от смерти. Слабый хочет того муравьиного счастья, какое предлагают ему идеологии, раз навсегда примирившиеся со

смертью. Слабый соглашается пожить кое-как, а потом умереть, сильный же считает это недостойным человека и его назначения в мире.

Так рушится главное обвинение: «Слабенькие вы, христиане, и потому вам нужно спасение». Ненам одним оно нужно, а тому образу мира и жизни, что живет в человеке и всей сутью своей противостоит бессмысленной суете, конец которой – тление и смерть.

Таким образом, спасение в христианском понимании есть восстановление той жизни нестареющей, для которой человек создан! И не слабость, а сила человека в том, что этого спасения он ждет и поучает его от Бога. Ибо Бог и есть та жизнь, которую потерял человек, подчинив себя без остатка миру, растворившись во времени и смерти. И вот вслед за апостолом Иоанном Богословом мы верим и знаем, что жизнь явилась (1Ин.1:2). Бог спас нас не принуждением и устрашением, но явлением среди нас, в мире, ради нас и ради мира Самой Жизни. Жизни как Божественной мудрости и добра; жизни как красоты мира и человека; жизни, способной изжить и претворить смерть. И явилась эта Жизнь не как еще одна философская теория, не как новый принцип организации, а как Богочеловек.

Да, христианство учит и возвещает, что в одной точке времени и пространства, в одной Личности явилась Божественная жизнь в образе совершенного Бога и совершенного Человека – Иисуса Христа из Назарета Галилейского. Ученый-скептик, так называемый современный человек пожмет плечами: «Что за чушь?» Но вот чушь или не чушь, а на протяжении почти двух тысяч лет этот образ, эта Личность, эта Жизнь сохраняют ни с чем не сравнимую власть над человеческим сердцем. Нет учения, нет философии, которые за это время не изменились, нет государства, нет формы жизни, которые не ушли бы в вечность! И если было и есть в мировой истории чудо, то это память о Богочеловеке, не написавшем ни одной строчки, не заботившемся, что скажут о Нем после, умершем позорной смертью на кресте, но по-прежнему живущем в тех, кто верят в Него. Он навеки сказал о Себе: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин.14:6). И этим путем

идут, эту истину хранят, этой жизнью живут миллионы людей, так что даже самое могущественное государство, организовавшее по единому образцу всю жизнь человека с рождения до смерти, контролирующее каждое его слово, каждую мысль, каждый вздох, ничего не может с этим поделать.

Христос есть Спаситель мира – вот древнейшее христианское утверждение. Он спас мир и всех нас тем, что заново даровал нам жизнь, от смерти и времени не зависящую. Вот это и есть спасение. Услышав, как апостол Павел, прежний гонитель христиан, восклицает: Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп.1:21), мы можем сказать: «Да, в мире совершилась какая-то радикальная перемена. Люди продолжают умирать, мир по-прежнему наполнен разлукой, печалью и страданием, но в нем вспыхнул и продолжает гореть свет веры. Веры не только в то, что наше существование продолжится где-то за пределами земной жизни – в это верили и до Христа, – а в то, что сам мир, сама жизнь вновь обрели смысл и глубину, что само время наполнилось светом, что вечность вошла в нашу жизнь прямо здесь и сейчас».

Эта вечность есть знание Бога, открытое нам Христом. Нет больше одиночества, нет страха и тьмы, ибо Я с вами, – говорит Христос, – во все дни до скончания века (Мф.28:20). Вечность есть та заповедь любви, которую оставил нам Христос: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин.13:35). И наконец, эта вечность есть мир и радость в Духе Святом, которых, по слову Христа, никто не отнимет от нас (см.: Ин. 16:22).

И все это есть спасение.

## Последний враг. Испытание на глубину<sup>159</sup>

В эти дни, когда приближается Пасха, мысль почти невольно сосредотачивается на теме, которую так упорно замалчивает антирелигиозная пропаганда, но которая не может не стоять, так или иначе, в центре человеческого сознания, – на теме смерти.

Для христиан Пасха – прежде всего праздник победы над смертью, ибо «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». В эпоху внешнего торжества христианства, когда Пасха была как бы самоочевидным средоточием всего года, а ее радость и ликование – главной радостью людей, смысл этого праздника можно было не объяснять. Но для современного человека, которому не известно толком ничего, который не знает, что происходит в пасхальную ночь, и ни разу не ощутил в сердце радостного содрогания, когда из темной глубины раздается первое «Христос воскресе!», – для такого человека Пасха перестала, конечно, быть тем, чем была она веками – символом, доказательством, свидетельством того, что тьма и безнадежность смерти преодолены.

Антирелигиозная пропаганда любит утверждать, что один из источников религии – страх смерти, что из этого страха родилась идея бессмертия души, загробного мира, вечности, между тем как ничего этого на деле нет и человек с физической смертью превращается в ничто. Меня всегда удивляло та жесткость и одновременно – то необъяснимое вдохновение, с которыми антирелигиозная пропаганда отстаивает это самое «ничто». Выходит, что растворение человека в «ничто» – это очень хорошо, просто замечательно, а вечность и бессмертие почему-то ужасно вредны и с ними надо всеми силами бороться.

Ведь, казалось бы, если и вправду можно было бы доказать, что смерть – абсолютный конец, что после нее ничего нет и быть не может, то радости в этом мало. Вот жил человек, страдал, любил, вдохновлялся – и все кончено, как будто его и не было. И потому вечную, неистребимую мечту о бессмертии,

эту потребность в бессмертии следовало бы признать высокой, заслуживающей уважения. Но нет: ни с чем так упорно, так ожесточенно не борется, ничто не ненавидит так антирелигиозная пропаганда, как эту самую идею бессмертия, эту веру в вечность человека.

Но вдумаемся в эту тему по существу. Прежде всего, религии нечего краснеть от упреков, что ее «слишком занимает» смерть, как и от обвинения, что родилась она из страха смерти. Смерть для человека – слишком важное явление, чтобы можно было о нем не думать, делая вид (как поступает антирелигиозная пропаганда), что тут и думать не о чем, а гораздо важнее вопросы очередной «пятилетки». Страх смерти присущ человеку, есть часть его человечности, ибо человек инстинктивно ощущает страшное и, можно даже сказать, поразительное несоответствие между опытом своего «я» и сознанием, что это «я» должно умереть, исчезнуть. В том-то и дело, что сколько бы ни твердили мне, будто смерть – явление самое что ни на есть «естественное», все мое «я» ощущает ее не только как неестественную, но и как противоестественную, и сколько бы нам ни говорили о закономерности и естественности смерти, связанный с нею страх лучше всего показывает, что дело тут совсем не так просто. Всего естественного для его природы человеку свойственно хотеть, но вот смерти, растворения в ничто, «черной бани с пауками»<sup>160</sup>, о которой говорится у Достоевского, «раковинного гула небытия»<sup>161</sup>, никто не хочет.

Смерть всегда и всюду остается некоей тайной, в которую человек, поскольку он не машина, не робот, не муравей, не может не вглядываться и не вдумываться. И все попытки антирелигиозной пропаганды тему эту попросту снять, заменив какими-то псевдонаучными рассуждениями, говорят о ее плоскости и убожестве. И когда она призывает преодолевать страх смерти заботой о счастье грядущих поколений, призыв этот удивительно глуп. Ибо если видеть трагизм человека в присутствии ему сознании собственной смертности, то трагизм этот остается и в будущем, каково бы ни было внешнее, материальное счастье пресловутых «грядущих поколений».

Если каждый человек – ибо никакого «человечества вообще» нет, есть лишь конкретные люди – обречен рано или поздно обратиться в ничто, если все его познания и усилия, жертвы и мечты растворяются в небытии, то позволительно спросить: почему этот ужасающий абсурд менее абсурден оттого, что в будущем умножится «социальная справедливость» и улучшится домовое отопление? А ведь ничего другого, по сути, не обещают все философии и идеологии, отрицающие бессмертие и вечность. Но тогда гораздо последовательнее и честнее оказываются проповедники экзистенциализма<sup>162</sup>, которые так и начинают с утверждения абсурда и бессмысленности человеческой жизни. Тогда и в словах Льва Толстого: «И после глупой жизни настанет глупая смерть» больше правды, чем в бесконечной болтовне идеологов будущего счастья.

Все это приводит нас к простому утверждению: смерть для человека – дело предельной важности, тема самого глубокого размышления. И глубина религии проявляется в том, что она эту тему не обходит. Но антирелигиозная пропаганда замалчивает религиозное, в особенности же христианское, учение о смерти. Она отождествляет его с первобытным анимизмом<sup>163</sup> и всячески скрывает, что истинный пафос христианства – не в примирении, а в борьбе со смертью и победе над ней.

Что означают эти слова: «борьба со смертью», «победа над смертью»? О чем говорит утверждение «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ», наполняющее такой радостью пасхальную ночь? На эти вопросы мы и должны попытаться дать ответ.



## Последний враг. В предощущении вечности

Девяносто лет назад, в 1870 году в Париже умер А.И.Герцен – один из родоначальников русского освободительного движения, великий изгнанник, к голосу которого прислушивалась, тем не менее, вся страна. Герцен был убежденным атеистом. Еще в ранней молодости он отбросил сначала веру, а потом и философский идеализм Гегеля, потому что они казались ему несовместимыми с точной наукой, естествознанием и рациональным подходом к действительности. На этой почве он даже поссорился со своим другом Грановским<sup>164</sup>, другим замечательным человеком 1840-х годов, верившим в идеальную основу жизни и мира, в бессмертие человеческой души. Герцен же раз навсегда усвоил позитивистско-рационалистическое мировоззрение и, уйдя с головой в революционную и общественную борьбу в России и на Западе, остался, казалось бы, чужд метафизической взволнованности и всякого интереса к религиозным проблемам. Таким оптимистическим поклонником позитивной науки, служителем лишь земных, социальных нужд и вошел Герцен в историю русской мысли<sup>165</sup>, оставшись в ней одним из предтеч того научно-атеистического мировоззрения, которое признается у нас на родине официальной догмой.

Но большой человек всегда сложнее, чем его официальный портрет. Сейчас уже трудно сомневаться в том, что за этой кипучей деятельностью и внешним оптимизмом образ Герцена видится неизмеримо более сложным и даже трагическим.

Недавно в Государственном издательстве вышел сборник «Герцен в воспоминаниях современников»<sup>166</sup>, где собраны воспоминания людей, встречавшихся с ним в разное время при разных обстоятельствах. В таких очень личных воспоминаниях нравственный облик человека вырисовывается иногда гораздо яснее, чем в казенных биографиях. Здесь часто выступает то, что человек, и в особенности такой, как Герцен, сам старается скрыть от других. Вот и в этой книге мы видим Герцена не только времен его бурной деятельности, бесчисленных встреч и

споров, но и Герцена одинокого, тоскующего, мучающегося вопросами, о которых он не писал.

И здесь хотелось бы остановиться только на одном, внешне как бы незначительном факте, а именно на предсмертных его словах. О них сообщает в своих воспоминаниях вторая жена Герцена – Тучкова-Огарева<sup>167</sup>: «Герцен умирал тяжело, мучительно. И, как это часто бывает, все рвался куда-то, все собирался в какой-то отъезд и все просил, чтобы его не удерживали». «Пусти же меня», – говорил он жене. Та ответила ему: «Нет, одного не пущу, возьми и меня с собой». И Герцен на это: «Дай руку, если хочешь. Пойдем, предстанем перед судом Господа!»<sup>168</sup> Повторяю, последним словам людей можно не придавать никакого значения. Но вряд ли они совсем случайны: в эти минуты с самого дна человеческого существа поднимается то, что, быть может, таилось там издавна. И когда мы вспоминаем теперь Герцена, его сложную жизнь и многосторонний облик, нам трудно попросту отбросить эти очень простые слова, сказанные им перед смертью.

Сейчас во всем мире, в самых разных частях его много говорят об освобождении. Это, пожалуй, одно из самых популярных понятий нашего времени. Освобождение от ненавистного авторитарного режима, партийного надзора и идеологического догматизма, освобождение от колониализма, конформизма, морализма, половых табу и т.д. и т.д. и т.д. Человек как-то внезапно почувствовал себя поработленным, игрушкой в руках неких сил, которые он не контролирует, над которыми не имеет власти, и, почувствовав это, страстно возжаждал освобождения.

И главная опасность этого стремления, на мой взгляд, в том, что само слово «освобождение» воспринимается громадным большинством людей почти исключительно в отрицательном смысле: как ликвидация того или иного препятствия к свободе, как борьба с чем-то, а не за что-то. Уберите колониализм – и все зацветет; уничтожьте постылый диктат партии – и будет свобода; отбросьте фарисейские запреты в половой сфере – и засияет чистая, свободная любовь! Увы, это большинство не знает, что отрицательным своим содержанием понятие освобождения исчерпано быть не может, или, иными словами, недостаточно что-то ликвидировать, чтобы наступила свобода. Вот Маркс считал, что стоит только уничтожить частную собственность, обобщить орудия производства, и почти автоматически произойдет «скачок из царства необходимости в царство свободы». Но ведь мы знаем теперь, что это не так и что эта призрачная свобода обернулась на деле неслыханным закрепощением и поработением человека.

И потому нет сейчас более спешной задачи, более важной темы, чем выяснение, хотя бы самое общее, не отрицательного уже, а положительного содержания этого таинственно-неуловимого понятия. Ведь вот веками, как зачарованный, повторяет человек слово «свобода», и все же остается она каким-то недостижимым идеалом. И это потому, конечно, что не

хватает у него решимости и мужества заглянуть в эту бездну, всмотреться по-настоящему в лицо свободе. А Достоевский прямо утверждал, что человек боится свободы, бежит от нее, ибо она непосильное бремя для слабых его сил, и потому инстинктивно всегда ищет он, чему бы подчиниться, во имя чего от свободы своей отказаться. Потом, правда, человек начинает бунтовать против того, чему подчинился, но бунт – еще не свобода, бунт есть отрицание и никогда не утверждение.

И вот пришла пора напомнить себе и другим, откуда возникло, пришло к нам это неуловимое понятие. Ведь его тысячелетиями не знал человек, не знали великие цивилизации древности. Античная Греция, например, под свободой разумела политическую независимость города от других городов, народа от других народов, но отлично уживалась с рабством. Древний Рим создал образцовую систему права, но стоило горстке странных людей отвергнуть божественность императора, как их бросили на съедение львам и распяли на крестах. Нет, совсем не так просто и прозрачно понятие свободы, как думают современные пророки и идеологи всевозможных «освобождений». Ибо оно – понятие парадоксальное, и значит – не выводимое самоочевидным образом из нашего эмпирического опыта. Ведь в природе – надо ли доказывать? – нет свободы, в ней царит абсолютный детерминизм, железный закон причинности, и вся наука, в сущности, только на то и направлена, чтобы закон этот понять и определить.

Но тогда и человек, если он всего лишь часть этой природы, если он только природа, ни на какую свободу претендовать не может. Тогда и он (хотя, быть может, более сложным образом) подчинен тому же закону причинности, не терпящему исключений, и все его рассуждения о свободе – пустая болтовня. Многие, наверное, просто пожмут плечами, услышав, что единственным источником подлинной свободы может быть только религиозное понимание человека, т.е. такое, которое не сводит его целиком к природе. И чтобы от отрицательного смысла свободы перейти к положительному, необходимо обратить взор туда, где слово это впервые засияло по-новому,

наполнилось небывалой силой, а именно к Евангелию, к учению Христа.

Есть в Евангелии такие таинственные слова: Познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин.8:32). И ученик Христа, который больше всех сделал для того, чтобы слово Его распространилось по всему миру, дошло до народов совсем иной культуры, совсем иного психологического склада, – этот ученик, апостол Павел, тоже свел все учение Христа к проповеди свободы: Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства! (Гал.5:1). Так вот, что может означать в Евангелии слово «свобода», какова связь этой свободы с истиной и тем пониманием человека как существа, нуждающегося в спасении, которое мы находим повсюду в Священном Писании? А между тем именно в Евангелии слово «свобода», которое до этого имело только национальное и государственное измерение, было впервые отнесено к человеческой личности. Об этом источнике свободы в нашем мире мы и поговорим в следующей беседе.

В прошлой нашей беседе мы говорили о свободе и пришли к выводу, что в природном, «натуральном», так сказать, порядке вещей никакой свободы не дано. Больше того, если мы можем порядок этот постигать, если можем создавать постепенно величественное здание знания и науки, то потому как раз, что все в нем определено причинностью, зависимостью одних явлений от других, отсутствием непредвиденного, т.е., опять-таки, свободы. И поэтому мы поставили вопрос: откуда же взялась, где и как возникла эта неумирающая мечта о свободе, которой грезит человек, ради которой готов на самые последние жертвы? И далее: в чем же состоит она, в чем сущность этой свободы, ее жизнь? И на этот вопрос мы не могли дать другого ответа, кроме того, что понятие свободы и жажда свободы – религиозного корня и происхождения.

Я знаю, что утверждение это может показаться странным и диким миллионам людей, которых воспитали в уверенности, что слово «религия» – главный синоним рабства, которым вбили в голову, что настоящее и полное освобождение начинается с «освобождения» от религии. И потому я знаю и то, как трудно убедить человека в обратном – в том, что произошла страшная, трагическая, преступная путаница понятий, что о свободе говорят и от ее имени действуют те, кто не только не верят в нее, но в чьем миропонимании нет и не может быть места для свободы, и что рабством называют тот один источник, то одно восприятие мира, жизни и человека, откуда вечно рождается лучезарное видение свободы и жажда это видение воплотить.

Но как бы это ни было трудно, нужно все-таки попытаться. И поэтому начнем «сначала». И прежде всего подчеркнем еще раз, что речь идет не о «религии вообще» – ибо явление это сложное и многообразное, у него были и могут быть разные корни. Речь идет о том религиозном мироощущении, которое заложено было уже в Библии, но предельное свое воплощение и выражение нашло в христианстве. Я утверждаю и попытаюсь это доказать, что в самом сердце этого мироощущения –

именно благовестие и обещание свободы. И далее, я утверждаю, что вне этого мироощущения слово «свобода» не только не имеет смысла, но делается, как это ни странно и ни трагично, одним из источников самого настоящего рабства.

В чем смысл библейского рассказа о человеке – символического повествования о его сотворении? Ясно, что это не история, не факты, биологические или физические, но именно духовное объяснение человека, основоположное, решающее откровение о нем. И в чем же оно заключается? В том, что человек свободен и призван к свободе и что в этой реализации свободы – его функция и призвание в мире, до конца подчиненном природному детерминизму. Ибо все дело в том – и об этом библейский рассказ, – что свобода не может прийти снизу, не может прийти от природы, ибо в природе свободы нет. Свобода может прийти только сверху, если только есть свободный и творческий абсолютный Дух, если только над миром природы и детерминизма царит божественная свобода, ничем и никем не детерминированная. И вот смысл библейских слов: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт.1:26) в том, конечно, что человек – снизу и сверху одновременно. С одной стороны, он земля, материя, плоть, до конца подчиненная закону причинности, закону детерминизма, и об этом знает религия: Земля еси, и в землю отыдеши (Быт.3:19). И это как раз то одно, что видит в нем, к чему сводит его материалист, тут же почему-то рассуждающий о свободе. Но повторяю: не может прийти свобода снизу, ибо нет свободы внизу. И потому, с другой стороны, человек – сверху. Он образ и подобие свободного Божественного Духа, он носитель свободы в мире природы. Он не только земля и земное, но и дух.

Библейская, христианская религия начинает, таким образом, с признания человека существом сложным, тогда как всякая антирелигия стремится непременно упростить его. Да, христианство говорит, что человек пал. Но само это падение, саму эту возможность падения оно выводит не из низкого, а из высокого в человеке – из его свободы. Ибо только высокое может пасть и только падение высокого есть трагедия. Если падает и разбивается на куски изделие из глины, в этом нет

трагедии. Если падает и разбивается о землю драгоценный сосуд – это трагедия. Да, человек пал и все время падает. Но только для него во всем мире падение – это трагедия, только для него ставится в этой трагедии вопрос о свободе; только тут пробуждается тоска по свободе, и вся жизнь становится жадной и исканием свободы.

Но теперь нам нужно спросить: в чем же содержание этой свободы? Свобода от чего? Свобода в чем? Мы так привыкли и поэтому так оглохли к этому слову. Я говорил в предшествующей беседе, что слово «свобода» мы отождествляем почти исключительно с отрицательным содержанием, с освобождением от чего-то. Но в христианском понимании свобода есть не только освобождение от чего-то или кого-то – свобода есть само содержание жизни, свобода есть ее полнота, свобода есть наполненность человека чем-то. И вот это что-то, что и содержит в себе настоящую, подлинную свободу, также приходит к нам все из того же религиозного, библейско-христианского понимания и ощущения человека.

Нас призывают к свободе во имя всех возможных идеологий. Но на деле (и мы к этому вернемся в дальнейшем) почти каждая идеология кончает тем, что поработает человека мертвой догме, мертвой системе, мертвым предпосылкам. Свобода на этой земле, в этом мире неизбежно оборачивается рабством. Поэтому недостаточно сосредоточиться на отрицательном понимании свободы как «освобождения от...» Освобождение во имя чего? В чем последняя истина, последняя полнота свободы? На эти вопросы мы попытаемся ответить в следующей нашей беседе.



## **Свобода. Временное освобождение или коренная перемена?<sup>171</sup>**

В прошлых моих беседах я говорил о религиозных, точнее, о христианских корнях и истоках свободы. Что бы ни утверждали присяжные враги религии, никакой другой основы нет у свободы, кроме христианского понимания человека и мира.

Вдумаемся, вслушаемся сегодня в это утверждение поглубже. Ибо я знаю, каким парадоксом звучит оно не только для открытых врагов религии, но, что гораздо грустнее, слишком часто и для самих религиозных людей. Многие из них настолько привыкли сводить религию к одному лишь послушанию, слепой вере, безотчетному охранению непонятных преданий и обычаев, что уже не понимают, о каком, собственно, послушании идет речь, не слышат всей глубины апостольского призыва: Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подчиняйтесь опять игу рабства (ср.: [Гал.5:1](#)). Им и в голову не приходит, что само послушание, сама жертвенная верность, действительно центральные для христианства, неотделимы от этого благовестия свободы.

Но прежде всего о какой свободе, о свободе от чего говорит Евангелие, возвещает Христос? Свобода тут противопоставляется рабству, а под рабством понимается прежде всего порабощенность человека греху и смерти. Опять-таки, для нас, понимающих грех в лучшем случае как нарушение того или иного правила, как то или иное преступление против закона, идея порабощенности греху попросту непонятна. В подавляющем большинстве мы считаем себя неплохими людьми – «не хуже и не лучше других». Что же касается недостатков, тех или иных грешков, сделок с совестью, падений, то все это, в сущности, «нормально», в порядке вещей – у кого же всего этого нет? Все мы люди, все мы человеки, слабые и грешные, но в последнем итоге совсем недурные.

Нужно ли говорить, что в этой атмосфере самодовольства и нравственного минимализма христианство просто не имеет

смысла, а если и имеет, то не тот, что находится в Евангелии, а тот, что мы сами вкладываем в него? Ибо под грехом христианство понимает не тот или иной грешок, недостаток или даже падение – нет, но то внутреннее отпадение от Бога, от Его истины и духовного закона, которое выражается в первую очередь в нашем самодовольстве и нравственном минимализме. Грех не в том, что мы падаем и грешим. Грех в том, что мы уже не замечаем настоящего падения, не замечаем самой падшести нашей жизни, считаем ее нормальной и естественной. И достаточно сравнить мелкое наше самодовольство и частичное признание отдельных своих «недостатков» с тем чувством греха, с тем воплем о раскаянии и прощении, который льется буквально с каждой страницы Библии, чтобы убедиться в несоизмеримости того и другого. Короче говоря, мы не ощущаем и не осознаем своего рабства греху, своей порабощенности грехом, а потому и не хотим свободы от них.

Как птица, родившаяся в клетке, не улетает на свободу, даже если перед ней распахнута дверца, так и мы уже не осознаём, что вся наша жизнь отравлена, искалечена, изуродована грехом, что мы не те и не таковые, какими могли бы и должны были быть.

И то же можно сказать о порабощенности человека смертью. Сколько бы ни боялись мы смерти, сколько бы ни трепетали перед нею, мы признаем ее вполне законным и нормальным явлением, одним из тех пресловутых «законов природы», в которых нас приучают видеть некую «мудрость» и подчиниться которым постоянно призывают. Человек смертен – вот и все! Неприятно, но ничего не поделаешь: подчиняйся и примиряйся, произнося при этом никому не нужные слова о «покое» и «отдыхе». Но как же тогда услышать нам благовестие о том, что последний враг истребится – смерть (1Кор.15:26) и что именно от этого ужасного рабства смерти пришел освободить нас Христос? Что делать с рабами, которые привыкли к своему рабству и даже не ощущают его рабством, не зная о себе, что они должны, что они могли бы быть свободными? Что делать с рабами, которые, забыв о подлинной

свободе, играют в игрушку, называемую ими «свободой», как если бы переход из одной тюремной камеры в другую назывался «освобождением»?

Но вот христианство говорит: пока поработен человек греху и смерти, пока примиряется он с ними и даже не ощущает их как страшное и неизбывное рабство – призрачны и пусты все человеческие рассуждения о свободе, и речь идет лишь о более длинной или более короткой цепи, которой прикреплены мы все к тому же столбу. И потому только отказавшись от этого рабства, можно строить и понятие свободы. Ибо для христианства свобода означает не временное освобождение от той или иной зависимости, но прежде всего – коренное внутреннее изменение человеческого сознания, а потому и всей человеческой жизни; для христианства внешняя свобода или, вернее, то, что мы называем «свободой» и что всегда временно и преходяще, немыслима без внутреннего освобождения человека, без возвращения его врожденной способности к свободе. Ибо именно эту способность к свободе, жажду подлинной свободы – свободы от греха и смерти, разрушило в нем рабство, о котором мы только что говорили. Поэтому прежде чем применять христианское понимание свободы к нашим земным реальностям и нуждам, нужно во всей полноте услышать евангельское благовестие о Том, Кто являет нам ее.

## СВОБОДА. Что воистину освобождает?

Познаёте истину, и истина сделает вас свободными (Ин.8:32), – говорит Христос в Евангелии. Какую же истину должен узнать человек, чтобы стать свободным, и каким образом истина эта может освободить его? Вот вопросы, с которых нужно подходить к свободе в христианском понимании, а лучше сказать – к свободе вообще. Ибо, как мы уже пытались показать в прошлых беседах, у свободы нет, да и не может быть, иного источника, иного корня, чем христианское восприятие мира и человека.

Существует немало идей свободы, и каждая из них так или иначе связывает себя с той или иной истиной. Марксизм, к примеру, утверждает, что царство свободы наступит тогда, когда человек постигнет механизм экономических явлений. Но хотя механизму этому посвящены бесконечные главы Марксова «Капитала», про царство свободы сказано там всего несколько слов, да и то в самом конце, так что форма и содержание этой свободы остаются невыясненными.

Другой пример – немецкий философ Шопенгауэр<sup>172</sup>, на основании индусской мудрости утверждающий, что свобода наступит тогда, когда постигнет человек механизм собственной воли и, постигнув, просто-напросто откажется от нее. Истинно свободный человек не желает ничего, так как, по Шопенгауэру, в воле и ее желаниях – источник рабства и мучений.

Но вот на смену тяжеловесным теориям прошлого века приходят современные философы-экзистенциалисты, которые тоже утверждают свободу. И свобода эта, говорят они, наступит тогда, когда человек отвергнет всякую предвзятую, извне навязанную ему истину о нем самом, когда вся жизнь его станет цепью ничем не predetermined выборов и он будет все время сам творить ее как бы из ничего. Но сколько бы ни писали философы-экзистенциалисты в защиту своей теории, остается непонятным, как может человек исключить себя из закона причинности, по которому живет мир, и заняться самосозиданием. Надо прямо сказать, что те художественные

произведения, которыми экзистенциалисты пытаются на этот вопрос ответить (например, «Пути свободы» Жана-Поля Сартра), никакого ответа в действительности не дают. Они показывают нам мятущихся людей, решительно не знающих, что им с собою делать, принимающих капризные, противоречивые решения и вечно толкущихся в тине смутных переживаний, настроений, желаний. Освобожденный таким образом человек оказывается рабом пустой и ненужной свободы.

Список этот можно было бы продолжить до бесконечности. Каждый рецепт свободы опирается на какую-то частичную истину, но вытекающая из нее свобода оказывается ничем по-настоящему не обоснованной.

На первый взгляд христианство с его: Познаете истину, и истина сделает вас свободными – ничего нового к обоснованию свободы не добавляет. На деле же то, что здесь предлагается, бесконечно далеко от абстрактной доктрины свободы. Ибо освобождающая истина, о которой говорит Христос, – это не новая философия или идеология, а Он Сам, сказавший о Себе: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин.14:6). Истина является здесь не в словах, а в живой и единственной Личности, в живом и неповторимом Лице. А потому и свобода здесь не определена, но явлена. Тот, Кто произносит эти слова, Сам свободен. И все Евангелие, в сущности, – не что иное, как явление миру до конца свободной Личности, и значит, явление совершенной свободы.

Но в чем же свобода Христа? В том ли, чтобы, согласно нашим превратным понятиям о свободе, все время менять свои мнения, жить по вольной волюшке, служить самому себе как центру мироздания? Конечно, нет. Ибо вся земная Его жизнь есть непрестанное служение людям, всецелая самоотдача, сплошная любовь. Или, может быть, свобода Его в том, чтобы искать собственного счастья и благополучия, всячески избегая страданий? Нет, ибо Он добровольно отдает Себя на глумления, страдания и смерть. В чем же тогда? Прежде всего – в совершенной внутренней Его цельности, в том, что Он абсолютно независим от зла и страха, в том, что Он исполнен

света и любви. Свобода Христова – не пустая форма, в которую можно вливать любое содержание, но свобода Личности, всецело и до конца обладающей Своей жизнью, всецело и до конца отдающей ее тому одному, что способно сделать истинной всякую жизнь, а именно – любви. Вот почему свобода во Христе не противоречит послушанию, вере, жертве – всему тому, чему обычно противопологаем мы свободу и от чего во имя свободы

бежим. Ибо в последнем итоге – и это есть христианское благовестие свободы! – освобождает только любовь. И освобождает потому, что любящий отдает себя любимому не по принуждению, а свободно, ибо любит. И свободно его послушание, и свободна его жертва, которая оказывается высшим актом свободы.

Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Для нас, христиан, это значит: познаете Христа и увидите подлинную свободу. Познаете Христа – и отдадите себя тому, чему отдал Себя Он, и в этой отдаче только и станете по-настоящему свободными.

## Свобода. Высокий и трудный идеал

Человеку в наши дни льстят и, льстя, обманывают, усыпляют его разум и совесть, а усыпляя – порабощают. Основной и самый страшный обман состоит в утверждении, что человек уже свободен, уже не раб, а потому не надо больше искать и добиваться какой-то иной свободы, иного освобождения. Борьба за свободу – это в прошлом, в настоящем же – только «научно обоснованная» организация свободной жизни под руководством тех, кто лучше всех вооружены «самой передовой» идеологией. И усыпленный этой лестью, этим обманом, человек повторяет: «Я свободен, я буду жить все лучше и лучше». Какая страшная и вместе с тем жалкая картина! Ведь раб, знающий, что он раб, может мечтать о свободе, любить ее как предел желаний, как смысл жизни. Но раб, считающий себя свободным, потому что так сказали ему его руководители и вожди, – это последний предел рабства, ибо оно воспринято сознанием как норма. И именно в таком обмане -ужас нашего времени, вся его потрясающая античеловечность.

В истории человечества, увы, было много рабства, слишком много. Но никогда, кажется, рабовладелец не считал возможным говорить рабам: «Ваши цепи – это и есть свобода, поэтому хвалите свою жизнь, захлебывайтесь от восторга, утверждайте, что вы – самые свободные!» Уделом рабов всегда было молчание и мечта о свободе, но не гимны рабству. Действительно, от чего же мы освобождены? От неограниченной власти вождей, их директив и приказов? Нет! От запрета думать, говорить, писать и проповедовать то, что хотим и считаем истиной? Нет! От несправедливости, жестокости? Нет! От страха, что завтрашний приказ отменит вчерашний и новая программа сметет бывшие истины? Нет!

Так где же причина для той казенной радости, которую вменяют в долг и обязанность всем гражданам? На наших глазах совершается страшный обман – подмена слов, постепенное, но планомерное наполнение их смыслом, обратным тому, какой они имели веками. Яснее всего видно это

на примере самых основных слов. Так, «свободой» стали, по существу, называть рабство, а «рабством» – свободу. Когда человек безоговорочно принимает навязываемую ему идеологию, заранее отвергает свое право критиковать ее основы и искать другую, это называют не рабством, но «свободой». А когда он остается верен завету всегда искать, все испытывать и держаться только того, что в самом деле хорошо и справедливо, это называют не свободой, но «рабством».

И обман этот удается, и в этом весь ужас нашего времени. А удается он постольку, поскольку слишком многих из нас убедили, что человек живет не для свободы, а для других целей – не для того, чтобы оставаться человеком, но ради превращения в винтик огромной безличной машины. Растворяется, исчезает само понятие свободы как последней ценности. Есть ли еще у нас силы вспомнить о ней и снова ее захотеть? Я говорю о свободе подлинной – свободе самому искать истину и жить этой истиной по совести, свободно осуществляя ее в жизни.

Мой вопрос можно и продолжить: есть ли такая свобода? Нужна ли она человеку? Ответ уместно начать с христианского подхода к свободе. Уместно потому, что ничто так часто и так упорно не отождествляется со слепым догматизмом, безоговорочным подчинением авторитету и власти, как христианство. Борьба с ним как с порабощением человека, освобождение от него как от рабства – вот основоположный принцип той идеологии, которая провозглашается у нас «научно обоснованной». Что же на деле говорит христианство о свободе? Если бы у нас имелась возможность открыто изучать христианское учение, приобретать книги христианских учителей и философов, было бы нетрудно убедиться, что учение о человеке как существе свободном составляет краеугольный камень всего христианства. Христианство основано на учении Христа, а все евангельское повествование о Христе говорит о том, что Он хочет свободного приятия Его учения и, значит, признает человека способным к свободе. Образ Христа есть величайшее доказательство того, что свобода в христианском миропонимании есть сущностное свойство человека.



Но свободным приятием учения Христа, т.е. свободой принять его или отвергнуть, дело не ограничивается. Ибо и свободно принимаемое учение это есть, опять-таки, учение о свободе как насущном смысле всей человеческой жизни. Это учение – не отвлеченная научная истина, не выкладка разума, а призыв к новому, свободному и любовному общению человека со всем сущим. Если главная суть и главный ужас рабства – в страхе, то сущность и радость свободы – в любви, самом свободном, самом раскрепощающем из всех человеческих чувств. И потому апостол Павел, желая выразить всю сущность христианства в одном призыве, в одной заповеди, говорит: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос!» (ср.: Гал.5:1).

Но если человек создан для свободы, это не значит, что он не может потерять ее. Всю трагедию человеческой жизни христианство видит в том, что человек может свободно выбрать рабство, отказаться от свободы, не захотеть ее. И этот отказ от свободы есть то, что называется в христианстве грехом. Грех – это подчинение тому, чему нельзя подчиняться, любовь к тому, что не заслуживает любви. Почему же человек отказывается от свободы и отдает себя в рабство? Потому, отвечает христианство, что свобода трудна и высока; потому что она обрекает человека на борьбу с собой, на постоянное усилие и искание, делает его жизнь «узким путем»; потому что всегда легче подчиниться, отдать свою свободу кому-то другому и прожить, не задумываясь ни о чем.

Да, христианский замысел о человеке и свободе – высокий и трудный. И потому так ненавидят его все те, кто хотят от человека покорности и беспрекословного послушания. Желая видеть в человеке лишь орудие своих целей, они клеветают на него и, главное, замалчивают правду о нем, подменяя карикатурой. Но истину нельзя ни утаить, ни поработить – истина свободна.

## **Закон братства. «Лучшее на земле»<sup>173</sup>**

У Розанова в его «Опавших листьях» есть такая запись: «Прекрасный человек, – и именно в смысле... “добрый”, благодатный”, – есть лучшее на земле. И поистине мир создан, чтобы увидеть его»<sup>174</sup>.

Стоит только вдуматься в эту фразу, как вдруг понимаешь, чего так страшно не хватает в нашем мире, во всей нашей современной цивилизации, в самом воздухе нашего времени. Нехватает именно этой простой доброты, выражающейся в участии, сочувствии, в согорести, в сорадовании. Наш мир до краев переполнен криками и спорами о принципах, программах, идеологиях, и нет программы, нет идеологии, которая не ставила бы своей целью, не претендовала бы спасти мир и человечество. Поистине можно сказать, что не было во всем прошлом человечества эпохи более «принципиальной», чем наша. Но вот как-то так выходит, что посреди всей этой принципиальности, всех этих претензий на универсальное счастье нет, не оказывается места простой человеческой доброте, и не оказывается именно во имя «принципа», во имя спасения человечества и разрешения всех мировых проблем. Все ненавидят всех, и мировая принципиальность оказывается мировой злобой.

В той же записи Розанов продолжает: «Да к чему рассуждения? Вот пример. Смеркалось. Всепо дому измучены как собаки, у двери я перетирал книги, а Надя (худенькая, бледная горничная, об муже и одном ребенке) домывала окна. “Костыляет” моя жена мимо к окну, и захватив правой, здоровой рукой шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись: “Что вы, барыня!” Заплавав, ответила: “Это вас нам Бог послал. И здоровье у вас слабое, и дома несчастье, муж болен, лежит в деревне без дела, а у ребенка грыжа, а вы все работаете и не оставляете нас”. И отошла. Недождавшись ни ответа, ни впечатления». «Есть вид работы и службы, – продолжает Розанов, – где нет барина и господина, владыки и раба, а все делают дело, делают

гармонию, делают работу, потому что она нужна. Ящик, гвоздь и вещи: вещи пропали бы без ящика, ящик нельзя сколотить без гвоздей, но и “гвоздь” – не самое главное, потому что все – “для вещей”, а с другой стороны, “ящик обнимает все” и “больше всего”». «Это понимал Пушкин, – заключает Розанов, – когда не ставил себя ни на капельку выше “капитана Миронова” из Белогорской крепости; и капитану было хорошо около Пушкина, а Пушкину было хорошо с капитаном. Но как это непонятно теперь, когда все раздирает злоба»<sup>175</sup>.

Действительно, Розанов указывает, намекает на что-то уже совершенно непонятное современному человеку. Этот современный человек, прочтя розановскую запись, завопит со всем авторитетом своих мировых и мировыми принципами начиненных идеологий: «Эксплуатация, отрицание достоинства личности, социальное неравенство, да еще прикрываемое елейным патернализмом», и что-нибудь еще в таком роде и будет очень доволен собой. Он высказался принципиально, он указал на корень зла, он все возвел к принципам. Но ему и на ум не приходит, что всем принципам, сколь бы справедливы они ни были, грош цена, если нет вот этой простой доброты – доброты, фактически не отличающей важного от неважного, а все заливающей своей теплотой и своим участием.

И вот почему все христианское учение построено на заповеди любви к ближнему. И тут, в этой заповеди, – коренное различие между христианством и всеми современными «принципиальными» идеологиями. Эти последние, в сущности, построены на любви к дальнему и во имя этого дальнего отрицают любовь к ближнему. Евангелие, христианство никогда, ни разу не говорит о дальнем, о мировых проблемах и универсальных перспективах, но вот Христос взглянул на кого-то – и сжалился над ним, но вот умер друг Его Лазарь – и Христос заплакал над ним, вот не хватило вина на простой человеческой свадьбе – и Христос принял участие. Все в Евангелии – в этой любви к ближнему, этом участии.

Но скажут: «Ах, какая бесперспективность, какое отсутствие широких принципов! Разве вы не знаете, что участие в горе одного человека не решает вопроса о горе всех людей? Разве

можно жить только частным, не возводя все, прежде всего, к общему и принципиальному?» Что ж, пора спокойно и не стыдясь ответить на этот вопрос так: а разве вы не видите, что все эти ваши идеологии и принципы, якобы ведущие к счастью, уже веками наполняют мир кровью, страданием и горем и нет еще, не было еще человека, которого они бы сделали по-настоящему счастливым. А вот всякий раз, когда вспыхивает и загорается на земле эта простая доброта, счастье и радость от нее распространяются далеко кругом. И поэтому прав Розанов, который о добром человеке говорит, что сам мир был создан, чтобы увидеть его. Тут, только тут, в этой личной доброте, торжествует добро над злом, тут, только тут добро – не идея и не принцип, а живая реальность, опыт и сила. Потому-то и христианство проповедует не отвлеченные «христианские принципы», идеи и программы, а проповедует и являет Христа – т.е. образ живого Человека, вся жизнь, вся сущность, все призвание Которого – в этой преизбыточествующей доброте.

«Иисус взглянул и сжалился...» (ср.: [Мф.9:36](#); [Мк.6:34](#); [Лк.7:13](#)) – вот слова, постоянно встречающиеся в Евангелии. И когда спросили у Него, кто тот ближний, которого нужно жалеть, любить, соучастием и сочувствием включать в свою жизнь, Он указал на того незнакомого, но живого и конкретного человека, который сейчас, тут, сегодня хочет от нас помощи, участия и доброты. И потому уходят в небытие, развенчивают себя одна за другой наши земные идеологии, а остается царящий над миром образ того прекрасного Человека, о котором Розанов сказал, что сам мир был создан, чтобы увидеть Его.

## **Закон братства. Братство – правда и закон**

Опять письмо с приветом, и опять это радостное чувство установленной связи, сознание, что, невзирая на пространство, на препятствия, устроенные людьми, есть оно, это братство, единство, понимание. Если читать газеты, слушать радио, следить за политикой, может создаться впечатление, что мир живет в каком-то безнадежном непонимании, что каждый из нас окружен толстой стеной, через которую невозможно пробиться. И может быть, важнее всего сейчас – сделать усилие и вернуться к той простой, светлой мысли, которую вот уже почти две тысячи лет не устает повторять Евангелие: что разделение людей, их взаимная отчужденность, их противоборство – не норма, не закон, а грех, который должен быть отброшен как всякое зло.

Что говорит Христос? «Один у вас всех Отец на небе, а вы все – братья» (ср.: Мф.23:8–9). Слово «брат», слово «братство» – ключевые слова Евангелия, и поэтому так радостно видеть в письме неизвестного слушателя обращение «Дорогой брат!». Ибо это не сентиментальное выражение, но особое восприятие мира, жизни, людей. Когда-то наш русский мыслитель Николай Федорович Федоров писал о цели жизни как о восстановлении нарушенного братства и о небратстве – как основном зле мира. И первым именованием христиан задолго до того, как они стали называться христианами, было именование «братья».

Что же это за ощущение? В чем его единственная, ни с чем не сравнимая глубина? Оно основано на интуиции, что люди связаны между собой, принадлежат друг другу не вследствие каких-то общих интересов и жизненных связей, а помимо них, еще до них, так что не жизнь с ее случайностями связывает нас в те или иные отношения, а сама жизнь есть раскрытие, осуществление, радостное и животворное, уже существующего единства. Брата я не выбираю – он дан мне, он попросту часть моей жизни. Так бывает в семье, и ничем не заменяемая атмосфера семьи коренится, конечно же, в этой общности жизни – общности данной, дарованной. Тепло семьи, тепло братства

согревают всю жизнь, на все в ней отбрасывают свой свет, свое сияние. Мой брат может избрать путь жизни, совсем отличный от избранного мною, но он остается моим братом, потому что был им и до того, как каждый из нас избрал свой жизненный путь.

Но Христос говорит, что братство – не только в семье, что оно закон и правда самой человеческой природы, ибо все мы братья. Это значит, что каждый из нас дан другому и всякий другой дан мне. Вот в мою жизнь вступает он, этот другой. Нас свела жизнь – по видимости случайно, так же случайно, как может и развести нас. И можно не заметить этого другого, так что он и останется просто «другим» – далеким, безразличным. Но Христос учит, что на деле в каждой встрече происходит совсем иное. Он говорит: «Ты приобрел брата своего» (ср.: Мф.18:15). Это значит, что в каждой встрече, в каждом соприкосновении людей дана возможность преодолеть это отчуждение и непонимание, эту раздробленность жизни, и такая возможность есть залог чудесного восстановления братства и единства. Ибо те, кто сведены жизнью, – уже братья, уже спутники на том же пути к той же цели. Цель же эта – Царство любви и добра, в Евангелии называемое Царством Божиим.

Вот мой ответ на далекий привет неизвестного слушателя. Мы, должно быть, никогда не встретимся, но если мы смотрим на небо, на мир, на людей с той же верой, надеждой и любовью, если знаем тайную радость жизни, тайну любви – то мы братья, как бы далеко и по-разному ни жили. И это наше братство сильнее всех непониманий, всех разделений. И оно победит в мире.

## Закон братства. М.Бубер: Философия диалога

Недавно скончался знаменитый еврейский религиозный мыслитель и философ Мартин Бубер<sup>176</sup>, идеи которого оказали влияние далеко за пределами еврейского мира. Такие большие христианские философы и богословы, как Пауль Тиллих или Рейнгольд Нибур открыто и неоднократно заявляли, что их понимание христианства было углублено и обновлено творческой мыслью Бубера. Одним из своих учителей считал Бубера и наш отечественный мыслитель Бердяев – кажется, единственный, кто написал о нем работу по-русски.

В чем содержание учения Бубера и почему оказалось оно столь привлекательным для современного человека? В 1923 году вышла его книга «Я и Ты» с подзаголовком «Философия диалога». И можно сказать, что уже в самом ее заглавии, как и в подзаголовке, заключена была вся тема Бубера, которую он не переставал развивать до последних своих дней, и не только теоретически, но всей жизнью. Он не боялся высказывать взгляды, шедшие вразрез с мнением окружающего большинства. Так, проживая последние свои годы в Израиле, он не побоялся открыто выступить против смертного приговора Эйхману<sup>177</sup>.

Бубер начинает с противопоставления двух отношений, называя первое «Я – Ты», второе – «Я – оно», или «Я – это». Эти два отношения есть, согласно Буберу, две основоположные установки человека в отношении окружающей реальности. Мир, учит Бубер, дан человеку прежде всего как оно, или это. Это значит – как нечто внешнее, безличное, как недифференцированная масса явлений, отношений, реакций, влияющих на человека, на которую человек может в свою очередь влиять, но остающуюся, как уже сказано, внешней и чуждой. И весь смысл человеческой жизни, больше того – тот процесс, благодаря которому человек только и может осуществить себя, стать самим собой, – заключается в превращении этого внешнего, чужого и безличного в «Ты» и, следовательно, и в том, чтобы вступить с ним в диалог, в

личное общение. Поскольку я, рассуждает Бубер, становлюсь самим собой, я говорю «Ты». Это значит, что настоящая жизнь человека начинается тогда, когда он вступает в живое и личное взаимоотношение с миром. Пока мир или другой человек для нас только «он» или «оно», я остаюсь одинок. Но в своем одиночестве я не смогу стать и самим собой. Только в подлинной встрече преодолевается и разрушается основное одиночество человека, и он получает жизнь как общение и диалог, а не как внешнее только, механическое взаимодействие. «Ты» открывает мне доступ в подлинную сущность другого, и так же ему, этому «Ты», открывается моя сущность, мой внутренний мир, мое «Я», и можно действительно сказать, что я живу в другом, а он во мне. И вот это взаимопроникновение отделенных друг от друга сущностей, настоящая и живая встреча друг с другом и есть чудо человеческой жизни, чудо, в котором человек и становится по-настоящему, до конца человеком.

Эту основную интуицию жизни как встречи и общения Бубер применяет, в первую очередь, к религии. Бог для него есть вечное «Ты» как Тот, Кто никогда не может быть понят или встречен в отношении «Я – оно», или «Я – это». Никакая наука, никакая отвлеченная спекуляция не могут ни ощутить Бога, ни тем более доказать что-либо о Нем. Бог не есть «объект» нашей мысли, Он не есть даже тот «Абсолют», который философия полагает иногда первопричиной всего сущего. Бог, как пишет Бубер, есть то Существо, которое я встречаю непосредственно, но Он же есть и Тот, Кто не может быть определен, а только встречен. Человек встречает Бога в каждой своей встрече с реальностью, поскольку встреча эта совершается в категориях «Я – Ты». Бог, иными словами, и есть Тот, Кто все в этом мире, в этой жизни делает глубоко личным, кто разрушает темницу безличного объективированного бытия и преображает его в личную встречу, в радость, в общение и обладание.

Конечно, Бубер под запретом у казенной идеологии, вечно кричащей о своей «научности» и «объективности». И я убежден, что в каком-то смысле ни один современный мыслитель не выносит смертный приговор этой идеологии так, как делает это



Бубер. Ибо каждым своим словом и, главное, быть может, – необычайной радостностью своей мысли он выражает и формулирует то, что все мы смутно и зачастую подсознательно чувствуем, но не умеем выразить. А именно – что самая главная, самая страшная и неизбежная ложь того казенного мировоззрения заключена здесь – в его абсолютной неспособности за категорией «Я – оно» увидеть опыт «Я – Ты», ощутить его как прорыв в подлинную жизнь и подлинное общение. Ибо наука, якобы поставленная казенным мирозерцанием во главу всей жизни, всего познания, есть, по преимуществу, сфера «Я, оно», или «Я – это». А это означает подход ко всему как к внешнему и безличному объекту, это означает мир ужасающей безличности, но потому и страшной, почти метафизической скуки. Эта идеология никогда не поймет, никогда не признает, что не меньшую важность, чем научная картина мира, имеет встреча, происходящая каждый раз, когда человек смотрит в глаза другому человеку, то таинственное, никакой наукой необъяснимое превращение «оно» и «это» в «Ты» – превращение, в котором и заключается истинная наша жизнь с ее счастьем и радостью, любовью и вдохновением. Всего этого наука не знает и знать не может – так же, как не может она, да и не должна знать, что каждый момент человеческой жизни осмыслен лишь в той мере, в какой преображен во встречу и в общение.

О, это совсем не обязательно какая-то всякий раз внешне знаменательная встреча! Это может быть взор, который упал на лист, освещенный солнцем, это может быть мимолетная улыбка, и это может быть встреча с живым Богом. Но главное то, что в каждой такой встрече мы прорываемся из одиночества, из тоски общезначимого к тому единственному и неповторимому, что есть во всем, в каждом отрезке бытия и что одно только и составляет настоящую его сущность. И радость этого прорыва – она-то и есть настоящая основа религиозного мироощущения. Ее и описывает вся философия Бубера, и отсюда – определяющее влияние этой философии на современную религиозную мысль.

## Труд. Отчуждение или преобразование?

Тема труда – та тема, по поводу которой верующим и неверующим есть что сказать друг другу. Тут накопилось столько страстей, взаимного непонимания и обвинений, что необходимы способность и желание честно, открыто, свободно всмотреться в самую суть вопроса, преодолев дешевые и поверхностные обвинения, каких так много было в прошлом. Поставить же этот вопрос тем уместнее, что он все время остро и болезненно ставится самой жизнью. С трудом явно неблагополучно: сознательный труд людей и повышение его производительности провозглашаются основой всего величественного здания нового общества, а в реальной жизни этот «освобождающий» труд все время приходится навязывать человеку принудительно.

Но этот фактический крах всех возвышенных теорий о труде не мешает казенным идеологам упрекать религию в непонимании и недооценке роли труда. «Христианская религия, – пишет один из них, – совсем по-иному оценивает труд: согласно Библии, труд есть наказание Божие за первородный грех. Бог обрек все поколения людей добывать свой хлеб насущный в поте лица, в тяжелом труде. Самой возвышенной деятельностью Православная Церковь всегда считала служение Богу. Она способствовала отходу людей от общественно-полезной деятельности, создавая тысячи монастырей, в которых монахи посвящали всю свою жизнь бесплодным молитвам».

Таков, согласно казенной идеологии, христианский подход к труду. Но так ли это? Начнем с фактов. Если даже ограничиться русской историей, то и тогда ложь этого обвинения очевидна, ибо уже на заре ее трудно себе представить что-либо более общественно-полезное, чем монастырь. В этом согласятся все историки, верующие и неверующие. Монастырь – это и школа, и университет, и центр земельной колонизации, и рассадник искусства, и, наконец, первичная форма социальной помощи и организации. Из одного монастыря преподобного Сергия Радонежского вырастает целая сеть монастырей, цивилизующих

русский Север. Тоже можно сказать и о Западе: само слово «университет», например, вышло из монашеской среды. Именно там, в монастырях христианского Запада, вырабатывалась и крепла дисциплина ума, заложившая основы для нынешнего расцвета науки.

Но оставим факты, посмотрим на теорию. Казенная идеология, указывая на труд как проклятие и наказание, раскрывает только одну сторону, одно измерение труда. Да, действительно, труд может быть и веками был проклятием и рабством. Отсюда ведь и наше слово «трудно». Но разве не то же говорит в своем «Капитале» Карл Маркс?

Труд есть проклятие и рабство, когда он отчужден от человека, когда он не соответствует человеческой природе и призванию. Но труд – и тут раскрывается второе его измерение, связанное с христианским подходом к нему, – может и должен быть, как всё в мире, возрожден и преображен. Человек, созданный по образу Бога, создан творцом и делателем. Отец Мой доныне делает (т.е. творит. – Прот. А.Ш.) (Ин.5:17), – говорит Христос. И труд возрождается и преобразуется, когда совпадает с подлинным призванием, с подлинной природой человека. И в историческом плане именно монах может служить здесь примером: он трудится свободно и радостно, потому что знает цель и самого малого, и самого тяжелого труда. Он знает, что цель всякого труда – не практическая польза, не нечто внешнее, ато Царство любви и света, вне которого нет никакой цели, нет ни у отдельного человека, ни у человечества в целом.

И не пора ли понять, что провал теории труда, насаждаемой у нас многие годы казенной идеологией, в том, что она не отвечает врожденному абсолютизму человеческого духа, что нет в ней того вдохновения любви, света, творчества и свободы, без которого труд был и остается рабством?

## Труд. Таинственная связь

Мне всегда казалось, что причины неуспеха коллективизации очень глубоки и укоренены в самой природе человека. И об этом, я думаю, можно сказать кое-что в плане религиозном.

С одной стороны, все, что положено в основу коллективизации, – отрицание собственности, преодоление собственнических инстинктов, стремление к общности – сближает ее, казалось бы, с религиозным подходом к жизни. Но, с другой стороны, столь же очевидно (с религиозной точки зрения), что отношение человека к земле, вся сфера его деятельности на ней не вмещаются до конца в это отвлеченное понятие собственности. Невмещаются так же, как и все, относящееся к сфере семейных, родственных отношений человека. Про жену можно сказать, что она «моя», но вряд ли можно сказать, что она «моя собственность». Ибо «моя» означает здесь не пассивную принадлежность, но включает в себя таинственное и радостное измерение встречи, общения, духовного взаимообогащения.

Но и отношение к земле у человека, ее возделывающего, в каком-то смысле такое же. Земля глубочайшим образом отлична от машины, и общение с ней – совсем иное, чем с любой собственностью. Неслучайно вся история человечества отмечена этой глубокой и радостной любовью к земле; не случайно в поэзии всех без исключения народов земля так часто очеловечивается, воспевается как мать. «Землица», – ласково называет ее крестьянин, хотя и трудится на ней в поте лица своего.

Казенная же идеология, что насаждается в коммунистических странах как всеобъемлющая истина, выросла из безличного мира городов, из шума машин и потому не понимает таинственно-личной связи человека с землей. Но именно потому, что связь эта – личная, у человека должна быть своя земля. Та самая, на которой год за годом совершает человек таинство преображения мира и в которую он бросает

зерна, чтобы те, умирая, снова воскресли как пища, как жизнь. И потому религия, изобличая эгоизм и собственничество, не только не отрицает эту особую связь человека с землей как своей, но видит в ней символ и выражение жизненной полноты.

Коллективизация же такую связь разрушает. Но это столь же противостоит природе, как разрушить семью, как изъять из жизни те личные связи, из которых она состоит и в которых – вся ее глубина, вся ее радость и подлинность. Поэтому можно с уверенностью сказать, что крах коллективизации неминуем. Ибо не поддается разрушению и подмене сама ткань жизни – то, без чего она перестает быть жизнью.

## Труд. Не цель, а средство

Безбожники обвиняют религию, и особенно христианство, в том, что оно лишает смысла человеческий труд, видит в нем проклятье. Обвинение это повторяется так давно, что стало уже почти привычным. А между тем оно – самая бесстыдная ложь и клевета. И, зная это, безбожники, конечно, не дают возможности верующим открыто ответить на него. Но прежде всего спросим: откуда пошло, на чем основано это обвинение? Источником его является тенденциозное толкование третьей главы Книги Бытия – первой книги Библии, где рассказывается об изгнании человека из рая. Согласно этому рассказу, Бог сказал Адаму: За то, что ты... ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей... В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт.3:17,19).

Вот отсюда и выводят враги религии теорию, будто труд есть результат Божия проклятия и, следовательно, с религиозной точки зрения, бессмысленное зло. Но, конечно, толкование это совершенно ложное. И вся история христианства свидетельствует как раз об обратном – об очень высокой оценке труда христианским сознанием. Но в оценку эту следует вдуматься, ибо она существенно отлична от того идолопоклоннического культа труда, который мы находим в казенной материалистической идеологии. Смысл библейского рассказа не в том, что труд плох, а в том, что он перестал быть свободным и творческим, превратился в железный закон необходимости. В приведенных выше словах Библии основной упор сделан не на труде как таковом, а на «поте лица», в котором вынужден трудиться падший человек, или, иными словами, на труде которым поработен человек. Ведь не случайно слова «труд» и «трудный» – того же корня. Труд стал чем-то трудным, рабским, вынужденным.

Это означает, что христианское понимание труда надо толковать в свете христианского учения о человеке, которое на

детски простом, но потому и вечно юном языке Библии изложено в первых главах Книги Бытия, где говорится о рае. Первое, что мы узнаем о человеке, – то, что он существо райское. Но райское состояние в Библии – это не отсутствие труда и не противоположность труду, а такое, когда человек и труд как раз не противопоставлены и труд служит естественным и радостным раскрытием жизненной полноты. В библейском повествовании о рае дважды сказано, что человек призван обладать землею и владычествовать над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом. Рай есть обладание миром, царственное положение человека, исполнение самого мира как сферы человеческого творчества и знания. И весь смысл грехопадения в том, что вместо обладания материей, природой, миром человек подчинился им, стал их рабом, предпочел материю и плоть тому, что возвышало его над ними. Он потерял свободное общение с миром, и вся его жизнь стала, действительно, трудом, борьбой за существование.

Человек ест, чтобы работать, и работает, чтобы есть. И вся его жизнь сводится к этому порочному кругу. И сколько бы гимнов ни пели такому труду, человек естественно и неизменно предпочитает труду праздник, т.е. время, «праздное» от труда, время свободное, радостное и ничему, кроме свободы, не подчиненное. Даже в «праздник труда» никто не трудится, и только это и составляет смысл праздника. А вместе с тем, каждый из нас знает и помнит минуты, часы, дни труда вдохновенного, который нам не в тягость, не «труден», а напротив, такого, в котором сама жизнь наполняется вдруг смыслом и радостью. И это значит, что возможен прорыв в какой-то другой труд – не ради еды, денег и внешнего благополучия, а, как говорит наш народ, для души. И главное условие этого труда – чтобы в нем раскрывалось и исполнялось человеческое призвание, чтобы он соответствовал внутренней сущности человека, и это значит, что главное его условие – свобода личности. Разница между христианским подходом к труду и тем, какой навязывает нам казенная материалистическая идеология, именно здесь – в

определенном соотношении труда, свободы и личности. Согласно казенной идеологии, человек всегда подчинен труду, труд определяет человека и его место в обществе, и вне этого труда человеческая личность не имеет никакой ценности. Человек определяется по отношению к какому-то гигантскому и безличному строительству, и кто в нем не участвует, тот лишен, строго говоря, всякого значения. Таким образом, «пот лица», о котором сказано в Библии, та страшная прикованность и приговоренность к труду в безличном коллективе превращается в железный закон.

В христианском же восприятии и труд, и коллектив подчинены личности, которая есть высшая ценность, и существуют для человека как средства раскрытия и исполнения его дара. И смысл всякого труда, смысл всего технического прогресса в том, чтобы личность перестала зависеть от труда, чтобы всякий труд сделался в конце концов свободным даром, призванием и творчеством, более того – хвалой и праздником. В конечном итоге материалистическая идеология не знает цели труда, потому что отрицает дух. Труд, согласно ей, не претворяется в свободу, ибо остается законом природы. И только признав человека существом духовным, возможно мечтать о его возвращении в рай, т.е. к свободному обладанию миром и жизнью.

И только в этом оправдание и ценность труда. Лишь когда есть у человека вертикальное призвание – не только вперед, но и ввысь, к духу и одухотворению, труд его таинственно претворяется в служение Богу и людям, в духовную победу над властью материи.



## Гимн женщине. Презрение и низведение?

Я хочу сегодня сказать несколько слов о том, как относится христианство к женщине – главным образом потому, что на эту тему недавно было написано нечто, требующее разъяснения. В вышедшей некоторое время назад антирелигиозной брошюре мне довелось прочесть, что «христианство смотрело на женщину как на низшее существо, принижало ее человеческое достоинство, способствовало утверждению презрительного отношения к женщине».

Ответить на это обвинение особенно уместно сейчас, в конце августа, когда Православная Церковь празднует один из самых любимых своих праздников – Успение Божией Матери. Праздник этот издревле был так популярен, что с самого начала христианства на Руси стал подлинно национальным праздником, а Успенский собор в Москве сделался с течением времени главным храмом всей страны.

Праздник Успения – это воспоминание смерти Марии, Матери Иисуса Христа. Это один из так называемых «богородичных» праздников, в которых вспоминаются отдельные события Ее жизни. И, конечно, именно в образе Божией Матери, в особой любви к Ней и особом Ее почитании следует искать ключ не столько к пониманию, сколько к целостному восприятию женщины христианством.

Нужно помнить, что к моменту возникновения христианства женщина повсеместно воспринималась как существо низшее сравнительно с мужчиной и ему подчиненное. Идея женского равноправия имеет сравнительно недавнее происхождение, и распространение она, к слову сказать, получила там, где прочно утвердилось христианство, и нигде больше. Но христианство начало не с прав. О правах, равноправии и т.п. вещах речи в первохристианскую эпоху вообще не было, и навязывать ей эту тему так же несуразно, как спрашивать, почему не было тогда самолетов. Христианство начало с того, что увидело женщину во всей цельности и неповторимости человеческой личности.

«Во Христе, – говорил апостол Павел, – ничего не значит ни мужеский пол, ни женский» (ср.: Гал.3:28, 6:15).

Сказать это в то время было совершенно неслыханным, поистине революционным новшеством. Но христианство произнесло это как самую простую и самоочевидную истину. Конечно, это признание за женщиной всей полноты человечности – корень и основа медленного прорастания тех идей и представлений, которые позволили ей занять нынешнее место в обществе.

А установив почитание Богоматери, Церковь шагнула еще дальше, ибо тем самым указала в женщине, в ее духовной и нравственной красоте, в ее любви, преданности и терпении вершину человеческого совершенства, величайшее выражение человечности. «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим»<sup>178</sup> – этими словами прославляет Церковь Божию Матерь как безмерно высшую ангелов и превосходящую чистотой все, что можно вообразить.

Так вот, можно ли еще говорить о христианском «презрении» к женщине, о «низведении» ее христианством в категорию «низших существ»? Вглядитесь в изображение Девы Марии на иконах, в эту поразительную духовную красоту образа Матери с Младенцем, где все человеческое, оставаясь человеческим, вознесено на такую высоту, сияет таким светом, излучает такую всепобеждающую любовь! «Радуйся, Еюже радость возсияет! – восклицает Церковь. – Радуйся, радости Приятелище!»<sup>179</sup> Да, по сравнению с этим восприятием женщины, раскрывающим ее чудесную, мистическую силу в мире, ее великое призвание быть источником радости и любви, все другое, что можно сказать о женских «правах» и т.п., – плоско, мелко и серо.

## Гимн женщине. Носительница сердца

В связи с так называемым Международным женским днем хотелось бы остановиться на одном проявлении борьбы с религией, которая не только не ослабевает, но все время усиливается.

Так, недавно появилось распоряжение, согласно которому священник не имеет права крестить ребенка, если при этом не регистрируется его отец<sup>180</sup>. Смысл распоряжения ясен: регистрация отца при крещении ребенка выдает его власть имущим. Раньше детей приносили крестить женщины – матери, бабушки, сестры. Отца в дело не вмешивали, чтобы это не отразилось на его службе. И вот в связи с этим хочется указать на очень характерную и знаменательную роль женщины в сохранении религии, в защите ее как основы семьи.

У нас борются с религией как бы интеллектуально – разумом, доказательствами «от науки». Да, конечно, в формировании религиозной веры непременно участвует и ум. Еще в средние века богословие, т.е. систематическое изложение и обоснование веры, основывалось на знаменитом принципе: «Credo ut intellegam» – «Верую, чтобы разуместь». Но ошибка и односторонность этого исключительно интеллектуального подхода в том, что он оставляет в стороне глубокий и живой источник веры – человеческое сердце. Никакой науке, никакой философии не удалось дать определение тому, что в просторечии называют «сердцем» (например, говоря о ком-то, что он «сердечный» или что у него «нет сердца»). А между тем именно это таинственное «сердце», эта сокровенная глубина человека составляет его, так сказать, религиозный орган. И пренебрежение им как раз и ведет к тому, что вся научно-интеллектуальная борьба с религией оказывается в конце концов безуспешной. Еще в XVII веке Б.Паскаль произнес знаменитую фразу: «У сердца есть знание, которого разум не понимает»<sup>181</sup>.

Главной же носительницей этого «сердца», сохраняющей его от гибели в наше технологическое и машинизированное

время, оказывается женщина. У нас много говорят о месте женщины в обществе, о ее равноправии, ей всячески поют хвалу, но при этом совсем забывают, что сама-то женщина хочет не власти, не равноправия, а только особого своего, ни с чем не сравнимого места и служения. И служение это – прежде всего служение сердца, т.е. поддержание того тепла, тех любви и света, без которых весь этот мир при любых его достижениях и победах останется огромной ледяной пустыней. У женщины с религией совсем особая связь, и пусть сколько угодно говорят о «бабьих суевериях» – разговоры эти не стоят ничего. Из Евангелия светят нам вечные образы Матери у яслей Младенца, для Которого не нашлось на земле иного места, и Матери у Креста, безмолвно сострадающей Сыну. И когда все предали Христа, только любовь женщины осталась верной. Женщины одни не испугались и пришли на гроб позаботиться о мертвом теле. И вот им первым явился воскресший Христос, они первые услышали пасхальное: «Радуйтесь!»

Так и у нас: на протяжении сорока семи лет бессмысленной и жестокой борьбы с религией – борьбы, которая на деле велась с сердцем человека, – верность сердцу и тому, что говорит этому сердцу религия, сохранила женщина. Она тайком раскрывала сердца детей свету, теплу и любви, соединяла их души с неумирающей в человеке тоской по Богу. Вот почему и понадобилось теперь ее отстранить.

В «женский день» произнесут много шумных речей. Но не будет одного, самого главного слова о женщине как хранительнице и защитнице сердца, т.е. самого глубокого, чистого и божественного в человеке.

## Гимн женщине. Неотъемлемое призвание

В некоем очень глубоком смысле христианство есть гимн женщине и женскому началу в мире. И ничего не понимают в христианстве, грубо и зачастую злонамеренно искажают его те, кто говорит о каком-то унижении и порабощении им женщины. Но в чем смысл, содержание и вдохновение этого гимна?

Начнем с самого слова «женщина». Религиозный его смысл открывается нам в самом начале Библии, в первой главе Книги Бытия, где рассказывается о сотворении человека и где женщина названа жизнью. Женщина дана мужчине как его жизнь, что на нашем человеческом языке означает «как радость и тепло», «как красота и вдохновение». Отсюда и начинается христианское учение о женщине. В жизнь мира женщина входит как предмет любви и любования, как та, к кому мужчина стремится, без которой он не в состоянии жить. О, любовь может быть извращена человеческой свободой, может обернуться чем-то низким и недостойным человека, но это падение любви, падение женского начала, изначальная же сущность их – высокая, чистая, всеобъемлющая. И не случайно в Библии, излагающей языком поэзии историю взаимоотношений Бога и мира, Бога и человечества, отношения эти всегда уподобляются браку, т.е. отношениям мужчины и женщины. Неслучайно и то, что в Библию включена Песнь песней, потрясающая поэма о человеческой любви, любви к женщине, и поэма эта признана символическим описанием любви Бога к миру, любви мира к Богу: Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста... Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя!..» Он ввел меня в дом пира, и знамя его надомною – любовь (Песн.5:1–2; 2:4). Все, что ни делает, все, что ни творит человек, упирается в любовь, в ней находит свою награду, свою полноту, и чистая, полная, всеобъемлющая любовь есть рай на земле, дыхание и присутствие Бога в человеке. С изъятием ее мир становится будничным, темным, постылым – таков извечный

опыт всего человечества, такова религиозная основа христианского отношения к женщине.

Но это не все. Христианство утверждает и прославляет в женщине особые, только ей присущие качества. И, может быть, лучше всего видны они в той Женщине, Которая всегда в сердце христианства и Которую Церковь воспевает как «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». Это Мария, мать Иисуса Христа, это весь Ее образ в Евангелии – образ поразительного смирения и чистоты, терпения и верности. Вот Она в самом начале евангельского рассказа у нищих яслей, где лежит Ее Сын. Туг сияет свет всякого материнства – полнейшей и чистейшей из всех возможных на земле радостей. Вот, далее, Она в храме, приносящая и отдающая Своего Сына Его судьбе, назначению, жизни. Отдающая – и в Своем самоотречении исполняющая вечное призвание женщины: дать жизнь и жизнь эту отдать. Воспитать, согреть лаской, засветить на всю жизнь свет детства, но все это не для себя, а для других, и все это отдать. Далее, это поразительно молчаливое присутствие Марии в жизни Христа. Она всегда тут, рядом, но молча. Только раз слышим мы Ее голос, и это в Кане Галилейской на браке (см.: Ин.2:3) – не хватило вина, люди не знают, что делать, омрачена простая человеческая радость. И вот Она, Мать, женщина, помогает, просит, устраивает. Снова вечный образ женской помощи: когда трудно – к Ней. И, наконец, последнее, самое главное: когда все испугались, убежали и предали – у креста, в час страшного одиночества и страдания мы снова находим Марию. Это Ее час, Ее пора. Здесь не героизм, не борьба, не возмущение, но бесконечная сила любви, жалости и сострадания. Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец (Лк.2:35) – такие слова сказал старец Симеон Матери, принесшей Младенца Иисуса для посвящения Богу.

И вот награда за терпение, за жертвенность, за сострадание: неиссякающая любовь поколений, которые прославляют Ее как «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». Какие удивительные слова сложили люди в Ее честь: «Радуйся, Еюже радость возсияет, радуйся, Еюже

клятва исчезнет. Радуйся падшаго Адама воззвание, радуйся, слез Евиных избавление». <sup>182</sup>

В наше время очень много говорят о «правах» и «общественной роли» женщины. Но все это, так сказать, мужские разговоры, ибо мужской мир все переводит в область экономики и юриспруденции. А Женщина, та Женщина, Которую так любило, так возвысило христианство, знает Свои «права», потому что никто никогда не смог их у Нее отнять. Это право – призвание любить и помогать, терпеть и сострадать. Это право – призвание наполнять наш страшный, злой мир лаской и любовью, быть там, где человек страдает, и в конечном итоге сам мир сделать той «женой, облеченной в солнце» (Откр.12:1), о которой говорится в книге Откровения. И поработают, и унижают женщину на деле те, кто этого не видит, не чувствует, все те, кто своими убогими идеологиями всё на земле – любовь, сострадание, жертву сводят к грубому материализму, к борьбе интересов и appetitов. Но именно о женщину с ее вечным призванием и разбиваются в конце концов все идеологии. Ибо женщине дан великий дар: сохранить жизнь, быть жизнью, а перед правдой, глубиной и красотой жизни бессильны все идеологии.

## Гимн женщине. Образ подлинной человечности

Думая о Рождестве, готовясь к нему, созерцая приближение его в эти декабрьские дни, невозможно не остановить свой внутренний взор на Матери Младенца – на Той, о Ком Евангелие говорит: «Мария же слагала все эти слова в сердце Своем» (ср.: Лк.2:19).

Как мало сказано о Ней у евангелистов, но как наполнила Она Собою эти два христианских тысячелетия человеческой истории, каким неистребимым светом светит Ее образ, какой удивительной любовью Она окружена! «Радуйся, Еюже радость возсияет!», «Радуйся, Зарé таинственного дне!»<sup>183</sup> Откуда пришли, возникли эти слова, этот порыв хвалы и убажания?

Но вспомнить о Марии – это не только еще раз указать на характерную подробность евангельской истории; это значит – вдуматься, взглядеться в весь огромный пласт христианского понимания человека. «Скажи мне, в какого Бога ты веруешь, и я скажу тебе, что думаешь ты о человеке» – с такими словами христианство могло бы обратиться к каждому из нас. Мы думаем, что спорим о Боге, есть Он или нет, но на деле спорим о человеке, его природе, призвании и последней судьбе. Ибо спор о Боге в конечном итоге невозможен: ни верующий не докажет ничего неверующему, ни тот не навяжет верующему своего неверия. Но когда люди решают бороться с Богом и религией и мы видим их одержимыми какой-то странной ненавистью к самой идее Бога, то ясно, что не в Боге дело для них, – ибо как ненавидеть Того, в Кого не веруешь? – а в человеке. Ненавидят они по-настоящему не Бога, а верующего человека, и ненавидят за то, что тот по-иному, совсем по-иному понимает и переживает свою человечность.

О, если бы неверующий сказал: «Бога нет, и как бесконечно жаль, что Его нет, ибо из веры в Него родилось и выросло самое высокое, прекрасное и драгоценное учение о человеке; ибо с Ним, с верой в Него связано все лучшее, все самое чистое и драгоценное, что было и есть на этой земле; ибо тут – красота, добро, любовь»! Но нет: как раз это все он и ненавидит.



Почему? Да потому, конечно, что сам по-другому видит человека.

Как же именно? Посмотрите кругом, взгляните в тот мир, ту цивилизацию, что воздвигается на наших глазах этим человеком, отказавшимся, как он сам говорит, от всех «суеверий» и «обмана», от всякого религиозного «опиума». Это, прежде всего, цивилизация без красоты. Когда сегодня речь заходит о красоте, нас ведут в музей – показывать древние иконы (и среди них снова и снова – Богоматерь Владимирскую, Ее поразительно скорбный и одновременно небесно-прекрасный лик), нас везут смотреть суздальские храмы, нас заставляют слушать музыку Баха, ибо своей красоты у этой цивилизации нет. И нет потому, что неоткуда ей быть у цивилизации, видящей в человеке продукт материи и экономических отношений. Можно тысячу раз перечитать всего Маркса, всего Энгельса и ни разу не встретить у них самого слова «красота». Но тогда, по логике этого учения, необходимо уничтожить человека, о котором Церковь говорит, что он «образ неизреченной славы»<sup>184</sup> – ответ Божественной красоты.

Далее, эта цивилизация есть цивилизация внешнего, технического успеха, цивилизация без глубины. Человек здесь непрерывно производит и призван лишь к тому, чтобы производить. Но какие же «производственные достижения» у Марии? Вифлеемская пещера вначале, молчаливое стояние у Креста в конце – вот все, что мы о Ней знаем. Но и этого достаточно, чтобы сказать: не было на земле жизни полнее и прекраснее, чем у Нее. Но если так, то какой жалкой кажется вся эта суэта вокруг «производства», безостановочное его воспевание и сведение к нему всей человеческой жизни! Опять нужно выбирать, и тот, кто не ищет, не хочет знать внутренней жизни, ее смысла и глубины, поневоле должен возненавидеть сам образ Богоматери. Все, на чем основана наша цивилизация, – бесконечная борьба, торжество физической силы, устрашение врагов, гордость внешними успехами – где все это в образе Марии? Только смирение, только любовь, только сострадание, только всецелая готовность отдать Себя. И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец...

(Лк.2:35). Опять и опять выбор! Но в результате одного выбора наполняется мир ведением этой красоты, этого смирения, этого добра, этой человечности, а в результате другого – страхом, ненавистью, рабством, да еще непроходимой скукой и серостью. «Мы наш, мы новый мир построим...» Что ж, построили – и из него бегут к все той же красоте, к все той же иконе Матери с Младенцем – вечному образу подлинной человечности, главного и неистребимого в человеке. И некуда от него уйти, и сам праздник Рождества Христова есть, по существу, праздник этого образа, праздник этой интуиции, этого восприятия человека.

Когда-то в древности язычники отмечали зимний, декабрьский поворот солнца на весну праздником рождения солнца. Потом пришло христианство и явило человечеству образ Матери с Младенцем, рассказало ему о смиренном Рождестве, о приходе в мир неземной красоты и добра. И стал древний языческий праздник праздником Солнцаправды – того не только физического, но и духовного света, от которого в конечном итоге зависит судьба человечества. И сейчас человечество снова на распутье и не знает, куда идти. Ему сказали, что оно свободно и может идти куда угодно; ему сказали, что машины и наука могут все, что не нужно образа Божия, не нужно неба, не нужно красоты – достаточно незыблемых законов «материального производства». И вот оно не знает, зачем жить, оно в потемках, в страхе, в растерянности. Неужели мы до сих пор не поймем того, что поняли уже все лучшие люди, что Путь, Истина и Жизнь не в этом, а в чем-то другом, без чего человек рано или поздно задыхается? Об этом другом, но насущном, необходимом, вечном напоминает нам Рождество, к этому зовет образ Матери с Младенцем, небесная его красота и глубина. О, если бы могли и мы, как некогда Мария, «сложить все это в сердце своем» (ср.: Лк.2:19), и этим жить, и отсюда черпать свет, радость и силы!

## Гимн женщине. Доколе она в мире<sup>185</sup>

Христос воскрес! Второе воскресенье после Пасхи посвящено в православном богослужении женам-мироносицам, т.е. тем женщинам, которые, по рассказу Евангелия, пришли рано утром ко гробу Христа, чтобы приготовить Его тело к погребению, и стали первыми свидетельницами Воскресения. В Евангелии им первым является Христос, им говорит: Радуйтесь! (Мф.28:9), их посылает возвестить о Воскресении апостолам.

И вот в связи с этим уместно взглянуться в образ женщины, каким рисует его Евангелие, задуматься над христианским учением о женщине или, может быть лучше сказать, над восприятием женщины христианством. И восприятие это лучше всего явлено в том, какое место занимают женщины в евангельском рассказе о Христе.

При чтении Евангелия нельзя не заметить, что женщина появляется в нем лишь в самом начале и в самом конце земной жизни Христа. В начале – рождение в пещере, принесение в храм для посвящения Богу – это Его Мать. Потом Мать как бы исчезает, или, вернее, мы все время чувствуем, что Она рядом, близко, но без слов, молча, как бы на фоне жизни и проповеди Сына.

Вот неожиданный и такой удивительный рассказ евангелиста Иоанна о свадебном празднике в Кане Галилейской, когда не хватило вина. Казалось бы, банальная подробность, бытовая мелочь... Но праздник испорчен, радость омрачена, и вот просьба, ходатайство Матери, и по этой просьбе – первое чудо Христово: превращение воды в вино. Затем опять молчание. Христос проводит все Свое время с учениками, уча и наставляя их. Но, оказывается, за Ним все время следуют женщины и, по слову Евангелия, служат Ему. Наконец, мы у креста. Все бросили, все бежали, все предали Иисуса, и не только толпы, ходившие за Ним в ожидании чудес, помощи и исцеления, но и самые близкие – друзья, ученики. И теперь наступает час женщин. У креста стоит Мать, но не Она одна. Как повествует евангелист Матфей, там были также и

смотрели издали многие женщины, следовавшие за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых (Мф.27:55–56). И когда наступает смерть, они, эти женщины, помогают снять тело с креста и полагают в пещерной гробнице, затем приходят рано утром, чтобы приготовить его к погребению. И наконец, они же слышат победное: Радуйтесь!

Итак, первое, что Евангелие навеки закрепило в женском образе, – это любовь. Но не просто любовь, а любовь-заботу, любовь-служение, любовь-самоотдачу, ничего не требующую взамен. Ученики Христа спорят, кто из них выше, кому уготовано лучшее место, рассуждают, сомневаются... Про женщин же – только два слова: «следовали, служа». Это любовь без слов и сомнений, любовь дела; это вечное, врожденное материнство женщин и его вечный удел – позаботиться, накормить, вырастить, отдать всю себя с тем чтобы все в конце концов потерять. Ибо, вырастая, начиная собственную жизнь, уходят от матери и сын, и дочь. И Евангелие показывает нам всю красоту этой жертвенной любви в радости, горе и смерти.

Второе – это верность. Ученики бежали, женщины остались. В страшный час страдания, одиночества и смерти – эта молчаливая верность, молчаливое сострадание... Как утверждает Евангелие, женщины не знали предсказания Христа о том, что Он в третий день воскреснет. У них не могло быть никаких расчетов, никаких надежд. Тот, Кого они любили, за Кем последовали, Кому отдали свою любовь, заботу, верность, умер на кресте. И, говоря по-человечески, все рухнуло: ничего не осталось, кроме мертвого, замученного тела. Но верность осталась – верность без расчета, верность до конца. И как просто, как кратко и вместе с тем с какой полнотой показана эта верность в Евангелии!

И, наконец, третье – вера и радость. И снова: вера не рассуждающая, вера сердца, то знание, которым владеет только женщина. Неслучайно по воскресении Христос вначале является женам-мироносицам. Потом был Фома с его «Если не увижу – не поверю!» (ср.: Ин.20:25). А про женщин у гроба

сказано: ...и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились Ему (Мф.28:9).

Все это было давно. Но если взглядеться в длинную череду веков, прошедших с того утра, станет ясно, что этот образ женщины сохранился и наполнил мир своей простой, но небесной красотой. Грохотала человеческая история, рождались и падали царства, бушевали кровопролитные войны... Но всегда над землей, над смутной и трагической ее историей неизменно светил образ женщины – образ молчаливой заботы, самоотдачи, любви, милосердия, сострадания. И не будь этого света, наш мир, несмотря на все его успехи и достижения, остался бы только страшным миром.

И можно без преувеличения сказать, что человечность в человеке спасала и спасает женщина. И спасает не идеологиями, а вот этим своим молчаливым, заботливым, любящим присутствием. И если, несмотря на все катастрофы и трагедии, не прекращается тайный праздник жизни, если в бедной комнате за нищенским столом он справляется так же радостно, как во дворце, то радость и свет его в ней, женщине, в ее никогда не иссякающей любви и верности. Вот, кажется, не хватило вина... Но пока она тут – мать, жена, невеста – хватит вина, хватит любви, хватит света на всех...

## Падая и вновь поднимаясь. Где подлинный человек?

«Постное время светло начнем, очистим душу, очистим плоть, разрушим всякий союз неправды».<sup>186</sup> Такими словами ежегодно на протяжении столетий призывает нас Православная Церковь вступить в те семь недель, что предшествуют празднику Пасхи и издревле называются Великим постом. Вслушаемся еще раз в эти слова: «свет», «очищение», «душа», «плоть», «разрушение союза неправды». Здесь – весь человек, весь его состав, вся его жизнь. Кто другой, что другое в мире призывает еще человека к этому очищению, говоря ему: «Оно необходимо, и начать его нужно с самого себя»?

Из всех религиозных интуиций, из всего религиозного своего знания ничто, по всей вероятности, не отверг ушедший от религии человек так решительно, как эту жажду очищения, видение неправоты, греховности, нечистоты своей жизни, страстное желание изменить себя... Врагам христианства, врагам религии казалось, что самоосуждение, признание им своего несовершенства, покаяние и раскаяние недостойны человека и унижают его. «Все это – религия рабов, – твердили они, – но мы освободим от нее человечество, и оно узнает, что человек – это звучит гордо!»

И вот освободили, и вот отбросили эту жажду очищения, примирения и возрождения. И что же, гордой, совершенной стала жизнь человека? Спрашиваешь и не знаешь: плакать или смеяться. Почему освобожденное от религиозного «унижения» человечество нуждается в няньках, и притом до зубов вооруженных? Для чего этому гордому человечеству каждое утро разжевывают, как оно должно думать, с чем подобострастно соглашаться, чему восторженно верить? Зачем ограждают его санитарными кордонами от внешнего мира? Почему, наконец, и через много лет после всех этих освобождений представителей гордого и свободного человечества держат за проволокой, в психиатрических больницах и изоляторах?

«Человек – это звучит гордо!» Но вот смотришь на этого гордого современного человека, и жалость разбирает: до чего же он пришиблен, раздавлен, унижен! До чего сера и беспросветна его жизнь и какие над ним царствуют бездарные и жестокие начальники! И как скучна, плоска и неубедительна идеология, ради которой его будто бы освободили от пут суеверия и мистики! Давно, давно уже сказано: «Всякое дерево познается по плодам» (ср.: [Лк.6:44](#)). Но если так, то до чего же хилое и унылое дерево выросло из бедной почвы этого «освобождения»!

А ведь было время, когда люди рассказывали и слушали другие повести, вдохновлялись совсем иным. Сколько столетий пел наш народ песню о разбойнике, который покался, увидел весь ужас, весь тупик своей жизни и нашел в себе силы возродиться: «Сам Кудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служить»<sup>187</sup>. Сколько столетий слушал он, затаив дыхание, о великой грешнице, распростершейся пред Христом, умастившей его ноги драгоценным маслом вперемешку со слезами, отершей их своими волосами и услышавшей поразительные слова: «Кто много возлюбил, тому много простится» (ср.: [Лк.7:47](#)). Слушал и о другом разбойнике, распятом рядом со Христом и в предсмертный свой час взмолившемся: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!» (ср.: [Лк.23:42](#)).

И вот было, светило, торжествовало во всем и за всем этим подлинное величие, подлинное достоинство человека. Было сознание, что всегда возможно встать, возродиться, вернуться к свету и радости, для которых и создан человек. И потому была подлинная вера в человека, как и подлинная жалость к нему. И какой бы темной, страшной и жестокой ни казалась порой жизнь, все же светил в ней этот свет человечности. Но едва лишь погасили его, объявив «ненужным», стала жизнь действительно беспросветной, воцарился меж людьми великий страх, великое недоверие, исчезли куда-то жалость и сострадание, и нет уже той веры, что все возможно, лишь бы нашел человек в себе свою совесть, лишь бы возникла и расцвела в нем жажда очищения и примирения с Богом!

Так вот, обо всем этом говорит, для всего этого и существует Великий пост. Поистине великий, ибо ни о чем другом не возвещает он, как о подлинном величии человека, и ни к чему другому не призывает, как вернуться к подлинному своему достоинству. Этот пост как бы напоминает каждому: «Дана тебе сила очиститься и возродиться, дана тебе сила захотеть подлинной жизни, разрушить союз неправды, сотканный в мире ложью, ненавистью, завистью и страхом!»

Итак, где слабость, унижение и неверие в человека и где настоящая, нерушимая вера в его величие и достоинство? Где настоящий человек и где безличное существо, привязанное к дешевой уравниловке? Где свет и радость и где скука и будни? Все эти вопросы пробуждает в нас Великий пост, который есть медленное восхождение к празднику всех праздников – Пасхе. И на эти вопросы каждому необходимо ответить, ибо они в конечном счете о том, можем ли мы увидеть себя в великом и всеобъемлющем свете, измерить свою жизнь вечным учением о небесном призвании человека.

Великий пост – не древнее установление для «церковников», но то, что вырастает из самого видения, самого понимания человека в христианстве. И если правильно расслышать, правильно понять его призыв, то поистине великое и прекрасное учение о человеке примем мы в свою душу.



## Падая и вновь поднимаясь. В свете изначального замысла

Нигде, пожалуй, не раскрывается с такой очевидностью, с такой глубиной различие между религиозным и нерелигиозным восприятием человека, как в подходе к вине и прощению. В великопостные дни мы, верующие, постоянно призываемся к раскаянию. «Даруй ми зрети моя прегрешения», или «Дай мне увидеть мои грехи», говорит главная великопостная молитва<sup>188</sup>. И этот призыв к самоуглублению, к самооценке, к коренной внутренней перемене составляет изначальную сущность и назначение Великого поста.

Что это значит? Это значит, что, согласно христианскому восприятию жизни и человека, мы живем не так, не на том, как надо, уровне, и это значит также, что мы можем изменить свою жизнь, если раскаемся, если увидим свою жизнь и себя самих в свете подлинного замысла Божия о нас и о мире.

Казалось бы, нечто похожее происходит и при нерелигиозном подходе к человеку. Вот годами, десятилетиями слышим мы о «самокритике», и у всех еще в памяти эти невероятные судебные процессы, когда люди, занимавшие самые высокие посты в обществе и государстве, публично смешивали себя с грязью, обвиняли сами себя в самых страшных и невероятных преступлениях и чуть ли не умоляли своих судей приговорить себя к смертной казни.<sup>189</sup> Разве это не раскаяние?

Задаешь этот вопрос, и сразу чувствуешь его нестерпимую фальшь. Как и во всем другом, подобном, тут не раскаяние, а кошмарная на него карикатура, нечто до того бесчеловечное, что вместо облегчения испытываешь почти мистический ужас. В чем же дело? Ведь на поверхности сходство полное: и тут и там человек понял как будто, что ошибался, и нашел в себе мужество эту ошибку признать открыто, перед всеми; и тут и там – самокритика, т.е. рассмотрение своей жизни в свете некоего над ней закона. Но стоит только вдуматься, взглядеться,

вслушаться, и от этого сходства ничего не останется, и явит свой страшный лик, как сказано, карикатура.

И понять сущность этой жуткой карикатуры легче всего, если вспомнить, как сравнительно недавно происходила так называемая «реабилитация», когда возвращались после страшных, загубленных лет узники так называемых исправительно-трудовых лагерей, и оказалось, что все эти публичные «самоосуждения» и «покаяния» были сплошным фарсом. А происходило так потому, – и в этом все дело! – что никакого «высшего закона», способного явить всю правду, никто не искал, а были лишь «тактические споры» и грызня за власть с неизбежным выводом: «Горе побежденным!» А потом реабилитировали побежденных и осудили победителей, а потом снова начали осуждать реабилитированных и реабилитировать осужденных победителей. И так без конца, в той кровавой и тупой бессмыслице, где особенно бессмысленно, особенно страшно звучат слова «самокритика» и «самоосуждение».

Ибо коренное различие между этим безрелигиозным, с позволения сказать, «покаянием» и покаянием религиозным в том, что первое деморализует и унижает, а второе – очищает и поднимает человека. В первом случае судьи как бы говорили человеку: «Признай, что ты подлец и лгун», и осужденный говорил: «Да, вы убедили меня, и я признаюсь в том, что я подлец и лгун». В случае же истинного, т.е. религиозного покаяния Кто-то бесконечно высокий, чистый и любящий говорит человеку: «Ведь ты сын Божий, ты образ неизреченной славы Самого Бога, ты бесконечно драгоценен и бесконечно любим. Почему же ты оскверняешь и разоряешь свою духовную красоту и высоту, почему ты не то, что ты есть?» И вот падает человек ниц перед этой святыней, этой чистотой, этим добром, этой красотой, возвращается к ним всем существом своим и возрождается. «И бывает больше радости на небе об одном грешнике кающемся, чем о девяти праведниках» (ср.: Лк.15:7).

Здесь, следовательно, все исходит из бесконечно высокого замысла о человеке, и именно о каждом человеке, не о человеке вообще; все содействует тому, чтобы сам нашел он в

себе эту высоту, вернулся к ней и была бы радость о нем. Там – заведомо ничего, кроме черной, безжалостной мести и расправы, никакого проблеска любви и сострадания. Винтик безличной машины плохо исполнил свое назначение? Выкинуть его вон и заменить другим, а чтобы и другим винтикам неповадно было – заставить самого себя покрыть грязью. При религиозном подходе к человеку нет, не может быть подобной «замены»: каждый человек неповторим! Религиозное покаяние ведет к осуществлению, раскрытию этой незаменимости и потому очищает, возрождает, дарит радость. Там же – только ненависть, только страх, дорога в небытие.

И вот в эти великопостные дни особенно важно понять, что в сердцевине истинного покаяния лежит тот высокий замысел о человеке, который отвергается и оплевывается бесчеловечной идеологией, царящей в нашей стране. «Даруй ми зрети моя прегрешения...» Нечужие, а мои, и значит – дай мне увидеть самого себя в том свете, в той правде и той любви, для которых я создан! Так покаяние ведет к восстановлению человечности в нас.

## Падая и вновь поднимаясь. Возврат и утверждение

Я уже говорил о Великом посте – о той светлой печали, которой пронизано это время года для верующих, о той особой, единственной в своем роде красоте, что раскрывается в великопостных службах Церкви и что так непонятна, так чужда людям, привыкшим укладывать религию в прокрустово ложе своих узких, плоских и предвзятых взглядов.

Продолжим сегодня эту тему. Вслушаемся в песнопения и молитвы Великого поста: сколько в них поэзии – особой, чистой, возвышенной, и как далека она от того, что обычно приписывают религии! Для лучшего понимания переведем эти песнопения со славянского на русский, ибо даже в переводе на обыденный язык сохраняют они свою, ни на что в этом мире не похожую тональность.

«Постное время светло начнем!» – с этого призыва начинается пост, и далее: «Очистим душу, очистим плоть. Постясь, насладимся плодами духа и, приняв их любовью, станем достойными видеть страдания Христа Бога и в радости встретить Пасху»<sup>190</sup>. Вот другое песнопение: «В свете начнем всечестное воздержание, сияя лучами заповедей Христа, светом любви, блистанием молитвы, очищением чистоты, крепостью мужества»<sup>191</sup>. Но что такое пост? Только ли воздержание от еды, мрачный аскетизм, гнушение миром и землей? На это отвечает призыв следующего великопостного песнопения: «Постясь, братие, телесно, будем поститься и духовно. Разрушим всякий союз неправды, восстанем против всякой несправедливости, уничтожим клевету и ложь, дадим хлеб голодным и тех, кто не имеют крова и пищи, введем к себе в дом»<sup>192</sup>. И еще: «Приидите, вернии, будем делать в свете дела Божии, ничего не скрывая; прекратим все обиды ближнему, ни в чем не полагая ему соблазна; оставим власть тела, будем возрастать в дарах нашей души, тех, кого нужно, накормим и так приступим ко Христу»<sup>193</sup>. Мы слышим всё те же слова: «свет», «любовь», «радость», «дух» – вот внутреннее вдохновение поста, вот его цель: восстановить в себе то

видение жизни, которое все время заглушается жизненной суетой, и видение это светлое, любовное и радостное, а не мироотрицающее.

Весь аскетизм христианства, все его призывы к борьбе, к воздержанию, внутреннему усилию исходят на деле из бесконечно высокого замысла о человеке, из веры в его неограниченные духовные возможности. Очень давно, на заре христианства, учитель Церкви святой Афанасий Александрийский написал: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»<sup>194</sup>. И вот эта-то вера в обожение человека, в возможность бесконечного его возрастания лежит в основе христианского понимания поста и покаяния. Это не уход, не отрицание, но возврат и утверждение – возврат к изначальной красоте и целостности, утверждение божественного призвания человека. И по сравнению с этим идеалом, с этим замыслом все, что говорят о человеческой жизни другие философии и идеологии, кажется мелким, ущербным и унижительным. Ибо все они видят в нем производное от чего-то другого – от материи, от биологии, экономики и, следовательно, подчиняют человека законам детерминизма. Как пошутил на эту тему Владимир Соловьев: «Мы все произошли от обезьян, будем же любить друг друга!» Но за шуткой скрывается нешуточный смысл. Ибо если человек и вправду только производное и только снизу, то нет и не может быть у такого существа ни настоящей свободы, ни призвания, выводящего его за пределы материалистического детерминизма. Все, что он любит и к чему стремится, есть при таком подходе лишь «надстройка» на безнадежно материальном «базисе».

Безбожники-материалисты обвиняют христианство в отрицании человека, но на деле именно христианство есть борьба за подлинного человека и отрицание всего, что препятствует его полноте, раскрытию им в себе и в мире подлинного своего образа, подлинного призвания. Как бы низко ни падал человек, христианство говорит ему: «Это падение противоречит твоей сущности, а потому ты можешь подняться, можешь вернуться к подлинной твоей природе!» И на этом зиждутся в христианстве любовь, жалость, сострадание. Они

никогда не бывают сверху вниз, никогда не укоренены в презрительном снисхождении: «Хоть ты, мол, и дрянь и не заслуживаешь помощи, но так уж и быть, помогу тебе» – подобного подхода нет и не может быть в христианстве. В каждом человеке, утверждает оно, есть неистребимый образ Божий, есть то, за что любит его Бог и в чем заключено бесконечное его достоинство. На этом построена и христианская солидарность – не солидарность рабов, восставших против господ или слепо им подчиняющихся, но солидарность братьев, связанных свободой и любовью. Я уже не называю вас рабами, – говорит Христос, – ибо раб не знает, что делает господин его (Ин.15:15). «Вам же, – продолжает Он, – открыто и дано все, и вы можете бесконечно возрастать в этой полноте знания и дара».

Современный мир думает и учит, что освободил человека от порабощения «темным, средневековым страхам» религии, что свобода, творчество, наука невозможны там, где есть религия. Он призывает человека сбросить с себя «религиозные путы» и стать свободным. Но к этому миру можно и нужно применить слова Евангелия: По плодам их узнаете их (Мф.7:16,20). Ибо наделе (и пусть докажут нам обратное!) там, где эти «путы» религии сброшены, свобода начинает умирать, а вместе с нею умирает – и это самое страшное, самое трагическое – высокий замысел о человеке, подменяемый замыслом низким и безрадостным.

Да, религия часто падала, часто изменяла себе, часто мельчала. Но в ней самой всегда оставалась возможность вернуться к собственной глубине, всегда жила потребность возврата и покаяния. Потому и остается в ней пост, этот ежегодный призыв подняться, очистить свой внутренний взор, вернуться к главному. Миру, который считает себя «освободившимся» от религии, не в чем каяться, не к чему возвращаться, за ним не стоит, не светит никакая мечта, никакая последняя жажда. Но потому в конечном итоге и не может он удовлетворить человека, потому и не может умереть жажда Бога и связи с ним, т.е. религия.

## Часть III. Основы христианства

## Молитва Господня «Отче наш»<sup>195</sup>

Христос оставил людям только одну молитву, которая поэтому называется обычно «молитвой Господней».

Когда ученики попросили: Научи нас молиться (Лк.11:1), Он в ответ дал им следующую молитву: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь» (ср.: Мф.6:9–13; Лк.11:2–4).

Эта молитва Господня безостановочно повторяется вот уже две тысячи лет. Нет часа, буквально нет минуты, чтобы в какой-нибудь точке земного шара люди не произносили ее, не повторяли те самые слова, которые когда-то произнес Сам Христос. И нет поэтому лучшего пути к уразумению самой сущности христианской веры и христианской жизни, чем эта такая короткая и по внешности такая простая молитва, хотя и не такая простая на деле, судя по тому, что меня не раз просили ее объяснить.

Я начну прежде всего с неисчерпаемости ее смысла, с невозможности дать ей одно, окончательное объяснение. Как и Евангелие, молитва «Отче наш» всегда обращена к каждому из нас по-новому, и обращена так, что кажется только для меня и моих нужд, для моих вопросов и исканий составленной. И одновременно она вечна и неизменна в своей сущности и всегда зовет нас к главному, конечному, высшему.

Чтобы услышать молитву Господню и войти в нее, нужно в первую очередь преодолеть в себе ту внутреннюю рассеянность, ту раздробленность внимания, ту духовную расхлябанность, в которой мы почти все время живем. Пожалуй, самое страшное в нас-то, что мы всегда прячемся от всего слишком высокого и духовно значительного. Мы как бы подсознательно выбираем для себя быть мелкими и поверхностными, ибо так легче жить. Вспомним Свияжского в



«Анне Карениной» Толстого – человека, который как будто все понимал и мог рассуждать обо всем, но как только разговор доходил до главного – до заветных вопросов о последнем смысле и последней цели жизни, что-то в нем закрывалось и за эту защитную черту он никого уже не пускал. Это подмечено Толстым с гениальной верностью.

Действительно, как много внутренних усилий в нас направлено именно на то, чтобы заглушить внутренний голос, зовущий к встрече лицом к лицу с главным! Так вот, необходимо хотя бы самое минимальное усилие, чтобы войти в тот лад, в тот строй, в то устройство души и духа, в которых эта молитва всех молитв не только начинает «звучать» для нас, но и открывается во всем глубочайшем значении и становится насущной потребностью, пищей и питием для души.

Итак, соберемся, как хорошо сказано, «с духом» и начнем с обращения, с этого торжественного призывания и одновременно утверждения: «Отче наш». Первое, что открывает Христос тем, кто просит научить их молиться, первое, что оставляет Он им как некий бесценный дар, и утешение, и радость, и вдохновение – это возможность назвать Бога Отцом, узнать Его как Отца. Чего только не думал человек о Боге, каких только теорий не создавал! Он называл Его и «Абсолютом», и «Первопричиной», и «Господом», и «Вседержителем», и «Творцом», и «Мздовоздаятелем», и «Верховным существом» и т.д., и т.д. И в каждой из этих теорий, в каждом из этих определений есть, конечно, и доля истины, и подлинный опыт, и глубина созерцания. Но вот одно слово Отец и прибавленное к нему – наш включает в себя и одновременно раскрывает все это как близость, как любовь, как единственную, неповторимую и радостную связь. Отче наш – тут и знание о любви, и ответ на любовь, тут и опыт близости, и радость этого опыта. Вера здесь становится доверием, зависимость претворяется в свободу, близость раскрывается как радость. Это уже не домыслы о Боге – это знание Бога, это общение с Ним в любви, единстве и доверии. Это начало знания о вечности, ибо Сам Христос сказал: Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя (Ин.17:3).

Это обращение, следовательно, не только начало, но поистине основа Сей молитвы – то, что делает возможными и наполняет смыслом все другие ее прошения. Христианство есть в самом глубоком и первичном смысле этого слова религия Отцовства, и это значит, что оно основано не на домыслах разума, не на доказательствах философии, а на опыте любви, которую мы ощущаем как изливающуюся на нашу жизнь, и притом любви личной.

Все это сказано, все это заключено, все это живет в начальном обращении молитвы Господней: «Отче наш». И произнеся его, мы прибавляем: «Иже еси на небесех» – Который на небе. Этим самым вся молитва (а в молитве – и вся наша жизнь) поднята ввысь, обращена кверху. Ибо небо – это, конечно, то вертикальное измерение жизни, та обращенность человека к горнему и духовному, которую так страстно ненавидят, над которой так плоско издеваются все сторонники сведёния человеческого к животному и материальному. Это не физическое или астрономическое небо, как стараются доказать казенные пропагандисты безбожия, – это небо как высший полюс человеческой жизни. Отец, сущий на небе, – это вера человека в распростертую над миром и весь мир пронизывающую Божественную любовь. И это вера в мир как отражение, отсвет, отблеск этой любви; это вера в небо как конечное признание славы и достоинства человека, как его вечный дом.

Таким радостным утверждением, таким радостным призыванием начинается молитва, которую Сам Христос оставил нам как выражение нашего Богосыновства: Отче наш, Иже еси на небесех.

## Молитва Господня. «Да святится имя Твое»<sup>196</sup>

Мы продолжаем сегодня толкование молитвы всех молитв – молитвы, которую Сам Христос оставил Своим ученикам в ответ на их просьбу: «Научи нас молиться» и которая поэтому называется молитвой Господней.

За торжественным, радостно-любовным обращением: «Отче наш, Иже еси на небесех», следует первое прошение, и оно звучит так: «Да святится имя Твое». О чем же молимся мы, чего просим, чего хотим, произнося эти слова? Что значит святить имя Божие?

Я убежден, увы, что большинство верующих произносит эти слова, попросту не задумываясь о них. Что же касается неверующих, то они, наверное, только лишний раз пожмут плечами в ответ на это непонятное словосочетание. «Святым», «священным» издревле называл человек то, что признавал стоящим над собой как высшую ценность, требующую почитания, восхищения, благодарности и одновременно притягивающую к себе, вызывающую стремление обладать ею. Мы говорим о «священном чувстве» Родины, о «священной любви» к родителям, о «священном трепете» перед красотой и совершенством. Священное – это, следовательно, самое высокое, самое чистое, требующее от человека напряжения всего самого лучшего, что в нем есть, – лучших чувств, лучших стремлений, лучших надежд. И особенность всего называемого нами «священным» в том, что оно требует от нас не просто признания, но жизни и действий, с этим признанием согласных. Признание того, что дважды два – четыре, или того, что вода закипает при такой-то температуре, не делает нас ни лучше ни хуже; в таком признании сходятся праведник и негодяй, гений и глупец. Но вот если открылось нам священное в виде красоты ли, нравственного ли совершенства или глубинной интуиции о сущности мира – открытие это немедленно совершает в нас какую-то перемену, к чему-то обязывает, зовет и влечет.

Об этом так прекрасно и вместе так просто писал Пушкин в знаменитом стихотворении «Я помню чудное мгновенье...»!

Поэт забыл свое «мимолетное виденье», ибо

...Бурь порыв мятежный  
Рассеял прежние мечты.

Но затем

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И Божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Здесь описывается опыт священного как красоты. Этот опыт меняет всю жизнь, наполняет ее и смыслом, и вдохновением, и радостью, и Божеством.

Религиозный же опыт есть опыт священного в самом чистом виде. Каждому, кому этот опыт так или иначе дан, известно, что он пронизывает собою всю жизнь, требуя внутреннего изменения и преображения. Но известно также, что требование это наталкивается на инертность, слабость, мелочность нашего существа, и прежде всего – на тот почти инстинктивный страх перед священным (т.е. самым возвышенным, чистым и Божественным), о котором я уже говорил в прошлой беседе. Сердце и душа как будто ранены этим священным, в них зажигается вдохновение – стремление сделать всю жизнь сообразной с ним. Но вот, как говорит апостол Павел, находим мы в себе закон, противоборствующий этому стремлению (см.: Рим.7:23).

«Да святится имя Твое» – это вопль человека, который, увидев и познав Бога, уразумел, что только тут, в этом видении, в этом знании – и подлинная жизнь, и подлинное вдохновение, и подлинное счастье.

«Да святится имя Твое» означает: пусть все в мире, и прежде всего моя жизнь, мое тело, мои дела и слова, будут отражением этого священного и небесного имени, которое открылось и даровано нам. Пусть снова станет жизнь восхождением к свету, трепетом, хвалой, силой добра. Пусть

наполнено будет все Божественным смыслом и Божественной любовью.

«Да святится имя Твое» есть также и вопль о помощи в этом трудном подвиге восхождения и преображения, ибо со всех сторон, извне и изнутри, одолевают нас тьма, злоба, мелочность и суета. За каждым взлетом следует падение, за каждым усилием – припадок слабости и уныния, о чем так горестно сказал когда-то Тютчев: «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет – и не может»<sup>197</sup>.

Опыт священного – это таинственное «прикосновение мирам иным»<sup>198</sup>, это «мимолетное виденье... чистой красоты» – не легче, а труднее делает жизнь, и подчас начинаешь завидовать людям, без всякой внутренней борьбы живущим, погруженным в суету жизни. Однако только в этой борьбе исполняет человек по-настоящему свое высокое призвание, только тут, в этом усилии, в этих подъемах и падениях становится он до конца человеком.

И вот обо всем этом – первое прошение молитвы Господней, такое короткое, такое радостное и вместе трудное: «Да святится имя Твое». Все лучшее во мне не только произносит эти слова, но и подлинно живет ими, все лучшее во мне хочет новой жизни – жизни, которая светилась бы и горела, как священное пламя, сжигая всю нечистоту, все недостойное данного мне видения, все влекущее меня вниз. Как трудно это прошение, какое бремя возложил на нас Христос, оставив его нам и открыв, что в нем – единственно достойная и потому наипервейшая молитва наша к Богу! Как редко мы произносим его, сознавая все это, и как все-таки хорошо, что повторяем снова и снова. Ибо пока звучат в мире, пока не забыты эти слова «Да святится имя Твое», не может окончательно расчеловечиться человек, до конца изменить тому, к чему призвал и для чего создал его Бог.

## Молитва Господня. «Да придет Царствие Твое»<sup>199</sup>

Второе прошение молитвы Господней, т.е. Самим Христом оставленной Его ученикам и последователям, звучит так: «Да придет Царствие Твое». Как и по поводу первого прошения: «Да святится имя Твое», уместно задать вопрос: что вкладывает в эти слова христианин, на что направлены в эту минуту его сознание, надежда, желание? Я боюсь, что на вопрос этот ответить так же трудно, как и на предыдущий – о первом прошении.

Когда-то, на самой заре христианства, смысл этого прошения был прост – вернее, оно воплощало в себе, можно сказать, главное в вере и надежде христиан. Ибо достаточно один раз прочитать Евангелие, чтобы убедиться: образ Царства Божия центральный в проповеди и учении Христа. Иисус приходит, проповедуя Евангелие Царства, и говорит: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17).

О Царстве Божием – почти все притчи Христа. Он сравнивает его с сокровищем, ради приобретения которого человек продает все, что у него есть; с зерном, из которого вырастает тенистое дерево; с закваской, которая поднимает все тесто. Так или иначе, но всегда и всюду – это таинственное и одновременно влекущее обещание, возвешение, приглашение в Царство Божие. Ищите же прежде Царства Божия (Мф.6:33), «Да будете сынами Царствия» (ср.: Мф.5:45; Ин.12:36).

И потому, может быть, самое удивительное в длинной истории христианства – то, что это сердцевинное понятие, сердцевинное содержание евангельской проповеди приходится сегодня как бы заново разгадывать, словно мы забыли его или где-то потеряли по дороге. Но как же молиться о Царстве Божием, как говорить Богу: «Да придет Царствие Твое», если мы сами не знаем хорошенько, что вкладываем в эти слова?

И трудность здесь прежде всего та, что в самом Евангелии понятие Царства как бы двоится. С одной стороны, оно как будто отнесено к будущему, к концу, к запредельному, соответствуя тому, что всегда говорят о христианстве его враги,

пропагандисты казенного безбожия, а именно – что христианство центр тяжести полагает в неведомом нам загробном мире и поэтому равнодушно к злу и несправедливости мира земного. А если так, то молитва «Да приидет Царствие Твое» оказывается молитвой о конце мира, о наступлении потустороннего царства.

Но почему же тогда Христос говорит и о том, что Царство приблизилось, и на вопросы учеников отвечает, что оно посреди них, внутри их (см.: [Лк.17:21](#))? Нет ли здесь указания и на то, что Царство не может быть отождествлено с потусторонним миром, который откроется в будущем, после катастрофического конца и гибели нашего земного мира?

Тут-то и подходим мы к самому главному. Ибо если разучились мы понимать Евангелие Царства и не знаем толком, о чем молимся, произнося: «Да приидет Царствие Твое», то это потому, конечно, что не воспринимаем их во всей полноте. Мы всегда начинаем с себя, со «своего». Даже верующий человек очень часто заинтересован в религии лишь постольку, поскольку она отвечает на его вопросы о нем самом: «Бессмертна ли моя душа? Все ли для меня кончится со смертью? Есть ли что-нибудь там – за страшным и таинственным прыжком в неизвестность?» Но Евангелие говорит не об этом. Оно называет Царством встречу человека с Богом, Который есть подлинная Жизнь всякой жизни, Который есть Свет, Любовь, Разум, Мудрость, Вечность. Оно говорит, что Царство Божие приходит и начинается тогда, когда человек встречает Бога, узнает Его и с любовью и радостью отдает Ему себя. Оно говорит, что Царство Божие приходит тогда, когда моя жизнь до краев наполняется этим светом, этим знанием, этой любовью. И оно говорит, наконец, что для человека, пережившего эту встречу и наполнившего свою жизнь этой Божественной жизнью, все, включая саму смерть, открывается в новом свете, ибо то, чем наполняет он свою жизнь здесь, сегодня, сейчас, есть сама вечность, Сам Бог.

Итак, о чем же молимся мы, когда произносим эти несравненные слова: «Да приидет Царствие Твое»? Прежде всего о том, чтобы встреча эта произошла уже теперь, на земле;

чтобы в этих обстоятельствах, в этой моей будничной и трудной жизни прозвучало: Приблизилось к вам Царствие Божие (Лк. 10:9); чтобы засияла эта моя жизнь силой и светом Царства, веры, любви и надежды. О том, чтобы и весь мир, так очевидно пребывающий во зле и страхе, в тоске и суете, увидел и воспринял этот свет, воссиявший в нем две тысячи лет назад, когда на далекой окраине Римской империи прозвучал одинокий, но звучащий и доселе голос: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17). О том еще, чтобы помог нам Бог не изменять этому светлому Царству, не отпадать от него ежечасно, не погружаться в затягивающую нас постоянно тьму, и о том, наконец, чтобы пришло оно, это Царство Божие, как говорит Христос, в силе (Мк. 9:1).

Да, в христианстве есть всегда устремление к будущему, ожидание Любимого, надежда конечного торжества на земле и на небе, когда «Бог будет всяческая во всем» (ср.: 1Кор.15:28). «Да приидет Царствие Твое» – это даже не молитва: это дыхание, это ритм сердцебиения у каждого, кто хоть раз в жизни увидел, почувствовал, полюбил свет и радость Царства Божия, у каждого, кто знает, что оно начало и конец для всего живущего.



## Молитва Господня. «Да будет воля Твоя»<sup>200</sup>

«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» – пусть будет Твоя воля на земле, как и на небе. Таково третье прошение молитвы Господней.

Прощение это кажется самым простым, самым понятным из всех. Действительно, если верит человек в Бога, то, очевидно, и подчиняется воле Божией, и принимает ее, и хочет, чтоб воля эта торжествовала повсюду на земле, как торжествует она, предположительно, на небе. На деле же это, конечно, самое трудное из всех прошений. Я сказал бы, что именно это прошение: «Да будет воля Твоя» включает в себе главное мерило веры – мерило, позволяющее нам отличать (прежде всего в себе) подлинную веру от неподлинной, истинную религиозность от поддельной. Ибо на деле даже верующий человек слишком часто, если не всегда, хочет, ждет и просит от Бога, в Которого он, по собственному утверждению, верит, исполнения своей, а совсем не Божией воли. И больше того – только потому и верит (или говорит, что верит) в Бога.

Лучшее доказательство этому – само Евангелие, рассказ о жизни Христа. Неходят ли попервоначалу за Ним несметные толпы народа? И не потому ли ходят, что Он исполняет, казалось бы, их волю – исцеляет, помогает, утешает... Но как только начинает Христос говорить о главном – о том, что желающим следовать за Ним нужно отказаться от себя, любить врагов и полагать жизнь свою за братьев, – как только учение это оказывается призывом к жертве, требованием «невозможного», как только Он, иными словами, начинает учить о воле Божией, люди оставляют Его и, больше того, проникаются к Нему злобой и ненавистью. Это улюлюканье толпы у креста, этот неистовый вопль: Распни, распни Его! (Лк.23:21) – разве не потому все это, что не исполнил Христос волю людей? Они хотели только помощи и исцелений, а Он говорил о любви и прощении. Они хотели освобождения от иноземного гнета и поражения врагов, а Он говорил о Царстве Божиим. Они хотели соблюдения человеческих запретов, а Он

нарушал их, ел и пил с мытарями, грешниками и блудницами. Разве не тут, не в этом разочаровании корень и причина Иудиной измены? Иуда ждал, что Христос исполнит его волю, а Христос «вольно», т.е. по собственной воле, отдал Себя на поругание и смерть.

Это все в Евангелии. Но и потом, на всем протяжении почти двухтысячелетней истории христианства вплоть до наших дней разве не видим мы то же самое? Чего хотим и ждем от Христа все мы и каждый из нас в отдельности? Признаемся: исполнения нашей воли. Мы хотим, чтобы Бог обеспечил нам наше счастье. Мы хотим, чтобы Он поразил наших врагов. Мы хотим, чтобы Он исполнил наши мечты и именно нас признал хорошими и добрыми. И когда не исполняет Бог нашей воли, мы возмущаемся, негодуем и готовы снова и снова отречься от Него. Мы говорим: «Да будет воля Твоя», но на деле подразумеваем: «Да будет воля наша», и поэтому третье прошение молитвы Господней есть, прежде всего, суд над нами, над нашей верой: действительно ли мы хотим Божьего, действительно ли хотим принять все трудное и так часто кажущееся невозможным, что требует от нас Евангелие?

И прошение это есть также проверка всей направленности нашего желания, всего устремления нашей жизни. Чего мы хотим? Что составляет последнюю, главную ценность для нас, то самое сокровище, про которое сказал Христос, что, где будет оно, там будет и сердце наше? И если история христианства полна измен, то измены эти не столько в грехах и падениях (ибо согрешивший всегда может раскаяться, падший – всегда подняться, больной – всегда выздороветь), сколько в постоянной подмене воли Божией нашей волей, а лучше сказать – нашим своеволием. Именно здесь религия становится эгоизмом и вполне заслуживает обвинений и обличений. И тогда она превращается в псевдорелигию, страшнее которой нет, пожалуй, ничего на земле, ибо псевдорелигия и убила Христа. Ведь люди, которые издевались над Христом, предали Его на распятие и смерть, искренне считали себя религиозными. Но одни из них понимали религию как национальное превозношение, и Христос, говоривший о любви к врагам, был

для них опасным революционером. Другие видели в ней источник чудес и внешней силы, а повешенный на кресте нищий Учитель был для такой религии позором. Третьи, наконец, разочаровались в Христе потому что Он учил их иному, чем им хотелось бы слышать. И это, повторяю, происходило и происходит всегда, и потому третье прошение молитвы Господней так бесконечно важно.

Да будет воля Твоя» – это значит: дай мне силы, помоги мне понять, в чем Твоя воля; помоги преодолеть ограниченность моего ума, моего сердца, моей воли, чтобы различать пути Твои; помоги принять в Твоей воле все, что кажется мне трудным, невыносимым и невозможным; помоги мне, иными словами, захотеть того, чего хочешь Ты. Тут-то и начинается для человека тот узкий путь, о котором говорил Христос. Ибо стоит только захотеть Божьего, т.е. трудного и высокого, – как отворачиваются от нас люди, изменяют друзья, и мы оказываемся одинокими, гонимыми и отвергнутыми. Но это всегда признак того, что человек принял волю Божию, и всегда обещание, что увенчается этот трудный и узкий путь победой – не человеческой, временной и преходящей, а победой Божией.

## Молитва Господня. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»<sup>201</sup>

Мы продолжаем сегодня объяснение молитвы «Отче наш», или, как называли ее христиане с самого начала, молитвы Господней.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Таково четвертое прошение молитвы – о хлебе насущном. «Насущный» в переводе со славянского значит существенный, необходимый для жизни. И потому это слово переводилось также как «ежедневный», нужный нам каждый день. Если первые три прошения относились к Богу, были нашим желанием, чтобы свяtilось Его имя, наступило Его Царство, совершалась не только на небе, но и на земле Его воля, то теперь, с этим четвертым прошением, мы как бы переходим к нашим собственным нуждам, начинаем молиться о себе. Под «хлебом» в этом прошении разумеется, конечно, не только хлеб как таковой, и даже не только пища, но все то, что нам нужно для жизни, от чего зависит наше существование на земле.

Но, чтобы понять всю глубину, весь смысл этого прошения, нужно вспомнить все то, что связано с темой пищи в Библии, ибо только тогда прошение это перестает быть ограниченным одной физической жизнью человека и раскрывается перед нами в подлинном своем значении.

Роль пищи выясняется в первой же главе Библии – в рассказе о сотворении человека. Создав мир, Бог дает его в пищу человеку, и первое, что отсюда следует, – это зависимость человеческой жизни от пищи и, следовательно, от мира. Человек живет от пищи, претворяет пищу в свою жизнь. Эта зависимость его от внешнего, от материи, от мира столь самоочевидна, что один из основателей материалистической философии заключил человека в знаменитую формулу: «Человек есть то, что он ест». Но библейское откровение о человеке не исчерпывается этой зависимостью. Пищу, т.е. саму жизнь, человек получает от Бога. Это Божий дар человеку, и живет он не для того, чтобы только есть и утверждать, таким

образом, свое физиологическое существование, а для того, чтобы осуществить в себе образ и подобие Божие. Итак, сама пища есть дар жизни как знания, свободы и красоты. Пища претворяется в жизнь, но жизнь с самого начала показана в Библии как победа над этой зависимостью, над тем, что всего лишь пища. Ибо Бог, создав человека, дает ему заповедь обладать миром.

Таким образом, получать пищу от Бога как Его дар означало для человека наполнять себя жизнью Божественной. И поэтому с пищей же связан и библейский рассказ о грехопадении человека – о запретном плоде, который съел человек втайне от Бога, чтобы стать «как Бог». Смысл этого рассказа простой: человек поверил, что от одной пищи, т.е. от одной зависимости от нее, получит то, что дать ему может только Бог. Путем пищи он захотел освободиться от Бога, и это привело его к рабству пище. Через пищу человек стал рабом мира, но это значит также – и рабом смерти, ибо пища, давая ему физическое существование, не может дать той свободы от мира и от смерти, которую дает только Бог. Пища – символ и средство жизни – стала также символом смерти. Ибо человек, если не ест, умирает, но если и ест – тоже умирает, ибо сама пища есть причастие смертному и смерти. И потому, наконец, и спасение, и восстановление, и прощение, и само воскресение связаны в Евангелии, опять-таки, с пищей.

Согласно рассказу об искушении в пустыне, когда Христос почувствовал голод, диавол предложил Ему превратить камни в хлебы. Но Христос отказался, сказав: «Не хлебом единым будет жив человек» (ср.: Мф.4:4). Он преодолел и осудил ту самую всецелую зависимость человека от «хлеба единого» (т.е. от физической жизни), которой обрек себя в символическом повествовании Библии первый человек. Он освободил Себя от этой зависимости, и пища снова стала даром Божиим, причастием Божественной жизни, свободе и вечности, а не зависимостью от смертного мира. Ибо таков на глубине смысл той новой, Божественной пищи, с первых же дней христианства составляющей главную радость, главное таинство христианской

Церкви, которое христиане называют Евхаристией, что означает благодарение.

Евхаристией, верой в причастие новой пище, новому и Божественному хлебу завершается христианское откровение о пище. И только в свете этого откровения, этой радости, этого благодарения и можно по-настоящему понять всю глубину четвертого прошения молитвы Господней: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – подай нам сегодня необходимую для нас пищу! Да, конечно, это прежде всего прошение о том, что нам нужно для жизни, – о самом простом, необходимом и насущном: о хлебе, пище, воздухе, обо всем том, причастие чему претворяется в нашу жизнь. Но это не все. «Даждь нам» означает, что последний источник всего этого для нас – Сам Бог, Его любовь, Его забота о нас, так что от кого и как бы ни получали мы дар – все от Него. Но это значит также, что и последний смысл этого дара – Он Сам. Мы получаем хлеб, мы получаем жизнь, но получаем для того, чтобы раскрыть смысл этой жизни. И смысл ее – в Боге, в познании Его, в любви к Нему, в общении с Ним, в радостной Его вечности, в той Его жизни, которую Евангелие называет «жизнью с избытком» (Ин.10:10).

Боже мой, как далеки мы от маленького и слепого крота, имя которому Фейербах! Да, конечно, человек, как говорил он, «ест то, что он ест». Но ест-то он дар Божественной любви, но приобщается-то он свету и славе и радости, но ведь, живя, он живет всем тем, что даровал ему Бог. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – дай нам в любви Твоей все это сегодня, дай нам не просто существовать, но именно жить – той полной, осмысленной и в пределе Божественной, вечной жизнью, для которой Ты создал нас, которую дал и вечно даешь нам и в которой мы узнаем, любим и благодарим Тебя!

## Молитва господня. «И остави нам долги наша»<sup>202</sup>

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Так по-славянски звучит пятое прошение той главной христианской молитвы, текст которой мы находим в Евангелии и которую сам Христос, согласно Евангелию, оставил Своим последователям. По-русски это прошение можно выразить так: «И прости нам наши грехи, потому что и мы прощаем тех, кто согрешил против нас».

Заметим сразу же, что в этом прошении соединено два акта: прощение наших грехов Богом связано с прощением нами грехов против нас. И в другом месте Евангелия Христос говорит: Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф.6:15). И, конечно, именно тут, в этой связи, в этом соединении глубокий смысл этого прошения молитвы Господней.

Но, может быть, прежде чем в эту связь вдуматься, необходимо остановиться немного на понятии греха, ибо оно стало совсем чуждым современному человеку. Этот последний знает понятие преступления, которое связано, прежде всего, с нарушением того или иного закона. Понятие преступления относительно. Так, например, в одной стране преступлением может быть то, что не является преступлением в другой, ибо если нет закона, нет и преступления. Преступление не только соотносимо с законом, но в каком-то смысле и порождено им. А закон, в свою очередь, порожден социальными потребностями, и ему нет, да и не может быть дела до того, что происходит на глубине человеческого сознания. Пока не нарушает человек мирной жизни общества и не наносит очевидного вреда другим или же установленному порядку, преступления нет, как нет и закона. Ненависть, например, не может быть «составом преступления», пока она не привела к какому-то действию: удару, убийству, оскорблению. С другой стороны, закон не знает и прощения, ибо само назначение его в том, чтобы защищать и поддерживать порядок в человеческом общежитии – порядок, основанный на действии закона.

Потому-то и так важно понять, что мы, говоря о грехе, говорим о чем-то глубоко отличном по самой своей сущности от социального понятия преступления. Если о преступлении мы узнаём из закона, то о грехе – от совести, и если нет в нас, если исчезает в человеческом обществе понятие, а лучше сказать, непосредственный опыт совести, то чуждым, непонятным, ненужным делается религиозное понятие греха и связанного с ним прощения.

Что же такое совесть? Что такое грех, о котором говорит нам и который являет нам наша совесть? Это не просто некий внутренний голос, говорящий нам о том, что плохо и что хорошо; это не просто врожденная способность человека различать добро и зло, но нечто еще более глубокое и таинственное. Человек может твердо знать, что он не сделал ничего плохого, ни в чем не нарушил закон, никому не причинил никакого зла, и все-таки иметь нечистую совесть.

«Чистая», «нечистая» – эти привычные определения лучше всего, может быть, выражают таинственную природу совести. Иван Карамазов у Достоевского знает, что не убивал отца, и столь же твердо знает, что виноват в этом убийстве. Совесть – это и есть чувство вины на глубине, чувство своего соучастия не в преступлении как таковом, а в том глубинном, внутреннем зле, в той нравственной порче, из которой вырастают все преступления мира и перед которой бессильны все земные законы. И когда произносит персонаж Достоевского знаменитую фразу: «Каждый перед всеми за всех виноват», то это не риторика, не болезненно обостренное чувство вины, но правда совести. Ибо дело совсем не в том, что каждый из нас, кто реже, кто чаще, нарушает те или иные законы, повинен в больших или, гораздо чаще, мелких преступлениях. Дело в том, что все мы приняли как самоочевидный закон то внутреннее разъединение, ту внутреннюю противопоставленность друг другу, ту расколотость жизни, то недоверие, то отсутствие любви и солидарности, в которых живет мир и неправду которых являет нам наша совесть.

Ибо подлинный закон жизни совсем не в том, чтобы не делать зла, а в том, чтобы делать добро, и значит – любить, и



значит – принимать другого, и значит – осуществлять то единство, вне которого даже самое законное общество становится адом. Неприятие же этого закона и есть тот грех всех грехов, о прощении которого мы молимся в пятом прошении молитвы Господней.

Но осознать свою разделенность с другими как грех – это значит уже стремиться к его преодолению, это значит – уже простить. Ибо прощение есть таинственный акт, в котором восстанавливается утраченная целостность и воцаряется добро, дело не закона, но нравственного выбора. По закону всякий согрешивший против меня должен быть наказан, и пока он не наказан, законность не восстановлена. Апосовести, позакону нравственному важно восстановление не законности, а целостности, единства и любви, восстановить которые никакой закон не может. Сделать это может только взаимное прощение. Если мы прощаем друг друга, то и Бог прощает нас, и только в этой взаимосвязанности прощения нашего и прощения свыше очищается совесть, воцаряется свет, которого на глубине своей жаждет человек. Ибо по-настоящему важны для него не внешний порядок, а чистая совесть – тот внутренний свет, без которого не может быть подлинного счастья. Поэтому «остави нам долги наша, якоже и мы отпускаем должником нашим» есть прошение о нравственном очищении, без которого не поможет в этом мире никакая законность.

И может быть, самая страшная трагедия нашего общества в том, что здесь много говорится о законности и справедливости, но при этом совсем забыта нравственная сила и красота прощения. Вот почему молитва о прощении нами грехов тех, кто согрешил против нас, и наших грехов Богом должна стать центральным моментом нравственного возрождения, к которому призвано современное человечество.

## Молитва господня. «И не введи нас во искушение»<sup>203</sup>

Последнее прошение главной христианской молитвы «Отче наш», которое издревле подвергалось различным толкованиям, звучит так: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

И прежде всего, что может означать это «не введи»? Значит ли это, что Сам Бог искушает нас, посылает те страдания, испытания и сомнения, наполняющие нашу жизнь и делающие ее зачастую столь мучительной? Или иначе: неужели Сам Бог мучит нас, хотя бы для того, чтобы мучение это, в конечном итоге, просветило и спасло нас? Далее, о ком идет речь, когда мы молимся об избавлении нас от лукавого? Слово это переводили и переводят и просто как «зло» – «избави нас от зла», ибо греческий оригинал (ἀπό τοῦ πονηροῦ) можно перевести и как «от злого», и как «от зла».

Так или иначе, откуда это зло? Если есть Бог, почему же в мире все время торжествует зло и присутствие его силы настолько очевиднее присутствия силы Божией? Если есть Бог, как Он допускает все это? И если Бог спасет меня от грозящего мне ала, то почему же не спасает Он всех тех, кто так очевидно страдают и гибнут вокруг?

Скажем сразу, что на вопросы эти легкого ответа нет. Или еще ясней: ответа на них вообще нет, если под ответом разуместь рациональное и так называемое объективное объяснение. Все попытки пресловутой теодицеи, т.е. рационального объяснения зла при наличии всемогущего Бога, были неудачными и неубедительными. Против всех этих объяснений сохраняет свою силу знаменитый ответ Ивана Карамазова у Достоевского: «Если будущее счастье построено на слезинке хотя бы одного ребенка, я почтительнейше возвращаю билет на такое счастье»<sup>204</sup>.

Но что же тогда ответить? Тут-то и начинается, может быть, раскрываться смысл, и даже не столько смысл, сколько внутренняя сила последнего прошения молитвы «Отче наш»:

«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго». Ибо зло приходит к нам именно как искушение, как сомнение, как разрушение веры, как воцарение темноты, цинизма и нравственного бессилия в нашей душе.

Страшная сила зла не столько в нем самом, сколько в разрушении им нашей веры в добро и в то, что оно сильнее зла. Вот это признание зла всемогущим и есть искушение. И даже сама попытка объяснить зло, «узаконить» его, если так можно выразиться, какими-то рациональными объяснениями, есть все то же искушение, или внутренняя капитуляция перед злом. Ибо христианское понимание зла основано на том, что оно не имеет никакого оправдания как плод отпадения от Бога и подлинной жизни, и Бог не объясняет нам истоки и происхождение зла, но дает силу бороться и побеждать его. И победа эта, опять-таки, не в том, чтобы понять и объяснить зло, а в том, чтобы противопоставить ему всю силу веры, надежды и любви, ибо в них ответ на искушение, победа над искушением и потому – победа над злом.

И именно эту победу одержал Христос, вся жизнь Которого была сплошным преодолением искушения. Зло постоянно торжествовало вокруг Него во всех своих видах, начиная с избияния невинных детей при Его рождении и кончая преданием Его на физические мучения и позорную смерть. И само Евангелие есть в каком-то смысле рассказ о торжестве зла и победе Христа над ним как искушением.

Христос ни разу не объяснил и потому ни разу не оправдал, не узаконил зла, но постоянно противопоставлял ему веру, надежду и любовь. Он не уничтожил зло, но явил силу борьбы с ним и силу эту оставил нам. И о ней, об этой силе, молимся мы всякий раз, когда говорим: «И не введи нас во искушение».

Про Христа в Евангелии сказано, что во время ночной молитвы в саду, когда Он начал скорбеть и тосковать (Мф.26:37), когда легла на него, иными словами, вся тяжесть искушения – явился ангел с неба и укреплял Его (см.: Лк.22:43).

Вот об этой таинственной помощи молимся и мы – о том, чтобы во зле, страдании и искушениях не дрогнула наша вера, не ослабела надежда, не иссякла любовь, чтобы не воцарилась

тьма зла в нашей душе и не стала она, душа, источником зла; о том, чтобы мы доверились Богу, как доверился ему Христос; о том, чтобы разбивалось о Его силу, завещанную нам, всякое искушение.

Нам заповедано молиться и о том, чтобы избавил нас Бог от лукавого, и тут дано еще одно не объяснение, а откровение о личном характере зла, о личности как носителе и источнике зла. Нет самостоятельной сущности, которую можно было бы назвать ненавистью, но она является нам во всей своей страшной силе, когда есть ненавидящий; нет страдания, но есть страдающий. Все в этом мире, все в этой жизни лично, и потому не об избавлении от какого-то безличного зла, а от злого молимся мы в молитве Господней. Источник зла – в злом человеке, т.е. в человеке, для которого зло, как ни парадоксально, как ни страшно это, стало добром и который живет злом. И, быть может, именно в этих словах о лукавом и дано нам единственно возможное объяснение зла, ибо оно раскрывается тут не как разлитая в мире безличная сущность, а как трагедия личного выбора, личной ответственности, личного решения.

Но потому-то только в личности, а не в отвлеченных структурах и установлениях побеждается зло и торжествует добро. Потому-то и молимся мы, прежде всего, о самих себе, ибо всякий раз, когда сами преодолеваем искушение, сами выбираем веру, надежду и любовь, а не тьму зла, начинается в мире новый причинный ряд, открывается новая возможность победы. Вот основа нашей молитвы: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

## Молитва господня. «Яко Твое есть Царство»<sup>205</sup>

Этой беседой заканчивается наше краткое и, конечно, далеко не полное объяснение молитвы Господней «Отче наш». Мы видели, что за каждым ее словом, за каждым прошением раскрывается целый мир духовных реальностей, духовных отношений, о которых мы почти никогда не думаем, которые растеряли в суматохе повседневной жизни. С этой точки зрения, молитва «Отче наш» – больше, чем молитва: это явление и раскрытие того духовного мира, для которого мы созданы, той иерархии ценностей, которая одна позволяет всё в нашей жизни расставить на свои места. В каждом прошении – целый пласт нашего собственного самосознания, целое откровение о нас самих.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое – ибо моя жизнь отнесена к высшему, абсолютному и Божественному бытию и только в этой отнесенности находит свой смысл, свой свет, свое направление.

Да приидет Царствие Твое – ибо моя жизнь предназначена к тому, чтобы наполниться Царством добра, любви и радости, чтобы в нее вошла, ее просветила сила Царства, открытого и дарованного нам Богом.

Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли – чтобы в свете благой воли судил я свою жизнь, находя в ней непреложный нравственный закон, смиряя перед ней свое своеволие, свой эгоизм, свои страсти, свое безумие.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь – чтобы всю жизнь свою, все радости ее, но и скорби, все красоту ее, но и страдания, получал я как дар из руки Божией, с благодарностью и трепетом, чтобы жил только насущным, т.е. главным и высшим, а не тем, на что все время мелочно разменивается этот бесценный дар.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим – чтобы был во мне всегда дух прощения и готовность всю жизнь свою построить на любви, чтобы все

недостатки, все грехи, т.е. долги мои, покрывались светлым прощением Божиим.

И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого – чтобы умел я с помощью Божией, отдаваясь этой таинственной, но светлой Его воле, побеждать всякое искушение и самое главное, самое страшное из них – ослепление, не дающее видеть присутствие Божие в мире, отвергающее жизнь как дар Божий, делающее ее темной и злой; чтобы не поддался я силе и очарованию злого человека, чтобы не было во мне раздвоенности и лукавства зла, всегда прикрывающегося добром, всегда принимающего образ ангела света.

Молитва Господня увенчивается торжественным славословием: Яко Твое есть Царство и сила и слава – три ключевых слова и понятия Библии, заключающих в себе три главных символа христианской веры.

Символ первый – Царство. Царство Божие внутри вас есть (Лк.17:21); Да приидет Царствие Твое (Мф.6:10, Лк.11:2); Приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17); Ищите же прежде Царства Божия (Мф.6:33). Царство это приблизилось, пришло, открылось. Как? В жизни, в словах, в учении, в смерти и, наконец, в воскресении Иисуса Христа. В жизни, наполненной таким светом и такой силой, в словах, возводящих нас на такую высоту, в учении, отвечающем на все наши вопросы, и, наконец, в самом конце, который стал началом новой жизни. Говоря о Царстве Божием, мы говорим, следовательно, не о чем-то загадочно-отвлеченном, не о другом, «загробном» мире, не о том, что будет после смерти, но о том, что обещал, что сообщил, что дал нам, верующим в Него, любящим Его, Сам Христос. И называем это Царством, потому что ничего лучше и прекраснее, полнее и радостнее не было открыто и дано человеку. И потому утверждаем: «Яко Твое есть Царство».

И сила – говорим мы дальше, и здесь второй символ. Какая же сила у этого Человека, умершего одиноко на кресте, ни разу себя не защитившего, не имевшего где главу приклонить? Но сравните Его со всеми сильными мира: как бы ни были те сильны, сколько бы ни трепетали перед ними, неизбежно наступает момент, когда сила их падает и разрушается без

остатка. А Христос живет вечно, и ничто, никакая сила не может вытравить Его из человеческой души. Люди увлекаются другими словами, другими учениями, другими обещаниями, но рано или поздно возвращаются к маленькой книжке, запечатлевшей в себе Того, Кто говорит: На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы ([Ин.9:39](#)), заповедь новую даю вам, да любите друг друга ([Ин.13:34](#)) и, наконец: Я победил мир ([Ин.16:33](#)).

И наконец, слава – третий символ. Призрачной, кратковременной, хрупкой оказывается всякая слава на этой земле. И, кажется, меньше всего искал Христос славы. Но если возможна подлинно неразрушимая слава, то та лишь, что загорается и светит всюду, где есть Он, и это слава добра, веры, любви, надежды, и исходящему от нее свету нет подобия на земле. И взирая на Него, мы понимаем, что же означают слова поэта о мире, горящем «звездной славой и первозданною красой»<sup>206</sup>. Мы понимаем вдруг, не разумом, а всем существом, чего ищет и жаждет человек во всех метаниях, во всей неуспокоенности своей. Он ищет, чтобы вспыхнул этот свет и просветилось все этой небесной красотой, засияло все этой Божественной славой.

Яко Твое есть Царство, и сила, и слава ныне и присно и во веки веков – так заканчивается Молитва Господня. И пока не забыли, пока повторяем ее, жизнь наша так или иначе направлена к Царству, исполнена силой, светится славой, и против этого не могут ничего тьма, ненависть и зло.

## Символ веры. Введение<sup>207</sup>

В жизни Церкви с давних пор центральное место занимал и продолжает занимать Символ веры – краткое перечисление того, во что она верит и что составляет самую сущность христианской веры.

Греческое слово «символ» (σύμβολον) в его первоначальном значении можно перевести так: то, что соединяет, держит вместе, или, буквально, содержит. Так вот, Символ веры именно содержит те истины, которые, как верит Церковь, необходимы человеку для полноты его жизни, для спасения от зла, греха и духовной гибели.

Исторически Символ веры возник из подготовки новообращенных, т.е. вновь уверовавших, к вступлению в Церковь, т.е. к крещению. В древности крещение принимали главным образом взрослые. И, приходя к вере, принимая решение стать членом христианской общины, каждый, как и в наши дни, совершал это в итоге своего особого пути, особых обстоятельств, ибо всякое обращение, всякая встреча человека с Богом есть тайна благодати Его, проникнуть в которую нам не дано. Одни приходят к Христу в страдании и горе, другие – в радости и счастье. Одни ищут Его умом, другие – сердцем. Так было, так будет всегда.

Повторяю: зарождение веры в душе есть тайна. И, однако, сама вера в Христа приводит человека в общину тех, кто верит в Него – приводит в Церковь. Ибо сама вера ищет и требует единства верующих, которые своим единством и любовью друг к другу свидетельствуют перед лицом мира, что они ученики и последователи Христа. По тому узнают все, что вы Мои ученики, – говорит Христос, – если будете иметь любовь между собою (Ин.13:35). Именно об этой любви и об этом единстве веры апостол Павел говорит, что они составляют главную радость христиан. Я весьма желаю, – пишет он христианской общине в Риме, – утешиться с вами верою общею, вашею и моею (Рим.1:11–12).



Христианская жизнь новообращенного начиналась с того, что его приводили (или он сам приходил) к главе местной общины «верных», т.е. христиан, – епископу, и тот начерчивал рукою крест на его лбу, как бы ставя метку Христову (между прочим, именно с этого начинается и в наши дни крещение маленьких детей). Итак, человек пришел к Богу, поверил во Христа. Теперь, однако, ему надлежит узнать все содержание, всю глубину этой веры, вступить в Церковь как единство веры и любви. Он становится учеником, его начинают, как сказано в церковных книгах, «оглашать», т.е. объяснять ему смысл веры. Ибо христианство с самого начала не просто чувства и эмоции, но встреча с Истиной, трудный подвиг приятия ее всем существом – душой, сердцем, разумом, волей. Как человек, страстно любящий музыку, для того чтобы исполнять ее, должен пройти через трудное и долгое обучение, так уверовавший и полюбивший Христа должен теперь осознать содержание этой веры, этой любви, как и то, к чему они обязывают.

Это оглашение, эта подготовка к крещению продолжалась иногда целый год, и одной из главных частей ее было объяснение веры. А это объяснение, в свою очередь, как бы резюмировалось в Символе веры, каждый член которого соответствовал определенному измерению, определенной стороне учения о Боге и Церкви. Накануне праздника Пасхи – ибо крещение в ранней Церкви совершалось в пасхальную ночь – каждый из готовящихся к нему торжественно произносил Символ веры. Этим он свидетельствовал свое приятие единой веры Церкви и свое вступление в церковное единство веры и любви.

У каждой местной Церкви – Римской, Антиохийской, Александрийской – был свой крещальный Символ веры. Имея одинаковое содержание как исповедание той же веры, символы эти могли все же разниться по объему и фразеологии. В начале IV века в Церкви возникли большие споры, касавшиеся учения о Христе как Боге. И в 325 году в городе Никее собрался Первый Вселенский Собор, на котором был выработан общий для всех христиан Символ веры. Спустя несколько десятилетий, в 381 году, на Втором Вселенском Соборе в Константинополе этот

Символ был дополнен и получил название Никео-Цареградского, став общим для всей Вселенской Церкви. Наконец Третий Вселенский Собор, собравшийся в городе Ефесе в 431 году, постановил, чтобы этот Символ оставался навеки неприкосновенным, иными словами – без всяких добавлений. С тех пор и доныне этот Символ веры поется или читается за каждой Божественной литургией. Он есть всестороннее и полное выражение Церковью ее веры. И поэтому все, кто хотят узнать, во что верит Церковь, в чем та истина, которую несет христианство миру, находят ответ в Символе веры.

В наши дни миллионы людей ничего не знают о христианстве, а если знают, то отрывочно, неполно. Поэтому ближайшие беседы мы посвятим объяснению Символа веры в надежде, что эта попытка поможет понять и почувствовать, какое видение, какой опыт, какое благовестие выражает он каждым своим словом.

Я говорил, какое место в жизни Церкви и верующих занимает Символ веры, т.е. краткое изложение того, во что верит Церковь и во что призван верить каждый ее член.

Сегодня мы обратимся к содержанию этого основоположного исповедания. И прежде всего – к слову «верую», с которого оно начинается. Слово это определяет собой всю тональность Символа, его духовную исключительность и единственность. Поэтому, хотя оно кажется знакомым и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно как бы заново открыть и постоянно открывать для себя каждому из нас.

Итак, что или, лучше сказать, о чем говорю я, произнося это слово? Думаю, этого вопроса достаточно, чтобы ощутить, прежде всего, глубочайшее отличие не столько самого слова «верую», сколько того, к чему во мне оно относится, от всех других слов, которыми я выражаю содержание своего сознания, свое внутреннее я. Когда я говорю: «Я думаю», мне и другим понятно, о чем идет речь – о направленности моего сознания, моей мысли на определенный объект. Сказать: «Я думаю, что Бог есть» – значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных предпосылках, выводах и т.п. Говоря: «Я знаю, я убежден, я ощущаю», я остаюсь в пределах вполне объяснимых, ничего загадочного в себе не содержащих состояний моего сознания. И, самое главное, ни к одному из этих состояний слово «верую» неприменимо, так как оно в отношении их и неуместно. Сказать: «Я верую в то, что идет дождь» – просто глупо, поскольку тут я имею дело с фактом, равно как глупо было бы сказать: «Я верую в то, что дважды два – четыре», ибо это дело знания, а не веры.

Таким образом, очевидно, что слово «верую» относится только к тому во мне и вне меня, что лишено очевидности и к чему не относятся как раз все те слова, которыми я очевидность эту выражаю: «знаю», «вижу», «думаю», «убежден» и т.п. Иначе говоря, оно относится к тому, что

лишено и чувственной очевидности, и очевидности рациональной, и, наконец, очевидности фактической. К тому, чего нельзя доказать ни физическим опытом, ни рациональным доводом, ни простой ссылкой на факт (к примеру, на то, что идет дождь).

А вместе с тем – и тут мы подходим к самому главному – слово «верую» не только соответствует (хотя бы во мне) чему-то реальному, но явно наполнено какой-то внутренней силой, так как не нуждается в подпорках внешних, чувственных, рациональных, т.е. в «объективных», так сказать, доказательствах. «Верую» я говорю только про то, чего как раз глазами и не вижу, ушами не слышу, руками не осязаю, к чему не имеет отношения «дважды два четыре», но во что тем не менее я верю и что верой этой познаю. Бездарность антирелигиозной пропаганды именно в том, что она хочет разоблачить веру, сведя ее к «объективному» знанию: «Бога никто не видел, значит, Его нет». Но ведь не безбожники, а горящий верой апостол Иоанн Богослов восклицает: Бога никто никогда не видел (1Ин.4:12). Для верующих вера отлична от всего видимого, так как сама суть, сама сила ее в направленности на то, что просто «знать» и просто «доказать» невозможно.

Веру в этом смысле можно, действительно, назвать и чудом и тайной. Неким чудом ощущает ее прежде всего сам верующий. Действительно, откуда в душе это одновременно и радостное, и страшное чувство несомненного присутствия, встречи, дух захватывающей любви, словно не я, а какая-то сила во мне восклицает: «Верую!» в ответ на это присутствие, эту встречу? Я не могу объяснить это словами, так как все слова – о земном, о видимом и осязаемом. А опыт веры – это, – так очевидно – опыт чего-то приходящего свыше, и как объяснить, как выразить или передать его? Вот почему и душа и разум ощущают этот опыт как чудо. Словно не я куда-то пришел, а Кто-то пришел ко мне, прикоснулся к моему сердцу: Се, стою у двери и стучу (Откр.3:20). Вот этот стук, это пришествие ощутила душа и радуется, и знает, хотя, повторяю, нет слов для выражения этого знания.

Итак, чудо и, следовательно, тайна. Наше рассудочное, «дневное» сознание не принимает, не признает никаких тайн, все для него должно быть объяснено при помощи математических уравнений. Но верующий знает, что это не так. Вера есть прикосновение к тайне, узрение другого измерения, присущего всему в мире. В вере оживает скрытый смысл жизни и всего в ней. За гладкой и однозначно объясняемой поверхностью вещей начинает просвечивать подлинное их содержание. Сама природа начинает говорить и свидетельствовать о том, что внутри нее и одновременно – над нею как отличное от нее. Говоря самыми простыми словами, вера видит, знает, ощущает в мире присутствие Бога.

«Явление вещей невидимых» (ср.: Евр.11:1) – так определяет веру апостол Павел. И действительно, у верующего все в жизни и сама жизнь начинают ощущаться как явление. Небеса поведают славу Божию, творение же рук Его возвещает твердь (Пс.18:2). Это просто поэзия – это голос, свидетельство веры. Чудо, тайна, знание, радость, любовь – все это звучит в слове «верую», которое одновременно и ответ, и утверждение: ответ Тому, Кто пришел ко мне, и утверждение моего приятия этого пришествия, утверждение реальности этой встречи.

«Верую» и все последующие слова Символа веры – это рассказ и свидетельство о том, что узнала в этой встрече душа.

«Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым» – этим торжественным исповеданием начинается Символ веры, который, как я говорил в прошлой беседе, содержит в сжатом виде все, во что верит и чем живет Церковь. За каждым его словом стоит необъятная реальность, неисчерпаемая глубина опыта. Итак, попытаемся хоть вкратце, хоть намеком указать на эту реальность и эту глубину.

«Верую во Единого Бога...» Исповедание Бога как единственного есть начало всех начал, основа основ христианства. Христианство вошло в мир, где царил политеизм, или многобожие. Добиблейский, дохристианский человек обожествлял, в сущности, природу, т.е. многообразие действующих в ней сил. «Мир полон богов», – говорил греческий философ Фалес. В переводе на наш язык это означало, что в мире действует множество сил, что жизнь его протекает согласно заложенным в нем законам. Своей проповедью и исповеданием Единого Бога христианство восставало против обожествления мира. Оно заявляло, что все действующие в мире силы и законы, как и сам мир, происходят от Бога, но не суть Бог. У всего сущего – единый Источник жизни, пребывающий над миром. То, что у мира один источник, ощущалось и в многобожии, но Единого Бога там не знали. Боги язычества были всего лишь отображением самого мира, отсюда и взаимное их соперничество, отсюда и идолопоклоннический, магический характер язычества. Исповедовать Единого Бога означало утвердить примат духовного, высшего, абсолютного бытия, которое одно может явить смысл каждого жизненного явления, равно как и всей жизни.

Символ веры начинает с того, что именует Бога Отцом. Если слово «Бог» означает абсолютную высоту, абсолютное превосходство над миром, указывает на всецело недостижимое, всецело иное, то именование Его Отцом утверждает не просто связь Бога с миром, но такую связь, чья сущность – любовь,

любящая забота и участие. Отвергая многобожие во имя Единого Бога как абсолютного бытия, христианство столь же решительно отвергало и то восприятие Бога, которое называют деистическим. Деизм понимает Бога как причину мира, или, по знаменитой аналогии Вольтера, как часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, но в самом этом движении уже не участвующего. Именно это отвлеченно-философское понимание Бога и отвергается в именовании его Отцом. Отец дает жизнь, но продолжает любить и заботиться о своем создании, участвует в его жизни. Бог Отец не есть просто абсолют и источник всего, а есть Сама любовь, забота, сострадание. Но потому в именовании Бога Отцом заложена и выражена наша ответная к Нему любовь, наше знание Его как любящего, наше сыновнее Ему послушание.

Символ веры, однако, на этом не останавливается. Исповедав Бога Отцом, он тут же определяет его и как Вседержителя: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя...» Слово «Вседержитель» выражает нашу веру в то, что Бог, которого мы ощущаем Отцом, содержит в Своей любви, заботе и промысле всю жизнь мира, что все в мире от Него, живет Им. Христианство ни на что не положило столько усилий, сколько на борьбу с дуализмом – с верой многих дохристианских религий в существование двух богов, двух начал: светлого и темного, доброго и злого. Добрый и светлый Бог любви, Бог Отец не мог создать зла, страдания и уродства. Откуда же они? От борющегося с ним злого и темного бога. Дуализм делил мир надвое, в зависимости от источника его вещей и явлений. Дух происходит от светлого бога, а материя (в том числе тело человека со всеми его потребностями) – от темного и т.д. Именно этот дуализм отвергла христианская Церковь исповеданием Бога как Вседержителя. В дальнейших беседах мы еще будем говорить о том, как понимает христианство наличие зла, страдания и уродства в мире, созданном благим и светлым Богом Отцом. Сейчас подчеркнем только, что понимание это исключает какой бы то ни было дуализм. Сколь ни трагична судьба мира под властью греха, сколь ни сильно в нем зло, он сотворен как благой, в основе своей все имеет от

Бога, а потому изначально хорош. Мир создан любовью, и если отпадает он от любви, то это именно отпадение, а не проявление исконной его сущности.

И наконец, Церковь исповедует Бога Отца, Вседержителя также и Творцом: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Мир сотворен, и это значит, что он не сам из себя, что он не случайное сцепление элементов, что он исполнен смысла, что у него есть начало и цель, что все в нем отнесено к высшей, Божественной мудрости. Называя Бога Творцом неба и земли, христианство утверждает в мире духовное измерение. Мир не исчерпывается тем, что открыто чувственному опыту, как уверяют материалисты, он состоит из видимого, но также и невидимого, из земного, но также и небесного. Это исповедание полагает конец всякому упрощенному миропониманию. Созданный Богом, мир отражает в себе Божественную мудрость, Божественную красоту, Божественную истину. Все в нем от Бога и потому пронизано высшим смыслом. В этом, как мы увидим дальше, заключается красота, но и трагизм мира.



## Символ веры. Господь Иисус Христос<sup>210</sup>

В прошлой беседе я говорил о первом члене Символа веры. В нем христианская Церковь исповедует свою веру в Единого Бога, Которого она знает как Отца, Вседержителя и Творца. Сегодня мы переходим к следующей части Символа – к исповеданию Иисуса Христа Сыном Божиим, Господом и Спасителем.

Нужно ли доказывать, что именно тут, в исповедании Христа как Бога и как Человека запечатлена вся уникальная сущность христианства. В каком-то смысле все религии объединены верой в Бога, и хотя христианская вера имеет свои неповторимые особенности, все же опыт, выраженный в первом члене Символа: единство Бога, Бог как всеобщий Отец, Бог как Творец – понятен и последователям большинства других религий. Неизмеримо труднее объяснить, дать почувствовать связь этой веры в Единого Бога с верой в Сына Божия, ставшего Человеком, родившегося от земной Матери, умершего на кресте, воскресшего из мертвых. Главная трудность здесь, конечно, в кажущемся противоречии между основным утверждением христианства о Божественном единстве и столь же основным его утверждением, что Христос есть Сын Божий и потому Бог.

Что может означать эта вера для нашего разума? То, что у Бога есть Сын, Которого Отец посылает в мир, чтобы спасти Свое создание от зла, греха и смерти. А между тем это утверждение есть утверждение Самого Христа, Который на протяжении всего Евангелия называет Бога Отцом не только в том смысле, в каком Его называют так все люди, весь мир, но и в смысле единственном, исключительном – как Единородный, т.е. единственный Его Сын. Но выслушаем сперва эту часть Символа веры. После исповедания Бога как Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, там говорится: «И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,

рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша...» Но что же означают все эти имена, определения и утверждения? Большинство даже верующих людей редко вдумывается в них, принимая запечатленную здесь веру Церкви без всякого осмысления. Часто повторяя эти слова, они привыкли и потому как бы оглохли к самой глубокой, самой важной истине – истине о триедином Божестве, о Пресвятой Троице, Которая есть Отец, Сын и Святой Дух. Итак, Бог един и одновременно троичен. Как понять и принять это?

Напомним для начала, что вера в триединое Божество всегда воспринималась Церковью как откровение Самого Бога. Человек выдумать такое не мог, ибо оно не от разума, не от логических доказательств. Но откровение это, будучи самооткровением Бога, обращено к нашему сознанию и, следовательно, к нашему разуму, входя в него как свет. А свет, вливаясь во тьму, рассеивает ее, делая видимым и понятным то, что прежде было невидимо и непонятно. Вот почему крайне неправы те христиане, которые на вопрос, что такое Троица и можно ли верить в Бога единого и одновременно троичного, отвечают, что понять это нельзя, в это можно только верить. Но что же это за вера, разобраться в которой заведомо невозможно? Ведь если Бог открыл нам тайну собственного существа, то значит Он считал эту тайну необходимой и насущной для нас, как свет необходим для того, чтоб невидимое стало видимым, а необъяснимое понятным. Именно так переживала ранняя Церковь Божественное откровение, или самооткровение Бога как Пресвятой Троицы, т.е. как единого в трех Личностях, или Лицах. Знание Троицы было для христиан главной и величайшей радостью, свет этого откровения освещал для них тайну не только Божественной жизни, но и всего сущего. А потому, как бы ни было это трудно (особенно для нас, людей двадцатого века, обожествивших разум, утративших ощущение тайны и все измеряющих земной логикой), каждый, кто исповедует себя христианином и постоянно произносит Символ веры, должен отчетливо уяснить, что означает для него и для всей его жизни вера в Иисуса Христа как Сына Божия.

Думаю, надежнее всего следовать в этом уяснении за Церковью и значит – за ее Символом веры и принятым в нем порядком изложения. А Символ этот говорит о вере «во Единого Господа Иисуса Христа». Слово «Господь» (по-гречески *Kúrios*) к моменту возникновения христианства означало политического вождя, наделенного особыми полномочиями для управления обширной империей. Титул «Господь» присвоили себе в то время римские императоры, подчеркивавшие божественный источник их власти. Но именно титул этот и не признавали за ними христиане, которые, невзирая на преследования и угрозу смерти, утверждали, что в мире один Господь, один Носитель Божественной власти – Иисус Христос. Только за этот отказ назвать «Господом» кого-либо, кроме Христа, Римская империя преследовала христиан на протяжении двухсот лет. Но потому именно с этого слова и нужно начать объяснение нашей веры в Христа.

## Символ веры. Господь Иисус Христос (продолжение)

«И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного...» – таким исповеданием веры в Бога Сына начинается вторая часть нашего Символа. Произнося эти слова, мы раскрываем сердцевинную и уникальную сущность христианства. Вера в Единого Бога присуща как мировым религиям вроде ислама и иудаизма, так и деизму (т.е. признанию Бога высшим началом и источником жизни), что распространен среди миллионов людей, не причисляющих к себя ни к одной исторической или традиционной религии. Христианство, однако, отлично от всего этого тем, что наряду с чистейшим монотеизмом (т.е. верой в одного Бога) исповедует веру в Богочеловека Иисуса Христа, Который явился в Палестине около двух тысяч лет назад и Чья жизнь описана в книге, именуемой Евангелие, т.е. Благая весть. В этой книге, составленной из рассказов четырех учеников Христа – Матфея, Марка, Луки и Иоанна, повествуется о Его рождении, трехлетней проповеди, крестной смерти и воскресении из мертвых.

Замечу сразу – еще до того, как мы перейдем к посильному объяснению этой веры, – что в наши дни все попытки представить евангельское повествование выдумкой, а Самого Иисуса Христа – никогда не существовавшим, отброшены как несостоятельные. Огромное большинство историков, специально занимавшихся этим вопросом, и притом не только христиан, но и неверующих или, по крайней мере, не разделяющих веры в божественность Христа, согласны в том, что рассказ Евангелия основан на исторических фактах. В христианское истолкование этих фактов можно верить или не верить, но теперь нельзя уже сомневаться в том, что именно в I веке нашей эры, когда в завоеванной римлянами Палестине правил римский губернатор Понтий Пилат, жил и учил Человек по имени Иисус, что враги оклеветали Его перед Пилатом, выставив политическим преступником, а Пилат осудил Иисуса на распятие и смерть. Нельзя сомневаться и в том, что после

смерти и погребения Иисуса ученики Его стали утверждать, что видели Наставника живым, как и в том, наконец, что вера в Него начала быстро распространяться по всей Римской империи и, далее, по всему миру.

Повторяю, факты эти можно истолковывать по-разному. В них можно верить, т.е. придавать им тот же смысл, какой придавали первые христиане, или не верить, т.е. принимать за неверно истолкованные теми же христианами. Доказать здесь ничего нельзя, ибо именно в отношении к личности Христа христианство более всего являет себя не суммой доказательств, а живой верой. Но что нельзя отрицать и что вполне доказуемо – это то, что вера в смерть и воскресение Христа как в спасение мира и человека, вера, раз возникшая, никогда уже не умирала. И это несмотря на все попытки истребить ее или хотя бы развенчать, высмеять, свести к суеверию, отождествить с «необразованностью», «ненаучностью» и т.д. Поэтому и объяснение утверждения: «Верую... во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного...» состоит не в доказательствах, а в раскрытии его изнутри, в попытке дать и другим почувствовать, что означает оно для меня, одного из бесчисленных христиан, почему именно в нем выражено самое для меня главное, смысл жизни и моей, и всех людей, всего мира.

Итак, попробуем, и начнем с тех слов, к которым мы настолько привыкли, что часто не замечаем их необычности, поразительности и вечной новизны. И первое такое слово – Христос. Мы привычно соединяем два имени Иисус и Христос, забывая, что если первое – просто человеческое и притом довольно распространенное в Палестине тех времен, то второе – не имя, а определение или, лучше сказать, титул. Христос означает по-гречески «помазанник», и это перевод еврейского слова «мессия». Через все книги Ветхого Завета проходят пророчества о том, что Бог пошлет в мир Своего Помазанника, облеченного Божественной силой и властью, исполненного Духа Божия и возвещающего людям волю Его, чтобы спасти их от греха и смерти, соединив с Ним в Царстве вечной жизни. Царей и пророков помазывали освященным маслом – символом

духовной силы и Божественной власти. Так будет помазан и этот Божий Посланец. Особого напряжения ожидание Мессии достигло в эпоху, описанную евангелистами. И вот первое утверждение Евангелия, первое утверждение христианства состоит в том, что Иисус, начавший Свою проповедь в Палестине тридцатых годов первого столетия нашей эры, есть Мессия, помазанник Божий, Христос, о Ком молились, Кого ждали и провозвещали все пророки. Таково начало христианской веры. Каково же его жизненное значение для верующих? Об этом в следующий раз.

## Символ веры. Господь Иисус Христос (окончание)

«Ты еси един Господь»<sup>211</sup> – этими словами одной из самых древних христианских молитв обращается Церковь к Иисусу Христу. И этими же словами, как мы уже знаем из предыдущей беседы, открывается наше исповедание Его Господом в церковном Символе веры: «Верую во единого Господа Иисуса Христа».

Единый – т.е. единственный – Господь, Господин, Владыка. Это первое, что мы говорим, исповедуя свою веру в Христа. И на слове «Господь» нам и следует поэтому остановиться в первую очередь. Ибо слово это в эпоху, когда Христос проповедовал Свое учение, имело вполне определенный смысл. Оно обозначало человека, облеченного божественной силой и властью, и, стало быть, силой и властью не снизу, а свыше, не от людей, не от внешней мощи, а от Бога. На древнееврейском языке Ветхого Завета титул «Господь» («Адонаи») применялся только к Самому Богу как Творцу, а потому и Господу всего мира. Речения ветхозаветных пророков начинались словами: «Так говорит Господь Бог, Адонаи».<sup>212</sup> Поскольку же учение Христа записано на греческом языке, то слово «Адонаи» было переведено греческим «Кириос» (Κύριος).

Все это я говорю с тем, чтобы лучше оттенить силу и глубину этого слова в применении к Христу. Ибо в том-то и дело, что силы этой мы больше не чувствуем. Слово «Господь», особенно в русском его варианте «господин», перестало ощущаться как синоним господства, владычества, власти, силы. Между тем даже всемогущие римские императоры не сразу присвоили себе этот титул, а только тогда, когда сами обожествили собственную власть и самих себя произвели в богов. И вот в ответ на это самообоожествление земной власти, притязавшей на божественную власть, христиане ответили тем, что наименовали Иисуса Христа Господом, и Господом единым, т.е. единственным: «Ты еси един Господь».

Как я уже говорил, формальной причиной осуждения христиан на смерть был на протяжении двухсот лет их отказ

назвать императора «господом» и значит – признать его власть божественной. «В мир пришел – так можно кратко определить веру христиан, – в мире явился единственный его Господь, Иисус Христос. И только Его мы признаем Господом, только Его власть нарицаем божественной». Но надо во всей глубине ощутить, сколь необычно и неслыханно-дерзко звучало это утверждение в ушах людей того времени. Ибо Кого же называли христиане Господом? Человека, как раз не претендовавшего ни на какую власть в земном понимании, не имевшего не только внешней силы, но и, как Он Сам говорил, места, где приклонит голову (Мф.8:20), бродячего Учителя, осужденного на смерть блистательным представителем Римской империи и умершего на кресте. К Нему, к этому распятому Учителю обращали они свое торжественное утверждение: «Ты еси един Господь», Его проповедовали как единого Владыку мира, из верности Ему отказывались назвать «господом» самого императора и за это с радостью шли на смерть.

Если понять это, понятны будут та ненависть и то возмущение, которыми реагировала Римская империя на христианскую проповедь, на дерзновенное провозглашение Господом распятого «преступника», вызвавшего сопротивление и ненависть даже у собственного народа. Ибо не будет преувеличением сказать, что одним этим словом, одним этим утверждением: «Ты еси един Господь» христианство ставило под вопрос все, чем гордились римляне и что считали они лучшим своим достижением – великую империю с ее законами, высочайшей культурой и военной мощью. Ибо для христиан, этих странных людей, никому неведомый Иисус был безмерно сильнее.

Повторяю, ибо повторять это нужно, особенно в наши дни: христианство принесло в мир не просто еще одно религиозное учение, еще одну мораль, еще один культ. Оно возвещало, что в мире произошло ни с чем не соизмеримое событие – пришествие единого истинного Господа этого мира. Оно повторяло слова, Им сказанные: Дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф.28:18) – слова не императора, не полководца, не завоевателей, а Того, Кто звал только к Богу, к



встрече с Ним, к приятию Его заповедей, к отклику на Его любовь и Его призыв. Этой верой в Христа как единого Господа христиане не отвергали ни земных властей, ни земных законов, ни государство, ни культуру, но из глубины своей веры, своего знания как бы говорили: «Все это мы приемлем и признаем, но постольку, поскольку оно не притязает на власть над душой человека – постольку, поскольку не противоречит Царству и господству Христа!» Господство Христа переживалось и провозглашалось ими как критерий всего в мире. Законы, противоречащие их вере, были для них не законы, притязания властей господствовать над душами – притязаниями дьявольскими. Если Христос – единый Господь, то власть Его простирается на все области человеческой жизни, все подсудно Ему, все обретает смысл лишь с отнесением к Его учению, Его явлению, Его Царству.

«Ты еси един Господь». Если вслушаться в это утверждение, станет ясно, что все начавшееся тогда как столкновение Римской империи с учениками и последователями Распятого продолжается и поныне. Мир сей не принимает единого Господа, хотя и готов кое в чем уступить христианам: «Молитесь в своих храмах и ни во что другое не вмешивайтесь!» Но ведь вся сущность христианства в том, что Сам Бог во Христе вмешался во все в мире, который Он сотворил для Своей любви, Своей правды и Своей мудрости.

Таков смысл начальных слов Символа веры: «Верую во единого Господа Иисуса Христа». А теперь от господства Христова мы должны перейти к исповеданию веры в Него как Сына Божия.

## Символ веры. Сын Божий

Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Такова та часть Символа веры, в которой издревле исповедуют христиане свою веру в Иисуса Христа, как бы отвечая на неизменный, через все века к ним обращенный вопрос: «Кто для вас Иисус Христос, в чем состоит ваша вера в Него?»

В прошлой беседе я остановился на первом утверждении – на именовании Христа Господом. Уже в этом слове, говорил я, заключена и выражена вера в божественность Христа. Христос потому и Господь мира и жизни, что Он свыше, а не снизу, потому что этот мир – Его мир, а жизнь мира – Его дар. Сегодня мы переходим к развитию, углублению и уточнению этой веры в последующих выражениях Символа.

Назвав Христа Господом, Символ веры далее называет Его Сыном Божиим Единородным, т.е. единственным. И тут мы подходим к самой главной, центральной тайне христианской веры. Слово «тайна» я употребляю совершенно сознательно, ибо для нас бесконечно важно, что вера в Христа как Сына Божия – не плод человеческих догадок, умственных построений и выводов, но именно тайна, которую Он Сам открыл нам. И мы верим в Него как в Сына Божия Единородного прежде всего потому, что верим Ему, Его словам. А Он сказал, и слова эти записаны в Евангелии: Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть (Мф.11:27). И еще: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3:16). И, наконец: Никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин.14:6). Такие примеры могут быть многократно умножены, но и этих достаточно, чтобы убедиться: Сам Иисус Христос в Своей проповеди называл Себя Сыном Божиим, и не в том только смысле, в каком могут зваться так все люди, сотворенные Богом, а в том

единственном и исключительном, какой содержится в слове «Единородного», т.е. единственного, и усилен последующими словами: «От Отца рожденного прежде всех век». Так учил о Себе Сам Христос, и, следовательно, эту веру мы принимаем от Него Самого, и верим Ему, Его словам, Его учению о Себе, а потому – верим в Него. Именно тут проходит черта между теми, кто эту веру принимает, ею живет, и теми, кто ее отвергает на том основании, что Христос, хотя и принес людям замечательно возвышенное, поистине божественное учение, но Сам Он – человек, а не Бог.

Я останавливаюсь на этом выборе потому, что он, вне всякого сомнения, определяет собой все дальнейшее наше понимание христианства. Можно сказать так: либо мы принимаем все учение Христа целиком, как оно даровано нам в Евангелии, и поэтому верим всем словам Христа и, стало быть, Его учению о Себе как Сыне Божиим Единородным, либо же что-то принимаем, а что-то отбрасываем; принимаем то, с чем согласны, отвергаем и отбрасываем то, что не понимаем или считаем неправдоподобным, противоречащим «здравому смыслу». Только нужно понять, что выбирая второй подход, мы самих себя делаем как бы судьями Евангелия и, что еще страшнее, считаем, что Христос в чем-то ошибался и учил неправде. Но если Он хоть в чем-то ошибался и учил неправде, то какова ценность других Его слов, всего Его учения?

Если читать Евангелие непредвзято, не может быть никаких сомнений, что Христос сознавал Себя Сыном Божиим, Который был послан в мир Своим Отцом, чтобы спасти его, и для этого стал Человеком – Сыном Человеческим, как Он Сам Себя называл. Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, одним из нас, чтобы снова сделать нас детьми Божиими, – в этом весь смысл Евангелия, т.е. той Благой вести, которую ученики Христа разнесли по всему миру, и той тайны, которую Иисус Христос возвестил и явил людям.

Вот почему с приятия этой тайны начинается христианская вера, и вот почему в вечном углублении в нее состоит христианская жизнь. И первый смысл этой тайны в том, что Бог перестает быть отвлеченной идеей как верховный принцип,

всеобщая первопричина и т. д. Бог раскрывается как Отец, и, опять-таки, не в отвлеченном смысле, как Причина и Творец всего сущего, но как Отец Единородного Своего Сына Иисуса Христа, ибо Он, Бог, есть вечная Любовь к этому Сыну, вечная Радость о Нем, вечная Ему Самоотдача. Отец любит Сына, – говорит Христос, – и все дал в руку Его (Ин.3:35). И это значит также, что Бог есть Сын, вечная Любовь, вечное Послушание, вечная Самоотдача Отцу.

Да, изнемогает наш ограниченный человеческий рассудок – изнемогает перед глубиной, величием и, по-человечески сказать, неизъяснимостью этой тайны. Но именно тайну возвещает нам Христос как новое, неслыханное учение о Самом Боге. И в ответ на это Церковь радостно утверждает, что Христос – Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного.

К этой тайне, составляющей сердце всей нашей веры, мы и должны вновь обратиться в следующей беседе.

## СИМВОЛ ВЕРЫ. Тайна триединства

«Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша».

В прошлой беседе я говорил, что здесь, в этой изначальной вере христиан в Иисуса Христа как Единородного (т.е. единственного) Сына Божия – самая сердцевина, сокровенная глубина христианства. Только христианство дерзновенно исповедует единство Божие и столь же дерзновенно исповедует Бога Пресвятой Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым.

Един Бог, в Пресвятой Троице славимый; Один Бог в трех Лицах, или Личностях; три Личности в абсолютном Единстве. Три в Едином, Единый в Трех... Современный христианин часто повторяет эти традиционные формулы как бы по привычке, не задумываясь об их смысле, о том, почему в самом центре христианства – непостижимое для разума человеческого Триединство. Действительно, по человеческой логике Один не может быть Тремя, Три не могут быть Одним. И вот, следуя этой логике, верующие очень часто приходят к такому выводу: понять это триединство нельзя, и потому в него нужно просто верить, не задумываясь, что оно означает.

Но не будем обманываться: вера, которая не стремится сама себя углубить, понять и раскрыть, не есть настоящая вера. Во всяком случае это не та вера, которую ожидает от нас Христос. Ибо вряд ли из христианского опыта, из Евангелия и из самого образа Христа можно вывести идею Бога, Который открывает и сообщает о Себе нечто заведомо непонятное и в той же мере бесполезное. Ведь не затем сообщена нам тайна Божественного Триединства, чтобы мы, век за веком возглашая в храмах: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», одновременно утверждали бы, что это непостижимо. Христианство каждым словом Евангелия утверждает не только то, что Бог открыл нам Истину, но и то, что в постижении этой Истины – жизнь и спасение человека. Словами рождественского песнопения мы

говорим: «Рождество Твое, Христе, Боже наш, возсия мирови свет разума»<sup>213</sup>. И не значит ли это, что наш земной, ограниченный и, как все в мире, падший и замутненный разум стал способен во Христе постигать истину, не укладывающуюся в рамки земной, тоже ограниченной логики?

Так вот, попытаемся вдуматься в эту тайну Божественного Троиинства – тайну, которая раскрыта Христом и которую святые и учителя Церкви называли «пресветлой и прерадостной». Начнем снизу, от нашего человеческого опыта. Заметим, прежде всего, что даже в этом чисто земном опыте единство и множество не являются понятиями попросту взаимоисключающими. Мы говорим о человеке, но и о человечестве, о человеке, но и о народе и знаем внутренним, опытным знанием, что, говоря «наш народ», имеем в виду не сумму индивидуумов, этот народ составляющих, но более высокое и глубокое их единство друг с другом. Поэтому выходит, что народ един, но единство его есть единство многих, и оно не только не противоположно множеству, но, напротив, не будь множества – не было бы и единства.

Теперь поднимемся на ступеньку выше. Все еще из опыта, но опыта на сей раз высшего, духовного порядка, мы узнаём, что настоящее единство, будь то народа, семьи или дружбы, осуществляется в любви. Ибо любовь по существу своему есть не что иное, как единство и жажда единства, т.е. всецелой принадлежности друг другу, полноты общения, живой, нерушимой, блаженной связи. Всякое единство, не на любви основанное и не любовью живущее, не есть подлинное и рано или поздно распадается, раскрывает себя как псевдоединство. Да, в нашем несовершенном, падшем мире и сама любовь оказывается так часто хрупкой, поверхностной. И все-таки каждый из нас знает: сколь бы часто мы ни падали, сердце наше в сокровенной своей глубине жаждет той любви, про которую в Священном Писании сказано: крепка, как смерть (Песн.8:6).

Но теперь поднимем наш взор к Богу, о Котором свидетельствует и Которого являет христианство. Про Него сказано: Бог есть любовь (1Ин.4:8). Подчеркнем: сказано не то,

что «любовь – у Бога», не то, что «Бог любит», но что Бог – сама любовь, и значит – любовь вечная, абсолютная, любовь как сама Его сущность. Христианство есть религия любви не в том смысле, что в числе прочих добродетелей оно призывает и к любви, а в том, что оно раскрывает непостижимую тайну Бога как любви. Любовь – и мы знаем это – есть всегда любовь к другому, выход из себя, из своей закрытости, одиночества, самодовлеемости, отдача себя другому. Если же эта любовь – абсолютная, то она и воплощается в абсолютном единстве, так что любящий может сказать про любимого: «Мы – одно, мы едины».

Поэтому можно сказать так: если Богом называем мы совершенное бытие и совершенство этого бытия раскрыто нам как любовь, тогда Бог не есть одиночество, не есть некое вечное Я без вечного Ты, но абсолютное и всеблаженное единство Любящего, Любимого и Любви, или, как Он Сам открыл нам, Отца, Сына и Святого Духа. Мы веруем во Единого, но не в одного, или одинокого, Бога, и это Единство в Нем есть Любовь. В любви Единый, или Триединый, Бог есть Святая, Единосущная и Нераздельная Троица. Вера в Троичного Бога и в Божественное Триединство есть, таким образом, вера в Любовь, познание Любви как Божественной жизни и, наконец, приобщение к этой Любви и через нее – к Самой Божественной жизни. «Отче, – говорит Христос в ночь предательства, – да будут все едины, как Мы едины» (ср.: [Ин.17:21–22](#)). Тайна Троицы, тайна Бога, тайна любви, тайна веры, к этой любви устремленной и от Христа ее приемлющей – вот что заключено в словах Символа веры о Сыне Божиим Единородном.

Продолжаем наши раздумья над Символом веры. После исповедания веры в Бога Отца, Вседержителя и Творца, после учения о Христе как Сыне Божиим Единородном, он приводит нас к исповеданию Христа как Спасителя: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася».

Остановимся прежде всего на слове «спасение». Оно известно каждому верующему и звучит так привычно, что уже не воспринимается во всей полноте своего смысла. Поэтому нужно со всей силой подчеркнуть, что христианство – это религия спасения, а не просто улучшения жизни, помощи в житейских невзгодах, отвлеченных норм и принципов поведения. А спасение предполагает гибель. О спасении, а не об утешении молит тонущий, летящий в пропасть или тот, чей дом охвачен пламенем. Между тем именно этот опыт гибели за долгие века христианской истории, похоже, выдохся, и большинство христиан, хотя по привычке и повторяет слова «Спаситель», «спасение», «спаси нас», переживает их иначе, чем христиане начальных времен. В самом христианстве произошла подмена не слов (ибо слова все те же), а их смысла, их, так сказать, внутреннего звучания.

И произошла эта подмена потому, что мы перестали ощущать себя существами действительно гибнущими, чья жизнь неумолимо движется к бессмысленному распаду, поглощается злом, животной борьбой за существование, похотью власти, войной всех против всех, ложью, отравляющей самые истоки жизни, всеобщей приговоренностью к смерти – всем тем, что пытается (и, увы, успешно!) затушевать наша пресловутая «цивилизация». Все это мы научились не замечать, а то уж очень страшно жить, все это мы научились «заговаривать» суетой повседневности. Нет, не случайно все оглушительнее гремит музыка, ускоряются темпы жизни, увеличивается объем новостей, которые обрушивают на нас день за днем. Человечество боится остановиться, боится задуматься,



вслушаться в себя, оглядеться и увидеть вокруг страх, ненависть, зло и конечную гибель как саму жизнь, к которой оно приговорено.

Между тем именно таково ощущение, таков образ этой жизни и в Евангелии. Христос приходит к людям, «сидящим во тьме и в сени смертной» (ср.: Мф.4:16) – вот первое определение человеческой судьбы. Радость Рождественской ночи сразу же омрачена: Ирод хочет убить Младенца и для этого убивает множество других младенцев. И вот, пишет евангелист Матфей, глас в Раме слышен, плач и рыдание... Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф.2:18). Только о любви, только о прощении проповедует Христос. Но откуда же эта ненависть, сгущающаяся вокруг и приводящая Его на крест? Ибо в центре евангельского повествования – ужас предательства, одиночества, кровавого пота, падающего на землю, а затем – несправедный суд, избиение, оплевание, предсмертная мука и вопль с креста: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? (Мф.27:46).

Вот образ мира и его жизни в Евангелии. Ибо достаточно на минуту задуматься, чтобы понять: все это всегда было и есть, потому что в мире царит гибель. И если не вернуться к этому ощущению, если не начать с него, то нет смысла в христианстве и ему, в сущности, нечего сказать людям. Ибо только раскрывая глубину и ужас гибели, христианство раскрывает себя, а вернее – Самого Христа, Его учение и Его призыв как спасение самой жизни, безнадежно оторвавшейся от своего содержания – от Бога и неба, от истины и вечности и в отрыве этом ставшей бессмысленным копошением существ, одинаково приговоренных к смерти.

Все это исповедуем мы, когда произносим простые и вечные слова Символа веры: «Нас ради человек и нашего ради спасения». Ибо ради всех нас и каждого в отдельности – ради меня, ради тебя – сошел с небес и воплотился Сын Божий!

И каждый раз, повторяя это утверждение, мы утверждаем также и наше знание гибели. Многие хотели бы удалить из христианства эту связь спасения и гибели. Многие хотели бы «обезвредить» христианство, сделать его придатком

повседневной жизни, бытом, «старым, добрым обычаем». Но как не убрать из Евангелия Крест и Распятие, так не убрать из него и эту связь. Каждый христианин может сказать: «Всякая подлинная встреча с Христом раскрывает мне, прежде всего, тьму, гибельность и бессмысленность моей жизни. Я вижу Христа и потому понимаю, что жизнь, которой я живу, – не та, не настоящая жизнь, но пронизанная гибелью, осужденная на гибель. И вера моя в Христа с того и начинается, что каким-то таинственным, необъяснимым и тем не менее самоочевидным для меня образом я узнаю, что только Он может спасти меня, что только в Нем спасение мое и моих ближних, всех и всего.

«Нас ради человек и нашего ради спасения» – так все Евангелие, вся вера отнесены этими словами Символа веры ко мне и к моей жизни. И только ощутив это всем существом, я смогу уразуметь и то, в чем состоит это спасение.

## Символ веры. Богочеловек

Исповедав в Символе веры свою веру во Христа как Сына Божия, и значит – как Бога, Церковь утверждает свою веру в Него как Спасителя: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася». Немного слов, но за каждым из них – безмерное, неслыханное по глубине и несказанности своей откровение, опыт, знание, так трудно объяснимые современному человеку с его непоколебимой верой в плоскую и однозначную свою логику. В чем же, согласно вере, которой изначально живет Церковь, состоит спасение человека и мира? Прежде всего – в нисхождении Бога на землю, в соединении Его с человеком, в явлении Его миру как Человека. В этом утверждении – абсолютная новизна христианства, его основное содержание и, прибавлю, радость, которую испытываем мы всякий раз, когда слышим слова Символа об этом: «...сшедшаго с небес и воплотившагося... и вочеловечшася», если хоть немного расслышали и приняли это содержание.

Люди со стороны, которые, скажем так, еще только «интересуются» христианством, спрашивают: «Но к чему такое сложное исповедание веры? Мы готовы любить Христа, готовы принять Его учение о любви, готовы любоваться Его человеческим образом. Разве не достаточно этого, разве не отдают каким-то непонятным для современного ума примитивизмом слова “сшедшаго с небес”, “воплотившагося”, “вочеловечшася”? Бог есть Бог, человек есть человек, и нам трудно принять то, что кажется смешением божественного и человеческого».

Как ответить им? Пожалуй, только еще раз сославшись на то, что все это открыто и сказано нам Самим Христом, а приятие Христа не может не быть приятием того, что Он Сам о Себе утверждает. Любя и принимая Христа, стараясь следовать за Ним, невозможно принять одни из Его утверждений и отвергнуть другие. Образ Христа един И неделим, и это образ Сына, открывающего нам, что по любви к людям, «нас ради

человек и нашего ради спасения», послан Он Отцом, сошел с небес и в самом человечестве Своем являет Бога и соединяет нас с Ним. Поэтому отвергающие, не принимающие чего-то в образе, где нераздельно соединены Бог и Человек, на деле верят в какого-то «другого Христа» – не Того, Который явлен в Евангелии и в Которого вот уже две тысячи лет верят, Которым жили и живут бесчисленные миллионы людей.

Именно в это соединение в Христе Бога и Человека поверили апостол Петр, воскликнувший: Ты Христос, Сын Бога живаго (Ин.6:69), апостол Павел, написавший, что *в Нем обитает вся полнота Божества телесно* (Кол.2:9), и все другие ученики. Этой верой всегда жила и живет Церковь, поэтому можно только повторить то, что я уже говорил раньше: мы верим, что Христос – Бог и Человек потому, что верим Ему. И мы не могли бы верить в Него, если бы не верили Ему, ибо это означало бы, что Он лжет, но тогда не было бы никакой правды и в Его учении. Поэтому я убежден: единственный путь к уразумению этой, столь трудно приемлемой веры – спрашивать не о том, как такое возможно (ибо не говорит ли вера, что Богу возможно все?), а о том, что составляет радость христиан – и радость не сравнимую ни с какой другой – в непрестанном исповедании Христа Сыном Божиим, сшедшим с небес, воплотившимся и вочеловечившимся? Ибо радоваться мы можем лишь тому, что ощущается нами как насущно необходимое, как исполняющее самое сильное, самое сокровенное желание нашего сердца, всего нашего существа.

Попытаюсь передать свое понимание этой радости не отвлеченно, а как личный опыт, хотя бы заведомо неполный и ограниченный. Ибо не какому-то собирательному, отвлеченному «человечеству», а каждому человеку – и, значит, мне – сказано, открыто, явлено, что ради него, для его спасения Сын Божий сошел с небес и стал Человеком. Что же узнаю, что получаю я в этом откровении? Прежде всего – Божию любовь. Ибо Бог приходит ко мне, принимает мою человеческую жизнь как Свою только потому, что любит меня, ибо любви, и только любви, свойственна жажда соединения, единства, общей жизни. Бог раскрывается как движение, сошествие, приход ко мне

безмерной, жертвенной любви. И в этом знании, в этом опыте на меня направленной, ко мне приходящей любви – моя первая радость о Христе.

Далее из этого откровения я узнаю, что любовь Божия ко мне не совместима ни с каким насилием, ни с каким ущемлением моей, Им же мне дарованной свободы. Бог всемогущ и всемогущ, Он мог бы привлечь меня к Себе просто силой своего Божества, явлением Своей славы, всемогущества, величия. Но Он не делает этого, ибо хочет только ответной любви, моей свободной самоотдачи Ему. И потому приходит ко мне, как говорит апостол Павел, «приняв образ раба, смилив Себя даже до смерти» (ср.: Флп.2:7–8). Он хочет, чтобы я в этом образе Человека свободно узнал и полюбил Бога, Он раскрывает мне Свое Божественное смирение, но в этом смирении – все величие, всю глубину Своего замысла о человеке, обо мне.

Но если Он может прийти ко мне в образе Человека, это значит, что человек похож на Бога, что он может вместить Его, может жить Божественной жизнью, все человеческое сделать проявлением, присутствием, откровением Божественного. Бог снисходит ко мне и этим открывает, что и я могу подняться к Нему, услышать, принять Его не как запуганный раб или «дрожащая тварь»<sup>215</sup>, но как друг, как сын и как наследник. И вот, только испытав все это, чувствуешь, как разгорается в сердце любовь, благодарение, восхищение и радость – радость свободной встречи с Богом, радость о Его любви и о моей – ответной. Вот что сияет для нас, для меня в этих удивительных словах Символа веры: «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес... воплотившагося... вочеловечшася».

«...И воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася».

Нет, я думаю, для неверующих, для чуждых христианству большего «преткновения и соблазна» (см.: 1Петр.2:7), чем вера христиан в то, что Иисус Христос родился от Девы. От веры в это, увы, отказались и многие христиане, особенно те протестантские богословы, которые изучают христианство «научно» и которым поэтому вера в Матерь-Деву кажется насилием над умом и суеверием. Несомневаясь принимают это евангельское учение люди простые и смиренные сердцем. И принимают как дивный дар, как светлую, радостную тайну, которую Богу угодно было раскрыть. А так как доказать «действительность» этого безмужнего зачатия и рождения невозможно и мы либо верим и смиренно принимаем его, либо не верим и «принципиально», во имя науки и от имени разума отвергаем, то можно лишь попытаться поведать, что же дают эта вера и это приятие нашему уму и сердцу, что открывают они нам на глубине.

Прежде всего вера в рождение Христа от Девы остро ставит вопрос о человеческом разуме и о границах того «научного» подхода ко всем явлениям, который разум наш только и знает и в котором он, действительно, верховный судья. Вопрос этот так важен потому, что девство Божией Матери, как называет Церковь Марию, Мать Иисуса, отвергается именно разумом. Разум говорит: «Этого не бывает и быть не может, а потому этого и не было, так что рассказ об этом нужно вычеркнуть из Евангелия». Так вот, все сводится в конце концов к выбору: что выше – Евангелие или разум? Кто чем судится, что чем проверяется – Евангелие разумом или разум Евангелием? Замечу сразу же, что дилемма эта возникает не только относительно Рождения Христа от Девы, но, как мы отлично знаем, относительно Самого Бога. Тот же разум, та же наука не знают ни Бога Творца, ни Бога Любовь, ни Бога Спасителя. Ибо наука знает только то, что может проверить опытно или, как

говорят философы, «эмпирически доказать». Проблема, следовательно, расширяется. Речь идет о том, существует ли сфера явлений, которая не то что не подведомственна уму – нет, ибо христианство ставит ум очень высоко, но в которой ум (во всяком случае, наш земной, человеческий ум) не имеет окончательной власти, не может и потому не должен выносить никакого окончательного суждения.

Вопрос этот можно сформулировать и иначе: есть ли у ума границы, за которыми он – если только он подлинный и, так сказать, «умный» ум, должен сказать: «Я не знаю»? Я говорю «умный ум», потому что есть, вне всякого сомнения, глупый ум, и он-то обычно и кричит обо всем громче всех, считая себя всезнайкой. Настоящий ум, настоящий ученый очень о многом говорит: «Я этого не знаю» или «Я этого еще не знаю» – и такое незнание безмерно достойнее подлинной науки, чем кичливое всезнайство.

Так вот, христианство по отношению к уму занимает следующую позицию. Во-первых, оно признает ум высшим, подлинно божественным даром человеку. Во-вторых, оно утверждает, что ум человеческий (как все в мире, как весь человек) помрачен и ограничен грехом, а потому не все может познать и объяснить. И, наконец, в третьих, оно считает, что ум может и должен быть просвещен, углублен, возрожден верой. Но для этого ум должен смириться, а значит – допустить, что в мире действует не слепая и бездушная причинность (которую одну только он и постигает), а Бог, о Котором сказано, что Его пути – не наши пути, Его мудрость – не наша мудрость (см.: Ис.55:8), и что Он разрушает гордыню ума, утверждающего свое всезнайство (см.: 1Кор.1:19).

Но тогда отпадают и все те возражения, которые мы привели в начале беседы: «Этого не бывает, и потому это невозможно, это не соответствует известным нам законам природы, и потому этого быть не могло», и т.д. Ибо в том-то и дело, что нам неизвестны самые глубокие законы мира и та мистическая глубина, на которой ум встречается с действием в мире Бога Творца, Бога Любви, Бога Промыслителя.

Вера и Церковь не утверждают, что рождение без отца и от Девы возможно. Вера и Церковь утверждают только, что это неслыханное, небывалое и для нашего падшего ума непостижимое событие совершилось тогда и только тогда, когда на землю в образе человеческого пришел Сам Бог. Поэтому вера в девство Марии, Матери Иисусовой, зависит совсем не оттого, «возможно» это или «невозможно», «бывает» или «не бывает». Сама Церковь в одном из своих песнопений утверждает: «Чуждо матерям девство и чуждо девству материнство»<sup>217</sup>. Вера эта зависит только от того, верим ли мы, что Христос – Бог, пришедший на землю. Вера эта зависит только от того, верим ли мы, что Христос есть Бог, пришедший к нам, «нас ради человек и нашего ради спасения». Если верим, то понятной (нет, не голому разуму, а сокровенной глубине нашего сердца) становится и тайна безмужнего рождения. Ибо в этой тайне как раз и укоренена вера Церкви в Христа, знание Его как Бога, ставшего человеком, и как Человека, исполненного Богом, обоженного. Нам не дано свести Бога на землю и вочеловечить Его. Это Божие решение, Божия инициатива. Причина Его вочеловечения не в чем-то земном, не в одном из земных законов, но только в Боге.

Христос – Сын Божий, Его Отец – не кто иной, как Бог. Но человечество Свое, плоть и кровь Свою Христос принимает от нас, людей – от Девы Марии, Которой Духом Божиим, творческой силой и любовью Его дано было стать Матерью и этим материнством навеки и до конца породнить нас с Христом, Сыном Божиим, явить Его как Одного из нас – как Сына Человеческого. Свободное решение Бога, творящего нового человека, свободное приятие человеком этого дара – вот смысл нашей веры, вот радость ее. Бог нисходит с неба, чтобы человек поднялся на небо. Через Иисуса Христа мы дети Божии, через Марию – Христос с нами, в нас, как наш Брат, наш Сын, наш Спаситель. Все это и выражено в кратком исповедании Символа веры: «И воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася».



## Символ веры. Распятый при Пилате<sup>218</sup>

Исповедовав, провозгласив, утвердив веру Церкви в рождение Иисуса Христа от Святого Духа и Девы Марии и тем самым – нерасторжимое единство в нем Бога и Человека, Символ веры продолжает: «Распятого же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша, и погребенна», т.е. распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего, и погребенного.

Первый вопрос: каков смысл этого упоминания о Пилате в кратком перечислении всего, во что верит Церковь? Почему лишь одно это имя упоминается в связи с распятием, смертью и воскресением Христа – одно среди бесчисленных имен тех, кто участвовали в Его осуждении, мучении и казни? На вопрос этот нужно дать два ответа, одинаково для нашей веры важных, существенных, центральных.

Первый ответ таков: имя Пилата, римского правителя Палестины в начале нашей эры, упоминается здесь потому, что упоминанием этим Церковь, и притом с первых веков своего существования, утверждает историчность событий, которые она исповедует как спасение мира и человека. «При Понтийстем Пилате» означает, прежде всего, – в конкретный момент истории человечества, в конкретном месте земного шара, в конкретных условиях эпохи.

Почему же так важно это утверждение? Потому что оно заранее и раз навсегда исключает сведение христианства к легенде и мифу, к которым так хотели бы свести его враги всех времен. Античный, греко-римский мир знал множество легенд о богах, якобы являвшихся на землю в образе людей, враждовавших между собою и даже умиравших, а после воскресавших. В Египте, да и в других местах – например, в Греции, Малой Азии – ежегодно справляли мистерии, т.е. драматические представления об умирающем и воскресающем боге плодородия. И больше всего боялись христиане растворения их веры в язычестве, сведения ее к подобным легендам и мифам. Ибо вся вера христиан основывалась на том, что Человек Иисус, живший в совершенно реальной

обстановке, реальном времени (а значит – во всей полноте воспринявший нашу человеческую жизнь), – Человек этот есть также и Бог, пришедший к нам для нашего спасения. Это было! – вот что реально означает ссылка Символа веры на Понтия Пилата. И сколько бы враги Христа ни пытались доказать, что этого не было, непрерывность христианской памяти сама собой свидетельствует об историчности христианства, независимо от того, принимаем мы или нет тот исключительный смысл, который вкладывает в эти события вера христиан. «При Понтийем Пилате» означает: в нашем земном времени, столько-то лет тому назад, в месте, всем известном, в условиях, всем знакомых. Ибо если нет за христианством этой исторической достоверности, реальности, конкретности, то оно всего лишь сказка, один из тех бесчисленных мифов, которыми объяснял себе человек с незапамятных времен тайны жизни и мироздания.

Но есть и вторая причина упоминания этого имени в Символе веры, и она ясно указана в собственных словах Пилата к стоявшему перед ним и преданному врагами на его суд Христу. Христос молчит, и Пилат спрашивает: Мне ли не отвечаешь? Незнаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? (Ин.19:10). Что значат эти слова? То, что земная судьба, смерть и жизнь Человека, стоявшего перед Пилатом, зависели от него. К тому же мы знаем, что и Пилат не находил в этом Человеке никакой вины. С этого времени, – пишет евангелист Иоанн, – Пилат искал отпустить Его (Ин.19:12). Т.е. искал случая, чтобы отпустить Христа, но не отпустил. Неотпустил, так как боялся толпы и ему легче было угодить ей, предав на смерть невинного, чем отпустив, рисковать волнениями, бунтом, доносами в Рим и т.п.

Пилат был свободен. Его власть, говорит Христос, дана была ему свыше (см.: Ин.19:11), и это значит – для торжества правды и справедливости, для милосердия и защиты слабых. Пилат свободно выбрал зло. Был момент – один, только один, – когда все зависело от него, и он, зная это, поступил против совести, против правды, против той власти творить благо, что дана была ему. Нет, тут не было рока, Пилат не был

безвольным исполнителем чужой воли, игрушкой в чьих-то руках – Пилат был свободен. И именно эта свобода Пилата делает поступок его столь безысходно, столь страшно и абсолютно трагическим. И потому Пилатово имя в Символе веры – это ежедневное, на протяжении тысячелетий, напоминание нам о том, что мы свободны. Минута, когда Пилат мог отпустить Христа – эта минута длится вечно, длится в жизни каждого из нас. Нет дня, когда не стояли бы мы перед выбором и не имели бы власти, данной каждому свыше, – власти следовать или не следовать никогда не лгущему голосу совести, власти выбирать или отвергать правду.

И эта свобода, эта возможность выбора делают саму нашу веру судом над нами. В каждом человеке мы можем узнать образ Христа и либо сделать добро, либо же предать его из страха или малодушия, как тогда, в ту пятницу перед Пасхой, в тот час шестой сделал это Пилат. Только от того, как относимся мы к этой свободе, которую никто не в силах отнять у нас, зависит и наше спасение, и наша духовная гибель. Христос спас нас, но сделать дарованное Им спасение нашим спасением можем только мы сами и только взирая на стоящего перед Пилатом всеми оставленного Человека. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! (Ин.19:5). Сказал, не зная, что в словах этих – единственный суд над нами, ибо каждый из нас свободен принять или отвергнуть и предать Христа.

Так в кратком имени одного человека Символ веры на веки веков раскрывает нам всю необъятную глубину человеческой свободы. Сам Бог стоит перед нами не в величии и славе – ибо тогда мы подчинились бы и стали Его трусливыми рабами, – но в терновом венце и багрянице. И только по отношению к Нему мы свободны, как был свободен Пилат, и в этой свободе решаем каждый свою вечную судьбу.

## Символ веры. Обличение зла как зла<sup>219</sup>

«Распятого», «страдавша», «погребенна» – т.е. распятого, страдавшего и погребенного. Эти три слова Символа веры, относящиеся к главным, завершительным событиям служения Иисуса Христа как Спасителя мира и человека, определенным образом соотносятся с другими тремя словами, о которых мы говорили в предшествующих беседах: «сшедшаго с небес» «воплотившагося», вочеловечшася». Этим соотношением Символ раскрывает и утверждает то, что во все века составляло сущность христианской веры, как бы говоря: «В Человеке Иисусе Бог снизошел к нам, соединил нас с Собою, явил нам Свою безмерную любовь, открыл нам доступ в вечное Царство любви и света – и вот, мир не принял и отверг Его, как говорит евангелист Иоанн Богослов: Пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин.1:11). Сошел с небес – и вот, распят; воплотился – и вот обречен на страдания; вочеловечился – и вот убит и погребен.

Итак, в этом противопоставлении любви и ненависти, дара и отвержения раскрывается христианское понимание или, лучше сказать, христианское знание, христианский опыт зла, но также знание и опыт Христовой победы над злом, разрушения зла.

Первый вопрос: почему Христос был отвергнут? Откуда эта постепенно нарастающая ненависть к Нему, последнее выражение которой вечно звучит в страшном вопле толпы: Распни, распни Его! (Лк.23:21)? Ведь с момента явления народу все служение, вся проповедь Христа – сплошное воплощение любви и добра, сострадания и милосердия. Христос говорит о Себе словами древнего пророка: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу... (Лк.4:18). Христос идет через города и села, и толпы людей следует за Ним, несут Ему больных и страждущих, слушают Его и, казалось бы, окружают любовью и поклонением. Но куда же

девалась эта толпа, когда стоял Христос перед первосвященником, а затем перед Пилатом, когда издевались над Ним римские воины, когда пробивали Ему ладони и ступни гвоздями, пригвождая к кресту? Или это та же толпа, те же люди? Но что же претворило тогда любовь в ненависть, поклонение – в отвержение? Вот и Пилат говорит: Я не нахожу в Нем никакой вины (Ин.19:4), вот и разбойник, распятый рядом с Христом, свидетельствует: «Человек этот ни единого зла не сотворил» (ср.: Лк.23:41) – и ничто не помогает против страшного напора ненависти, против желания, чтобы не было больше этого Человека, чтобы Он был убит.

На все эти вопросы христианская вера отвечает не отвлеченными рассуждениями, а подробным евангельским рассказом. И смысл этого рассказа – если только вслушаться, вдуматься в него – прост: Христа отвергают, Христа ненавидят, Христа распинают, конечно, не за те выдуманные преступления, в которых лживо и клеветнически обвиняют Его перед Пилатом и которые, зная, что это ложь и клевета, отвергает сам Пилат, предавший Христа на позорную и страшную смерть. Тут нет недоразумения, тут нет никакой случайности. Христа распинают только потому, что явленные в нем добро и любовь, льющийся из Него ослепительный свет оказываются для множества людей невыносимы. И невыносимы потому, что в Его свете добра и любви явным становится зло, которым живут они, сами от себя это скрывая. Ибо в том-то и ужас падшего мира, что зло в нем не только царствует, но еще и выдает себя за добро, прячась за его личиной.

В мире царит круговая порука зла, выдающего себя за добро. Именем добра, свободы, заботы о человеке – и не только тогда, но и теперь, в наши дни, – поработщают и убивают, лгут и клеветают, разрушают и уничтожают. И любое зло не только без устали вопит: «Я добро!», но и требует, чтобы люди вопили в ответ: «Ты добро, ты свобода, ты счастье!» Зло не достигло бы никакой победы, никакой власти в мире, если бы открыто являло себя как ало. Зло побеждает обманом, выдавая себя за добро, и этот обман дает возможность оправдывать ненависть, убийства, рабство. И вот этот обман раскрывает и

обличает Христос не только словами Своими, но, прежде всего, Собою, Своим явлением, Своим присутствием. Христос оказывается свидетелем, а каждый преступник знает, что в первую очередь нужно уничтожить свидетеля преступления, оградить круговую поруку зла.

«И стали с того дня (дня предательства и убийства. – прот. А.Ш.) Ирод и Пилат друзьями» (ср.: Лк.23:12). В этом коротком замечании евангелиста заключена вся страшная правда о зле. Да, за Христом следовали толпы, пока Он помогал, исцелял, творил чудеса. И те же толпы, бросив Христа, кричали «Распни Его!», когда поняли (нет, не поняли, а почувствовали страшным инстинктом зла), что в этом совершенном Человеке, в этой совершенной любви – их обличение, что самой любовью Своей, самым совершенством Своим Христос требует от них жизни, которой они не хотят, любви и совершенства, которые для них невыносимы. Этого Свидетеля нужно убраться, уничтожить!

Но на деле – и здесь весь смысл, вся глубина Креста и Распятия – в этом видимом торжестве ала торжествует добро. Ибо торжество добра начинается с самораскрытия зла как зла. Первосвященники знают, что клеветают; Пилат знает, что предает на смерть Неповинного, и час за часом, шаг за шагом в страшном торжестве зла начинает разгораться свет победы. Эта победа звучит и в раскаянии распятого разбойника, и в словах сотника, руководившего казнью: «Воистину Человек этот Сын Божий» (ср.: Мф.27:54). Умиравший на кресте завершает Свое свидетельство, и Им изнутри – нет, еще не извне! – разрушено зло, явленное и вечно являемое отныне как зло.

Итак, Крест – это начало той победы, о завершении которой в смерти и воскресении Распятого мы будем говорить в следующей нашей беседе.

«И страдавша», т.е. страдавшего, – говорит Символ веры о Христе сразу после упоминания о Его распятии за нас, бывшем «при Понтийстем Пилате». Казалось бы, зачем это повторение, ведь распятие включает в себя и страдания? В ответ на это сомнение нужно сказать следующее. Говоря «распятого», мы говорим, в сущности, о тех, кто распинал Христа, говорим о зле, о видимом его торжестве, которое выразилось в Кресте и Распятии, обличивших зло как зло, снявших с него все покровы и положивших начало его разрушению. Говоря же «и страдавша», мы говорим о Христе, мы не на распинателях, а на Распинаемом сосредотачиваем свой внутренний, духовный взор. Если бы, как учили некоторые осужденные Церковью лжеучители, Христос не страдал на кресте, не испытывал ужасающих физических и душевных страданий, это ничего не изменило бы в нашей оценке тех, кто мучили и распинали Его. Их зло осталось бы таким же злом, их ненависть, их страстное желание убить, уничтожить Христа остались бы все тем же явлением самой сущности зла. Но все, решительно все изменилось бы в самой нашей вере во Христа – вере в Него как Спасителя мира и человека. Ибо это означало бы, что она перестала быть самым главным – верой в спасительность вольного страдания, самоотдачи Христа самому страшному, самому необъяснимому и непреложному закону мира сего – закону страдания.

Нетребует никаких доказательств утверждение, что мир наполнен страданием – физическим и душевным. Страданием, которое часто бывает сильнее страха смерти, так что человек, желая освободиться от страдания, отказывается от жизни и убивает себя. Но столь же очевидно и то, что, несмотря на такую всеобщность и непреложность страдания, человек внутренне не приемлет его. Все религии, все философии, все идеологии – короче говоря, все без исключения «рецепты», предлагаемые на протяжении тысячелетий человеку, – обещают освобождение от страданий. Тут, в этом обещании, исчезает

разница между индивидуализмом и коллективизмом, между религией и атеизмом, между консерватизмом и радикализмом и т.д. И тот факт, что люди принимают это обещание, верят в него и в известном смысле только им и живут, доказывает, что в человеке неистребимо подсознательное ощущение страдания как чего-то недолжного. Если называть «нормальным» то, что бывает, происходит, случается всегда и всюду, то нет ничего «нормальнее» страдания. Но именно это, более всего остального «нормальное», человек извечно ощущает как ненормальное.

И вот нужно сказать со всей определенностью, что одно только христианство не обещает человеку освобождение от страданий. В мире будете иметь скорбь (Ин.16:33), – говорит Христос, хотя Сам на протяжении всего Своего служения только и делает, что помогает страждущим. Но, поступая так и нам заповедав поступать так же, Христос ни разу, нигде не говорит, что Он пришел освободить мир от страдания, прекратить и уничтожить страдание. И Сам «вольно», т.е. свободно, зная, что ожидает Его, восходит в Иерусалим, принимает страдание и этим обрекает на страдание нас, если мы хоть в самую ничтожную меру следуем Ему и поступаем по Его заповедям. Почему? В чем смысл этого кажущегося противоречия? Вот в чем: если Христос, Который в земной Своей жизни готовится пострадать, тем не менее жалеет и исцеляет страждущих, то, очевидно, потому, что Он не приемлет страдания, видя в нем нечто ненормальное, и при встрече с ним, как и всякий человек, «возмущается духом» (ср.: Ин.11:33).

Нет, не для страдания и мучения, а для радости и жизни преизбыточествующей создал Бог человека, и для Христа всякое страдание – это победа зла в богосозданном мире. И однако в том-то и весь ужас этого зла, что оно сделало страдание «нормальным» и, наряду со смертью, – единственно абсолютным законом мира и жизни. И потому ни один рецепт – даже чудесное исцеление больных и оживление мертвых – не освобождает мир и жизнь от страдания, но может быть, даже наоборот, подчеркивает его всесилие, его безысходность, всю ужасающую «нормальность» ненормального. Исцеленный снова



заболеет и умрет; утешенный и осчастливленный снова познает печаль и боль жизни, окружающее его торжество зла, распада и муки, ибо в мире будете иметь скорбь. И только поняв это, можно расслышать, да и то лишь духовным слухом, ответ Христа, ответ христианства страданию. Ответ этот – не уничтожение страдания, невозможное в падшем и тленном мире, а претворение его в победу. И вот претворение это совершает Христос, Сам вольно принимая страдания, Сам вольно ему отдаваясь.

Претворение страдания в победу! Мы не могли бы даже расслышать эти слова, или они остались бы навсегда самой бессмысленной риторикой, самым бессмысленным из всех самоутешений, если бы не хранило наше сердце и наша духовная память образ страдающего Христа. Что говорит нам эта память? Что Христос, Сын Божий, сияние и слава Бога на земле, вошел в наше страдание, принял его до конца, сделал Своим, как Один из нас, но только в сверхчеловеческой полноте, и Своим со-страданием открыл и для нас возможность наше страдание претворять в сострадание Ему, а значит – в духовный подвиг, в духовную борьбу, в духовную победу. Страдание, венец и торжество бессмыслицы, абсурда Христос наполнил Своей верой, Своей любовью, Своей надеждой, и значит – Божественным смыслом. Из разрушения жизни Христос сделал страдание возможностью рождения в подлинную, ибо духовную, жизнь. «Возможностью», говорю я, ибо в страдании Христа нет ничего магического, а вместе с тем нет подвига более трудного и, по-человечески рассуждая, более непосильного, более «невозможного», чем претворение этой возможности в реальность.

По-человечески мы все еще хотим от Бога, от Христа прекращения, а не претворения страданий – хотим того, чего хотели от него люди, видевшие в Нем только целителя, только того, кто может уничтожить страдание. Но Христос не уничтожил страдание ни для Себя, ни для нас. Христос счел нас достойными неизмеримо большего – включения в Его страдание, упраздняющего разрушительную силу всякого страдания. Он сделал нас способными принять страдание как

победу духа, как вхождение в веру, надежду и любовь, в Царство Божие.

«Сила Божия в немощи совершается» (ср.: [2Кор.12:9](#)). Внимательно осмотревшись, мы убедимся, что если есть в мире подлинные победы духа, победы веры, надежды и любви, победы Христа в людях, то все они без исключения – победы этого страдания Христова, нашего страдания с Христом.

Высказанное нами на бедном и немощном человеческом языке, все это навеки запечатлено двумя словами Символа веры: «И страдавша».

## Символ веры. Погребенный<sup>221</sup>

«Распятого же за ны... и страдавша, и погребенна». Вслед за исповеданием Христа как распятого и страдавшего, Символ веры утверждает: «и погребенна», т.е. погребенного. И снова мы невольно спрашиваем: почему употреблено именно это слово, а не «умершего»? Погребение, конечно, предполагает смерть, но все-таки не случайно не смерть, а именно погребение упоминает Церковь, перечисляя те события земной жизни и служения Христа, через которые, как верит она, совершилось и вечно совершается спасение мира и человека. И потому, отвечая на вопрос о смысле этого слова, касаемся мы чего-то самого важного, самого сердцевинного для христианской веры.

Можно сказать так: смерть, умирание относятся еще к нашей земной, видимой жизни как ее конец и завершение. Смерть в ее биологической сущности есть факт самоочевидный, непререкаемый и для тех, кто верит в то, что называют «загробной жизнью», и для тех, кто не верит в нее. Но вот погребение умершего относится уже не к самому моменту смерти, а к тому, что следует за ней, к тому, как относятся к ней совершающие погребение. Для одних это только обряд вечного расставания, признание смерти как абсолютного конца, как возвращения человека в то небытие, откуда он почему-то возник и куда неизбежно возвращается. Это расставание можно обставить с большей или меньшей торжественностью, украсить речами и цветами, но все это ничего не меняет в пронизывающем погребальную церемонию чувстве безнадежности, бессмыслицы, абсурда: был человек, и нет человека – конец! Для других погребение выражает веру в продолжение жизни за гробом. В древних языческих культах в гробницу умершего клали пищу, оружие, иногда даже убивали его жену, чтобы она и в загробной жизни могла быть с мужем. Такой подход к погребению мы давно уже развенчали как суеверие. Но, так или иначе, погребение всегда есть утверждение определенного понимания смерти. И потому Церковь в своем Символе веры говорит не о смерти, а именно о

погребении Христа. Больше того: каждый год в день, предшествующий Пасхе и называемый Великой и благословенной субботой, Церковь как бы повторяет это погребение, вновь и вновь являя то, что совершилось, прежде всего, с самой смертью, когда ее восприял, когда в нее сошел и погрузился Иисус Христос, Сын Божий.

Когда после потемок Великой пятницы – дня Распятия, дня смерти, дня проявления всей силы зла, обрушившегося на Христа, – вступаем мы в эту субботу, середине храма возвышается Плащаница – гробница с изображением на ней мертвого Христа. Но каждый, кто хоть раз в жизни пережил вместе с другими верующими этот единственный по своей глубине, по своему свету, по своей «белой» тишине день, знает – и не разумом, а всем существом своим, – что эта гробница, которая, как всякий гроб, есть всегда свидетельство о торжестве и непобедимости смерти, начинает озаряться каким-то почти видимым, почти осязаемым сиянием, претворяется, как поет Церковь, в «живоносный Гроб»<sup>222</sup>. Да, видимым образом смерть торжествует в неподвижности тела этого бездыханного Человека. Все совершилось, все кончено. Но в том-то и весь смысл, вся глубина, вся ни с чем в мире не сравнимая красота этой службы, что, совершаемая у гроба и посвященная смерти, она на деле есть созерцание, явление того, что совершилось и продолжает совершаться в этой единственной смерти этого единственного Человека. «О Жизнь, как Ты умираешь, как можешь Ты вселиться в гроб?»<sup>223</sup> – вот вопрос, который задаем мы бездыханному Христу. И на эти рыдания, на это горестное недоумение и отчаяние Его Матери и всего мира, всего творения Христос отвечает в поразительных песнопениях этого дня: «Как не разумеете вы, что Я имел двух друзей на земле – Адама и Еву, и пришел к ним, и не нашел их на земле, которую дал им. И любя их, Я спустился туда, где они, – во тьму, ужас и безнадежность смерти»<sup>224</sup>.

Да, все это выражено, все это сказано, все это поется на языке, чуть ли не сказочном, в образах и символах. Но как иначе явить всю непостижимую новизну совершающегося? Тот, Кого Евангелие называет Жизнью, ибо *в Нем была жизнь, и*

*жизнь была свет человеков (Ин.1:4), Тот, Кто есть сама Жизнь, в любви и сострадании опускается в смерть, которую Он не сотворил, но которая завладела миром и отравила всю жизнь. Смерть поглощает жизнь, но вот, в смерти Христа-Жизни сама оказывается поглощена жизнью. «Во тьме и сени смертной» (ср.: Мф.4:16), в одиночестве и ужасе смерти загорается свет, и Церковь поет: «Спит жизнь, и смерть трепещет»<sup>225</sup>.*

И ранним утром, еще в полной темноте обносим мы плащаницу вокруг храма, и уже не надгробное рыдание раздается, а победная песнь: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный...» Христос шествует по царству смерти, объявляя пленникам ее, что царство это пришло к концу. Отныне всякая смерть, сколь ни остается она печальной и страшной, изнутри побеждена тем, что и ее восприял, пережил и в Себе Самом изжил Христос. Поглощена смерть победою (1Кор.15:54), – восклицает апостол Павел, и у гроба каждого умершего мы поем о надгробном рыдании, претворяемом в победную песнь «Аллилуия».

«И погребенна» говорят о Христе, восприявшем смерть как Свою судьбу и наполнившем ее любовью, и значит – жизнью, верой, и значит – жизнью, надеждой, и значит – жизнью. «Где твое, смерть, жало? Где твоя, о ад, победа?» (ср.: 1Кор.15:55) Всем нам предстоит войти в смерть и умереть. Но через Символ веры Церковь утверждает, что и в смерти мы встречаем Христа, что Он саму смерть превратил во встречу с Собой, в преддверие воскресения. К этому важнейшему утверждению Символа не только о разрушении смерти, но и о воскресении из мертвых, мы перейдем в дальнейших наших беседах.

## СИМВОЛ ВЕРЫ. Воскресший в третий день

После креста, после сошествия в смерть, воскресение из мертвых – это основное, главное, решающее утверждение Символа веры, утверждение им самой сердцевины христианства. Действительно, «если Христос не воскрес, вера ваша тщетна» (ср.: [1Кор.15:14](#)). Это слова апостола Павла, и они остаются для христианства основоположными по сей день. Христианство – это превыше всего вера в то, что Христос не остался во гробе, что из смерти воссияла жизнь и что в воскресении Христа из мертвых абсолютный, всеобъемлющий, не терпящий исключений закон умирания и смерти был изнутри взорван и преодолен...

Воскресение Христа составляет, повторяю, самое сердце христианской веры, христианского благовестия. И однако, как ни странно, в реальной жизни христианства и христиан в наши дни вера эта занимает мало места... Она как-то затуманена, и ее современный христианин, сам того не ведая, не то что не принимает, а как-то обходит, ею не живет, как жили ею первые христиане. Да, если он ходит в церковь, он, конечно, слышит раздающиеся в христианском богослужении ликующие утверждения: «смертию смерть поправ», «погложена смерть победой», «жизнь царствует» и «мертвый ни один во гробе». Но спросите его, что он действительно думает о смерти, и часто, увы, слишком часто, вы услышите некое расплывчатое, еще и до христианства существовавшее утверждение бессмертия души и ее жизни в некоем загробном мире. Это еще в лучшем случае... В худшем же – просто растерянность, незнание: «Я, знаете ли, как-то никогда по-настоящему в это не вдумывался». Между тем вдуматься в «это» абсолютно необходимо, ибо, повторяю, на вере или неверии – не просто в «бессмертие души», а именно в воскресение – в воскресение Христово и в конце времен наше «общее воскресение», – на вере этой держится все христианство. Если Христос не воскрес, то тогда Евангелие есть обман, самый страшный из всех обманов. Если Христос воскрес, то тогда радикально меняются, да попросту

отпадают, все наши дохристианские представления и верования в «бессмертие души», тогда весь вопрос о смерти предстает в совершенно ином, радикально ином свете. Ибо воскресение, прежде всего, предполагает отношение к смерти, понимание смерти – глубочайшим образом отличное от обычных религиозных представлений о ней, а в каком-то смысле и попросту обратное этим представлениям.

Надо прямо сказать, что классическое верование в бессмертие души исключает веру в воскресение, ибо воскресение – и тут корень всего – включает в себя не только душу, но и тело. Простое чтение Евангелия не оставляет в этом никакого сомнения. Увидев воскресшего Христа, апостолы, по рассказу Евангелия, думали, что видят призрак, привидение. И первым делом воскресшего Христа было явить им, дать ощутить реальность Своего тела. Он берет пищу и ест перед ними. Сомневавшемуся Фоме он приказывает прикоснуться к Своему телу, пальцами удостовериться в воскресении. И когда апостолы уверовали, именно провозглашение воскресения, его реальности, его «телесности» и становится главным содержанием, силой и радостью их проповеди. Главным таинством Церкви становится причастие хлеба и вино как Телу и Крови воскресшего Господа – и в этом акте, как говорит апостол Павел, «смерть Господню возвещая, воскресение Его исповедуют» (ср.: [1Кор.11:26](#)).

Обращающиеся в христианство обращаются не к идеям и принципам, а принимают эту веру в воскресение, этот опыт, это знание воскресшего Учителя. Больше того, они принимают с этой верой веру во всеобщее воскресение, и это значит – в преодоление, разрушение, уничтожение смерти как последнюю цель мира. Последний же враг истребится – смерть! ([1Кор.15:26](#)) – в некоем духовном восторге восклицает апостол Павел. И каждую пасхальную ночь мы восклицаем: «Где твое, смерте, жало, где твоя, аде, победа?.. Воскрес Христос, и мертвый ни один во гробе, воскрес Христос, и жизнь царствует!»<sup>226</sup> Таким образом, принятие или непринятие Христа и христианства есть, по существу, принятие или непринятие веры в Его воскресение, и это значит, говоря языком

религиозных представлений, в воссоединение в Нем души и тела, разделение которых, распад которых и есть смерть. Мы можем не говорить об отвергающих воскресение Христа по той простой причине, что они отвергают самое существование Бога, т.е. мы можем не говорить об убежденных или думающих, что они убежденные атеисты, безбожниках. Тут очевидно спор идет в другой плоскости. Гораздо важнее то странное «затуманивание» веры в воскресение, о котором я только что говорил, затуманивание его среди самих верующих, самих христиан, странным образом сочетающих радостное празднование Пасхи с фактическим, зачастую даже подсознательным отвержением воскресения Христова. В историческом христианстве произошел как бы возврат к дохристианскому пониманию смерти, которое состоит, в первую очередь, в признании ее «законом природы», т.е. присущим самой природе явлением, с которым по этой причине, сколь бы ни была смерть страшной, нужно «примириться», которое нужно принять. Действительно, все нехристианские, все естественные религии, все философии в сущности только тем и заняты, что примиряют нас со смертью, стараются показать нам начало бессмертной жизни, бессмертной души в каком-то ином, загробном мире. И, конечно, если, как учит, например, Платон, а за ним и бесчисленные его последователи, смерть есть желанное освобождение души от тела, то вера в воскресение тела становится не только ненужной и непонятной, но просто ложной, неверной.

Итак, для того чтобы ощутить смысл христианской веры в воскресение, нам нужно начать не с него, а с тела и смерти; с христианского их понимания. Именно тут корень недоразумения даже внутри христианства.



## Символ веры. Радость первых христиан<sup>227</sup>

В прошлой моей беседе я говорил, что главное, центральное утверждение Символа веры о Христе – «и воскресшаго в третий день» – на деле как бы затуманено, ослаблено даже в религиозном, христианском сознании. Поясню это. Религиозное сознание воспринимает воскресение Христа прежде всего как чудо, каковым, конечно, оно и является. Но чудо это – и даже больше, чудо всех чудес – сплошь и рядом остается для нас, так сказать, единичным, относящимся к Христу. А поскольку Христа мы признаем Богом, чудо это в каком-то смысле перестает быть даже и чудом: Бог всемогущ, Богу все возможно. И уж, конечно, что бы ни означала смерть Христова, Божественная сила и власть не дали Ему остаться во гробе.

В том-то и дело, однако, что все это лишь отчасти совпадает с изначальным христианским восприятием воскресения Христова. Радость раннего христианства – радость, живущая и доныне в Церкви, в ее богослужении, в ее песнопениях и молитвах, особенно же в несравненном празднике Пасхи, – не отделяет воскресения Христова от начатого Им общего воскресения, т.е. воскресения всех людей. Уже празднуя за неделю до Пасхи воскрешение Господом друга Его Лазаря, Церковь торжественно утверждает, что это чудо есть «общего воскресения удостоверение»<sup>228</sup>.

Но вот в сознании верующих нераздельные элементы веры – вера в воскресение Христа и вера в начатое им общее воскресение – как бы разделились. Осталась нетронутой вера в восстание Христа из мертвых, Его воскресение в теле, к которому Он призывает прикоснуться сомневающегося Фому: «Вложи пальцы твои в раны Мои, и не будь неверующим, но верующим» (ср.: Ин.20:27). Что же касается посмертной участи человека в мире, который стали называть «загробным», то она постепенно перестала восприниматься в свете и по отношению к воскресению Христову. Про Христа мы утверждаем, что Он воскрес, про самих же себя говорим, что верим в бессмертие

души, в которое задолго до Христа верили и греки, и евреи, и до сих пор верят все без исключения религии и для веры в которое воскресение Христово даже и «не нужно».

В чем причина такого странного раздвоения? На этот вопрос я уже отвечал, и сегодня хочу обосновать свой ответ подробнее. Причина этого раздвоения – в нашем понимании смерти, а лучше сказать, в различном понимании смерти как отделения души от тела. Вся дохристианская и внехристианская религиозность призывает это отделение души от тела считать не только, так сказать, «естественным», но и положительным, как освобождение души от тела, мешающего ей быть духовной, небесной, чистой и блаженной. Поскольку в опыте человеческого зло, болезни, страдания и страсти проистекают от тела, то смыслом и целью религиозной жизни, естественно, становится освобождение души от тела, ее темницы, – освобождение, достигающее полноты своей именно в смерти.

Но нужно самым решительным образом подчеркнуть, что такое понимание смерти – не христианское и, больше того, с христианством несовместимое, как прямо ему противоречащее. Христианство утверждает и учит, что разделение души и тела, называемое смертью, есть зло. Это то, чего Бог не сотворил, это то, что вошел мир в нарушение Его замысла, Его воли о мире и человеке, и это то, что Христос как раз и пришел разрушить. Но для того чтобы не столько даже понять, сколько ощутить христианское восприятие смерти, скажем хоть несколько слов о Божием замысле, который открыт нам в Священном Писании и в полноте своей явлен во Христе, в Его смерти и воскресении.

Кратко и упрощенно замысел этот можно описать так: Бог создал человека состоящим из души и тела, т.е. существом духовным и материальным одновременно. Человек, каким создал его Бог, – это одушевленное тело и воплощенный дух, и потому всякое разделение их, и не только последнее, в смерти, но и до смерти, всякое нарушение их единства есть зло, духовная катастрофа. Отсюда и наша вера в спасение мира через воплощение Бога, т.е. через восприятие Им тела, и не призрачного, а тела в полном смысле слова, т.е. нуждающегося

в пище, способного утомляться, страдать и т.п. Таким образом, в смертном разделении души и тела кончается то, что в Писании названо «жизнью» и что состоит в одушевлении тела и воплощении духа. Нет, не исчезает человек в смерти вовек (ибо не дано ей уничтожить то, что призвал из небытия в бытие Бог), но погружается во тьму безжизненности, предается, как говорит апостол Павел, распаду и тлению (см.: Гал.6:8).

Здесь я хочу еще раз подчеркнуть: не для разделения, не для распада и тления создал Бог мир, и потому в Священном Писании провозглашено: Последний же враг истребится – смерть (1Кор.15:26). Воскресение есть воссоздание мира в его первоизданной красоте и целостности, полное одухотворение материи и полное воплощение духа в творении Божиим. Мир дан человеку как его жизнь, и потому, согласно христианскому учению, Бог не уничтожит его, а преобразит в новое небо и новую землю, в духовное тело, в храм Божия присутствия и Божией славы. Торазрушение, то истребление смерти, о котором говорит апостол, началось, когда Сын Божий вольно, из бессмертной любви к нам Сам сошел в смерть, в ее тьму, отчаяние и ужас, наполнив их Своим светом и любовью. Вот почему на Пасху мы поем не только «Христос воскрес из мертвых», но также и «смертию смерть поправ». Из мертвых воскрес Он один, но этим разрушил нашу смерть, ее владычество, ее безнадежность и окончательность. Нет, не нирвану, не какое-то тусклое «загробное бытие» обещает нам Христос, а восстание жизни, новое небо и новую землю, радость всеобщего воскресения: «Воскреснут мертвии и востанут сущии во гробех, и вси земнороднии возрадуются»<sup>229</sup>. «Христос воскрес, и жизнь жительствует» – жизнь живет.

Вот смысл, вот бесконечная радость этого поистине главного, сердцевинного утверждения Символа веры: «И воскресшаго в третий день по Писанием». «По Писанием» – т.е. в согласии с тем замыслом о мире и человеке, о душе и теле, о духе и материи, о жизни и смерти, которое открыто нам в Священном Писании. Тут – вся вера, вся любовь, вся надежда христианства. И вот почему если Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то вера наша тщетна (1Кор.15:17).

## Символ веры. Восшедший на небеса<sup>230</sup>

«И восшедшаго на небеса, – продолжает Символ веры вслед за исповеданием воскресения Христа из мертвых, – и сидяща одесную Отца», т.е., в переводе с церковнославянского, по правую руку Отца. И наш следующий вопрос, таким образом, – это вопрос о том, что в нашей вере выражают, к чему призывают эти слова, это утверждение о восхождении Христа на небо. В моих беседах я неоднократно говорил о христианском понимании неба. Говорил потому, что словом этим недобросовестно пользуются враги религии, утверждающие, будто христианство сохранило «первобытное», «донаучное» понимание неба как физического места во Вселенной, где восседает Бог. Отсюда давнишнее замечание первого космонавта, что вот-де побывал он на небе и никакого Бога там не увидел. Между тем, это древнее верование не имеет ничего общего с христианским пониманием и переживанием неба. Да, конечно, христианский термин «небо» восходит к тому пространственно-натуральному символизму, который присущ всем культурам, – и в этом смысле его можно рассматривать по аналогии с нашими терминами «высокий – низкий», «широкий – узкий» и т.д. Ведь когда мы называем один поступок «высоким», а другой – «низким», то для каждого очевидно, что речь не о пространстве, а о духовно-нравственной оценке данных поступков, и, равным образом, определение человека как «широкого» или «узкого» не имеет ничего общего с телесным его сложением.

Так вот, слово «небо» на языке почти всех народов, кроме натурального смысла, всегда имело смысл духовно-символический, как обозначение всего чистого, высокого и даже запредельного. Да, в своих представлениях о мире, о космосе древний человек часто понимал этот символизм буквально. Первобытная космология делила Вселенную как бы на три этажа: небо – земля – преисподняя – и все доброе и светлое помещала на небе, а все злое и страшное – в преисподней. Но о том, что христианство не имеет к этой космологии никакого

отношения, свидетельствуют хотя бы призыв апостола Павла помышлять о небесном, а не о земном (Кол. 3:2) или радостное восклицание святого Иоанна Златоуста: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?»<sup>231</sup> Таким образом, всякая попытка на основании термина «небо» уличить христиан в ненаучности, примитивности, глупом суеверии – попытка не только с негодными средствами, но и попросту нечестная.

И однако не может быть никакого сомнения, что термин этот имеет в христианской вере, действительно, ключевое значение. Уже в библейском рассказе о творении мир определяется как небо и земля: В начале, – так открывается Библия, – сотворил Бог небо и землю (Быт.1:1). Таким образом, небо не есть нечто неотмирное; это не «иной мир», но присущее этому миру, всему творению духовное, или вертикальное, измерение. Небо – это то в мире, что высоко, чисто, духовно; небо – это то в человеке, что христианство называет «духом», «душой». Неверующие материалисты отвергают само наличие в мире духовной, высокой и святой реальности. Для них все в нем объясняется снизу – из материи, из ее чисто физических законов. Но для христиан жизнь и ее смысл измеряются не землей (материей), а небом. Ненебо постигается землей, но земля и земное – небом.

Носитель же неба в мире – человек. Человек создан по образу и подобию Божию. Человеку дан ум и, следовательно, способность к познанию; дана совесть и, следовательно, знание добра; дан дух и, следовательно, возможность постигать красоту и совершенство. Но в свободе своей человек может отпасть от того, что есть в нем небесного, может захотеть жить лишь земным или, говоря образно, опустив глаза (и это значит – свой духовный взор, свое сердце) книзу. И вот это христианство называет грехом и отпадением, веря и утверждая, что именно от этого греха, от этого отпадения, от этого разрыва с небом пришел спасти нас Христос.

В Своем пришествии в мир, в Своем вочеловечении Христос снова явил небо на земле, явил жизнь, обращенную ввысь, к Богу, т.е. к высокому и истинному, доброму, чистому и прекрасному – ко всему, от чего оторван был человек в своей редукции, в своем сведении жизни к земле и земному. Христос

открыл, даровал нам небо, в Себе Самом указал смысл жизни как подъем, восхождение, вознесение, и не только землю, но и саму смерть, или, говоря языком первобытных символов, саму преисподнюю наполнил небесной силой и правдой, божественным совершенством неба. Ибо Христос сошел на землю, сошел в смерть; но с Христом и в жизнь, и в смерть возвращено было небо, открыт был путь к победе над всем, что только земля, только земное и чья конечная судьба – тьма и смерть. И совершив все это, Христос вознесся на небо, а для христиан это означает, что во Христе человек вознесен на небо, приобщен к небесной правде и, значит, вернулся к Богу, к знанию Бога и единственно подлинной, а потому вечной жизни.

Каждый раз, исповедуя свою веру в «Восшедшего на небеса», мы говорим не только о Христе, но и о себе самих. Если мы верим во Христа, если любим Его, то и мы на небе или, во всяком случае, к небу, к Богу устремлена наша вера, наш дух, наша любовь. Мы знаем небо как нашу подлинную жизнь, и в этом знании осмысленной и радостной становится наша земная жизнь, ибо во Христе она стала восхождением и вознесением.

## Символ веры. Паки Грядущий<sup>232</sup>

«И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже Царствию не будет конца». В церковном Символе веры слова эти следуют за словами о вознесении Христа на небо. Христиане всегда верили во Второе пришествие Христово. Для первых христианских поколений вера эта была радостной. Само христианство они переживали, прежде всего, как ожидание Христа, и последняя книга Нового Завета – Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, завершается призывом: Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр.22:20). Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам говорит о том, сколь радостно это пришествие: «И тогда мы всегда с Господом будем» (ср.: 1Фес.4:17).

Однако на протяжении веков радость эта как бы растворилась в страхе – в страхе перед последним судом, который христиане стали называть Страшным. Наконец, сравнительно недавно, в последние одно-два столетия стал, можно сказать, выдыхаться и этот страх суда, уступивший место страху теперь уже перед смертью. Именно поэтому нам, христианам, нужно сегодня заново вдуматься в изначальную веру христиан, в то, как воспринимался ею суд, обещанный Христом, и, наконец, в христианский опыт страха.

И, может быть, именно с последнего, с опыта страха и нужно начать. Нужно потому, что слово «страх» в христианском Писании и Предании употребляется в различных смыслах – положительном и отрицательном. Для лучшего понимания этой двойственности уместно остановиться сначала на смысле отрицательном. Этот отрицательный и даже греховный, можно сказать, смысл страха лучше всего выражен святым Иоанном Богословом. В своем Первом послании он пишет: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1Ин.4:18). Смысл этих слов можно объяснить так: человеческая жизнь насквозь пронизана страхом – страхом неизвестности, страхом несчастья, страхом страдания, страхом смерти. Страшна жизнь,

страшна смерть, и именно от этого страха жаждет и не может освободиться человек. Не может и старается заглушить его в себе, не думать о нем. Но основа христианской веры в том, что Христос пришел нас от такого страха освободить. В этом смысле сама вера есть победа над страхом, ибо мы верим, что Христос открыл нам Бога как любовь, Своею смертью победил смерть, Своим воскресением открыл нам доступ в вечную жизнь и вечную радость. И если мы верим в Христа и, веря, любим Его, то нет места страху в нашей душе – он уничтожен светом веры, надежды и любви. Поэтому для верующих – и именно об этом говорит Иоанн Богослов – страх греховен. Он показывает недостаток любви к Христу, недостаток веры в Него. И отсутствием такого страха объясняется та радость, с которой первые христиане ждали возвращения Христа, как и радость их мольбы «Да приидет Царствие Твое», которую мы продолжаем повторять, не задумываясь над ее смыслом.

Таков, следовательно, тот смысл слова «страх», который я называю отрицательным. И только в соотношении с ним можем мы воспринять и второй, положительный смысл. Он выражен в словах Писания: Начало премудрости – страх Господень (Притч.1:7). Это страх, который не только не уничтожается в вере, любви и надежде, но присущ им как их глубина. Этот страх – не от незнания, но от знания Бога, от знания Его безмерной святости и любви, от знания Его призыва, обращенного к каждому из нас: Будьте святы, ибо Я свят; будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Лев.11:44; Мф.5:48). Сущность этого страха – благоговение и восхищение перед безмерно высшим нас и одновременно чувство собственного недостойнства. Этот страх мы испытываем иногда (хотя, увы, и очень редко) в нашей жизни, когда встречаемся с красотой и совершенством, когда прикасаемся к чему-то высокому, чистому, прекрасному и в свете этого прикосновения постигаем собственную падшест, греховность и мелочность своей жизни. И потому страх этот – спасительный, рождающийся из света и радости и, по свидетельству святых, возрастающий в душе человеческой по мере приближения ее к Богу. Его не способен пережить мелкий, самодовольный, в суету



погруженный человек, ибо страху этому в нем противостоят цинизм, гордыня и все то, что в падшем создании заглушает способность очищаться, восходя к совершенству.

И именно этот страх открывает нам смысл того последнего Божия суда над нами, который называем мы Страшным судом. Нет, это не суд хозяина над рабами – это суд над нашей душой Самой Божественной Любви, божественного Добра, божественной Истины и Красоты. В Своей притче об этом суде Христос не говорит о нарушении закона. Он говорит одно: «Вы не увидели Меня в ваших братьях, вы не увидели Меня в вашей жизни!» (см.: Мф. 25:45) Здесь страх – не от боязни наказания, ибо не боязнь наказания движет любовью к Богу, не она рождает в человеке тоску по совершенству и подлинной жизни. Здесь – страх Божий: горестное осознание наших измен Божественной любви, дарованной нам во Христе. Первые христиане ждали Христа, ждали Его Второго пришествия, ибо верили и духовным опытом знали, что в нем откроется вечное Царство любви, видения Бога и жизни вечной. Да, они ждали Христа со страхом и трепетом, подобно тому, как и к причастию подходим мы со страхом Божиим и верою, а значит – с благоговейным сознанием высоты этого дара и одновременно нашего недостойства.

В свете всего этого можно и должно сказать, что наше отношение ко Второму пришествию Христову есть на глубине мерило нашей веры в Христа и нашей любви к Нему. Если мы всего лишь боимся Его, как боятся хозяина рабы, то несовершенна наша вера и отсутствует в нас любовь; если ждем Его со страхом Божиим и верою, то знаем и то, что в Нем воссияло прощение грехов, что бесконечно милосердие Божие и что одна слеза подлинного раскаяния и подлинной любви сильнее всех грехов. И, может быть, именно в наши дни – в дни усиления низменного страха на земле – нужно в себе самих вернуться к радостно-победному смыслу этих слов Символа веры: «И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже Царствию не будет конца».

В прошлой беседе я говорил о тех словах Символа веры, что относятся ко Второму пришествию Христову: «И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, егоже Царствию не будет конца». Говорил я преимущественно о христианском понимании того последнего суда над всеми, о котором возвестил в Евангелии Христос. Сегодня я хочу остановиться на второй части того же члена Символа – на словах «Егоже Царствию не будет конца».

Всякий, кто хоть раз в жизни прочел Евангелие или слышал его в церкви, знает, что проповедь Христа была, прежде всего, возвещением Царства Божия. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17) – вот слова, с которыми Он обходил всю Палестину, проповедуя Евангелие Царства, т.е. благую весть о нем. И, далее, многие притчи Христа посвящены объяснению того, что есть Царство, и начинаются со слов: Чему подобно Царствие Божие? (Лк.13:18). Наконец, одно из первых прошений молитвы, оставленной и заповеданной нам Христом, – это прошение «Да приидет Царствие твое». Таким образом, проповедь Царства Небесного, Царства Божия составляет главное содержание христианской веры.

Между тем не будет преувеличением сказать, что в религиозном сознании самих христиан Царство Божие, возвещенное Христом как конечная цель не только каждой человеческой жизни, но и всего мироздания, – Царство это давно уже не занимает то место, какое занимало оно в вере и опыте первых христианских поколений и, конечно, в вере Церкви. Если расспросить самих верующих, что означает для них непрестанно повторяемое веками прошение «Да приидет Царствие Твое», многие, очень многие, окажутся, по всей вероятности, в затруднении, не зная, что ответить по существу. Подобно тому как веру в воскресение мертвых христиане, сами этого не замечая, свели к дохристианской вере в бессмертие души, так и веру в Царство Божие отождествили мы с жизнью этой души в некоем таинственном и, что греха таить, страшном

для нас «загробном мире». И произнося: «Да приидет Царствие твое», мы вряд ли молимся о скорейшем наступлении смерти и посмертном вселении нашем в этот самый «загробный мир». Но тогда о чем же молимся мы, о чем молились и какое содержание вкладывали в эту мольбу прежние христиане и Сам Христос?

Если собрать все слова, все притчи Христа о Царстве, если вслушаться в то, как свидетельствовали об этом Царстве апостолы, мученики и другие святые, в то, что говорит и всегда говорила о нем Церковь, то смысл этой возвещенной Христом реальности окажется весьма отличным от туманного понятия «загробный мир». Ибо Царство Божие – это полнота жизни, полнота радости, полнота знания, это торжество Божественной жизни – всего того, для чего создал Бог мир и человека и от чего отпал человек в грех и себялюбие и что снова явил и даровал нам Христос как конечную цель, но и как само содержание нашего бытия. В этом и состоит поразительная особенность христианского учения о Царстве Божию, несводимость его ни к чему другому, потому-то мы и можем молиться о нем, желать и любить его как последнее, высшее сокровище уже теперь, здесь – в нашей земной жизни.

Непридет Царствие Божие приметным образом, – говорит Христос, – и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть (Лк.17:20–21). Иными словами, Царство Божие в самом Христе, в Его жизни – человеческой, но светящейся Божественной красотой, добром и истиной. Царство Божие в любви Христа, в Его послушании, Его самоотдаче, Его победе. Христос говорит: Если любите меня, соблюдайте Мои заповеди (Ин.14:15). Так вот, Царство Божие – это любовь к Христу как смыслу, содержанию и исполнению жизни. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин.1:4), – восклицает апостол Иоанн Богослов. И вот эта жизнь явилась, дана нам, мы можем ею жить, и это есть Царство Божие внутри нас. Вглядитесь, например, в лучезарный образ преподобного Серафима Саровского, одного из величайших русских святых. Разве о «загробном мире» и о «бессмертии души» думает он? Нет, преподобный Серафим живет Христом, радостью познания

Христа, близости к Нему – радостью столь полной, что и саму смерть воспринимает он как еще большее соединение с Любимым. Это и есть Царство Божие. Совершится, исполнится, придет во славе, как говорит Символ веры, то, что уже явилось, то, о чем Иоанн Богослов говорит как «о том, что мы видели своими очами, что осязали руки наши» (ср.: 1Ин.1:2). И это явление, эта радость столь всеобъемлющи, что апостол Павел восклицает: «Ни жизнь, ни смерть не отлучат нас от любви Христовой» (ср.: Рим.8:38–39).

Итак, о Царстве Божием можно и должно сказать, что мы молимся о нем, потому что любим его, любим же, потому что знаем, ибо оно открыто и даровано нам Христом. Оно не приходит приметным образом: мир продолжает жить своими страстями и страхами, своей суетой и алчностью, миллионы людей на нашей планете теснят друг друга, стараясь урвать свою долю счастья. Но кто хотя бы иногда открывает свою жизнь Христу, тот узнает о жизни иной, освобождается изнутри от порабощения мировой суете, и в душе его воцаряются радость и мир в Духе Святом (ср.: Рим.14:17), которых никто не может дать на земле и которые между тем всегда внутри нас. Мы падаем, грешим, уходим от них, но забыть до конца уже не можем и вот каемся и возвращаемся, и снова объемлет нас все та же Божественная любовь, все тот же свет. И Царству этому не будет конца, ибо, как говорит Христос, «сия есть жизнь вечная, да знают единого истинного Бога и Того, Кого Он послал» (ср.: Ин.17:3). Об этом вечном Царстве, вечной жизни и вечной радости – слова Символа веры.

## Символ веры. Дух Святой<sup>234</sup>

После Бога Отца, после Иисуса Христа Символ веры говорит о Духе Святом, Которого Церковь именует Третьим Лицом Пресвятой Троицы. Вот перевод этой части Символа веры на русский язык, ибо на церковнославянском она стала, я боюсь, более непонятной, чем все остальные части: «И в Духа Святого, Господа Животворящего, Который исходит от Отца, Которому поклоняемся мы вместе с Отцом и Сыном, Который говорил через пророков».

В чем же смысл этого исповедания? И прежде всего – кто такой этот «Дух Святой», Которого Символ называет также «Господом Животворящим» и Которому он призывает нас поклоняться вместе, т.е. наравне, с Отцом и Сыном? Говорить о Духе Святом, пытаться объяснить веру в Него на нашем рациональном языке неизмеримо труднее, чем говорить об Отце и Сыне. Бог как Творец мира, как любящий Отец, как Вседержитель – это пусть неполно, но может вместить наш ум. В Сына Его Единородного мы верим, потому что верим Христу, потому что любим Его, потому что Христос Сам утверждает о Себе, что Он Сын Божий. Но когда пытаемся говорить о Духе Святом, то нам, прежде всего, очень трудно, если только не невозможно, почувствовать, осознать, определить отличие Его от Отца и Сына, или, проще, воспринять смысл церковной веры в Троичного Бога, в Единого Бога, открывающегося нам в трех Лицах, или Личностях.

Между тем именно такое знание Бога, такой религиозный опыт Его считала всегда, считает и теперь Церковь вершиной веры, вершиной духовной жизни, той последней и всеобъемлющей истиной, знание которой называется в Евангелии «жизнью вечной». Поэтому, как ни кажется это трудным, а на взгляд иных, даже религиозных, людей – ненужным, попробуем хоть немного вникнуть в это учение или хотя бы почувствовать, на что указывает Церковь, призывая нас поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. А для этого остановимся на самом понятии «дух», которое, хотя и кажется

нам ясным и прозрачным, оказывается далеко не таким при первой же попытке определить его.

Начнем с обыденного употребления слова «дух». Вот, например, мы говорим, что «дух» пушкинского творчества – светлый. Что это значит? Что хотим мы этими словами выразить и передать? Нет ли, что всякую реальность, в том числе и пушкинское творчество, можно воспринимать не только в ее объективности, фактичности, но и в ее действии на нас, в излучаемой ею силе, положительной или отрицательной? О пушкинском творчестве можно сказать, что у Пушкина есть стихи серьезные и шутливые, глубокие и более поверхностные, умиротворенные и трагические, а все-таки, говорим мы, дух его творчества – светлый. И это несмотря на то, что Пушкин прожил, в сущности, не очень счастливую, а в последние годы и просто несчастную жизнь. Таким образом, то, что мы называем «духом пушкинского творчества», – это не просто отражение характера Пушкина в его произведениях, а нечто гораздо более глубокое, самое глубокое в Пушкине, глубже его сознания, идей, настроений – то, что поистине живет и светит нам в его творчестве.

Мы мало думаем об этом, но из приведенного примера можно заключить о существовании духовной глубины и духовной высоты, духовного измерения жизни. Дух ни с чем не отождествим и, однако, во всем присутствует, через все просвечивает – он есть в каком-то самом последнем смысле жизнь самой жизни. Это то, о чем сказано в Евангелии: Дух дышит, где хочет... а н знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин.3:8). На древнееврейском языке, которым написана Библия, слово «дух» – руах – означает прежде всего ветер как силу, невидимую глазу и тем не менее способную приводить в движение вещи, а значит, очевидную силу жизни. И потому, когда мы применяем слово «дух» к Богу, мы утверждаем одновременно невидимость Бога и Его присутствие, Его действие, Его животворную силу. Дух Святой – это Бог в Его действии, в Его животворной силе в нас, в природе, во всем мире; Дух Святой – это присутствие Бога везде и всегда. Вот почему мы и называем мы его Духом, а также Господом и,

наконец, Животворящим. Без опыта этого присутствия, невидимого, но ощутимого, Бог был бы только идеей, и притом самой туманной, самой недоказуемой, самой, так сказать, отвлеченной из всех идей. Мы не можем показать Бога и потому не можем «доказать» Его, как не можем ни показать, ни «доказать» красоту солнечного дня слепорожденному; как не можем «доказать» светлый дух пушкинского творчества тому, кто, не зная русского языка, не может прочесть Пушкина. Об идее Бога можно без конца спорить и ни до чего не договориться, но опыту духовного Его присутствия никакие доказательства не нужны, и опыт этот раз и навсегда воплотил в словах апостол Павел, сказав о «радости и мире в Духе Святом» (ср.: Рим.14:17).

Далее Символ веры называет Дух Святой «от Отца исходящим». Чтобы понять, что это значит, воспользуемся все тем же примером. Дух пушкинского творчества – от Пушкина, но он не есть Пушкин. Через дух пушкинского творчества мы можем узнать Пушкина, но, даже зная все подробности биографии Пушкина, мы не узнаем дух пушкинского творчества, если не прочтем его произведений. Святой Дух – это присутствие, явление, действие в мире любви, мудрости, творчества Отца, но Он не есть Отец. Он весь от Бога Отца, поэтому и Сам Он Бог, но не Отец. Дух Божий от Отца исходит, об Отце и Сыне свидетельствует, к Отцу приводит, но Он не есть Отец, не есть и Сын. Если Бог есть Любящий, если Сын есть Любимый, то Дух Святой есть соединяющая их Любовь, их единство, их единый свет, сила и истина. Он есть дыхание Бога в мире, Он Тот, через Кого мы, по слову Достоевского, касаемся «мирам иным», Он отсвет Божественной красоты и Божественного добра, Он Тот, Кто все в мире раскрывает как путь к Богу, как стремление к Нему, как радость Его присутствия.

Любящий, Любимый, Любовь – светлая тайна Троицы, откровение последней тайны самого бытия Божия. Мы верим в Единого Бога, но не в бога одиночества, не в бога себялюбия, не в бога, в себе и собою живущего. Бог есть любовь (1Ин.4:16), – говорит христианство, а любовь есть обращенность к другому и в пределе – отдача ему себя: «Отец, – говорит Христос, –

любит Сына и все отдал ему» (ср.: [Ин.3:35](#)), но и Сын любит Отца и отдает Ему Себя. И наконец, сам дар любви, сама любовь как дар, радость, полнота, бытие, жажда и обладание, отдача и приятие, есть Дух Святой. И этой любовью, этой отдачей Бог творит мир и призывает каждого из нас к бытию, и каждого из нас делает любимым, и Свою любовь, Свой Дух дарует каждому, чтобы он мог приобщиться Божественной жизни. И обращаясь к Духу, мы именуем Его Утешителем, Сокровищем благих, Подателем жизни и молимся Ему: «Прииди и вселися в ны». И Он приходит, вселяется, и наставляет нас, по слову Христа, на всякую истину ([Ин.16:13](#)), и дарует вечную жизнь.

Еще раз: Любящий, Любимый, Любовь и дар этой Любви – вот светозарная тайна христианской веры, тайна Бога-Троицы, Бога Любви.



## Символ веры. Глаголавший в пророках<sup>235</sup>

В прошлой моей беседе, говоря о Духе Святом и христианском учении о Нем, как оно кратко запечатлено в Символе веры, я не успел остановиться на последних словах: «глаголавшаго пророки», т.е., в переводе с церковнославянского, «говорившего через пророков».

В чем смысл этих слов, о каких пророках и о каком пророчестве они говорят? Я думаю, что большинство людей, даже те, кто знают Символ веры наизусть и читают или поют его каждое воскресенье в церкви, едва ли задумываются об этих словах и останавливают на них свое внимание. Между тем в христианском учении понятия «пророчество» и «пророк» занимают огромное место, и потому от правильного их осмысления зависит в конце концов наше осмысление собственной веры и жизни.

Заметим прежде всего, что в обыденном, расхожем употреблении слово «пророчество» стало однозначным предсказанию. Пророк в нашем сознании – тот, кто предсказывает будущее, нечто вроде ясновидящего. И вот нужно со всей определенностью сказать, что, хотя предсказание будущего, вне всякого сомнения, входит в христианское понимание пророчества, оно, во-первых, не исчерпывает собой это понимание и, во-вторых, не является в нем главным, центральным. Добрая половина Ветхого Завета состоит из писаний пророков, но сами эти писания отнюдь не сводятся к предсказанию будущего. Суть пророчества в другом, и только в свете этого другого можно по-настоящему понять отношение пророков и пророчества к будущему. Суть пророчества – в возвещении людям воли Божией, скрытой от человеческого взора в событиях мировой жизни и истории, но открывающейся духовному взору пророка.

Эта суть пророчества особенно хорошо выражена в религиозно гениальном стихотворении Пушкина «Пророк». К чему призывает Бог пророка? Вот заключение пушкинского стихотворения:

И Бога глас ко мне воззвал:  
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнись волею Моей  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей!...»

Можно только удивляться тому, с какой полнотой и силой в этих прекрасных бессмертных строчках выражена суть пророчества и призвание пророка. Пророк – тот, кто услышал голос Божий, т.е. некий таинственный, к нему и только к нему обращенный призыв, повеление. Голос этот говорит «Восстань», и это значит – выйди из той суетной и пустой жизни, которой ты, как и большинство людей, живешь; разорви путы обыденщины, скрывающей от тебя глубокий, потаенный смысл совершающегося. И тот же голос затем: «И виждь, и внемли». Это повеление видеть, это повеление слышать – видеть то, чего не видим мы нашим обычным, к земле и земному прикованным взором; слышать то, что обычно заглушается шумом житейской суеты. Увидь другое – главное, услышь другое – главное! И далее: «Исполнись волею Моей», и это значит – сделайся служителем не твоих, земных и человеческих соображений, планов, желаний, а Моего, Божественного замысла, Моей, Божественной воли! И в довершение всего: «И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!» «Моря и земли» значит весь мир, всю Вселенную, все творение Божие, и это значит также, что, хотя пророк, как и каждый человек, ограничен временем и пространством, живет в определенных условиях, является свидетелем определенных событий, божественная его миссия преодолевает эту ограниченность, обращена к миру. Или, может быть, лучше сказать так: пророк в самом малом видит, слышит, различает волю Божию, т.е. смысл и значение этого малого и для судьбы каждого человека, и для всей человеческой истории.

Почитайте писания ветхозаветных пророков: они говорят о событиях, войнах, переворотах, убийствах, завоеваниях каких-то незначительных в мировой перспективе государств, о людях и событиях, давно всеми забытых и с точки зрения наших, современных проблем, современного знания – в сущности,

ничтожных. Все царства, чьим войнам друг с другом посвящена огромная часть Библии, сегодня можно облететь на самолете в два-три часа. Так почему же рассказ обо всем, что происходило там, мы должны не только помнить, но еще и признавать священным, богодухновенным Писанием, словом Божиим? Да потому, что пророки во всех этих малых событиях сами видят и нам раскрывают волю Божию не только об этих землях и народах, а о человеке и мире в целом. Для них, пророков, все становится знаком, откровением, призывом, уроком, через малое раскрывается во всем своем неизреченном величии замысел Божий о нас – не только о том, что совершается сейчас, но прежде всего – о конечной цели самого мироздания. В этом смысле пророчество обращено и к настоящему, и к прошлому, и к будущему. И вот это видение, эту волю Божию, этот замысел Божий и раскрывает пророк, ими жжет сердца людей, ибо это не просто объяснение, не просто предсказание, как у гадалок и ясновидящих, но именно призыв, а поскольку призыв, то и суд. Это раскрытие воли Божией и призыв принять ее; это обличение зла и призыв бороться с ним; это явление любви Божией и призыв любить Бога.

Церковь решительно отвергает и осуждает обращение к всевозможным гадалкам и «предсказателям будущего». Почему? Да потому, что обращение к ним предполагает фатализм, а значит – отрицание свободы. Пророчество же, напротив, есть страстный призыв к свободе, к освобождению человека от фаталистической скованности и пассивности. ...Если не покаетесь, все так же погибнете ([Лк.13:3](#)), – вот, в конце концов, сущность пророчества. Оно всегда есть явление двух и только двух путей, между которыми все время в большом и малом призван выбирать человек – путь Божий и путь не божий, и потому противобожеский. «Если не покаетесь» означает, что человек может покаяться, может преодолеть греховный фатализм, может перемениться, может выбрать волю Божию. Миссия пророка – жечь сердца людей этим призывом, обращать их к этому выбору. Пророчество – от Бога, от Святого Духа, ибо нашему земному знанию не дано видеть таинственный и божественный смысл всего, что совершается в

мире. Можно сказать даже, что чем шире наше знание о мире, – а в наши дни оно достигло неслыханной широты, – тем все менее и менее глубоко оно. И вот возвещать это глубокое знание и посылает Дух Святой пророков.

К этому можно и нужно прибавить, что по христианской вере дар пророчества дан в каком-то смысле каждому христианину, ибо каждый из нас получил дар Святого Духа, каждый из нас призван к глубокой жизни и глубокому знанию, и каждый из нас, увы, призвание это в себе заглушает, изменяя ему. И о том, чтобы восстановить его в нас, молимся мы, обращаясь к Святому Духу: «Приди и вселись в нас». И еще, последнее: «Пророчества не угашайте» (см.: 1Фес.5:20), – говорит нам апостол Павел.

## Символ веры. Церковь единая, Святая<sup>236</sup>

«Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», – гласит следующая далее часть Символа веры. И тут, прежде всего, нужно остановиться на самом слове «Церковь». В греческом оригинале Символа мы находим слово *ἐκκλησία*, которое на русский язык можно перевести как «собрание званых», т.е. тех, кого призвали и кто с этим призывом согласились. Иначе говоря, это не просто собрание, которое может быть и случайным, не имеющим никакой особой задачи, но собрание, во-первых, с определенной целью и потому, во-вторых, состоящее из людей, специально призванных и способных цель эту осуществить. Итак, чтобы понять центральное место Церкви в христианской вере, мы должны спросить, кто же созывает это собрание и для какой цели.

На первый вопрос отвечает в Евангелии Сам Христос: Созижду, – говорит Он, – Церковь Мою (Мф.16:18). Итак, Церковь созидает Христос. Это собрание, это единство тех, кого Он призвал и продолжает призывать. И эту Церковь Христос созидает прежде, чем обращается к людям со Своей проповедью. Действительно, Христос начинает свое дело с того, что призывает к Себе двенадцать учеников, которым впоследствии говорит: Невы Меня избрали, а Я вас избрал (Ин. 15:16). И после Его отшествия именно эти двенадцать остаются как Церковь и, в свою очередь, призывают других присоединиться к ним. Церковь, таким образом, основана на Христе и есть Его Церковь, ответ на Его призыв, послушание Его воле.

Напомнить об этом важно потому, что сами христиане очень часто воспринимают Церковь как организацию, которая, в сущности, призвана служить им, удовлетворяя их духовные, да и не только духовные, нужды. Между тем слово «Церковь» в исконно христианском понимании означает единство тех, кто служит Христу, продолжает Его и только Его дело, так что их служение есть служение не себе, но Богу. В чем же состоит это служение, или, иначе, та цель, то дело, ради которых Христос

основывает, или, как Он говорит, созидает, свою Церковь? На этот вопрос отвечают те четыре определения, которые в Символе веры предшествуют слову «Церковь»: «Верую, – ежедневно повторяет каждый из нас, – во едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Поэтому остановимся кратко на каждом из этих определений.

Церковь едина. Подчеркнем сразу же, что слово это определяет Церковь не извне, а изнутри. Это не внешнее, а прежде всего внутреннее, духовное ее определение, так как внешне Церковь разделена на множество церквей, или, как говорит один из древних христианских памятников, «рассеяна по всему миру»<sup>237</sup>. И однако, где бы она ни была, сколь бы ни была рассеяна, Церковь повсюду призвана являть то единство, которое явил в мире Христос. Мир, человечество живут по закону разделения и противоположения, все на земле разделяет людей, даже то, что многих из них, казалось бы, должно объединять – национальное чувство, убеждения, идеологии, вкусы и т.п. Грех и трагедия мира в том, что вся его жизнь есть на глубине война всех против всех. И вот этому разделению Христос противопоставляет единство. Это единство есть единство с Богом, т.е. единство свыше, ибо чем ближе люди к Богу, тем ближе они между собой, и это единство есть единство людей друг с другом. Христос пришел ко всем и для всех, и потому во Христе, в Его учении, в Его жизни люди могут найти то единство веры, надежды и любви, которое ничто другое в мире дать не может. Это единство есть, наконец, единство конечной цели, конечного призвания мира и человека как соединения всего и всех в Боге. Это единство есть Царство Божие, и именно это новое единство во Христе призвана являть и осуществлять Церковь всюду и всегда.

Далее мы исповедуем святость Церкви, называя ее Святой. Это определение не означает, конечно, что Церковь состоит из святых и совершенных людей. Оно означает, что дело Церкви – освящать нашу жизнь, и это значит – очищать ее силой Божией, освобождать от порабощения греху, направлять ввысь, возносить к Богу, преображать Духом Святым.

За святостью исповедуем мы соборность Церкви, нашу веру в нее как Соборную. «Соборная» – это славянский перевод греческого слова *καθολική*, означающего, во-первых, всемирность, универсальность и, во-вторых, целостность и полноту. Церковь – Вселенская, универсальная, потому что Христос и Его учение обращены не к одному народу, не к одной эпохе или культуре, а ко всему человечеству, ко всем эпохам и культурам. И опять-таки, мы очень часто это забываем, сужая церковь и христианство до своего народа, делая из них нечто узко-провинциальное, частное. Но Христос говорит: Идите повсему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк.16:15), и на это веками отвечает Церковь: Вся земля да поклонится Тебе! (Пс.65:4).

И это так потому, что учение Христа – целостное, а значит – всеобъемлющее, охватывающее всю жизнь человека, отвечающее на все его вопросы, обращенное ко всей его жизни.

И, наконец, мы исповедуем Церковь Апостольской. Апостолы – это те двенадцать первых учеников, которых, как я только что сказал, Христос Сам избрал и сделал основанием Церкви. Слово «апостол» означает по-гречески «посланец». Отсюда следует, во-первых, что Церковь навеки основана на свидетельстве, на учении, на проповеди тех апостолов, которых избрал и научил сам Христос, и, во-вторых, что Церковь всегда призвана к апостольству, всегда послана в мир, к людям, ко всей твари, всегда остается миссией, т.е. служением делу Христову в мире.

Таков смысл слов Символа веры о Церкви – смысл, напомнить о котором так бесконечно важно в наши дни.

## Символ веры. Едино Крещение<sup>238</sup>

После исповедания веры «во едину Святую, Соборную и Апостольскую церковь» в Символе веры далее следует: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Что значат эти слова?

Напомню сначала, что Евангелие от Матфея кончается заповедью Христа ученикам: Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф.28:18–20). Именно в свете этих слов, как и в свете самого слова «крещение», мы и должны постараться понять крещальное исповедание Символа веры.

Начнем с последнего. Если Евангелие завершается заповедью крестить все народы, то начинается оно с рассказа о крещении, которым крестил Иоанн Предтеча и которое принял от него в реке Иордане сам Христос. Для современников Евангелия крещение – по-гречески βαπτισμα, т.е. символическое погружение в воду, – было понятным обрядом. Оно предполагало, что человек осознал свою загрязненность грехом, раскаялся и жаждет очищения, прощения, возрождения. Вода – источник жизни, источник очищения – была здесь самым подходящим и, так сказать, самоочевидным символом, а погружение в воду – самым распространенным обрядом. И вот, принимая крещение от Иоанна, Христос сообщил этому обряду новый смысл. Он связал его с Собою, сделал знаком Своей любви и Себя Самого как прощения и соединения с Богом. Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира (Ин.1:29), – говорит Иоанн Креститель, видя приближающегося к нему Иисуса. И когда воскресший Христос перед Своим вознесением на небо заповедал апостолам крестить все народы, это означало, что Он оставляет им, но также и их последователям, общине всех, кто уверует в Него, знак, дар, силу прощения грехов и обновления жизни – того, что Сам принес людям как Сын Божий и Спаситель.



Учение Христа о любви к Богу и к ближнему, о праведности и чистоте, можно воспринимать умом. Такое восприятие есть доверие Ему, согласие с Ним как Учителем. Но всякому, кто хоть раз в жизни прочел Евангелие, невозможно не увидеть, что приятие учения Христа неотделимо в христианстве, в Евангелии от веры в Него. Ибо учение Его – не философия, не мораль, не отвлеченная истина, приятие которых не зависит от нашего отношения к тому, кто нам их предлагает. Учение Христа – и мы уже не раз говорили об этом – есть, прежде всего, Благая весть, возвещение, что Бог явился в мир спасти людей от греха и смерти, даровать им новую, святую жизнь. Поэтому уверовавший во Христа жаждет соединения с Ним, жаждет дара этого спасения, этой новой жизни. И крещение в христианстве – с самого начала знак этого дара, или, как называет этот знак Церковь, – таинство. В таинстве крещения через видимое, т.е. через погружение в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа, невидимо осуществляется соединение человека с Христом, а в Нем – с Богом Отцом и даром Духа Святого, даром спасения, радости, чистоты, совершенства.

Апостол Павел говорит, что в крещении мы соединяемся с Христом подобием смерти и воскресения. В самом деле, погружение в воду – это знак смерти, смерти человека, полностью поработанного материи, греху, страстям. Возведение из воды – это знак воскресения, начала новой жизни в единстве со Христом. Христос, по вере Церкви, воскрес из мертвых, и смерть, по слову апостола Павла, «Им уже не обладает» (ср.: Рим.6:9). И вот, Свою воскресшую и бессмертную жизнь, Свою любовь, силу Своей победы Он дарует в крещении нам. И отсюда та удивительная радость, которая окружает крещение в ранней Церкви, отсюда эта вера в него как в духовное, но реальное соединение с Христом. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим.6:4), – пишет апостол Павел.

Для христиан крещение с самого начала – основа Церкви, ибо Церковь, т.е. собрание верующих в Христа, – это не просто организация для распространения учения Христа или для

взаимной помощи и поддержки. Это единство во Христе всех тех, кто от Христа принял дар новой жизни и прощения грехов; это единство веры, т.е. приятия Христа как Бога и Спасителя; это единство любви к Нему, и в Нем – друг к другу. Рассеянная по всему миру, среди всех народов, Церковь составляет новый народ Божий, соединенный не кровью и плотью, не земными интересами, как государство или нация, не языком и даже не общностью исторической судьбы, а верой в Христа, любовью к Нему и опытом Его присутствия.

На земле человек рождается представителем определенного народа, нации. Но христианин рождается и вступает в новый народ Божий крещением. «Вода крещения, – пишет один христианский святой, – для нас гроб и мать»<sup>239</sup>. Гроб – потому что в воде этой умирает человек, ограниченный земным и материальным, «плотью и кровью»; мать – потому что в воде этой рождается новый человек, прощенный, очищенный, возрожденный, живущий уже здесь и сейчас новой, вечной жизнью. И эта крещальная смерть и это крещальное воскресение совершаются каждый день вот уже две тысячи лет.

Все время приходят люди к Христу, слышат Его голос, отдают Ему свое сердце, свою любовь, свою жизнь, и эта самоотдача Христу есть крещение. А отдав себя Христу, получают взамен Его жизнь, Его самоотдачу нам. И эта самоотдача Христа нам есть также крещение.

Таков смысл слов: «Исповедую едино крещение во оставление грехов».

## Символ веры. Воскресение мертвых<sup>240</sup>

В этих беседах, посвященных объяснению Символа веры, мы пришли теперь к заключительной его части.

До сих пор на протяжении всего Символа ключевым, краеугольным было начальное слово «верую». Именно оно открывало первое утверждение: «Верую во Единого Бога Отца...» и подразумевалось во всех последующих утверждениях: об Иисусе Христе, Единородном Сыне Божиим, о Его воплощении, распятии, погребении и воскресении, о Духе Святом и о Церкви. Но вот теперь, в утверждении заключительном – «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь», которое как бы подводит итог нашей вере, всю ее объединяет и объемлет, мы слышим другое слово. Слово это – «чаю», т.е. в переводе с церковнославянского на русский «жду». Именно на этом слове нам следует остановиться и – как бы это сказать? – духовно удивиться ему. Что означает оно именно в Символе веры, в перечислении всего, на что эта вера направлена, к чему она обращена? Неуказывает ли оно на особое отношение христиан к тому, во что они верят, и, следовательно, на некую основную, определяющую особенность самой христианской веры, некое последнее о ней откровение? Ведь не только слово «вера», но и утверждение «я верю» можно понимать и переживать по-разному. Например, утверждение: «Я верю в незыблемость законов природы» еще не раскрывает моего личного, внутреннего отношения ни к этой незыблемости, ни к самим этим законам, не выражает ни радости, ни печали о них. Но когда, перечислив все то, во что верю, я добавляю жду, это означает, что моя вера претворяется во мне в некое активное состояние, пронизывающее всего меня и определяющее так или иначе и саму мою жизнь. Я верю и потому жду – я жду того, во что верю. Тут ожидание раскрывается как направленность, как действие веры, а вера – как источник ожидания, желания, устремленности души и сердца. Славянское «чаю» сильнее русского «жду». «Чаю» подразумевает напряженное желание того, чего я жду, радость о

нем как о приближающемся счастье. Но чаять, или ждать в этом смысле, можно только то, что я хотя бы отчасти уже знаю.

И вот тут-то и открывается нам радостная и бесконечно глубокая особенность христианской веры. Вера эта – не утверждение отвлеченных истин, но встреча с Тем, Кого она утверждает, и потому – знание, видение души, пронзенность сердца. Я чаю, я жду воскресения мертвых, потому что сама вера во мне, хотя бы в лучшие, самые чистые и высокие минуты моей жизни, пронизана пасхальным светом, тайным, но таким радостным знанием того, что Христос воскрес из мертвых, дабы нам открыть путь к нашему воскресению, что Он даровал нам Свою бессмертную, из гроба воссиявшую, свободную от смерти жизнь и тем самым нашу смерть сделал входом, приближением, началом победы. Я жду, я чаю воскресения мертвых, потому что оно даровано мне, потому что вся христианская вера есть не что иное, как внутреннее, умом не доказуемое и все же самоочевидное знание, что человек призван к вечности, что он не случайный пузырек на поверхности океана мировой бессмыслицы. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна (1Кор.15:17), – сказал апостол Павел. «Но Он воскрес!» – говорит мне, поет во мне моя вера. О чем радость пасхальной ночи? Как могли возникнуть, откуда, из какой выси, из какой глубины зазвучали в мире эти невероятные слова: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», и еще: «Смерти празднуем умерщвление... иного жития вечное начало»<sup>241</sup>?

Вот почему Символ веры заканчивается этим радостным чаю – жду. Жизнь по-прежнему идет в своем неумолимо скором и как будто все ускоряющемся темпе, каждый день приносит свои печали и свои радости. Мы падаем, отдаем себя злу, тьме, страстям и страстишкам, поднимаемся, снова падаем... Но если когда-то вошла в душу вера, если состоялась, произошла эта, порой незаметная извне, встреча с Христом и в Нем – с благим и любящим Отцом, если коснулось души дыхание, радостное и чистое, Духа Святого, если раскрылась нам не внешняя, а внутренняя жизнь Церкви, это постоянное восхождение ее к трапезе Царства, если полюбили мы лучезарный в своей

небесной чистоте образ Пречистой Девы Матери, увидели сердцем ласковую улыбку преподобного Серафима, слышали внутри себя голос, вечно зовущий домой, на небо, к Богу, – то тогда наше верую претворяется в чаю, жду, жажду... И внешне, может быть, ничего с моей жизнью и не произойдет, но на глубине ее воцаряется это чаю. О, я знаю, суета жизни будет все время заглушать его, я буду и сам глохнуть в житейских буднях, но до конца уже не забуду, не предам этот свет, эту радость, эту новую жизнь, затеплившуюся во мне.

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Каким-то краем души я уже вкусил этой жизни и знаю, что она уже сейчас, уже здесь началась и доступна. И потому всякий верующий во Христа не только ищет у Него помощи в этом веке, в этой жизни – он ждет Его. Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр.22:20). Жизнь становится радостным ожиданием, и на все это – на веру и чаяние, на радость и свет мы от всего сердца и всем существом своим говорим «Аминь» – да будет так.

Завершен Символ веры, и уже сама вера живет и побеждает, знает и ждет.

## Религия откровения. Равноважные стороны

Когда-то, в те времена, которые часто, с большим или меньшим основанием называют «старыми и добрыми», во всех школах учили закону Божию, объясняя сущность христианской веры, обрядов и богослужения. Может быть, этот Закон Божий преподавали порой недостаточно хорошо, может быть, преподавание это и отдавало иногда казенщиной, рутиной, а все же оставался с самого детства в душе некий общий образ христианской веры и христианской жизни, некое, пусть поверхностное, знание христианства.

Времена эти, увы, давно ушли в прошлое: детей не только не учат религии, но, напротив, с детства настраивают против нее. Религия развенчивается как обман, как пережиток невежества, как явление предельно чуждое нашему времени с его идеалом нового общества и т.п. Да, все еще остаются церкви, идут в них службы... Но верующие не имеют права учить своих детей вере, издавать книги о ней, защищать ее в спорах с неверующими. Стало бесконечно трудно узнать самую простую правду о христианстве: во что верят христиане, в чем смысл их обрядов, к чему призывают они верующих. Лишь сравнительно немногим удастся пробиться сквозь все преграды, нагроможденные вокруг Церкви и ее жизни. Но даже и тогда очень нелегко до конца разглядеть, понять и принять многое в христианстве... Большинство же, озадаченное непонятностью всего относящегося к религии, принимает на веру то, что говорит о христианстве официальная пропаганда.

Между тем христианство – не «таинственная религия» с «древними и красивыми церемониями». Это учение, про которое Сам Христос сказал: Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях (Мф.10:27). Что же до богослужения Церкви, действительно, уходящего корнями в глубокую древность, то каждое слово, каждый обряд его имеют смысл, относящийся к нашей теперешней жизни так, как относился он к жизни многовековой давности.

И еще сказано в Священном Писании: «Каждому, спрашивающему вас о вашей вере, будьте готовы дать ответ» (ср.: [1Пет.3:15](#)). А вопросы часто бывают хитрые, злонамеренные. И вот многие христиане, глубоко чувствующие правоту своей веры, не знают порой, что на них ответить, а это дает повод врагам религии лишний раз назвать ее продуктом обмана, невежества и самовнушения. Поэтому и метод антирелигиозной пропаганды очень простой: не позволяя людям проникнуть в сущность христианства, она в то же время распространяет грубейшую ложь о нем. Классический пример – по-прежнему упорное отрицание историчности Иисуса Христа. «Никакого Христа никогда не было, его выдумали», – внушают человеку со школьной скамьи. Но не говорят при этом, что нет в наши дни ни одного мало-мальски серьезного историка – неважно, верующего или неверующего, – который защищал бы эту жалкую антинаучную теорию. Можно принимать или не принимать христианское учение, верить или не верить в Христа как Бога. Но всюду, где существует элементарная религиозная свобода, единодушно признается, что Христос – лицо историческое.

Но не стоит задерживаться на лжи, подтасовках и антинаучности атеистической пропаганды. Лучший способ борьбы с ней – знание своей веры. И вот, в этих беседах я хотел бы как можно проще, однако и без неоправданного упрощения, объяснить, в чем состоит христианская вера, во что верят и всегда верили христиане, насколько внешняя сторона христианства, т.е. его богослужение, обряды, обычаи и т.п., соответствует внутреннему опыту, из которого они выросли и выражением которого являются. Это тем более важно, что многие верующие в наши дни, не говоря о неверующих, не понимают связи внешнего и внутреннего, содержания и формы в христианстве. В результате одни, выбирая «внутреннее», отметают внешнее как непонятное и ненужное («Зачем эти бесконечные службы, посты, праздники и прочее? Я встречаюсь с Богом в душе, а все внешнее выдуманно людьми»). Других, напротив, больше привлекает все «внешнее», уводящее от серой и скучной действительности: храм, иконы, богослужение...

Но как первые не понимают, что христианская вера с самого начала предполагала внешние формы выражения, так и вторым не ясно, что храм и богослужение с присущей им красотой задуманы не как средства убежать от жизни, а как оружие, данное нам для служения Христу на земле. Вот почему так важно понять, что внутренняя сторона христианства неизбежно воплощает себя во внешней, а внешняя сторона его ценна и осмысленна только тем, что являет собою внутреннюю, приобщая ей нас и всю нашу жизнь. Поэтому и в беседах этих мы будем говорить одновременно о внешнем и внутреннем, т.е. о содержании христианской веры и о том, в чем она воплощается.



## Религия откровения. Высший закон миру<sup>242</sup>

Всякая попытка объяснить и понять сущность христианства с самого начала наталкивается на одну трудность. Трудность эта типична для нашего времени и заключена она в требовании доказательств. Современному человеку внушили (и он принял это на веру), что основной вопрос религии – есть Бог или нет – решается так же, как и любой вопрос о внешнем, материальном мире, т.е. путем доказательств. А за доказательство принимается в данном случае только научное доказательство, т.е. построенное на том, что доступно проверке, объективному, не зависящему от наших субъективных переживаний опыту. «Раз Бог невидим, неосязаем, неизмерим и присутствие Его, таким образом, установить невозможно, то Его и нет». Вот в самой примитивной форме суть основного антирелигиозного доказательства. И хотя в опровержение этого аргумента можно было бы сказать многое – что так же недоказуемо, например, присутствие ума в человеке, – мы остановимся в этой беседе только на одном вопросе, адресовав его не атеистам, а верующим.

Вот этот вопрос: на каком основании мы утверждаем, что Бог есть, и горестно удивляемся отвержению Его неверующими, если и в самой Евангелии сказано, что Бога не видел никто никогда (Ин.1:18).

Да, мы говорим, что доказательства, приводимые неверующими, к Богу неприменимы и имеют силу лишь в отношении видимого, осязаемого, эмпирического мира; мы говорим, что Бога можно познать только верой. Но откуда, как рождается в нас эта вера? Верующий, конечно, может ответить: «Мне не нужно доказательств, для меня веры достаточно». Это верно, но верно лишь для верующего. А если его спрашивают, и искренне: «Как же ты поверил? Что привело тебя к вере?», то неужели он должен отвергнуть этот вопрос и замкнуться в своем горделивом эгоизме? Итак, вопрос законен. Мы отвергаем «доказательства», которых от нас требуют безбожники, мы смеемся над космонавтом, который говорит, что

он побывал на небе и не нашел там Бога. Но мы не можем отмахнуться, если нас спрашивают, каковы же в таком случае наши собственные доказательства. И тут-то приходим мы к тому центральному для христианства понятию, с которого только и можно начать его объяснение – к понятию откровения.

Вера есть ответ человека Богу, и он предполагает, что инициатива того отношения к Богу, которое мы называем верой, принадлежит не человеку, а Самому Богу. Бог открывается человеку, человек принимает это откровение и, отвечая на него, отвечает Богу. Вот почему и нет у верующих доказательств, убедительных для неверующих, – доказательств, так сказать, объективных. А вместе с тем для верующего обоснованность его веры самоочевидна, как самоочевидно и существование Бога, на Которого она направлена. Но говоря об откровении, мы должны понимать, что неверующему ответ этот покажется неубедительным. «Отлично, – скажет он, – ты утверждаешь, что тебе открылся Бог и потому ты веришь. Но мне Бог не открылся, и, следовательно, мое неверие оправданно, поэтому нам не о чем больше говорить». Вот почему простой ссылки на откровение недостаточно. И нужно спросить: а возможно ли вообще объяснить кому-нибудь, в том числе неверующему, как открывается Бог, в чем состоит Его откровение? Вот вся Библия наполнена выражениями: «И сказал Бог Аврааму», «И сказал Бог Моисею» и подобными им. Но что они означают? Как говорил Бог? Как раскрывал Он Свою волю людям? И многим все это кажется какими-то сказками именно потому, что самое главное в вере, этот самоочевидный для нее факт Божественного откровения, Божественной инициативы, факт, выраженный детски простой фразой «И сказал Бог», давно уже никем не разъясняется.

Но если, как всегда утверждало христианство, вера начинается с откровения Бога, с зова, который слышит и на который отвечает человек; если, прежде чем мы обращаемся к Богу и находим Его, Он обращается к нам, находит нас, открывается нам, то должны же мы хоть что-нибудь сказать об этом откровении. В противном случае прав атеист, который говорит: «А вот мне никакой Бог не открывался, и потому

неверие мое законно». Но можем ли мы, верующие, допустить, что миллионы людей забыты Богом, Который почему-то открывает Себя лишь немногим, а другим не открывается; можем ли мы, иными словами, допустить какую-то несправедливость в Нем? Если Бог есть Бог любви, то Он любит и призывает к Себе всех и от всех ждет ответной любви, ответной веры! Но тогда и откровение, о котором мы говорим, что оно главное условие веры и что вера возможна только в ответ на него, необходимо признать не загадочным чудом, не нарушением естественных законов, но самым высшим законом мира. Но этот закон скрыт от тех, чей взор обращен в другую сторону, от тех, кто, по слову Евангелия, своими глазами смотрят, и не видят, своим ушами слышат, и не понимают (Мк.4:12), и потому не обращаются к Богу.

Каждый день начинает Церковь с торжественного и радостного утверждения, что Бог явился нам<sup>243</sup>. Итак, в чем же это Его явление, Его откровение? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в следующей беседе.

Бог открывается людям, и ответ на это откровение – вера. Так говорил я в прошлой беседе и в конце ее утверждал, что посильное объяснение христианской веры нужно начинать с ответа на вопрос о том, как открывается Бог и что открывает Он людям.

Для начала заметим, что слово «откровение» лишь сравнительно недавно стало восприниматься как синоним сверхъестественного, чудесного, противоположного «положительному» знанию, несовместимого с наукой. И произошло это вовсе не от расширения человеческого разума и сознания, а от поразительного их сужения и обеднения. Действительно, то бесконечно убогое и скучное мировоззрение, назвавшееся «позитивизмом» и постепенно лишившее человека (к счастью, не каждого!) несравненно более глубокого и богатого представления о мире, зародилось всего два с половиной столетия назад. Надо понять, что мы живем под тиранией упрощенных мировоззрений и идеологий, раз навсегда определивших, что ко всему на свете можно и нужно подходить лишь с таблицей умножения и что таблица эта только и способна ответить на все без исключения вопросы. Добавлю, что истинные ученые в этом обеднении человеческого сознания неповинны. Вина лежит на идеологах – странной породе людей, которые не просто выдают свои идеи за научные, но и навязывают их открытым насилием. Если настоящие ученые избегают точного определения материи, то идеологи преспокойно утверждают, что вся истина – в материализме. Итак, мы живем в мире, в котором правят бал самозванцы, прикрывающиеся наукой, к которой не имеют отношения, и действующие лишь запугиванием. «Никаких откровений быть не может – это противоречит науке», – самоуверенно провозглашают они, и миллионы людей послушно это за ними повторяют.

Но если на минуту освободиться от такого плоского и, главное, предельно упрощенного миропонимания, то наиболее

приемлемым, убедительным и в конечном счете самоочевидным оказывается совсем другой подход. И тогда слово «откровение» перестает казаться порождением необразованности и темноты, каким представляет его позитивизм, и сами собой возникают вопросы. А что если в каком-то совсем другом, глубоком, но одновременно и по-детски простом смысле все в мире есть откровение, все – чудо, все – тайна, к которой обожествленная таблица умножения не имеет отношения? А что если самый глубокий, но и наиболее очевидный опыт каждого человека открывает нам в мире не только то, что распознает в нем таблица умножения, но и нечто иное, чего никакая таблица распознать не может, но что открывается нам как самое важное и драгоценное знание о мире и жизни? Наука изучает природу, но разве не изучают ее, пусть совершенно иначе, поэзия, музыка и изобразительное искусство? Разве не открывают нам они иную и, быть может, много нужнейшую для нас правду о природе? «О чем ты воешь, ветер ночной?»<sup>245</sup> Что это? Бессмыслица, абсурд, никакого отношения к жизни не имеющие? Или же лгут идеологи, отрицающие самоочевидный факт, что все в мире не только таит, но и являет некий глубинный смысл, что все в нем свидетельствует о каком-то таинственном присутствии, сулит иное знание, иное постижение?

Обо все этом можно было бы говорить без конца, но, надеюсь, и сказанное позволило нам хоть немного понять, что же говорит христианство об откровении. Итак, христианство видит в откровении не просто странное и необъяснимое явление, но прежде всего то, что засвидетельствовано всем опытом человечества. Скажем еще проще: сам мир, сама жизнь воспринимаются нашей верой как откровение, как присутствие невидимого в видимом. Вспомним, как сказал поэт: «Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами – только отблеск, только тени от незримого очами?» И по-настоящему, в полной мере живет человек лишь откровениями: откровением красоты, откровением добра, откровением любви – всем тем, о чем таблице умножения сказать нечего и что, однако, всегда и всюду составляло подлинный смысл, подлинное содержание жизни.

Ибо все это есть самое первое и самое общее откровение, и мы знаем его: оно приходит к нам от природы, от другого человека, от любви, радости и страдания, оно изливается на нас из нашего детства, когда все воспринималось как чудо, как откровение. И в лучшие минуты нашей жизни мы знаем, что прав был Достоевский, когда назвал его «касанием мирам иным».

И уж, конечно, на этой степени, в безотчетном опыте этого откровения нужно было бы человеку признать, что не может быть у него иного источника, кроме Бога. Но допустим, что почему-то не делает этого вывода человек или же противится ему, не видит, не слышит Бога, открывающегося ему в мире. Допустим – и пойдем дальше, запомнив, однако, что ощутили в мире тайну, что развенчали плоскую идеологию таблицы умножения, что освободили понятия откровения и чуда от упрощенного толкования слепыми рабами мертворожденной идеологии. О дальнейшем же – о том, как открывается нам Сам Бог, – в следующей беседе.

## Религия откровения. Триединство откровения, веры, свободы<sup>246</sup>

В прошлой беседе я говорил, что если не идея, то опыт откровения являются несомненным, первичным опытом человека. С первобытных времен человек осознавал себя живущим не только в физическом, но и в духовном взаимодействии с окружающим миром – живущим, говоря проще, не только разумом, но и внутренним чувством. Внутреннее чувство же – это и есть орган восприятия в мире, в природе, в других людях всего того, что голый разум воспринять не может. И нет ничего унижительного для религии в утверждении, что, прежде чем задуматься о Боге, человек чувствовал Его присутствие. Как подлинно глубокое общение с другими людьми позволяет нам почувствовать их душу, т.е. ту глубину их, что раскрывается и во внешнем облике, и в словах, и в поступках, но к ним не сводится, так и глубокому взгляду на мир открывается присутствие, действие, откровение в нем того, что нельзя свести к одному внешнему и что древний человек назвал в какой-то момент своего бытия Божеством, Богом. Это понятие не могло бы возникнуть вне реальности, вне опыта Того, к Кому оно относится, и с этим должен согласиться самый бескомпромиссный позитивист.

Поскольку же понятие о Боге – общечеловеческое, поскольку мы находим его всегда и всюду, мы вправе заключить, что и явление во всем внешнем, видимом внутреннего и невидимого, названное в этих беседах откровением, не есть случайность, не есть нарушение естественных законов, но, как я уже говорил, некий первичный закон для человека. И закон этот, сколько бы нам ни твердили обратное, не отменяется тем фактом, что в наши дни множество людей считает себя неверующими. Ибо христианская вера и христианское откровение отрицается ими ради других ценностей, а значит – во имя другой веры, другого откровения, только и всего. Неверующий утверждает, что религия мешает установлению в мире счастья и свободы. Но откуда почерпнул

он сами эти понятия – «счастье», «свобода»? Ведь не из физики же или математики! В конечном итоге люди только и спорят, что об откровениях, и потому так непреложно верны слова Христа: Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф.6:21).

Но, конечно, этим, «природным» откровением и врожденным человеку религиозным чувством христианский опыт откровения и христианское учение о нем не исчерпываются. Мы можем пойти дальше или, вернее, можем вернуться к вопросу, с которого начали наши размышления о вере и об откровении как ее основе. Напомним, что в Библии постоянно рассказывается об особых откровениях человеку. «И сказал Бог Аврааму: встань и пойд...» (ср.: Быт.12:1, 22:2) или: «Было ко мне слово Господне...» (ср.: Иер.1:4; Иез.3:16). О каких явлениях здесь идет речь и как связать их с тем «общим», так сказать, откровением, о котором мы говорили до сих пор? Ведь Евангелие утверждает, что Бога не видел никто никогда (Ин.1:18), и Церковь каждый день в молитве своей называет Его «невидимым, непостижимым, неописанным».<sup>247</sup> Следовательно, и в приведенных местах Библии речь не может идти о каких-то физических явлениях Бога. Но вот, с другой стороны, так очевидно, так властно, так неотвратно это откровение, что человек принимает и повинуетя ему. «И поверил Авраам Богу» (ср.: Рим.4:3), и встал, и пошел в неведомую ему страну. Ясно, что здесь опять мы имеем дело с чувством, но только бесконечно усиленным, неизмеримо более напряженным, чем то, каким обычно воспринимаем глубинный пласт бытия. И разве не знал, не испытал каждый из нас в собственной жизни такие исключительные по своей судьбоносности и интенсивности переживания моменты, когда какой-то внутренний голос открывает нечто дотоле неведомое, зовет к немыслимому минуту назад решению? Разве не испытали мы мгновений величайшего напряжения, когда вся жизнь зависела от того, сделаем ли мы выбор, неотвратно представший нашей совести? И сколько бы ни твердили нам, что все в жизни без остатка подчинено железным законам причинности и необходимости, мы всем существом, всем опытом своим знаем, что на деле все, решительно все зависит от нашего выбора, от



голоса совести, от таинственного прорыва в сокровенную глубину нашего «я».

Мы никогда не узнаем точно, что произошло в день, когда принял Авраам свое судьбоносное решение: поверил Богу, оставил все, ушел в чужую страну, начав этим совсем новый ряд событий, приведших в конце концов к Рождеству Христову. Мы никогда не узнаем точно, что произошло, когда, повинувшись все тому же таинственному наитию, поднялся Моисей на гору один и сошел с нее, неся людям заповеди, столь простые и столь вечные, что на них до сих пор держится мир. Но мы твердо знаем, что происшедшие тогда события коренным образом изменили духовную судьбу человека. Мы знаем, что в основе их лежали откровение и вера, призыв и ответ; знаем, что и вера, и ответ эти не были вынужденными, как не были принуждением Божественное откровение и Божественный призыв, свободно воспринятые человеком на последней глубине его духа. Авраам поверил, но мог и не поверить. Моисей послушался, но мог и не послушаться. И вот это триединство откровения, веры и свободы вплотную подводит нас к тому, что составляет самую сердцевину христианства, лучше же сказать – к Самому Христу.

То религиозное откровение или, вернее сказать, тот религиозный опыт откровения, о котором говорилось в прошлых беседах, имеет своим средоточием, своей лучезарной сердцевиной Самого Христа.

Действительно, смысл и одновременно исключительная особенность христианской веры в том, что в Человеке Иисусе она видит откровение Бога, явление Его среди нас во времени, во всей конкретности видимого и осязаемого мира. Христианство, Церковь все время настаивают на абсолютной конкретности, всецелой историчности и полной человечности Христа. О том, что... мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши (1Ин.1:1), – так начинается свое послание любимый ученик Христа апостол Иоанн Богослов, и так всегда неизменно определяет источник Своего учения сама Церковь.

Неслучайно в том кратком изложении, или Символе веры, которое ежедневно произносится и за церковным богослужением, и в домашней молитве христиан, неизменно упоминается имя Понтия Пилата – правителя Палестины в начале нашей эры. Включив это имя в исповедание христианской веры, Церковь связала все события земной жизни Христа с конкретной исторической эпохой. Этим она подтвердила, что Богочеловек Иисус Христос, в Которого мы веруем, – не мифическое существо, подобное языческим богам, жившим неизвестно где и когда. Для христианской веры бесконечно важна связь Божественного откровения с земной историей, земной жизнью. И если откровение это совершилось «при Понтийстем Пилате», то значит – в определенный момент истории, в определенном месте, при определенных обстоятельствах.

Правда, неоднократно делались (да и сейчас еще делаются) попытки отрицать историчность событий, описанных в Евангелии, доказать, что Христа выдумали так же, как и всех прочих «богов». Но теперь уже совершенно ясно, что попытки

эти предпринимались не ради науки, а ради идеологии. Настоящая наука, которая объединяет в своем методе верующих и неверующих, давно уже признала Христа историческим лицом, хотя это и не означает, понятно, что весь ученый мир единодушно разделяет христианское истолкование записанных в Евангелии событий. Отрицают эту историчность только те, для кого отрицание это вытекает из потребностей их идеологии, для кого именно в историчности христианства главная его опасность.

Для нас, однако, важны не эти устарелые и давно уже развенчанные попытки, но то, почему христианство с самого начала все учение, всю веру свою связало с историчностью определенных событий и лиц. История знает только Человека Иисуса, но только вера опознает в Нем Бога – так вкратце можно выразить основную сущность христианства. В этом определении раскрывается нечто бесконечно важное для христианского понимания Бога и человека. Враги веры всегда утверждали, что Бога выдумали из страха и что всякая религия – не что иное, как плод насилия и принуждения. Но ведь вот не видно ни насилия, ни принуждения в том образе Человека Иисуса, что дошел до нас в Евангелиях. Одни люди слушали Его, другие проходили мимо, одни следовали за Ним, другие нет, одни любили Его, другие ненавидели. Но все уверовавшие в Христа восприняли Его Самого и учение Его как Божественное откровение.

Неозначает ли это, что христианский опыт Бога прямо противоположен тому, как изображает его атеистическая пропаганда, все в религии объясняющая страхом, насилием над умом и совестью? Неозначает ли это, что в центре такого опыта – образ Бога, не насилующего человеческую свободу, но ищущего только свободной веры и, значит, веры как свободы? «Если любите Меня, заповеди Мои соблюдете» (ср.: Ин. 14:15) – говорит Христос. Но именно полюбить и невозможно насильно, именно в любви нет и не может быть никакого принуждения. Да, Бог открывается людям – открывается в природе, в истории, открывается, наконец, в жизни и учении Богочеловека Христа. Но открывается так, что человек остается свободным либо

принять это откровение, пережить его как свое спасение, как высший смысл и высшую радость своей жизни, либо отвергнуть то, что в нем открывается. И это значит, что, говоря о Боге, Который ищет свободного ответа на Свое откровение и Свою любовь, христианство утверждает свободу человека, точнее – утверждает человека как свободное существо.

Итак, по христианскому учению, связывает Бога и человека не какое-то внешнее принуждение, а только любовь – самое свободное из всех свойств человеческих и сама сущность Бога, Который в Евангелии назван Любовью. Любовью творит Бог мир, и только любовью мы опознаем Его как Творца. Любовью открывается Он в мире, и только любовью узнаем мы все в мире как откровение Божественной любви. Любовью Бог спасает нас, и только любовью узнаем мы в Христе пришествие и соединение с нами Бога Любви.

В этом смысл утверждения, что христианство есть религия любви.

## Богочеловечество. Сердце христианства

Самая удивительная черта казенной антирелигиозной пропаганды – крайне незначительное место, уделяемое в ней Самому Христу. Сколько книг, сколько брошюр написано против христианства, что в нем только не обличали, не высмеивали, не развенчивали! Но вот о главном, о том, что составляет, вне всякого сомнения, живую сердцевину христианской веры, – об этом не говорится в ней почти ничего.

Время от времени появляется устарелый, никуда не годный аргумент, что Христа вообще не было, что Его выдумали, а выдумав – поверили, стали поклоняться и обожествлять. Аргумент этот устарелый потому, что в историческом существовании Христа ни один серьезный ученый теперь не сомневается, и потому еще, что выводить историю христианства, такую длинную, сложную и богатую, из простого обмана крайне нелепо. Поэтому гораздо легче разоблачать недостатки духовенства и всякие исторические дефекты религии, чем говорить о том, что в действительности движет верой. Бороться с Христом трудно, и лучше сделать вид, что в центре христианской веры не Он, а нечто другое, какая-то «религия вообще». Но в центре христианской веры не «религия вообще», а Сам Христос. И потому только по отношению к Христу определяет себя христианин, и спорить нужно о Христе, а не о чем-то другом. И если все, что говорится казенной пропагандой о вреде религии, можно отнести и к Христу, если можно о Нем сказать все то, чем наполнены «научно-атеистические» брошюры, тогда авторы их правы. Если же о Христе молчат потому только, что в душе знают: сказать про Него им нечего, – тогда вся эта антирелигиозная пропаганда оказывается злостной ложью.

Откуда мы знаем о Христе? От тех, кто были живыми свидетелями Его жизни, от тех, кого Он назвал апостолами, т.е. посланцами. Христианская община, Церковь, жила свидетельством этих посланцев. Оно хранилось затем бесчисленными поколениями христиан и было закреплено во

множестве памятников церковной жизни. Главнейшим же памятником апостольского свидетельства является Новый Завет – книга, в которой собраны самые первые и самые важные записи прямых учеников Христа. О книге этой много и давно спорят. Ее изучали со всех возможных точек зрения, бились над каждой фразой, над каждым словом. Монографии и статьи о Новом Завете исчисляются десятками тысяч. Здесь потрудились множество филологов, историков и археологов, как верующих, так и неверующих. И хотя по многим вопросам мнения этих специалистов расходятся, то, в чем все они согласны, можно, я думаю, выразить так: Новый Завет описывает Иисуса Христа таким, каким запомнился Он непосредственным свидетелям Его жизни, и таким, в Какого они поверили. Веру их можно не разделять, но тогда мы останавливаемся перед загадкой Человека, Который жил так, как если бы был Богом. Ибо именно это – то, что Христос есть истинный Бог, – как раз и утверждает Новый Завет. И можно опять-таки не принимать такое утверждение, но именно это, а не другое утверждают новозаветные авторы. И для того чтобы это утверждение оценить, нужно его выслушать. А этого-то и не хочет казенная антирелигиозная пропаганда, которая предпочитает либо молчать о Христе, либо же отделяться общими, ничего не значащими фразами.

Евангелие начинается с рождения и детских лет Иисуса Христа. Мы узнаем, что Он родился в убогой пещере близ Вифлеема – крошечного городка маленькой Иудеи (тогда провинции Римской империи), в бедной семье, хотя и восходящей к царскому роду. Но эта бедность, нарочито подчеркнутая всей обстановкой рождения, когда пришедшим издалека родителям Христа не нашлось места в городе, с ходу противопоставляется в Евангелии таинственной космической славе, что сопутствовала Его рождению: Дева Мать, звезда, ангелы, поющие хвалу... Это противопоставление и это сочетание слабости и силы, убожества и славы как бы задает тон всему Евангелию. Бог приходит к людям, но приходит тайно, в немощи и унижении, не для устрашения и подчинения, а для того, чтобы быть свободно узанным,

свободно принятым. Бог – это свобода человека, вот первое утверждение, первое откровение Нового Завета.

Далее нам кратко рассказано о детстве Христа. Он провел его в доме деревенского плотника и Сам стал плотником. Он жил со Своей Матерью, среди родных, трудился Своими руками. Он преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков (Лк.2:52) – иными словами, учился, жил праведно и в согласии со всеми. Около тридцати лет Он оставил Свой дом, родных и вышел на проповедь. Здесь произошло второе после Рождества событие, которому Евангелие придает исключительное значение – крещение Иисуса Иоанном в реке Иордан.

Евреи Палестины жили в то время напряженным ожиданием пришествия Мессии, т.е. посланного Богом Спасителя. Одни ждали, что этот Мессия принесет им освобождение от римского ига, другие надеялись на всемирное торжество единобожия, т.е. веры в единого истинного Бога, и падение языческого многобожия, третьи – на утверждение в мире Царства Божия, т.е. всей полноты нравственного совершенства и любви. Так или иначе, но время это было наполнено напряженным ожиданием. И незадолго до выхода Христа на проповедь в Палестине появился религиозный учитель по имени Иоанн, который всюду возвещал, что настало время пришествия Спасителя и что готовиться к нему нужно покаянием и очищением жизни. В знак этого покаяния, т.е. признания своих грехов и необходимости очиститься, толпы людей приходили к Иоанну, и он крестил их в воде Иордана. Так пришел креститься к Иоанну Сам Христос, и крестивший Его признал в Нем Мессию, Спасителя.

Новый Завет подчеркивает, что в этом событии Христос отождествил Себя со всеми людьми, принял на Себя их судьбу, или же, как говорит Церковь, взял на себя грехи мира<sup>249</sup> и именно в этом смирении, в этой любви получил первое признание, узанный и исповеданный как Спаситель человеческого рода. Опять то же противопоставление и одновременно сопряжение, та же мысль, центральная для всего понимания христианства: путь к Богу – не внешний, а

внутренний, ибо это путь свободного узнавания, свободной встречи.

В христианском восприятии Бога нельзя ничего понять, не уразумев, что Бог не насилует человека, а Сам первый смиряется перед ним. И это смирение Бога, самое полное и совершенное откровение Его людям потому и дано в смиренном Богочеловеке – Христе.



## Богочеловечество. Главная радость

В эти пред рождественские дни снова и снова хочется говорить о главной радости христианской веры, о самой ее сердцевине, о том, что христианское учение назвало богочеловечеством.

На заре христианства, в Евангелии любимого ученика Христова Иоанна прозвучали эти удивительные слова: И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его (Ин.1:14).

Богочеловечество! Бог, становящийся Человеком, чтобы, по слову другого учителя христианства, святого Афанасия Александрийского, «человека сделать богом». Бог, приходящий в мир, на землю, чтобы мир сделать Своим Царством... Дух захватывает, когда думаешь об этом, когда вспоминаешь эти так часто забываемые утверждения раннего христианства. И внезапно понимаешь, почему так ненавидят Христа и христианство все пророки, все проповедники убогого и скучного материалистического счастья. Эти проповедники только для отвода глаз говорят, будто выступают против христианства, унижающего и порабащающего человека, которого они, представители «научно выверенной» теории счастья, как раз и освобождают от религиозного дурмана. На деле, конечно, они ненавидят Христа и христианство в силу ровно обратных причин, ибо не хотят этого обожженного человека, не выносят этого высокого и Божественного замысла о нем, боятся его царственной свободы – всего того, что говорит о человеке Евангелие. Ибо пока помнит, пока знает все это сам человек, его не усыпишь разговорами о «производственных отношениях». Его не заставишь верить, что в законах материи, в законах экономики – ключ к тайне бытия или, вернее, что никакой тайны нет и никогда не было. Что ошиблись пророки и поэты. Что ни синева неба, ни радость любви не заслуживают благодарности. Что снедающая его душу жажда чистоты и совершенства – всего лишь самообман, плод суеверия и некультурности. Что ответ на все вопросы, научная формула счастья – в нудных и

бесконечно громоздких писаниях каких-то темных «специалистов», в экономических расчетах и выкладках.

Итак, пока будет в мире Рождество, пока будут люди праздновать пришествие в мир Бога и твердо помнить, что тут, в благовестии богочеловечества, – мера человека и его подлинного призвания, не будут иметь успеха никакие твердокаменные теории, ибо душа человека так устроена, что «звук небес заглушить не могли ей скучные песни земли»<sup>250</sup>. И потому саму эту душу с ее памятью о небе нужно выкорчевать, растлить и уничтожить.

Хорошо писал об этом покойный отец Сергей Булгаков, сам прошедший через темный туннель этой марксистской редукции человека к земле и земному, сам отдавший этому обману лучшие годы своей жизни: «Издавна началось в мире восстание царей земных и людей земли на Господа и Христа их. В сущности, возникает оно изначала в истории Церкви, однако не сразу в открытом мятеже, но лукавыми обходами, стремясь умалить, ограничить, подменить, обессилить пришествие Бога во плоти, упразднить богочеловечество, удержать мир в руках князя мира сего. Множество сознательных и полусознательных противников богочеловечества под разными поводами – благочестия, аскетизма, морализма, спиритуализма, – упраздняли и упраздняют силу боговоплощения, хотят развоплощения Христа. И к тому же зовет и завистливое человекобожие. И всей этой пестрой рати удалось оглушить, запугать человечество, убедить его, что Христос ушел из мира, его оставил, и Царство Его, которое не от мира сего, никогда и никак не совершится в этом мире. И змеящимся шепотом по земле стелется вопрос: чей же мир – Богочеловека или человекобога? Христов или антихристов? Вся сила зла и ереси и неверия сосредотачивается ныне около этой лжи, как твердыни: “Мир не Христов, а свой собственный”. Но все возможно верующему, и вере ведомо, что богочеловечество есть Божие чудо в мире. В христианстве зарождается новое чувство жизни: что не человеку надлежит убегать из мира, но что Христос приходит в мир на брачную вечерю Агнца, на праздник богочеловечества как Царь, а потому и как Судия. В

борьбе за Царство Христово верные обращаются к Христу грядущему, в чаянии Его восклоняются сердца, и в мире еще робко, но уже начинает звучать забытая, но исконная, первохристианская молитва: “Ей, гряди!” В ереси о мире, в неверии в царское служение Христа разучились этой молитве христиане, ибо она заключалась для них в страхе, который, однако, побеждается любовью. Но эта молитва остается гимном Христова человечества, ибо Христос есть Царь, грядущий во имя Господне. И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! (Откр.22:17)»<sup>251</sup>.

Так писал покойный отец Сергей Булгаков на закате своей жизни, с вершины мудрости, любви и веры, сам прошедший через отрицание веры, религии, Христа; сам уверовавший на время в примитивизм материалистического учения и псевдонаучных теорий счастья и от них вернувшийся к всеобъемлющему учению о богочеловечестве. И его слова хорошо привести в эти предрождественские дни, когда мы не только вспоминаем далекое событие прошлого, как собственное детство с его чистотой и цельностью, с его верой в звезду и в ясли, в ангельское славословие, в таинственных мудрецов, издалече идущих поклониться Младенцу и приносящих Ему все сокровища мира, но и углубляемся в свою веру, учимся снова постигать его как сердцевину христианства, как огненно-радостную тайну богочеловечества. Пусть все время забывает и отрицает ее внешний мир, пусть шумит и грохочет суетная жизнь человеческая! За всем этим внешним, случайным, преходящим и тленным незримо для людей, но вёдомо для веры растёт Царство Божие.

Неумирает на земле вера, надежда, любовь, не склоняет человек царственно свободной головы своей перед истуканом материализма. И залог этого – праздник Рождества, праздник богочеловечества, праздник Божия призыва к человеку не только вознестись на небо, но и вознести с собою весь мир, все творение, всю красоту, все творчество – все, что дано было человеку для исполнения его человечности.

## Богочеловечество. Невероятное «заблуждение»

«Иисус Христос» – все, и верующие, и неверующие, так привыкли к сочетанию двух этих имен, что забывают о заключенном в нем глубочайшем смысле. Между тем здесь выражено центральное утверждение христианской веры.

Я говорил уже, что вера эта начинается с земной истории Человека Иисуса – такой, какой она записана в Евангелии. Она, эта вера, направлена на одно событие, имевшее место в нашем времени и пространстве, в определенный исторический момент – «при Понтийстем Пилате», как говорит христианский Символ веры. Но то, что к земному, человеческому имени «Иисус» прибавлено «Христос», придает этому Человеку и всем событиям Его жизни исключительный, уникальный смысл. Греческое «христос» есть перевод еврейского слова «мессия», которое значит «помазанник». С незапамятных времен «помазанием» называлось особое посвящение и призвание от Бога, и, как таковое, оно указывало, что помазуемый получает особые духовные дары, особую миссию от Бога. В истории еврейского народа, которая записана в Библии, слово «мессия» постепенно приобрело еще более специфическое значение. Можно сказать, что история эта все более и более осознавалась лучшими представителями народа, а именно пророками, как мессианская, т.е. направленная к пришествию Мессии. По учению пророков, в конце времен придет Помазанник Божий, Который спасет людей от греха, зла и страдания, явит им Царство Божие.

Чем дальше шло время, чем больше рушились чисто земные надежды еврейского народа, тем ярче и сильнее разгоралось это ожидание Мессии, вера в конечное торжество Царства Божия. К моменту зарождения христианства мессианские чаяния достигли кульминации. Одни ждали, что Мессия освободит их от ненавистного римского владычества, восстановит национальную свободу; другие надеялись на вселенское торжество истинной религии; третьи связывали с

пришествием Мессии конец мира. Так или иначе, все жили напряженным религиозным ожиданием.

Незадолго до появления Иисуса из Назарета Галилейского всеобщее внимание привлек к себе странный человек по имени Иоанн Креститель. Он пришел из пустыни, проповедуя, что время пришествия Мессии-Спасителя наступило, призывал всех раскаяться в грехах, очистить свою жизнь, просветить свою совесть, чтобы достойно встретить Его. В знак этого раскаяния и этой перемены Иоанн крестил всех приходивших к нему в реке Иордан, и крещение, т.е. погружение в воду, символически означало здесь начало новой, чистой жизни. И вот, по рассказу Евангелия, так же, как и другие, пришел к Иоанну Иисус, и Иоанн признал в Нем – первый! – Мессию. Тем самым он подтвердил, что вся история еврейского народа – история, пронизанная ожиданием Царства Божия, – пришла к своему завершению. С этого признания и начинается христианство – начало новой эры.

Для нас важно, что Христос принял это признание и на протяжении всего Своего земного служения провозглашал, что Он и есть Тот, Кого возвещали пророки, Кого ждали люди, – Мессия, Спаситель, Господь. Больше того, самое объективное рассмотрение Евангелия показывает следующее: Христос учил, что Он не просто Помазанник Божий, но и Сын Божий, Которого Отец послал в мир спасти людей. И когда люди признавали Его Богом, пришедшим на землю, когда ученик Его Фома воскликнул: Господь мой и Бог мой! (Ин.20:28), Он не отказался от этого, не запретил Фоме, а, напротив, признал правду этой веры. И, конечно, здесь, в этой вере, что Христос есть Бог и человек, – сердце и живой нерв христианства. Непросто учитель, пророк, праведник, каких много было на земле, не просто носитель возвышенного учения о любви и высокой морали, но вочеловечившийся Бог.

И на это утверждение направлена, в первую очередь, вся безбожная критика, вся ненависть неверия: «Как вы можете в это верить? Уже и в Бога как такового трудно поверить, но возможно ли верить в Бога, Который рождается как ребенок, живет человеческой жизнью, разделяет человеческую судьбу?»

Что на это ответить? Да, конечно, поверить, на первый взгляд, трудно, почти невозможно. Но если сделать усилие, если вдуматься или, лучше сказать, вслушаться в христианство, то вера эта предстанет перед нами в новом свете. И прежде всего, если не верить в это, то христианство окажется тогда величайшей и ничем, решительно ничем не объяснимой ошибкой, и притом ошибкой, которая не просто держится без малого две тысячи лет, но и породила величайшую культуру, глубочайшую философию, изумительнейшее искусство. Как объяснить тогда, что в это «невероятное» учение верили лучшие умы многих и многих людских поколений? И не только верили, но видели в этом учении о богочеловечестве предельное выражение мудрости. Может ли недоразумение, ошибка, дурман жить столетиями и удовлетворять все потребности разума, всю жажду сердца, всю тоску души?

Вот приходит самоуверенный агитатор, вооруженный тонкой брошюрой, и говорит: «Обман, нелепость, бессмыслица!» Но почему не считали это ни обманом, ни бессмыслицей такие гении человечества, как Данте, Паскаль и Достоевский, Бах и Бетховен, Павлов и Пастер? Ведь из обмана или недоразумения ничего, кроме нового обмана и недоразумения, выйти не может, а между тем из учения о богочеловечестве Христа выросла, повторяю, самая глубокая, самая сложная, самая прекрасная из всех культур. Достаточно однажды постоять под древними сводами храма Святой Софии, Премудрости Божией, в бывшем центре христианского мира Константинополе и увидеть удивительный купол, неземным светом и радостью заливающий внутреннее пространство, достаточно однажды почувствовать радость пасхальной ночи, чтобы спросить: неужели все это может быть «ошибкой», неужели какому-то «недоразумению» радовался всю жизнь святой Серафим Саровский, неужели из «обмана» выросла и «обманом» светится рублевская Троица? Нет, легче поверить в истину христианства, чем в это странное и уж действительно ничем не объяснимое нагромождение «обманов» и «недоразумений».

Но это только один аргумент – так сказать, отрицательный. Устами множества богословов, философов, ученых, святых христианство утверждает, что его учение о Боге и Человеке Христе – самое глубокое и самое бесспорное. На чем зиждется такое утверждение? К этому вопросу мы и перейдем в дальнейших беседах.

## Богочеловечество. Человеческое измерение

Как уже было сказано в прошлой беседе, я не ставлю своей целью доказывать историчность Христа – в наши дни ни один серьезный историк не ставит ее под сомнение. Гораздо важнее вдуматься в то, что разумеют верующие христиане под верой в Христа.

Вряд ли кто-нибудь, верующий или неверующий, решится отрицать исключительное место Христа в истории человечества. Вот уже две тысячи лет существует христианство, вот уже две тысячи лет всё новые поколения людей сначала узнают о Христе – иногда в детстве, иногда в зрелом возрасте – от родителей, учителей или проповедников, приучаются любить Его образ, ставить Христа во главу своих убеждений, измерять Им все в своей жизни. Конечно, на протяжении столь длинной истории люди не всегда и не во всем соглашались относительно Христа. Само христианство давно уже разделилось на три главных отрасли, или вероисповедания: во-первых, Православие, сохранившееся главным образом в восточной половине христианского мира – у греков, русских, сербов, румын, болгар, затем римо-католичество и, наконец, отколовшийся от католичества в XVI веке протестантизм (о том, что разделяет эти три главные ветви христианства, я когда-нибудь поговорю особо). И, конечно, враги христианства всегда указывают на это разделение, пользуясь им как аргументом против христианской веры: «Если сами христиане не могут сговориться между собою, как могут они требовать от неверующих, чтобы те признали за христианством особое, сверхъестественное, божественное происхождение?»

Сейчас скажу только, что сколь бы ни было это разделение прискорбно и с христианской точки зрения греховно, оно, во-первых, не нарушает основного единства всех христиан в их вере в Христа и, во-вторых, все чаще осознается как недолжное и ненормальное самими христианами всех трех вероисповеданий в наши дни. О так называемом «экуменическом движении», т.е. об организованных и



систематических усилиях разных церквей восстановить утраченное единство, я тоже когда-нибудь поговорю отдельно. А здесь важно подчеркнуть, что все эти разделения не отменяют самого главного – того исключительного, ни с чем не сравнимого места, какое занимает для верующих Христос в истории мира, в судьбе всего человечества и каждого отдельного человека.

Вот об этой общей для всех христиан вере в Христа, которой сознательно или бессознательно, в большей или меньшей мере жил и живет христианский мир, которой пропитана вся наша культура, вдохновлены лучшие произведения искусства, – об этой вере я и хочу напомнить в своих беседах. Ибо в наши дни одни открыто заявляют, что христианство вредно и опасно, и все свои усилия направляют на его искоренение, а другие, не борясь с христианством, склонны думать, что оно «отжило свое» и принадлежит только прошлому. Правда, открытая борьба с христианством особого успеха не имеет, и беспрецедентная мобилизация против него целого государственного аппарата желаемых результатов не давала и не дает. Правда и то, что нет буквально дня, когда бы не обращались к вере в Христа те самые люди, что под разными влияниями считали христианство «отжившим». И все же стоит еще раз проверить свою веру и спросить: что в ней живет вечной жизнью, что дает сердцу такую радость, такой покой, что наполняет светом, счастьем и смыслом весь мир, всю мою, всю нашу жизнь в нем; что остается твердым, несомненным и неизменным, несмотря на все зло, все разделения, которыми переполнен мир?

Конечно, вера всегда есть нечто очень личное. Но в вере каждого христианина то и удивительно, что она, будучи личной, встречается с личной верой миллионов других людей и переживается как общая и единая вера. Каждое воскресенье сотни людей в храме поют: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым; и во Единого Господа Иисуса Христа...» Каждый исповедует здесь свою личную веру, но так же веруют все, и это «Верую» превращает сотни людей в живое единство,

говорящее, по выражению Церкви, «едиными усты и единым сердцем».<sup>252</sup>

Во что же я верую, когда говорю, что верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, когда исповедую Его Спасителем и Царем мира, когда утверждаю, что победа жизни над смертью, полнота того вечного Царства, которое христиане называют Царством Божиим и в котором видят цель всей истории, всего космоса – все это связано с Христом, зависит от Него, в Нем получает свой последний и всеобъемлющий смысл? Если следовать общехристианскому исповеданию, торжественно произносимому нами каждое воскресенье «едиными усты и единым сердцем» и соединяющему миллионы христиан, то главным в этой вере будет, конечно, уникальное значение Человека Иисуса, Который жил в Палестине под римской властью около двух тысяч лет назад и Чей образ запечатлен в Евангелии. Иными словами, христиане верят, что в нашей человеческой истории, в нашем пространстве и времени произошло событие, ставшее решающим для людей всех времен. Человек Иисус, родившийся в таких условиях, что для Него не нашлось места в доме, росший в бедной семье плотника, вышедший в возрасте тридцати лет проповедовать учение о Царстве Божием, обвиненный в преступлениях против религии Своего народа и распятый при римском губернаторе Пилате – обо всем этом удивительно просто и правдиво говорит Евангелие, и именно это есть начало нашей веры.

Мы верим в нищего Учителя, Который уставал, жаждал, голодал, страдал, провел всю жизнь среди бедняков и нищих, в окружении двенадцати рыбаков и нескольких преданных друзей. Но как и почему видит христианство в Нем Господа, Царя и Судию – средоточие всего, во что верит, на что надеется и чего ищет человек? Как соединяется в Евангелии человеческое с тем божественным смыслом, который всегда, с самого начала видели в нем христиане? Этот вопрос подводит к другому измерению христианской веры, к которому мы и обратимся в следующей беседе<sup>253</sup>.

## Бог свободы и проблема зла. Зависит только от нас

Не только неверующие, но и верующие – те из них, кто серьезно задумываются над вопросами веры, – часто высказывают следующее сомнение: «Если бы Бог существовал, разве допустил бы Он такое господство зла в мире на протяжении тысячелетий?»

Это сомнение высказывается из столетия в столетие, и отмахнуться от него нельзя, потому что повседневный опыт как будто подтверждает его законность: действительно, зло слишком часто торжествует в мире и своим успехом как бы оправдывает себя. «Если бы Бог существовал, Он этого бы не допустил!» – часто говорит человек в отчаянии.

Что же на это ответить ? Только одно: Бог, которого проповедует христианство и которого возвещали ветхозаветные пророки, есть Бог свободы. Человек – совсем не пешка, не игрушка в руках Бога, но свободный, ответственный творец своей судьбы. И именно это исключает такие рассуждения, как допустил или не допустил бы Бог и т.п.

В своей неограниченной любви к человеку Бог как бы ограничивает Себя его свободой, Он хочет, чтобы человек сам, свободно признал Его. «Я не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его, но называю вас друзьями» – так говорит Христос (см.: [Ин.15:15](#)).

Спросим себя: в чем же разница между обществом свободных людей и обществом рабов? Если отбросить случайные признаки, разница в том, что свободные люди ответственны за свою жизнь, за все добро и зло, которое они творят; для рабов же единственный закон – воля хозяина: допустит тот или не допустит.

В истории люди постоянно борются за свободу, ибо только свобода достойна человека. Но всегда ли они отдают себе отчет в том, что идея свободы укоренена как раз в откровении о Боге? И откровение это, данное нам в Библии и Евангелии, говорит о Нем не как о страшном деспоте, который управляет

безответственными людьми-пешками, но как об источнике свободы, любви, добра и нравственного совершенства.

Сомневающиеся спрашивают: «Но такая идея Бога допускает торжество зла! Какая же польза от нее?» Да, будь это так, отчаяние было бы оправдано. Но так ли это? Разве не было, разве нет в мире и в нас самих победы добра? Да, зло сильнó, и об этом постоянно напоминает Евангелие. Христос говорит об узком пути спасения, о трудностях и искушениях на этом пути. В мире идет непрестанная борьба добра и зла. И именно потому, что человек свободен, перед ним всегда выбор между тем и другим. И любой из нас, отвергая зло, ненависть, рабство и выбирая добро, любовь, свободу, знает, что выбор этот всякий раз делает его сильнее, а не слабее. Да, зло часто торжествует. Но только от нас зависит не доставить ему это торжество. От нас зависит выбрать добро, поверить в него так, как первые христиане, уверовавшие, что распятый на кресте нищий и бездомный Учитель Своей любовью явил миру подлинную победу добра.

## Бог свободы и проблема зла. Самый трудный вопрос

В споре между верой и неверием, который ведется извечно, а не только в наши дни и не между людьми только, но и в каждой душе человеческой, самый трудный вопрос для веры – этот: «Откуда и почему столько зла в мире?» Как часто приходится слышать: «Если бы ваш Бог существовал, разве Он допустил бы все это? Допустил бы это переполняющее мир страдание, личное и коллективное, эти несчастия, болезни, ужас разлуки и смерти, бесконечное торжество несправедливости, ненависти и насилия?» .

В романе «Братья Карамазовы» Достоевский сводит все это к знаменитому вопросу о слезинке замученного ребенка. Иван Карамазов утверждает, что такого допустить нельзя, а если Бог допускает и малейшее зло в целях какой-то непонятной «будущей гармонии», то он почтительнейше возвращает Ему «билет». Неверию легче ответить на этот мучительный вопрос, ибо оно не претендует на веру в доброго, любящего, всеблагого Бога и потому не обращается к Нему с вопросом, как же допускает Он нескончаемые мучения сотворенного Им, да еще по Своему образу и подобию, человека. Неверие как бы говорит: «Попробуем это зло и это мучение ослабить, уменьшить. Сделаем, что можем». Но дальше этого неверие не идет, ибо зло в мире так же естественно для него, как плохая погода, наводнения, эпидемии. Защита от дождя – зонтик, от наводнения – заградительные сооружения, от эпидемий – профилактика и медикаменты. Тут нет вопроса о происхождении зла и ответственности за него, а только о той или иной форме борьбы с ним. И потому неверие в этом споре имеет преимущество над верой. Больше того: вера очень часто кажется неверию малодушным бегством от зла и настоящей борьбы с ним.

И действительно, вера выглядит подчас как своего рода нравственный эгоизм, с одной стороны, и как фатализм – с другой. Вот гибнут в катастрофе десятки людей, вот на экране

телевизора показывают нам детей, умирающих в Африке от голода. И от этого кошмара массовой гибели, от ужаса в этих детских глазах, от невыносимости всех человеческих страданий многие верующие спасаются благочестивыми отговорками: «Что ж, видно, так угодно Богу», «На все воля Божия», «С Богом не поспоришь». А что, в сущности, они значат? Что Богу угодно, чтобы в страшных мучениях умирали ни в чем неповинные дети? Чтобы корчилось от боли созданное для жизни молодое тело? Чтобы веками, тысячелетиями плакали в безысходном горе матери? И каким лицемерием, какой ложью, каким эгоизмом отдают все слова, которыми мы по привычке утешаем страдающих, до тех пор пока это страдание не ударило по нам, пока не появилось над нами страшное облако болезни, мучения, смерти!

Нет, не может вера отмахнуться от самого трудного, самого мучительного из всех человеческих вопросов: «Откуда зло? Почему постоянно торжествует оно в мире?» Но чтобы ответить на него, нужно постараться понять, что в подходе к злу религия религии и вера вере рознь. Ибо всегда существовали религии, основной, часто неосознанной целью которых как раз и была помощь человеку в его примирении с мировым злом и страданием, в ослаблении их воздействия на сознание. Как современная медицина помогает болеть и умирать не страдая, так и эти «природные» религии помогали переносить зло и, по возможности, даже не замечать его. И именно эта, общая для всякой «природной» религии черта находит свое выражение в утешительных словах вроде: «На все воля Божия!»

Современный верующий удивится, пожалуй, при напоминании, что христианство, Евангелие и Сам Христос восстают против такой «анестезирующей», фаталистической религии и именно в ней видят страшное извращение истинной веры. Если Платон, например, в некоторых своих диалогах пытается доказать, что смерть – это освобождение души от темницы тела, а истинная мудрость в том, чтобы желать смерти, то христианство словами апостола Павла называет смерть «последним врагом» (см.: 1Кор.15:26). Сам Христос, пришедший ко гробу Своего друга Лазаря, плачет, видя

торжество смерти в мире. И во время земного Своего служения Он ни разу не ссылается на «волю Божию» при виде смерти, страдания и зла. Христос воскрешает сына вдовы, умножает хлебы для голодных, исцеляет больных. Это не религия примирения со злом и страданием, это не фатализм, не утешение пустыми словами. Все Евангелие говорит о противостоянии злу лицом к лицу.

Но оно же учит нас подходить к злу не с доводами разума и достижениями науки, а как к явлению иррациональному, чье происхождение неведомо человеку. В самом деле, Бог, по слову Священного Писания, не сотворил смерти (Прем.1:13), но вот она торжествует в мире; Бог есть любовь, но вот в мире царит ненависть; Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы (1Ин.1:5), но вот мир исполнен мрака. Поэтому среди основных вопросов, волновавших христианских мыслителей, всегда был вопрос о так называемой теодицее<sup>254</sup>, – о том, как объяснить это парадоксальное и иррациональное торжество зла в мире. На эту тему мы и будем говорить в следующей беседе.

## **Бог свободы и проблема зла. Самый трудный вопрос (продолжение)**

Я уже говорил в одной из предыдущих бесед, что человеческий разум всегда бился над вопросом: «Откуда в мире ало? Почему в нем столько страдания?» Этот вопрос питает собою не только отвлеченную мысль, но и все теории и идеологии, которые обещают перестроить мир, сулят человеку полное и окончательное счастье. Наша эпоха в особенности отмечена ненасытной жаждой найти наконец средство от зла и страдания. Одни видят это средство в коренной перестройке общества и прежде всего – экономики, от которой зависит удовлетворение основных человеческих потребностей, другие проповедуют всевозможные «духовные» рецепты. Но все эти идеологии сходятся в утверждении, что человечество способно рационально уничтожить зло и добиться счастья, и притом счастья для всех. Поэтому изложение христианского взгляда на зло нужно начать с разоблачения рационалистического подхода, который основан на беспочвенном убеждении, что зло – всего-навсего некий недостаток, для уничтожения которого требуется одно: понять, в чем его сущность.

Эту и следующие беседы я назвал «О тайне зла», ибо истоки христианского подхода к злу – в признании его тайной, т.е. тем, что не укладывается в рациональные категории. Зло иррационально. И это не очередная теория, не абстрактный принцип, а то, что известно человеку из его непосредственного, каждодневного опыта. Об этом же свидетельствует и все искусство. Неслучайно одной из главных тем поэзии всегда была любовь и связанное с нею страдание. Какими теориями, какими идеологиями объяснить, например, муки неразделенной любви, ужас измены, разлуки, расставания? Как бы рационально ни перестраивали общество, экономику, аппарат власти и т.п., этот неподвластный времени опыт личного страдания все равно остается.

Я говорю об этом опыте потому, что на его примере лучше всего видна нищета всех современных теорий будущего



счастья. Допустим, что все наконец будут сыты, что удастся победить нищету и голод; допустим, что в мире, как обещают все идеологи счастья, введены будут равенство, справедливость и максимальное удовлетворение всех житейских нужд; допустим, наконец, что каждый получит возможность свободно избирать род жизни, труда и развлечений. Все это, сколь ни кажется утопическим, в плане рациональном хотя бы допустимо, как допустим, к примеру, прогресс в области медицины и связанное с ним сокращение физических страданий. Но, быть может, именно тогда, когда в разуме и воображении мы уже построили всеобщее счастье, становится очевидно, что зло, подлинное зло глубже всего этого и корень его иррационален. Недаром библейский рассказ о происхождении зла первое обнаружение его связывает не с недостатками мироустройства, а с раем. Ибо, согласно Книге Бытия, именно в раю, т.е. в полноте радости и блаженства, первочеловек Адам захотел... о, не зла как такового, конечно, а того, что привело к грехопадению, в котором христианская вера всегда видела проявление глубинной сущности зла.

Чего же захотел первочеловек Адам? Упрощая, можно сказать, что захотел он жизни для себя и только с собою; власти, ничем не ограниченной; смысла, им самим созданного. Устами Бога-Творца Библия говорит об этом так: «Адам захотел быть как Бог» (ср.: Быт.2:22). Жизнь дана была человеку затем, чтобы смысл ее лежал вне его – в любви, самоотдаче, служении и радости от них. Но именно этот смысл человек отверг и продолжает отвергать в теориях и идеологиях, сулящих ему как будто всецелое и окончательное счастье. Ибо все эти теории и идеологии сходятся в том, что счастье есть полное удовлетворение внешних нужд и потребностей человека.

А что если именно тут настоящий, глубинный источник зла? Что если тут, в этом безостановочном самоутверждении человека и человечества настоящая причина того страдания, которым так очевидно переполнена вся наша жизнь? Что если в этом сведении всей жизни к одному стремлению – не страдать – и коренится само страдание? Так подходим мы к той тайне зла, которая, сколько бы ни отвергал ее человек, неизменно

присутствует в бытии мира. И именно в раскрытии этой тайны – смысл Евангелия, смысл проповеди Христовой и, главное, смысл того страдания, которое оставлено нам как образ победы, как путь к единственно подлинному счастью.

Вот к этому евангельскому благовестию о Кресте, которым приходит, по слову церковного песнопения, «радость всему миру», мы и обратимся в следующей нашей беседе. Мы попытаемся подойти к тайне зла не разумом, не через биологию или экономику, не через сведение ее к некой случайности, но так, как всегда подходило к ней христианство. Иными словами, мы попробуем показать, как раскрывается тайна зла и побеждается само зло в жизни, учении, страдании и смерти одного-единственного Человека.

## Бог свободы и проблема зла. Самый трудный вопрос (окончание)

Говоря в прошлых беседах о тайне зле и об извечных попытках человека разгадать ее, мы пришли к выводу, что этого нельзя достичь одним разумом, как нельзя уничтожить зло одним переустройством общества. Корень и сущность зла – неизмеримо глубже, о чем говорит человеческая беспомощность перед его грубой реальностью и непонятной силой. Об этом хорошо напомнить в дни и недели, когда мы опять приближаемся к Великому посту – времени года, которое издревле было в Церкви временем покаяния, а значит – углубления совести и переоценки жизни. «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...»<sup>255</sup> – с этих слов, с этого глубочайшего вздоха начинаем мы приближение к Великому посту. И уяснив через этот вздох смысл всего великопостного времени, можно, пожалуй, хотя бы отчасти уразуметь и ту тайну ала, над которой бьется человеческое сознание.

Современный человек почти не знает уже, что такое раскаяние, или покаяние. Незнает, потому что его научили видеть источник всего нехорошего, всякого зла не в себе самом, а вовне – в чем-то безличном, по отношению к чему сам он всегда только жертва. Если плоха жизнь, если вокруг нас столько зла и страдания, то это потому, что общество несправедливо распределяет материальные блага – пищу, одежду, квартиры. Если страдает человек, то это потому, что наука не все еще объяснила и разрешила. Если не чувствует себя счастливым – то потому только, что недостаточно уяснил законы, управляющие миром и жизнью, и надо всего-навсего вдолбить ему эти законы, перевоспитать так, чтобы сознание его стало «научным», всецело подчиненным теории, которая раз навсегда объяснила, в чем зло и как его уничтожить. Поэтому в нашей цивилизации не осталось места для глубокого вздоха, с которого в христианском опыте жизни начинается все то, о чем и сам призыв Христов: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17). Без этого вздоха, без этого пробуждения

совести невозможно объяснить себе тайну зла, невозможно и начать борьбу с ним. Тут кончаются все теории, все философии, все рассуждения; тут начинается то, что одно только способно новым светом осветить жизнь, и дает силы не только заново осмыслить ее, но и по-новому жить.

Откуда же и о чем этот вздох? Конечно, все разговоры и рассуждения о нем бессмысленны, если не признать как самоочевидность наличие в человеке той внутренней глубины, того таинственного духовного органа, что издревле зовется совестью. «Жить по совести», «совесть не велит», «совесть замучила», «очистить совесть» – так почти невольно всегда говорил человек, так и сейчас говорит он, сколько бы ни внушали ему, что зло «объективно» и познание, как и уничтожение его, – задача «объективной» науки. Далеко не всякий человек даст «научное» определение совести, но нет человека, который не ощутил в себе хоть раз в жизни, хоть на минуту, на секунду некий голос, который невозможно заглушить и который звучит как голос последней правды, последнего беспощадного в беспристрастности своей суда. Нет, это не просто «голос разума», которым мы так часто оправдываем в своих гладких рассуждениях любое зло, не просто «голос морали» – морали, которую, как нам все время разъясняют, можно вывести из чего угодно: из «классовой борьбы», «интересов нации» и т.п. Ибо в том-то и уникальность совести, несводимость ее ни к чему другому, что она одновременно и нечто самое глубокое во мне, как бы я сам на последней своей глубине, и то, что обращено ко мне как голос, призыв, увещание, словно бы кто-то другой во мне судил, звал, оценивал, просвещал меня.

Ясно одно: совесть есть, и это не «выдумка», не «надстройка», не «субъективное переживание». И в последнем счете, сознательно или бессознательно, только совестью, и ею одной, по-настоящему оцениваем мы себя и других, хотя и заглушаем ее всевозможными самооправданиями вроде: «С волками жить – по волчьи выть» или примитивными, ничего не объясняющими теориями, убегаем от нее в пьянство, буйные увеселения и разврат. Такое бегство, однако, бесполезно:

совесть есть. И вот внезапно приходит от нее этот глубочайший вздох, это пронизывающее как молния сознание нашей глубочайшей вины, неправды, внутреннего уродства, но одновременно – страстное желание освободиться от этого бремени, очиститься, возродиться. Отсюда и начинается раскаяние. Оно делает самоочевидным для нас то, что к разгадке тайны и сущности зла приводит не разум, не мораль, не идеология, а только совесть – таинственный свет, который горит в душе и никогда не угашается до конца всей тьмой, всем безобразием падшей жизни. Совесть – это загадочный голос, про который неизвестно, откуда он приходит и как становится слышен, но вот он говорит – и мы слушаем, обличает – и мы соглашаемся. Это голос, который дает нам силу оценивать себя изнутри и вверяться этой оценке.

Итак, именно с совести и потому – с раскаяния начинается приближение наше к той тайне зла, о которой мы все время говорим.

## Бог свободы и проблема зла. Одоление зла

Христос учил учеников Своих, что Ему подобает быть преданным и пострадать и умереть – вот лейтмотив Евангелия.

Христианство часто определяли как религию Креста и страдания, и даже ставили это ему в упрек. Все обвинительные акты против христианства говорят о его «призыве к пассивности», о его «добровольном подчинении злу», о его надежде на «загробное» лишь торжество добра. «Христиане, – неизменно утверждают его обвинители, – всегда терпели зло, несправедливость, несовершенство, всегда возражали против всех попыток улучшения этого мира». Так ли это? Над вопросом этим уместно задуматься именно теперь, когда мы готовимся еще раз пережить Страстную неделю, т.е. дни страданий Христа, готовимся еще раз предстать перед Крестом, на котором извечно висит окровавленный, замученный Богочеловек.

Действительно, почему этот символ или, вернее, эта никогда не умирающая память о Кресте и Распятии на нем составляет самую сердцевину христианской веры? Что совершилось, что произошло тогда, что было здесь единственным и неповторимым? Ведь страдания и мучения испытывали всегда и всюду миллионы людей. Ведь не для того же Крест стал нашим символом и нашей верой, чтобы мы сказали людям: «Братья, так было и так будет всегда. Терпите, берите пример с Христа, помните, что Он Сам сказал: В мире будете иметь скорбь». А ведь именно такое истолкование Креста Христова зачастую дают сами христиане. И вот это-то истолкование позволяет врагам христианства утверждать, будто христианство есть религия примирения со злом и потому человеку в этом мире помочь не может ничем. Но почему же тогда Крест всегда был и остается источником силы и радости, источником мужества для всех христиан? Почему помнят они не только начальные слова Христа: В мире будете иметь скорбь, но и продолжение их: Но мужайтесь: Я победил мир? (Ин.16:33) Почему каждую неделю вечером под воскресенье звучат во

всех церквах все те же ликующие слова: «Се бо прииде Крестом радость всему миру»? Мне думается, что понять все это можно, лишь поглубже вдумавшись в связь Креста, распятия, страдания со злом.

На первый взгляд последние главы Евангелия звучат как трагическое утверждение всемогущества зла. Вот предает Учителя ближайший ученик – кому же верить тогда и на что надеяться? Вот тысячи людей, которым Христос только помогал, которых только утешал, на которых была направлена вся Его любовь, – эти люди кричат: Распни, распни Его! (Лк.23:21). Но что же тогда человек, если не стадное существо, которое можно в мгновение ока превратить в послушную толпу, выкрикивающую все, что прикажут? Вот Пилат говорит: «Я не нахожу в Человеке этом никакой вины» (ср.: Ин.18:38) и, сказав это, умывает руки и предает Его на глумление и мучительную, позорную смерть. Вот разбегаются в страхе ученики; вот Учителю их, умирающему в страшных страданиях от жажды, дают пить уксус; вот издеваются над Ним, изнемогающим, ученые люди: «Других спасал, спаси Себя; говорил, что Ты Сын Божий – сойди с креста, и мы поверим в Тебя!» (ср.: Мф.27:42).

И вот вспоминаешь все это в который раз и думаешь: да, это торжество зла в чистом виде. Тут разбиты навсегда все иллюзии о человечестве, тут не остается ничего, кроме страшного предсмертного вопля: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф.27:46). Но вот, думая об этом, начинаешь вдруг понимать другой, глубочайший смысл этого страдания, этого вопля, этой смерти. Ведь в том-то, быть может, и открывается главная сила Креста, что он являет зло в чистом виде, показывает его именно как зло. Ибо зло всегда прячется за громкие и красивые слова. Пряталось оно и тогда: важно восседал на седалище своем Пилат и думал, что творит суд, но мы теперь навеки знаем, что он сдался страху, что суд его – зло. Послушались начальства римские солдаты, которым было приказано распять Иисуса, и это послушание их раскрывается перед нами как зло. Час за часом не остается ничего от человеческих оправданий и «смягчающих обстоятельств». Все подчинились злу, все приняли его, но узнать зло как зло,

сорвать с него маску добра, обнажить в чистом виде – это ведь и значит обличить зло. И тогда всякого предателя мы называем иудой, всякого несправедливого судью – пилатом.

Час за часом, в молчании, кровавых мучениях и одиночестве торжествует Христос, а не эти жалкие слуги зла – Иуда и воины, Пилат и толпа рабов, кричащих «Распни!». Над всеми и над всем возвышается Он. Внешне победили они, но что же это за победа – затравить, убить, навсегда сделав затравленного и убитого Учителем, Господом и Вождем! Тогда был осужден Он, но осужденными на века оказались они; тогда умер Он, но эта смерть стала началом новой веры, новой любви, новой надежды. Итак, Крест – это развенчание зла, первая и решающая победа над ним. Невинное страдание навсегда оказывается сильнее всех палачей мира, молчание навсегда становится громче всех воплей и, главное, самое главное – любовь навсегда торжествует над ненавистью. Это ли не победа, это ли не торжество? И смотрите: только умер Христос, только, казалось бы, восторжествовало зло, как из самой глубины этой страшной ночи выходит римский сотник – палач, распинатель, послушный раб зла – и говорит: Воистину Он был Сын Божий (Мф.27:54). И вот он уже свободен. Начинается медленный рассвет, которого ничто уже не остановит: «Се бо прииде Крестом радость всему миру».

И здесь наш ответ обвинительному акту против христианства. Не к терпению зла, не к примирению и компромиссу с ним призывает Крест. Напротив, он-то и есть то начало обличения, одоления и разрушения зла, о котором говорит все Евангелие, все христианство. И об этом надлежит помнить в дни, когда приближаемся мы к ежегодному воспоминанию Страстей Христовых.



## **Бог свободы и проблема зла. Две очевидности**

Очень часто приходится слышать такой вопрос: «Как при виде всего, что совершается в мире, вы можете верить в Бога? Если бы Бог существовал, разве допустил бы Он столько страданий, столько несправедливости? Если Бог, как вы утверждаете, есть Любовь, то чем объяснить это постоянное торжество зла и поругание добра?»

Вопрос этот, в сущности, древний, как сам мир. Он всегда мучил человечество, и его гениально сгустил Достоевский в своих «Братьях Карамазовых». Вспомним разговор Ивана с Алешей, когда Иван говорит, что если для будущего райского блаженства нужна хоть одна слезинка невинного ребенка, то он возвращает билет в рай. И действительно, как ответить на этот вопрос? Достаточно оказаться свидетелем даже одного невинного страдания, чтобы все существующие ответы, а их много, показались плоскими и неубедительными. Зло, торжество зла, остается и для верующего страшной, необъяснимой тайной. И в этой тайне вера видит только два ответа, вернее, не ответа даже, а два опорных пункта, две очевидности. Одна – это связь зла с тайной свободы, другая – образ страдающего Христа, т.е. основополагающий для христианской веры опыт Креста с пригвожденным на нем Человеком, о Ком мы говорим, что Он Бог, в Которого мы веруем.

Остановимся кратко на каждой из этих очевидностей и попробуем, как это ни трудно, их объяснить. Итак, тайна свободы. Как ни странно, но те же люди, которые отрицают Бога, допускающего в мире столько зла, осуждают религию за то, что она якобы поработывает человека, лишает его свободы. Восстание против религии, борьба с ней ведутся обычно во имя свободы. Но что же такое свобода, как не возможность выбора и, значит, выбора как раз между добром и злом? Если человек не может выбрать зло, он не свободен. Если он свободен не призрачно, а по-настоящему, он может выбрать зло. Так вот, христианство всегда утверждало и утверждает, что Бог сотворил

человека абсолютно свободным. И именно эта свобода есть главный источник столь часто торжествующего в мире зла. В библейском рассказе о сотворении человека Адам выбирает зло, потому что он свободен. Но зло порождает зло, делается само источником зла. Иными словами, если Бог, как говорят, допускает зло, не препятствует ему, оказывается как бы бессильным перед ним, то это потому, что Он, создав свободное существо – человека, раз навсегда ограничил Свое всемогущество. Если бы человек не был свободным, он не мог бы свободно выбрать то добро, ту красоту, то совершенство, к которым свободно призывает его Бог, не мог бы быть другом Божиим. Но, будучи свободным, он может так же свободно выбирать зло и быть целиком за этот выбор ответственным. Такова первая очевидность, первое объяснение христианством тайны зла.

Но объяснение это было бы не только неполным, но и ложным, не будь оно укоренено во второй очевидности, а именно – в образе и опыте страдающего Христа. Почему именно Крест, именно крестные страдания Христа составляют сердцевину христианской веры? Потому, конечно, что тут ответ Самого Бога на торжество зла и одновременно начало, источник победы над злом. Упрощая до крайности, это можно выразить так: если Бог раз навсегда ограничил Себя свободой человека и потому не может разрушить зло извне, ибо это значило бы отнять у человека его свободу, то у Бога, любящего человека и желающего спасти его от зла, нет другого пути, как взять на Себя страдания человека, принять на Себя все зло мира и изнутри разрушить его Своей любовью. Вот последняя тайна христианства: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, Он был наказан за наши грехи, и ранами Его мы исцелены» (ср.: [Ис.53:4–6](#)). Весь добро, весь любовь, весь беззащитность, Христос свободно отдает Себя власти зла, ненависти и злобы. На этом одном Человеке, про которого предающий Его Пилат говорит: «Я не вижу в Нем никакой вины» (ср.: [Лк.23:4](#)), сосредоточивается все зло мира, вся его ненависть. И в том весь смысл страданий Христовых, что ни разу, нигде, никогда не отвечает Он на зло злом, на насилие

насилием, на ненависть ненавистью: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк.23:34).

И вот в этом мире, полном страдания, злобы и ненависти, живет неистребимо образ Распятого, и наша вера знает, что Он участвует в каждом страдании, состраждет всякому страждущему, стоит у каждого мучения. Зло видимо торжествует. Но тем, кто спрашивают меня: «Как же молчит, как допускает все это ваш Бог?», я могу указать на Крест, на Распятого на нем Бога и на слова Евангелия о том, как в ночь перед Своей смертью Христос начал скорбеть и тосковать (Мф.26:37). Нет, не остался Бог безучастным к нашему страданию, но вошел в него и принял его. И потому так часто именно страждущие находят Бога, встречают Христа и верят в Него. И, найдя, не спрашивают, где же Бог, ибо знают: Бог рядом, во мне, дающий мне силу нести крест, а значит, само страдание и даже зло претворять в победу добра. Нестранно ли: всецело благополучные, всем обладающие слишком часто не чувствуют Бога. Но достаточно человеку прикоснуться к страданию, освободиться от призрачного земного счастья, как начинается его встреча с Богом, ибо Христос, взяв на Себя все человеческое страдание, претворил его в путь к Богу, в полную победу над злом.

## Христианство и лжерелигия. Идолопоклонство

Одним из главных и самых сильных аргументов против религии вообще и христианства в частности нельзя не признать взаимную вражду религий и разделения между приверженцами одной религии. «Вот, – часто упрекают нас воинствующие атеисты, да и просто неверующие, – вы всегда утверждаете, что религия – это мир, любовь, единство, что только религия может примирить враждующее человечество, исцелить отравленный ненавистью мир. Но посмотрите на себя, на свою историю! Какие войны более жестоки и кровавы, чем войны религиозные? Какие разделения более глубоки, более безнадежны, чем касающиеся веры и религии? Католические фанатики жгли на кострах инакомыслящих, православные цари преследовали старообрядцев, ирландские католики убивают ирландских протестантов... И как же вы можете говорить о любви, о “врачующей силе” религии?»

И надо честно, смиренно признать этот аргумент веским и бьющим прямо в цель. Действительно, внешняя история религии зачастую выглядела ужасно именно в силу противоречия между тем, что она, религия, провозглашала, и тем, что она делала в лице своих последователей. И верующие не имеют права от всего этого просто отмахнуться и продолжать, как ни в чем не бывало, заниматься самовосхвалением. Зло есть зло, грех есть грех, кто и когда бы их ни совершал.

Однако просто признать этот грех недостаточно. Ибо религиозные разделения столь глубоки, повсеместны и постоянны, что их невозможно объяснить как нечто случайное, как недостаток, который легко исправить. В это явление необходимо вдуматься. Но не с тем, чтобы найти ему оправдание, по пословице «Понять – значит простить», а с тем, чтобы глубже осознать парадоксальную сущность религии.

Мы с давних пор привыкли видеть в религии некое однородное целое, противопоставляемое неверию как своего рода «антирелигии». Привычка эта – и это нужно понять в первую

очередь – навязана нам, религиозным людям, врагами религии. Именно они, что называется, валят в один мешок все так или иначе связанное с религией. А поскольку при таком подходе все худшее и греховное в ней оказывается на поверхности, на виду, это и позволяет антирелигии выдвигать общеизвестные свои утверждения, будто религия всегда предполагает узость, фанатизм, суеверие и потому является источником разделений, вражды и тому подобного.

Но если подойти к религии с учетом в ней самой заложенной логики, если вдуматься в это извечное и сложнейшее явление по существу, то перспектива меняется. И прежде всего подчеркнем, что в христианской перспективе (а значит – в перспективе Евангелия) религия есть явление двусмысленное. Нигде в Евангелии не сказано, что религия всегда хороша, всегда положительна только потому, что она религия. Такого рода подход к религии абсолютно чужд Евангелию; напротив, в нем раскрывается совершенно иной подход. Вкратце я сформулировал бы его так: религия именно в силу ее обращения к сфере абсолютного может быть источником лучшего и высшего, но также худшего и низшего в человеке. И в этом – основополагающая двусмысленность религии.

Ибо религия в своей, так сказать, первосущности есть абсолютизация человеком того, в чем видит он высшую ценность. Если в человеке доминирует страстная привязанность к той или иной ценности, то именно эта ценность будет, так сказать, абсолютизирована его религией, станет ее внутренним двигателем. Таким образом, религия может быть выражением и элементарного эгоизма, и фанатического национализма – всего, что владеет нашим умом и сердцем. И такая абсолютизация земных ценностей есть в сущности не что иное, как идолопоклонство.

Необходимо в полной мере осознать, что идолопоклонство – не только атрибут первобытных религий с почитанием всяких истуканов. Идолопоклонство – это, увы, один из полюсов религии и заложенная в ней смертельная опасность. И не случайно любимый ученик Христов апостол Иоанн Богослов

обращает свой призыв: Дети! храните себя от идолов (1Ин.5:21) не к неверующим, не к язычникам идолопоклонникам, а к христианам, ибо где религия, там и опасность идолопоклонства, и чему наиболее предан человек, то и абсолютизирует он в ущерб всему остальному.

Но если так, то понятен становится и трагический факт религиозных разделений. Только при таком подходе мы понимаем, что в некоем глубоком смысле разделения присущи религиозной сфере, ибо религия и есть в конечном счете спор об абсолюте. Сам Христос сказал: «Не мир принес Я, но меч» (ср.: Мф.10:34). И не в этих ли словах, которые так часто бывают обращены против христианства его врагами, и следует искать объяснение религиозных разделений, но не с целью их оправдать, а для понимания истинного их смысла?

Об этом – в следующей беседе.

## Христианство и лжерелигия. Мнимое противоречие

При внимательном чтении Евангелия и вообще Нового Завета нельзя не заметить в учении Самого Христа и Его учеников двух, казалось бы, взаимоисключающих утверждений. С одной стороны, здесь постоянно говорится о единстве как главной цели спасительного подвига Христа, с другой – о разделении, которое неизбежно следует за пришествием в мир Христа и как бы вытекает из Его учения.

Обратимся к текстам. Так, Господь в ночь самопредания на распятие молится, чтобы все были едины: Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня (Ин.17:21). А до этого Он говорит: Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе (Ин.12:32). И в центре учения Христа стоит заповедь о любви, а сущность и цель любви – единство. Наконец, мерилом истинной любви Он провозглашает любовь к врагам, что, без сомнения, означает призыв преодолевать все человеческие разделения любовью.

У апостола Павла эта тема – сердцевина всего его учения. В Христе он видит начало и принцип не только человеческого, но и всемирного, космического единства. В конце мира, утверждает апостол Павел, будет Бог все во всем (1Кор.15:28). И эта вера в Христа как в источник нового, совершенного и окончательного единства в Боге составляет изначальное вдохновение христианства.

Но наряду с этими текстами мы находим, на первый взгляд, полностью им противоположные. В Евангелии от Матфея есть и такие слова Христа: Недумайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф.10:34–38).

И вот мы стоим перед вопросом: как согласовать оба утверждения? Как понять то, что призыв к единству, молитва о нем, провозглашение его конечной целью всего соседствует с пугающей вестью, что Христос пришел «разделить»?

Сразу заметим, что большинство христиан и нехристиан не столько отвечает на этот вопрос, сколько выбирает одно из утверждений, как если бы только оно и составляло суть евангельского благовестия. Фанатики, сжигавшие еретиков на костре, крестоносцы, истреблявшие во славу Божию тех, кого они называли «неверными», изуверы всех стран, всех времен всегда ссылались на эти слова о мече, оправдывая ими собственную жестокость. А с другой стороны, всегда были и такие, кто ради единства и во имя любви осуждали любое разделение, и значит – отвергали сам вопрос о правде и неправде, зле и добре, истине и заблуждении.

Так первая установка, установка меча, превращает людей в фанатиков, готовых истребить всех «врагов истины». Так вторая установка приводит, рано или поздно, к полнейшему релятивизму, к уравниванию истины и заблуждения, а значит, и к отрицанию истины.

Очевидно, что взятая сама по себе, каждая из этих установок не только не согласна с Евангелием, но и противоречит ему. Как слова о единстве и любви не могут перечеркнуть слов о разделении, которое внес в мир Христос, так и слова о мече не лишают смысла основную христианскую заповедь о любви и единстве. И значит, чтобы понять подлинный смысл этого мнимого противоречия, нужно не выбирать в учении Христа то, что нам больше нравится, больше по душе, а услышать и принять его во всей полноте. Только тогда то, что казалось противоречием, предстанет как единая истина или, лучше сказать, как две равно необходимые половины одной истины, одной Божественной правды.

Первое, что открывается нам при таком подходе, – это абсолютное отличие единства и разделения, о которых говорит Христос, от того, что понимаем под тем и другим мы сами. Так, на земле люди могут и очень часто бывают объединены злом – ложной идеей, ненавистью, завистью, отрицанием. Английский



философ Чемберлен<sup>256</sup> доказывал, что люди гораздо легче объединяются против, нежели за, и именно книга Чемберлена, где говорилось об этом, была любимым чтением Гитлера<sup>257</sup>. Толпа, идущая что-то громить, кого-то избивать, предельно едина. Но признаем ли мы такое единство положительным? Тоже самое можно сказать и о разделении. Вот пытаются увлечь человека его приятели на злое дело, но он не соглашается и уходит от них, разрушая единство шайки. Вот понял человек, что защищал негодную идею, ложные принципы, и отделяется от тех, с кем прежде был в единстве. Есть ли такое разделение зло?

Иными словами, единство и разделение как абстрактные понятия не самодостаточны, ибо могут быть повернуты в любую сторону, наполнены любым содержанием. И здесь мы вплотную подошли к вопросу: о каком единстве и о каком разделении говорят Христос и Евангелие? Ответить на него мы попытаемся в следующей беседе.

## Христианство и лжерелигия. Жизнь как единство и любовь

В прошлой беседе я говорил о том, как трудно по-настоящему принять кажущееся противоречие между словами Христа о единстве и разделении: Да будут все едино (Ин.17:21), с одной стороны, и Не мир принес Я (Мф.10:34) – с другой. И именно потому, что это так трудно, большинство людей, не исключая верующих, выбирает из этих утверждений то, которое больше соответствует их пониманию религии и в конце концов их темпераменту. Я же предлагал подумать о единстве и разделении не в абстрактном значении этих понятий, а в евангельской перспективе. Ибо не всякое единство хорошо только потому, что оно единство, и не всякое разделение плохо только потому, что оно разделение.

Остановимся сегодня на том, что можно было бы назвать первоосновой, источником христианского осмысления этих слов. Думаю, что христианское восприятие Бога, мира и человека ни в чем не выражается так полно и глубоко, как в слове «единство». Краткая беседа, увы, не позволяет даже в самой общей форме изъяснить поистине бездонное богатство того, что называет единством и что переживает, чему радуется в нем христианская вера. Согласно ей, единство – не только одно из желанных качеств жизни, не только одна из вожделенных ее целей, нет! Единство – это сама сущность жизни или, лучше сказать, сама жизнь.

Прежде всего единство раскрыто нам как сущность Самого Бога. Мы верим не просто в одного Бога, но во Единого Бога – Бога, Которого апостол Иоанн Богослов определяет одним, но всеобъемлющим словом: Бог есть любовь (1Ин.4:6). А что такое любовь, как не притяжение, как не жажда полного единства, как не стремление отдать себя другому и одновременно – обладать им? Между прочим отсюда, из этой основной интуиции, основного опыта Бога только и можно понять вполне отвлеченный в восприятии современных христиан догмат о

триедином Боге, т.е. о Боге как совершенном единстве в любви, как о единстве Любящего, Любимого и Самой Любви.

Но если так, если Сам Бог раскрывается как Любовь, а потому и как Единство, то и сущность жизни, которую Он сотворил и призвал к бытию, невозможно определить иначе, чем единство. И не нужно знать ни христианских догматов, ни философских учений, чтобы осознать и пережить взаимное притяжение всего живого. Но если вера прозревает в этом притяжении любовь, пусть нередко падшую и замутненную, то философы безбожия сводят его к сплошному «низу». И все же именно любовь как в самой природе мира и человека заложенное стремление к единству составляет, без сомнения, первооснову всего сущего. О стремлении к единству говорит древняя дохристианская философия, о нем свидетельствуют мистики и духовидцы всех времен, его воплощает и запечатлевает искусство. И вне этого стремления, проще же сказать – вне любви, и мир, и жизнь немедленно превращаются в ад, где господствует леденящая душу борьба всех против всех.

И это навеки выражено в библейском рассказе о творении на том детском и одновременно символическом языке, который один может поведать о последних тайнах, о последней глубине жизни. Что же сказано там? Да всего-навсего то, что любовью и для любви творит Бог мир, призывая его из небытия в чудный Свой свет, ибо Он Сама любовь, а любви свойственно изливаться, творить, быть щедрой. И как венец творения создается Богом посреди мироздания человек, главное свойство которого в том, что он способен на ответную любовь, – в том, что на безмерную, всеобъемлющую любовь Творца, говорящего ему: «Я люблю тебя и потому даю тебе жизнь», человек может ответить словами: «Жаждет душа моя Бога Живого» (ср.: [Пс.41:3](#)) и этой жаждой, этой ответной любовью наполнить жизнь не только свою, но и всего творения.

Люди часто спорят о смысле и цели жизни. Одни видят их в устройении земного благополучия человека, другие – в спасении его души. Но все мы твердо знаем, хоть и не всегда можем выразить в словах, что, как бы ни определялись этот смысл и

эта цель, человек на последней глубине своей не может жить без любви. Лишите любви все земные начинания – и они станут адом принуждения, ненависти и страха. Изгоните любовь из религии – и она станет самой чудовищной формой эгоизма. И как бы ни была умна, прекрасна и желанна цель, без любви она превращается в бессмыслицу, ибо конечный смысл жизни – любовь, а конечная цель жизни – единство. Когда мы по-настоящему любим, то меньше всего говорим о смысле жизни, ибо он осуществляется в самой любви, в которой жизнь достигает цветения и полноты. И чего еще искать, о чем спорить?

Этот опыт жизни как единства и любви лежит в основе христианского учения. И только в свете этого опыта можно понять христианскую интуицию разделения, уразуметь слова Христа о мече, который Он принес. И только по отношению к этому опыту Бога как Любви можно понять, почему Сам Христос в историческом восприятии человечества оказался камнем преткновения и соблазна. Об этом – в следующий раз.

## Христианство и лжерелигия. Спасительное разделение

Единство в любви – так в последней беседе определил я сущность христианской веры, сущность учения Христа, сущность Евангелия. Единство в любви человека с Богом, единство в любви человека с человеком, единство в любви человека с миром, со всем творением Божиим. И в центре этого восстановленного единства – Христос как воплощение любви Бога к человеку и ответной любви человека к Богу. И только в свете этого единства, только в свете этого откровения любви можно понять и смысл разделения, подразумеваемого словами Христа: Немир пришел Я принести, но меч (Мф.10:34). Ибо без этого разделения невозможны то самое единство и та самая любовь, для которых создан человек и восстановить которые пришел Христос.

Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:24), – сказал Христос. Маммона у древних язычников была божеством алчности, стяжательства, и, таким образом, слова эти означают: «Не можете одновременно служить Богу и чреву». Ибо в нашем падшем мире воцарилось служение чреву, т.е. земным интересам, земному идеалу счастья. О, это счастье совсем не обязательно понимать как удовлетворение животных инстинктов, как нечто грубое и низменное! Это может быть посвоему осмысленное счастье коллектива, народа и даже человечества.

Люди отдают себя, посвящают свою жизнь тому, что стало для них «сокровищем сердца» (ср.: Мф.6:21). Но ни одна идея не стоила миру таких потоков крови, не была причиной больших страданий, больших жестокостей, чем идея «всечеловеческого счастья». Упрямые доктринеры, убежденные, что они нашли научную формулу этого всеобщего, окончательного счастья, готовы уничтожить, сгноить в лагерях и тюрьмах миллионы живых людей ради того, чтобы какие-то еще не жившие поколения были счастливы. «Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!» – но для чего? Чтобы смести с лица земли всех мешающих пролетарскому счастью!

Этот и подобные ему идеалы есть та самая маммона, служение которой, как сказано в Евангелии, несовместимо со служением истинному Богу. И это значит, что, если мы хотим начать наше восхождение к светозарному идеалу единства в любви, необходимо, в первую очередь, порвать с маммоной во всех ее воплощениях. Это и есть то разделение, о котором говорит Христос.

Наше обращение к Богу, к Божественной любви начинается с решительного «Нет!» воцарившейся в мире тьме ложных богов, псевдодобра и псевдоистины. И основное различие между этим спасительным разделением и разделением мира, служащего маммоне, в том, что меч Христов никогда не обращен против человека.

Как сказал один святой: «Ненавидь грех и люби грешника»<sup>258</sup>. Там, в земных, «природных» разделениях, наши враги – люди, т.е. все те, кто не разделяют моих идей, не служит *моим* целям, моему народу, моей идеологии. Врагом может быть «буржуй», чужеземец или, наконец, тот, кто мешает мне достичь маленького земного счастья. Но Христос призывает отделяться не от людей, но от лжи и греха, о людях же Он говорит: «Любите врагов ваших, прощайте ненавидящим вас, благословляйте проклинаящих вас» (ср.: [Мф.5:44](#)). Торазделение, которое Господь вносит в мир, оказывается условием высшего единства, первым и решающим проявлением любви.

Полюбить в себе, полюбить в другом лучшее – не значит ли возненавидеть в себе и в другом все то, чем это лучшее затемняется, что мешает мне и ему желать подлинного добра? Не значит ли это – всеми силами отвращаться самому и отвращать его от зла и греха? Любить Божий мир, Божие творение – не значит ли возненавидеть ту злую карикатуру на мир, всю ту бездонную пошлость самого замысла о жизни, что навязывают нам всяческие идеологии?

И здесь важно понять, почувствовать одно: служение Богу, истине, добру, любви и красоте не может не начаться с

разделения и меча. И прежде всего – это разделение во мне самом, это меч, рассекающий меня самого, отделяющий то, что влечет меня ввысь, к лучезарному видению подлинной жизни, от того, что тянет вниз и что апостол Иоанн Богослов назвал «похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской» (ср.: 1Ин.2:16). Такое разделение обрекает мою жизнь быть непрерывным подвигом, борьбой, выбором, крестоношением. И оно есть, далее, разделение со всем тем в мире и людях, что порабощено злу и тьме, это борьба с самим миром во имя Божия замысла о нем.

Неслучайно словом «любовь» называем мы и самое высокое, и самое низменное в человеке, ибо страшная правда о нас, живущих любовью, в том, что любовь может быть не только Божественной силой, возводящей к подлинной жизни, но и греховным влечением, низводящим до отпадения от Бога. Одним и тем же словом называем мы и любовь к деньгам, и плотскую любовь, и любовь к Богу. И следовательно, вся жизнь раскрывается перед нами как безостановочный выбор любви, а потому и как постоянное разделение, постоянная борьба.

Таков тот высокий, чистый и благословенный меч, что приносит в наш мир Христос. Таково разделение, на которое обрекает Он каждого из нас – разделение, где дух побеждает плоть, любовь побеждает ненависть, жажда подлинной жизни, подлинного счастья побеждает тусклое влечение себялюбивого «Я». Не можем мы одновременно служить Богу и маммоне. Усвоив это, мы вступаем на узкий, но и радостный путь.

## Христианство и лжерелигия. Не грех, а заслуга

История религии вообще и христианства в частности отмечена глубокими и длительными разделениями, и на это очень часто указывают как на доказательство, по словам Ницше, «человеческого, слишком человеческого»<sup>259</sup> происхождения и сущности религии. Часто приходится слышать: «Все верующие ссылаются на Бога и все они несогласны между собой!» Думаю, что аргумент этот – не пустяковый и над ним стоит задуматься.

В самом деле, поскольку всякая религия есть вера в Бога, который, по всей видимости, один, то как объяснить, что вера эта столь легко распадается на множество вер, решительно несогласных друг с другом и омрачающих мировую историю взаимной враждой, а подчас и жестокими войнами?

На это можно ответить примерно так. Религия по самой сути своей есть сфера абсолютного, т.е. того, что человек признает окончательной истиной. Истиной не в чисто рассудочном смысле (поскольку из-за таблицы умножения никто никогда не спорил и не воевал), но в смысле последней правды о жизни, исчерпывающего ответа на вопрос: «Как жить, к чему стремиться, чему отдать себя?»

Но поиск истины не исключает заблуждения. И заблуждения, опять-таки, не в смысле ошибки рассудка вроде «дважды два – пять» (ибо ошибочность подобных утверждений нетрудно доказать), а в смысле глубочайшего искажения самого сознания, вследствие чего человек всего себя отдает чему-то недолжному и пагубному.

Дело, однако, в том, что ни истина, ни заблуждение такого порядка не могут быть приняты или отвергнуты принудительно. Здесь неизбежны поиски, внутренняя борьба, муки выбора. И, разумеется, споры. Да, чем выше религия, чем абсолютнее ее призыв, тем ожесточеннее спор вокруг нее, тем больше разделения вносит она в жизнь.

Ибо она и борется, в первую очередь, с теплохладностью, безразличием, равнодушием в человеке. В страшную минуту,



когда Христос стоит перед Пилатом и толпа требует Его казни, римский правитель бросает Обвиняемому свой знаменитый вопрос: Что есть истина? (Ин.18:38), равнозначный утверждению: «Никакой истины, в сущности, нет!» И потому судьба Христа решится им не в свете истины – не в свете того, что было бы единственно верно и справедливо, но применительно к ситуации, требовавшей, чтобы ради умиротворения толпы был предан позорной смерти ни в чем не повинный Человек.

Что ж, Пилат преуспел в этом деле. Непроизошло ни бунта, ни кровопролития, и он мог спокойно отослать начальству отчет о том, какое мудрое решение им найдено. Но не знал он, что имя его навсегда останется нарицательным обозначением всех тех, кто, как сказал поэт, «к добру и злу постыдно равнодушны»<sup>260</sup>.

Так вот, именно в свете этого неравнодушия к истине, нежелания предать ее и нужно толковать глубинный смысл всех религиозных споров и разделений. Одного не скажет в этой связи сколько-нибудь верующий человек – он не скажет: «Мне все равно!» Ибо ему не все равно. Он не может сделать своими утверждения ныне забытого, а некогда гремевшего поэта: «Есть два пути, и все равно, каким идти»<sup>261</sup>. В решающий момент подлинного выбора, подлинного суда над своей верой он должен выбрать истинный путь. И как только он встанет на него, ему будет не по пути с тем, кто выбрал ложный, к греху и смерти ведущий путь.

И такое разделение, укорененное в отказе от постыдного равнодушия, от страшного пилатовского цинизма следует признать явлением высокого порядка, заслугой, а не грехом христианства. Именно оно, христианство, внесло в человеческую жизнь верность главному, дало человеку силы не сдаться лжи и заблуждению.

Признаем открыто, что этот спор о главном, это напряженное искание истины и верность ей слишком часто приводили к попыткам силой навязать собственное понимание истины. Ревность об истине слишком часто вырождалась в фанатизм и гонения, которые верующая совесть не вправе

оправдывать и в которых нужно безоговорочно каяться. Да, верующие слишком часто забывают, что о мече, отсекающем истину от лжи и добро от зла, Христос сказал дважды. Первый раз: Немир пришел Я принести, но меч ([Мф.10:34](#)), второй – уже в Гефсиманском саду, когда приближалась толпа, искавшая Его смерти, и один из учеников выхватил меч, чтобы защитить Учителя: «Вложи меч твой в ножны, ибо всякий, взявший меч, от меча погибнет» (ср.: [Мф.26:52](#)). Первые слова относятся к высокому разделению – к выбору, верности, неуклонному стоянию в истине. Вторые – к перерождению этого стояния в насилие, в попытку защитить истину внешней силой.

И потому, если безоговорочному осуждению подлежит навязывание истины, кем и где бы оно ни совершалось, то поиск истины и верность ей следует столь же безоговорочно признать высшим призванием человека. Мир, построенный на принципе Пилата, т.е. на равнодушии к добру и злу, рано или поздно предаёт человека. И только там, где есть искание, где возможен высокий спор об истине, человек остается человеком и жизнь его – человеческой жизнью.

## **Христианство и лжерелигия. Христос говорил только о вере**

В этих беседах, да и в жизни, мы очень часто прибегаем к понятию «религия». Сегодня мне хотелось бы отчасти его проанализировать и вдуматься в то, как пользуемся им мы и как – антирелигиозная пропаганда.

Пока существуют человек и человечество, будет существовать и религиозная проблема. Я подчеркиваю: религиозная проблема, а не просто религия. Религия – понятие сложное и растяжимое. Она может быть (и часто бывала в прошлом) лишь частью быта, тем, над чем люди, живущие этим бытом, по сути дела не задумываются, что усваивают механически, как покрой одежды, форму поведения и т.п. Так, в древних обществах религия была общественным и государственным установлением, и от человека не требовалось никакого особого – т.е. личного и сознательного – к ней отношения. Были религии обществ земледельческих, кочевых, военных. В таких религиях никакие проблемы не ставились и не решались, и в первую очередь не решалась там проблема истины. С этой точки зрения христианство было революцией в недрах самой религии, взрывом, который изнутри раз и навсегда поставил под сомнение религию, обслуживавшую лишь бытовые и общественные нужды.

Мы не должны никогда забывать, что Сам Христос учил и проповедовал среди людей религиозных, и конфликт, приведший Его к казни на кресте, был конфликтом и с религией. Не должны забывать, что и последователи Христа проповедовали в мире, который держался на такой традиционной религии, и что гонения, на протяжении веков регулярно вспыхивавшие против Церкви и христиан, были, опять-таки, гонениями религиозными. Что отсюда следует? Будь религия чем-то однородным, всегда равным себе, т.е. не изменяющейся во времени идеологией, какой представляет ее антирелигиозная пропаганда, не было бы и того конфликта, из которого выросло все христианство. Между тем весь смысл

христианства в том, что оно поставило ценность религии в зависимость оттого, как решается в ней религиозная проблема, т.е. вопрос, обращенный к каждому человеку и требующий предельно личного ответа.

Христос никогда не говорил о «религии вообще», но только о вере. Вера же может быть только личной: верить я могу лишь за себя, но не за коллектив, подобно тому как любить могу не за коллектив, но лишь за себя. И никто другой ни верить, ни любить за меня не может. Вера всегда есть разрешение вопроса, который именно мною осознается как самый важный. Кто я? Откуда возник я в этом мире и куда иду? Что означает присущая мне способность мыслить, любить, радоваться, страдать? Как и почему все живущее неизменно исчезает в смерти – в том таинственном конце, который я не могу себе даже представить? И главное – на что указывает, о чем говорит моя внутренняя жажда и тайная уверенность, что ответы на все эти вопросы существуют, должны существовать, что не могут они быть случайными, как пузыри на воде?

Такой ответ и следует назвать верой. Это не рационально-научное или философское построение, не физическая или биологическая теория. Это опыт, подобный опыту любви или радости, когда всем существом, всей силой своей человечности опознаешь нечто как истину, порой не выразимую в словах. Для нас, христиан, таким опытом любви и радости является Христос. Когда мы смотрим на Него, слушаем Его слова, следуем за Ним в жизни, стараясь на деле исполнить Его заповеди, то всякий раз убеждаемся: тут ответ на все конечные вопросы, тут свет и мир. И отходя, изменяя Ему, мы обретаем лишь тьму и распад.

Но вот снова раздается единственный в мире голос: Я есмь путь и истина и жизнь ([Ин.14:6](#)). Снова возвышается на кресте Сын Человеческий, распятый зато, что говорил о любви и свободе, о царственно-небесном призвании человека. И снова мы с Ним.

И что могут против этого опыта все жалкие хулы, мелкие «развенчания» и шипящая злоба скучных, как смерть, врагов?

## Христианство и лжерелигия. О нашем идолопоклонстве

В прошлой беседе я говорил, что нам, верующим, необходимо почувствовать и осмыслить духовный поиск, духовный голод и жажду, которые вновь пробуждаются в мире, но, увы, слишком часто сталкиваются с равнодушием, самодовольством и своего рода духовным триумфализмом самих христиан.

Я говорил, что миллионы людей за последнее столетие отошли от веры не по злой воле, не из ненависти к религии, но потому, что слишком часто в самой религии, а главное – в религиозных людях не нашли той соли, о которой говорил Христос: «Если соль потеряет силу, чем осолится?» (Ср.: Мф.5:13)

Поэтому, сказал я в заключение, настало время не только защищать веру от клеветы казенной антирелигиозной пропаганды, но также, по слову апостола, «дать ответ о своем уповании» (ср.: 1Петр.3:15). Ведь нам как ученикам Христовым сказано было идти в мир и проповедовать всей твари, мы же слишком часто замыкаемся в собственном «религиозном уюте» и оттуда с негодованием взираем на любую попытку его нарушить. Нам сказано было подавать алчущим хлеб, но как часто вера наша оказывается в глазах тех, кто ищут Бога, камнем вместо хлеба, т.е. нагромождением формальных предписаний и запретов без света, вдохновения и радости! И вот отходят ищущие снова блуждать в потемках, а мы не знаем даже, сколькими пренебрегли, скольких оттолкнули и соблазнили.

Итак, пора задуматься о своей вере, пора в себе самих произвести ту переоценку ценностей, к которой, в сущности, и всегда призывало нас христианство устами апостола Павла: Все испытывайте, хорошего держитесь (1Фес.5:21).

В этих беседах речь идет не о «религии вообще», но о христианстве, а для верующих в Христа такая переоценка ценностей не может не начаться с одной истины. Открытая нам,

христианам, без малого два тысячелетия назад, она постоянно меркнет в нашем сознании, вольно или невольно предается нами. Истина же эта заключается в том, что религия сама по себе, «религия вообще» – величина далеко не всегда положительная. С христианской точки зрения – и многим христианам это утверждение покажется, я уверен, очень странным и даже пугающим – религия может быть выражением не только лучшего, но и худшего в человеке. Вот, казалось бы, ни на что не положило христианство столько усилий, сколько на борьбу с идолами и идолопоклонством. Именно его, идолопоклонство, провозгласило оно глубочайшим злом, поистине дьявольской сетью для мира. Ибо идолопоклонство – это и есть религия как выражение не лучшего, а худшего в человеке.

Но мне скажут: «Что же тут особенного? Идолов нужно было сокрушить, и христианство их сокрушило. И разве летопись наша не начинается с того, как новокрещенные киевляне спихнули Перуна в Днепр и этим положили конец идолопоклонству?» Иными словами, многие современные христиане считают идолопоклонство древним явлением, которому давно уже положен конец. И вот почему в наши дни особенно важно уяснить, что на деле идолопоклонство продолжает жить в мире, что мир более чем когда-либо полон идолов, все так же требующих от человека жертвоприношений и поклонения. Но страшнее всего то, что сами христиане слишком часто повинны в возрождении идолопоклонства, т.е. в подмене истинной религии лжерелигией. Поясню свою мысль: идолопоклонство налицо всякий раз там, где служение и повиновение Богу подменяются попытками, пусть бессознательными, заставить Бога служить и повиноваться нам – нашим нуждам, нашим интересам, нашему эгоизму. Древние идолы потому и были такой силой, что обращение к ним сулило помощь в делах, победу над врагами, всяческое благополучие. Но разве не того же сплошь и рядом требуем от религии мы?

А между тем именно в этом пункте – коренное отличие христианства от тех древних религий, или, в собирательном смысле, от той древней религии, что встретила его огнем и

мечом, ибо сама давно стала идолопоклонством – человеческим самослужением. И именно от этого освободил религию Христос, во главу ее поставив не удовлетворение земных нужд и даже не утешение, но непрестанные поиски Царства Божия. Этот центральный момент христианства мы не можем упускать из виду, если не хотим исказить всю перспективу, весь смысл нашей веры.

## Христианство и лжерелигия. Чем уникально христианство

Не «Веруеши ли?», но «Какো веруеши?» – вот вопрос, говорил я в одной из бесед, единственно важный сегодня. Ибо каждый человек во что-нибудь да верит и многие из наших «человеческих, слишком человеческих» верований так или иначе рядятся в религиозные одежды. Одни верят в грядущий рай на земле, другие утешаются раем загробным, но разница здесь в конечном счете невелика: и с той и с другой стороны видим мы убежденность и жертвенность и одновременно – фанатичную нетерпимость и ненависть к инакомыслящим.

Религией, в сущности, можно назвать не только веру в то или иное божество, но и сам факт обожествления того, что особенно нравится или особенно необходимо человеку. Таков и был в древности смысл самого слова «религия»<sup>262</sup>. Первобытные язычники обожествляли непонятные им силы природы, более цивилизованные язычники (римляне, например) обожествляли свое государство и правителей, а язычники позднейших времен, революционеры, обожествили революцию. В этом смысле подлинный конфликт не есть конфликт религиозного и антирелигиозного мировоззрений, но конфликт религии истинной и религии ложной. «Мир полон богов», – еще в древности заметил один мудрец. И вот от нас требуется непрестанно решать важнейший и труднейший из вопросов: «Где Бог и где идол?» Где поклонение *в духе* и истине (Ин.4:23), о котором говорил Христос, и где страшное самоослепление от служения малым божкам – идолам?

С этой точки зрения христианство занимает, без сомнения, исключительное место. И не потому, что христиане, как и представители всех иных верований, признают свою религию самой истинной, но потому что христианство отличается единственным в своем роде подходом к религии как таковой. Конечно, в чисто историческом плане христианство может восприниматься как одна из множества существующих в мире религий – иными словами, как частный случай некоего общего



явления, так сказать «религии вообще». При желании можно отождествить христианство с определенными народами и расами, указать в нем и много других «человеческих, слишком человеческих» сторон. Но сколь ни присущи историческому христианству, сколь часто ни выдавались эти черты – в том числе и самими христианами – за основную суть христианства, они – не более чем наросты на нем. Суть же христианства в том, что оно вошло в мир как провозглашение и явление новой жизни.

В отличие от всех религиозных учителей человечества, Христос принес не новую доктрину, не новую мораль, не новый культ, но в подлинном смысле благовест (ибо именно так переводится греческое слово «евангелие»). Он принес нечто неслыханное – то, что требовало от человека не столько согласия разума (как требует философия), не столько согласия воли (как требует мораль) и даже не столько веры в обыденном смысле (как преклонения перед истиной), но всецелого обращения. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17) – вот первые слова проповеди Христовой. Но покайтесь(μετανοεῖτε) в греческом оригинале Евангелия означает буквально «обратитесь, переменитесь», т.е. научитесь видеть то, чего прежде не видели, слышать то, чего прежде не слышали. И все, что родилось из этой проповеди, – Церковь и богослужение, вероучение и мораль, обряды и быт – предполагало всецелое обращение и без него оказалось бы лишь подновленной формой «религии вообще». Именно здесь – вечная новизна христианства, не переставшая быть новизной, оттого что по человеческим меркам оно – древняя религия со своей сложной и подчас трагической земной историей.

И, наконец, содержание, причина и одновременно следствие этого обращения – Сам Христос. Неочередной учитель и основоположник, как Будда, Моисей или Магомет, но воплощенный Бог и потому – всеобъемлющее содержание самой жизни, высший ее смысл, высшая радость, высший свет, то, чем живет и осознаёт себя как живущая вся наша жизнь, жизнь мира. Христос зовет нас обратиться. Ибо уверовать в Него – а значит, принять Его не как отвлеченное учение, но как

саму Жизнь – можно только через обращение, т.е. самое радикальное изменение нашего внутреннего зрения и слуха, нашего восприятия себя и мира. Ум наш живет рациональной проверкой, но найти рациональное подтверждение каждому евангельскому свидетельству о Христе нельзя; воля наша живет сознательным усилием, но уверовать в Христа, полюбить Его волевым самопринуждением никому не дано. Христианская вера уникальна, потому что в отличие от всех других человеческих верований имеет своим источником опыт общения с Самой Жизнью. Именно отсюда и нужно начинать объяснение христианства.

## Христианство и лжерелигия. С вопроса о Христе

Всякий разговор об отношении христианства к тому или иному явлению в мире, равно как о заслугах и достижениях либо о падениях и изменах самих христиан в истории, следует начинать с вопроса о Христе. Повторяю: с вопроса не о «Боге вообще», не о догматах, не о христианской морали и даже не о Церкви как организации, вероучении и культе, а о Самом Христе.

Ибо место, принадлежащее в христианстве Самому Христу, несоизмеримо с тем, какое во всех остальных религиях принадлежит их основоположникам. В буддизме, например, сам Будда не играет никакой особой роли, и для содержания его совершенно безразлично, был ли тот исторической личностью. Содержание иудаизма, т.е. религии евреев, не зависит от того, сам ли Моисей написал те пять книг Ветхого завета (главное обоснование божественного происхождения этой религии), что традиционно связываются с его именем. Даже магометанство, при всей очевидной его связи с личностью Магомета, никак не есть вера в Магомета, и подробности его биографии не имеют значения для тех, кто стремится уяснить предписания Корана. Поэтому о вере и морали буддистов, иудеев или магометан можно говорить вне личностного контекста, представляя их некоей системой религиозных воззрений и моральных установок. В христианстве же и вера, и мораль, и сама Церковь не имеют никакого смысла и значения вне отнесенности к Христу не просто как основоположнику и законодателю, но как уникальному и всеобъемлющему его, христианства, содержанию. Христианство есть религия Христа одновременно и как вера в учение Богочеловека Христа, и как вера в Него Самого, в содержание всей Его жизни.

Неслучайно поэтому враги христианства так долго, настойчиво и в конце концов безуспешно пытались доказать, что Христа на самом деле никогда не было. Они прекрасно понимали и понимают, что религия, целиком основанная на словах ее Основоположника: «Без Меня не можете творить

ничего» (ср.: Ин.15:5), рухнет и бесследно исчезнет с изъятием этого Основоположника. Буддийская техника молитвы, созерцания, внутреннего очищения существует независимо от Будды, ею можно пользоваться, ничего о нем не зная; в христианстве же все исходит от Христа и все к Нему приводит. Иуже не я живу, – восклицает апостол Павел, – но живет во мне Христос (Гал.2:20). Поистине нельзя лучше и сильнее выразить эту уникальность и парадоксальность христианства. В самом деле, либо Христос есть то, что Он Сам о Себе утверждает, либо нет, но тогда ничего не остается и от христианства. Тогда бессмыслен всякий спор о «христианских принципах», ибо у христиан в конечном итоге один принцип – Сам Христос. Все христианство основано на странной, рационально не объяснимой вере в то, что среди бесчисленных событий человеческой истории есть одно не просто исключительное по своему значению, но раз навсегда решившее судьбу человека. Ибо Сам Бог в этом событии явился на земле как Человек, а человеку дано было Божественное откровение о жизни и смерти, о мире и о нем самом. В этом событии смерть была побеждена и упразднена, человеческий же род получил бессмертие.

Теперь уже незачем возвращаться к давнишнему спору, существовал ли в действительности Человек, Которого христиане считают Богом. Ибо самые упорные враги христианства постепенно осознают, что потерпели здесь поражение. Ни один уважающий себя историк – верующий или неверующий, христианин или нет – не станет больше отрицать существования Христа. Совсем недавно, к примеру, вышла книга еврейского историка Флуссера<sup>263</sup>, в которой историчность Евангелия не подвергается сомнению. Конечно, утвердившееся в науке убеждение, что Христос действительно жил, пострадал и умер в первые десятилетия нашей эры, не может автоматически привести весь мир к вере в Него, ибо борьба с христианством принимает все более тонкие и изощренные формы. Ведь одно дело – признать историческое существование Христа и совсем другое – сказать вместе с апостолом Павлом, что уже не я живу, но живет во мне Христос.

Отсюда следующий вопрос: чем живет и держится эта вера? Что может ответить сознательный христианин двадцатого века на вопрошание: «Почему ты веруешь в Христа? Что вера эта для тебя значит?» На этот вопрос, к которому каждый верующий должен быть всегда готов, мы и попытаемся ответить в следующей беседе.

## Христианство и лжерелигия. Коренная мутация

Вряд ли можно сомневаться, что если человечеству суждено дальнейшее развитие, то наш XX век останется в человеческой памяти как эпоха грандиозной мутации, некой радикальной перемены. И было бы крайне неверно думать, как думают многие, что мутация эта связана преимущественно, если не исключительно, с наукой, т.е. с теми открытиями и достижениями, которые привели будто бы к радикально новому взгляду человека на самого себя, на мир, историю и т.д.

Спору нет, наука сыграла в этих переменах огромную роль, во многом изменив условия жизни и, следовательно, повлияв на психологию и самосознание человека. И однако видеть только в ней причину того колоссального кризиса, которым отмечена наша эпоха, вряд ли правильно. Скорее наоборот: те процессы, те идеи и страсти, что определяют собой наше время, очень часто противоположны науке, никак не вытекают из ее открытий, никоим образом не соответствуют ее методам. Из какой науки, например, можно вывести идею равенства всех людей – из химии, физики, биологии, генетики? Уж если на то пошло, все эти науки поддержали бы скорее противоположную идею – идею радикального неравенства всего существующего. А между тем миллионы людей добиваются всеми возможными способами осуществления именно равенства, хотя и не могут определить, в чем, собственно, оно заключается и каким образом осуществится на земле. С другой стороны, чем больше естественные науки открывают основоположную зависимость всех от всех и всего от всего на земле, тем сильнее мечтает человек о свободе и освобождении, хотя содержание и этой мечты остается невыясненным. Следовательно, та мутация, та коренная перемена, о которой мы говорим и которой, вне всякого сомнения, отмечен наш XX век, несводима только к науке, и причины, как и содержание ее, нужно искать гораздо глубже.

Что же случилось, что привело к тому, что мир как бы сорвался с цепи и все в нем стало смутным и проблематичным,

чреватых стихийными конфликтами, страстными спорами и разделениями, а человек утратил ощущение ясности и устойчивости? Ясно, что дело тут не в одной науке, а в чем-то гораздо более глубоком – в обвале и распаде того, что можно назвать мироощущением. Всегда, во все эпохи людей объединяли не столько ясно изложенные идеи, сколько общее мироощущение, некое глубинное восприятие самой жизни – восприятие, которое далеко не каждый мог выразить и сформулировать. В одну и ту же эпоху на земле могло существовать, и на деле существовало, множество таких мироощущений. Еще совсем недавно западному человеку трудно было понять мироощущение восточное – китайское, японское, индусское. Ученые, историки, этнографы стараются проникнуть в тайны исчезнувших миров и исчезнувших мироощущений – доколумбовой Америки, примитивной Африки и т.д. И, наконец, внутри каждого из таких мироощущений, вернее, на их поверхности могли быть разногласия и споры. Так, «христианский мир», т.е. мир, принявший христианскую веру и положивший ее в основу своей цивилизации, разделялся на католичество, Православие, протестантство, но все же в нем сохранялось некое единство глубинного восприятия жизни. И вот современная мутация вызвана, вне всякого сомнения, кризисом и распадом прежнего мироощущения, попытками его пересмотреть и переоценить. Говоря попросту, человек не знает, для чего он живет, с одной стороны, и как ему жить – с другой. Именно на эти два основных вопроса и отвечало, сознательно или бессознательно, всякое мироощущение.

Напряженность конфликта, предельная страстность споров, ожесточенность, с которой человек отстаивает свои идеи, – все это показывает, что бывшее некогда и ясным и самоочевидным перестало быть таковым, более того – что люди просто перестали понимать друг друга. В условиях этого распада требуется прежде всего уразуметь, о чем, собственно, идет речь. Нужен не поверхностно-упрощенный спор, а углубление в суть. Да, я чего-то не принимаю, но почему? Да, я что-то утверждаю, но почему? Вряд ли пушки и атомные бомбы могут быть здесь ответом. Если что-то в прошлом было ложным и

неприемлемым и следует выработать новое, общее мироощущение, то на какой основе? Ибо ничего так не жаждет наша эпоха, как возвращения к основным вопросам, заглушенным грохотом страшных катастроф, неслыханной жестокостью, каким-то всемирным озлоблением.

Именно об этом, о возможности или невозможности целостного мироощущения мы и хотим поговорить в следующих беседах. Ибо нужно поставить и перед своей совестью, и перед совестью слушателя главный вопрос: сохраняет ли еще какой-нибудь смысл слово «жизнь» не в плане только биологическом, не в плане борьбы за существование, экономические привилегии и т.п., а как обозначение целостного явления, в котором обретает глубинную опору человек. Было время, когда слово «жизнь» все это и означало – и физическое существование, с одной стороны, и смысл, и цель, и, наконец, метод жизни, систему ценностей, которой жили и в которую верили люди – с другой. Но это целостное восприятие жизни распалось. Для одних она осталась лишь биологическим существованием, для других – только идеологией.

И вот попытаться собрать воедино разрозненные куски былой целостности – задача следующих наших бесед.



## **Христианство и лжерелигия. Трагедия, но и надежда**

В прошлой беседе я говорил, что та коренная перемена, или мутация, которую все мы ощущаем как главную черту нашей беспокойной эпохи, связана с кризисом мироощущения. Мироощущением же я называю то целостное восприятие жизни, ее цели и содержания, которое объединяет людей каждой данной эпохи. Объединяет вне зависимости от того, могут ли все они ясно его сформулировать. Вот такого общего мироощущения нет сейчас на земле, а есть искание, есть столкновение всевозможных идеологий, есть фанатизм частичных истин, выдающих себя за истину абсолютную, есть разброд и неуверенность, страх и ненависть. И потому, говорил я, задача и долг каждого, кто понимает глубину этого кризиса, – обратиться от поверхностных споров к основным вопросам. Ибо споры эти все больше походят на разговор глухих. И вот далеко не случаен, мне кажется, тот факт, что XX век, помимо прочих своих особенностей, оказался веком открытой и яростной борьбы с религией, веком неслыханной в человеческой истории попытки религию ликвидировать.

Уточню свою мысль. История знает множество примеров религиозной борьбы, т.е. борьбы одной религии с другой. Античное язычество преследовало раннее христианство. Восторжествовавшее христианство, в свою очередь, вело ожесточенную борьбу с язычеством, а позже с мусульманством. Наконец, в истории самого христианского мира целая эпоха получила название «эпохи религиозных войн», когда католичество боролось с протестантством, протестантство с католичеством и т.д. Но то были войны в прямом смысле религиозные. И никогда еще не было войны с религией как таковой, с религией во имя полного ее искоренения. Это явление поистине новое, и оно заслуживает самого пристального внимания не только с точки зрения религиозных людей, но и само по себе. Ибо именно с религией связано было до сравнительно недавнего времени всякое мироощущение, или, точнее, религия была носителем и выразителем

мироощущения. И если с нею стали так яростно, так фанатически бороться, то это потому, что возненавидели стоящее за нею мироощущение.

В самом деле, особенность нашего времени в том, что о религии впервые заговорили как об однородном явлении. Профессиональные атеисты и борцы с религией толкуют не о той или иной религии, а о религии вообще. Но если бы апостолу Павлу сказали, что преследующие его римские язычники веруют сходно с ним, он не только бы очень удивился, но и с негодованием отверг бы такое утверждение как неправду и абсурд. Да что апостол Павел? Всякий современный христианин, знающий, что христианство во главу угла своей веры ставит личного Бога и потому человеческую личность, знает, к примеру, и то, что индуизм есть религия, отрицающая личного Бога заодно с человеческой личностью, а стало быть, во всем противоположная христианству. А между тем пресловутый научный атеизм постоянно говорит о религии как о чем-то однородном и именно с религией в таком понимании призывает бороться. И было бы неверно думать, что делается это только в силу невежества или нечестности. Ибо все дело в том, что религия и вера, вера и религиозная жизнь (в христианстве воплощаемая в Церкви) – понятия совсем не тождественные.

Я, наверное, очень удивлю своих слушателей, сказав, что христианство – во всяком случае изначально – не только не было, но и не хотело быть религией в том смысле, какой связывали с нею иудеи или язычники. Больше того, оно было восстанием против такого понимания религии, ибо восставало в первую очередь против определенного мироощущения. На деле (и мы постараемся показать это в следующих беседах) современный атеизм борется не с религией, ибо в определенном смысле (и об этом я тоже еще скажу) сам является религиозным мироощущением. Он борется с верой, а еще больше – с определенным выражением этой веры в жизни, т.е. с внешним воплощением этой веры, которое мы условно определили как Церковь. И борьба эта ведется во имя другой веры, т.е. другой системы абсолютных ценностей.

Вот почему, говоря о грандиозной мутации нашей эпохи, мы рано или поздно должны будем прийти к самому основному, извечному вопросу: «Како веруеши?» Ибо всякий человек верит во что-то, и нет человека совсем неверующего. Вопрос всегда только в одном: во что он верит? Страшная, но одновременно, быть может, и многообещающая трагедия нашего времени в том, что человек, даже веря, слишком часто не знает, во что же он, собственно, верит, и потому так легко отдает себя ложным верам и ложному абсолюту. Разобраться в этом – задача наших бесед. И начнем мы с того различения, на которое я только что указал: религия, вера, Церковь. Неуяснив различия между этими понятиями и стоящими за ними явлениями, мы не сможем разобраться в религиозной трагедии и, быть может, в религиозной надежде нынешней эпохи. Наше время, утратив бывшее мироощущение, ищет мироощущения нового, ибо слишком сложной и одновременно слишком раздробленной стала сама жизнь. И если столько людей вокруг нас, несмотря на все внешнее благополучие, страдают нервными болезнями, чувствуют себя абсолютно одинокими, то не потому ли, что за этим материальным благополучием стоит глубочайшая духовная растерянность, незнание того, во что верить, для чего и как жить?

## Религия чудес? О чуде

В этой беседе я хочу в связи с некоторыми недавними статьями вернуться к древней как мир проблеме чуда.

«Возможно ли чудо?» Под таким заглавием появилась недавно статья некоего кандидата медицинских наук Лебедева<sup>264</sup>. Статья эта была ответом на письмо, в котором читатель из Перми просил помочь ему разобраться в вопросе о чуде. «По соседству со мной, – писал этот читатель, – живет одна женщина, которая уверяет меня, что, побывав у святой иконы, она вдруг исцелилась от всех болезней. Помогите мне разобраться».

И вот кандидат медицинских наук Лебедев оказывает эту помощь. Аргументация его отнюдь не нова: основываясь на опытах И.П.Павлова, он сводит все чудесные исцеления к гипнозу, а в конечном счете – к механизму торможения и раздражения клеток мозга. «Исцеление – это шок, прекращающий заторможенность некоторых процессов». \*Но, – прибавляет Лебедев, – никогда не было случая, чтобы при поклонении иконам, мощам и т.д. излечивались так называемые органические заболевания, вызванные разрушением нервных клеток».

В этой беседе мы не будем спорить с Лебедевым – важно в конце концов, не это, а подход религии к чуду. А в Евангелии есть необычайно знаменательное место, где про Христа сказано, что в одном городе Он не мог совершить чуда из-за неверия окружавших Его людей (см.: Мф.13:58). Что же это значит?

Это значит, прежде всего, что подлинно христианское учение о чуде исключает пользование чудом как доказательством чего бы то ни было и прежде всего – бытия Божия. Как далеки должны быть мы от низменной, вульгарной теории чуда как магического фокуса, который Бог производит для того, чтобы люди поверили в Него ! Эту теорию подлинное христианство всегда с ужасом отвергало: чудо не в этом. Чудо, подлинное чудо в том, что, когда Христос умирает на кресте,

всеми преданный и брошенный, распинавший Его римский офицер восклицает: «Воистину это был Сын Божий!» (ср.: [Мк.15:39](#)). Чудо в том, что учение Христа распространяется по всему миру, побеждая его, и могущественнейшая в мире власть вот уже пятьдесят лет как не может с ним справиться. Чудо в том, что все доказательства, все аргументы вроде тех, что десятками лет повторяют господа лебедевы, разбиваются о веру.

Можно сказать еще проще. Для веры все становится чудом, все переживается как чудо: и синеенебо над нами, и любовь, и улыбка, и рост человеческого знания, и победа человека над миром, и сам этот мир. И вот верующий взирает на этот мир с благодарной и радостной молитвой: «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих!»

Что такое вера? Это постепенное претворение всей жизни в чудо, это знание, что сила и победа – в любви. Да, она действует на всякого рода клетки, но и в этих клетках, в премудром их устройении – тоже чудо, и не убрать его из мира поборникам всего серого и будничного. И не потому верим мы в Бога, что видели чудо, а потому, что и во всем видимом мире видим чудесное, потому что и в человеке и в природе увидели Бога, Его любовь, Его силу, Его мудрость. Увидели, полюбили – и вот все стало чудом.

## Религия чудес? Плод, а не источник

«Религия требует от человека веры в чудеса. Чудо, т.е. непонятное и необъяснимое нарушение законов природы, составляет основу религии. А так как чудес не бывает, то и религия – сплошной обман», – вот одно из самых распространенных обвинений, которые выдвигают против религии пропагандисты безбожия. В сущности, здесь два утверждения. Первое – что религия основана на вере в чудеса, второе – что чудо невозможно. Оставим на время возможность или невозможность чудес и посмотрим, насколько верно первое утверждение.

На первый взгляд, оно правильно. В Евангелии много рассказывается о чудесах Христа – об исцелении больных, воскрешении мертвых и т.п. Но при внимательном чтении мы убеждаемся, что Евангелие не только не считает чудо источником веры, но и прямо разоблачает веру, основанную на чудесах, как ложную. В одном его месте сказано, что Христос не мог совершить чудес из-за неверия людей. Разберемся, что это значит, на что указывает. Прежде всего на то, что чудо в Евангелии есть результат веры, ее плод, но никак не источник, не доказательство. Если же вдуматься в чудеса Христа, то, опять-таки, будет ясно, что смысл всех повествований о них не в самой чудесности того, что делал Христос, а в Его побуждениях – в том, что Он любит, жалеет, сострадает. И эта любовь, эта жалость и сострадание, это постоянное стремление поднять, исцелить, возродить, вывести человека из состояния греха и отчаяния, есть источник всех Его дел. Евангелие отвергает и осуждает чудо ради чуда, но утверждает чудесность любви и сострадания, имеющих силу, о которой мы зачастую и не догадываемся. Все чудеса Христа – это свидетельство о силе духа, о заложенной в человеке возможности преодолевать и подчинять духу собственную ограниченность.

Короче говоря, с точки зрения Евангелия, чудо не нарушение законов природы, а глубокое и всеобъемлющее использование этих законов. Ненужно забывать, что многих

законов природы человек еще не знает, существования многих сил природы даже не подозревает и пользоваться ими из-за своей нравственной ограниченности не может. Сила духа, сила духовного в человеке – вот основа того, что называется в Евангелии чудом, а еще чаще – знамением. Евангелие зовет человека не только к научному овладению природой, но еще и к духовно-нравственному совершенству. Наука не знает любви, но любовь есть, и она чудесна. И каждый из нас знает минуты духовного подъема, минуты торжества в нас добра, любви и света, когда невозможное становилось возможным, когда на наших глазах или в наших душах совершалось подлинное чудо.

В этом, и только в этом смысле христианство говорит о чуде.

## Религия чудес? Чудо чудес

Христос, согласно Евангелию, возвращал зрение слепым, поднимал с одра расслабленных, исцелял хромых, останавливал кровотечение. Все это обычно воспринимается верующими, как чудесное доказательство Его Божественного всемогущества, как знак Его сверхчеловеческой, чудесной силы. И именно потому, что верующие всегда так много говорят о чудесах, воинствующее неверие направляет свою атаку главным образом против чудес и чудесного. В ответ на утверждение верующих, что чудеса доказывают правильность их веры, атеисты заявляют: «Так как чудес не бывает, то ваша вера – обман».

Я думаю, пора напомнить и верующим и неверующим, что чудеса и чудесное не стоят в центре евангельского повествования, как никогда не стояли они и в центре христианской веры. Напомним несколько простых фактов из Евангелия. Про Христа сообщается, например, что в одном месте Он не мог совершить чудес из-за неверия жителей. Уже одно это доказывает, что для христианства не вера от чуда, а чудо от веры и что вера, основанная на одном лишь чудесном или, как принято говорить, «сверхъестественном», – вера не подлинная. Но пойдем дальше. Все согласятся, конечно, что чудо всех чудес – это воскресение Христа из мертвых. Между тем именно в рассказе евангелистов о явлениях воскресшего Христа мы встречаем странные, с точки зрения расхожего понимания чуда, указания и замечания. Женщины, пришедшие на гроб и встретившие Христа, принимают Его за садовника и спрашивают, не Он ли спрятал тело Иисуса. Христос присоединяется к двум ученикам, идущим в Эммаус, и они не узнают Его. Христос встречает одиннадцать апостолов в Галилее, и, по рассказу Евангелия, одни поклонились Ему, а другие усомнились (см.: [Мф.28:17](#)). Вот ученики ловят рыбу на Геннисаретском озере, и Христос ждет их на берегу, а они не смеют спросить, кто Он, зная, что это Христос (см.: [Ин.21:12](#)).



Все это звучит странно. Ведь если под чудом понимать объективное, для всех одинаково убедительное нарушение естественных законов, то что значит тогда это неузнавание, сомнение, смущение? По человеческой логике ученикам, знавшим, что на берегу, ожидая их, стоит Христос, незачем было спрашивать, кто Он. Если одиннадцать воочию увидели Его, то почему и в чем некоторые из них усомнились? Если женщины, знавшие Христа, могли принять Его за садовника, то, значит, не было в этих явлениях той объективной самоочевидности, какую имеют все обыденные явления. Значит, можно было и не узнать Христа, и наоборот: узнавание Его было иным, чем узнавание всего остального. Но можно пойти дальше: из Евангелия совершенно ясно, что Христос никогда не хотел, чтобы люди верили в Него под влиянием чуда. Недаром издевавшиеся над Распятием говорили: «Пусть сойдет с креста, и мы поверим в Него» (ср.: Мф.27:42). Но Христос не сошел с креста, не проявил никакой чудесной силы. По-человечески, или «объективно», смерть Его была позорным крахом, и это важно помнить, говоря о чудесном и чудесах в христианской вере. Нечудесами, не силой привлекает к Себе и побеждает Христос. Будь чудо главным в христианстве, не было бы оно верой в нищего и бездомного Учителя, не имевшего, где главу приклонить, и не были бы записаны Его слова о Себе Самом: Ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф.11:29).

Но значит ли это, что чудес нет и не бывает? Значит ли это, что напрасна вера в Воскресение, что Христос не помогал, не исцелял, не воскрешал? Конечно, нет. Это значит одно: чудо и чудесное открываются тем, кто уже поверил, и поверил потому, что полюбил. Ибо сперва любовь, потом вера, потом чудо. Кто не полюбил Христа, для того не было и чудес, как нет их и сейчас для того, кто, не любя, не верит в Него. Такие, начав с утверждения: «Чудес нет и не бывает», заканчивают выводом: «Нет веры, нет любви, а есть только слепое сцепление причин и следствий, есть бессмысленный поток жизни, в котором растворяются и любящий и любимый». Но для того, кто любит и верит, все постепенно наполняется чудом. «И так близко подходит чудесное к развалившимся старым домам»<sup>265</sup>, –

писала когда-то Анна Ахматова. Вдруг останавливаешься, словно внезапно пробужденный, и видишь, и чувствуешь, и сознаешь: все чудо – и этот таинственный дар жизни, и эта способность любить, и эта способность верить, надеяться, прощать, и это созерцание красоты, глубины, совершенства... Никакая наука это не определит, никакая лаборатория такого опыта не даст, а он есть! Величайшее чудо Христа в том, что Он все это явил, что вся проповедь Его – о таком опыте, знании и даре. Все Евангелие в этом смысле о чуде – о чуде любви, о чуде новой жизни, о чуде веры. Незримое становится зримым, открывается дар тайновидения и тайнослышания, дар безграничной радости, благодарности и хвалы. Разве это не чудо? И Сам Христос в порыве такой радости говорит: «Благодарю Тебя, Отче, что Ты утаил это от мудрых и открыл младенцам» (ср.: Мф.11:25). Младенец, ребенок – это и есть тот, кто полюбил, поверил и чья жизнь поэтому – непрекращающееся чудо.

Нечудеса проповедуем мы, христиане, а Христа – чудо всех чудес, чудесное явление в мире Самой жизни, Самого света, Самой радости и любви. Тем, кто знает Христа, не нужно ни чудес, ни доказательств, ибо Он, живой и любящий, пребывает в их сердце, наполняя его Собой. И тогда, будь то на вершине радости или на самом дне страданий, слышишь Его голос: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я с вами до скончания века. Мужайтесь, Я победил мир» (ср.: Ин.14:18; Мф.28:20; Ин.16:33). И нет в мире ничего чудеснее этого чуда.

## Религия чудес? Лишь чудо любви

В прошлой беседе я говорил о чудесах и о том, что подлинная вера не нуждается в чудесах, не видит в них необходимых доказательств своей подлинности. Таким образом, говорил я, не вера от чуда, но чудо от веры. Но Христос творил чудеса: исцелял безнадежно больных и даже воскрешал мертвых. Какой же смысл имеют эти чудеса и почему так много места уделено им в Евангелии?

Чтобы ответить на этот вопрос, заметим прежде всего, что Сам Христос в этой своей силе не видел ничего исключительного, или, как мы сказали бы теперь, «сверхъестественного». Напротив, он видел в ней нечто присущее человеку как его неотъемлемый признак или дарование. Верующий в Меня, – говорил Он, – дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин.14:12). Я думаю, что и самой вере, и, главное, пониманию веры как верующими, так и неверующими очень повредило упрощенное противопоставление естественного сверхъестественному. «Только религия имеет дело со сверхъестественным, таинственным, необъяснимым» – так, повторяю, очень часто думают не только неверующие, но и сами верующие, которые всё ищут и ждут чудес (и в них – проявления сверхъестественного) как доказательства своей веры, а зачастую и теряют веру, когда чуда не происходит.

Но потому-то и так важно напомнить, что Христос, согласно исконно христианскому учению, совершает чудеса не потому, что обладает сверхъестественной, Божественной силой, а потому, что Он – совершенный Человек. Человек же создан не рабом, а господином мира, которым ему заповедано обладать. Рабом материи и ее законов провозгласило человека учение, ничего общего с христианством не имеющее, более того – ненавидящее христианство. Именно оно, утверждая, что чудеса невозможны, делает это потому, что не признает исключительно высокого замысла христианства о человеке. Но человек, даже и не зная о заповеданной ему власти над миром, все равно

творит чудеса. Нужно ли это доказывать в наши дни, в эпоху неслыханных и справедливо называемых «чудесными» достижений?

Но правда и то, что чудес, подобных евангельским, человек не творит. Почему? Непотому ли, что он научился управлять только одной, и при этом отнюдь не важнейшей, не самой человеческой частью своих сил и способностей? Да, чудесен ум человека, и чудеса, связанные с его умом, от ума идущие, человек совершает постоянно. Он ходит по Луне, побеждает пространство, земное притяжение, саму материю, и все это не сверхъестественно, а естественно, но одновременно и чудесно в прямом смысле слова. Но не в том ли трагедия человека, что он принял частное, т.е. силу ума, за целое, а все иные свои силы отверг? Христос не делал технических открытий. Он не отвергал силу человеческого ума, но все служение Его состояло в том, чтобы напомнить человеку о других его силах, о другом его призвании, не менее естественном, не менее человеческом, но отвергнутом, забытом и попранном. Какие же это силы? Все чудеса Христовы отвечают на это: сила любви, сила духа, сила добра.

Христос никогда не творил чудес с намерением доказать, но только потому, что любил человека и до конца, без остатка входил в его страдания и боль. Сколько раз мы читаем в Евангелии, что Христос сжалился над человеком и потому простил, исцелил, возродил его этой любовью в жалости. Ни одно из чудес Христа нельзя оторвать от этой любви, ибо только она и составляет их сущность и внутреннюю силу. Христос открыл нам другую сторону человечности – ту, о которой забыл и которую поправил в себе человек. Он открыл нам единственное настоящее чудо – чудо любви, и потому все Свое учение свел к одной заповеди – к заповеди любви. Но Христос не просто открывает нам любовь как сущность и основу чуда. Он предлагает ее как дар, если только мы хотим ее. Но хотим ли мы чуда любви, а не чуда успеха, чуда сострадания и самоотдачи, а не чуда самоутверждения? А между тем ничего другого Христос и христианство, в сущности, не предлагают и не дают. Кто ищет лишь знания, силы или сверхъестественных

достижений, тому в христианстве делать попросту нечего. Он ошибся адресом и там, где все пронизано любовью, пытается найти нечто ей постороннее.

И потому так бесплоден зачастую спор веры с неверием, который выглядит так, будто речь идет об отвлеченных истинах. Вопрос о том, возможно или невозможно чудо, в рамках отвлеченной дискуссии неразрешим, да она и не нужна, эта дискуссия. Вот пожалел вдруг всем нутром своим римский сотник всеми брошенного Страдальца, Который и на кресте молился за Своих мучителей, и проснувшейся в сердце любовью увидел в Нем Сына Божия. И это было чудо, и с этого чуда началась новая жизнь. Ибо он увидел не нечто сверхъестественное, но Божественную любовь, распинаемую слепой злобой, безмерную красоту и безмерный ужас этого страдания. Увидел и поверил. И всякий раз, как входила в человека эта любовь, он творил чудеса, и мир, в котором начинал сиять незримый свет, наполнялся радостью. Человек побеждал то, что казалось непобедимым, возвышался над собственной ограниченностью и перерастал себя настолько, что во имя любви готов был отдать главное свое достояние – жизнь.

Мы хотим чудес, мы хотим сверхъестественного, таинственного, чудесного. Но что поистине чудесно в мире – это постоянная победа любви. И только об этом свидетельствуют, только это и являют чудеса Христовы.

## Религия чудес? Поверх ложной дилеммы

Одно из самых больших недоразумений между верующими и неверующими заключено в подходе тех и других к чуду. Верующие очень любят ссылаться на чудеса, т.е. сверхъестественные явления. Создается впечатление, будто вся их вера основана только на чудесах и свидетельствах о них, которые неверующим кажутся абсурдными. Верующие как будто не понимают, что настойчивые рассказы о чудесах – о львах, роющих могилы святым отшельникам, о вмешательстве потусторонних сил в повседневную жизнь, о вещих снах и таинственных видениях – не только не убеждают неверующих, а, напротив, раздражают и настраивают их против веры.

Действительно, если бы в мире происходило столько повсеместных и ежечасных чудес, сколько говорят о них многие защитники веры и некоторые книги религиозного содержания, то было бы непонятно, почему до сих пор есть на свете неверующие. Однако и упорное отрицание всего чудесного, нежелание замечать и признавать непонятные разуму, но несомненные прорывы в жизнь того, что необъяснимо с позиций «здорового смысла» и не сводится к таблице умножения, говорит о какой-то внутренней узости и слепоте. И вот образовались и противостоят друг другу два непримиримых лагеря: одни по всякому поводу твердят о «чудесном», «сверхъестественном, о «нарушении природных законов», другие отвечают: «Никаких чудес нет, все в мире от начала до конца прозрачно и объяснимо!» По-видимому, те и другие одинаково не понимают, что вопрос о чуде (в христианстве, во всяком случае) никак нельзя свести к дилемме «естественное – сверхъестественное», «незыблемость природных законов – их нарушение».

Поэтому напомним о том, что следовало бы назвать христианским восприятием чуда. И прежде всего о том, что Евангелие начисто отрицает чудо как причину веры и как доказательство в ее пользу. Про Христа прямо сказано, что в одном месте он не мог совершить чудес из-за неверия

тамошних жителей. Таким образом, как бы мы ни определяли чудо, именно оно зависит от веры, а не вера от него. Но и этого недостаточно. Сама сущность Евангелия, сама сердцевина христианского учения исключает веру в чудо как основу религии и как метод религиозной жизни. В самом деле, чему учит, что провозглашает христианство? Что Бог стал Человеком, что Христос есть Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Но провозглашая это, христианство подчеркивает не только человечность Христа, но и Его нищету, беззащитность и даже в каком-то смысле неуспешность.

Ведь если бы Христос хотел привлечь к Себе множество людей, Он, как Бог, мог бы совершить такие чудеса, после которых сомнений в Его божественной силе не осталось бы и в помине. Но такая вера была бы верой «от чуда», и потому в Евангелии не только нет ничего подобного, но есть, напротив, постоянный призыв поверить без всяких «доказательств», полюбить Христа бескорыстно. Даже в самом Его воскресении из мертвых нет ничего от принуждения верить, ибо Евангелие прямо говорит, что, увидев Христа воскресшим, одни ученики поклонились Ему, а другие усомнились. Женщины, шедшие ко гробу и встретившие Христа, приняли Его за садовника. Два ученика на пути в Эммаус только по горению собственного сердца узнали, что их таинственный спутник – Сам Христос.

Таким образом, весь дух, вся тональность Евангелия неизменно исключают примитивный и, скажем прямо, псевдорелигиозный подход к чуду как к какому-то божественному фокусу, заставляющему поверить. И с этой точки зрения евангельская история Христа, как я уже сказал, есть, в сущности, история неудачи. Люди ждали от Него чудес, верили в Него постольку, поскольку Он совершал чудеса. Но как только Христос стал учить о нищете и смирении, о предстоящей Своей смерти, все отвернулись от Него, бросили, бежали – даже ближайшие ученики. Уж если когда и нужны были чудеса и доказательства от чудес, то не в ту ли страшную ночь в саду, когда истомленные тоской ученики слышали от Него : Душа Моя скорбит смертельно (Мф.26:38)? Какое уж тут чудо, какое нарушение законов природы! Этих слов Христа, в сущности,

довольно, чтобы сказать: нет, в центре христианской веры никак не чудо, не нарушение естественных законов. Не здесь доказательство ее истинности, ее божественности. В центре христианской веры – образ нищего, всеми покинутого и умирающего позорной смертью на кресте Богочеловека.

И все принимавшие Христа делали это не ради чудес, а по любви, по тому глубочайшему внутреннему доверию, которое в любви открывается и ею же создается. Когда часть учеников оставляет Христа, Он обращается к ближайшим двенадцати с вопросом: *Нехотите ли и вы отойти?* – и Петр восклицает в ответ: *Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни* (Ин.6:67–68). Он не сказал: «Ты творишь чудеса, Ты всемогущ, и потому мы верим в Тебя», но: «У Тебя глаголы вечной жизни». Близ креста Христова обращается умирающий разбойник, обращается римский офицер, и все это при наибольшем отсутствии «чудес» и «чудесного».

Таким образом, свести христианство к чуду – значит извратить и подменить его, значит с той религиозной высоты, на какую подняло нас Евангелие, спуститься на уровень псевдорелигии. В этом и состоит часто грех верующих.



## Религия чудес? Не нарушение, но исполнение

В прошлой беседе я говорил, что в центре христианской веры – не чудо, не доказательства от чуда, как это может показаться со слов многих верующих или из книг определенного содержания. Я говорил, что одним из главных грехов христиан против собственного вероучения часто бывает сведение его к сверхъестественным явлениям, нарушающим законы природы и тем самым как бы доказывающим существование Бога и истинность христианства.

Я напомнил, что Христос, согласно Евангелию, не мог в некоторых местах совершить чудес как раз из-за человеческого неверия, и это подтверждает, что по христианскому учению – не вера от чуда, а чудо от веры.

Перейдем теперь к другой установке – к той, что характеризует неверующих и которая, увы, часто бывает вызвана безудержными толками о чудесах самих христиан. Эта установка состоит в радикальном отрицании чуда как заведомо невозможного и в стремлении так или иначе рационально объяснить те таинственные и необъяснимые явления, которые верующие называют чудесами. Если в первом случае перед нами некая измена духу христианства, то во втором – узость, слепота, недомыслие и упрямство.

Но прежде всего нужно понять обе эти установки в их психологических корнях. Если верующий так часто и так много говорит о чудесах и чудесном, то не потому, что собственная его вера непременно зависит от них, а потому что чудо представляется ему наилучшим доказательством для неверующих. Ведь так трудно говорить о сути веры, о блаженстве, которым наполняет она душу, о любви и радости, которые ей сопутствуют! И вот верующий с самыми, так сказать, лучшими намерениями пытается перевести этот опыт на язык, представляющийся ему более объективным, более способным разрушить скепсис неверующего. Делая это от избытка ревности по Боге, он часто не понимает, что вредит вере, которую надеется защитить. Неверующий же, со своей стороны, упорно

отвергая даже несомненные чудеса, часто делает это не из негативных побуждений, а потому что и сам защищает нечто. Что же? Да те самые законы природы, о «нарушении» которых так любят вещать поборники чудес.

Тут сказывается даже своеобразное уважение к религии. Ибо если, как говорят сами верующие, законы природы создал Бог, то зачем бы Ему постоянно их нарушать? Если верующий хочет доказать всемогущество Божие, то неверующий с таким же рвением защищает тот незыблемый строй жизни и Вселенной, вне которого все становится хаосом и произволом. И с такой установкой сознания человек не придет к вере «от чудес», ибо они представляются ему не только ненужными, но и снижающими его представление о религии. «Если это религия, если это вера, – как бы говорит такой человек, – то оставайтесь при ней сами, она не для меня!»

Но, быть может, настоящее решение этого многовекового недоразумения в том, чтобы вместо бесплодного спора попытаться понять, что же подразумевают христианство и Евангелие, говоря о чуде. Ведь все будто сговорились определять чудо как нарушение законов природы и спорить о том, возможно оно или нет. А что если христианское чудо – совсем не нарушение законов природы, что если оно – высшее, предельное их исполнение? Что если между ним и этими законами нет противоречия, которое видится и ревнителям, и отрицателям чудес? Да, это труднее доказать, чем почувствовать сердцем, ибо подобное восприятие чуда укоренено в восприятии самого мира, а значит, и самих законов природы, как чудесных. И не этим ли опытом чуда обладали многие великие ученые и первооткрыватели законов природы, глубже других проникшие в ее тайны? Именно таков, во всяком случае, был опыт Эйнштейна, опыт Пастера, а уже в наши дни – опыт великого французского палеонтолога и антрополога Тейяра де Шардена.

Но если так, если сам мир, сама жизнь есть чудо, в которое никогда не устанет вникать, которому никогда не перестанет дивиться человек – и чем больше будет вникать, тем сильнее будет дивиться, то исчезает граница между чудом как

единовременным событием и чудом, непрестанно открывающимся христианскому переживанию мира. Ибо истинное чудо есть плод любви, а любовь – самый таинственный, самый неизученный, но, пожалуй, и самый глубокий из всех законов природы. Христос никогда не совершал чудес, чтобы доказать Свою божественность, но всегда потому, что любил, сострадал и все человеческие страдания, все человеческие нужды делал Своими нуждами, Своими страданиями.

Между тем все, что мы знаем о любви, весь наш опыт любви, сколь бы ни был он ограничен, говорит о ее поразительной, подлинно чудесной силе. С любовью становится возможным все, что кажется без нее по-человечески невозможным. В любви человек преодолевает свою естественную ограниченность и открывает еще один, высший закон природы, ранее от него сокрытый. В любви обретает он ключ ко всем остальным законам природы и узнает конечную подчиненность их человеку, его духу, его царственному достоинству. Чудеса без любви – обман и самообман, которые можно и должно отвергать, но сама любовь есть чудо, раскрывающее в нас поразительные возможности. Неувидеть, не понять их – значит не увидеть и не понять ничего.

## Религия чудес? Истинный контекст

Подведем итоги нашим размышлениям о чуде и чудесах. В этом пункте болезненно сталкиваются две установки сознания, и я пытался доказать, что столкновение это не обязательно совпадает с борьбой веры и неверия. Как вера, ищущая только чудес и на них основанная, не есть еще настоящая вера, так и отвержение самой возможности чудес еще не признак неверия.

Вопрос о чуде остается неверно поставленным до тех пор, пока оно мыслится как нарушение «законов природы», как победа «сверхъестественного» над «естественным». Ибо если позволительно усомниться в Боге, доказывающем Свое бытие нарушением собственных законов, то так же неубедительно и сведение всего многообразия, всей глубины жизни к каким-то «законам», постижение которых к тому же только начинается. Таким образом, и здесь и там что-то духовно неладно, а главное – узко, мелочно, недостойно самого предмета спора. Настоящий контекст размышления о чуде – не природа и ее законы, а человек и его любовь, его духовная сила, его мироотношение.

По христианскому учению, человек – царь мира, призванный им обладать, а значит, до конца этот мир вочеловечить, сделать открытым и проницаемым для его духовной энергии, духовного творчества, для высшего замысла о человечестве. Пусть этот царь пал. Но он может восстать, возродиться, стать тем, к чему был призван. В чем же падение человека? Его падение, его грех христианство видит, прежде всего, в подчинении законам природы, в том, что человек из господина и владыки стал ее рабом, «покорился суете» (ср.: Рим.8:20). Возродиться, исполнить свое призвание – значит не только постичь природу, понять ее законы и научиться ими управлять, – как раз это человеку удастся, и чем дальше, тем лучше, ибо нашему веку суждено, кажется, доказать, что в овладении природой возможности человеческой науки и техники беспредельны. Но столь же ясно в наше время и то, что овладение природой – только часть человеческой задачи, и притом та, решение которой останется трагически

двусмысленным, пока не будет разрешена другая, главная часть. Об этом в Евангелии сказано так: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26).

Человек почти уже приобрел весь мир, для него открыт космос, он проник во все тайны природы. Но не очевидно ли, что весь этот потрясающий успех, все эти головокружительные достижения ничего не дали душе? А значит – не изменили ничего в мире, который больше, чем когда-либо, наполнен ненавистью и злобой, страданием и страхом. Жизнь стала длиннее, безопаснее и внешне богаче. Но хороша ли эта жизнь? Или она все та же страшная летопись одиночества, взаимной подозрительности и, главное, мучений, непрестанно причиняемых человеку человеком? Вот страна, которая может покорить Луну, но боится приоткрыть свои границы или отменить цензуру. Так для чего же тогда покорять Луну? Недля того ли, чтобы и на ней воцарились мучение и страх, страдание и рабство? Для чего продлевать земную жизнь и усиленно заботиться о теле, если наполняющая его жизнь так мелка, темна, жестока и безрадостна?

Для человека остается, таким образом, вторая и главная часть задачи, к разрешению которой он до сих пор по-настоящему не приступил. И как при внешнем овладении природой он постигает ее законы, учится ими управлять, так при внутреннем, духовном овладении жизнью ему необходимо постичь главный ее закон, имя которому – любовь.

Чудо – не фокус, не нарушение законов. Это тот редкий случай, когда исполняется не только внешний, но и внутренний закон; когда человеческая задача выполнена не частично, но целиком; когда торжествует и воцаряется не только ум, но весь человек в его неограниченной, подлинно божественной силе и власти. Ибо где любовь, там всегда и чудо – не обязательно видимое, не обязательно поражающее взор, но от этого не менее истинное, не менее чудесное. Сама возможность отдать себя, полюбить, увидеть собственную жизнь в другом человеке, само неумирающее присутствие, само блаженное возрастание любви наперекор доводам разума, который твердит лишь о

недостатках и всеобщей ограниченности, – не есть ли это величайшее чудо на свете? Каждый из нас, по-настоящему вникнув, по-настоящему углубившись в человеческий опыт любви, должен признать: для любви нет предела, любовь может действительно все.

Мне возразят: «А вот попробуйте-ка на одной этой любви долететь до Луны!» На это я отвечу так: во-первых, к полету на Луну человека привела все же любовь – любовь к познанию мира и заложенных в нем возможностей, а во-вторых, не стоит смешивать разные планы. Любовь не этого хочет, ее чудо – внутреннее, относящееся к той главной части человеческой задачи, без выполнения которой бессмысленны все полеты на Луну и прочие достижения человека.

Одной любовью, конечно, «чая не вскипятишь», но и полетом на Луну преобразования мира не достигнешь, ибо не изменишь ничего в том аду ненависти, посреди которого живет человек. Мы видим чудо в полете на Луну – увидим же его и в человеческой способности любить, поймем, что чудесен мир, чудесен человек, но лишь тогда, когда над этим миром и в сердце этого человека восходит солнце любви. Тогда все превращается в чудо, все озаряется немеркнущим светом, и без всяких доказательств понятны становятся слова апостола Иоанна Богослова: Бог есть любовь (1Ин.4:16).

## Библия. Революция в истории

Чтобы понять религиозное значение Библии, нужно помнить, как и в какой культурно-исторической обстановке она возникала. Мы говорили уже, что многообразные тексты, собранные в Библии, создавались на протяжении более чем тысячи лет. Они отражают культуру, быт, самосознание и историю древних людей, населявших земли к востоку от Средиземного моря – Египет, Месопотамию, Сирию, Палестину.

С религиозной точки зрения то была эпоха расцвета язычества, т.е. многобожия, обожествления сил природы, национальных героев... Одна за другой возникали огромные и мощные по тем временам империи – Египет, Ассирия, Вавилон. Победы одних народов над другими приписывались богам победителей.

И вот самый ранний слой Библии представляет собой рассказ, часто наивный и полулегендарный, о возникновении и проживании среди этих империй и их коалиций сперва маленького племени, потом небольшого народа – евреев. С чисто исторической точки зрения, Ветхий Завет есть история этого народа, его страданий и порабощения другими народами, последующего освобождения и новых потрясений. Но наряду с внешней в нем излагается также религиозная история евреев, т.е. то, как сами они осмысливали свою судьбу. Внешняя история сливается с ее осмыслением, и здесь, в религиозной реакции на внешние события, в религиозной их оценке – сердцевина Библии, то, что сделало эту книгу священной для бесконечного ряда поколений, превратило ее из книги национально-ограниченной в поразительно вечный и универсальный призыв.

Мы знаем теперь, после целого столетия научного, т.е. исторического, филологического и археологического, изучения Библии, что маленькое кочевое племя евреев разделяло поначалу верования могущественных народов, среди которых оно проживало. Это было то же многобожие, тот же культ своего племенного божества, те же обычаи, жертвы, храмы. Но

постепенно их привычная для тогдашнего человека религия стала перерождаться. Это перерождение вело к утверждению трех основных идей. Во-первых, идеи единого Бога, т.е. единобожия.

Во-вторых, идеи религии как закона добра и праведности. И наконец, в-третьих – идеи истории как осмысленного процесса. Ничего подобного ни одна древняя религия не знала, ничего подобного в историческом бытии древних народов не было. А между тем три эти идеи были началом и основой всего развития человечества – умственного, нравственного и даже научного.

Единый Бог – Творец неба и земли. Вера в Него означала перемену в восприятии мира, который стал видеться уже не как хаотическая борьба стихийных сил, но как изначально заданное единство и гармония. Пронизанная верой в единого Бога, религия очищалась от страха, суеверий, жестокости и чем дальше тем больше мыслилась как закон правды и добра, а это было для человечества началом истинного самопознания и восприятия себя как духовно-нравственного единства. Отсюда же вытекало и новое чувство истории как общей судьбы, осознание великой и светлой цели, стоящей перед человечеством.

Таково религиозное содержание Библии. Такова революция, произведенная ею в истории человечества. И отрицать это недостойно человека, верующего или неверующего.



## Библия. Физическая аксиома?

В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.1:1). Этим простым и торжественным утверждением открывается первая книга Библии – Бытие. И против этого утверждения издавна выступала антирелигиозная мысль, пытаясь научно опровергнуть веру в Бога-Творца. Антирелигиозная пропаганда особенно старается показать несостоятельность тех мест книги Бытия, где говорится о творении мира в шесть дней.

Но убедительна ли такая критика? Она была бы убедительна, если бы утверждение это предлагалось в Библии как научное – как биологическая или физическая аксиома, если бы описание шести дней творения было бы научным анализом процесса творения. Но эти антирелигиозные критики, как правило, ничего не знают о возникновении Библии, а главное – о библейском методе повествования. А между тем всякий научный подход требует от нас, прежде всего, понять, с какой точки зрения, в каком измерении написан текст, который мы обсуждаем или опровергаем.

Утверждение Библии религиозное. Это значит, что оно не сообщает нам, как именно произошло творение и что в плане физическом означает слово сотворил. Оно говорит только одно: мир произошел от Бога и в своем бытии зависит от Бога, а не от самого себя. Но это религиозное утверждение не может быть ни научно доказано, ни научно опровергнуто, ибо оно по природе своей вне сферы науки, изучающей то, что есть. Музыковед может проанализировать симфонию Бетховена, но он будет смешон, если попытается «научно» показать, как эта симфония зародилась и зазвучала в глубинах творческого духа.

Тайна начала недостижима для науки, закон и сфера которой – эмпирический мир. Можно не верить в Бога-Творца, и тогда придется поверить в самозарождение или безначальность мира. Но это тоже будет вера, а не наука, не научное знание.

Конечно, рассказ о шести днях творения «ненаучен». Чтобы понять его символическое значение, нужно знать, что древние народы придавали цифрам особый смысл. Число «семь» имело

значение полноты, завершенности. И когда Библия говорит, что Бог создал мир в шесть дней, а на седьмой почил от всех дел Своих, она на религиозном языке, в религиозных символах своего времени говорит, что этот сотворенный мир, эта жизнь, это бытие хороши, закончены, совершенны, благи. И увидел Бог, что это хорошо (Быт.1:10,12,18, 21, 25).

Начало Библии – не физическая аксиома, а радостное и трепетное утверждение изначального добра, мудрости и глубины мира, радость о жизни в нем как о даре Бога. Да, это «детский» язык. Но как иначе выразить то, что мы с такой силой переживаем на заре нашей жизни – в детстве как благодать, радость, богатство жизни?

## Евангелие. Опыт тьмы и гибели

В воскресенье, ближайшее к празднику Крещения, читается в церкви отрывок из Евангелия от Матфея, где сказано: Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:16–17).

Что значат эти слова? Задать этот вопрос нужно, потому что ими начинается проповедь Христа и они составляют основу христианского учения. Ключевое слово здесь – «покайтесь». Под покаянием мы понимаем обычно однозначное признание своей вины, т.е. воспринимаем это слово почти исключительно в ключе нравственном, моральном. Но греческое метάνια (μετάνοια), которому соответствует наше «покаяние», и шире и глубже по заключенному в нем смыслу. Μετανοεῖτε, «покайтесь» буквально можно перевести так: «измените ваш ум, ваше понимание». Призыв Христа обращен, таким образом, не только к совести человека, но и ко всему его самосознанию. Это призыв к всецелой перемене в видении себя самого и собственной жизни: «Взгляните по-новому, рассмотрите то, чего раньше не видели, уразумейте то, чего раньше не разумели». И невозможно понять христианство, невозможно по-настоящему услышать Евангелие, не осознав сперва этот призыв к полному обновлению внутреннего зрения, нашего внутреннего слуха и разума. И только поняв это, можно понять и начало приведенных евангельских слов: Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.

Ибо люди в большинстве своем не знают, что находятся «во тьме и тени смертной», но, напротив, уверены, что знают все более или менее им необходимое, имеют в разуме своем надежного путеводителя, безошибочно различают, где добро и где зло, в чем счастье и несчастье. Даже те, кто утверждают, будто верят в Бога, хотят от Него не столько света, т.е. просвещения своего ума, постижения истины, ответа на вопрос,

как и для чего жить, сколько помощи и поддержки в том, что сами они, без всякого Бога, сочли нужным, полезным, гарантирующим счастье. Между тем приведенные евангельские слова не имеют другого смысла, чем тот, что человек ослеп и оглох, забрел в тупик и не может оттуда самостоятельно выйти. Но это настолько противоречит всем внушениям, которым ежедневно подвергаются современные люди с раннего детства, что для них почти недоступен опыт тьмы и гибели, из которого только и возможно расслышать и уразуметь Евангелие. Мы убеждены, что человек всесилен, что его всемогущий разум и наука способны преодолевать все препятствия. Наша цивилизация так давно живет гордостью и самовозвеличением, что нам совершенно непонятно, о какой тьме и тени смертной говорится в Евангелии, что означает его призыв к покаянию, т.е. к обновлению сознания, что за Царство Небесное приблизилось, что за сеет великий воссиял нам.

Но стоит лишь на минуту забыть об этом бесконечном самовосхвалении, о мутном и безостановочном потоке слов, льющемся на нас из газет и книг, радиоприемников и телевизоров, стоит хоть немного углубиться в себя, и евангельские слова, столь несовместимые с духом современной цивилизации, зазвучат во всей их правде. Ибо если изнутри безличного коллектива человеческая гордыня и кажется сколько-нибудь оправданной, то в личностном измерении, применительно к жизни моей, твоей, каждого из нас, не оборачивается ли она полной несостоятельностью и пустозвонством? Где он, этот всесильный, всезнающий, счастливый человек? Стоит только снять с него маску, навешенную обществом, и перед нами окажется страдающее, одинокое, запутавшееся существо, которому негде найти ответ на главные вопросы. За фальшивым оптимизмом нашего времени раскрывается картина такого страдания, такого страха! Стоит потушить иллюминацию, и как же темно и жутко становится на земле! Бессмысленный труд и столь же бессмысленный отдых, самодовольная болтовня вождей, спасение от которой в беспробудном пьянстве... «Построим!

Достигнем! Обгоним!» Но за всеми этими воплями – пустота и мрак, злоба и уныние.

И вот, только ощутив страшную ложь бесконечного самозаговаривания, начинаешь по-настоящему вслушиваться в Евангелие, по-настоящему задумываться о смысле призыва «Покайтесь!», о таинственном утверждении, что приблизилось к нам Царство Небесное.

## Евангелие. Радикальная новизна

Евангелие начинается с призыва к покаянию. И, как мы уже говорили в прошлой беседе, покаяние это означает на языке Евангелия не просто признание своего нравственного несовершенства и раскаяние в нем, а нечто неизмеримо более глубокое – радикальный поворот всего сознания, перемену всего нашего восприятия и самих себя и мира.

Увы, за две тысячи лет, что прошли с того дня, когда впервые прозвучал в мире этот призыв и вошла в него Благая весть, христиане словно пригloхли к их радикальной новизне, перестав воспринимать ее как новизну. Само христианство стало переживаться ими как привычный и самоочевидный элемент человеческого прошлого. Можно сказать проще: христиане, даже и слушая Евангелие, перестали его слышать. И вот с некоторых пор начало казаться, что христианство ничего и не требует от нас, кроме как ходить в церковь, исполнять древние и зачастую непонятные обряды да время от времени каяться в мелких несовершенствах и прегрешениях, вернее – сокрушенно вздыхать, чтобы потом вернуться к ним опять, ибо прожить без них невозможно. Если христианство началось как пожар, если оно вошло в мир и победило его именно радикальной, неслыханной новизной своего призыва и утверждения, так что могло сказать о себе словами апостола: Древнее прошло, теперь все новое (2Кор.5:17), то со временем максимализм этот заменился минимализмом, привычкой, поиском не истины, способной преобразить жизнь, а душевного уюта и успокоенности.

Но в наши дни такой минимализм становится невозможным. Ибо на последней своей глубине вся современная эпоха, вся современная цивилизация стоит перед вопросом, обращенным без исключения к каждому: «С Богом ты или против Бога?» Подчеркнем: именно против Бога, а не просто без Бога. И если за последние десятилетия что и выяснилось с предельной очевидностью, то это однозначность выбора, перед которым стоит человечество в наши дни. Ибо выбор без Бога с

неизбежностью оказывается выбором против Бога, а значит – разрушением всего того, что созидал человек, видевший в Боге источник, смысл и цель не только своего личного существования, но и всей человеческой истории. Многим, быть может, все еще кажется, что для нашего цивилизованного, научно оснащенного века новое гонение на религию и в особенности на христианство – простая случайность и с гонителями можно как-то договориться: вы, мол, не мешайте нам верить в Бога и молиться по старинке, а мы не будем вам мешать строить то, что вы называете новой жизнью и новым миром. На деле же, конечно, гонение это не только не случайно, но в нем, как в фокусе, выявляет себя суть всего происходящего в мире. Ибо пресловутые «новый мир» и «новую жизнь» не построить, пока остаются на земле люди, верующие «в Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»; пока хоть краешком души своей знает человек, что для Себя создал нас Бог и не успокоится сердце наше, пока не найдет Его; пока живет в нем тоска по истине и красоте.

И если мы, христиане, «привыкли» к Евангелию, минимализировали его, сведя к какому-то отгороженному уголку своей жизни и сознания, если ослепли и оглохли мы к неслыханной новизне вечно обращенного к нам призыва, то враги наши отлично знают, какую страшную опасность для них таит в себе истинная вера. Небудем обманываться: в этой борьбе веры и безбожия не может быть мира, не может быть соглашения. Ибо всего человека, а не какую-то часть его ищет Христос, и также всего человека требует для себя восставшая против Бога современность. И весь мир, созданный Им в любви, хочет привлечь к Себе Бог, ибо через все в нем являет Себя, и поистине Небеса поведуют славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь (Пс.18:2).

И потому для каждого из нас наступило время того подлинного покаяния, с которого начинается благовестие Христово. Мы снова всем существом своим должны осознать, что Евангелие сегодня так же целостно, так же ново и неслыханно, как в ту пору, когда впервые прозвучали в далекой

от нас Галилее удивительные слова: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф.4:17); когда впервые услышал человек призыв переменить свое внутреннее зрение, увидеть то, чего раньше не видел, услышать то, чего раньше не слышал.

К этой радикальной новизне евангельского призыва и к христианству как сохранению этой новизны в человеческой истории мы вернемся в следующих наших беседах. Ибо, повторяю, невозможно войти в евангельское учение, невозможно по-настоящему вникнуть в смысл не только христианства, но и борьбы с ним в нашем мире, не уразумев, что борьба эта – всегда против призыва к человеку подняться над собою и над тем, что предлагает ему падший мир.



## Евангелие. Три искушения

Прежде чем начать проповедовать, Иисус Христос подвергся трем искушениям.

Евангелист Матфей рассказывает о них так: Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». Иисус сказал ему: «написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: «все это дам Тебе, если пав, поклонись мне». Тогда Иисус говорит ему: «отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному служи». Тогда оставляет Его диавол... (Мф.4:1–11).

Таковы три искушения, в вечный, непреходящий смысл которых нам надлежит теперь вдуматься. Ибо искушения эти стоят в той или иной форме и перед каждым человеком, и перед человечеством в целом, перед обществом, государством, культурой, цивилизацией.

Первое искушение – искушение хлебом. В чем его смысл? Оно связано с главным вопросом: чем живет человек? Или по-другому: от чего зависит его жизнь, что делает его живым? Ибо жизнь свою человек, несомненно, получает извне, и она всегда зависит от внешнего: от пищи, воздуха, правильного действия всех органов нашего тела и т.д. Лиши человека воздуха, и он через несколько секунд умрет от удушья, лиши его пищи – умрет от голода.

Эту зависимость человека от внешнего мира христианство не только не отрицает, но, напротив, всячески утверждает, ибо и про Самого Христа говорится, что Он взалкал, т.е. почувствовал голод. Равным образом и в библейском рассказе о творении утверждается, что мир создан Богом как пища для человека и, следовательно, как источник и условие его жизни.

В чем же тогда смысл искушения? Да в том, конечно, что зависимость жизни от пищи, т.е. от материи, диавол предлагает Христу признать как единственно возможную, или, иными словами, предлагает Ему признать человека рабом материи, рабом тела, т.е. существом, чья жизнь всецело определена материальным. И вот на это Христос отвечает библейским текстом: Нехлебом одним будет жить человек.

Христос не говорит, что человеку не надо хлеба. Он говорит, что жизнь человека – не только в хлебе. И ответ этот бьет в самую сердцевину той страшной неправды о человеке, которую нам предлагают сегодня как «научную истину» – неправды, сводящей всю жизнь к «материальному базису», а всю историю человечества, всю духовную реальность – к экономике. Нехлебом одним будет жить человек, – говорит Христос, – но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Да, Бог дал пищу, дал хлеб и в нем – жизнь. Но Он также заповедал нам любить, верить, надеяться, искать правду, стремиться к вечному, благодарить, возрастать духовно, жить непреходящим, добрым и прекрасным. И все это не сводимо к хлебу и равно важно для жизни, которая превращается иначе в бессмысленный круговорот пищеварения. Итак, вера и подлинная жизнь начинаются с преодоления искушения хлебом.

Второе искушение – искушение чудом. Нам скажут, что это искушение не относится к современному человеку, ибо он ни в какие чудеса не верит, а верит только науке, чудес не знающей. Неправда! Ибо, что же, как не искушение чудом, те «научно обоснованные» идеологии, что обещают человечеству рай на земле, саму науку возводят в ранг чуда и утверждают, будто человек способен добиться абсолютного счастья собственными силами и собственным умом. На это искушение Христос снова

отвечает словами Священного Писания: Неискушай Господа Бога своего.

Этот ответ означает, что подлинная человечность – не в дешево-горделивом вызове судьбе, не в самоутверждении и самовозвеличении, а в смиренном приятии воли и замысла Божия, в искании Его правды, мудрости, добра и красоты. Иными словами, чудо не в том и не там, где обычно видят его люди, – не в видимых победах над природой, а в раскрытии тайного, светозарного смысла, что заложен в ней Богом, в способности человека не только изменять окружающий мир, но и изнутри преображать его верой, надеждой, любовью.

И, наконец, третье искушение – искушение властью. В наши дни едва ли нужно еще доказывать весь ужас, всю страшную силу этого искушения, которое в каком-то смысле соединяет в себе все остальные и являет в чистом виде власть дьявола над миром. Ведь подумать только: даже сейчас, в так называемое мирное время сотни и тысячи людей гибнут ежегодно ради стремления одних властвовать над другими. И нет в мире ничего страшнее этой неутолимой потребности хоть над кем-то, над чем-то властвовать, не останавливаясь перед любым насилием и жестокостью. И страшнее всего, что сама власть, в таком случае, есть рабство, что сам властвующий оказывается рабом собственной власти и дрожит от страха потерять ее.

На это искушение Христос отвечает: Господу Богу... одному служи. И этим утверждает, что только в служении высшему, в предании себя Благому Богу преодолевается страшное порабощение, искушение властью.

Христос пришел освободить нас от этого рабства дьявольским искушениям, дать нам силу всегда их преодолевать.

## Евангелие. Неиссякающее семя

Христос почти всегда учил притчами, т.е. символическими иносказательными повествованиями. И вот удивительно: прошли века, до неузнаваемости изменился быт, обычаи, даже сам язык человеческий, а притчи Христа остаются как бы не тронутыми временем, словно сказаны они сейчас, в нынешних условиях, нам.

Послушаем сегодня притчу о сеятеле. Христос сказал: Вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корней, и еременем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лк.8:5–15).

Попробуем отнести слова этой притчи к себе самим, к нашей жизни, и мы увидим, до какой степени все, что относится к внутреннему миру человека, к его духовной, т.е. глубокой, жизни, не меняется, остается, каким было тысячелетия назад. Ибо каждый и в наши дни узнает из них, как сам он относится к

Богу и человеку, высокому и низкому, узнает о разных соблазнах, так или иначе переплетающихся с его жизнью.

...Иное упало при дороге, и было потоптано. Боже, сколько раз в своей жизни слышали мы к нам обращенный зов, сколько раз стояли на перепутье, когда так близка была возможность изменить, исправить нашу жизнь! Но слишком близка была миллионами людей протоптанная, давно испытанная большая дорога, и настолько легче было следовать за толпой, поступать как все!

...А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. И опять это мы, опять наша жизнь, камень нашего сердца, отсутствие в нем влаги, и значит – решимости, усилия, мужества, терпения!

...А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. Терние, сорная трава, т.е. все ненужное, мелкое, суетливое, что заглушает любой порыв, любую глубокую мысль, приучает изо дня в день, из года в год жить бездумно... И вдруг останавливаешься в ужасе и видишь, что жизнь, в сущности, прошла. И ради чего? Даже вспомнить нечего, кроме бессмысленной череды дней, наполненных суетой!

Но вот последний призыв притчи: ..А иное упало на добрую землю. И объяснение Христа: это про тех, кто, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Как просто и как прекрасно! Доброе, чистое сердце и терпение! Ничего другого не требует Христос, было бы только в нас доброе и чистое сердце, и никакого метода не предлагает, кроме плодоношения в терпении.

Но еще, прежде чем мы попытаемся пережить бездонную глубину этих простых слов, следует задуматься о том слове, что уподоблено Христом семени. Что это за слово Божие, к нам обращенное, падающее в нас, как семя? Многие скажут: «Мы никакого слова не слышали, а потому и притча эта к нам не относится!» Но они ошибаются, ибо нет человека, к которому не обращено слово Божие, у сердца которого не стоит, стучась в него, таинственный и вечный Собеседник. Стоит лишь сделать усилие, продумать глубоко собственную жизнь, и откроешь в ней постоянное соприкосновение с иным миром, расслышишь в

ней тихий голос, зовущий ввысь. Сколько раз как бы случайно, невзначай входил в нашу жизнь этот призыв – страданием или счастьем! Сколько раз падало в душу это Божественное семя! Но всегда была рядом проторенная, привычная дорога, и камень на сердце, и терние суеты и забот...

Но никогда не поздно. Неиссякает семя, не замолкает голос, не прекращается призыв. И стоит только захотеть всеми силами, чтобы было в нас доброе и чистое сердце, как наступит чудо. Слабая жизнь становится сильной, а невозможное – возможным.

## Евангелие. О блудном сыне<sup>266</sup>

Вот еще одна притча Христова, записанная в Евангелии от Луки: У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил и против неба пред тобою, и уже недостойн называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного тельца и заколите; станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного тельца, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельца. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое; а о том надобно

радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк.15:11–32).

Притча эта читается в церкви в дни, когда верующие начинают готовить себя к Великому посту, т.е. к времени покаяния. И может быть, нигде лучше не раскрывает нам Евангелие то, в чем состоит сущность этого покаяния. Блудный сын, говорит Христос, ушел в дальнюю сторону, или на страну далече. Образ дальней стороны, чужбины являет нам глубинную суть нашей жизни, и только поняв эту суть, можно начать возврат к жизни подлинной.

Кто хоть раз в жизни не почувствовал, не осознал себя в духовном смысле на чужбине, отверженным, изгнанником, тот не поймет, в чем сущность христианства. И кто до конца «дома» в этом мире, кто не испытал тоски по иной жизни, иной реальности, тот не уразумеет, что есть покаяние. Ибо оно не в формальном перечислении своих недостатков, ошибок и даже преступлений. Покаяние рождается, в первую очередь, из опыта отчуждения от Бога, из радости общения с Ним, из той подлинной жизни, которую создал и которой одарил нас Бог.

Сравнительно легко признаться в своих мелких ошибках и недостатках. Но насколько же труднее внезапно узнать, что я разрушил, утратил, предал свою духовную красоту, что я сделался так далек от моего настоящего дома, от моей настоящей жизни, что в самой ткани моей жизни повреждено нечто бесценное. Однако именно это и есть покаяние, которое необходимо включает в себя глубокое желание возвратиться, заново обрести утраченный дом. Внезапно я начинаю постигать, что Отец мой Небесный одарил меня бесценными сокровищами, и прежде всего – самой жизнью, возможностью подлинно наслаждаться ею, а значит – претворять эту жизнь в смысл, любовь, знание. Далее, в Своем Сыне Иисусе Христе Он даровал мне жизнь новую, открыл Свое вечное Царство, радость и мир в Духе Святом. Я получил знание Бога, и в нем – знание всего, силу быть сыном, свободным и любящим. И все это я потерял, от всего этого отрекся не только в отдельных падениях и грехах, но в грехе всех грехов, в уходе на страну далече, в предпочтении чужбины.



Но вспомнил блудный сын отца, отчий дом, утраченную радость жизни. И встал, и вернулся; и принял, и простил его отец. И вот в эти предшествующие посту воскресенья звучит в храмах песнь «На реках Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Иерусалим» (ср.: Пс.136:1). Звучит песнь изгнания и отчуждения, но и раскаяния, любви, возврата. О, если бы могли мы пробиться сквозь всю суету жизни к этой памяти сердца и души, знающих, что не так, не тем мы живем – помнящих об утраченном отчете дома и радости жизни.

Встану, пойду – как просто это и как трудно! Но только от этих простых слов зависит все и в моей жизни, и в жизни окружающего мира. Только от подлинного раскаяния, от просветления ума, сердца и души, узнающих тьму, горечь, печаль падшей жизни и одновременно свет Божественной любви, готовый в любое мгновение излиться в нее.

Христос сказал: Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и разделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец поправую Свою сторону, а козлов – левую. Тогда скажет Царь тем, которые поправую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда скажет и тем, которые левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф.25:31–46).

Эта притча о Страшном суде, как издревле называют ее христиане, читается в храмах за неделю до начала Великого поста – времени, когда призывает нас Церковь проверить свою совесть, свою жизнь всей полнотой христианского благовестия и вернуться к тому главному, что составляет сердцевину его. И сама притча эта говорит о главном.

Многим кажется, что главное в религии – обряды и обычаи, возможность прикоснуться к «священному». Но притча о Страшном суде раскрывает нам с предельной ясностью, что все это оказывается пустым, бесплодным и мертвым, когда не основано на любви и к любви не приводит. В конечном итоге и судить нас будет любовь, и не «любовь вообще», к какому-то абстрактному «человечеству», но к живому и конкретному человеку.

В наши дни представление о любви страшно искажено. Во имя любви к отвлеченному «человечеству» нас призывают не любить и преследовать тех, кого приказано считать врагами и в отношении кого простые жалость и сострадание оказываются преступлением. Но Христос Своей притчей учит нас, что все мечты о счастье «человечества» не только останутся мечтами, но обернутся ненавистью и жестокостью, если мы не обратим всю свою любовь и заботу на этого человека. И любовь не отвлеченную, заботу не теоретическую, а самую что ни на есть конкретную. «Я алкал, – говорит Господь, – Я жаждал, Я был в темнице...» Но что же значит это, как не то, что Он раз навсегда отождествил Себя с каждым человеком, почему и христианская любовь основана на «невозможной возможности» в каждом увидеть Христа.

Нам не заповедано рассуждать и анализировать, достоин ли человек нашей помощи, заслужил ли он нашу заботу. Нам не заповедано спрашивать, за что посажен он в темницу, почему голоден, почему наг. Нам заповедано идти к нему с любовью и только в этой любви, никогда не спрашивающей о заслугах, достоинствах, взглядах и убеждениях, встречать человека, Богом посланного в нашу, в мою жизнь.

Снова и снова узнаем мы главную тайну христианства – тайну личности, тайну великой ценности каждого человека перед Богом, а значит, и для нас. Именно эту тайну отверг и продолжает отвергать современный мир и господствующая в нем идеология. Для них человек определяется внешним: классовой, расовой, национальной принадлежностью, полезностью или бесполезностью в плане общественном, заслугами или преступлениями. «Свои – чужие», «союзники –

враги», «мы – они»... И вот все наперебой говорят о светлом будущем человека, о борьбе за всеобщее освобождение и счастье, а на деле объединяются друг против друга, живут страхом, подозрительностью и ненавистью. И так оно и будет, пока не поймут люди, что любить «человечество», служить «человечеству» не только неверно, но и невозможно, если не укоренена эта любовь в любви к каждому отдельному человеку, не зависящей от всех наших земных критериев и категорий. Все это осуждено раз и навсегда Тем, Кто сказал и поныне говорит от имени каждого: «Я алкал, Я жаждал, Я был в темнице».

И этого Я достаточно, чтобы знать: каждый человек – мой брат, к которому пришел и которого любит Бог, и потому в каждом человеке дана мне возможность исполнить самого себя в Божественной любви, возрождающей и спасающей.

## Заповеди блаженства. «Блаженны плачущие»

Я говорил в прошлой моей беседе<sup>268</sup> о первой заповеди блаженства – Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное (Мф.5:3). Я пытался объяснить, о какой нищете идет здесь речь, а именно о той внутренней свободе от всего, что обычно поработывает человека, делает его внутренне слепым и глухим к главному – к самой сущности человеческой жизни, к ее подлинному содержанию.

За первой заповедью следует вторая: Блажени плачущии, яко тии утешатся (Мф.5:4). И опять нас поражает парадоксальный характер этого утверждения, идущего против всего, в чем мы привыкли видеть жизнь, чем привыкли ее мерить и оценивать. Плачущии... Но разве плач, а значит, горе, печаль, неудовлетворенность, трагедия, – разве это не нечто отрицательное? Разве не естественно для человека стремиться к спокойствию и радости, устранять из своей жизни все, что может вызвать плач? И опять, следовательно, нужно вдуматься и вслушаться в то, что стоит за этими словами и что антирелигиозная пропаганда в своем поверхностном «разоблачении» Евангелия понять не может. Она утверждает – так же, как и по поводу первой заповеди о нищих, – что христианство не только равнодушно к человеческому горю и страданию, но даже считает их полезными, так как они помогают человеку все свои устремления перенести на другой, загробный мир, а в этом мире спокойно и терпеливо переносить зло, неравенство, эксплуатацию и т.д. И в подтверждение такого истолкования христианства антирелигиозная пропаганда часто приводит именно вторую заповедь блаженства.

Но, конечно, здесь говорится о чем-то совсем другом, прямо противоположном дешевым утверждениям антирелигиозной пропаганды. О чем же? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к тому, с чего мы начали наш разбор первой заповеди, – к двоякому видению человека христианством. Человек предстает в нем, с одной стороны, всецело погруженным в жизнь как погоню за успехом, а с другой

– нищим и потому открытым самому главному и глубокому, прекрасному и чистому. С одной стороны, он раб, с другой – свободный; с одной стороны, поработанный «похотью мира» (см.: 1Ин.2:17), с другой – ничего не имеющий, но всем обладающий (см.: 2Кор.6:10).

И вот та же антитеза продолжается и углубляется здесь, во второй заповеди. Можно сказать так: чем выше человек нравственно, тем больше он недоступен тому низменному и грубому счастью, которым удовлетворяются столь многие. Иными словами, плач и печаль, о которых говорится в этой заповеди, есть та «высокая печаль», о которой знает каждый великий поэт, каждый творец, каждый, кто хотя бы однажды взглянул глубже и выше, прорвался сквозь шум и суету, познал нищету и тщету всего, что предлагается ему в жизни.

И вот, как начинается подлинная человечность с внутреннего освобождения от всего не заслуживающего, чтобы мы целиком ему отдавались, так же начинается она с этого высокого томления, с плача. Начало проповеди Христа: Покайтесь, предполагающее в первую очередь внутреннее обращение, способность по-новому увидеть мир и жизнь, – это начало неизбежно ведет к высокой и духовной печали.

Ибо в мире царит зло, царит страдание, шумит и блестит все дешевое, грубое, поверхностное, и человек, познавший хоть отчасти, хоть немного далекое, глубокое и высокое, – человек, по слову поэта, «вздохнувший небесной глубиной»<sup>269</sup>, не может не быть человеком плачущим. И его не утешить громкими словами о славе и достижениях, о победах на всевозможных «фронтах», никакими обещаниями грядущего благоустроенного, но задыхающегося в собственной скуке и посредственности человеческого муравейника.

Но Христос говорит: Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Все Евангелие не просто полно обещаниями грядущей радости – оно светится радостью уже осуществившейся, возможной сейчас. В чем же она, эта радость? Прежде всего, в знании, что злое, пошлое лицо мира – не настоящее его лицо, а карикатура, извращение, а не последняя правда о нем. Возьмем два образа, два портрета.

Один смотрит на нас со всех стен, из всех газет и плакатов, навязывается нам как истинный образ человека – переполненного собой, счастливого своим маленьким и жалким счастьем, удовлетворенного своей куцей идеологией и не плачущего об этом. И кому-то хочется, чтобы все мы были такими – одинаково бодрыми, марширующими вместе под звуки браваурного марша. А вот другой образ – Того, Кого десятилетиями уже стараются вытравить из нашей памяти и сознания. Душа Моя скорбит смертельно (Мф.26:38), – говорит Он, и капли пота падают с лица Его, как капли крови. Вот Он на кресте, всеми оставленный, но никого не осудивший, не предавший, не забывший. Удивительное лицо, в которое вглядывались многие поколения, обращавшиеся через Него к другому измерению жизни!

И вот мы спрашиваем себя: в котором из этих образов правда о мире и о человеке? И без колебаний отвечаем: во втором! И это знание, эта уверенность есть первое утешение в нашем плаче, первая радость, которую, по слову Самого же Христа, никто не отнимет у вас (Ин.16:22). Но радости этой нельзя достичь, утешения этого нельзя получить, пока не заплачет человек о себе и о мире, пока, иными словами, не углубится в себя, не «вдохнет небесной глубины» и не поразится тому, что выдают за счастье творцы и дельцы псевдосчастья. Блажени плачущии, яко тии утешатся.

## Заповеди блаженства «Блаженны кроткие»

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф.5:5) – так звучит третья заповедь блаженства.

Заповеди блаженства, как мы уже говорили в предыдущих беседах, составляют сердцевину учения Христа о человеке и его жизни и, следовательно, сердцевину христианской морали. Понять их – это значит войти во внутренний мир христианской веры, а это то, чего как раз и не делает, сознательно и злостно, казенная антирелигиозная пропаганда. Она всегда говорит о вере, о религии, о христианстве как бы извне, тогда как все внешнее в религии – организация, обряды и даже догматы – может быть понято только изнутри, т.е. в своей отнесенности к чему-то самому главному, к последнему видению жизни.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю – опять перед нами слова, могущие показаться непонятными, загадочными. Во-первых, почему из многих нравственно-духовных качеств человека выбрана кротость? Несказано «блаженны смиренные», или «блаженны любящие», или сострадательные, хотя мы и знаем, что любовь, смирение, сострадание находятся в центре христианского учения. И, во-вторых, что значит «наследовать землю»?

На вопросы эти лучше всего отвечать, исходя из обратного – из того, что противостоит кротости. Я говорил уже, что в заповедях блаженства, как они записаны в Евангелии, не просто перечисляются разные добродетели, взятые сами по себе, как независимые и абсолютные величины. В них рисуется конкретный, живой образ человека, дана не программа, а внутреннее вдохновение его жизни; дана не мораль как свод правил и предписаний, а жизнь, как ею живет или хотя бы хочет жить тот, кто следует за Христом. В каком-то последнем и самом глубоком смысле это описание, раскрытие внутреннего мира Самого Христа. А так как христианская вера начинается именно с Христа, с вдохновения Его образом, Его личностью и состоит в следовании за Христом, то заповеди блаженства оказываются как бы Его собственным самораскрытием. В



другом месте Евангелия Христос говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя, и обрящете покой душам вашим, потому что Я кроток и смирен сердцем» (ср.: [Мф.11:28–29](#)). Кротость оказывается, таким образом, главным самоопределением Самого Христа. В чем же выражается она в Его жизни, чему противостоит?

Из Евангелия мы знаем, что Христос всю Свою жизнь, все Свое недолгое служение в мире наталкивался на злобу, непонимание, равнодушие, что все Свое время Он проводил среди людей, страстно от Него чего-то требовавших, либо столь же страстно Его ненавидевших и преследовавших. И вот в свете этого, быть может, самое поразительное в жизни, словах, во всем отношении Христа к окружавшей Его всякую минуту стихии страстей – то, что Он остался свободен от этой стихии, ни разу внутренне ей не подчинился, ничего не сказал, не сделал, как говорят, «под влиянием момента».

Но если сегодня, спустя почти две тысячи лет, мы читаем Евангелие с такой же радостью и оно всегда звучит для нас по-новому, всегда современно, всегда говорит нам и для нас, – не есть ли это признак того, что в нем раскрывается нам вечный смысл и вечная правда? А между тем в Евангелии нет ничего отвлеченного. Это не философия, это не систематическое изложение нравственных начал, принципов, норм – это рассказ об одном Человеке, о Его повседневных встречах и разговорах с людьми, которые, по слову Евангелия, «теснили его все время» (ср.: [Лк.8:42](#)). Так вот, не есть ли кротость – прежде всего внутренняя свобода от страстности, от всецелого погружения в момент, и притом свобода, исходящая не из равнодушия, не из сознания своего превосходства. Ибо Христос, в отличие от других учителей и философов, не призывает всю эту суету, всю эту тесноту бросить, уйти от человеческих дел и погрузиться в одинокое созерцание. Учений, призывающих к внутреннему покою через полное отрешение от всего, – тысячи, но это не учение Христа: Он всегда с людьми, всегда в их делах, в их заботах и нуждах, в их радостях и горе, но вместе с тем Он всегда и всюду – центр мира, и одно Его

присутствие вносит свет. Вот это и есть кротость, ибо слово «кротость» не имеет никакого смысла вне живого и конкретного взаимоотношения с другими. Кротким нельзя быть в одиночестве, потому что кротость – это способ и образ реакции на отношение и поведение другого, а не какое-то отвлеченное качество.

Если мы вдумаемся в свою жизнь, то увидим, до какой степени она определяется извне – отношением к нам других людей, их словами, их поведением, даже их внешностью. Еще один шаг, и мы увидим, что живем в каком-то порочном круге, где все зависим друг от друга, но зависим именно внешне, т.е. не столько живем и общаемся, сколько реагируем друг на друга, вместо того чтобы встречаться на глубине. Но потому мы и не встречаемся там, ибо все лучшее и главное не доходит до нас и вся жизнь оказывается сплошной реакцией. Но Блаженны кроткие – это значит, блаженны те, кто способны жить не реакцией, а глубоким, свободным, любовным отношением к человеку, видеть в нем не проявление его личности, а саму эту личность, искать не победы над ним, не защиты от него, а общения с ним. Блаженны те, кто, зная это и ища этого, готовы терпеть внешнее, случайное, мимолетное ради главного, ради вечного в человеке. Они-то, говорит Христос, и наследуют землю, преодолев в себе все временное, преходящее.

Смысл третьей заповеди блаженства в том, что настоящей жизнью живет, по-настоящему обладает и потому наследует ее только тот, кто не реагирует на жизнь, а вкладывает в нее всю свою веру, любовь и надежду. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:3) – это заповедь о свободе и открытости человека. Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф.5:4) – это заповедь не удовлетворяться ничем в мире, кроме самого чистого, самого подлинного, самого небесного. Блаженны кроткие... – блаженны ко всей жизни подходящие глубоко, с любовью и терпением.

## **Заповеди блаженства.«Блаженны алчущие и жаждущие правды»**

Четвертая заповедь блаженства звучит так: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф.5:6). Как и в первых трех заповедях, нам открывается здесь самое основное, первостепенно важное в христианском учении о человеке. Все заповеди блаженства говорят о человеке в его постоянном стремлении к большему. Но ни в одной из них это стремление не выражено с такой ясностью, как здесь: в человеке блаженны, а значит основоположны, жажда и алкание правды. Вдумаемся в эти удивительные слова с точки зрения их содержания по существу и с точки зрения того, как толкуется христианское учение, христианская мораль врагами христианства.

В человеке нет ничего более самоочевидного, чем голод и жажда. Его можно определить как существо голодное, и не случайно принято говорить о «хлебе насущном» как главном предмете человеческих забот. Но, в отличие от материализма, христианство в своем подходе к человеку не останавливается на хлебе физическом, понимая голод и жажду неизмеримо шире, как проявление самого сокровенного в нас. Жажда, алкать – значит желать того главного, без чего невозможно жить. Без материальной пищи человек умирает, но христианство говорит, что ему равно присуще алкание высшего, духовного. Как не может он жить без пищи и ему свойственно хотеть ее всем существом, так не может он жить без правды, а потому жажда и алкание правды так же определяют его, как жажда и голод физические. Итак, вспомним, что человек, по христианскому учению о нем, есть существо, жаждущее правды.

Но что такое эта правда, без которой, как без хлеба, нет и не может быть подлинно человеческой жизни? Русский язык различает понятия «истина» и «правда», которые в других языках часто сливаются. Говоря об истине, обычно подразумевают знание конечной сути вещей и явлений. Искание истины – одно из самых высоких призваний человека и оно

прямо заповедано христианством. Ищите, и обрящете (Мф.7:7; Лк.11:9), – говорит Христос и еще: – Познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин.8:32). Но одного знания истины недостаточно, как недостаточно и одной веры, про которую у апостола сказано: Ибесы веруют и трепещут (Иак.2:19). Истина, как и вера, должна стать самой жизнью, должна, иными словами, сделаться правдой.

Правда – это истина, живущая и воплощаемая в человеческой жизни. Искание истины непременно должно обязательно вести к исканию правды, и тут вспоминается вереница образов, знакомых нам по произведениям великой русской литературы, – все эти странные люди, ищущие правды, мечтающие о ней, живущие светлым и радостным ее видением. «Много нас по свету бродит, правды ищет», – говорит Касьян с Красивой Мечи у Тургенева, и он не один. Эта вера в правду осуществленную, правду жизни в любви и духовной свободе, проходит через творения едва ли не всех русских писателей, светит с их страниц и издавна составляет главный признак русской литературы. Правда – это всегда больше, чем только закон и только мораль. В слове «правда» звучит праведность, а праведность, в свою очередь, предполагает неизмеримо большее, чем соблюдение закона и моральных правил. Праведность есть воплощение в самой жизни светлого идеала человечности, любви и сострадания, смиренной готовности к жертве. Все это невыразимо в юридических и моральных категориях, ибо подразумевает не формальную правильность жизни, но ее полноту как общения в Боге. Жить по правде, жить праведно – извечная мечта человека. Этой правде противостоит неправда, т.е. коренная ложь о человеке, искажающая его внутреннее зрение и отношения с братьями по человечеству.

И вот христианство говорит, что стремление к правде составляет главное в человеке – ту жажду, то алкание, что только и делают его по-настоящему, до конца человеком. Как далеко это от той карикатуры на христианство, какую предлагает нам казенная антирелигиозная пропаганда! Она утверждает, что христианство зовет к примирению с неправдой, что в своем учении о терпении и загробном воздаянии учит

будто бы равнодушно принимать зло, несправедливость и жестокость земной жизни. Но эта карикатура, эта злостная ложь разбивается о четвертую заповедь блаженства – вечное выражение христианского максимализма, внесшего в мир, в историю, в человеческую совесть то видение правды, те голод и жажду, которые никогда уже не умирали в человеке. И даже во времена, когда большинство христиан в своей самоуспокоенности и нравственном самодовольстве забывали о ней, заповедь эта всегда порождала «безумцев» – пророков, юродивых или таких незаметных праведников, как тургеневский Касьян с Красивой Мечи, всю жизнь обративших в непрерывное искание правды.

О христианстве, как и о всяком другом учении, нужно судить по тому замыслу, тому идеалу, какой вносится им в мир, по тому требованию, с каким обращается оно к человеку. А требование это – алкать и жаждать правды во всей ее полноте. Новое небо и новая земля, в которых правда живет (ср.: [2Петр.3:13](#)), – вот обещание Христа, и это делает каждого христианина ответственным носителем и служителем правды. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; блаженны плачущие, ибо они утешатся; блаженны кроткие, ибо они наследуют землю; блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся ([Мф.5:1–5](#)) – так постепенно раскрывается в заповедях блаженства подлинный образ человека, подлинный замысел о нем.

## Заповеди блаженства. «Блаженны милостивые»

Пятая заповедь блаженства, прозвучавшая в Нагорной проповеди Христа, гласит: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7). Быть может, ни в какой другой заповеди Христа не нуждается так наша эпоха, как в этой заповеди о милости, милосердии.

Мы живем в эпоху идеологий, которые, стремясь быть всеобъемлющими, постоянно борются между собой, и эта борьба наполняет мир страхом и ненавистью. Мы живем в мире, откуда изгнаны милосердие и жалость и это, пожалуй, самое страшное в нем, признак его расчеловечения. Можно прочесть все толстенные фолианты, толкующие каждое слово, каждую запятую у тех, кого принято считать творцами этих идеологий, учителями и пророками «нового мира». Там говорится обо всем, начертаны законы и правила для всего. Но все эти учения, направленные как будто на благо и счастье человечества, обещающие ему окончательное разрешение любых вопросов, на практике оказываются почему-то ужасающе бесчеловечными. Дело объясняется просто: во всех современных учениях о человеке нет места милости. И может быть как раз поэтому сторонники этих учений так ненавидят христианство, хотя и имеют нечто общее с ним. Ибо и христианство говорит о совершенстве, и христианство задолго до всех новейших «спасителей» человечества возвестило абсолютную норму. Но в нем есть то, что особенно ненавистно алхимикам принудительно организованного счастья – свет и сила милости. Как часто про Христа в Евангелии рассказывается, что Он сжалился над людьми, что Он милосердовал о них!

Что такое эта жалость, эта милость, это милосердие и почему так страшны они врагам христианства, заставляя их всеми силами выкорчевывать из человеческой памяти образ Христа? Жалость, к примеру, совсем не то же, что снисходительность. Снисходительность почти всегда происходит от сознания собственного превосходства и, главное, от легкого презрения к тем, кого считают неспособными отвечать

определенным требованиям. «Где уж, куда им!» – говорит про таких снисходительный человек, и это значит, что он их, в сущности, презирает, а потому может позволить себе быть снисходительным. Но Христос – и это доказывается буквально каждой строчкой Евангелия – был бесконечно далек от такой снисходительности. Вся Его проповедь (а проповедовал Он почти всегда людям самым простым, бедным и необразованным) предполагает бесконечно высокое призвание каждого человека. Будьте совершенны (Мф.5:48), – сказал Христос не каким-то избранникам, но всем, а значит и нам, каждого из нас считая способным к такому совершенству.

Итак, в Христе и христианстве нет и тени той горделивой снисходительности, с которой так часто относимся к людям мы. Ноу Него есть милость – то, что противоположно законничеству и морализму. Законник говорит: «Ты нарушил закон, ты виноват и должен быть наказан!» Милостивый же утешает: «Ты виноват, но ты брат мой, ты такой же человек, как я, и тебе так же трудно отыскать правый путь!» Милость – это любящее понимание, любящее доверие и, главное, вера в то, что человек, невзирая на любую вину, любое нарушение закона, достоин любви. Милость утверждает примат личного над общим. Закон знает только преступника – милость и в преступнике видит человека. Закон осуждает – милость милосердствует. Закон не может разглядеть всю неповторимость этого человека – милость, не оспаривая закон, всматривается в лицо виновного, в глубину его глаз и знает, что человек, по сути, неисчерпаем.

И те идеологии, что в своем желании безраздельно господствовать над человеком ненавидят христианство, ненавидят в нем милость. Они захлебываются от восторга перед собственной «научностью», а наука старается отыскать во всем только законы, т.е. общее, нормативное, безличное. Личность, живое лицо, живая душа мешают этим идеологиям, подобно тому как науке мешает все единичное, все, что называет она «случайным». Но человечество состоит исключительно из единственных в своем роде «случайностей». Нет и не было отвлеченного «человечества», о котором говорит наука, но всегда были, есть и будут единственные и

неповторимые Иван, Павел, Алексей. И этот живой, конкретный человек не укладывается до конца ни в один закон, но всей своей единственностью и неповторимостью то и дело ставит его под сомнение. И все это ненавистно идеологии, которая интересуется только общим, требует полного и безоговорочного единообразия – всего того, чем исключается милость.

Блаженны милостивые (Мф.5:7) – те, кто в каждом человеке всегда различают живое лицо, те, кто не сводят его жизнь к сфере закона и потому способны сжалиться, помиловать. Здесь основа христианской антропологии, т.е. учения о человеке, основа христианской морали, т.е. учения о жизни христианина и его отношении к братьям по естеству. Этой заповедью христианство неизменно противостоит всем строителям «нового мира», которые, обещая человеку счастье, несут ему ад безличности.



## Заповеди блаженства. «Блаженны чистые сердцем»

С шестой заповедью блаженства мы вступаем в тот внутренний мир христианства, который антирелигиозная пропаганда обходит молчанием из опасения, что люди, узнав о нем, прозреют и все усилия ее пойдут прахом. Заповедь эта гласит: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.5:8). До сих пор мы видели, как в каждой заповеди блаженства раскрывается одна из сторон Христова учения о человеке. Что же раскрывается здесь, в этих словах о чистоте сердца? О каком видении Бога говорят они?

Слово «чистота» имеет в христианстве исключительное значение, означая много больше, чем просто антитезу нравственной (особенно половой) распущенности, и далеко выходя за пределы только морали. Чистота есть внутренне качество, которое лучше всего было бы определить как целостность. Чистота, по христианскому учению, ведет к целомудрию, т.е. к целостной мудрости, которая дает человеку постоянное ощущение себя перед Богом. Чистоте и целомудрию противостоят в человеке не столько грязь, распущенность, грех, сколько внутренняя его спутанность и раздробленность. Христианин переживает грех как утрату равенства себе, как слепоту, препятствующую верной, т.е. целостной, самооценке. И главная задача, главное призвание человека в христианстве – заново обрести свою внутреннюю целостность, восстановить в себе былую чистоту, а вместе с ней и ту полноту зрения, что исчезает в состоянии внутренней расщепленности. Человеку нашего времени все это может показаться непонятным, чрезмерно сложным, а главное – ненужным, тогда как оно – дело самонужнейшее, то, о чем почему-то забыл современный мир.

Страшное зло идеологий, навязываемых человеку как научная истина о нем, состоит в том, что они полностью игнорируют его внутренний мир, или, проще сказать, отрицают в человеке личность. А между тем личность – не просто индивидуальность, но та глубина каждого человека, которую

Библия и христианство называют его «сердцем». Под индивидуальностью можно понимать совокупность тех или иных черт данного человека: наружность, характер, вкусы, таланты и способности, но все это еще не личность. Христианство учит, что в каждом человеке есть глубокая и неразложимая сердцевина – то, что составляет его настоящее, ни с чем иным не сравнимое, ни к чему иному не сводимое «я». Это «я» единственно и неповторимо, и в нем укоренена подлинная жизнь любого из нас. И это самое «я» мы все время теряем в грохочущей суете и заботах жизни, которая проживается в раздробленности страстей, увлечений и т.д. И выходит, что не я обладаю жизнью, а она, эта жизнь, обладает мною, навязывая каждый момент мимолетные настроения, желания, реакции. Но именно поэтому моя жизнь никогда и не бывает целостной, ибо я все время вместо целого вижу только часть, только то, что владеет мною в нынешнее мгновение. Я как бы распадаюсь на множество отдельных, ничем между собою не связанных «я» и постепенно растворяюсь в потоке безличного, который уносит меня в смерть. Материалистическая идеология провозглашает полную зависимость человека от внешнего, но в этом и заключена ее страшная ложь, ее поистине рабская сущность.

Христианство же начинается с призыва к человеку найти и восстановить в себе утраченную целостность – иными словами, ту чистоту своего «я», которую так замутила греховная суета жизни. Все Евангелие, каждое слово Христа обращено к личности, предполагает и утверждает ее. Христос как бы говорит каждому из нас: «Ты существуешь и потому можешь услышать Меня. Остановись, взглядишь в себя, пойми, что жизнь твоя расколота и ты не владеешь ею, а значит, ты раб. Освободись от этого рабства, ибо твоя свобода – внутри тебя, там, где ты можешь наконец встретиться с собою, обрести себя». Материалистическая идеология говорит прямо противоположное: «Не останавливайся, не уходи в себя! Тебе дано все необходимое, дана единственно верная истина, растворившись в которой ты обретешь счастье». Оба подхода к человеку, христианский и материалистический, не просто разделены непроходимой пропастью – между ними не затихает

борьба не на жизнь, а на смерть. Или – или: или растворение человека в безличном целом, или же свободное его вхождение в одухотворенный, любовью живущий организм. И вся история христианства (не внешняя, институциональная, которую так любит «разоблачать» антирелигиозная пропаганда, а внутренняя, и потому настоящая, его история) – здесь, в постоянном очищении человеком своего сердца, в восстановлении им внутренней свободы и целостности, или, иначе, в приобщении к тому опыту святости, который только и дает истинное обладание жизнью. К этому и призывает нас, в сущности, шестая заповедь блаженства: вернуться к целостному зрению, увидеть то, чего не видим мы в своей поверхностной жизни, – незримую красоту и силу, свет и любовь, в которых открывает Себя Бог.

## **Заповеди блаженства. «Блаженны миротворцы»**

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф.5:9) – так гласит седьмая заповедь блаженства. Что выражает она, на что указывает в том учении о человеке, которое дано нам в Нагорной проповеди?

И прежде всего – что есть миротворчество? Враги религии и христианства очень часто указывают на противоречие между этой заповедью Христа и другими Его словами: «Я пришел принести на землю не мир, но меч» (ср.: Мф.10:34). Они ссылаются на участие христиан в войнах, обвиняют их в поддержке всевозможных «поджигателей войны». Что можно на это сказать? Подчеркнем прежде всего, что критика христианства пропагандистами «научного атеизма» поражает своим верхоглядством. Говоря о миротворчестве, они понимают мир исключительно как отсутствие войны между народами и государствами. Но война есть в конце концов только завершение, пусть самое страшное и трагическое, того состояния разделенности и вражды, которое стало присуще человеку как таковому и заявляет о себе не только на поле сражения, но также в человеческой повседневности.

И христианство начинается с обличения именно этого трагического состояния, которое превратило всю нашу жизнь в сплошную борьбу, отравило ее страхом и ненавистью. Поэтому и христианское миротворчество ничего общего не имеет с истерически-лицемерными воплями о «мире всего мира».

Можно не верить в Бога, не знать богословия и при этом ясно видеть странную двойственность человека. С одной стороны, все в нем устроено и приспособлено для общения с себе подобными, все предрасполагает к любви и дружбе, к солидарности и сотрудничеству, т.е. к миру в самом глубоком и подлинном значении этого слова. Человек не просто зависит от другого человека физически и морально, но только в общении с ним обретает то чувство осмысленности и полноты своей жизни, какое сам называет счастьем. В самом деле, дружба, любовь, творчество немыслимы вне человеческого общения и

взаимодействия. Само физическое устройство человека делает его существом, созданным для любви, лада и согласия. Но, с другой стороны, – и тут перед нами трагический парадокс человека, – все «мирное» в нем неизменно разбивается о некую страшную силу, изнутри противопоставляющую его другому. И тогда дружба оборачивается подозрительностью и враждой, сотрудничество – соперничеством, любовь – ненавистью. Мы все знаем из личного опыта, как трудно достигается и как легко разрушается мир, как рвутся дружеские связи, распадается любовь. Природа человека требует мира, а жизненное его поведение природе этой постоянно противится. Почему?

Материалистическое мировоззрение, которое выдается его проповедниками за самое передовое учение о человеке, не только не дает ответа на этот вопрос, но не видит и самого вопроса. Все разделения в человечестве сводятся им к экономическим отношениям и распределению земных благ, а все пути преодоления этих разделений – к борьбе, в том числе вооруженной. Поэтому страшным лицемерием отдают призывы к «миру во всем мире» в устах представителей материалистического мировоззрения, которое никакого мира, по существу, не признает. Истинного миротворчества не может быть там, где некого мирить, т.е. воссоединять, где не с кем восстанавливать лад, согласие и любовь. Ибо, с точки зрения материализма, мира нет в самой природе человека, есть лишь животные потребности, удовлетворение которых не умиротворяет, а дает лишь чувство сытости и т.п.

Христианский же подход к человеку видит в разделении и борьбе трагически иррациональное несоответствие подлинной его природе и призванию. Культ естественных потребностей, к которым сводится, по существу, вся материалистическая антропология, представляется христианству греховным извращением первоначального замысла о человеке. Разделение и борьба оттого и возникли, что человек удовлетворился минималистической самооценкой, согласился с карикатурой на самого себя. Отсюда центральное место миротворчества в восстановлении подлинного человека и подлинной человечности. Миротворцы нарекутся сынами Божиими, ибо

примирение есть выход за пределы своего «я», признание в другом человеке брата, восстановление жизни как единства любви, возвращение утраченного рая. Каждый помнит, должно быть, из своего детства, какой темной и бессмысленной становилась жизнь, когда нарушался в доме мир, когда, провинившись, мы сразу отдалялись от матери или отца. И солнце внезапно переставало светить, и игрушки больше не радовали, и весь мир становился унылой, мрачной темницей... А потом примирение и значит – возвращение света, радости. Христианство благословляет миротворчество, видя в нем путь к новому обретению человеком собственной сущности. Истинный миротворец – тот, кто не просто мирит поссорившихся, но в самую жизнь, в повседневную ее ткань вносит радостно-животворную силу братства и любви.

Усвоив это, мы начинаем понимать и то, о каком мече говорил Христос, какое разделение внес Он в нашу жизнь. В некоем очень глубоком смысле христианство действительно объявляет войну всякому отрицанию истинного мира, всякому учению и идеологии, не основанному на любви и братстве, всякому снижению и извращению образа человека. Миротворчество – это не сентиментальные слова, но трезвое и мужественное стояние на страже Божественного учения о человеке, борьба внутри и вовне себя за освобождение человека от греховного разделения.

## Заповеди блаженства. «Блаженны изгнанные за правду»

За милостивыми, за чистыми сердцем, за миротворцами следуют в евангельских Заповедях блаженства изгнанные за правду. Блаженны изгнанные за правду, – говорит Христос, – ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:10).

Каким страшным диссонансом звучат эти слова в наше время, когда наилучшим качеством, величайшей заслугой человека провозглашается его полное и безоговорочное послушание, а преступлением – всякое сомнение в казенной, плоской и мелкой идеологии. И как важно вспомнить, что эта заповедь об изгнанных за правду включена Христом в Заповеди блаженства, т.е. в то основное учение о человеке, которое в них раскрывается. Незначит ли это, что принцип духовной свободы, означающий, что каждый человек призван быть верным высшей и абсолютной правде, даже если верность эта влечет за собой изгнание, т.е. отвержение обществом, одиночество, страдание, – что принцип этот есть неременный элемент человеческой сущности?

Повторяю: принцип этот в наши дни не только нарушается – нарушения нормы были всегда и всюду, – нет, он открыто высмеивается. За примерами ходить недалеко: вот недавно в одном из ленинградских судов судили поэта Иосифа Бродского<sup>270</sup>. Судили как тунеядца, потому что он удовлетворялся нищенскими доходами, одним костюмом и все счастье, весь смысл своей жизни находил только в одном – в писании стихов. Запись этого процесса – действительно страшный документ.

Вот судья-женщина спрашивает у Бродского:

«Объясните суду, почему вы не работали и вели паразитический образ жизни.

Бродский. Я работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас, – я писал стихи.

Судья. Значит, вы писали свои так называемые стихи. А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?

Бродский. Я начал работать в пятнадцать лет. Мне все было интересно – я менял работу, потому что хотел как можно больше знать о жизни и людях.

Судья. А что вы полезного сделали для Родины?

Бродский. Я писал стихи – это моя работа. Я убежден, я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Судья. Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский. Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз подписывался в том, что на меня израсходовано сорок копеек. А я зарабатывал больше, чем сорок копеек в день.

Судья. Но надо же обуваться и одеваться!

Бродский. У меня один костюм, старый. Но уж какой есть, и другого мне не надо».

И так развивается и дальше этот кошмарный диалог, в котором Бродского обвиняют только в одном – в том, что он предпочел свои стихи и ту правду, которую в них воплощал, общеобязательной доктрине, объявленной правдой. И за диалогом следует неизбежный приговор: пять лет в отдаленных местах с принудительным трудом – изгнание за правду. Но вот что поражает в записи процесса Бродского: единственным действительно блаженным оказывается, по существу, он. В этом море подлости, предательства и злобного улюлюканья он один знает, для чего живет, он один испытал подлинное счастье, он один знает в глубине сердца, что прав, а те, кто оскорбляют, издеваются и глумятся над ним, грозят не относящимися к делу законами, они-то и являют собой жалкое зрелище.

Блаженны изгнанные за правду... В мире все время повторяется старая, но и вечно новая история, и в ней – весь смысл христианства. Евангелие скрывают от людей не потому, что там «ненаучные» взгляды на природу, а потому, что там рассказывается о Человеке, оказавшемся сильнее и государства, и партии, и грубой силы, и клеветы, о Человеке, Который отказался от всякой силы, от всякого принуждения и все-таки был сильнее всех. Настолько сильнее, что когда Его наконец убили, Он завоевал Своей жизнью, Своим учением и



примером весь мир, и мощному государству приходится в наши дни силой бороться с Ним.

Включение заповеди об изгнанных за правду в Заповеди блаженства раскрывает смысл христианства как учения о неотъемлемой свободе человека. Казенная антирелигиозная пропаганда особенно настаивает на том, что религия всегда была одной из форм порабощения человека, она-де учила только смирению и терпению, непротивлению злу, примирению с несправедливостью – на эту тему написаны тысячи книг, брошюр и статей. Но если бы в этом утверждении была хоть доля правды, в Нагорной проповеди Христа не могло бы быть этой заповеди: Блаженны изгнанные за правду. Этими несколькими словами вскрывается ложь всей антирелигиозной пропаганды, как вскрывается она и всей историей христианства, начиная от самого Христа.

Но еще важнее то, что во главе всей жизни и призвания человека поставлена здесь правда. В процессе Бродского и судья, и обвинители, и свидетели обвинения все время твердят о «пользе» – какую «пользу» приносил Бродский? И вот в этом подчинении всего «пользе», т.е. утилитаризму, и заключается коренное противоречие той системы, что преследует Бродского и христианство. Непольза, а правда составляет главную заботу человека, и значение, ценность правды так велики, что ради нее, ради этой правды нужно быть готовым идти на изгнание и на страдание. Христианство учит, что тут, в этом свободном искании и нахождении правды, и заключено божественное достоинство человека, его царское призвание.

И опять-таки понятно, что именно в этой правде, а не в пустой болтовне о «ненаучности» религии – источник ненависти к христианству всех тех, кто правду и свободу заменил своей маленькой, жалкой «пользой». Если есть правда, которую можно так любить, которой можно так отдать себя, чтобы ради нее быть готовым на изгнание, – тогда все, чему учит казенная идеология, все ее сведёние человека к экономике и материи есть страшная ложь и клевета на него. Если прав Бродский, а до него миллионы безумцев – мучеников и страдальцев,

предпочитавших правду пользе, то и пользы нет в самой этой пользе.

Так постепенно в Нагорной проповеди, в этих Заповедях блаженства раскрывается образ действительно блаженного человека – блаженного тем блаженством, той радостью, про которую сказано в Евангелии: «И этой радости никто не отнимет у вас» (ср.: Ин.16:22). Человека, знающего, что его назначение – искать и найти правду: не маленькую, сиюминутную правду о том о сем, а правду о самой жизни, о ее смысле и конечной цели. Человека, знающего, далее, что эту правду нельзя найти без свободы, без личной ответственности, не заплатив сердечным усилием, всей кровью сердца. Человека, знающего, наконец, что путь к этой правде лежит всегда через одиночество, изгнание, страдание, крест. Но крестом входит в мир радость, всякое усилие совести, всякое стояние за правду и в правде всегда рано или поздно побеждает – таков бездонный и радостный смысл восьмой заповеди блаженства.

## Крест. Призыв к невозможному

Крест, центральный символ христианства, кажется врагам религии чем-то не просто непонятным и чуждым, но едва ли не извращенным. «Религия рабского терпения, потустороннего воздаяния и непротivления злу», – вот вечно повторяемые обвинения в адрес христианства. Призыв Христа каждому взять свой крест и следовать за Ним объявляется проповедью пассивности, отказом от борьбы, творческого участия в жизни и т.п. Но такое толкование, если даже оно и принималось порой самими христианами, есть толкование ложное, и вскрыть эту ложь особенно уместно в дни, когда Церковь, вспоминая Крест Господень, снова вдумываясь в его смысл.

Что такое «взять свой крест»? Если взглядеться в образ Христа, принявшего крест, то мы увидим прямую противоположность всем утверждениям антирелигиозной пропаганды. Если бы Христос учил непротivлению, пассивности и полному переключению на «потустороннее», Он не был бы пригвожден к кресту. Его убили за обличение зла и греха, а более всего за то, что Сам Он явил образ такого совершенства, такой высокой и подлинно Божественной жизни, что большинство окружавших Его людей не смогло это вместить и потому отвергло. Предавшие Его на распятие должны были рассуждать так: «Если истинная жизнь – то, чему учит Он, если истинная ее цель – то, к чему призывает Он, тогда все, чем живем, чем дорожим мы – призрак и мишура. Итак, нужно отделаться от Него : отыскать в Нем какую-нибудь вину, а потом унижить, оплывать, осудить и убить!» Иными словами, Крест Христов оказывается страшной и невыносимой правдой о нас самих, и Его призыв взять свой крест есть призыв принять ее как последнюю правду о мире и человеке, а приняв – жить по ней.

Какова же это правда? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5:48) – вот учение Христа, и это учение о неслыханном, «невозможном» совершенстве есть тот самый крест, что предлагает нам Он. Это бесконечно далеко от

дешево-упрощенного толкования религии как успокоительного средства, позволяющего благодушно сносить зло и страдания в предвкушении райских блаженств. А ведь именно такое понимание, такой образ религии преподносится нам в учебниках по «научному атеизму». Но такая религия, повторяю, не имеет ничего общего с религией Христа. Крест – это символ беспощадной правды, вошедшей в мир, чтобы обличить зло как зло. Христос не потому только принимает страдания и крест, чтобы научить нас терпению, но потому, что на этом крестном пути торжествует Он Сам, Его правда. Вот Он тоскует в саду и просит учеников бодрствовать с Ним, но те спят, и на все времена осужден этот сон, эта страшная косность наша на дела сострадания, помощи и участия. Вот Он на суде у первосвященника, и мы узнаем, снова раз и навсегда, как ужасна ложь лжесвидетельства, осуждения невинного. Вот несет Он Свой крест, вот страдает на нем, но разве не тут впервые звучит это потрясающее свидетельство: Воистину Он был Сын Божий! (Мф.27:54; см. также: Мк.15:39). Смотрите, как торжествует Христос в Своем страдании: в нищем, всеми оставленном и умирающем Человеке другой человек узнает Сына Божия, и изменяется навсегда человеческая история.

Так вот, крест – это призыв к человеку до конца стать собой, сполна осуществив в себе то высокое и божественное, что заложено в нем и что он так часто предает из-за своей внутренней расколотости и сердечной глухоты. Принять крест – значит внутренне согласиться на жизнь как трудное восхождение и постоянную борьбу, ибо «узок путь, ведущий в Царство и немногие идут им» (ср.: Мф.7:14). Крест – это предельное обострение совести, это бескомпромиссное стояние за правду, это отвержение всякой лжи и в конце концов жертва. Крест всегда тяжел, всегда невыносим, всегда страшен. Но вот Церковь поет: «...Прииде Крестом радость всему миру», «...Крест – красота вселенной»<sup>271</sup>. И это так потому, что всякий, кто берет этот крест, как бы ни был он тяжел, обретает радость, которую отныне не променяет на целый мир.

Прежде чем выйти навстречу предательству и смерти, Христос сказал: Ныне прославился Сын Человеческий

([Ин.13:31](#)), и вот через весь мрак Страстной недели нарастает свет Пасхи, свет победы жизни над смертью, любви над ненавистью, добра над злом. Христианство есть религия Креста, потому что оно верит в конечную победу того, ради чего принял крест Сам Христос. Непассивность и безразличие, не рабская покорность, но верность до смерти, борьба и узкий путь, ведущий в радость – вот правда о Кресте.

## Крест. Не уничтожить, не вытравить!

В середине Великого поста уместно вновь задуматься о Кресте – главном символе христианства. Современному человеку, не получившему религиозного воспитания, а лучше сказать, получившему воспитание антирелигиозное, трудно, почти невозможно понять этот символ. Но не менее трудно понять его и человеку религиозному. С одной стороны, этот символ подтверждает как будто одно из главных обвинений против религии – что она выдумана для рабов, для рабского терпения, для примирения со злом и несправедливостью. Разве не сказано в Евангелии: Возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк.8:34; Лк.9:23)? Таково рассуждение нерелигиозного человека – он хочет счастливой жизни, и ему ничего не говорит идея и символ Креста.

Но, с другой стороны, этот символ часто соблазняет и верующего: он хочет от Бога помощи и утешения, а ему предлагается нести крест. Разве не сказано в том же Евангелии: «В мире печальны будете» (ср.: Ин.16:20,33)? И вот возвышается он над миром и над человеческой историей – странный символ, странное воспоминание: Крест с Пригвожденным на нем. И нельзя этот символ уничтожить, нельзя воспоминание это вытравить из памяти человеческой. Ведь вот сколько погибало героев и безвинных жертв, а особым и исключительным образом запомнилась именно эта смерть. И всякая попытка построить жизнь так, как если бы не было этого Креста, всякая попытка обойти его попросту не удается.

О чем же говорит этот символ, в чем его единственность? Почему для христианства он является одновременно и величайшей скорбью, и величайшей радостью? Почему и две тысячи лет спустя каждую Великую пятницу люди плачут, слушая повествование все о том же: о криках Распни, распни Его! (Лк.23:21), о беснующейся толпе, об умывающем руки Пилате, о солдатах, бросающих жребий об одежде Сына Человеческого, о предсмертном одиночестве, об ужасе последнего крика: Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня

оставил? (Мф.27:46; Мк.15:34), о Матери и ученике, одиноко стоящих возле Распятого? Почему, каким слухом, внутренним и бесспорным, мы знаем, что это убийство, эта смерть – единственные по своему значению, что все совершившееся тогда имеет непосредственное отношение к каждому из нас и ко мне, точно это я чего-то не сделал, я испугался, бежал, предал, бросил Того, Кого нельзя было бросать, Кто был мне ближе, дороже, нужнее всех на свете?

Но почему такая горячая радость заливает сердце, когда, опять-таки, спустя столько столетий, в день праздника Креста возносится он над многотысячной толпой и так торжественно, так убедительно звучат песнопения: «Крест – красота вселенной...», «Се бо прииде Крестом радость всему миру...», «О, треблаженное Древо...»<sup>272</sup>, словно что-то именно мне и именно для меня открыто и подарено здесь, сказана какая-то последняя тайна о жизни?

Ответить на все эти вопросы обыденным языком, которым мы обсуждаем мелкие дела нашей мелкой жизни, невозможно. Или, вернее, в самих этих вопросах уже светится, уже раскрывается ответ. Печаль и тьма Креста – это распятая Правда, распятая Красота и распятая Любовь. Пусть мне докажут, что в истории человечества было что-нибудь прекраснее, выше, чище и совершеннее Христа! И поскольку это невозможно, то сердце снова и снова испытывает неизбывный ужас оттого, что на этот Свет, на эту Правду и Любовь, на эту Божественную красоту люди, их не захотевшие, ответили ненавистью и убийством. И внезапно понимаешь: если это сделали такие же люди, как мы, не хуже и не лучше, то, значит, есть что-то страшное в человеке, во мне, во всех нас. И это страшное – грех. И о нем мы плачем, когда вспоминаем снова и снова то, о чем забыть невозможно: Пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин.1:11). И к нам пришел Он, и мы Его не приняли, и не принимаем до сих пор, и распинаем Его всей неправдой, всем злом нашего самодовольного и безбожного мира.

Но все-таки не забыли, не можем забыть и порою, в лучшие свои мгновения, принимаем Его в тайниках души со всей

любовью и верой. «Поистине Человек этот был Сын Божий! (ср. [Мк.15:39](#)), – воскликнул офицер, командовавший солдатами, которые распинали Господа. Вглядываемся и вдруг узнаём в Нем, как тот офицер, самую нужную, самую последнюю правду о мире и жизни. Узнаём, что событие, казавшееся нам позорным поражением, было на деле величайшей победой. Все видимое торжество зла разбивается, как волна, о Крест и погибает. Вот Христос перед первосвященником, но кто же торжествует, за кем правда? Вот смотрит Он молча на отрекшегося от Него Петра, и в слезах раскаяния рождается новый Петр. Вот молчит Он на суде у Пилата, и этим молчанием навсегда осуждена великая империя, предавшая Его на безвинную смерть. Вот беснуется толпа, но Он царит и над ней, потому что простил и прощает. И наконец смертью Его начинается та вера, которой жили и будут жить миллионы людей, для кого Христос сделался самой Жизнью. Повторяю, пусть покажут победу, подобную этой! Все уходит, все растворяется во времени – вожди и герои, империи и цивилизации... А Сын Человеческий, не имевший, где главу приклонить, ни разу Себя не защитивший, всеми преданный, продолжает жить в нашей вере и любви, и за имя Его люди готовы умирать. «Крест – красота вселенной», и им, Крестом, радость вошла и постоянно входит в мир. Радость о том, что не все в мире подло и продажно, не все в нем грязь, кровь и ненависть, не все смерть и исчезновение.

Мы никогда не сможем доказать так, как доказывают теорему, истинность всего рассказанного в Евангелии о Воскресении. Но если память о Христе сама становится жизнью, если вера и любовь видят, ощущают, слышат Его, если даже для самой малой веры Он есть Истина, Свет и Жизнь, то нужны ли доказательства? Блаженны не видевшие и уверовавшие ([Ин.20:29](#)). От печали Креста к новой, неумирающей жизни – вот в чем неистребимая радость, которой никто в мире не отнимет у нас.



## Почитание Божией Матери. Свидетельство о Женщине<sup>273</sup>

Я убежден, что не только верующие, но и неверующие знают, какое огромное и совсем особое место занимает в вере и в жизни Церкви почитание Марии, Матери Иисуса Христа.

С самых древних времен церковное предание называет Ее Божией Матерью, Богородицей, Пречистой, Всесвятой. Одна из самых распространенных, чаще всего повторяемых церковных молитв величает Ее «Честнейшей херувим и Славнейшей без сравнения серафим», т.е. указывает, что Ей подобает бóльшая честь, чем херувимам, и что объята Она неизмеримо большей славой, чем серафимы, как называет Священное Писание ангелов. Нет в Церкви службы, почти нет молитвы, в которых не называлось бы Ее имя.

И как не упомянуть о том, что ничем иным ни пронизано так все христианское искусство – западное и восточное, – как образом Матери с Божественным Ребенком на руках. Этот образ замечаем мы, едва войдя в храм, на самом почетном месте около царских врат иконостаса, и перед ним так привычно видеть море огней от горящих свечей! А если поднять взор выше, к апсиде над алтарем, то как часто здесь можно увидеть образ Марии, стоящий в самом центре, являющий как бы сердце всего мира, и надпись сверху: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь»<sup>274</sup>. На одной только Руси существовало свыше трехсот чтимых, или чудотворных, икон Божией Матери, окруженных исключительным почитанием. К Ней неиссякаемой волной неслись мольбы о помощи, благодарения и хвалы.

Но вот в наши дни многие и даже, как принято говорить теперь, «интересующиеся» религией, т.е. приходящие от безбожия к вере, задают вопрос о смысле этого почитания Матери Иисусовой. Смысл этот для них не самоочевиден. Бог, Христос – это понятно, но не слишком ли много места отведено Марии, не заслонил ли в народном почитании Ее образ образа Сына Божия, не преувеличена ли эта хвала, эта любовь? О

воинствующих безбожниках, занятых активным «развенчанием» религии, я не говорю. Для них весь этот, как они выражаются, «культ Матери» – сплошное суеверие, пережиток древних религий с их почитанием «матери сырой земли» и порождающих сил природы. Потому-то и так нужно сейчас попытаться объяснить подлинный смысл, подлинное содержание, подлинную направленность издревле идущего прославления Той, Кто, согласно евангельскому рассказу, Сама про Себя сказала: Се бо отныне ублажат Мя всироди (Лк.1:48).

Я говорю «попытаться», потому что сделать это нелегко. В одном из церковных песнопений, посвященных Деве Марии, сказано так: «Яко одушевленному Божию Кивоту да никакоже кóснется рука скверных»<sup>275</sup>, что в вольном переводе с церковнославянского значит: «Пусть не коснется нечистая рука одушевленного Жилища Божия». Чем выше, чище, святее, прекраснее то, о чем хочешь сказать, тем труднее это. И невозможно, думаю мне, до конца выразить словами то, что увидело, осознало и с такой радостью, с такой любовью прославило и продолжает прославлять в этом несравненном образе церковное сознание всех времен.

Есть, однако, еще одна причина, побуждающая преодолеть это чувство невозможности и попробовать хоть намеком, хоть частично поведать о месте Богоматери в вере и опыте христиан. Причина эта – новый интерес нашего мира, нашей цивилизации к так называемой «женской проблеме». Что-то произошло в мире – быть может, непонятное даже тем, кто громче всех говорят о ней, но тем не менее сделавшее ее предметом страстных, подчас ожесточенных споров. В некоторых странах возникли целые движения, поставившие себе цель добиться женского «освобождения». Положение женщины в обществе стало вдруг осознаваться как приниженное, а сама она – как рабыня. С другой стороны, психология и психоанализ, связанные с именем Фрейда, тоже привлекли всеобщее внимание к вопросам пола, а значит – семьи и брака, половой морали и т.д. Кажется, что современность смутно ищет чего-то и в исканиях этих запуталась. Борьба за «раскрепощение» женщины, за женские «права» и против традиционного

представления о женщине только как о жене и матери – все это, повторяю, требует от верующих – от нас, христиан, – нашего свидетельства. И где же нам искать его, как не в образе Той, преклонением перед Кем наполнена наша вера и знание о Ком составляет подлинно небесную радость нашей жизни?

«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», «Радуйся, Еюже радость возсияет»... Так вот, откуда это поклонение, эта радость, это знание? И если наши немощные и всегда недостаточные слова помогут хотя бы отчасти почувствовать смысл и глубину почитания Божией Матери, то, быть может, прояснится что-то и в той зловещей путанице, в которой мы живем, в том духовном и нравственном тупике, куда мы зашли.

Итак, эту серию бесед мы посвятим почитанию Божией Матери – прежде всего в православном церковном Предании. Но почитание это, как я уже сказал, не ограничено христианским Востоком, занимая огромное место всюду, где есть христиане. И вот об этом почитании, вернее, о его смысле для нас сегодня мы и попытаемся сказать в следующих беседах.

## Почитание Божией Матери. Знание, даруемое любовью

В Новом Завете о Марии, Матери Иисуса Христа, говорится сравнительно немного. Из четырех евангелистов только двое, Матфей и Лука, рассказывают об Иисусовом рождении в Вифлееме и, значит, – называют его Мать, говорят о внешних обстоятельствах этого события и т.д. У евангелиста Марка о Марии не говорится вообще. В Евангелии от Иоанна Она появляется дважды: в самом начале, в рассказе о браке в Кане Галилейской, где ходатайствует перед Сыном об устроителях брачной трапезы, за которой не хватило вина, и в самом конце, когда стоит у креста, на котором Сын Ее распят. В книге Деяний апостолов, чьи начальные главы посвящены жизни первохристианской общины в Иерусалиме, Мария упоминается однажды – в первой главе, где сказано, что ученики Христовы пребывали вместе в молитве с женщинами и Марией, Матерью Иисусовой (см.: Деян.1:14). Во всех других книгах Нового Завета – посланиях Павла и прочих апостолов – о Ней не сказано ничего.

Именно из этого обстоятельства черпают свой первый и главный аргумент все те, кто в почитании Божией Матери, занимающем огромное, поистине центральное место в жизни Церкви, видят нечто «наносное», чуждое первоначальному духу и учению христианства. Именно таков был в XVI веке аргумент протестантов, считавших, что почитание Божией Матери не имеет основы в Священном Писании и отдает идолопоклонством. «Вот, – говорят и теперь люди, думающие так же, – в Церкви существуют праздники Рождества Божией Матери, Введения Ее во Храм и Успения, или смерти. Но ведь ни одно из этих событий не отмечено в Новом Завете, и, следовательно, все это человеческие выдумки, затмившие первоначальную чистоту и простоту христианского учения». И вот, поскольку аргумент этот действительно серьезный, с ответа на него и следует начать то, что мы назвали посильной

попыткой объяснить смысл почитания Богоматери в христианстве.

Ответ этот я начну с подхода к религиозным явлениям вообще. Ибо к ним существует и всегда существовало два подхода – извне и изнутри. Подход извне проще всего определить как основанный всецело на доказательствах. «Докажи, что Бог есть, докажи, что Христос – это Бог, докажи, что в христианском таинстве хлеб становится Телом Христовым, докажи, что существует другой мир – докажи, и я тебе поверю!» Но достаточно вдуматься во все эти «докажи», и станет очевидно, что такой подход не только не подводит к сущности религиозных явлений, но не применим и к жизни вообще, за исключением очень узкой сферы естественных наук. Доказать, что вода кипит при температуре сто градусов, можно, но доказать, что Пушкин – гений, невозможно, как невозможно доказать ничего из того, что относится к внутреннему миру, внутренней жизни человека – к его радости и печали, восторгу, вере и т.д. Обратим внимание на то, что и Сам Христос ничего не доказывал, а только звал людей увидеть, услышать, принять то, чего они не видели, не слышали, не принимали тогда, как в огромном большинстве своем и сейчас. Иными словами, чем выше истина, добро, красота, тем менее они доказуемы, тем менее применим к ним подход, требующий доказательств.

И это приводит нас ко второму подходу – изнутри. Именно им, сами себе в том не отдавая отчета, пользуемся мы в нашей реальной, а не отвлеченной жизни, именно им живем. Так, когда мы любим человека, нам раскрывается в нем то, чего не видит нелюбящий, – его внутренняя сущность, скрытая от внешнего взора, но открывающаяся любви, близости, непосредственному знанию. И вот, вместо того, чтобы подсчитывать извне, сколько раз упоминается имя Матери Иисуса в том или ином тексте, попробуем вопрос о почитании Ее в христианской вере поставить совсем по-иному – в согласии с только что указанным нами подходом изнутри.

Я скажу так: даже если бы наша вера в Христа ничего не знала о Матери Его, кроме того, что Она была и что звали Ее Мария, этого простейшего знания было бы достаточно, чтобы в

самой вере нашей, в самом сердце нашем найти все то, что за две тысячи лет увидела, услышала, распознала и приняла в Ее образе Церковь. Нам говорят, что в Библии ничего не сказано о рождении Марии и о Ее смерти. Но ведь если Она была, то, следовательно, родилась, жила и умерла. Так неужели же наша любовь к Христу, наша вера в Него равнодушна к тому, что началось в мире, когда родилась в нем Дева, Которой суждено было стать Его Матерью? Неужели, веря в абсолютную, божественную единственность Христа и того, что Он совершил в мире, не сосредоточим мы наш духовный взор на Давшей Ему человеческую жизнь?

Иными словами, все наше почитание Божией Матери рождается из любви и знания, только любовью даруемого. И по-настоящему перед нами всегда только одна возможность, только один выбор – вкусить и самим убедиться, что́ это: выдумка, мифология или же истина, жизнь и красота, которые сами себя доказывают.

Подробнее об этом – в следующей беседе.

## Почитание Божией Матери. Сказавшая «да» за всех нас

Евангелие от Луки, единственное из всех четырех Евангелий говорит о Марии, Матери Иисусовой, до Ее материнства, и это удивительно лучезарный рассказ о Благовещении.

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим... Тогда Мария сказала: се, Раба Господня, да будет Мне послову твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк 1:26–35, 38).

Этот рассказ, составляющий тему и содержание Благовещения – одного из самых радостных церковных праздников, конечно, беспредельно далек от сегодняшнего рационалистического подхода ко всем явлениям жизни. «Как это, – спрашивает самоуверенный человек, которому с детства внушили, что все на свете объясняется таблицей умножения, с одной стороны, и теорией Карла Маркса о прибавочной стоимости, – с другой, – как это ангел является Деве и разговаривает с Ней? Такого не бывает. Это легенда, а не научно доказуемый факт!»

Так вот, давайте на первый случай как бы согласимся с человеком, который убежден, что он, сказав все это, развенчал

религию, обличив ее в «ненаучности». Согласимся же в том, что никакая наука, никакая таблица умножения никогда не докажет нам правды того, что совершилось тогда, да и попросту не сумеет объяснить, о чем он, этот евангельский рассказ, поведанный, словно детям, на детском же языке. Но вот какие дивные лучи немеркнувшей радости льются из этого рассказа через все века! Сколько поразительных икон, сколько бессмертных картин, написанных величайшими мастерами, которые, словно зачарованные, всматривались в образ этой Девы, вслушивались в Ее слова: Се, раба Господня, да будет Мне послову Твоему! Две тысячи лет читаем мы это повествование, две тысячи лет празднуем то, о чем рассказано в нем. И в канун Благовещения, в этот ни на какой другой не похожий весенний вечер, такая радость наполняет сердце при звуках простой и тихой хвалы: «Архангельский глас вопиет Ти, Чистая: радуйся!»<sup>276</sup>

И поэтому нам нечего ответить маленькому и самоуверенному всезнайке, который, как слепой крот, всегда окруженный темнотой и не подозревающий, что есть свет, хочет «доказательств». Одно мы можем сделать – попробовать разобраться в этой радости, вдуматься в то, что мы празднуем, о чем наша хвала, какую глубину различаем мы в детски простом рассказе Евангелия.

И прежде всего мы не должны забывать, что Евангелие – не исторический документ в современном смысле. Да, это рассказ об определенных событиях, но не рассказ историка, изучающего те же события извне. Это рассказ верующего, а лучше сказать, уверовавшего в неслыханную новость, что Человек Иисус есть Сын Божий – Бог, пришедший к людям на землю, чтобы спасти их. Это запись, письменное выражение той веры, что вспыхнула две тысячи лет назад в отдаленной провинции Римской империи и на протяжении каких-нибудь полутора столетий распространилась, как пожар, по всему тогдашнему цивилизованному миру. Поэтому прочитанный нами евангельский рассказ о Благовещении не есть документальная запись или протокол, но раскрытие в словах опыта веры, т.е. того, что раскрывается уверовавшим во Христа.



Пойдем дальше – ангел. Церковь никогда не определяла, что такое ангелы, но она, скажем так, знает их. Знает духовным знанием о таинственном обращении, таинственном призыве Бога к человеку. Ангел в переводе с греческого означает «посланец», а присутствие его указывает на очевидность того, что Достоевский назвал «касанием души миров иных». Суть же всего евангельского рассказа вот в чем – в свободном согласии одного человека, Девы Марии, – а в Ней и всего человечества – принять Бога, стать жилищем Бога, соединиться с Богом, ответить любовью и послушанием на Его любовь.

То, чему мы радуемся, празднуя Благовещение, есть да человека Богу, свобода и радость этого да. Христианство – не магия, не насилие, но свободная встреча с Богом в любви. И после стольких измен и падений, во тьме и низости мира, забывшего о Боге, вот Одна из нас в ответ на радостную и благую весть как бы от имени всех нас говорит да. Мир обручается с Богом, мир дарит Своему предвечному Творцу Мать, а значит – всю полноту человеческой любви и человеческой самоотдачи.

Мы никогда не узнаем, да нам и не нужно знать, как это произошло, но мы знаем знанием несомненным, что произошло тогда и почему с этого да Марии ангелу начинается спасение, возрождение, воскресение подлинной человечности.

## Почитание Божией Матери. Чистейший плод<sup>277</sup>

В прошлой беседе, посвященной Благовещению – Благой вести Деве Марии о том, что Ей суждено стать Матерью Иисуса, я старался показать, что основой почитания Марии в Церкви всегда было Ее послушание Богу, свободное доверие к этому по-человечески неслыханному призыву.

Православная Церковь вообще всегда подчеркивала эту связь Марии с человечеством, и если так можно выразиться, любовалась Ею как лучшим, чистейшим, возвышеннейшим плодом человеческой истории, человеческого искания Бога и одновременно – торжеством самого Божия замысла о человечестве. Если в западном христианстве почитание Марии всегда было сосредоточено на образе Ее как Девы, Чье девство не нарушено материнством, то для православного Востока источником любви и, повторю еще раз, радостного любования Пречистой с самого начала было и остается Ее Богоматеринство, кровная связь с Иисусом Христом. Образ Матери с Богомладенцем на руках – вот главнейшее, самое излюбленное, самое повсеместное выражение этого почитания.

Православный Восток прежде всего радуется тому, что в пришествии Сына Божия на землю, в спасительном явлении Бога, ставшего Человеком ради воссоединения человеческого рода с его божественным призванием, приняло участие и само человечество. Если самое радостное и глубокое в христианской вере – соприродность Христа нам, то, что Он подлинно Человек, а не призрак, что Он один из нас, навеки с нами Своим человечеством связанный, тогда понятно становится и любовное почитание Той, Которая Ему это человечество, нашу плоть и кровь, дала и благодаря Кому Он мог называть Себя так, как всегда называл, – Сын Человеческий.

Сын Божий – Сын Человеческий. Бог, снисходящий до человека, чтобы человека сделать божественным, или, как говорят учителя Церкви, обожить, сделать причастником Божества. Именно тут, в этом потрясающем откровении о подлинной природе, подлинном призвании человека – источник

благодарно-любовного отношения к Марии как нашей связи с Христом и в Нем – с Богом.

И нигде не раскрывается это с большей ясностью, чем в другом, фактически первом Богородичном празднике – в празднике Ее Рождества. Об этом событии ничего не сказано в Священном Писании. Да и что особенного можно сказать о рождении ребенка, подобном всякому рождению? И если Церковь стала вспоминать это событие в особом празднике, то не потому, что оно было чем-то исключительным, чудесным, из ряда вон выходящим, но как раз потому, что сама обыденность его раскрывает новый смысл всего того, что мы называем «обыденностью», придает новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто говорим, что они ничем не замечательны.

Но посмотрим на икону этого праздника, взглянемся в нее духовным взором. Вот на постели мать, только что родившая свою Дочь. Церковное предание утверждает, что звали ее Анна. Рядом с нею отец, чье имя, по тому же преданию, Иоаким. А рядом с постелью женщины, которые совершают первое омовение Новорожденной. Самое обыденное, ничем, казалось бы, не замечательное событие... Но так ли это? Нехочет ли Церковь этой иконой сказать нам, что приход в мир нового человеческого существа есть чудо всех чудес, взрывающее всякую обыденность изнутри? Ибо тут начало, у которого нет и уже не будет конца. Начало единственной и неповторимой жизни, возникновение новой личности, с появлением которой мир словно творится заново и дается новому человеку как его жизнь, его путь, его творчество.

Итак, первое, что мы празднуем здесь – это пришествие в мир самого человека, то пришествие, о котором в Евангелии сказано, что, когда совершается оно, мы не помним уже скорби от радости, потому что родился человек в мир (Ин.16:21).

Второе: мы знаем теперь, Чье рождение, Чье пришествие мы празднуем. Мы знаем несравненную красоту и благодатность этого Ребенка, Его судьбу, Его значения для нас и для всего мира.

И третье: мы вспоминаем всех, кто как бы подготовили появление Марии. В наши дни много говорят о наследственности, придавая ей какой-то принудительно-детерминистский смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но наследственность духовную. Сколько веры, сколько добра, сколько поколений, живших высшим и небесным, понадобилось, чтобы на древе человечества вырос этот изумительный, благоуханный цветок – Пречистая Дева и Всесвятая Мать. И потому это и праздник самого человечества, веры в него, радости о нем.

Увы, для нас очевиднее и понятнее наследственность зла. И действительно, столько зла вокруг нас, что вера в человека, в его свободу, в возможность доброй и светлой наследственности почти выветрилась в нас, сменившись скептицизмом и недоверием. Но Церковь призывает нас отбросить этот злой скептицизм и это унылое недоверие в день, когда празднует она – и с какой радостью, с какой верой! – рождение Ребенка, в Котором сосредоточились все добро, вся нравственная красота, все совершенство, составляющие подлинную человеческую природу. Ею и в Ней встречает мир грядущего Христа. Она – наш дар Ему, наша встреча с Богом.

И вот мы уже на пути к вифлеемской пещере и к радостной тайне Богоматеринства, на пути к другому Рождеству, в котором исповедуем пришествие к нам Самого Бога. Но Бога, не столько упраздняющего законы естества, Им же установленные, сколько смиряющегося до детского состояния – до того, что предает Себя Матери и в Ней всему человечеству.

## Почитание Божией Матери. Приснодевство

Христиане всегда верили, верят и сейчас, что рождение Иисуса Христа было безмужным, что родила Его Дева. И это приснодевство, т.е. вечное девство Марии, извечно прославляется Церковью, которая ежедневно повторяет обращенную к Ней молитву: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою».

Нужно ли доказывать, что эта вера в непорочное зачатие Господа, в девство Марии составляет для очень многих «камень преткновения и соблазна» (ср.: 1Петр.2:7), предмет недоумения, предлог обвинить христианство в «суеверии» и т.д. На все это верующие обычно отвечают: «Это чудо, в которое нужно верить, а понять его нельзя».

Ответ этот, для верующих самоочевидный, необходимо все-таки уточнить. С одной стороны, само собой разумеется, что если Бог есть Творец мира, жизни и всех законов бытия, то Он властен законы эти нарушать, т.е. совершать то, что на обычном человеческом языке называется «чудом». Ибо чудо есть нечто, выходящее за пределы ведомых нам законов природы, то, что в противоположность «естественному» мы ощущаем как «сверхъестественное». Если Бог есть, то Он бесконечно возвышается над законами природы как всемогущий, всемогущий и абсолютно свободный. Все это так, и вера, отрицающая чудо, т.е. подчиняющая Бога ограниченным законам природы, – конечно, уже не вера.

Но это не значит, что нам, христианам, запрещено спрашивать себя, вернее, свою веру о смысле чуда. Ибо в том-то и дело, что истинно христианское отношение к чуду, идущее от самого Евангелия, от Самого Христа, требует от нас особого духовного внимания. Весь образ Христа в Евангелии исключает понимание чуда как «доказательства», как факта, принуждающего человека поверить. Я сказал «образ Христа». И действительно, если что доминирует в этом образе, то отнюдь не обращение к чудесам для доказательства Своей Божественности, а, напротив, предельное смирение.

Апостолом Павлом написаны удивительные слова о Христе: Уничжил Себя Самого, приняв образ раба... смирил Себя... до смерти, и смерти крестной (Флп.2:7–8). Ни разу не сослался Христос на Свое чудесное рождение, не употребил этого доказательства. И когда, всеми оставленный, Он висел на кресте в страшной агонии, окружающие издевались над Ним, требуя чуда: «Сойди с креста, и мы поверим в Тебя!» (ср.: Мф.27:42). Но Он не сошел с креста, и они не поверили. Те же, кто поверили, – поверили именно потому, что Он не сошел с креста, ибо ощутили всю бесконечную высоту воссиявшего с креста смирения: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят!» (ср.: Лк.23:34).

Я повторяю: нет в Евангелии, нет в подлинно христианской вере отношения к чуду как доказательству. И нет потому, что доказательство «от чуда» лишает человека того, что христианство считает в нем самым драгоценным, – лишает его свободы. Христос хочет, чтобы люди поверили в Него свободно, а не принуждаемые к вере чудом. «Если любите Меня, – говорит Он, – заповеди Мои соблюдете» (ср.: Ин.14:15). И любим мы Христа (в ту, увы, слишком слабую меру, в какую любим) не за всесилие, а за Его любовь, смирение, за то, что как говорили посланные взять Его, никогда человек не говорил так, как этот Человек (Ин.7:46).

Но Христос творил чудеса. Евангелие наполнено рассказами об исцелении болящих, оживлении умерших и т. д. И потому уместно спросить: в чем же тогда смысл тех чудес, которые Христос все же являл миру? Если Христос, по словам евангелистов, не совершал чудес там, где не верили в Него, если Он обличал людей за то, что они ждут от Него чуда, то почему же Он творил их? Только ответив на этот вопрос сумеем мы, быть может, понять и чудо всех чудес – приснодевство Марии, Матери Его, и не поколебавшуюся ни разу веру Церкви в это чудо.

Прежде всего, все чудеса, о которых мы знаем из Евангелия, совершены были Христом по любви. Он сжалился над ними (Мф.9:36), – говорит евангелист. Недля Себя, не для того, чтобы прославить Себя, явить Свою Божественность,

доказать ее людям, творит чудо Христос, а только потому, что любит и, любя, не может вынести страданий человека, безнадежно плененного злом.

Но объяснение это как будто не относится к чуду, о котором идет речь – к рождению Христа от Девы, к Ее приснодевству. Это то самое чудо, которое в полной мере можно назвать тайным, т.е. только вере открытым и только верою удостоверяемым. Источник его – в нашей вере, что Христос есть Бог, ставший Человеком, принявший на Себя наше человечество, чтобы спасти его. Спасти от чего? От полного, безысходного порабощения природе и ее неумолимым законам, от порабощения, которое делает нас только частью природы, только материей, только плотью и кровью.

Но человек не только от природы – он, прежде всего, от Бога, от свободной Божией любви, от Духа. И вот только это и утверждает, в сущности, наша вера: Христос от Бога, Божий, Его Отец – Сам Бог. С Него, с Его рождения, с Его пришествия в мир начинается новое человечество – не от плоти, не от похоти, которой мы подчинили себя, а от Бога. Сам Бог обручается с человеческим родом в лице лучшего плода человечества – Пречистой Девы Марии, а через Нее, через Ее веру и послушание дает нам Сына Своего Единородного. В мир входит, с нами соединяется новый Адам и восстанавливает того, первого, кто был создан не природой, а Богом.

Вот что с трепетом и радостью узнаем мы, если веруем в Христа. Вот почему, принимая Его как Бога и Спасителя, мы узнаем в Матери Его лучезарное приснодевство и через него – победу в мире Духа и Любви над материей с ее законами.

## Почитание Божией Матери. Спасающий покров

Вот осенний праздник Покрова Божией Матери, ставший особенно излюбленным у нас, хотя возник он не на Руси, а в Константинополе, будучи, как ни странно это сегодня, праздником победы Византии над нашими предками, осадившими тогда ее столичный город. Согласно преданию, во время этой осады в храме явилась Божия Матерь, державшая покрывало над городом и молившаяся о нем.

Но вот, как это случалось не раз в истории, местное событие, ограниченное местными обстоятельствами, переросло само себя, расширилось до вселенских размеров и вселенского значения. Забылась историческая связь событий, забылись конкретные обстоятельства, но остался образ Матери, Которой усыновлено было Ее Сыном на кресте все человечество, – Матери, покрывающей, защищающей и утешающей Своих в беду попавших детей, принимающей в сердце Свое все наши горести, все страдания, всю безутешную боль нашего земного существования. И средоточием такого восприятия Девы Марии стал праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

И Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец (Лк.2:35). Эти слова праведного старца Симеона, сказанные Марии в день, когда Она принесла Младенца в храм для посвящения Богу, глубоко проникли в душу верующих. Мать Иисуса, претерпевшая у креста Сына всю страшную боль жалости и сострадания, стала для нас, людей, даром этой материнской любви, материнской жалости, материнского сострадания.

Веками ощущали, духовным взором видели люди этот светлый Покров над миром, радовались ему и в нем находили помощь и утешение. «Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием...»<sup>278</sup> Тот, кто имел это видение, – юродивый нищий Андрей – рассказывал, что «Богоматерь коленопреклоненно молилась, Госпожа и Царица мира плакала о нем». И много столетий спустя отец Сергей Булгаков, великий русский философ и



богослов, сам в юности уходивший от христианской веры в марксизм, но вернувшийся в Дом Отчий и ставший в страшное лихолетье, в годы отступления от веры миллионов людей свидетелем и провозвестником религиозного призвания своего народа, в проповеди на день Покрова говорил о тайне слез Богоматери так:

«Не только... тысячу лет назад молилась слезно Богородица, но молится ныне и здесь, и всегда, и всюду, и до скончания века. И не только над присутствовавшими тогда... простерся ее Покров, но и над всем родом человеков, и над всем миром, и над нами, грешными, сияет осеняющий и спасающий Покров Богоматери, хотя и не имеем очей, достойных это увидеть. Божия Мать посредствует между землею и небом. Она есть Ходатаица мира, возносящая его молитвы к Престолу Славы Божией. Она есть любовь и милосердование, милость и жалость, прощение и заступление. Она не судит, но всех жалеет. Она – не правда суда и не суд правды, но материнское предстательство. И на Страшном суде Сына Своего Она молит праведного Судию о прощении. Грех мира и скорби мира ранят сердце вселяющее, на злобу и грех Она отвечает любовью и слезами, оружие и ныне проходит сердце Ее.

Богоматерь плачет о мире [разрядка прот.С.Б.– Ред.]. Что это за тайна? Сам мир плачет о себе Ее слезами. Его страдания и скорби суть и Ее печали, его рыдание суть и Ее слезы... Она – Мать, Она – сердце, Она – земля неоранная... Если бы очи людские зрели свет Богоматерний в мире, они знали бы таинственно совершающееся мира преображение. Если бы видели Ее слезы, дрогнули бы и растопились жестокие сердца. Ибо не может быть такого окамененного сердца, которое не растопилось бы перед этой любовью, о нем милосердующей: на злобу – любовь, на грех – слезы, на хулу – прощение, на вражду – благословение»<sup>279</sup>.

И отец Сергей продолжает: «Мир не оставлен в скорби своей, человек не одинок в печали. Ранится и раздирается материнское сердце, вместе с нами и о нас плачет Богоматерь... Будем же знать, Чье сердце мы раним грехами,

Чьими слезами омываются наши падения... Возлюбила Русская земля день Покрова Божией Матери, явленного... в далеком Царьграде. Но не там, а в нашей далекой стране стали радостно петь и ублажать осенение мира Богоматерью. Приклонился душою народ наш к этому дивному явлению, воздвигались храмы по всей земле нашей во имя Покрова Богоматери, и преклонил он колена сердца своего вместе с молящейся коленопреклонно Богородицей. И ныне, в великой скорби своей, народ наш осеняет себя Покровом Ее... И ныне в бедах и скорбях разве не слышит Она стонов и воздыханий, разве не внемлет плачу и рыданиям?

Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная с молитвой и плачем о русской доле. Слышит ли наше сердце плач Ее, знает ли о Ее молитве и утешении, знает ли Покров Ее над нашей землею? Да, слышит и знает, когда молитвенно склоняется перед Пречистой. Неоставила Она нашу землю, хотя и попущены ей сатанинские испытания»<sup>280</sup>.

Эту проповедь отец Сергей Булгаков произнес в самом начале безбожного, антирелигиозного беснования на нашей земле. Но остаются они, слова эти, во всей своей силе и сейчас. Ибо какие бы новые формы ни принимала эта борьба, остается она борьбой за направленность, за выбор сердец человеческих, и не только отдельных сердец, но и за народное сердце – за его выбор, за его верность.

«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла святым Твоим Покровом!»<sup>281</sup> – этим порывом хвалы и радости, этой мольбой о помощи, защите и утешении когда-то определена была наша духовная судьба. И сколько бы ни было грехов и падений, сколь ни страшна была бы тьма жизни – этот сияющий образ Матери, Заступницы, Утешения, Покрова над миром был с нами, над нами, в нас. И праздник Покрова снова призывает нас возвратиться к нему, и в этом возвращении – к исцелению и возрождению.

## Почитание Божией Матери. «Пречистый Храм»

Я говорил в прошлой беседе об особенно любимом нашим народом празднике Покрова Божией Матери. Это праздник, прославляющий и воочию являющий Божию Матерь Заступницей в житейских невзгодах и горестях, светлым Покровом любви над миром, во зле лежащим.

Ей, Божией Матери, было сказано: И Тебе Самой оружие пройдет в душу, да откроются помышления многих сердец (Лк.2:35). Ей усыновил на кресте Христос любимого Своего ученика Иоанна и в его лице – все человечество. Она, по твердой вере Церкви, распространила Свою материнскую любовь на всех нас. Отсюда такое изобилие особо почитаемых икон Богоматери с названиями, подчеркнуто свидетельствующими об этом переживании, ощущении, восприятии ее как Заступницы. Вот несколько таких названий: «Всех скорбящих Радость», «Утоли моя печали», «Умиление» (икона, перед которой нашли мертвым с радостной улыбкой на лице преподобного Серафима Саровского). А вот любимые молитвы, издревле возносившиеся нашим народом к Матери Иисуса Христа: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды разве Тебе, Владычице: Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся», «Царице моя Преблагая... Зриши мою беду, зриши мою скорбь...»

Но это ощущение, это восприятие небесной Заступницы, любящей Матери – не единственное в том почитании, которым издревле окружена Богородица в церковной вере. Вот поздней осенью наступает другой великий праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Как и Покров, как и Рождество Богородицы, как и многое, сохраненное памятью веры, он основан не на свидетельствах Евангелия, а на предании, которое переходило из поколения в поколение и каждым поколением развивалось и украшалось. Согласно этому преданию, Мария еще совсем маленькой девочкой была приведена родителями в иерусалимский храм, где, повинувшись некоему таинственному внутреннему повелению, встретил Ее

первосвященник, и не только встретил, но и ввел в самое священное место, называвшееся святая святых, куда мог входить лишь он сам, да и то раз в год.

Любовь и воображение верующих, повторяю, разукрасили это предание, сообщающее, что Дева Мария вошла в храм, окруженная другими девами с подсвечниками в руках. Нам нет нужды в каждой подобной детали видеть исторический факт, ибо очень многое в вере, живущей и питающейся не рассудком, а сердцем, не доказательствами, а созерцанием, естественно, выражает себя на языке поэзии. Для нас важно то, на что это созерцание, на что эта любовь направлены, что видит, о чем радуется верующее сердце, празднуя это вхождение Пречистой в храм.

Для людей Ветхого Завета иерусалимский храм был единственным и исключительным средоточием их веры. Тут, в святом городе, словно в сердце мира, находилось место, где человек осознавал присутствие Бога и как бы встречался с Ним. Но вот все меняется, когда в это святилище вступает маленькая Мария и первосвященник встречает Ее. И перемена эта лучше всего выражена в главном песнопении праздника Введения во храм: «Пречистый храм Спасов вводится в дом Господень...»<sup>282</sup>

Раньше, до Ее вхождения, – таков смысл этих слов – человек освящался храмом. Теперь же открывается ему, что настоящий храм – он сам, его душа и тело, что Бог создал его, человека, дабы он был храмом, и значит – встречей с Богом, обиталищем Бога, присутствием Бога в богосозданном мире. Что человек священен и священна, вечна, божественна его жизнь. И именно это скажет первый христианский мученик Стефан перед осуждением на казнь: «Бог не в рукотворных храмах живет» (ср.: Деян. 7:48). Все храмы, все жертвенники – только предвозвещение, только символ единственно подлинного храма – человека.

И именно это радостно созерцает Церковь, празднуя Введение во храм Девы Марии. Никто не мог входить в «святое святых», и запрет этот выражал недоступность Бога человеку. Но вот Дева Мария вступает туда, ибо Сама призвана стать Храмом, местом нисхождения, приближения, пришествия к нам

Бога. И созерцая этот Вход, мы снова и снова узнаем, к какой высоте, к какой славе, к какой Божественной полноте призван человек.

Люди, особенно в наши дни, сами себя выводят, так сказать, «снизу», с каким-то необъяснимо порочным восторгом уравнивают себя с материей, с безличной природой. Им кажется обидным для своего достоинства верить в Бога, видеть во всем Его присутствие. «Если Он есть, – как бы говорят они, – тогда мы рабы, так уж лучше быть рабом природы!» Но вот Сам Бог открывает нам, что не рабом и не для рабства призвал Он человека к жизни, а для свободного воцарения над миром, для преображения всего сущего в царство любви, истинного знания и единства. Именно этого искал человек в храмах – встречи с Богом, преодоления рабства природе и смерти, которое всегда и сам смутно осознавал как недолжное.

И вот в образе Девы, вступающей в храм, нам открыто, что вся наша жизнь может, должна, призвана стать таким вступлением, что не в камнях храмовых зданий, не в материи, не в природе, а в самом человеке, храме Божественной славы, совершается освобождение мира, наступает победа Духа над материей, жизни над смертью, Бога и вечности над злом и небытием.

«Пречистый храм Спасов» – вот откровение этого радостного праздника о Деве Марии, а в Ней – о каждом из нас, о всем человеческом роде.

## Почитание Божией Матери. Дар Богу<sup>283</sup>

Можно без преувеличения сказать, что все церковное почитание Девы Марии, Божией Матери, выросло, как дерево из семени, из созерцания Ее у яслей в Вифлееме, в ту для христиан единственную по своему значению ночь, когда родился Иисус Христос, когда образ Матери с Младенцем на руках стал и навсегда остался главным, самым глубоким, самым радостным образом всей нашей веры, всей нашей надежды, всей нашей любви. Иначе говоря, все праздники, все молитвы, вся любовь, направленные на Божию Матерь, укоренены в празднике Рождества Христова.

В древности, когда еще не развился церковный календарь, единственным праздником в честь Девы Марии, который и доныне называется Собором, т.е. собранием, в честь Пресвятой Богородицы был второй день Рождества Христова, 26 декабря. Говорю все это потому, что именно в праздновании Церковью Рождества Христова, в молитвах и песнопениях этого дня, находим мы самый глубокий пласт богородичной темы, определяющий наше восприятие Марии как Пречистой личности и место Ее в нашей религиозной жизни. Об этом пласте я и хочу поведать в сегодняшней беседе.

И прежде всего хочу остановиться на одной теме, на одном мотиве, который красной нитью проходит через все празднование Рождества Христова. Тема эта – переживание Матери Христовой как дара, приносимого миром и человечеством Богу, Который приходит на землю. «Что принесем Тебе, Христе?» – спрашивает Церковь в одном из рождественских песнопений. И сама отвечает: «Все сотворенное Тобою встретило Тебя своими дарами: небо дарит Тебе звезду, ангелы – пение, волхвы – приношение, пастухи – свою радость, земля – пещеру, пустыня – ясли, мы же, люди, приносим в дар Тебе Матерь Деву»<sup>284</sup>.

В чем глубокий смысл этого удивительного песнопения? В том, конечно, что мир, все творение не только жаждут соединения с Богом, не только ждут Его пришествия к нам, но и

готовят эту встречу, так что именно встреча Бога с человеком, свободная и любовная, составляет самую сердцевину христианской веры. Для современного слуха, высушенного, вылощенного поверхностной рассудочностью, слова о небе, которое приносит приходящему в мир Богу звезду, или о земле, которая приносит ему пещеру и ясли, звучат всего лишь поэтической метафорой, не имеющей, как это известно каждому, никакого «объективного значения», никакого отношения к «реальности». Чего наше рассудочное сознание не вмещает, так это того, что именно поэзии и только ей, может быть, дано видеть, слышать и нам передавать и являть глубокий смысл, лучше же сказать – глубину всякого явления, всякой реальности, ту подспудную их силу и правду, что скрыта от маленького, самодовольного, одной лишь внешностью вещей занятого рассудка.

Небо, в дар Христу приносящее звезду, – что это значит, как не то, что все в мире, сам мир в своей целостности и гармонии, в своей, так сказать, природности предназначен, предопределен к явлению в нем высшего смысла, что сам мир не случаен, не бессмыслен, а, наоборот, есть и символ, и желание, и ожидание Бога. Небеса поведают славу Божию (Пс.18:2) – это знает поэзия, это знает вера. И потому в Рождестве Христовом поэзия и вера видят не только пришествие Христа, но и встречное движение к нему мира: звезда, пустыня, пещера, ясли, ангелы, пастухи, волхвы и как лучезарная сердцевина, как скрещение и полнота всех этих движений – Мария, лучший, самый прекрасный плод, самый божественный цветок мироздания. «Ты даешь нам, по любви Твоей, Сына Своего, – как бы говорит наша вера Богу, – мы же в нашей любви даем Тебе Марию, Деву-Мать, чтобы Сын Божий мог стать Сыном Человеческим, быть Одним из нас и нас в Себе соединить с Богом». В лице Марии совершается как бы брак Бога с миром, исполнение их взаимной любви, по слову Евангелия: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного (Ин.3:16), на что отвечает Церковь: «Так возлюбил мир Бога, что отдал Ему Ту, в Чьей красоте и чистоте раскрывается глубинный смысл, глубинное содержание мира».

И потому, прежде чем вера начинает узнавать в Марии Мать и Заступницу, прежде чем находит свою полноту почитание Ее в бесчисленных молитвах, праздниках, изображениях, – прежде всего этого как основание и источник его явлена нам божественная полнота, божественная красота той ночи и в самом сердце ее – ослепительный свет, исходящий из образа Матери с Младенцем на руках. Все то, что распалось в грехе, в злобе, в гордости человеческой, снова соединено: небо и земля, Бог и человек, природа и дух. Мир снова становится хвалой, слова снова становятся любовью и песнью, материя снова становится даром, природа снова становится яслями. Та любовь, которой Бог извечно возлюбил мир, и та любовь, которой на последней глубине своей извечно любит мир Бога, соединились и исполнились и воцарились в этом образе, который с тех пор не оставлял нас и который ничто не смогло выкорчевать из человеческой памяти.

И вот, вглядываясь в этот образ, радуясь ему, мы вглядываемся в единственно подлинный образ мира, жизни и человека. И, ублажая Матерь Деву, радуемся тому, что в Ней раскрылось о нас самих, о божественной глубине, красоте и свете мира, когда он воссоединяется с сотворившим и любящим его Богом.



## Почитание Божией Матери. Дар миру

Заканчивая сегодня цикл бесед, посвященных почитанию Богородицы, я хочу подвести некоторые итоги, сказать несколько слов о смысле и значении этого почитания для нас, для нашей жизни в таком запутанном, сложном и, скажем прямо, трагическом мире.

Что бы нам ни твердили присяжные пропагандисты и казенные идеологи, мы давно уже знаем, что все в этой пропаганде и этой идеологии – ложь и обман, что их пустозвонство, вымученный оптимизм и ложь прикрывают на деле бесконечно трудную и в трудности этой столь часто кажущуюся бессмысленной жизнь.

«Мы построим новый мир, мы утвердим на земле подлинное счастье, мы освободим человека, обеспечим ему подлинно человеческую жизнь!» Люди столько раз за столько лет слышали все эти слова, что они перестали означать для них что бы то ни было. За каждым из этих слов мы автоматически различаем пустоту и обман. В мире страшно пусто и одиноко, в нем бесконечно трудно жить. И потому столь многие ищут только, как бы уйти от этой безрадостной жизни, и погружаются кто в беспробудное пьянство, кто в попытки обмануть обманщиков, выцарапав у них хоть немного самого простого, животного счастья, кто в беспредметные мечтания... Но все это рано или поздно оказывается тупиком. И только еще страшнее становятся пробуждение и возврат к постылой лямке.

Неслучайно все в наши дни, какую область жизни ни взять, стало так «проблемно». «Проблема счастья», «проблема труда», «проблема пола», «женская проблема»... Это произошло, во-первых, потому, что готовые ответы казенной пропаганды перестали быть ответом, и, во-вторых, потому, что иных ответов нет и где их искать – неизвестно. И воцаряются в нас пустота и цинизм, которые мы и хотим заглушить, от которых и хотим убежать.

Многие в наши дни начинают смутно сознавать, что подлинные ответы невозможны, если не прорвется человек к

высшему ведению, не обретет веры. Но ведь и в Бога можно верить по-разному.

Ведь и вера может быть только уходом, бегством, своего рода психологическим опьянением, т.е. псевдоверой. Увы, и во имя веры, и во имя Бога можно ненавидеть и творить зло, разрушать, а не созидать. Неговорил ли Сам Христос: Многие придут под именем Моим... и многих прельстят (Мф.24:5)? Несказал ли также Христос: Невсякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное (Мф.7:21)? Поэтому с первых же своих дней христианство спрашивало не просто: «Веришь ли ты?», ибо знало, что и те, которые распинали и предавали Христа, тоже во что-то верили. Нет, христианство спрашивало: «Как ты веришь и во что?» И вот здесь, при попытке ответить на этот основной для всякой веры вопрос, перед внутренним нашим взором сам собой встает образ Девы Марии, Пречистой Матери.

О, это совсем не значит, что образ Ее хоть как-то заслоняет образ Христа или являет собой иной объект веры, от Него отличный! Нет, ибо от Христа, и только от Него, получаем мы этот образ как некий дар нам, как раскрытие всего того, о чем учение, к чему призыв Христа. Так вот, спросим себя, в чем же его сила, в чем его помощь нам сегодня, сейчас?

Во-первых, в том (и такой ответ, возможно, удивит слушателей), что это женский образ. В самом деле, первый дар Христа нам, первое и самое глубокое раскрытие Его учения и призыва даны нам в образе Женщины. Почему это так важно, так утешительно, так спасительно? Да потому что мир наш стал до конца и безнадежно «мужским». В нем царят гордыня, агрессивность, соперничество, властолюбие. Людям его совершенно чужда готовность в чем-то уступить, где-то смириться, умолкнуть, погрузиться в тихую глубину жизни... И вот всему этому противостоит, все это обличает одним своим присутствием образ Девы Марии, Пречистой Матери, образ бесконечного смирения, но также красоты и силы этого смирения, образ чистоты, но также красоты и силы этой чистоты, образ любви и ее победы.

Дева Мария, Пречистая Мать ничего не требует – и все получает, ничего не добивается – и всем обладает. В этом образе – все то, чего почти уже не осталось в нашем «мужском», гордом и агрессивном мире: сострадание, жалость, забота, доверие. Про себя Она говорит: Се, раба Господня, а мы называем Ее Царицей неба и земли, Владычицей и Госпожой. Дева Мария ничему не учит, ничего не доказывает, но одно Ее присутствие, сам свет, сама радость этого присутствия снимают все наши выдуманные и вымученные проблемы. Как если бы после длинного, мучительно трудного дня мы вернулись домой, и все снова ясно, и все полно того никакими словами не определимого счастья, которое только и есть подлинное счастье.

Христос говорил: Ищите прежде Царства Божия (ср.: Мф.6:33). Так вот, в этой Деве, Матери, Заступнице мы не умом, а сердцем чувствуем, что значит искать и найти это Царство, что значит Царством этим жить.

## **Святость. Св. апостол Павел. Вне систем и схем**

Если вопрос о христианстве ставить в чисто человеческой и исторической плоскости, то одним из основателей христианства, вне всякого сомнения, нужно признать апостола Павла. На это указывает хотя бы тот факт, что им написана половина из двадцати семи книг, составляющих Новый Завет – Священное Писание христиан, на котором основана их вера. Это его четырнадцать посланий христианским общинам и отдельным христианам. Нужно прибавить, что послания его написаны, несомненно, прежде всех других книг Нового Завета и являются, таким образом, самым ранним из дошедших до нас свидетельств о религиозном движении, которое в первые десятилетия нашей эры с быстротой пожара распространилось в странах Средиземноморского бассейна, входивших в состав Римской империи.

Мы почти ничего не знаем о жизни и деятельности двенадцати учеников, избранных Самим Христом для проповеди Его учения. То, что о них известно, дошло до нас через Предание. Однако об апостоле Павле, который не был в числе этих двенадцати и не знал Христа в дни Его земного служения, мы знаем неизмеримо больше – и от него самого, т.е. из его посланий, и из книги Деяний апостолов, половину которой занимает описание его странствий, его проповеди и его деятельности по организации христианских общин. До нас дошел тем самым необычайно живой и яркий образ человека, который посвятил себя на служение Христу с таким самозабвением, с такой убежденностью и верой, что его без всякого преувеличения можно назвать одним из главных устроителей и вдохновителей Церкви как силы, изменившей историю, самосознание и мироощущение человечества. Вот почему, вспоминая апостола Павла, необходимо, нам кажется, попытаться представить его не только как учителя и проповедника христианства, но и как человека. Ибо независимо от того, принимаем мы его учение или нет, нельзя не признать его одним из тех, кого по праву называют «гигантами духа»,

оставляющими мир не таким, каков он был до них. Огонь, которым горел апостол, до сих пор с огромной силой ощущается в его писаниях.

Между тем, хотя писания эти почти ежедневно читаются в Церкви и составляют предмет серьезнейшего изучения богословов, далеко не все христиане могут сказать, почему жизнь и учение апостола Павла во многих отношениях актуальны для нас и сегодня. Но взглядевшись в этот образ, узнав эту жизнь, вслушавшись в это учение, невозможно не почувствовать апостола Павла очень близким, почти современным нам.

И жизнь и учение его особенно важны для нас в свете того спора о религии, который, вне всякого сомнения, составляет центральную тему так называемой новой истории и достиг небывалой остроты в наши дни. Можно положительно утверждать, что религия как привычный атрибут повседневной жизни, над которым особенно не задумываются, заканчивает свое существование на наших глазах. Вся современная цивилизация – научно-техническая, всецело обращенная к земле и организации земного бытия, – постепенно разлагает и выталкивает ее из жизни. Но одновременно с отмиранием этой внешней, чисто бытовой религии, пробуждается религия как целостная и всеобъемлющая вера, как главное и даже единственное дело жизни, как вопрос, от ответа на который зависит все остальное.

А в свете этой вновь обретенной веры ставится под сомнение та самая всецело земная и к земному обращенная цивилизация, торжество которой, казалось, предвещало конец религии. Перед современным человеком очень скоро встанет с неумолимой ясностью вопрос: либо с Богом, либо против Него. Вопрос этот будет в то же время судом и над всякой привычно-бытовой, «теплохладной» религией, и над всеми идеологиями, исключаящими Бога и небо из человеческой судьбы.

И поскольку вопрос этот встает все настойчивее, тем важнее для нас вспомнить апостола Павла. Ибо этим вопросом, и только им, был он буквально одержим всю жизнь. Все есть в его образе – и человеческая немощь, и даже сомнения, нет

лишь одного – теплохладности. Апостол Павел не укладывается ни в одну гладкую схему, ни в одну систему. Он весь – полет, страсть, огонь и потому всегда современен, всегда близок, всегда врывается в нашу жизнь, как очищающее пламя, как ветер, как призыв. С самого обращения, бурного и бесповоротного, вся жизнь его отмечена всецелой преданностью делу Христа, огненным желанием не только самому жить верой, но и обращать других, разделяя с ними тот неповторимый опыт, который он пережил как залог собственного спасения и как залог спасения и преображения всего мира.

Этому обращению и предыстории его мы и посвятим следующую беседу.

## СВЯТОСТЬ. Св. апостол Павел. Встреча с Христом

Первое упоминание о святом Павле в Деяниях апостолов относится к трагическому моменту столкновения молодой иерусалимской общины с религиозными властями иудеев – «старейшинами и книжниками».

Вот по доносу схвачен один из возглавителей христианской общины Стефан, которого Предание Церкви назовет первым мучеником за имя Христово. Его судят в Синедрионе, т.е. верховном судилище, и приговаривают к смерти. Согласно обычаю, осужденного выводят за город и побивают камнями. Именно в этот момент казни и появляется будущий апостол Павел. По рассказу Деяний, убийцы положили свои одежды у ног юноши, именем Савла (Деян.7:58).

Кто этот юноша? В позднейших своих писаниях он сам ответит на этот вопрос: еврей, родившийся не в Палестине, а в рассеянии, в греческом городе Тарсе, что на южном побережье Малой Азии. С юных лет Савл – ревнитель иудейской религии со всеми ее обычаями, и эта религиозная ревность приводит его в Иерусалим, где он обучается у одного из виднейших законоучителей по имени Гамалиил. Тут же, в Иерусалиме, сталкивается он с христианами, в ком видит разрушителей богоустановленного закона, и потому оказывается в числе гонителей этой богохульной и отступнической, на его взгляд, «секты».

Таким и появляется он перед нами впервые – фанатическим гонителем и свидетелем первой крови христиан. В те дни, – сказано далее в книге Деяний, – произошло великое гонение на Церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись поразным местам Иудеи и Самарии... А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян.8:1,3). Таким образом, молодой Савл (впоследствии Павел) действует как религиозный фанатик, в ком абсолютная верность своему идеалу оборачивается, как и в каждом фанатике, ненавистью и жестокостью ко всем его действительным и мнимым врагам. И вот, не удовлетворяясь

борьбой с христианами в Иерусалиме, он решает перенести ее за пределы Палестины. И тут происходит событие, которое все в нем изменило и с которого началась абсолютно новая для него жизнь. Но послушаем снова книгу Деяний.

Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойдй на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина поимени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и встав, крестился и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.



И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий (Деян.9:1–19).

Павлово обращение на пути в Дамаск стало предметом множества толкований, о нем написаны тысячи книг. Едва ли, однако, поддается научному истолкованию и объяснению то, что совершается на последней глубине человеческого «я». Тут – область предельно личного, границу которой наука, имеющая дело только с внешними явлениями, переступить не может, да и не должна. Для нас в этом обращении важно то, как пережил его, как свидетельствовал о нем позже сам Павел. Главное же здесь – и апостол неустанно это подчеркивает – было то, что Христос призвал его Сам, а не через людей, не через споры и доказательства. Тобыла встреча, и столь очевидная, что она оказалась решающей. Та вера, во имя которой Павел гнал христиан, а в них – Самого Христа, после этой встречи оказалась направлена с той же силой, с той же цельностью на Христа. Если мы и не сможем никогда точно узнать, как совершилась эта встреча, то все написанное апостолом свидетельствует о такой личной любви к Христу, что в реальности этой встречи сомневаться невозможно. Об этом – в следующей беседе.

## **Святость. Св. апостол Павел. Благовестник свободы**

В прошлой беседе, посвященной апостолу Павлу, я говорил о его обращении, которое сделало этого фанатического гонителя христиан неутомимым проповедником Христа, основателем христианских церквей в Малой Азии, Греции, Италии и одним из главных организаторов исторического христианства.

В книге Деяний рассказано о проповеднических путешествиях Павла и о выпавших на его долю страданиях. Проповедь других апостолов никогда не сталкивалась с таким ожесточенным сопротивлением, не вызывала такого взрыва ненависти. Наибольшие же гонения претерпел он не от иудеев и не от римской языческой власти, а от собратьев из числа христиан. На эти гонения, на эти следовавшие за ним повсюду клевету и доносы Павел постоянно жалуется в своих посланиях.

Чем же объясняется такое отношение к нему части христиан? В первую очередь тем, конечно, что Павел, в отличие от других апостолов, не был свидетелем жизни Христа, не принадлежал к тем двенадцати, кого избрал Сам Господь и кому поручил Он проповедь Своего учения. Апостол Павел мог ссылаться только на свое чудесное обращение, на таинственный свет, озаривший его по дороге в Дамаск, куда он шел для преследования и ареста христиан. Он мог лишь утверждать, что призвал его Сам Христос. Истинность же этого избрания доказывалась лишь силой его любви к Христу и проповедью о Нем.

Но люди любят авторитет, любят гарантии, проповедь же Павла вся была пронизана и вдохновлена свободой, утверждала первенство духа над всяким законом и авторитетом. Павел был и остается апостолом свободы, и это главное, что нужно увидеть и полюбить в нем и в его учении. Это учение о свободе связано была с вопросом о том, обязательно ли для христиан соблюдение всех установлений еврейской религии и прежде всего – обрезания. Все первые

христиане были из евреев и продолжали соблюдать этот обычай как бы по инерции. Но вот в Церковь стали приходить бывшие язычники, и сразу же встал вопрос, следует ли их подвергать обрезанию. Многие христиане, в том числе и некоторые апостолы, считали, что это необходимо главным образом ради мира, чтобы не соблазнять и не раздражать приверженцев древнего и, по иудейской вере, богоустановленного обычая.

И тут выступил со своей проповедью Павел, который до своего обращения был фанатическим ревнителем закона. Спор об обрезании затрагивал в его понимании не столько обряд как таковой, сколько саму сущность христианской веры. До Христа люди спасались законом, т.е. строгим исполнением правил и предписаний, во Христе же – таково непрестанно-радостное утверждение апостола – спасение не от закона, но от веры и любви, а значит – от свободы. Ибо закон был только путем, или, как говорит Павел, детоводителем ко Христу (Гал.3:24), но с пришествием Христа открылось Царство благодати и любви. Нет уже Иудея, – восклицает апостол, – ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал.3:28). И потому, продолжает он, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства... Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью... К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя (Гал.5:1, 6, 13–14).

Как бесконечно важно для нас напомнить себе и нам это потрясающее благовестие любви и свободы, эту безмерную широту веры! Ибо в нашем темном и холодном мире люди непрерывно враждуют, ненавидят и преследуют друг друга во имя «принципов». И даже в религии так часто сквозит дух мелкого законничества, приверженности к букве в ущерб духу!

И вот, как порыв свежего воздуха, как радость освобождения врываются к нам в сердце эти слова апостола свободы: К свободе призваны вы, братья. И еще, в другом

послании: Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия: вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не унижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие (1Фес.5:13–24).

Читаешь эти удивительные слова, повторяешь снова и снова и узнаешь в них разрешение всех наших «проклятых вопросов», конец духовного порабощения, отравлявшего воздух, которым мы дышим. Как случилось, что люди забыли эти слова, почему мы сами так часто предаем и заглушаем в себе этот призыв к свободе и любви, радости и добру? Всегда радуйтесь. За все благодарите – это пишет человек, испытавший полную меру страданий и жизнь свою окончивший мучеником. И вот – эта радость, эта широта сердца, это абсолютное доверие к Богу и лучшему в человеке!

О, если бы вошла в нашу жизнь хоть малая часть этого доверия, если бы открылось наше сердце к этой любви и радостной свободе, если бы ощутили мы, что «верен Призывающий»! Тогда через малый подвиг каждого из нас началось бы разрушение опутывающего нас зла и упразднение покрывающей нас тьмы мира. К этому призывает всех апостол свободы, твердо знавший, на что призвал его Сам Христос.

## Святость. Завет на все времена

В прошлой беседе я говорил об апостоле Павле как апостоле свободы. Вера в Христа, к Которому он, некогда ревнитель религиозного закона, обратился в таинственный миг на пути в Дамаск, означала для него прежде всего освобождение от ига рабства, т.е. от законнического, рабского отношения к Богу. Неслучайно христианская жизнь определяется им как стояние в свободе, которую даровал Христос (см.: [Гал.5:1](#)).

Но свобода эта не равнозначна произволу, эгоизму, голому самоутверждению. «К свободе призваны вы, братия, – пишет апостол, – только бы свобода ваша не была угождением плоти» (ср.: [Гал.5:13](#)). Содержание свободы, дарованной во Христе, – это любовь, а свобода – условие любви. Любовь освобождает от порабощения закону, свобода же исполняется в любви. Поэтому святой Павел, будучи апостолом свободы, есть одновременно и апостол любви. И об этой новой любви во Христе, любви, которую Христос излил в сердца наши (см.: [Рим.5:5](#)), нигде не сказано с большей силой и полнотой, чем в Послании апостола Павла к коринфянам, в знаменитом его гимне любви:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что

отчасти, прекратится... Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. Достигайте любви...(1Кор.13:1–10; 12–13; 14:1).

Этот гимн любви выражает самую сердцевину, внутренний двигатель всей проповеди, всего учения апостола Павла. Заметим, что все в этом прославлении любви сопряжено с той или иной стороной религии и религиозной жизни. И все направлено на то, чтобы показать, как без любви все в религии становится бессмысленным и пустым.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими... Начиная с Пятидесятницы, когда апостолы заговорили силою Духа на разных языках, христиане в этом даре видели одно из проявлений и доказательств своей веры. Но апостол Павел говорит: если этот дар без любви, то он ничто.

Если я... знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу и горы переставлять... Иными словами, возможно и знание, возможна и вера без любви, но тогда и они ничто.

Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение... Да, возможна и высокая мораль, возможно и мученичество, возможны и поиски совершенства без любви, но тогда все это мертво и нет в том никакой пользы. Все, чем была религия до Христа и чем она так часто остается и по сей день – только знанием или философией, только моралью, только жертвой, только законом, – все это отныне отнесено к любви, любовью измеряется, в любви обретает смысл и силу.

И вот удивительные признаки любви, это удивительное проникновение в ее сущность – в то, как любовь любит. Любовь долготерпит, т.е., ни на что не взирая, продолжает быть доверием, ожиданием, надеждой. Любовь милосердствует, т.е. являет собой противоположность холодному, хотя бы и справедливому суду, во все суждения вносит ту милость сердца, без которой даже справедливость – мертвый закон. Любовь не завидует, т.е. освобождает отношения между людьми от отравляющего их яда, а значит, и от главных порождений зла

– ненависти и разделения. Любовь не превозносится, не гордится, ибо она и только она есть победа над самоутверждением и гордыней, которые составляют главный двигатель нашей жизни. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Достаточно отнести каждое из этих утверждений к себе, к собственной жизни, чтобы почувствовать, до какой степени каждое из них бьет прямо в цель, до чего вся жизнь наша определяется «исканием своего» и потому бесчинствует, потому раздражается, потому помышляет зло. В этом гимне любви вскрывается призрачность добра без любви, истины без любви – всего того, чем мы так легко и так часто оправдываем себя и свой эгоизм, лишь усиливая тьму и страх вокруг. Но над всем в этом падшем и злом мире восходит солнце любви, и все становится возможным, ибо любовь все покрывает, всему верит, все переносит и, главное, – никогда не перестает.

Этим солнцем, этой силой любви озарено все учение апостола Павла. Любовь и свобода – вот его завет на все времена, вот то, к чему он призывает меня, нас всех сегодня. Достигайте любви (1Кор.14:1),– говорит он, – и я покажу вам путь еще превосходнейший (1Кор.12:31).

Христианство толкуют по-разному. Для одних оно прежде всего мораль, нравственный закон. Для других оно философия или идеология, объясняющая и разрешающая так называемые проблемы. Для третьих, наконец, оно быт, система обычаев, привычек, воспоминаний, украшающих жизнь и буквально помогающих жить. И, конечно, христианство есть все это. Но оно и больше, и шире, и глубже всего этого. Ибо в Евангелии христианство провозглашается, прежде всего, как жизнь, как новая жизнь, обновляющая старую, греховную, как некая новая реальность. И, по существу, у самих христиан основным доказательством их веры как для самих себя, так и для других всегда была конкретная, живая жизнь, а не просто учение, мораль и богослужение. Апостолы проповедовали – и это всегда нужно помнить – не христианство, а Христа, Его жизнь, Его страдания, Его смерть и победу над смертью. И это значит, что проповедь их была проповедью конкретного, живого, единственного образа. Потребовались века, чтобы уточнить сложное и богатое христианское учение, чтобы воплотить это учение в изумительные по красоте и глубине формы христианского богослужения, чтобы наконец разработать во всех подробностях моральные и нравственные принципы христианства. И однако все это не имело бы и не имеет никакого смысла без воплощения в жизни. И потому такое особое, исключительное значение имели всегда в христианстве святые, т.е. люди, которые как раз и воплотили в себе, в своей жизни самую суть христианства. И потому эта суть лучше всего раскрывается нам, когда мы вглядываемся в этих конкретных, живых людей.

Особенно же полезно это сейчас, когда многие, даже верующие, религиозные люди оказались как бы оторванными от живого знания святых. Произошло это, как это ни странно, из-за самого почитания святых. Вместо того чтобы стараться понять, почувствовать опыт святых, вдуматься, вжиться в него, люди стали просто прославлять святых, и они превратились в



отвлеченное воплощение некоего сверхчеловеческого, сверхъестественного совершенства, которое нам-де, простым смертным, все равно не под силу. Мы забыли, что святые – это, прежде всего, такие же люди, как мы, и, значит, каждый из них индивидуален, не похож на другого. Что каждый святой, иными словами, – это живая и уникальная личность, и важно в святых как раз то, что каждый из них своим путем, в единственных и неповторимых условиях своей жизни дошел до святости, до того воплощения в себе христианства, которое продолжает светить и нам. Мы забыли, далее, о великом многообразии святых, о разнице темпераментов, жизненных призваний, образований, интересов, путей, которые явили они. Святые для нас есть лишь некое собирательное совершенство.

Однако именно сейчас и именно нам нужно вспомнить о святых как о живых людях. Нужно потому, что в той борьбе, которая ведется кругом нас против христианства, против Церкви, против веры, как раз и используется, и притом очень искусно, отвлеченный характер религии, ее номинализм. Христианство оспаривают как учение, его разоблачают как мораль («Вы говорите одно, а поступаете по-другому, и, следовательно, вся ваша вера – ложь!»), над ним издеваются как над культом. И можно без конца спорить с этим, можно и нужно защищать веру и как истину, и как мораль, и как культ, но защита эта не будет по-настоящему убедительной, если мы сами не увидим в христианстве жизнь, т.е. путь, которым шли тысячи, десятки тысяч людей, для кого он стал путем совершенной радости, всеобъемлющего смысла, полноты жизни и человечности. Правда христианства – в его жизненности, в этой способности его рождать святых – рождать их в каждую эпоху, в каждом народе, в каждой культуре.

У христианства, как у всего на земле, были периоды подъема, но и упадка, эпохи больших и меньших успехов. Христиане часто, даже слишком часто, изменяли тем принципам, которые сами провозглашали, и, с этой точки зрения, они дали немало оружия в руки своих врагов. Но сквозь всю эту человеческую, подчас «слишком человеческую» историю, остается неизменным то, к чему мы всегда можем и

должны апеллировать и что составляет саму сущность христианства. Это образ Христа и потому образ всех тех, кто не на словах только, но подлинно всей жизнью приняли Христа, последовали за Ним и в ком христианство нашло свое оправдание.

Христианское учение об обожении человека, т.е. о его полном внутреннем преображении, о совершенной победе в нем любви, радости и свободы, остается и вправду только словами, голым утверждением, пока мы не укажем обоженного человека, действительно достигшего этого совершенства свободы, любви и радости. На протяжении веков в святых слишком часто видели только помощников, заступников, ходатаев. От них хотели и ждали лишь чудес, лишь сверхъестественной помощи. Но не наступило ли время вернуться к подлинному смыслу святости в христианстве? Смысл же этот лучше всего воплощен в слове, которым христиане называли первых своих святых мучеников. Слово это по-гречески «мартис» (μάρτυς), а по-русски – «свидетель». Святой – это прежде всего свидетель, т.е. человек, опытно увидевший, познавший, сделавший своей жизнью Христа. И потому ему, как свидетелю, не нужны доказательства и рассуждения. Он видел, он узнал, он принял. Он очевидец того, что для других еще только доктрина, только слова, только рассуждение. Вот почему мы хотим в нескольких следующих беседах постараться дать, пусть самое краткое, описание разных путей святости, разных образов святых в христианстве, чтобы возможно было почувствовать тот свет, который остался от них в мире и продолжает не только светить и согревать других, но сам рождает в них жажду святости, жажду совершенства. И тогда, как сказано в Писании, придите и рассудим (Ис.1:18), что правда и что ложь в той борьбе, которая с таким напряжением ведется против христианства вот уже почти пятьдесят лет.

## Святость. Воплощенная суть (продолжение)<sup>286</sup>

В прошлой беседе я говорил, что для христиан христианство есть, прежде всего, путь и образ жизни. Христианское учение – богословско-философское ли, как объяснение мира, моральное ли, как свод нравственных правил и предписаний – не поддается отвлеченному обоснованию. И это потому, что в центре, в основании христианской веры – не доктрина, не мораль, а Христос – Его живой образ, Его жизнь, Его любовь. Отсюда, говорил я, исключительное значение святых, которые для христиан и были всегда главным доказательством, главным свидетельством истинности христианской веры. И потому в наши дни, когда против религии столько пишут и говорят с позиции отвлеченных рассуждений, уместно вспомнить хотя бы некоторые из этих образов святости – образов, в которых христианство от начала и до наших дней находило свое воплощение.

Вот перед нами человек по имени Игнатий, живший в конце первого – начале второго веков нашей эры в городе Антиохии. Об Игнатии Антиохийском мы знаем из писем, которые он как епископ, т.е. глава христианской общины Антиохии, написал другим церквям. Из них известно, прежде всего, что епископ Игнатий был арестован римскими властями, преследовавшими христианство, и отправлен на смертную казнь в Рим<sup>287</sup>. Большинство дошедших до нас писем написано им как раз на этом смертном пути. Многие христиане, встречавшие Игнатия по дороге, пытались ему помочь, искали связи в Риме, чтобы спасти его от смерти. И вот в ответ на эти попытки, в ответ на эту любовь Игнатий умоляет не спасать его, выражая радостную уверенность в том, что мученическая кончина для него – начало настоящей жизни.

Послушаем его. «Я пишу всем церквям и всем говорю, что добровольно умираю за Бога. Огонь и крест, множество зверей, расчленение, раздробление костей, расторжение членов, сотрение всего тела, лютые муки – пусть все это придет на меня, только бы достичь мне Иисуса Христа. Лучше мне

умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всей землей. Его ищу, за нас умершего, Его желаю – за нас воскресшего. Приближается рождение мое, простите меня, братья. Непрепятствуйте мне войти в жизнь, не желайте мне смерти. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету. Придя туда – человеком Божиим буду. Позвольте мне быть подражателем страданий Бога моего. Кто сам имеет Его в себе, тот поймет, чего желаю я, и окажет сострадание, видя, что заботит меня»<sup>288</sup>.

Удивительные слова! И это всего лишь одна цитата из семи пространных писем, ясно показывающих, как разгорается эта радостная жажда, это почти физическое видение света и победы. Что же это? Фанатизм? Исступление мистика-изувера? Совсем нет! Ибо в тех же письмах Игнатий, престарелый и умудренный опытом епископ, дает христианам множество самых практических советов, заботится об устройении Церкви и ее единстве, о чистоте церковного учения, о помощи бедным и т.п. В этих письмах нет никакого эмоционального возбуждения, никакого надрыва – только спокойная уверенность, доказывающая, что святой Игнатий, как и великое множество других первохристианских мучеников, непрестанно ощущал в себе присутствие воскресшего Христа. И это присутствие было для него не идеей, не умственным построением, а живым опытом. Тем опытом, о котором напоминает нам каждый год на Пасху Церковь словами: «Воскресе Христос, и жизнь жительствует». И это еще раз доказывает, какое значение в христианстве имеет опыт победы жизни над смертью.

Проходит пятьдесят-шестьдесят лет, и перед нами совсем другой образ – Иустин, римский философ, глава философского училища. О своих долгих духовных исканиях, размышлениях над смыслом жизни и о трудном пути к истине он сам рассказал в дошедшем до нас произведении «Беседа с Трифоном». Блестяще образованный, Иустин искал эту истину у Платона и Аристотеля, у стоиков и пифагорейцев, т.е. во всех философских и научных системах своего времени. И вот наконец нашел Христа и христианство. «Внезапно, – говорит Иустин, – разгорелся во мне огонь, и объяла меня любовь, и,

размышляя, я только здесь (т.е. в христианстве. – прот. А.Ш.) нашел истинную и полезную философию». Внешне Иустин не изменил свою жизнь, остался учителем философии. Но вот последовал донос, и его вместе с несколькими учениками арестовали. До нас дошла стенографическая запись допроса Иустина судьей Рустиком:

«Так ты христианин? – спросил судья.

– Да, я христианин, – спокойно ответил Иусгин.

– Послушай, – сказал ему Рустик, – ты, который называешься ученым и думаешь, что знаешь истинное учение! Если тебе после бичевания отсекут голову, уверен ли ты, что взойдешь на небо?

– Я надеюсь получить этот дар, если претерплю все это.

– Так ты думаешь, что взойдешь на небо и получишь там награду? – спросил еще раз Рустик.

– Не думаю только, – отвечал Иустин, – но знаю и вполне уверен в этом. Наше пламенное желание – пострадать за Господа Иисуса Христа, ибо это дарует нам спасение и дерзновение на страшном и всемирном суде нашего Владыки и Спасителя. Делай, что хочешь: мы – христиане»<sup>289</sup>.

Тогда последовал приговор: за отказ принести жертву богам и неповиновение правительственному указу подвергнуть арестованных бичеванию и отсечь им головы<sup>290</sup>.

Итак, снова перед нами – не отвлеченное рассуждение, а простое и как бы самоочевидное: Я знаю, я вижу. Это не пессимизм восточных мистиков, не пафос изуверов, а спокойный свет веры. Сила и истина христианства для христиан в том, что оно, действительно, меняло и преображало жизнь и смерть людей. На этих свидетелях христианство и держится, ими оно и непобедимо.

## Святость. Воплощенная суть (продолжение)

Продолжая в этой беседе начатую нами раньше серию бесед о святых как главных выразителях духа и воплощении христианства, мы остановимся сегодня на двух братьях, которым суждено было стать первыми официальными, или, как говорит Церковь, канонизированными святыми молодого христианства русского народа. Братья эти – Борис и Глеб, сыновья крестителя Руси князя Владимира, которых в 1015 году, после смерти Владимира, умертвил их старший брат Святополк.

Внешняя история этого двойного, явно политического убийства несложная, и она достаточно подробно изложена в русских летописях. Смерть отца «застает Бориса в походе на печенегов... он возвращается в Киев и дорогой узнает о намерении Святополка убить его. Он решает не противиться брату, несмотря на уговоры дружины, которая после этого оставляет его. На реке Альте его настигают убийцы... В своем шатре князь проводит ночь на молитве, читает утреню... ожидая убийц». Наконец, убийцы «врываюся в палатку и пронзают его копьями». Его брата «Глеба убийцы настигают на Днепре, у Смоленска, в устье Медыни... Предупреждение брата Ярослава, застигшее Глеба у Смоленска, не останавливает его. Он не хочет верить в злодейство брата Святополка... Ладья убийц встречается с ладьей Глеба, тщетно умоляющего о сострадании. По приказу Горясера (вождя убийц. – прот. А.Ш.) собственный повар Глеба перерезает ножом его горло»<sup>291</sup>. Вот внешняя канва. Но, как замечает выдающийся историк русской святости профессор Георгий Петрович Федотов в своей книге «Святые Древней Руси», канонизация Бориса и Глеба, их необычайная популярность в Русской Церкви и сам этот факт, что своими первыми святыми молодая Русская Церковь избрала жертв, казалось бы, обычного в то время политического преступления, а не мучеников за веру или героев монашеских, аскетических подвигов, «ставит перед нами... большую проблему»<sup>292</sup>. В жизни Бориса и Глеба мы не видим столь

привычных в религиозной литературе чудес, подвигов, исключительного героизма, необычайной нравственности или молитвенности. И потому вместе с Федотовым уместно поставить вопрос: в чем Русская Церковь и весь русский народ видели святость князей? В чем видели смысл их христианского подвига?

На этот вопрос Федотов отвечает так: «Память святых Бориса и Глеба была голосом совести в между княжеских удельных счетах, не урегулированных правом, но лишь смутно ограничиваемых идеей родового старшинства»<sup>293</sup>. Но эта политическая идея – не главное: главное, – продолжает он, – это «евангельское обоснование подвига»<sup>294</sup>. Князь вспоминает о смирении, повторяет слова Писания: «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать»; о любви: «Кто говорит: Бога люблю, а брата своего ненавидит, лжец есть»; всего же сильнее – это мысль о мученичестве: «Аще кровь мою пролиет, – говорит Борис, – мученик (т.е. свидетель. – прот. А.Ш.) буду Господу моему». И эти слова он повторяет дважды. Вольное мучение есть подражание Христу, совершенное исполнение Евангелия. Со слезами идет он на горькую смерть, как говорит сказание, благодаря Бога, что сподобил его «все претрадати любве ради словесе Твоего». Убийцы уже в шатре, а последние слова святого все те же: «Слава Тебе, что сподобил меня труда, т.е. подвига святых мучеников. Ты знаешь, Господь мой, что не противлюсь и не сопротивляюсь». Замечательно, что мученичество князей лишено всякого подобия героизма: не твердое ожидание смерти, не вызов силам зла, которые столь часто слышатся в страданиях древних христианских мучеников. Напротив: летописи подчеркивают их человеческую слабость, их жалостную беззащитность. Сказание ярко рисует мучительную трудность отрыва от жизни, горечь прощания с этим «прелестным светом». Не об отце лишь плачет Борис, но и о своей погибающей юности. В нем все время идет борьба между двумя порядками чувств – жалости к себе самому и возвышенного призвания к соучастию в страстях Христовых. После первых ударов убийц Борис находит в себе силу выйти из шатра и попросить их: «Братия

моя милая и любимая! Мало ми время дайте, да помолюся Богу моему». И лишь после этой последней жертвенной молитвы он находит в себе силы, хотя и по-прежнему «слезами облився», сказать палачам: «Братие! Скончайте службу вашу, и да будет мир брату моему и вам, братие!»

Еще более поражает своим трагическим реализмом смерть Глеба. Здесь все сказано, чтобы пронзить сердце острой жалостью. Юная, почти детская жизнь трепещет под ножом убийц, и ни одна черта мужественного примирения, вольного избрания не смягчает ужаса бойни почти до самого конца. Глеб до встречи с убийцами, даже оплавав Бориса, не верит в жестокий замысел Святополка. Уже завидев ладью убийц, он радуется, «целование чаяше от них прияти». Тем сильнее его отчаяние, тем униженнее его мольбы: «Не режьте лозы, не до конца возросшия!» Однако уже это причитание кончается выражением беззлобного непротивления: «Аще ли крови моей насытити ся хотите, в ваших руках есмь и брата моего, и вашего князя». Молитва, начавшаяся с горькой жалобы, оканчивается выражением убеждения, что он умирает за Христа. Федотов пишет: «Думается, в полном согласии с древним сказателем мы можем выразить предсмертную мысль Глеба: всякий ученик Христа оставляется в мире для страдания, и всякое невинное и невольное страдание в мире есть страдание за имя Христово. А дух вольного страдания – по крайней мере в образе непротивления – торжествует и в Глебе над его человеческой слабостью»<sup>295</sup>.

В образе Бориса и Глеба идея жертвы, отличная от героического мученичества, выступает с особой силой. Через жития «святых страстотерпцев», как назвала их Церковь, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце народа навеки, как самая заветная его святыня. Святые Борис и Глеб создали на Руси особый чин страстотерпцев – «самый парадоксальный чин русских святых». И именно они, эти «непротивленцы», как это ни странно, по смерти становятся в народной вере «во главе небесных сил, обороняющих русскую землю от врагов»<sup>296</sup>. «Но этот парадокс, – отмечает Федотов, – конечно, является выражением основного парадокса



христианства: Крест, символ всех страстотерпцев, из орудия позорной смерти становится знаменем победы»<sup>297</sup>.

Таково начало понимания святости у нашего народа. Сердце и память его пленили не герои, а вот эти слабые и человеческие братья, нашедшие в себе одну силу – поставить любовь выше силы. И потому в сердце и в памяти народной победившие, оставшиеся живыми.

## Святость. Воплощенная суть (продолжение)

Среди своих святых Русская Церковь почитает около семидесяти епископов. Епископ – это глава Церкви, это самый высокий иерархический представитель христианства. Поэтому интересно знать, какие качества, какой дух ценил народ в этих духовных вождях, за что сохранил их образ в своей памяти. Мы не можем, конечно, ни перечислить здесь всех имен, ни даже кратко сказать о самых интересных и показательных из них. Но очень важно, и важно именно сейчас, когда казенная антирелигиозная пропаганда всеми силами стремится дискредитировать веру – причем в первую очередь через «развенчание» духовенства и возведение против него всевозможных обвинений, – очень важно вдуматься в тот идеал духовного вождя, которым веками жил народ и который не раз и не два, а многократно воплощался в этих вот святых епископах нашей Церкви.

Но не будем говорить здесь о том, что представляется самоочевидным у духовного учителя жизни – о чистоте его нравственной жизни, о молитвенности, о духовной сосредоточенности. К этому призваны все верующие, и тут нет разницы между епископом, священником, монахом или же рядовым членом Церкви. Но на фоне этих общих религиозных качеств выделяются уже, так сказать, особые, специфические качества духовного вождя. В чем же они состоят?

На вопрос этот лучше всего отвечают жизнеописания святых епископов, составленные в пятнадцатом веке Пахомием Логофетом – сербским ученым монахом, приехавшим на Русь с Афона и много потрудившимся, чтобы поднять общекультурный уровень Русской Церкви. И вот очень интересно, что наряду с такими качествами, как забота о чистоте веры, Пахомий ставит как, пожалуй, самое главное в епископе его общественное исповедничество, т.е. защиту им всеми способами правды и справедливости: «Видяще несправедное от царей и от вельмож деемое, видяще сироты истязаемы, грабление и хищение, царей обличаху» – обличали царей, т.е. власть, т.е. правительство, т.е.

силу. В наши дни, когда представители Церкви требуют слепого подчинения власти, угождения ей во всем, этот образ древнего святителя, мужественного борца за правду и бесстрашного обличителя всех власть имущих особенно дорог нам.

Остановимся кратко на примере двух епископов, восставших, хотя и по-разному, против злой, несправедливой, деспотической власти Иоанна Грозного. Это святые Герман, митрополит Казанский, и Филипп, митрополит Московский. Святого Германа Грозный вызвал из Казани в Москву и хотел заставить его принять митрополичий сан, т.е. сделать главителем всей Русской Церкви. Князь Курбский рассказывает<sup>298</sup>, что уже состоялось соборное избрание и Герман переселился в митрополичьи покои, когда между ним и царем произошел разрыв из-за опричнины – террористической ватаги, созданной царем и наводившей ужас на всех и вся. В беседе с царем наедине Герман «тихими и кроткими словесы» напомнил царю о Божией правде, о Божием суде, пред которым все равны, и Грозный порвал с епископом: «Еще и на митрополию не возведен, а уже связываешь меня неволею»<sup>299</sup>. Епископу не суждено было вернуться в Казань, и мы даже не знаем, что происходило с ним в те два года, которые он провел в Москве перед своей смертью в 1568 году<sup>300</sup>.

Но, конечно, самым потрясающим, самым незабываемым остается трагический конфликт с Грозным московского митрополита Филиппа. Избранный на том же соборе, что и Герман, он прямо поставил предварительным условием своего избрания отмену опричнины, т.е. террора. Царь и епископы убедили его отказаться от этого условия, сохранив за митрополитом лишь древнее «право печалования», т.е. заступничества за жертв произвола. Когда через полтора года возобновились казни, Филипп возвысил свой голос, сперва увещая царя наедине, а затем перенес свои обвинения в Успенский собор. Его жизнеописание сохранило нам пересказ вдохновенных его речей: «Мы, о государь, приносим здесь бескровную жертву, а за алтарем льется кровь христиан»<sup>301</sup> и в ответ на угрозы царя: «Не могу повиноваться повелению твоему больше, нежели Божию... подвизаюсь за истину, хотя бы

лишился сана и лютейшеепострадал»<sup>302</sup>. Для святого Филиппа исповедание правды было столь же обязательным, как и исповедание веры, «иначе, – говорил он, – тщетна будет для нас вера наша». «Впечатление от этого слова правды, сказанного в лицо тирану, – пишет историк, – было велико, но в деморализованной опричниной России мало было охотников следовать путем Филиппа»<sup>303</sup>. Собор епископов по требованию царя низложил митрополита, обвиняя его в неясных для нас преступлениях. Филипп был заточен в монастырь в Твери и через год задушен опричником Малютой Скуратовым во время карательного похода царя на Новгород.

В лице митрополита Филиппа мы находим, конечно, вершину этого служения епископа – служения правде во всей ее чистоте и свободе. Но если к его имени и к имени святого Германа Казанского прибавить имена тех очень многих епископов, которые сознательно и ответственно участвовали в государственной и политической жизни своего народа, стараясь всю эту жизнь просветить нравственными и духовными идеалами, изнутри подчинить ценностям высшего порядка, то мы получим как бы некий соборный образ духовного вождя, учителя, носителя нравственного идеала и нравственной силы, и именно этот-то образ и сохранила народная память. Имен этих, повторяю, много – достаточно напомнить о знаменитых московских святителях Петре, Алексии, Ионе, о патриархе Гермогене и его национально-всенародном служении в Смутное время, о более чем двадцати канонизованных епископах Великого Новгорода...

## Святость. Воплощенная суть (окончание)

Продолжая наши беседы о святых, мы остановимся сегодня на исключительно светлом и привлекательном и во многом очень современном нам преподобном Феодосии – основателе (вместе с учителем его, преподобным Антонием) знаменитого Киево-Печерского монастыря и подлинном отце всей русской монашеской традиции.

Жизнь его описал наш знаменитый летописец Нестор, и притом всего лишь через десять лет после смерти Феодосия в 1074 г. Таким образом, мы имеем настоящую биографию со множеством живых подробностей, обычно отсутствующих в житиях святых. Необычайная популярность Феодосия в народной памяти не случайна. Как говорит один исследователь, в его лице «Древняя Русь нашла свой идеал святого, которому оставалась верна много веков. Преподобный Феодосий – отец русского монашества. Все русские инок – дети его, носящие на себе его фамильные черты. Впоследствии в русском иночестве возникнут новые направления духовной жизни, но никогда образ святого Феодосия не потускнеет»<sup>304</sup>.

Каков же этот идеал и почему именно Феодосий воплотил его и стал, таким образом, неотъемлемой, органической частью не только монашеской, но и всей вообще русской духовной традиции, одним из источников того совершенно исключительного мира духовных и нравственных ценностей, которым жило все подлинное в нашем народе и продолжает жить, несмотря на все преследования, на все попытки выкорчевать его из народной души?

Монашество родилось в Египте, и там же изначально сложился и зачаровал многие поколения христиан тип аскета-героя, совершающего невероятные подвиги в одиночестве, в пустыне, – великана духа, пребывающего в непрестанной борьбе со злом. Но вот что примечательно: хотя в Древней Руси хорошо знали монашескую литературу египетского происхождения, решающее влияние на Феодосия оказал не героический, почти сверхчеловеческий идеал Египта, а идеал

палестинский, возникший позднее. «Палестинцы, – пишет тот же ученый, – гораздо скромнее, менее примечательны внешне, зато они обладают тем даром, в котором, по словам одного из основателей монашества, состоит первая добродетель подвижника, – рассудительностью, понимаемой как чувство меры, как духовный такт». В палестинском идеале нет ничего сверхчеловеческого; при всей его строгости он «шире и доступнее». «Мы имеем право говорить, – продолжает тот же историк, – об очеловечении, о гуманизации аскетического идеала в Палестине – и на Руси»<sup>305</sup>.

Так вот, первое, самое важное и самое запомнившееся в Феодосии – это его скромность. Уже став игуменом, т.е. главою монастыря, Феодосий остался бесконечно простым, доступным, любящим бедность. С детства он хочет быть, как пишет летописец, «яко един от убогих». И трогательно убеждает мать: «Послушай, о мать, молются, послушай: Господь Бог Иисус Христос Сам поубожился и смирился, нам образ дая, да и мы того ради смиримся»<sup>306</sup>. Кроткий, смиренный – вот слова, которые станут ключевыми, излюбленными словами народа в его оценке нравственной ценности людей. И именно этим завоевал себе раз навсегда любовь его преподобный Феодосий Печерский.

После смирения вторая основная черта святого – любовь к непрерывному труду. На всех ступенях своей жизни в монастыре вплоть до высокого положения игумена Феодосий «работает и за себя и за других... по ночам мелет жито для всей братии. Став... игуменом, он всегда готов взяться за топор, чтобы нарубить дров, или таскать воду из колодца, вместо того чтобы послать кого-нибудь из свободных монахов»<sup>307</sup>. «Я свободен, я и пойду», – отвечает он своему помощнику. Едва не на каждой странице его жизнеописания Нестор подчеркивает «смиренный смысл» и послушание, смирение и кротость Феодосия. «Худые ризы», которым он не изменяет и в игуменстве, навлекают на него насмешки. Известен рассказ о княжеском кучере, который заставил святого слезть с повозки и сесть верхом на коня, приняв его за одного из убогих. Самоуничижение и опрощение с детских лет остается самой

личной и в то же время, можно сказать, национальной чертой его святости.

Наконец, последнее и, с точки зрения дальнейшего влияния Феодосия, самое существенное – это понимание монастыря как служителя миру, т.е. обществу, стране. «Феодосий, – пишет современный историк, – не только не изолировал свой монастырь от мира, но поставил его в самую тесную связь с... обществом. В этом состоял его завет русскому монашеству. Само положение монастыря под Киевом как бы предназначало его для общественного служения»<sup>308</sup>. Прежде всего это материальная помощь людям: живя милостыней, монастырь в то же время отдает миру все свои избытки. Около самого монастыря Феодосий построил дом для нищих, слепых, хромых, больных, и на содержание этого дома шла одна десятая всех монастырских доходов. Каждую субботу Феодосий посылает в город воз хлеба для заключенных в тюрьмах. Далее, это духовное и нравственное участие в жизни общества, социальной и политической. Мы видим Феодосия на пирах у князя, в гостях у киевских бояр. Но это не просто знакомство с сильными мира сего, близость к власти, к правительству. Участие это построено на абсолютной и бесстрашной свободе нравственной оценки, это служение правде и справедливости безотносительно к силе.

У Нестора есть об этом характерный рассказ. Пришла в монастырь бедная овдовевшая женщина, увидела Феодосия на постройке. По бедности одежды она не узнала его и спросила: «Скажи, дома ли ваш игумен?» Феодосий ответил: «Зачем он тебе? Он человек грешный». Женщина сказала: «Грешен ли он, я не знаю. Знаю только, что многих избавил от печали и напасти. Затем я и пришла, чтобы он помог мне: обижают меня без правды судья». Феодосий поговорил с судьей, и справедливость была восстановлена. «Отец наш Феодосий, – пишет Нестор, – многим заступник бысть пред судьями и князи»<sup>309</sup>.

История запомнила его открытое столкновение с киевским князем Святославом, незаконно изгнавшим из Киева своего старшего брата. Феодосий открыто обличал князя, бесстрашно

прервал с ним все сношения. В стоянии за правду он готов идти на изгнание и смерть. Это другая черта, о которой так бесконечно важно вспомнить именно в наши дни: свободное стояние за правду, обличение несправедливости, заступничество за слабых, печалование о жертвах политических преследований. Для Феодосия религия, вера, духовная жизнь – не замкнутая в себе сфера, не имеющая никакого отношения к тому, что делается на земле, а прежде всего и превыше всего служение людям на всех путях их жизни.

Веками имя преподобного Феодосия Печерского светило всем этим, вдохновляло на это. И потому его нельзя забыть, к нему нужно вернуться, им нужно снова измерять нашу жизнь.



## Святость. Наставник деятельной любви

В декабре празднуют христиане память святителя Николая Чудотворца, про которого можно сказать, что это один из самых «популярных», самых любимых святых всего христианского мира. Все и повсюду – на востоке и западе, на севере и юге, православные, католики и не признающие святых протестанты – ощущают его своим и родным, любят, почитают и день этот празднуют. Имя его – Николай, Никола, Микола – вошло в песни и сказки многих народов окруженным необычайно живой и теплой любовью.

Над этим явлением человеческой памяти и над этой особой человеческой судьбой стоит задуматься в наши дни, когда почитание святых развенчивается как «суеверие». «Ничего-то, – твердят нам казенные враги религии, – ничего-то за этим почитанием Николая Чудотворца нет, кроме выдумок и легенд, которые не выдерживают научной критики».

Но допустим даже, что это так. Все равно остается вопрос: откуда же эта легенда, откуда живучесть ее, откуда эта веками не иссякающая любовь и радость? Почему в дни Николая Угодника, Николы Милостивого, как веками называл его наш народ, так ощутителен праздник, так ощутительна радость, словно отмечается дорогое всем семейное событие?

Однако, прежде чем ответить на этот вопрос, стоит хотя бы два слова сказать о месте святых в христианской вере и христианской жизни. Это место не всегда понятно даже и самим верующим. Действительно, иногда может показаться, что почитание святых есть почитание многих «богов», что к ним обращаются только с просьбами, т.е. эгоистически, низводя при этом и саму религию на уровень чуть ли не языческого многобожия и личного эгоизма.

На деле это, конечно, не так. Ибо почитание святых есть, по сути, почитание тех, кто жизнью своей явил то высокое, поистине небесное призвание человека, о котором учит христианство. Самим существованием своим святые доказывают, что человек призван к совершенству, что удел его –

не рабство греху, не вечное поражение, но духовное возрастание и конечная победа. «Дивен Бог во святых Своих» – поет Церковь, празднуя память святых. И слова эти означают веру в силу и торжество образа Божия в человеке. Вспоминая святых, христиане утверждают свою веру в святость как цель человеческой жизни.

Сказав все это, мы можем вернуться к святому Николаю. Итак, почему среди многих тысяч прославленных Церковью святых именно он занимает такое место? Почему именно он окружен таким почитанием, такой любовью? Вопросы эти тем уместнее, что о святителе Николае у нас и в самом деле очень мало – сравнительно с другими святыми – точных исторических данных. Мы мало знаем о нем. Знаем, что жил он в IV веке, был епископом в Малой Азии, в городе Миры Ликийские, принимал участие в богословских спорах своей эпохи, и это почти все. Но вот главное: во всех житиях, во всех сказаниях о нем всегда упоминается, во-первых, что он боролся с несправедливыми судьями и защищал слабых против сильных.

И тут, я убежден, находим мы ключ к ни с чем не сравнимой, поистине всенародной популярности Николая Угодника. Другие святые известны силой своей молитвы, чистотой жизни, духовными озарениями, чудесами. Но, пожалуй, ни в ком из них не запечатлелся, не запомнился с такой силой образ помощника страждущих, защитника слабых, борца с несправедливостью, как в образе святителя Николая. И это больше всего другого полюбила в нем народная память.

Характерно, что на иконах своих святой Николай издревле изображается с лицом строгим, почти грозным. Но в том-то и дело, что строгость и грозность эти обращены не к тем, кого Христос в Евангелии называет «малыми сими», а к «сильным мира сего», к тем, кто так часто своей властью и силой пользуется для угнетения слабых, кто нарушает заповедь Божию о любви, милости и сострадании.

Мы знаем, что история христианства, увы, полна компромиссов с миром, уступок сильным его, страха и малодушия перед лицом силы. И вот на фоне всего этого – образ бесстрашного епископа, грозы неправедных и

беззаконных судей, защитника слабых и беззащитных. И потому – любовь, и потому – радость, и потому – такое почитание. Вот этому-то мужеству и бесстрашию святитель Николай учит нас своей жизнью. Он напоминает нам, что без деятельной любви христианство изменяет Христу. Он обращен к лучшему в нас, он говорит, что именно сейчас, здесь, сегодня требует от нас Бог верности, мужества и защиты слабых.

Ни одной строчки не дошло до нас от святого Николая, но жив сам его образ, сама вдохновляющая сила его жизни. И в минуты слабости, уныния и боязни мы обращаем наш внутренний взор к нему. И не только в поисках заступничества, но и с тем, чтобы сила, явленная в нем, стала и нашей силой, его верность – нашей верностью, его мужество и бесстрашие – нашим мужеством, нашим бесстрашием.

## Святость. Залог вертикали (преподобные Сергей и Серафим)

В середине лета Православная Церковь празднует память двух величайших русских святых, двух монахов, или, как называет их Церковь, «преподобных» – Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

Четыре столетия отделяют их друг от друга. Один жил в XIV веке, другой – в XIX. Но в памяти Церкви и, можно без всякого преувеличения сказать, в памяти русского народа они соединены в одном воспоминании, в одном почитании. Мы так и говорим: преподобные Сергей и Серафим. Два радостно-ярких луча одного солнца, два образа, два проявления, два действия той глубинной души народа, которую так упорно и жестоко пытаются вытравить сегодняшние его властители. Поэтому празднование их памяти, это двойное летнее торжество приобретает в наши дни совсем особенное, исключительное значение. Ибо сейчас, как никогда прежде, перед нами, перед всем народом нашим стоит вопрос, от решения которого зависит буквально все и прежде всего – наше будущее. И вопрос этот: сохраним ли мы память о свете, который так долго светил нам, об огне, который своим жаром так долго согревал нас? Останемся ли верны призыву, который так долго пронизывал жизнь нашего народа, всю нашу историю и который так хорошо выражен строчкой песнопения в честь преподобного Серафима Саровского: «От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому единому работати пламенно вожделев...»<sup>310</sup>?

Нас пытаются убедить теперь, что все это было обманом. И вот тысяча лет «обмана», пока вместо духовного вождения и любви к Христу не заговорили наконец о «средствах производства и производственных отношениях», о «научной организации труда», об «электрификации» и «автоматизации». И вот мы – каждый отдельный человек и целый народ – оказываемся во второй половине XX века перед выбором, и выбором решающим. В Евангелии сказано: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф.16:26). Итак, что же мы выбираем? Цивилизацию одного измерения, где человек со всеми его мыслями и устремлениями поставлен в полную зависимость от материального и где цель его жизни ограничена наилучшей организацией материальной ее основы? Или же цивилизацию двух измерений – не только горизонтального, т.е. исторического и материального, но и вертикального, где жизнь человека каждое мгновение определяется ее связью с реальностью высшей, с царством Духа, с дыханием вечности?

И если торжествующая ныне материалистическая цивилизация так упорно, с такой ненавистью борется с цивилизацией духовной, то это потому, что сосуществование их невозможно. Или человек определен духом, и тогда, как говорит блаженный Августин, не успокоится его сердце, пока не найдет Бога, или же то, что так или иначе составляет в нем дух – его мысли, мечты, любовь, целиком определено материей, и тогда все вертикальное необходимо отвергнуть как ложное и враждебное. Вот последний вывод, вот конечный смысл борьбы, бушующей сегодня по лицу всей земли.

И вот в связи с этим образы преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского приобретают особое значение. Оба ушли от мира, выбрали, казалось бы, только вертикальное измерение жизни. Оба всю жизнь отдали служению «единому на потребу». И что же? Развесам их уход, пустынное одиночество и подвиги, безраздельное стремление к небесной правде – разве не вошло все это в нашу историю как неотъемлемая ее часть, как ее глубина и вдохновение? Разве не из лесов, где подвизался преподобный Сергей и его ученики, началось распространение той культуры духа, той красоты, что и поныне светит нам в рублевской «Троице», притягивая в древнюю лавру всех, кто устали от уродства жизни? Разве не из саровской чащи засияла радость, навсегда сделавшая белого, светоносного старца утешением для всех? Разве не повторяем мы сейчас в нашей молитве к нему: «О, пречудный старче Серафиме! Во дни земнаго жития твоего никтоже от Тебе тощ и неутешен отыде, но всем в радость бысть зрение зрака

твоего»? Радость тогда, радость теперь, радость вовеки! Небудь ее, разве была бы великая русская литература отмечена такой глубиной, напоена таким острым и глубоким пониманием человека?

О да, ни Серафим, ни Сергей не думали, конечно, о «социальном равенстве» и «борьбе классов». Но они твердо знали то, что так хорошо и просто выразил преподобный Серафим: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Оба ушли, но к ним пришли мы; оба в грубой, темной, приземленной жизни указали светлый и радостный путь; оба доказали, что любовь, прощение, сострадание – не слова, не отвлеченная теория, но правда жизни. И чем была бы без них наша история?

Так вот, помнить о них, праздновать их память – это и значит сделать выбор, это и значит на вопрос: «Где сокровище ваше, где сердце ваше?» дать ответ: там, где нашли их Сергей и Серафим, а за ними – миллионы людей. Это и значит: к горизонтали нашей обыденной жизни, нашей шумной и технической цивилизации, грозящей целиком съесть душу, прибавить вертикаль – вертикаль духа, вертикаль единого на потребу, вертикаль вечных и нерушимых ценностей, вертикаль любви и Царства Божия. И что бы нам ни говорили об этой вертикали, всем своим голодом и жаждой тоскует современный человек о ней и потому рано или поздно ее найдет.

## Святость. Нужнее всего

Каждый год первого августа совершает Русская Православная Церковь память преподобного Серафима Саровского. Празднование в честь святого (или, по-церковному, «совершение памяти») всегда предполагает молитвенное и радостно-благодарное сосредоточение наших воспоминаний на одном из избранников Божиих и событиях его жизни. Что же празднуем мы, совершая память преподобного Серафима Саровского? Почему из всех многочисленных святых своих выбрал наш народ именно этого святого?

Прославление преподобного Серафима Саровского, т.е. официальное причисление его к лику святых, состоялось сравнительно недавно, в 1903 году, да и жил он не так давно, будучи старшим современником Пушкина. Таким образом, не в седую древность устремлен наш духовный взор, духовное наше внимание. Потому, может быть, мы и любим так, потому и вспоминаем с такой благодарной радостью преподобного, что чувствуем удивительную его близость к нам и исключительное значение его для нас, для нашей теперешней судьбы, для нашего такого смутного, безрадостного времени. Да, конечно, поэтому, но не только. Что-то раскрывается, что-то светит нам в самом его облике безотносительно к тому, когда и где он жил, и свет этот и оказывается для нас сейчас нужнее всего.

Происхождение святого ничем не примечательно. Родился он мещанской семье<sup>311</sup> – не богатой, но и не бедной, в средней полосе России с ее смиренной природой и простыми, бесхитростными людьми. С ранней юности тянуло его в монастырь, и вот молодым и сильным попадает он в Саров, в густые и благодатные леса Приволжья. Принятый в монастырь, радостно и смиренно проходит он все монастырские послушания, в том числе плотницкое и столярное, ничем не выделяясь из прочей братии. Он плоть от плоти народа, не затронутого блестящей, но исполненной суеты жизнью дворянской России. В далеком Санкт-Петербурге бушуют страсти, убивают гвардейские офицеры царя Павла I, бунтуют

на Сенатской площади декабристы, а здесь, в Сарове, в тишине необъятных лесов, похоже, царит вечность. Там совершается история, здесь – тот вечный и духовный фон ее, которым в конечном итоге история эта оценивается.

В должные сроки посвящают Серафима в диакона, потом – в иеромонаха. Теперь служит он у престола, совершает великое таинство благодарения, таинство встречи и общения с Христом за трапезой в Его Царстве. Но в нем разгорается невидимым пожаром жажда еще большей близости к Богу. Серафим получает разрешение поселиться влесе, стать затворником и в этом затворе – в маленькой избушке, которая выстроена собственными его руками на им же расчищенной поляне, – проводит целых пятнадцать лет. Преклонив колена, часами выстаивает он (по преданию – тысячу дней и тысячу ночей) на камне в молитве и созерцании, но и в любовном общении с природой, с Божией тварью. Говорят, приходил к нему медведь и он кормил его собственным медом. Нападают на него злые люди, до полусмерти избивают, а он, хотя и сильный от природы, не оказывает им сопротивления.

Но вот проходят пятнадцать лет затвора, и Серафим возвращается в монастырь, словно для того только и уходил он от мира и от людей, чтобы потом вернуться и обогатить их сокровищем, собранным в одиноком подвиге. И постепенно потянулись к нему, а под конец хлынули неудержимым потоком люди – молодые и старые, крестьяне и помещики, простецы и ученые, провинциальные чиновники и столичные вельможи. И каждого встречал он тем же приветствием: «Радость моя!», каждого вводил в духовную свою радость. В памяти всех встречавших его в эти годы согбенный старец в белом балахоне остался удивительным видением, одним светом своим умиротворяющим, исцеляющим, одухотворяющим. До нас дошла запись его беседы с помещиком Мотовиловым, где цель христианской жизни определена как стяжание Святого Духа. И объясняет это преподобный не столько словами и рассуждениями, сколько приобщением собеседника к собственному опыту духовного озарения и неизреченной радости.



Холодным зимним утром святой был найден скончавшимся на коленях перед любимой его иконой Божией Матери «Умиление», с радостной улыбкой на лице. Но смерть его не только не прекратила, но, напротив, умножила людской поток в Саров, теперь уже к могиле светлого старца, ставшей как бы духовным средоточием всей России. И почти накануне трагического обрыва русской истории, в начале нашего страшного двадцатого века совершается та «летняя Пасха», которую сам преподобный Серафим предсказал перед смертью – торжественное, всецерковное прославление его как Саровского и всей России чудотворца.

Что же вспоминаем мы, празднуя память благодатного старца? Вспоминаем свет, мир и радость, которые и поныне изливает его удивительный образ и без которых не исцелить стране и народу нашему страшных духовных ран. Вспоминаем любовь, с которой он обращался ко всем проходящим. Вспоминаем, наконец, то сияние подлинно духовной жизни, от которой все мы так далеки теперь и к которой пора начать возвращаться.

## Святость. Непрестающий свет

Все лето когда-то было освящено у нас целой чередой летних праздников. Все оно, само праздничное, солнечное, жаркое, было еще и как бы прорывом в некий высший свет, в высшую, духовную радость.

Вот, например, летний праздник преподобного Серафима Саровского. Как страшно и как горько думать, что миллионы людей, живущих сегодня, ходящих по той же земле, по которой ходил преподобный, дышащих тем же, что и он, воздухом, ничего не знают о нем – об одном из самых светлых, самых радостных, самых благоухающих явлений великой нашей земли. Переименовывали древние города и какими только именами не называли их, чью только память не старались нам навязать! И все эти герои, политики, полководцы, вожди – все они уже покрыты пылью времени, ни в ком не вызывают подлинно человеческой, теплой памяти, а о тех, кого нужно помнить и любить, чей свет, чью радость, чью мудрость можно воспринимать, пить, как холодную воду в знойный день, и сейчас, – о них запрещено вспоминать и рассказывать.

Преподобный Серафим Саровский – какое удивительное явление, какой неземной свет! Совсем молодым уходит он в монастырь, затерянный в сосновых лесах нашего русского Северо-востока – простой юноша, ничем не выдающийся. Несколько лет трудовой монашеской жизни – пекарем, плотником, столяром, длинные службы, смиренное послушание, медленное собирание души... Вот посвящают еще молодого Серафима в диаконы, и во время службы в алтаре видит он необыкновенный свет, чувствует несказанную радость. Еще немного времени, и уже священником, иеромонахом, просит он разрешения удалиться в лес, жить в полном одиночестве. Ему позволяют, и он уходит в свою пустынь, проводит там один в молитве и труде целых пятнадцать лет. Уже тогда начинает создаваться вокруг имени «убогого Серафима», как называет он сам себя, та легенда, которая потом будет привлекать в Саров десятки тысяч людей. Все изображения его сходятся в одном:

сгорбленный «белый» инок, смиренный сруб, а кругом – высокие стройные сосны, маленькая пасека, топор, пни. Говорят, что приходят к нему медведи и едят из его рук, говорят, что тысячу ночей простоял он коленопреклоненно в молитве на большом камне. Уже начинают понемногу находить к нему путь люди, тяготящиеся жизненной суетой, томящиеся жаждой главного, высшего...

Сохранился рассказ помещика Мотовилова, посетившего старца Серафима в его пустыньке, – запись их беседы. И какая это удивительная беседа! Никаких сложных рассуждений, философий, теорий. В чем смысл жизни? «В одном, – отвечает Серафим, – в стяжании Святого Духа». «Что это за стяжание? – продолжает допытываться Мотовилов. – Что это за Святой Дух, как все это объяснить?» И вот простыми, немудреными словами записывает то, что последовало за его вопросами. На заснеженной поляне в серенький зимний денек он увидел лицо Серафима в каком-то несказанном свете, а в сердце испытал радость, которой не знал на земле и которую не мог забыть. «Вот это, – сказал Серафим, – и есть Святой Дух, это и есть то, о чем говорит апостол Павел, когда Царство Божие называет “радостью и миром в Духе Святом”».

И вот уходит Серафим из своей пустыньки и возвращается в монастырь. Теперь уже келья его открыта всем, всех приветливо и любовно встречает сгорбленный старичок в белой одежде, ко всем обращает то же удивительное приветствие: «Радость моя!» И несут ему кто свое горе и печали, кто свои вопросы и искания. Приходят и совсем простые крестьяне, и люди образованные, и на всех щедро изливается этот свет, эта радость, эта любовь.

И вот наступает конец его жизни. Монах, проходя коридором мимо кельи старца, почувствовал запах гари и отворил дверь. Перед большой иконой Божией Матери, называемой «Умиление», стоял на коленях уже мертвый Серафим с лицом, озаренным неземным светом и радостью, а от огня свечи начала тлеть материя под иконой.

В 1903 году вся Россия ликующим летним днем совершала прославление Серафима как всея России чудотворца. Всего за

несколько лет до страшного обвала, до начала бессмысленной, дьявольской борьбы с религией и попыток выкорчевать из памяти народа, из сердца России этот свет, эту любовь и эту радость. Нам говорят «историческая необходимость», «великие свершения»... Но что все это значит перед светом, зажегшимся посреди сосен Сарова, перед этой радостью, исходившей и распространявшейся на всю огромную страну от одного светлого, последней тишины и мудрости достигшего человека? И, конечно, вернемся мы все рано или поздно к нему, найдем настоящий смысл, настоящую глубину нашей истории, все то в ней, что действительно можно и нужно помнить, любить, то, чем можно жить, о чем нужно радоваться. Вернемся – и снова станет нашей чудная молитва к старцу Серафиму, которой мы и закончим эту беседу: «О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем притекающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от Тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость было видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. Темже и дар исцелений, дар прозрений, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егдаже призва тя Господь от земных трудов к небесному упокоению, никогдаже любовь твоя преста от нас. Темже и мы вопием ти, о претихий и кроткий угодниче Божий, вознеси от нас молитву ко Господу, да укрепит Отечество наше, да оградит нас от падений. Аминь».

В эти летние дни, когда вспоминает (или хотя бы вспоминала когда-то) наша страна преподобного Серафима Саровского, нужно подумать о нем не только как о единичном явлении, как о представителе веры, религии или Церкви, но попытаться понять, что в таких людях, как он, сосредоточено все самое лучшее, самое светлое, самое глубокое, самое нужное, что дала миру наша страна. Нужно помнить, что за ее внешней и бурной историей есть история духовного возрастания и что если не вернемся мы к этой истории духовной, то и внешняя история, сколь бы ни была она полна достижений и побед, окажется злой и бессмысленной.

## Святость. Выше всех теорий

Я прерываю сегодня свои размышления о вере и неверии в современном мире, потому что хочу сказать несколько слов, как и каждый год в это время, о преподобном Серафиме Саровском. Память его приходится на эти летние дни, и эта память о нем нужна нам сегодня больше, чем что-либо другое.

Почему? Да потому, что в преподобном Серафиме, вне всякого сомнения, воплотилось все лучшее, все самое чистое, самое светлое, самое радостное из того, что составляет подлинную традицию нашего народа; потому что именно он, а не то, о чем нам постоянно твердят со всех сторон, есть подлинный символ, подлинное вдохновение нашей личной и общей жизни. Ведь подумать только: преподобный Серафим был старшим современником Пушкина. Он жил в эпоху, когда по всей Европе, да и в России, уже начинал разливаться тот духовный яд, которым мы так страшно отравлены – яд, наполнивший нашу жизнь насилием и страхом, злом и бессмыслицей. Преподобный Серафим очень близок нам по времени и потому как бы указывает путь, на который нужно вернуться после долгих блужданий по страшному бездорожью.

Был он совсем простым человеком – сыном той бедной, малопросвещенной, всевозможными страданиями отмеченной среды, которая всегда, при всех режимах составляла огромное большинство нашего народа<sup>312</sup>. Бедное детство в бедной семье, и с самого детства одна светлая, радостная мечта – служить Богу, целиком отдать себя Тому благовому и милостивому Христу, о Котором постоянно учит, Чей образ неизменно хранит Церковь.

И вот он уходит наконец в далекий Саровский монастырь, в тишину огромных лесов, чтобы там в одиноком подвиге научиться главному – трудному искусству внутренней жизни, собиранию самого себя в светлую целостность. Несколько лет в монастыре, где он, молодой и сильный, исполняет все самые трудные работы. И вот просит разрешения на еще большее одиночество. На целые пятнадцать лет уходит Серафим в

затвор – в маленькую лесную избушку и там трудится, молится, достигает той духовной и нравственной высоты, которой так светится весь его образ. Уже туда, в эту его пустыньку, начинают находить путь люди, нуждающиеся в совете, утешении, наставлении. А через пятнадцать лет он и сам возвращается в монастырь и широко раскрывает двери своей кельи всем, кто хочет побеседовать с ним. Сгорбленный, весь в белом, всегда улыбающийся, он каждого встречает теми же словами: «Радость моя!» И к нему идут тысячами богатые и бедные, важные генералы и простые крестьяне, и к каждому обращает он тот же призыв: найти свою душу, а в ней – Бога; найти тот светлый, высокий, радостный замысел о нашей жизни, который он определяет как «стяжание Духа Святого». И наконец в одно утро находят его мертвым – на коленях перед иконой Божией Матери «Умиление», со светозарной улыбкой на лице.

Вот и вся жизнь преподобного Серафима. Но почему же она так нужна нам именно сегодня? Ведь, казалось бы, все это так далеко от наших проблем и нужд, не имеет ничего общего с нашей «повседневной жизнью». Разве нужны, разве могут научить нас чему-нибудь эти беглецы от мира, эти странные люди, жившие словно вне времени и пространства и которых так принято обвинять в том, что они отказались от борьбы, отвергли ответственность за общество и предпочли себя, свой духовный уют и заботу о своей душе служению людям?

Я отвечаю на это так: пожалуй, только они и нужны; пожалуй, только они и могут спасти от того кровавого хаоса, в который завели нас все самозванные «спасители» человечества. Ибо эти «странные люди», и в первую очередь преподобный Серафим Саровский, учат нас одному, самому главному: что не от внешнего, а от внутреннего зависит спасение человека и не от общественных структур или законов, а от его собственного устремления как единственной и неповторимой личности. Серафим Саровский сказал: «Спаси себя, и спасутся вокруг тебя тысячи!» И не от людей он ушел, а для того, чтобы в себе самом победить сперва все зло, всю суету, всю бессмыслицу мира, в своей душе открыть сперва подлинное содержание,

богатство и глубину жизни. И когда нашел, то к нему без всякого зова ринулись тысячи.

Явление одного совершенного, лучезарного, святого человека сейчас – да и всегда! – важнее всех теорий, всех рассуждений. Ибо никакая теория никогда не победила и самого малого зла. Зло побеждается только добром и только носителем добра – человеком. Над человеком, который отдал себя добру и добром живет, не имеет власти никто, а у него самого – огромная власть и огромная сила. Его добром заражаются другие, его свобода освобождает других, его радость становится радостью всех. И вот мы уже дышим иным воздухом, и вот уже вокруг нас начинает разрушаться зло!

Для того и нужен нам светлый старец, «убогий» Серафим. Память его, которую совершает Церковь в эти летние дни, – не просто заслуженное прославление заслужившего это, но передача всем нам того, что составляло его сущность, саму его жизнь, – передача не только слов, не только заветов, а самой силы, самого света, что просияли в нем.

Это и есть жизнь Церкви – постоянная передача того, что из прошлого снова и снова претворяется в настоящее.

## Таинства. Предварительный вопрос

Несколько воскресных бесед я хочу посвятить таинствам – тем главным священнодействиям, которые издревле называла этим именем Церковь, всегда видевшая в них необходимое условие полноты христианской веры и христианской жизни.

Таинств этих семь. Перечислим их. Крещение – троекратное погружение в воду, которое христиане называют новым рождением. Миропомазание – помазание миром, особым, епископом освященным веществом, через которое, согласно учению Церкви, подается дар Святого Духа. Брак – освящение человеческой любви и семейной жизни. Покаяние – раскаяние человека в совершенных им грехах и разрешение его от этих грехов священником. Елеосвящение – помазание освященным маслом страждущих и больных для их исцеления. Священство – поставление и посвящение служителей Церкви – епископов, священников и диаконов. И, наконец, самое главное, самое центральное из всех таинств причащение, или Евхаристия, что в переводе с греческого означает «благодарение». Это таинство основано на словах Христа, произнесенных Им в ночь предательства над хлебом и вином: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое (Мф.26:26) и над чашей: Пейте от нее все, сие есть Кровь Моя (ср.: Мф.26:27–28).

Вдуматься в смысл этих таинств бесконечно важно и полезно как верующим, так и тем неверующим, которые благожелательно, с искренним интересом подходят к христианству. Для верующих же поразмыслить над таинствами полезно потому, что привычка к «священному», которая рано или поздно вырабатывается у многих из них, постепенно начинает затемнять его смысл. Те из нас, кто выросли и воспитывались в Церкви, так привыкли ко всему совершающемуся в ней и ставшему частью их жизни, что даже не задаются вопросом о внутреннем содержании ее «обрядов» и о том, почему они нужны.

Здесь нужно сказать, что не только в религиозной, но и во всей нашей внутренней жизни никакое углубление, расширение



и обновление невозможно без того, чтобы удивиться привычному так, как если бы мы встретились с ним в первый раз. Страшно сказать, но мы «привыкаем» к Богу! Нас уже не поражает то, что в центре нашей веры – образ пригвожденного на кресте Богочеловека, а потому и не поражают слова о Теле Его, за нас ломимом, о Крови Его, за нас изливаемой. Вот почему в духовном смысле так полезно и так необходимо хоть на короткое время увидеть все «привычное» заново, удивиться, а быть может, и пережить потрясение.

Что же касается неверующих, сомневающих или просто ищущих, то, пожалуй, ничто в христианской вере так не смущает их, ничто не кажется им столь непонятным, как таинства, как эта нерасторжимая связь христианской веры с внешними, раз навсегда определенными священнодействиями и обрядами. Как часто приходится слышать: «Для чего все это? Ведь христианство – нечто внутреннее, то, что происходит в моей душе, на той таинственной глубине, где я встречаюсь с Богом!» И столь же часто говорят: «Ведь христианство так просто, весь смысл его – в любви, в усилиях жить чисто, светло. К чему же эти древние и непонятные обряды? Почему для того чтобы быть христианином, недостаточно веры, любви, молитвы, а нужно еще крещение, и притом несмысленных младенцев? Почему о грехах своих нужно рассказывать священнику и что за право у него грехи эти “прощать”? Разве не могу я перед Богом покаяться непосредственно, в сердце своем, и разве не простит Он мне моих грехов без всяких посредников» и т.д.

К этому надо прибавить, что именно на таинства более всего направлено жало антирелигиозной пропаганды, которая давно старается доказать, что они плод суеверия, пережитки древних магических обрядов и что христианская религия, таким образом (как, впрочем, и всякая иная), есть обрядоверие, несовместимое с научным миропониманием. Тысячи книг и статей написаны, например, чтобы доказать, будто крещальное погружение – это обряд, общий всем древним, в том числе самым что ни на есть первобытным религиям, и связан он с магической верой в воду, или для доказательства того, что

причащение тоже было известно до Христа и как идея жертвы, и как практика жертвенного пролития крови и т.д.

Один философ сказал: «Клеветайте, клеветайте, что-нибудь всегда да останется»<sup>313</sup>. И вот даже если человека притягивают храм и богослужение, даже если он подсознательно ощущает, что здесь совершается что-то бесконечно важное и глубокое, то клевета эта все же порождает сомнения и вопросы. И потому так важно попытаться ответить на них. И прежде всего – на очень важный предварительный вопрос: почему христианство учит о нерасторжимой связи между внутренним и внешним, между духом и материей, между душой и телом, между тем, что происходит в глубине нашего существа, и тем, как это выражается вовне, между личным и переживанием этого личного как единства со всеми людьми, с миром и всем, что в мире? Ибо без ответа на этот вопрос не понять и таинств – тех видимых и частично материальных актов, в которых, по учению Церкви, раскрывается некий вечный смысл и подается невидимая сила смыслом этим жить.

С этого предварительного вопроса и начнем мы следующую беседу.

## Таинства. Материя и дух

Начиная в прошлой беседе объяснение христианских таинств, я говорил, что оно требует ответа на важнейший предварительный вопрос о связи внутреннего и внешнего, души и тела, духа и материи.

Христианство связь эту не только признает, но, более того, считает ее нерасторжимой. В других религиях это далеко не всегда так. Издревле известны философские и религиозные системы, в которых дух и материя прямо противоплагаются как враждебные друг другу.

Возьмем для примера учение величайшего древнегреческого мыслителя Платона, родоначальника той философии, которую, несмотря на все ее видоизменения, называют обычно идеалистической. По Платону, материя, т.е. видимый мир, отчасти отражая мир идеальный, т.е. духовный, невидимый, тем не менее являет собой его противоположность. Подлинно духовная жизнь, а по Платону – подлинная мудрость (ибо слово «философия» переводится с греческого как «любовь к мудрости»), состоит в освобождении духовного от материального. Применительно же к человеку это означает освобождение его бессмертной души от смертной материальной оболочки. В одном из своих произведений Платон уподобляет нашу земную жизнь человеку, сидящему в глубокой темной пещере и видящему на ее стене отражение какого-то света<sup>314</sup>. Смерть для него означает выход из пещеры тела к свету. Жизнь мудреца, говорит Платон, есть вечное приготовление к смерти как к освобождению от материи.

Таким же отрицанием, отвержением материи пронизаны индуизм и буддизм. Религия здесь есть дело одной лишь души, ее очищения и восхождения к чистой духовности, материя же воспринимается как помеха, бремя, плен, к освобождению из которого и должен стремиться человек.

Заметим сразу же – т.е. до того, как мы перейдем к христианскому пониманию материи, вне которого, повторяю, нельзя понять ни сущности, ни смысла христианских таинств, –

что чистому идеализму, религии «чистого духа» тоже издревле противостояла философия и, можно сказать, своеобразная «религия» материи – материализм. Если идеализм отрицает материю во имя высшей реальности духовного, то материализм отрицает духовное во имя материи. Чистейшим и классическим примером такого всеобъемлющего материализма – нужно ли это доказывать? – является учение Карла Маркса. По этому учению, само существование чего-либо духовного, не говоря уже о примате этого духовного над материей, начисто отрицается. Существует только материя. Тоже, что человек традиционно относил к сфере духовного или душевного, к сфере сознания, мыслительной деятельности и т.д., рассматривается здесь только как продукт материи, или, как говорят материалисты, ее «эпифеномен»<sup>315</sup>.

Таким образом, обычно мы стоим перед выбором: либо чистый идеализм и спиритуализм, видящий в материи нечто враждебное, недолжное, недуховное, либо чистый материализм, во всяком идеализме видящий иллюзию или обман, и притом обман злостный, предназначенный для эксплуатации одних людей другими. Итак, или – или: или материя – враг, или она одна только и существует, и тогда дух, будучи обманом, тоже становится врагом.

В наши дни борьба между этими крайними и полярными подходами достигла необычайного напряжения. А между тем борьба эта есть плод глубокого, поистине трагического недоразумения или, лучше сказать, страшной слепоты и упорного нежелания выйти из тупика, который сами же люди и создали, думая, что выхода из него нет. А что если обе эти установки – и чистый спиритуализм, отвергающий материю, и чистый материализм, отвергающий реальность всего духовного, – что если обе они не только ошибочны, но одинаково пагубны? Что если истина не в отрицании одной установки во имя другой и одновременно – не в искусственном их примирении (пусть, дескать, материалист, оставаясь материалистом, заверяет в своем уважении спиритуалиста, а спиритуалист, отрицая материализм как ложь, обязуется уважать материалиста)?

И действительно: есть третий подход – тот самый, в котором, как я сказал, утверждается нерасторжимая связь духа и материи, и больше того – в котором дух и материя возводятся к Богу, ощущаются как Божии, как сама сущность, сама полнота Божественного откровения о мире и жизни. И именно вера в нерасторжимость такой связи, глубокое ее переживание и, прибавлю, радость о ней составляют сердцевину христианства. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного (Ин.3:16), – говорит в Евангелии Христос. Но что же такое «мир» как не эта таинственная и вместе с тем очевидная связь? Что он, как не материя, пронизанная духом, как не духовная реальность, пронизывающая материю?

Вот об этом и свидетельствуют, эту связь и осуществляют таинства. Но чтобы понять, почувствовать и принять их на этой глубине, следует начать с основ христианского миропонимания.

## Таинства. Доброта твари

Христианский подход к миру или, точнее, к материи – ко всему тому, из чего состоит видимый мир и о чем издавна идет такой страстный, такой нескончаемый спор – раз навсегда выражен в первых же строчках Библии, в первой главе Книги Бытия, где повествуется (конечно же, на языке религии, а не науки) о сотворении мира Богом в течение шести дней.

Для наших бесед о таинствах, т.е. о месте и значении материального в религии, не столь важно, что означают эти шесть дней (о чем также идет бесконечный спор). Важно то, что сотворение мира описывается как созидание именно материального, вещественного. Бог отделяет сушу от воды, творит солнце и звезды, растительность, рыб, животных и в конце концов, все из той же материи, – человека.

Почему это так важно подчеркнуть? Да потому, что сама материальность Божия творения сразу же проводит непроходимую черту между Библией и теми религиями и мировоззрениями, где материя воспринимается как нечто низменное, недолжное, враждебное духу, а потому и сама религия видится как отвержение материи, освобождение от тела, стремление к чистой духовности. Нет, в Библии материя не просто от Бога, не просто Божие творение, но – и это тоже необходимо со всей силой подчеркнуть – она, будучи Божиим творением, хороша и совершенна. Рассказ о каждом дне творения заканчивается в книге Бытия словами: «И увидел Бог, что это хорошо весьма» (ср.: Быт.1:31). Бог не просто творит – Он радуется своему творению, его хорошесть, или, по-церковнославянски, доброте, т.е. Своему замыслу о нем.

Таким образом, библейский рассказ о мире и материи начинается с ликующего мажора. Бог с любовью творит мир, и мир устами человека говорит Богу «да». С радостью и благодарностью человек принимает этот мир, эту материю, эту доброту и совершенство – принимает как подарок, как дар любви и жизни. И этот, как я называю его, ликующий мажор не ограничивается одним лишь библейским рассказом о творении,

одной, хотя бы первой и основоположной, главой Книги Бытия. Он пронизывает, окрашивает и как бы оркеструет всю Библию, так же как и всю жизнь Церкви. Через всю Библию проходят как ее основной лейтмотив хвала и благодарность Богу за этот мир, за его совершенство. Достаточно вслушаться в псалмы, где такой лейтмотив задан уже в самом начале: Вся Премудростию сотворилеси (Пс.103:24), и далее – в призыве, чтобы всякое дыхание, все творение хвалило и благодарило Бога, было одной нескончаемой песнью о Его мудрости, о красоте и совершенстве всего Им созданного: «Хвалите Бога все дела Его!» (ср.: Пс.102:22).

Повторю и еще раз подчеркну: и Библии, и христианству, на Библии и библейском откровении возвращенному, предельно чуждо то брезгливо-пессимистическое отношение к материи, что характерно для всех чисто спиритуалистических и мироотвергающих религий. Библейское мирозерцание выражает себя в непрестанной радости как о большом, так и о малом, ибо и в большом и в малом в равной мере отражены Божественная любовь, мудрость и совершенство. По слову русского поэта, «и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда»<sup>316</sup> – все призвано хвалить Господа. А другой поэт в своем незабываемом стихотворении спрашивает: «Кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа?» И сам отвечает: «Великий Бог любви, великий Бог деталей»<sup>317</sup>.

И, наконец, эта хвала, это утверждение мира и материи как Богом созданных и потому Божию доброту, красоту, совершенство отражающих и являющих составляют основу, главную тональность христианского богослужения. Вот начало молитвы Великого водоосвящения в праздник Крещения Господня: «Велий еси, Господи, и дивны дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих». Опять тот же ликующий мажор, тот же порыв благодарности и хвалы, та же любовная обращенность к творению Божию, к миру, горящему «звездной славой и первозданною хвалой»!<sup>318</sup> И нет в Церкви молитвы, которая не заканчивалась бы воссыланием славы, не претворялась бы в славословие Богу.

Почему об этом так важно напомнить? Потому, во-первых, что все попытки развенчания и обличения религии зиждутся на лжи о ее «мироотрицающей» сущности, об отвержении ею материи и самого мира земного во имя иного – загробного. И потому, во-вторых, что, не зная об этом благодарностью и хвалой пронизанном приятии Церковью творения, а значит, и материи, – нельзя ничего понять и в таинствах Церкви, важнейшая роль в которых отведена материи, видимой и вещественной.

Но и подчеркнув столь настойчиво то, что один христианский учитель назвал «религиозным материализмом христианства»<sup>319</sup>, мы не можем обойти вопрос о зле и его связи с материей. Об этом – в следующий раз.



## Таинства. Материя: подлинная сущность

На пути к посильному объяснению христианских таинств, т.е. тех видимых и частично материальных актов, через которые, как верит христианская Церковь, подается благодать Божия, – нельзя не остановиться на краеугольном вопросе: как относится христианство к материи вообще? В самом деле, либо материя враждебна духу и в конечном счете есть зло (и тогда правы те, кто видят в христианстве призыв к освобождению от материи и борьбе с ней), либо она добро (и тогда каково ее место в христианстве?).

В прошлый раз я ответил на этот вопрос, сославшись на библейский рассказ о творении и на слова: И увидел Бог, что это хорошо (Быт.1:8). Иначе говоря, материя, как все в мире и сам мир, – от Бога, и к ней относится то «хорошо», которым Бог завершает свое творение. Весь мир создан на благо, создан благим, и в это всегда непоколебимо верила христианская Церковь, видевшая в материи – в воде, вине, хлебе, во всем – отражение и дар Божией мудрости, Божией красоты, Божия добра.

Но если так, то неизбежно возникает вопрос: откуда взялось и что представляет собой зло в мире? Откуда столько страдания и горя, столько сознательной жестокости и несправедливости? И увидел Бог, что это хорошо. Но почему же тогда так редко видим и ощущаем мы это хорошо и так часто – не-хорошо? И даже еще глубже: если мир – это хорошо, то почему и в самом Евангелии он назван «тьмой и тенью смертной» (ср.: Мф.4:16), почему призывает нас Христос собирать сокровище не на земле, где оно гниет, ржавеет, разлагается, а на небе, где «ни моль, ни ржавчина не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (ср.: Мф.6:20)? Вот вечно неустранимый вопрос о зле. И как часто именно в религиозном сознании это зло связывается прежде всего с материей!

Между тем христианство (и это бесконечно важно подчеркнуть!) утверждает, что источник и корень зла не в

материи, а в душе, или, как говорит Евангелие, в «сердце человека». Послушаем Самого Христа. Он жил среди людей, веривших, что зло приходит извне и потому убежденных, в частности, что нельзя есть то-то и то-то, ибо оно оскверняет, нельзя касаться того-то и того-то, ибо оно нечисто, и т.д. И вот ответ Христа: Слушайте и разумеите! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека... Исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека (Мф.15:10–11,18–20).

Этими словами раз и навсегда перевернута вся перспектива. Зло – изнутри. Оно прежде всего духовно, а не материально. Как и весь мир, как и сама жизнь, материя дарована Богом человеку, чтобы тот возделывал ее. «Владейте!» – сказано в Библии (ср.: Быт.1:28). И вот от того, как владеет человек миром, жизнью, материей, как относится он к ним в сердце своем, зависит место и роль материи в нашей жизни. То, что христианство называет падением и грехом, есть, по сути своей, подчинение материальному вместо обладания и владычества над ним. Таким образом, источник падения и греха – не материальное как таковое, а подчинение, порабощение себя материальному.

Возьмем для примера один из самых распространенных библейских символов – вино. Про него, в частности, сказано: Вино веселит сердце человека (Пс.103:15). Сказанные в положительном смысле, эти слова звучат как то «хорошо», что пронизывает собою все библейское мировосприятие, ибо «веселие» в Библии означает хорошее, а не плохое. Радуйтесь и веселитесь (Мф.5:12), – говорит Христос тем, кто соблюдает Его заповеди. И значит, вино – хорошо, и хорошо как раз его способностью веселить сердце. Но вот в одном из своих посланий апостол Павел пишет: Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд (Еф.5:18).

Что это, противоречие? Конечно, нет, а только пример, очень яркий и важный, как мы дальше увидим, христианского

подхода к материи и ко всему в мире. Будучи, как всякое творение Божие, хорошим, будучи добром, вино может быть претворено человеком в зло, стать тьмой и гибелью. И вот некоторые христиане, ссылаясь на слова апостола, безоговорочно отождествляют вино со злом и пытаются изгнать из жизни (ратуя за «сухой закон» и т.п.).

Но подлинно христианское учение о зле неизмеримо глубже. Согласно ему, духовное падение человека затемнило светлую и положительную природу мира, внесло в материю зло. Но, как говорит тот же апостол Павел, «тварь (т.е. материя, сотворенный мир. – прот. А.Ш.) покорила суете не добровольно, и вся стенает и мучается доныне в надежде, что будет освобождена от рабства тлению» (ср.: Рим.8:19–22). «Стенает и мучается...» – какие удивительные слова! И что же значат они, как не то, что искаженная, испорченная, затемненная человеком и вышедшим из его сердца злом материя может и должна быть очищена, снова стать тем, чем она была создана, – источником жизни и веселия человека, а лучше сказать – отражением Божественного хорошо, путем к Богу и общению с Ним.

А это подводит нас вплотную к таинствам, которые в такой перспективе перестают быть чем-то непонятным, едва ли не магическим, но означают теперь возврат к подлинной сущности материи, примирение с материей, очищение и претворение ее в подлинную жизнь.

Об этом мы и будем говорить в следующей беседе. И начнем с того первого и основоположного таинства, с которого начинается для христиан новая жизнь, – с таинства воды и Духа, т.е. крещения.

## Таинства. Вода: всеобъемлющий символизм

С самого начала христианства стать христианином означало не только поверить в Христа, но и принять крещение, т.е. совершить обряд погружения в воду, сопровождаемый надлежащими молитвами.

Эта связь веры в Христа с крещением установлена в самом Евангелии. Согласно Евангелию от Матфея, последние слова Христа ученикам были: Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф.28:18–20). Также и в книге Деяний, где повествуется о жизни и деятельности апостолов, апостол Петр на вопрос его слушателей: Что нам делать? отвечает: Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа (Деян.2:38). Наконец, апостол Павел в Послании к Римлянам объясняет, что крещение есть образ смерти и воскресения Христа. Неужели не знаете, – пишет он, – что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения (Рим 6:3–5).

Итак, можно с уверенностью сказать, что крещение всегда было неотъемлемой частью, больше того – основополагающим обрядом христианства. И даже когда христиане разделились на разные церкви, или вероисповедания – православное, католическое, протестантское, – крещение осталось для всех основным таинством, необходимым и самоочевидным условием вступления в Церковь.

Однако именно потому, что значение его для христиан так самоочевидно и бесспорно, сами верующие как бы привыкают к нему и уже не задаются вопросом о смысле этого погружения в воду и о том, почему Церковь считает его столь важным и

необходимым. А между тем именно на крещение, как и на другие христианские обряды, направлено жало антирелигиозной критики, именно его пытаются отождествить с суеверием и, таким образом, показать, что все христианство – это лишь «древние, никому не понятные обряды и церемонии».

Но если даже и не обращать внимания на это антирелигиозное злопахательство, вопрос о смысле крещения важен для самих христиан. Огромное большинство их принимает крещение в младенчестве и, конечно, не помнит этого события. Но как можно верить в бесконечную важность события, не получив объяснения, в чем его смысл? Ведь если мы и вправду верим учению Церкви о том, что христианская жизнь начинается с крещения, то где же и искать ключ к ее смыслу, как не в таинстве, в котором она дается.

Итак, попробуем по возможности кратко и ясно объяснить таинство крещения и все связанные с ним обряды, вскрыть их духовный, т.е. самый насущный для нас, смысл.

И прежде всего, конечно, встает вопрос, почему такое исключительное значение придает Церковь воде. Почему то, что называет она вторым, духовным рождением, связывается ею с чем-то материальным? Современному человеку это, по всей вероятности, не ясно. Но для современников Христа и очевидцев зарождения христианства здесь не было ничего непонятного. Ибо вода с древнейших, самых первобытных времен имела для человека, помимо всего прочего, и религиозное значение. Почему? Да потому что она имеет исключительное значение и для жизни вообще. Все живущее, все, что мы называем миром органическим, – не только человек, но и животные, растения – не просто нуждается в воде, но и не может жить без нее. Таким образом, абсолютно необходимая для жизни, вода в представлении первобытного человека отождествлялась с самой жизнью. Будучи условием, источником и, как говорили древние философы, «первоматерией» самой жизни, вода есть символ жизни.

Но это не единственный символ, связанный с водой. Символ жизни, вода есть также символ смерти, гибели, ибо она – страшная стихия, над которой не имеет власти и современный

человек. Вот всего несколько лет назад при наводнении в Индии погибли, как это ни страшно звучит, миллионы людей. И так, вода как жизнь и вода как смерть.

И, наконец, третье символическое значение воды связано с тем, что она источник очищения и возрождения, очистительное и возрождающее начало. Достаточно представить себе, во что превратились бы без воды те же города – места огромного скопления людей. Вода имеет свойство смывать грязь, очищать и обновлять все сущее. И эту очистительную функцию воды древний человек перенес на духовную жизнь, назвав очищение от греха, зла и всяческой нечистоты омовением. Отсюда множество обрядов, связанных с погружением в водную стихию, ее освящением, целебным использованием и т.п., во всех без исключения древних религиях.

Вода – символ мира во всей его жизненной силе и красоте, в ней отражается небо, солнце и все сущее. Но она же есть символ смертоносных и губительных сил в мире. И, наконец, вода есть обещание и дар чистоты, возрождения и обновления. И весь символизм этот укоренен в реальной сущности воды, отвечает подлинному ее месту в жизни.

И только осмыслив к самому началу человечества восходящий символизм воды, можем мы по-настоящему понять и то, какое преломление нашло оно в христианстве. Об этом – в следующей беседе.

## Таинства. Окончательное раскрытие

Говоря в прошлой беседе об изначальном и основоположном для всех христиан таинстве крещения, я начал с религиозного символизма воды, который мы находим буквально во всех дохристианских религиях. Я говорил о воде как символе жизни и первоматерии мира, о воде как символе кары и гибели, столь очевидно выступающем, например, в библейском рассказе о потопе, и, наконец, о воде, как символе очищения и возрождения.

Этот троякий символизм воды в полной мере присутствует в христианском таинстве крещения. Враги христианства видят в этом признак «заимствования» крещения у язычества и тем самым «неоригинальности» христианства как религии, имеющей чисто земное, человеческое происхождение. Придирка эта – глупая, и когда христианство отвечает на нее, она обращается против тех, от кого исходит. Ибо если Бог, как мы верим и каждый день исповедуем, есть Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, то все в мире от Него и свидетельствует о Нем. И если религиозно-символическое значение воды переживалось и осознавалось во всех религиях, то как раз в силу правды и подлинности этого опыта.

И именно этот опыт, это духовное восприятие воды находит свое окончательное раскрытие, завершение и исполнение в христианском крещении. Надо со всей решительностью подчеркнуть, что христианство не выдумало никаких новых обрядов. Особое отношение к пище, воде, свету, пение гимнов, коленопреклонение и т.п. – всем этим человек всегда и всюду выражал свое религиозное чувство. И потому новизна христианства не столько в его обрядах, сколько в том новом и окончательном смысле, который раскрыл в них Христос, сделав их выражением, символом, таинством Своего присутствия, Своего учения и, попросту сказать, Самого Себя как пришедшего в образе Человека и спасающего нас Бога.

Христианство как бы напоминает человеку: «Ты всегда чувствовал, что все в мире – и земля, и небо, и материя, вся

жизнь – говорит нам что-то о Боге, что-то раскрывает, к чему-то зовет. Так вот, это что-то раскрыл тебе во всей полноте Иисус Христос, и теперь все древние символы и обряды говорят о Нем, являют Его, соединяют с Ним». Можно сказать и так: с пришествием Христа в мир символ стал реальностью. То, чего люди жаждали, то, что они предчувствовали и заранее изображали в символах, теперь здесь, с нами, но уже реально.

Сказав все это, мы можем теперь приступить к объяснению христианского таинства крещения.

Прежде всего нужно знать, что в древности крещение и связанные с ним обряды занимали в жизни Церкви гораздо большее место, совершались с гораздо большей торжественностью, чем теперь. И лучшее доказательство здесь то, что основным днем или, вернее, ночью, когда совершалось крещение, была пасхальная ночь. И до сих пор очень многое в наших службах Страстной недели и Пасхи указывает, как мы увидим дальше, на эту изначальную связь Пасхи с крещением. И понятно, откуда она, эта связь. В Пасху мы празднуем воскресение Христа из мертвых, а до этого, в дни Страстной недели, вспоминаем добровольное Его страдание, распятие, смерть на кресте и погребение.

Но ведь и само Крещение – и я уже говорил об этом в прошлых беседах – переживалось и осмысливалось христианами тех времен в первую очередь как символ смерти и воскресения, как обретение новой жизни. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что крещение было, а по смыслу своему и сейчас остается пасхальным таинством, а Пасха – крещальным праздником, в котором мы вспоминаем не только смерть и воскресение Христа, но также нашу духовную смерть и наше духовное воскресение с Ним в крещальной купели. И если внешняя связь Пасхи и крещения была позднее нарушена, то потому, что с обращением в христианство практически всего населения Римской империи крестить стали почти исключительно детей, и притом едва ли не сразу после рождения. Но, повторяю, внутренняя связь между Пасхой и крещением остается, и мы еще будем говорить о ней в дальнейшем.



Нужно сказать затем, что самому крещению предшествовало в ранней Церкви довольно длительное приготовление. Новоуверовавшего учили сперва основам христианской веры. Это называлось «оглашением», а тот, кого готовили к крещению, – «оглашенным». В чине нашей литургии до сих пор мы слышим особые молитвы об оглашенных. Ибо они присутствовали на богослужении, слушали чтение Священного Писания и проповедь, а потом уходили, так как, будучи еще не крещенными, не могли приступить к причащению. Это оглашение длилось иногда год или два. Тем, кому предстояло креститься, разъясняли смысл Библии, содержание христианских догматов, значение обрядов и т.д. И только по окончании оглашения, иными словами, когда было ясно, что оглашенный сознательно принимает все христианское учение, назначался день его крещения – обычно на ближайшую Пасху.

Что же касается собственно крещального обряда, то он включал в себя следующие части. Накануне крещения совершались так называемые экзорцизмы<sup>320</sup>, когда над оглашенным читались заклинательные молитвы против злой силы, после чего он произносил исповедание веры. Далее совершалось торжественное освящение воды и лишь затем – собственно крещение, т.е. троекратное погружение в воду. Сразу по выходе из воды новокрещенного помазывали особо освященным маслом – миром. И наконец после всего этого он причащался вместе со всеми верующими.

О каждом из этих обрядов мы и будем говорить в следующих беседах.

## Таинства. Неотъемлемое выражение

«Древние, непонятные церемонии» – так часто думает или говорит не получивший никакого религиозного воспитания современный человек, если случайно зайдет в церковь. Один при этом, возможно, добавит: «Красивые церемонии, мне они нравятся», а другой пожмет плечами, удивляясь, как это в XX веке возможны еще пережитки такой «первобытной дикости». Но каково бы ни было отношение этого современного человека, отрицательное или положительное, какова бы ни была его реакция, одно можно сказать почти с уверенностью: вряд ли он сделает попытку понять эти церемонии, вникнуть в их смысл.

Мы присутствуем при странном явлении: многих сегодня религия, и именно ее обряды, богослужение, притягивают своей таинственной и непонятной красотой. Но многих та же непонятность как раз и отталкивает. А антирелигиозная пропаганда умело пользуется этой непонятностью для собственных целей – для «развенчания» религии, для обвинения ее в «отсталости», в полном несоответствии пресловутой «современности».

Верующие зачастую ревниво оберегают свое святое от праздного любопытства, но еще чаще и сами не могут объяснить смысл этих сложных и продолжительных «церемоний». Для них они привычны, с детства составляют драгоценнейшее украшение жизни, утешение в печали, регулярный прорыв из постылых будней в нечто иное, праздничное, радостное. Но как объяснить все это современному человеку – рационалисту, материалисту, атеисту, воспитанному в твердой уверенности, что религия – сплошной обман, «поповские сказки», опиум для усталых или истерических людей и что она обречена исчезнуть при внедрении «подлинно научного» мировоззрения?

Между тем такое объяснение необходимо. Нельзя защищать свою веру, не зная и не понимая ее. Ибо вера, религия, храм, богослужение, без сомнения, перестали быть само собой разумеющейся формой бытия, тем, что навеки

входит в сознание вместе с самой жизнью. Вокруг нас тысячи и тысячи ищущих людей, разочарованных в плоской, казенной, будничной идеологии, навязываемой им как последняя истина, и каким-то инстинктом чувствующих, что здесь, в храме, в этих древних, таинственных и возвышенных «церемониях» заключено что-то бесконечно важное для человека, то, что имеет прямое отношение к его жизни. Но что? Этого он не знает, и никто ему не может объяснить.

Попробуем поэтому такое объяснение дать – хотя бы самое приблизительное, самое начальное; попробуем ввести человека в тот особый мир символов, отсветов и знаков, в котором веками живет вера и которым, подчеркнем это, вера питается. Ведь не может же быть, чтобы мир этот существовал только, так сказать, по инерции, чтобы обман – если это обман – длился веками, несмотря на все коренные изменения в человеческом мышлении и знании. И быть может, поймет этот современный человек, если сделает усилие над собой, что все представлявшееся ему «древними, непонятными церемониями», которые словно упали с другой планеты, на деле прямо относится к нему, ко мне, ко всему человечеству, ко всему миру.

Религия всегда, искони пользовалась символами: символическими словами, символическими действиями, символическими изображениями. Поэтому самый первый вопрос, который нужно задать, следующий: «Что такое символ, откуда он взялся и зачем нужен?» Отвечая на него, заметим мимоходом, что символ используется не только религией, что он универсален и, следовательно, необходим. Боец отдает честь командиру, у гроба умершего несут почетный караул, в дни праздников поют гимн, над домами, на площадях поднимают флаги – вот самые элементарные примеры, но их можно умножать до бесконечности, заимствуя из всех областей человеческой жизни. Отсюда напрашивается самое общее определение символа как слова, действия или изображения, которые, помимо своего непосредственного смысла, имеют и другой или, еще точнее – в которых этот другой смысл

необходимо связан с внешним своим воплощением, хотя с ним и не совпадает.

Невсякое прикосновение руки одного человека к руке другого символично. Вместе с тем такой символ встречи, доброжелательства, дружбы, согласия и т.д., как рукопожатие, невозможен без подобного прикосновения. И стало быть, мы можем сказать так: символ – это такое действие, слово или изображение, в которых, помимо непосредственного и самоочевидного их смысла, открывается хотя бы еще один смысл. Я ем, чтобы насытиться, потому что питание есть самоочевидная необходимость; но вот ко мне приходят гости, и я готовлю для них украшенный стол. Это все та же еда, но уже получившая, или явившая, другой свой, символический смысл, ставшая символом радости, общения, дружбы и т.д. Я уронил что-то на землю и, опустившись на колени, ищу – это ясно: иначе не найдешь. Но вот, я обидел, оскорбил близкого мне человека и на коленях умоляю его о прощении. И тут и там действие то же, но в одном случае оно символ, а в другом – нет. Повторю: без этого простого действия, слова, изображения символа нет. Но, с другой стороны, одно присутствие этого действия, слова, изображения еще не есть символ. Символ, следовательно, там, где я его нахожу. А нахожу я его потому, что ищу, потому что он мне нужен. А нужен он мне и ищу я его потому, что во мне, в других людях, в мире, в жизни есть, очевидно, много такого, что иначе как через символ, т.е. символически, не выразишь, не передашь, не сообщишь.

Как только мы выходим из сферы элементарных нужд – питания тела и удовлетворения других инстинктов, как только переходим в сферу общения – с человеком или с природой – мы, сами часто того не сознавая, начинаем пользоваться символами. А если так, то и «древние, непонятные церемонии» религиозного культа, которые одних притягивают, а других отталкивают, суть, по всей видимости, символы. И для того чтобы понять открывающееся, передаваемое и сообщаемое в них, чтобы войти в этот сложный и для тех, кто знает его, прекрасный мир религиозных символов, нужно лишь сделать

усилие. Об этом мире символов, о реальности такого духовного опыта мы и будем говорить в следующей нашей беседе.

## Таинства. Неотъемлемое выражение (окончание)

В прошлой моей беседе я говорил о символе и символическом мышлении как о самоочевидной потребности человека, которая проявляется, стоит только ему, выйдя из сферы чисто животных, органических функций (питания, сна и т.д.) перейти к общению с другими людьми, с миром и природой. Я говорил о них потому, что именно эта исконная и вечная нужда человека в символе поможет объяснить нам то, что столь многим кажется в религии непонятным, а иногда и ненужным, вредным. Так вот, попробуем теперь, пользуясь понятием символа, вдуматься и вникнуть в эти религиозные «церемонии», спросить себя: символом, и значит, явлением чего они служат? Но попробуем сделать это по порядку, разобравшись, насколько возможно, в сложной (ибо через всю историю человечества проходящей) истории религиозных символов и обрядов.

На первое место здесь нужно поставить самый первобытный, всему без исключения человечеству присущий запас основных символов. Ученые называют его «примитивной религией», но в наши дни слово «примитивный» давно уже перестало означать «отсталый», «ненаучный», «неразумный», как долго пыталась доказать это плоская и рационалистическая псевдонаука. Напротив, в этом «примитиве» находят сегодня глубину и красоту, а часто и знания, постепенно утраченные человеком по мере утери им собственной «примитивной» глубины. Ненадо думать, что если человек смог полететь на Луну, то он стал глубже или даже умнее. Это значит только, что все свое внимание, весь свой интерес человек направил на одни объекты, одни задачи, но при этом, быть может, потерял из виду другие.

Так вот, вернемся к первобытному, общечеловеческому символу. Возьмем для примера рукопожатие или поклон. Одни люди приветствуют друг друга рукопожатием, в других цивилизациях рукопожатие заменяется поклоном. Откуда возникли они, что собой являют? Прежде всего (и это

бесконечно важно!) они являют собой преодоление взаимного страха и отчуждения, переход от животной самозащиты к общению. Ведь рука – самое первое, самое важное оружие человека: ею он наносит удар, нападая, ею же и защищается. При виде чужого и незнакомого – а чужое и незнакомое всегда враждебно, всегда вызывает страх – человек инстинктивно приводит свою руку, так сказать, в боевую готовность, готовность ударить. И вот происходит чудо: эту свою руку, это оружие свое он отдает другому. Оружие становится знаком, символом мира и дружбы, через который предлагается возможность быть не одному против всех, а вместе. Человек вступает в общение с другим. Совершенно таков же символизм поклона, особенно первобытного, все еще сохранившегося на Востоке глубокого поклона. Поклониться другому – значит дать ему возможность нанести тебе удар, и, стало быть, твой поклон показывает, что ты веришь этому другому – веришь, что такого удара он не нанесет.

Вот два первобытных, примитивных символа, уходящих своими корнями в детство человечества и переживших все его историческое развитие. Но, конечно, таких примитивных символов гораздо больше. И все они так или иначе выражают тот же переход человека от животной самозащиты, страха и одиночества к общению с другим человеком или природой. Человек одинок, слаб и смертен. Но в этих примитивных символах он как бы преодолевает свое одиночество, свою слабость и свою смертность. В том самом мире, который, по видимости, обрекает его на это одиночество и связанный с ним страх, он находит общение, красоту, смысл и радость. И все символы – это всегда символы такого общения, обретенного смысла и радости.

Мир загрязняет, но мир же и очищает. Отсюда повсеместный, подлинно всемирный символизм воды как стихии очищающей, омывающей, возрождающей. Мир – это прежде всего потребность есть, поддерживать и защищать свою жизнь питанием. Но мир также и пища: как только человек входит с ним в общение, начинает его возделывать, заботиться о нем, то мир, прежде враждебный, страшный и отчужденный,

сам себя дает в пищу, сам становится жизнью. Отсюда столь же повсеместный, столь же органический символизм еды как жизни, общения и радости. Мир погружается и нас погружает с собой в страшную тьму, лютый холод или нестерпимую жару. Все в нем может убить, стать орудием смерти, но в нем же находит человек возможность тьму победить светом, в нем добывает он огонь, разгоняющий тьму, побеждающий холод и поддерживающий жизнь. Отсюда повсеместный символизм тьмы и света и та вечная свеча, которую возжигает человек, знаменуя торжество жизни, света и тепла над смертью, мраком и холодом. И наконец, все чужое, все, что «не я», страшно и враждебно мне своей таинственностью и незнакомостью. Другой – всегда потенциальный враг, готовый отнять у меня пищу и саму жизнь. Но вот в другом находит человек и друга и, соединяясь с другим, узнавая его, находит любовь и жизнь. Отсюда повсеместный религиозный символизм встречи, примирения, соединения. Та пища, за которую борются люди, становится, когда те принимают ее вместе, символом одной, единой жизни. Те движения, которые как будто дают возможность нападать и защищаться, становятся движениями общими, выражениями общей судьбы. Та самая рука, что могла бы нанести удар, входит в другую руку, и вот ты уже не чужой, ты – это Ты – друг, брат, спутник и радость на жизненном пути.

И вот если, зная все это, взглядеться, вдуматься, вжиться в то, что казенная антирелигиозная пропаганда называет «древними и непонятными церемониями», «бессмысленным культом», то открывается, что это все те же вечные, как сама жизнь, нужные, как сама жизнь, символы, но только бесконечно углубившиеся по мере углубления человека в смысл своей жизни, все более глубокого искания истины. Это символы, претворенные в своего рода бесконечное откровение, объемлющие собой все человеческое знание, все искания, все вопрошания человека – все то, во что вложил он свою собственную жажду правды, красоты и добра.

И вот к этим, уже нашим, христианским религиозным символам мы перейдем в следующей беседе.



## Таинства. Проявление замысла

В прошлых моих беседах я говорил о символах и символизме как неотъемлемом, извечном, необходимом выражении человеком того, что составляет духовную его сущность: любовь, дружбу, веру, общение – все то, иными словами, что выходит за пределы его чисто физического, материального существования. Сегодня от этих общих рассуждений я хотел бы перейти к символизму тех обрядов, которые для многих людей составляют в наши дни одно из главных препятствий, или, можно сказать, недоразумений, в их подходе к религии.

Для многих, очень многих эти «древние, непонятные церемонии» есть одно из главных доказательств «архаичности» религии, ее оторванности от жизни, от проблем и исканий сегодняшнего дня – от всего того, что выражают обычно словом «современность». «Для чего все это: странные одежды, непонятные телодвижения, вся эта мистика и туман обрядности? Несказал ли Христос: “Не многословьте в молитвах” (ср.: [Мф.6:7](#))? Несказал ли он также: “Когда молишься, войди в свою комнату, закрой дверь и помолись тайно, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (ср.: [Мф.6:6](#))? А вы, христиане, понастроили огромные храмы, где проводите в непонятных церемониях целые часы, которые с гораздо большим успехом могли бы быть посвящены заботе о людях, вниманию к их жизни, творчеству и т.д. Зачем все это нужно?» Так или приблизительно так обращается современный мир – сухой, деловой, «научный», прагматичный – к Церкви и, не получая вразумительного ответа, слишком часто исключает ее из области своих интересов, поворачивается к ней спиной.

А бывает и наоборот: человек, уставший как раз от сухости и суеты современного мира, попадает в храм, увлекается необычным миром обрядности, и это, действительно, становится для него уходом, бегством от постылой повседневности, погружением в своеобразный духовный эгоизм и самоуслаждение. Именно поэтому к богослужению, к обряду

нужно подходить с вопросом, символом чего они являются, и значит – что выражают, о чем говорят, к чему призывают, чему учат участвующего в них.

Возьмем для примера первое и самое универсальное, самое изначальное из всех богослужений христианства – обряд крещения. Вот и сейчас мы знаем: даже малоцерковные, малорелигиозные люди очень часто стремятся так или иначе, хотя бы тайно, окрестить своих детей, словно испытывая какую-то глубокую, разуму непонятную нужду отметить появление человека в мир. Казалось бы, мы всё знаем теперь о физиологии и анатомии человека, о том, как происходит его зарождение и т.д. И все же, всякий раз, как зажигается внезапно огонек доселе не бывшей жизни, мы, помимо всех знаний, ощущаем это как чудо, как тайну. И это чудо, эту тайну, эту радость мы неизменно хотим, да и можем, выразить только через символ, через акт, который воплотил и выразил бы все, что мы чувствуем и переживаем. Отсюда возникли – и можно думать, вместе с самим человечеством – обряды, знаменующие рождение человека. И, конечно, христианское крещение в каком-то смысле связано с этими обрядами, является их увенчанием и завершением. Но не только, ибо с христианством вошло в мир и новое, бесконечно глубокое, бесконечно высокое понимание самого человека, его места в мире и истории.

В Евангелии от Иоанна Христос противопоставляет физическое рождение человека новому, духовному – рождению, как Он Сам говорит, свыше: Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия (Ин.3:3). Человек одновременно и снизу, и сверху, свыше. Он часть этого природного мира, часть, всецело от него зависящая, всецело ему подчиненная, но он также носитель божественного духа, призванный над миром воцариться. Эта двойственная природа человека составляет первое измерение христианского учения о нем – учения, как мы увидим в дальнейшем, выраженного и в обряде крещения. Второе измерение определяется учением о человеке как существе падшем и потому требующем возрождения и спасения. Человек, как сказано в христианском Писании, «покорился суе и тлению» (ср.: Рим.8:20), утратил свое

царственное достоинство в мире. Низшее, материальное начало возобладало в нем над высшим, духовным. Но во Христе это достоинство возвращено ему, ибо Христос восстанавливает падший образ, являет человеку его подлинную природу и призвание. Вот это возрождение, восстановление, очищение человека и есть второе измерение крещения, делающее его омовением от зла, рождением от воды и Духа в новую, божественную жизнь. И, наконец, третье измерение – измерение личное. По христианской вере каждый человек получает в дар от Бога свою личность, самого себя, ту абсолютную единственность и неповторимость своего «я», которая составляет, быть может, самое удивительное свойство человечности.

Таким образом, уже из этих кратких замечаний видно, что обряд крещения – не просто «древняя, непонятная церемония», а сложный и многостепенный символ, в котором вечно заново проявляется все на свете превосходящий замысел о человеке. Понять этот замысел – значит понять и то, почему отрицающие дух и вечность, свободу и личность, сводящие все в мире к бездушной материи ненавидят христианство и всеми силами борются с ним. Если кто не рождается свыше... Вот этого-то рождения свыше и не желают те, для кого человечество – безличная масса и муравейник.

Об этом рождении свыше, водою и Духом, мы и будем говорить в следующей нашей беседе.

## Таинства. Символ символов

Рождение свыше – так назвал сам Христос крещение, т.е. тот акт, обряд, священнодействие, которое с самых первых дней христианства составляло его основу и до наших дней сохраняет для миллионов людей свое значение как начало всего, как необходимое восполнение рождения физического. Само слово «крещение» есть перевод греческого βάπτισμα, означающего «погружение». В ночной беседе с Никодимом Христос описывает рождение свыше как «рождение от воды и Духа». Поэтому первый вопрос: почему вода?

Ненужно быть глубоким специалистом по истории религии, чтобы знать о совершенно особой религиозно-символической роли, какую играла вода во все времена у всех народов. От воды зависит жизнь, и потому она есть символ самой жизни. Действительно, без воды невозможна никакая органическая жизнь. Человек может довольно долго не есть, без воды же он умирает очень скоро. Где не хватает воды и влаги, там воцаряются пустыня и смерть. Поэтому люди с древнейших времен отождествляли воду с первоmaterией, видя в ней основу жизни, животворящее начало. Отсюда и религиозный символизм воды, означающей саму жизнь. Отсюда же место воды в религиозных обрядах, и прежде всего – в крещении, таинстве рождения в новую жизнь.

Но символизм воды этим не исчерпывается. Если вода есть начало жизни, то со времен столь же незапамятных знает человек, что она может быть и смертью. Ибо из всех элементов, из всех стихий мира вода – стихия, самая неподвластная человеку, самая свободная и потому часто и самая страшная. «Свободной стихией» назвал ее Пушкин, и как часто бывает она бурей, потопом, гибелью! В ней воплощается непонятный, таинственный, а потому и страшный образ тварного мира. Вот почему водное погружение так часто служит в религиозных обрядах образом смерти, наказания, кары. Отсюда осмысление водного погружения как смерти в христианском крещении, что мы и увидим далее.

Но и смертью не исчерпывается религиозный символизм воды. Вода означает также очищение и чистоту. Вода омывает, очищает, восстанавливает все в первоначанной красоте, без нее мир погряз бы в трясине нечистоты, утонул бы в грязи. Свои представления о физической чистоте человек, естественно, переносит и на чистоту духовную: подобно телу, дух и сознание человека все время загрязняются, все время требуют очищения. Жажда очищения – истинно человеческая жажда. Это мечта о том, чтобы все злое, дурное, грязное в прежней жизни стало небывшим, чтобы возможно было омыться, очиститься, снова стать светлым, вернуться к прежней чистоте и целостности. Окропиши мя... и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся (Пс.50:9), – говорит древний псалом.

И наконец, последнее: будучи всем этим – жизнью, смертью, очищением, прощением, возрождением, вода в религиозном символизме становится образом самого мира как космоса, и значит – как целостности и совокупности. Ведь мы никогда не видим мир весь, целиком, но всегда частично, раздробленно, односторонне. И только, может быть, иногда, стоя перед гладью моря или озера, перед водой, которая все отражает и, таким образом, все в себя вмещает – и синеву неба, и очертания гор, и человеческий лик, мы воспринимаем мир как космос, ощущаем его величие, красоту, слаженность. Неслучайно море всегда притягивало человека: все поэты воспевали морскую стихию, да и каждый из нас при виде моря задумывался о жизни, о вечности, о небе.

Таким образом, мы видим все богатство этого символа воды, ее, так сказать, природную символичность. Ибо если символ означает соединение многого в одном так, что один элемент может воплощать, выражать, передавать, являть другие, тогда вода, конечно, есть символ всех символов, ибо, будучи сама собой, она отражает в себе, преображает, животворит и очищает все остальное. Поэтому, захотев оставить людям знак Своего учения, не объясняющий, а являющий и несущий в себе все, к чему Он звал, Христос взял этот древнейший из символов, самый универсальный, самый человеческий, но вместе с тем самый космический, и сделал из

него символ дара, принесенного Им человеку, и одновременно – символ приятия человеком этого дара. Ибо все Его учение есть учение о возрождении, восстановлении, очищении и прощении. Все оно – учение о мире как космосе, отражающем бездонную мудрость, красоту и глубину, о космосе, где все свидетельствует о жизни с избытком, жизни вечной и торжествующей. О жизни, которую человек теряет и втаптывает в грязь через грех, но к которой, покуда он человек, всегда хочет вернуться.

«Жаждет душа моя Бога Живого» (ср.: [Пс.41:3](#)). Вся Библия, все учение Христово начинается с определения человека как существа, жаждущего воды живой. «Жаждающий да приидет ко мне и да пьет, и я дам ему воду живую» (ср.: [Ин.7:37](#); [4:14](#)). Омойтесь, очиститесь ([Ис.1:16](#)) – вот постоянная тональность христианства, вот основной, глубочайший его призыв к человеку. И крещение в свете этой тональности, этого призыва перестает быть непонятной и для столь многих ненужной «церемонией». Если религия по-настоящему воспринимается не столько умом, сколько сердцем, сокровенной нашей глубиной, то осмысление ее нужно начинать с основных, изначально присущих ей символов. Таким символом для христианства и является крещение. О самом же содержании крещального обряда мы будем говорить в следующей нашей беседе.

## Таинства. Символ символов (окончание)

Говоря о главном, центральном таинстве христианской Церкви – крещении, нельзя не остановиться на том значении, какое имеет в нем вода.

Почему вода? Откуда вообще это постоянное употребление материи и материального в религии, особенно в христианской? Вода, хлеб, вино, ладан, огонь, свечи, масло... Как часто пресловутая современная мысль останавливается перед всем этим, если не с открытым протестом, то с недоумением. Неотдает ли все это грубым средневековьем? Разве можно такое сугубо духовное явление, как религия, т.е. вера в невидимого, духовного Бога, соединять всерьез с материей и делать эту материю чуть ли не проводником каких-то духовных сил? Неязычество ли это, с его обожествлением материи?

Люди неверующие, т.е. считающие себя материалистами и весь мир сводящие к материи, обвиняют христианство именно за то, что оно уделяет такое внимание этой самой материи. «Нет, – говорят они, – если вы религиозные люди, то оставьте материю нам, материалистам, а сами сосредоточьтесь на духовном, которого, кстати говоря, и не существует». А когда приходит время разоблачать «преступления» религии, то главной ее виной оказывается равнодушие к земной реальности, к миру и материи.

В равной мере парадоксально отношение к материи и со стороны некоторой части людей религиозных. Они как бы гнушаются «материалистическим элементом» таких таинств, как крещение или причащение. «Неужели же, – говорят они, – для того чтобы соединиться с Богом и жить духовной жизнью, нужны все эти вещественные символы? Как это примитивно, как недуховно!» Но когда приходит их черед спорить с атеизмом, в чем же они обвиняют его? Нев том ли, что атеизм отрицает божественное происхождение мира и всего сущего, а следовательно, и материи? В начале сотворил Бог небо и землю (Быт.1:1). Подчеркнем это: и землю. Подчеркнем и то, что говорится в Символе веры: «Верую во единого Бога Отца...

Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Но если все от Бога, то разве не на всем и печать Бога? И тогда откуда это гнушение, откуда это брезгливое выделение духовности в сплошь небесную, развоплощенную сферу?

Так встречает христианство вражду и непонимание и со стороны тех, кто хотят одной земли без неба, и со стороны тех, кто хотят одного неба без земли. Но христианство твердо исповедует, что нужна земля и нужно небо, что все земное озарено небесным, получая от него последний смысл, но и все небесное – о земле и для земли, для ее преображения. «Небеса приникли к земле, и трепетна бысть земля»<sup>321</sup>. Это не поэзия, не риторика – это основная, глубинная интуиция христианства, это коренное, основоположное отрицание им как развоплощения человека, так и сведения его только к материи, только к земле. Отсюда то, что уже раньше и неоднократно называли мы христианским символизмом, отсюда всегда равное участие во всем тела и души, материи и духа; отсюда центральное значение таинств для веры и жизни христиан; отсюда, наконец, роль воды в крещении.

Историки религии и культуры, этнографы, антропологи давно уже показали, какое исключительное значение в истории человечества имела вода и связанные с нею символы. Это значение воды было прямым образом определено, конечно, ее жизненной функцией. С первых шагов человека на земле вода осознавалась как символ жизни, ибо никакая жизнь без нее невозможна. Она осознавалась также как символ чистоты и очищения, ибо без нее невозможно ни вымыться, ни очиститься. И, наконец, вода изначально осознавалась как символ смерти, ибо опыт всех поколений включал страх перед водной стихией, неподвластной человеку и таящей в себе угрозу гибели. Когда же эти первобытные символы, корнями своими уходящие в самую глубину человеческого подсознания, стали предметом философского осмысления, вода провозглашена была первоматерией – материнским лоном всего существующего. Она стала, иными словами, символом самого мира, или космоса, в его исконно-глубинном всеединстве.



Весь этот опыт, все эти символы находим мы еще до времен христианства в Ветхом Завете. Вода как жажда подлинной жизни («Как стремится олень к истокам водным, так жаждет душа моя Бога Живого» (ср.: Пс.41:2–3), вода как очищение (Омыеши мя, и паче снега убелюся (Пс.50:9), вода как гибель (всемирный потоп в Книге Бытия) и, наконец, вода как первоматерия (В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пуста и безвидна, и Дух Божий носился над водою (Быт.1:1–2)). Теперь надо со всей решительностью подчеркнуть, что христианство никогда не отрицало той глубинной правды, что заложена и явлена в первобытных символах. Подчеркнуть это тем более необходимо, что многие надеются «разоблачить» христианство, указывая на его связь с дохристианскими символами и обрядами. Но духовная история человечества едина и неделима. И христиане верят, что ее увенчивает Христос, что именно Он, Его дело, Его учение, Его смерть и воскресение стали ответом на все чаяния и предчувствия человека, запечатленные им в своих символах и обрядах.

Вот почему начало новой жизни – той, что принес Христос, той, что Он дал людям, верующим в Него, – знаменуется водой, которая извечно считалась символом очищения и возрождения. Ибо как, если не через символ, выразить человеку то, во что он верит, что всем своим существом предощущает, что составляет последнюю глубину и радость его жизни? И в каком ином символе, как не в символе воды, выразить ему эту веру и это предощущение, если они у него связаны с новым началом, укоренены в опыте «нового неба и новой земли» (ср.: Откр.21:1)?

## Таинства. К тайне человека и мира

Для человека, постороннего Церкви, нет в христианстве ничего непонятнее таинств. Для него они, пожалуй, лучшее подтверждение всему тому, что утверждает о христианском богослужении воинствующий атеизм, который видит в нем «магические обряды», рассчитанные на темных, суеверных людей и удерживающие их в «психологическом плену». Ведь воздействие на человека всего загадочного, непонятного, «священного» – таинственных слов, жестов, одежд – всегда было сильно. Оно-то и составляет, по утверждению спецов «научного атеизма», главную силу религии.

И действительно, какое отношение к религии имеет, казалось бы, вода? Но вот «церковники» (да и баптисты) утверждают, что без крещения, т.е. без погружения в воду, человек не может стать христианином. Посмотрите на эти странные очереди в храмах по воскресеньям, на эти сотни людей, ждущих, чтобы священник дал им из чаши «причастие», т.е. хлеб и вино, про которые Церковь утверждает, что они во время службы становятся «Телом и Кровью Христа». И, далее, все эти помазания маслом, непонятные процессии, странные изображения... Зачем все это нужно?

Так извечно вопрошает «трезвый», верящий в науку, в ее ясный и прозрачный мир человек. Ему кажутся подозрительными, опасными, вредными все эти, как он говорит, «поповские выдумки». Таинства – тайны, секреты... Неэтим ли привлекает религия человека, еще не приобщившегося настоящему знанию?

На эти вопросы нужно дать ответ, от них не отмахнешься, как раньше, простой ссылкой на авторитет: люди, мол, поумнее тебя верили, и так, следовательно, и нужно верить, а паче же всего – слушаться начальство. Неотмахнешься также и ссылками на то, что многие великие люди верили в таинства и были послушными чадами Церкви. Ибо можно назвать не менее великих людей, которые считали таинства, как и породившую их религию, плодом тьмы и невежества. Лев Толстой, например, в

своем «Воскресении» целую главу посвятил издевательствам над таинством причащения, а он ли не великий человек?

Объяснить же, в чем смысл таинств, почему они не просто нужны, но указывают на самоочевидную для верующих реальность, вне связи с которой в буквальном смысле невозможно жить, – объяснить это действительно нелегко. И особенно нелегко в наше время, ибо были времена, «открытые», так сказать, к обряду, ритуалу – ко всему тому, во что всегда так или иначе облакает себя религия. Человек чувствовал в мире тайну, непостижимую для разума и науки, сколь бы ни были они ценны сами по себе. Он признавал, что над тем миром, который дано постичь науке и разуму или, вернее, внутри этого мира есть нечто еще более глубокое и что в глубину эту не проникнуть с таблицей умножения и лабораторными аппаратами. Он не отрицал науку и разум, но и не обожествлял их, как случилось это потом, сравнительно недавно, а именно – в эпоху Просвещения (лучше же сказать – мнимого просвещения). Тогда-то и сказал себе человек: «Все, что я не могу исследовать и понять с помощью науки, попросту не существует». И так выпало из человеческого восприятия целое измерение бытия, как если бы занавесили окно и стали утверждать, что ничего за ним нет и не было. И постепенно эта монополия разума стала своего рода самоочевидным законом. Наука может все объяснить и рано или поздно объяснит – и точка. Кто думает иначе, тот непросвещенный варвар и темный суевер.

Поэтому разговор о таинствах, об их отношении к вере и жизни нужно начинать издалека. И прежде всего человеку необходимо понять одно: его обманули. Ибо то, что называют сегодня «разумом» и «наукой», приписывая им абсолютное всемогущество, на деле не исчерпывает познавательных возможностей человека. И обману этому надо положить конец, если суждено человеку выйти из страшного тупика, куда он зашел. А зашел он в тупик потому, что всемогущий разум, обеспечивший человеку неслыханные победы в мире и космическом пространстве, оказался неспособен просветить жизнь, наполнить ее подлинным содержанием. Больше чем

когда-либо ощущает человек в себе и над собой все ту же тайну. И об нее, как о скалу, разбиваются все идеологии, основанные на голом разуме и выдающие себя за «научные» решения коренных проблем бытия. И тайна эта раскрывается не разуму, а чему-то более глубокому в человеке – тому, без соотнесения с чем и сам разум оказывается машиной на холостом ходу. К этой-то тайне и обращено таинство. Ее раскрывает оно иными и все же неотделимыми от человека путями. Именно здесь кроется ответ на вопрос о сущности христианских таинств, как и той «таинственности» и «священности», в которые, по словам пропагандистов безбожности, извечно облакает себя религия. Эти пути мы и должны попытаться объяснить в следующих беседах.

Вода и масло, хлеб и вино, звуки и краски, жест и ритм – все то, в чем раскрывается нам жизнь Церкви, есть в то же время оболочка и материя таинств веры, таинств жизни. И знание об этом должен заново восстановить в себе человек, жаждущий сохранить свою человечность.

## Таинства. Путь особого знания

В прошлой беседе я говорил о том, как трудно современному человеку уразуметь смысл таинств, т.е. тех священнодействий Церкви (например, крещения и причащения), которые кажутся ему анахронизмом, первобытной магией и т.п. Но бывает и так, что человека этого начинает манить все «таинственное» и религия становится дорога ему тем, что помогает убежать от современности и ее проблем.

В том и в другом случае перед нами не просто невежество, не просто незнание христианства, но и своего рода духовная искривленность. Поэтому необходимо сделать попытку объяснить подлинный смысл таинств, показать, что же издревле черпали в них христиане. Но чтобы сделать это, нужно (и я уже говорил об этом в прошлой беседе) поставить под вопрос то, на чем основано самосознание современной цивилизации.

Человек всегда и всюду стремился к знанию, т.е. к постижению как окружающего мира, так и самого себя. И в этом неистребимом стремлении все понять, осмыслить – величие человека, то главное, что выделяет его из мира живой природы. Таково и библейско-христианское понимание человека. О человеке в первых же главах Библии сказано, что мир дарован ему Богом для возделывания и обладания. И сказано также, что первым делом человека было назвать все в мире (ср.: Быт.2:19–20), т.е. познать смысл и назначение вещей. Поэтому, с одной стороны, нет оснований, казалось бы, для конфликта между христианством и современностью, ибо христианство не только приветствует знание, но именно в нем, в постижении и осмыслении всего сущего видит божественное достоинство человека, его подлинное призвание.

И это значит, что всякое отрицание знания, всякая тяга к иррациональности как таковой глубоко чужда христианству. Никто не положил столько усилий на борьбу со всевозможной магией и суевериями, чем Церковь за все века ее истории. Церкви не по пути с любыми обскурантами, с любыми

искателями «таинственного». И сам Христос в Евангелии именуется греческим словом Логос, означающим «ум», «смысл», «слово», «доказательство», «учение».

С другой стороны, нельзя не видеть, что в понимании природы знания и того, как надлежит человеку осуществлять свое призвание знать и постигать, христианство глубочайшим образом расходится с современностью. Ибо главная и самая трагическая ошибка господствующего в наши дни мировоззрения в том, что знание до конца отождествляется им с наукой. «Все, что человек может знать, он знает только благодаря науке», – как бы заявляет современная цивилизация. Причем под «наукой» здесь понимаются лишь науки естественные, чей метод основан исключительно на опыте, на «объективных» доказательствах. Тем самым из области знания заведомо исключается все то, что таким методом познать невозможно – все, чего нельзя увидеть, измерить, проверить опытным путем, все, что так или иначе не доступно человеческим чувствам. А отсюда, конечно, и возводимое к науке отрицание Бога, и сведение всей человеческой жизни к физическим потребностям, и, наконец, отрицание духовного, невидимого и вечного смысла в чем бы то ни было.

Но пора, наконец, понять: такое знание есть знание частичное, охватывающее лишь чувственно познаваемую реальность. Трагедия современной секуляризированной цивилизации в том, что она с невероятной самоуверенностью, с твердокаменной верой в свою правоту часть выдает за целое, один тип знания за все знание. И, таким образом, сама отказывается от того целостного и всеобъемлющего знания, которое как цель, назначение и призвание человека провозглашены христианством.

Познаёте истину, – говорит Христос, – и истина сделает вас свободными (Ин.8:32). Вот от такой-то последней истины, ведущей к последней свободе, современность и отказывается. Она укоренена целиком в теории знаменитого основоположника современной философии Иммануила Канта, учившего, что наше знание направлено только на внешность вещей, но не способно проникнуть в то, что он назвал «вещью в себе». Между тем

только знание вещи в себе, т.е. глубинного, подлинного смысла, и интересно по-настоящему. И что нам до того, сколько весит человек и какого цвета его волосы, если мы не можем узнать и полюбить его самого, узнать, как мы говорим, его душу?

Так вот, для Церкви, для христиан таинство – это другой путь познания. Путь, не отрицающий научного пути, но ведущий к знанию не внешнему, а внутреннему, не частичному, а целостному, не рациональному только, но и духовному. Поэтому в следующей нашей беседе о таинствах мы начнем с первого и самого основоположного из них, а именно с таинства крещения.

## Таинства. Явление невидимого

В самом конце Своего земного служения Христос сказал ученикам: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Кто будет веровать и креститься, спасен будет (Мф.28:19; Мк.16:16).

«Крестите!» Что это значит? В чем смысл этого повеления? В чем значение крещения, которое от начала и на протяжении всей истории христианства было отличительным его знаком, тем фактом, с которого начинается христианская жизнь каждого, кто поверил в Христа и принял Его Евангелие?

Церковнославянское слово «крещение» – это перевод греческого βαπτισμα, что буквально означает «погружение в воду». Поэтому вопрос о крещении есть прежде всего вопрос о значении воды и об отношении чисто внешнего акта погружения в нее к вере в Христа, к приятию Его учения. Для современного человека, насквозь пропитанного рационализмом, связь эта, как мы уже говорили, непонятна. Ибо саму религиозную веру он понимает (если вообще думает о ней) как принятие умом тех или иных утверждений и положений.

Существовал ли Христос как историческая личность, оригинальна ли Библия или же представляет собой сплав разного рода древних учений и легенд, можно ли в наш век всерьез говорить о чудесах – такой подход к религии укоренен, конечно, в самом мироощущении современного человека. А мироощущение это родилось и выросло из одного чрезвычайно важного явления, на котором мы и должны остановиться...

Явление это – отрыв человека от символа, вернее, от того, что можно было бы назвать символическим восприятием мира и жизни.

В наше время, говоря о символах, мы имеем в виду некие условные знаки, при помощи которых передают ту или иную идею. Так, например, почти во всем мире красный свет уличного светофора означает приказ остановить движение, а зеленый – разрешение двигаться. На языке химических символов H<sub>2</sub>O означает воду, символом государств и нации служит флаг и т.п.



Но важно отметить, что во всех этих символах мы не находим никакой обязательной, самоочевидной связи между символом как таковым, т.е. внешним знаком, и тем, что он символизирует или означает. Связь эта есть, следовательно, результат некоего предварительного соглашения. Об этом говорит, к примеру, тот факт, что в современном Китае сигналы уличных фонарей имеют, по рассказам очевидцев, прямо противоположный смысл: красный свет означает движение, а зеленый – остановку. И это никому не мешает, поскольку сами по себе цвета эти ничего не значат, а водителям известно, какой свет указывает на движение, а какой – на остановку. Короче говоря, в нашем сознании, на нашем теперешнем языке символ – всего лишь знак, смысл которого зависит от того содержания, которое мы сами же в него вкладываем.

Но в том-то и дело, что такое чисто рациональное понимание и восприятие символов – явление сравнительно новое. Еще совсем недавно символ воспринимался совершенно иначе. Прежде всего он был связью человека с миром, особым способом мировосприятия, помогающим постигать глубинный смысл окружающего, иным образом непостижимый. Это значит, что человек воспринимал мир всем своим существом, а не только разумом, и как явление в видимом невидимого, скрытого за этим видимым, но через него же и являемого, т.е. как символ (от греческого συνβάλλειν «соединять, держать вместе»).

При таком восприятии все в мире представлялось символичным, ибо сам мир был, прежде всего, обнаружением невидимого, явлением и даром того, что к одному видимому несводимо. Когда русская поговорка говорит: «Глаза – зеркало души», она только утверждает этот глубинный символизм человеческого мироощущения. Действительно, одно дело – глаза сами по себе, как объект, например, анатомического или оптического изучения, и совсем другое – глаза как проявление личности, как ее выражение в глубочайшем смысле этого слова. Но вот никакая наука, никакой рациональный подход не упразднят этой очевидной для нас символической функции глаз как явления глубокого и невидимого в человеке, как истинного его выражения.

Но такое выражение веками видел, ощущал, сознавал человек во всем. И потому символ был для него тем единственным и одновременно естественным языком мира, который выражал недоступное языку разума и научного анализа. И вот одним из древнейших и глубочайших символов всегда была для человека вода, водная стихия. На этом символическом значении воды и нужно теперь остановиться, чтобы понять, почему уже в самом начале христианства мы находим крещение.

## Таинства. Утраченное понимание

Приступая в прошлой беседе к таинству крещения, я сказал, что нет среди религиозных символов человечества более древнего и универсального, чем символ воды. Остановиться на нем необходимо, во-первых, потому что религиозный символизм воды поможет нам понять смысл не только крещения, но и таинств как таковых и, во-вторых, потому что особое восприятие воды в религиозном опыте человечества дает ключ к утраченному сегодня пониманию символа и символизма.

Хорошим примером изначально религиозного восприятия воды являются первые же строки Библии. В начале, – говорится в Книге Бытия, – сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт.1:1–2). Мы знаем, что в Библии нашли отражение верования не только еврейского народа, но, в известном смысле, всего древнего человечества, представленные в некой обобщающей духовной перспективе. И знаменательно то, что библейское сказание о сотворении и начале мира начинается с образа воды. Вода представлена здесь как космическая первоматерия. Сама земля еще безвидна и пуста, она – тьма над бездною.

Таким образом, в воде, в водной стихии видит древний человек начало, космическую основу, первичную материю всего существующего. Образ воды – это ощущение мира как космоса, как некой первобытной целостности. Человек, как мы знаем, может сравнительно долго не есть, но отсутствие влаги означает для него, как и для всего живущего, скорую смерть. И вот в своем детски-мифологическом мировосприятии человек назвал воду жизнью и источником жизни.

Только нужно помнить, что это детски-мифологическое восприятие не только не беднее того, которое на нашем языке называется «научным», а в известном смысле глубже и шире. Язык мифов, язык обрядов способен выразить то, чего не выразить языком научных выкладок, позволяет проникнуть в

глубинную тайну бытия. Так, на языке науки «жажда» – понятие почти исключительно физиологическое. Но вот древний поэт-мистик восклицает: «Как олень стремится к истокам водным, так жаждет душа моя Бога. Жаждет душа моя Бога Живого» (ср.: Пс.41:2–3). Вода, жизнь, Бог – тут все соединено, отражено друг в друге.

Великая водная стихия являет жизнь и отражает в себе божественный источник жизни, и это, так сказать, «светлый», космически-животворный полюс в человеческом восприятии воды. Ему противостоит другой – «темный» полюс, являющий воду как силу страшную и смертоносную. Почти у всех народов земного шара сохранилось в том или ином виде сказание о потопе, наиболее известную запись которого находим мы опять-таки в Библии. Но и это сказание отражает непосредственный человеческий опыт. Вот ведь, уже и в наши дни, всего несколько лет назад в Пакистане из-за внезапного наводнения погибли миллионы людей. Всем научился управлять человек, но над водной стихией нет у него власти. Вот почему в воде всегда видели люди символ не только жизни, но и смерти, гибели. Океан и его таинственную глубину сделали они жилищем страшного дракона, сообщившего водной стихии отрицательную, демоническую силу.

И наконец, вода как символ чистоты, обновления и возрождения. Омыеши мя, и паче снега убелюся (Пс.50:9). Эти слова псалма и выраженный в них опыт рождаются из таинственной способности воды омыwać, очищать и возрождать.

Итак, жизнь и смерть; гибель и возрождение; светлый космос и темная бездна; всеотражающая красота и прибежище злых сил... И потому в центре всех религиозных действий, которыми искони выражал человек и радость жизни, и страх смерти, и доверие миру как источнику жизни, и ужас перед ним как всепоглощающей могилой, всегда и всюду находим мы воду. В этом символе сходятся и живут радость и страх, надежда и раскаяние. И над всем этим – самое глубокое, самое конечное: «Жаждет душа моя Бога Живого», как будто именно вода делает

все в мире и саму жизнь прозрачными для Того, Кто над ней, – для преизбыточествующей Жизни Божественной.

Но тогда, пожалуй, понятно и то, почему и в Евангелии находим мы все тот же символ, почему и христианство начинается с великого таинства воды. Ибо все то, что вкладывал человек в этот символ, все чаяния и надежды, вся великая жажда его нашли ответ и исполнение, были утолены – так, во всяком случае, веруют христиане и так веровали они всегда – в одном Человеке, в одном Учителе, в одном явлении и воплощении Бога на земле: в Христе. В Христе символ сделался таинством, ибо все предвозвещенное и явленное в символе стало даром и исполнением в Нем, принявшем крещение от Иоанна Предтечи

Об этом евангельском событии мы и будем говорить в следующей беседе.

## Таинства. Утоление жажды

Все сказанное нами в связи с христианским таинством крещения находит подтверждение в таинственном образе Иоанна Крестителя, с рассказа о котором начинается Евангелие.

В медни, – повествует евангелист Матфей, – приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои... Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его (Мф.3:1–6,13–15).

В этом рассказе как в фокусе сходятся все те глубочайшие стремления, надежды и переживания человека, что издревле заключены для него в символе воды. Что за крещение совершает Иоанн? И почему толпами выходят к нему жители Иерусалима и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская? Мы знаем теперь (спустя века пристальнейшего изучения каждого слова в Евангелии, как и всего относящегося к евангельским событиям), что эпоха зарождения христианства была отмечена в Палестине, да и за ее пределами, необычайным духовным напряжением, ожиданием грандиозных перемен. Мир явно приближался к какой-то судьбоносной черте, стоял на пороге неведомой новой эпохи... И об этом возвещал пророк в пустыне, призывая народ раскаяться в злых делах, очиститься и обновиться. Ответом на это напряженное ожидание, на эти таинственные слова о приблизившемся Царстве Божием было массовое покаяние, всеобщая жажда новой, чистой и светлой

жизни. И всех, кто приходил к нему с такой жаждой и таким раскаянием, Иоанн крестил в воде. И каждый, принимая это крещение, знал, что оно означает смерть старого и рождение нового, конец и начало.

Но вот евангелист Лука прибавляет: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостойн развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (Лк.3:15–16).

Что же могли значить тогда, для людей той поры слова: «не Христос ли он»? Люди ждали Христа. А слово христос есть греческий перевод еврейского мессия – «помазанник», ибо так назван в Библии посланец Божий, имеющий прийти в конце времен, чтобы спасти людей от зла, греха и смерти, исцелить мир, погрузившийся во тьму погибели. Мессия, Помазанный (т.е. вдохновленный Духом Божиим), Спаситель, Искупитель, Бог... Итак, крещение в воде было последней, наивысшей точкой этого ожидания, этой надежды на решительную победу Бога в мире – в мире, от Бога оторвавшемся.

Иоанн сказал, что он не Христос, а только последний из тех, кто должен приготовить Его пришествие. И вот тогда, с севера, из Галилеи пришел никому не ведомый Человек, в Котором пророк признал и исповедал грядущего Христа. Вся жизнь Иоанна, весь его подвиг бесконечного самоистончения молитвой, постом, уединенным созерцанием, внутренней борьбой – были направлены на одно: узнать Христа и засвидетельствовать исполнение обещанного.

И вот первое, чего потребовал Христос от Иоанна – крещения в воде. Сколько поколений христиан с радостью и трепетом вглядывались духовным взором в это поразительное событие, какой глубины созерцания достигли они в ежегодном его праздновании! Ведь то, что совершилось тогда, было возвратом к самому началу мира, когда была бездна и тьма, и Дух Божий над водой, и вырастающий из воды и бездны мир как отражение Творца, Его любви, мудрости и красоты. Так и теперь, начиная с крещения Христова, то, что было

погружением в материю, в смерть и гибель, становится жизнью; то, что было исповеданием греха и раскаянием, сияет как прощение и обновление; то, что было всего лишь надеждой и ожиданием, дается как дар и как исполнение.

Нет, религия – это не только идеи, не только мораль, но прежде всего жажда. А жаждущий не рассуждает о своей жажде, он пьет. Религия – это жажда целостной жизни, жажда общения с Богом через мир, жажда общения с миром в Боге. Это жажда примирения духа и материи, жажда все наполнить смыслом, все сделать жизнью, все пронизать светом, все получить от Бога и в радости и любви Богу отдать.

И вот исполнение этого всего есть таинство крещения, с которого начинается христианская жизнь.



## Таинства. Встреча и приветствие

В прошлой беседе я говорил о значении символа в жизни всего человечества и каждого отдельного человека, а также о религиозных корнях символизма. Я говорил, что самое глубокое, самое важное в себе и в своей жизни человек выражает не в логических понятиях и определениях, а в символических актах и жестах. И это потому, что именно в символе находит выражение основная интуиция человека, его основной опыт себя самого как существа двоякого – материального, но и духовного, подчиненного законам природы, но и свободного от них; смертного, но всей силой своего бытия отрицающего смерть и жаждущего вечности. «Так ты – жилище двух миров!»<sup>322</sup> – обращался Тютчев к своей душе. И вот там, где есть опыт или хотя бы предчувствие этих «двух миров», там по необходимости будет и символ, и всякая попытка отказаться от него, свести человека к одному лишь миру, к одному измерению бытия, оказывается всегда обеднением человека, насилием над ним и в конечном счете его расчеловечением.

Основным символом христианства всегда было и остается таинство крещения. Так вот, не анализируя и не объясняя его пока что логическими или априорными определениями, постараемся просто внимательно взглянуть в то, что многие годы уже развенчивается как чистейшее суеверие и варварство. Вот принесли в церковь ребенка, совсем недавно родившегося, только что начавшего жить. И священник совершает над ним обряд, миллионы раз повторенный, – обряд, который для верующих столь привычен, что уже не наводит ни на какие размышления, а неверующим кажется, как мы сказали, пределом бессмыслицы. Но задумаемся в происходящее непредубежденной мыслью. Ведь не может быть, чтобы люди на протяжении двух тысяч лет были жертвой элементарного обмана. И прежде всего осмыслим само принесение ребенка к священнику, которое, пусть в иных формах, совершалось и до христианства. Так, из Евангелия мы знаем, что и Христа, когда Ему было всего только сорок дней отроду, принесла в храм Его

мать Мария и за этим тоже стоял некий важнейший и самоочевидный для всех символ. Символ чего?

С извечных времен люди испытывали потребность запечатлеть всякую новую, едва начавшуюся жизнь особым смыслом, увидеть в ней не простую случайность, а факт, глубоко осмысленный. В противном случае человек – то же, что надпись на его могильной плите: родился – умер, а между двумя датами, от него не зависящими, только тире, к которому и сведена вся его короткая или длинная жизнь. И непонятно, зачем вспыхнул этот огонек, зачем на минуту вздулся этот пузырек на поверхности необъятного океана жизни. Принесение же младенца в храм означает, что биологический факт, равный миллиардам подобных фактов и потому в конце концов случайный, осознается как факт единственный и неповторимый, что рождение биологическое превращается в рождение духовное, в рождение уже не статистической единицы, а единственной и неповторимой личности. Здесь, в этом акте кто-то приносит, но кто-то и ждет, и встречает, и узнает, и радуется, и обладает полномочием запечатлеть это ничем себя еще не ознаменовавшее бытие как бесконечную и уникальную ценность.

Смотрите: вот возлагает священник руку на голову новорожденного и именем Бога и именем мира, именем всего создания приветствует его в жизнь. Его устами все человечество словно говорит: «Мы ждали тебя, мы рады тебе, и если бы ты не родился, все мироздание было бы другим, более бедным, менее совершенным, ибо в каком-то глубочайшем, последнем смысле оно создано для тебя, и ты получаешь его сейчас, в эту минуту, как дар». И заметим: это приветствие, эта радость и эта встреча ничем не обусловлены, ибо для них не имеет никакого значения, долго ли, коротко ли будет жить и дышать воздухом Земли это существо, будет ли «тире» его жизни между датами рождения и смерти по-человечески славным или незаметным. С той вечной и божественной точки зрения, с которой глазами священника смотрит на этого младенца Церковь, важно не это, ато, что говорит Евангелие: Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца,

уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир (Ин. 16:21), т.е. вошел в жизнь, и уже навсегда. С точки зрения экономики и политики всякое новое рождение – это еще одна статистическая единица, это «плюс один», которым уравнивается «минус один» – чья-то смерть; но, с точки зрения Церкви, это есть событие, изменяющее лицо Земли, ибо по-новому, по-своему, как никто до него и после него, будет взирать на небо, пить горечь и сладость жизни этот человек, спящий сейчас на руках у матери.

Итак, вот смысл, или символ, первый и решающий, крещального таинства: встреча, приветствие, радость. И молится священник: «Напиши его в книге жизни»<sup>323</sup> – молится о новой, такой хрупкой жизни, чтобы окружали этого младенца светлые ангелы, защищая от всего темного и непредвиденного, что постоянно окружает нас в этом прекрасном и одновременно страшном мире; и осеняет его крестным знамением, и ограждает руками, и дует на него, изгоняя и попирая всякое зло, зная наперед всю глубину, весь страшный риск человеческого существования. «Но ведь ребенок не знает о том, что совершает над ним священник!» – возражают плоские рационалисты. Конечно, не знает, как не знал и я, когда лежал в колыбели, о всех тех лучах любви и заботы, что были направлены на меня; как не знал и я, сколько сил положили старшие, выкармливая и воспитывая меня, прежде чем сказать: «Живи, борись, падай и вставай сам!»

Так начинается крещение, таков первый смысл этого символа всех символов в свете христианского понимания человека.

## ТАИНСТВА. На выбор и борьбу

Продолжая сегодня объяснять таинство крещения, напомним вкратце моим слушателям, что начал я это объяснение, указав на место и роль символа в духовной, т.е. глубинной, жизни человека. Я говорил о встрече нового, только что начавшего жить человеческого существа Церковью в лице священника и о смысле этой встречи, который можно определить как признание и провозглашение бесконечной важности, бесконечной ценности за этой вот единственной и неповторимой человеческой личностью.

Теперь мы переходим к следующему за этой встречей обряду – так называемым заклинаниям<sup>324</sup>. Уже одно это слово «заклинания» вызовет, должно быть, у одних смех, а у других раздражение: что вы, в XX веке и заклинания? Прогресс науки и техники, и вдруг какие-то нечистые духи? Да это чистейшее суеверие, средневековый бред, которому нет места в нашу эпоху! Но когда нам говорят, что человек, пользующийся, скажем, электричеством, не может верить в какую-то злую силу, на это можно ответить так: «Увы, даже электричество, как и все на свете, может быть подчинено целям демоническим и служить злу». Наше поколение, на своем коротком веку узнавшее о миллионах заключенных в концлагерях, об уничтожении сотен тысяч в газовых камерах, о неслыханном терроре всенародного масштаба, – это поколение, может быть, лучше всякого другого знает о демонической природе зла, знает, что зло – не просто отсутствие добра, как и тьма – не просто отсутствие света. Так можно было думать раньше, когда длиннобородые немецкие философы и экономисты в тишине своих кабинетов спокойно разрабатывали планы будущего блаженства для всего человечества. Мы знаем теперь, чего стоили эти планы или, вернее, их проведение в жизнь; знаем, что зло – не отсутствие добра, а прежде всего присутствие злого начала, как ненависть – не просто отсутствие любви, а страшная тяжесть на сердце, какой-то почти физический груз. Поэтому, когда мы говорим о том, против чего направлены заклинания, точнее, когда об этом

говорит Церковь, речь идет не о бесах с хвостами и рогами, а о зле как таинственной силе, необъяснимым образом торжествующей над добром.

Мир во зле лежит (1Ин.5:19), – утверждает апостол, и потому христианство с самого начала определяло себя не как религиозно-философскую доктрину, не как мораль или закон, а прежде всего как непрерывную и смертельную борьбу со злом во имя света, добра и истины, во имя Живого Бога. И заклинания в христианском таинстве крещения – это не магия, не суеверие, не средневековый обряд, а сознательный вызов и объявление войны злу. Мы не знаем, что ждет этого ребенка, который так мирно и беспечно спит сейчас на руках у взрослых. Но мы знаем, что нельзя прожить жизнь на земле без страшной встречи со злом и без борьбы с ним. И христианин – тот, кто делает выбор и кто знает, что выбор этот не сулит ему тихого, безмятежного существования, но обрекает на постоянную борьбу.

В древности, когда крестили преимущественно взрослых, крещаемый делал этот выбор сам. Священник оборачивал его лицом к западу, стране тьмы и заката, и трижды спрашивал: «Отрекаешься ли ты от сатаны и всех дел его, и всего служения его?», а тот трижды отвечал: «Отрекаюсь». И тогда священник оборачивал его лицом к востоку, стране солнечного восхода и света, и также трижды спрашивал: «Соединяешься ли ты со Христом?», и на это он трижды отвечал: «Соединяюсь». Теперь, когда крестят в большинстве случаев новорожденных детей и отречение это, и соединение с Христом лежит на восприимниках – крестном отце и крестной матери, берущих на себя заботу о духовном воспитании ребенка, – важно помнить, что на заре нашей христианской жизни Церковь вводит нас в мир борьбы между добром и злом, указывая на всю реальность и иррациональную мощь зла. Нельзя бороться со злом внешним, если не борешься в первую очередь со злом внутри себя, – тут, именно тут, причина того парадоксального положения, когда люди, вечно озабоченные как будто благом человечества, оказываются жестокими тиранами, заливающими мир кровью и слезами. Ибо какими бы ни были движимы они программами и

идеологиями, внутри у них все оборачивается тьмой и злом. В прошлом, да и в настоящем, христиане нередко забывали слова Христа: «Не мир, но меч принес Я в мир» (ср.: [Мф.10:34](#)), и другие Его слова: «Огонь пришел Я низвести на землю и как тоскую, пока он разгорится!» (ср.: [Лк.12:49](#)). Христианство и вправду слишком часто отождествляли с безразличием к торжеству зла в мире, но о том, что такое безразличие – не сущность, а извращение христианства, лучше всего свидетельствует древний обряд заклинания как отречения от зла, вызова ему и соединения с Христом. За радостью встречи в таинстве крещения следует раскрытие мира как места борьбы со злом и человека как ответственного участника этой борьбы: «В мире печальны будете, – говорит Христос, – но мужайтесь, ибо Я победил мир» (ср.: [Ин.16:33](#)). И, может быть, символ этот важнее всего вспомнить именно в наши дни – в эпоху небывалого столкновения не столько народов и культур, сколько двух глубинных интуиций, относящихся к основам мироздания и самой жизни. Ныне все яснее становится, что дело не в том или другом устройстве человеческого общества, а в самой природе и призвании человека. Все очевиднее раскрывается смысл этого столкновения как борьбы Божественного света и сатанинской тьмы. И с предельной остротой ставится вопрос, обращенный к каждому из нас: на чьей мы стороне, от чего мы отреклись и с кем хотим быть? И древний символ светится вечным светом и указывает нам, как на вопрос этот ответить.

## Таинства. Освящение воды

Я говорил уже в прошлых моих беседах, посвященных объяснению церковных таинств, о древнем, изначальном символизме воды в человеческом сознании – о воде как символе жизни, о воде как символе смерти, о воде как символе очищения и возрождения, о воде, наконец, как той первоматерии мира, что отражает в творении славу, красоту и глубину божественного творческого акта. Я говорил также о том, как вся эта интуиция воды, все это знание человека о воде как жизни и смерти, как мире Божию и мире падшем – как все то, иными словами, что составляет саму сущность символа, нашло свое выражение в евангельском рассказе о крещении Христа Иоанном Крестителем.

Сегодня мы можем перейти к самому чину крещения. Итак, он начинается с торжественного освящения воды. Но что такое «освящение»? Вот еще одно слово, еще одно понятие, ставшее почти непроницаемым для современного человека. Ему, должно быть, все кажется, что за этими странными церемониями кроется какая-то таинственная магия, что-то сродни гаданиям, наговорам, волшебству. Но пусть он вслушается в то, что говорит священник, стоя перед крещальной купелью, перед этой водой, в которой человек буквально с самого начала своего бытия видел всегда нечто более глубокое, чем просто один из видов материи.

Слова, которые произносятся священником, действительно древние и на наш теперешний слух непривычные, до такой степени отвыкли мы от всего, что не укладывается в самый банальный и ограниченный опыт. Но слова эти родились, зазвучали, пришли в сердце человека задолго до того, как он несказанно сузил свой опыт и потому разучился их понимать. Это слова благодарения: «Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и ни одно слово не будет достаточным, чтобы прославить чудеса Твои!»<sup>325</sup> Удивление, хвала, радость о величии Божию – ни магии, ни волшебства, ничего темного, ничего непонятного. Напротив – то самое простое, хотя, может быть, и вправду

самое необъяснимое из всех чувств человеческих, которое так хорошо знает ребенок, когда, принимая подарок, пусть самый скромный, самый непритязательный, вдруг весь озаряется радостью, весь превращается в сплошной порыв благодарности и бросается обнимать того, кто этот подарок принес. Да, благодарность – самое глубокое, самое человеческое из всех наших чувств и самое из них преображающее. Преображающее – потому что в благодарности человек преодолевает зависимость, преодолевает тот детерминизм, к которому иные хотят свести всё в нем и саму человеческую жизнь.

Благодарность, хвала действительно свободны, это самые свободные из всех чувств, это, в сущности, всегда явление в человеке самой свободы и потому – освобождения. И это так потому, что благодарность, подлинная благодарность может быть только там, где есть радость о полученном. А радость не предписывается, не навязывается, не создается искусственно, по приказу. На этот счет у современного человека, которому все время предписывают радоваться, приказывают благодарить, огромный опыт. Он знает, как невыносимо скучны эти казенные праздники, эти псевдорадостные лозунги, это организованное благодарение, от которых все, кто могут, спасаются пьянством, разгулом, бегством от реальности – чем угодно, только бы удрать. Но зато как глубока и таинственна подлинная радость, настоящая хвала! Им открывается то, что скрыто от голого разума, могущего только анализировать, описывать, определять, но неспособного проникнуть в скрытую глубину вещей. Разум не радуется, не благодарит – радуется и благодарит неизмеримо более глубокое в человеке – то, что издревле называет он «сердцем», но что на деле есть сама глубина человека, он сам в последней своей сущности. Радость – это то, что остается в человеке от детства, и то, что постепенно, увы, испаряется, чахнет в трудностях жизни, во всей ее безмерной печали, но что иногда каким-то чудом возвращается нам, словно утерянный рай детства.

И вот это торжественное благодарение, эта радость о воде, а значит, мы знаем уже, о жизни, о красоте мира, о мудром его устройении, об отражении в нем Божия лика – это благодарение,



эта радость и есть освящение. И это есть проникновение в глубокую сущность того, за что мы благодарим, – в сущность воды, мира и жизни. Это встреча с ними на глубине, это приятие их как подарка. Будто снова в первозданном божественном саду, в раю, открывает глаза первозданный Богом человек и в первый раз видит всю красоту, всю любовь, всю мудрость, приготовленные для него, данные ему как некий дивный дар, и радуется, и благодарит, и хвалит – и в этой радости, в этом благодарении становится в глубочайшем смысле слова сам собой.

Освящение, познание глубины вещей, приятие дара, свободное благодарение, подлинная встреча – вот смысл первого акта крещального таинства. Бог, человек и мир в их первозданном, свободном единстве, в их никаким злом, никаким грехом и никаким унынием еще не омраченной радости. Возвращение к самому началу вещей, к божественным корням космоса. Свободная встреча с миром, освобождение от всякого порабощения – так с радости и хвалы начинается церковный акт крещения, т.е. духовного возрождения человека.

## Таинства. Погружение в Жизнь

Говоря в прошлой беседе о христианском таинстве крещения, я сказал, что начинается оно с торжественно-радостного освящения воды. В этом акте мы, христиане, провозглашаем и исповедуем восстановление того мироотношения, что было утеряно человеком в его отрыве от Бога и восстановлено Христом. Это отношение к миру, к материи и к жизни как к общению с создавшим их Богом, это приобщение через них не только к биологической жизни, но и к Жизни с большой буквы, к жизни как познанию, радости и полноте, а главное – как к вхождению в Божественную жизнь.

Человек потерял эту жизнь: она стала для него всего лишь биологическим существованием. И в этом существовании, до конца определенном зависимостью от внешнего, человек дошел до того, что принял такую зависимость, такой детерминизм как самоочевидный и абсолютный закон и возненавидел тех, кто осмеливались напоминать о духовном призвании человечества. «Не хочу никакого “духа”, – словно говорил он, – хочу быть только материей!»

В этом падении он перестал даже ужасаться тому, что составляло всегда предмет горького удивления для него, – перестал ужасаться смерти, принял и ее как закон, смирился и перед нею. Человек заговорил о «материальном прогрессе», о всевозможных улучшениях своей жизни, проживая, в сущности, на огромном вселенском кладбище, до отказа набитом трупами. Только одиночки продолжали с ужасом взирать на это страшное зрелище, на муравьиную суету приговоренных к смерти и уже не сознающих бессмыслицы этой нескончаемой погони за сытостью, досугом и забвением на прямом пути в небытие. Неужаснувшись этому, мы не сможем уразуметь, в чем состоит христианство, какая весть, названная Евангелием, т.е. Благой вестью, зазвучала в мире, вошла в него как единственно подлинная радость, как единственно настоящее освобождение.

«Я пришел, – говорит Христос, – чтобы имели жизнь, и имели ее с избытком» (ср.: [Ин.10:10](#)). Он пришел, чтобы люди

поняли: те законы природы, которые сами же они провозгласили «абсолютными», суть законы падшего, смертью и ужасом смерти объятых мира, и человек призван не только преодолевать их, но для начала подвигом собственной веры и любви заново увидеть как Божественный дар сам мир, саму жизнь в их премудром замысле и первозданной красоте.

Жизнь Христа была полной и абсолютной свободой – свободой от всех «законов». Он отверг соблазн голода и этим явил, что «не хлебом единым живет человек» (ср.: Мф.4:4). Он отверг соблазн власти и могущества и этим явил, что любовь, добро, вера сильнее. И наконец Он принял саму смерть не как страшный обрыв бессмысленного существования, а как акт бесконечно торжествующей любви: «Никто не отнимает жизнь у Меня, Я Сам отдаю ее» (ср.: Ин.10:18). И вся жизнь Христа, безвластного, бездомного, не имевшего, где главу приклонить, и сама Его смерть – все засияло свободой, все стало победой над любой зависимостью, любым детерминизмом. И эту Божественную жизнь, эту жизнь с избытком Он даровал верующим в Него и в Нем увидевшим пришествие Божественного спасения, Божественного света, Божественной любви.

И потому всякий верующий в Христа жаждет прежде всего погружения в Его жизнь и в саму Его смерть, ставшую жизнью и победой над смертью. И все это есть крещение – погружение в новое, свободное отношение с миром и с жизнью, в то подлинное освобождение, которое совершил Христос Своей крестной жертвой и которое засияло в мире Воскресением. «Все вы, – говорит апостол Павел, – во Христа крестившиеся, в смерть Его крестились, чтобы как Он восстал из смерти, так и вы могли жить в обновленной жизни» (ср.: Рим.6:3–4; Гал.3:27). Вот радость и сила крещения в христианской вере: смерть прежнего, ветхого человека, всецело детерминированного рабством миру и смерти, и воскресение человека нового, духовного и свободного, который извещен, что данные ему от Бога мир и жизнь есть возрастание в вечную полноту любви и света.

И потому в древности крещение совершалось в пасхальную ночь при участии всех верующих. Это для новокрещенных открывалась затворенная дверь в храм. Это они вступали в ликующее торжество победы над смертью – в обновление жизни и предвосхищение той радости, для которой сотворен мир и к которой устремлено всякое создание Божие.

Итак, не магия, не суеверие, не «древние и непонятные обряды» для непросвещенных, но торжество подлинной веры. Веры не только в Бога, но и в мир как Его отражение, как путь к Нему, в жизнь как причастие уже здесь, на земле, вечному свету и смыслу. В возможность радоваться не только жизни, но и самой смерти, изнутри разрушенной любовью Христовой и ставшей вхождением в жизнь преизбыточествующую. В возможность жить всегда, всякое мгновение в мире с Богом и Божиим творением, видя во всем любовь и свет. В возможность по-настоящему все побеждать, все наполнять духом.

## Таинства. Преображенный знак

В одной из бесед я говорил о таинстве крещения и о том, что новые правила, которыми власть старается ему воспрепятствовать,<sup>326</sup> только подчеркивают неистребимость этого таинства. Я говорил также о естественном символизме человеческой жизни, о том, что все – и верующие, и неверующие – в равной мере не могут обойтись без символов, в которых только и может найти свое выражение человеческое общение, человеческое творчество, человеческий дух. И то, что, несмотря на годы антирелигиозного воспитания, воинствующей пропаганды безбожия и насильственных мер по искоренению религии, люди продолжают крестить детей, верить в необходимость крещения и защищать его от поругания, доказывает, что крещение соответствует чему-то очень глубокому, очень насущному в человеке. Чему же?

Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с места воды в истории религиозного сознания. Вода везде и всюду была одним из главных религиозных символов. И в самых примитивных, и в самых утонченных, самых возвышенных религиях мы всегда находим тему воды. Это объясняется тем, что вода и влага имеют исключительное значение не только в символической, но и в эмпирической реальности. Без воды не может существовать ничто живое, и потому она основной и универсальный символ жизни. Небудем забывать, что большинство великих религий, включая христианство, зародились в тех частях мира, где вода имеет исключительную ценность, поскольку ее мало. Пустыни, каменистая почва, раскаленное солнце – все это по контрасту делает воду драгоценной, живительной, носительницей самой жизни. Обещая дать поистине воду живую (Ин.4:10), Христос вместе с тем использует привычный для Его времени образ речи. И вся Библия, как и другие священные книги древности, всегда говорит о воде в подобном смысле. Как символ жизни она есть одновременно и символ мира, космоса. Все древние космогонии, т.е. учения о происхождении мира, говорят о

водной стихии, предшествующей возникновению всего. С воды начинается и библейский рассказ о творении: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт.1:2).

Таким образом, для конкретного сознания первобытного человечества вода была основой всякого бытия. Вода – это утоление жажды, вода – это мир, космос, основа всего, что есть.

Но символическое значение воды этим не исчерпывается. Вода воспринималась и как страшная, неукротимая стихия, как символ всего иррационального, всего, в чем раскрывается хрупкость, двусмысленность и хаотичность жизни. Вода губит, вода убивает, вода не повинуетя человеку. Символ жизни, она есть также и символ смерти, исчезновения и растворения всего в таинственном небытии.

И, наконец, вода была также символом очищения, возрождения и чистоты. Без воды невозможно не только жить, но и быть чистым. Поэтому во всех религиях омовение водой выступает как обряд очищения и примирения.

Весь этот символизм укоренен, как мы видим, в простом человеческом опыте воды, в эмпирическом ее восприятии. И именно этот опыт, претворенный в символ, составляет основу таинства крещения.

Первое и самое глубокое ощущение человека есть ощущение своей греховности, несправедности. Оно присуще всем нам, и в лучшие минуты, слушая свою совесть, мы узнаём, что в нас есть зло и неправда и что источник их в нас самих. Что-то случилось и все время случается с нашей жизнью, отчего она идет не так и все в ней криво, нечисто. И во все времена самым лучшим свойством в человеке была, конечно, способность к раскаянию, т.е. способность видеть разлад в себе и трудиться над его преодолением. Повторяю, даже самое материалистическое, самое безрелигиозное восприятие человека разлад этот признает, по-своему стремясь к исправлению мира и человека («Мы наш, мы новый мир построим...»). И хотя о новом мире, о новой твари, о новом человеке вот уже две тысячи лет возвещает христианство,

важно, что идея обновления жизни составляет всегда и всюду стержень всех надежд, всех стремлений человека. Древний, дохристианский человек чувствовал все это не хуже нас. И так как жизнь его была неотделима от природы, то исконная жажда очищения и примирения облекалась у него в действие, служившее залогом физической чистоты, да и самой жизни, – в омовение водой. Через ритуально-символический акт погружения в воду он как бы возвращался в ту первозданную цельность и чистоту, которую мы все время теряем в суете и зле жизни.

И вот этот символ – естественный и потому универсальный, понятный каждому и потому всеобъемлющий, простой и потому прекрасный – этот символ и избрал Христос. А избрав, наполнил новым смыслом, сделал таинством новой и свободной, чистой и радостной жизни, которую возвестил в Своем учении.

При совершении церковного таинства крещения перед купелью (сосудом с водой) стоит священник, и тут же присутствует на руках крестных новорожденное существо, призванное жить, т.е. возрастать, бороться, любить, радоваться. Все начинается сызнова в этом новом, еще не жившем человеке. В нем и для него творится мир, и ему же дается он в дар. Купель, куда его погружают, – это весь мир, космос, материя. И за все это священник от лица всего рода человеческого благословляет и благодарит Бога: «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих!» Какая удивительная минута – это начало жизни, это соединение человека, любовное и радостное, с космосом! Нет, это не суеверие. Это поразительное прозрение в самую глубину вещей. Прозрение, на которое неспособно плоское материалистическое миропонимание.

И вот, благословив и освятив эту воду, этот мир, эту материю, священник погружает в нее ребенка. И погружение это есть символ смерти, к которой приговорен, которую несет в себе каждый человек. Но вот он поднимает ребенка из воды – живого, очищенного, возрожденного, надевает на него белую одежду, отдает его людям. И без всякого объяснения все ясно,

все просто: удел человека – жизнь, а не смерть, чистота, свобода и любовь, а не зло, ненависть и разделение, единство с Богом, миром и людьми, а не крайняя разобщенность. Да, человек погружен в мир, но и возвышается над ним; он часть мира, но и его хозяин; он подвержен смерти и злу, но побеждает их любовью и свободой. И все это люди знают не рассудком, а душой, сердцем и совестью, и потому им нужно крещение, и потому его ничем заменить. Им нужен этот таинственный знак божественного происхождения и назначения человека, знак раскаяния, примирения и очищения. Знак, в котором соединяются заново Бог, мир и человек и в котором раскрывается последний смысл жизни.

И что бы ни делала власть, какие бы препятствия ни чинила, человек будет стремиться к воде живой, останется существом, наделенным жаждой, утолить которую не может никто, кроме Бога– последней Красоты, Мудрости и Добра.



## Таинства. Миропомазание

За первым христианским таинством, крещением, следует второе, называемое миропомазанием. С внешней стороны оно заключается в помазании тела новокрещенного священным маслом, или миром. Священник делает этим миром знак креста на лбу, на ноздрях, на глазах, губах, груди и ногах ребенка и говорит каждый раз: «Печать дара Духа Святаго». С точки зрения бездуховно-материалистического подхода к человеку обряд этот, конечно, не имеет и не может иметь никакого смысла и кажется каким-то диким суеверием.

Но оставим на минуту этот подход, допустим возможность другого подхода, попытаемся вдуматься в то, чем является этот обряд вот уже две тысячи лет для самих христиан. При достаточной непредвзятости сделать такое усилие вполне возможно, и тогда окажется, что перед нами не первобытная магия, а выражение чего-то очень глубокого и вполне понятного в человеке. Мы снова имеем дело с символом, одним из тех, в которых человеку естественно выражать свое мироощущение, и важно только знать, что выражается в данном символе. Чтобы понять употребление масла в таинстве миропомазания, необходимо вспомнить о символическом значении масла уже на заре человеческой культуры. Первое, с чем всегда ассоциировалось масло, – это свет и радость. До изобретения современных способов освещения масло было почти единственным источником света. Много масла – много света, много света – много радости. Масло, далее, было символом здоровья, потому что служило в древнем мире главным врачебным средством. Именно масло, согласно Евангелию, возлил на раны человека, избитого до полусмерти разбойниками, милосердный самарянин. Здоровье – это сила, и масло, таким образом, было символом силы. Но свет, радость, сила – это и духовные реальности, это веяние, присутствие Духа в мире. Как солнечный луч, ничего вроде бы не меняя, все на деле преображает, как радость разгоняет печаль, так Дух есть то, что открывает нам радость света, то, что, ничего

видимым образом не меняя, все преобразует свободой, красотой и силой. И потому помазание маслом издревле было символом дарования человеку особого рода свойств. Маслом помазывали царей, и они делались носителями силы и мудрости; маслом помазывали пророков и священников, и оно выступало здесь как символ освящения, преобразования, одухотворения.

Весь этот первобытно-универсальный символизм помазания последнее свое воплощение и завершение нашел в христианском таинстве миропомазания. В этом таинстве раскрывается наиболее глубокое и прекрасное учение о человеке: о том, что каждый человек получает свой особый дар, свое особое призвание, свой единственный и неповторимый образ. Крещение имеет дело с человеком вообще, как носителем человеческой природы. Все мы родились, все мы умрем, у всех у нас одинаковое тело, те же члены, все мы, как говорит богословие, единосущны друг другу. Миропомазание же относится к единственной и неповторимой личности человека. Это дар каждому быть самим собою, исполнить, осуществить себя, иными словами – это мое посвящение в меня самого.

Этой тайны личности не знает, не может знать материалистическое мировоззрение, идущее в своем объяснении человека всегда снизу, от материи, от тела. Но там, где человек понимается как единственная всякий раз встреча и соединение тела (т.е. материи, общей природы) с духом (т.е. с таинственным в своей единичности «я»), где человек всегда одновременно снизу и сверху, – там глубина и красота этого таинства не нуждается в объяснении, там она самоочевидна. Эти глаза будут видеть мир по-своему, т.е. неповторимо, эти уста будут произносить все те же слова, но по-своему, т.е. неповторимо, эти руки и ноги, этот ум – такие же, как у всех, будут служить проявлению единственной и неповторимой личности. В ней, в этой личности, весь мир будет увиден, пережит, воспринят, отвергнут, возделан заново единственным и неповторимым образом. И вот мы следим за помазующим действием священника, наносящего печать креста на этих глазах, на этом лбу, на этих руках, и духовным взором видим,

как всему этому дается завет, дар и сила не растратить, не погубить, но еще раз наполнить мир любовью, светом и радостью. Здесь, на наших глазах человек утверждается в его высоком духовном назначении, в его царственном достоинстве, в его божественном призвании.

Так вырисовываются в таинствах крещения и миропомазания основные контуры христианского восприятия человека. Да, все совершаемое здесь совершается в символическом действии, в обряде. Но обряд этот всякий раз оказывается явлением той высшей реальности, в которой христианство усматривает подлинную сущность человека. «Велий еси, Господи, и чудны дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих» – снова начало, снова первоизданная красота мира, снова Дух над водой, снова мощное «Да будет!». Как в вечно детском и вечно истинном рассказе Книги Бытия Бог сначала творит с любовью мир, а затем в день шестой вводит в него человека, которому мир этот дарует для жизни и творчества, для обладания и хвалы, так и ныне человек воздает Богу хвалу, принимает из рук Его мир и тот образ жизни, то высокое и чистое свое призвание, о котором в суете житейской все время забывает и которое в себе постоянно предает. И никакими словами и теориями полноты и красоты символы эти не заменить, как объяснение музыки никогда не заменит самой музыки. Смерть и жизнь, дух и тело, человек и космос – все здесь, в этих символах преображается и наполняется новым смыслом, новой силой.

И пока помнит и хранит в себе человек эти символы, мир никогда не будет до конца темным, злым и бессмысленным, и жизнь никогда не покорится до конца суете и материальным заботам, и сам он будет знать, хотя бы в сокровенной глубине своего существа, о горнем его призвании, о царственной его свободе, о духе в нем, который дышит, где хочет (Ин.3:8). Человек будет падать, будет ежечасно изменять им, но он будет знать, куда ему вернуться – к этому началу всего, к этой воде, в которой всегда все зло умирает и все доброе очищается и возрождается, к этой печати дара Святого Духа, которой запечатлены, освящены его тело и душа. Ибо в конечном итоге

все христианское учение о человеке и о мире состоит в том, что сами они суть таинства, видимое воплощение невидимого, Духа, Божественного бытия.

## Таинства. В свете других таинств

Несколько времени тому назад началось новое наступление на крещение детей. По новым правилам родители ребенка должны до крещения зарегистрироваться, т.е. фактически довести до сведения власти, что они крестят своего ребенка. Делается это с очевидной целью: прекратить широко практиковавшееся у нас тайное крещение. Десятилетиями детей приносили крестить бабушки или матери и таким образом ограждали отца от служебных и иных неприятностей. Теперь власть пытается положить этому конец. И несмотря на официальное, широко рекламируемое отделение Церкви от государства, несмотря на официальную «свободу культа», вмешивается в это совершенно частное дело, дело совести своих граждан, заведомо желая взять их страхом.

Невольно спрашиваешь себя: в каком веке мы живем? Какой смысл могут еще сохранять слова вроде «свободы культа», до какой черты может доходить грубое издевательство над людьми, да еще под предлогом заботы о них? На вопросы эти мы, конечно, не ждем ответа. Но вот что можно и нужно заметить: позор этой борьбы ложится на тех, кто ее ведет. И не только позор. Этими новыми мероприятиями власть расписывается, фактически, в полном провале более чем пятидесятилетней борьбы с религией. Тем самым раз и навсегда доказывается, что, кроме грубой силы, ничто против религии не действует, доказывается полная несостоятельность всех псевдонаучных теорий о том, что питает и поддерживает религию, которая будто бы должна «отмереть». Хорошее «отмирание», когда нужно мобилизовать полицию, представителей официальной науки, комсомольских вождей и тому подобных «специалистов», чтобы этому отмиранию помогать!

И вот оказывается, что за спиной у власти все продолжали детей своих крестить – и партийцы, и военные, и ученые, и рабочие, и колхозники. «Сила инерции, – скажут нам, – застарелые и живучие суеверия, влияние старух!» Допустим. Но

все это якобы слабое, жалкое и отжившее оказывается сильнее самого могущественного и передового государства, вооруженного к тому же самой универсальной, самой «научной» теорией, в которой заключена будто бы вся полнота истины. Нестранно ли, сколь живуч этот непонятный на первый взгляд обряд, но веками составлявший основу жизни всего нашего народа? «Что мы, разве не крещенные?» – говорил человек, когда нужно было помочь, пожалуй, сделав над собой доброе усилие. И это ясное чувство, что крещение обязывает человека к добру, побуждает сделать то, чего он, возможно, иначе бы не сделал, – чувство это веками не требовало никаких доказательств, было самоочевидным.

Поэтому не проще, не вернее ли вместо того, чтобы издавать правила, нарушающие самые элементарные права человека – права, гарантированные на словах даже самой антирелигиозной, по существу, конституцией, – не проще ли было бы серьезно вдуматься в смысл этого древнего неистребимого обычая и открыто его обсудить? Ведь одно из двух: либо обычай этот – и вправду бессмысленное суеверие, и тогда чем больше правды узнают о нем люди, тем скорее его отбросят, либо же он отвечает чему-то очень важному в человеческой природе, и тогда никакие правила его не уничтожат. Могу даже сообщить, что, по учению Церкви, совершать обряд крещения за неимением священника или невозможностью почему-либо к нему обратиться может всякий человек. Поэтому никакие правила, да и ничто внешнее, не способны уничтожить и пресечь то, что укоренено в глубине, в самых первоосновах человеческого существа, или, говоря языком веры, в его душе. Можно издать еще сотни законов – люди останутся крещеными по той простой причине, что с крещением связано для них нечто столь важное, существенное, непреложное, и притом столь исконное, что все плоские аргументы казенной антирелигиозной пропаганды, даже и усиленные законами, ничего против этого поделать не могут.

Крещение Церковь называет таинством. И этим же словом называются шесть других обрядов и священнодействий, которые от начала совершаются в Церкви, а именно:

миропомазание, т.е. помазание тела особо освященным веществом – миром, совершаемое немедленно после крещения; покаяние, т.е. исповедание грехов священнику; причащение, т.е. вкушение Тела и Крови Христовых под видом освященных хлеба и вина, далее брак, потом елеосвящение, или соборование, т.е. помазание больного маслом, и, наконец, священство, т.е. поставление в священный сан. И так как таинств Церкви несколько, уместно начать с некоторых общих о них замечаниях, т.е. с самого понятия таинства.

Быть может, самое простое его определение следующее: таинство есть символический акт. Слово «символ» происходит от греческого глагола «симвалло» (συμβάλλω), который означает «держу вместе», или «соединяю». Символ – это то, что соединяет внешнее, видимое, осязаемое с внутренним, невидимым, умозрительным. И не нужно быть непременно верующим или мистически настроенным, чтобы понимать: вся наша жизнь полна символов и без них была бы невозможна. Так, символичен, прежде всего, человеческий язык. Каждое слово – это внешний знак внутреннего смысла, каждое слово соединяет, содержит, т.е. удерживает вместе, то, что извне, и то, что изнутри. И без языкового символизма невозможно никакое общение между людьми, никакое человеческое творчество. Символична музыка, символично всякое искусство, но символична в каком-то простейшем смысле и вся жизнь: младший по званию отдает честь старшему, флаг символизирует родину и т.д. И чем была бы, повторяю, без символов наша жизнь, чем были бы без этого постоянного символизма наши отношения? И уже одно это доказывает, конечно, что превращать символы в принадлежность одной лишь религии неверно. Желая выразить все самое глубокое и заветное, человек прибегает к символам. Есть символы дружбы, любви, верности, семьи, работы – фактически всего, из чего составляется жизнь. Естественно поэтому, что и вера находит выражение в символах, и тогда определение таинства как видимого действия, выражающего нечто невидимое, или как внешнего знака духовной реальности, есть определение вполне законное.

Итак, таинство есть символическое действие, в котором вся Церковь и всякий верующий естественно выражают то, что им даровано их верой. Поскольку сама вера даруется, верующий воспринимает ее и все с ней связанное как важнейший дар. В таинстве же подается благодать, а слово «благодать» (по-гречески «харис», χάρις) как раз и означает «дар» – то, что получают даром. На основе такого общего определения мы попытаемся в следующих беседах сделать попытку объяснить, в чем состоит благодать, или дар, каждого из таинств и почему человек не хочет и не может отказаться от этого дара, несмотря на все запреты, издевательства и «разоблачения».



## Часть IV

## Откуда берется вера. Только в Боге

Сущность всякой религии только в Боге – вот что нужно понять всем, кто участвует в давно уже длящемся споре о религии. Все остальное в ней второстепенно. В определенном смысле можно согласиться и со знаменитой формулой Маркса: «Религия – опиум для народа»; с другой стороны, можно при желании без труда доказать социальную и политическую пользу религии. И оба ряда доказательств будут основываться на фактах. И все же по-настоящему религия начинается там, где человек перестает думать о вреде и пользе, отвлекается, так сказать, от себя и возвышается над миром собственного, всегда маленького, неизбежно ограниченного «я».

«Бог» – одно из человеческих слов. Его пишут, произносят, переводят на разные языки, анализируют с филологической точки зрения. Но слово это выросло в человеческом языке, чтобы обозначить то, что стоит за всеми другими словами, что в слова до конца не вмещается, что взрывает изнутри их узко грамматический или узко социальный смысл, выводя человека из пленения земным.

Ложь борцов с религией, как и ошибка ее защитников, в том, что и первые, и вторые часто говорят о ней безотносительно к тому, в чем только и заключается ее смысл. А смысл ее – именно в этом переживании, в этом опыте Бога и Божественного, в этом прорыве за и ввысь. Без этого все разговоры о религии бессмысленны, как изучение нотных значков без всякого представления о звуках, которым они соответствуют. Но что бы ни говорили, как бы ни спорили о религии в социально-общественном или даже научно-философском плане, ясно одно: не было эпохи, не было культуры, в которых человек не ощущал, не переживал таинственное присутствие Того, Кто на человеческом языке называется Богом. Никакие открытия, никакие полеты в космос не могут ни отменить, ни развенчать этот таинственный опыт, как не отменяют, как не развенчивают они, скажем, опыт любви. Наука может очень многое открыть о любви, но никогда не

скажет ничего о самой ее сущности, о чуде нашего преображения, когда мы любим. И так же ничего никогда не скажет никакая наука о чуде веры. Ибо что означают утверждения: «есть Бог», «нет Бога»? Ведь Бог – не один из предметов, про которые можно сказать, что они либо существуют, либо нет.

Бог – это опыт того запредельного, что дает новую глубину, новый, преображающий смысл всем нашим словам и представлениям, но не укладывается в них.

Еще древнехристианские мыслители говорили про «отрицательное богословие», то есть про такое учение о Боге, в котором вернее всего – опыт, а присутствие Божие выражается в отрицании: «Бог – не то и не это, но мы знаем, что Он есть». Мы знаем также, что на протяжении всей мировой истории загорались души такой радостью и таким светом, что не хватало слов выразить их. Мы знаем, что в звуках, красках, словах человек вечно пытался эту радость и этот свет выразить и никакие силы в мире не смогли этот опыт уничтожить.

Тут, и только тут – главная тема религии.

## Откуда берется вера. Незъяснимая реальность

Мы говорили до сих пор о вере как знании, сравнивая это знание с естественнонаучным и рационально-математическим, основанным на внешнем, физическом наблюдении явлений природы и измерении. И пришли к выводу, что понятие знания нельзя свести к этому типу, так же как понятие опыта, на котором неизбежно основано всякое знание, невозможно свести к одному только лабораторному эксперименту. Есть по меньшей мере два знания и два соответствующих им опыта. Один опыт – внешний, другой – внутренний, или духовный. Отрицать наличие этого второго опыта невозможно: о нем свидетельствует, на него указывает согласие бесчисленного множества людей самого разного происхождения, образования и культурного уровня. Таким образом, этот опыт совершенно реален.

Слово «Бог» для миллионов людей означает не только отвлеченное понятие, но и некую самоочевидность, непосредственно входящую в их жизнь. Отрицать это может только слепой – кто никогда не был в церкви, не наблюдал пасхальной радости, не вникал в смысл религиозного искусства. Повторяю: все это само по себе может еще и не быть неопровержимым доказательством бытия Божия, но несомненно доказывает реальность религиозного опыта, его присутствие во все времена человеческой истории. Но теперь возникает вопрос: можно ли этот опыт описать и проанализировать, передать тому, кто его не имеет? Иными словами, можно ли его представить столь же объективно, как другой, естественнонаучно-математический опыт, сводящийся к формуле «дважды два – четыре», – опыт, для приобретения и осмысления которого не требуется, в сущности, ничего, кроме способности логически мыслить?

Мы знаем уже, что антирелигиозная пропаганда всю свою аргументацию строит именно на этой невозможности свести веру к знанию рассудочному, то есть всецело построенному на доказательствах, а потому и объявляет веру обманом и

иллюзией. Выходит так: чего нельзя доказать, того нет. Но тут-то антирелигиозная пропаганда и приходит к собственному развенчанию, упирается в самоочевидный абсурд. Ибо на свете существуют тысячи явлений, которых нельзя доказать, но которые – можно показать, явить, раскрыть. Можно доказать существование поэзии, но то, что составляет суть поэзии, доказать нельзя никакими способами. Почему строчка Лермонтова, состоящая из простых, общеупотребительных слов: «По небу полуночи ангел летел», – почему эта строчка всякого, кто не окончательно глух и слеп, ударяет прямо в сердце и сразу переводит в какое-то другое измерение бытия?

Ответить на вопрос научно, рассудочно невозможно. На него можно ответить только парадоксом: «Если нужно объяснять, то объяснять не нужно». И это значит, что человек либо слышит, и тогда не нужно объяснений, либо не слышит, и тогда никакие объяснения не помогут. «Перед произведением искусства, – говорил Шопенгауэр, – нужно остановиться, снять шляпу и ждать, чтобы оно само с вами заговорило». Так вот, то же происходит и с религиозным опытом. Объяснить его до конца, и тем более рассудочно-аналитическим путем, никому никогда еще не удавалось и, по всей вероятности, не удастся. Но достаточно взглянуть в икону Андрея Рублева «Троица» или в икону Божией Матери Владимирской, вслушаться в то, о чем безмолвно говорят, на что указывают, что являют собою эти краски и эти линии, чтобы приоткрылось нечто в самой сущности религиозного опыта. Вот он, вечный золотой полдень, и на его фоне – три тончайших образа, и соединяющая их Чаша на столе, и благословение этой Чаши. Посмотрите, как едва заметно обращены друг к другу, связаны в один невидимый, но так явственно ощутимый круг эти Трое. И почти сразу, без раздумий становится ясно: здесь изображено то, о чем говорит Евангелие: полнота жизни в любви, светлое единство мира и все заливающая, во всем просвечивающая небесная красота.

А лик Божией Матери на Владимирской иконе! Эта высокая скорбь, эта потрясающая чистота, простота и глубина... Такое мог написать лишь тот, кому открылось нечто в самых недрах его сокровенного опыта. Да, Библию можно изучать с

филологической, исторической, археологической – с любой точки зрения. Но можно и просто раскрыть ее и в который раз изумиться одному-единственному стиху псалма: «Жаждет душа моя Бога Живого» (ср.: Пс.41:3). Все это, как и многое-многое другое, есть религиозный опыт – удивление, потрясение, а потом радостное приятие в себя света, подобного которому нет в мире, света, внезапно все освещающего, все собою наполняющего. В этом свете, в этом опыте – все христианство, и неверующему можно только показать его ответ: в «Троице» Рублева, в лике Владимирской Божией Матери, в негромком напеве вечерней молитвы «Свете тихий»<sup>327</sup>.

Христианство учит, что вера начинается с Божественного откровения, с того, что Бог Сам открывает Себя людям. И безбожники издеваются над этим утверждением, высмеивают Священное Писание, указывают в нем сотни «противоречий» и сводят это христианское учение об откровении к вере в какого-то надмирного оракула, вещающего о непонятном. Но по существу, это христианское учение говорит то же, что и неверующий философ Шопенгауэр: искусство открывается не в объяснении и не в анализе, а в живом опыте красоты<sup>328</sup>. Вот и Бог открывается не столько в человеческих словах Библии, сколько в том свете, который светит через эти слова, наполняя их собою и делая больше чем словами. «Жаждет душа моя Бога Живого» – жаждет не внешнего смысла, не анализа и определений, а встречи с живой реальностью! И потому, в сущности, антирелигиозная пропаганда есть не только страшная ложь, но и пустая трата времени. Эта пропаганда всегда говорит не то и не о том. Она никогда не сможет ничего сказать о «Троице» Рублева и о небесном лике Владимирской Богоматери. А главное, она не может утолить жажды, которую знает каждый человек, – жажды такого знания, такого общения, такой встречи, про которые так просто и хорошо рассказано в Евангелии. Когда ученики после долгого восхождения на гору Фавор увидели Христа преображенным и светлым, один из них сказал: «Господи! хорошо нам здесь быть!» (Мф.17:4). Это религиозный опыт, и против него бессильно все.

## Откуда берется вера. Незаслуженный дар

Я думаю, для христианина нет ничего труднее, чем говорить о Христе. Можно знать наизусть Евангелие, можно годами изучать все, что сказали и написали о нем ученые-богословы и философы, можно всю жизнь прожить в Церкви, Им, Христом основанной и Ему ежедневно молящейся, и все-таки испытывать невероятное затруднение, когда тебе в лоб обращен вопрос: почему ты веришь во Христа? В чем заключается эта вера и что дает она тебе?

Все знают, как бесконечно трудно говорить о самом заветном и сокровенном. Туг действительно на память приходит строчка Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь»<sup>329</sup>. И быть может, все, что оказалось в нашей жизни решающим, все, чем она на глубине своей определялась, остается до конца невысказанным. Так и Христос для верующих в Него и этой верой хоть отчасти живущих не есть, как правило, объект отвлеченной мысли и анализа, как предметы внешнего мира. Ибо размышлять о Нем, и не столько о Нем, сколько о нашей вере в Него, мы начинаем, лишь сталкиваясь с отрицанием этой веры, с попытками «развенчать» Христа, или, попросту, со всем, что Ему враждебно. Тогда мы стараемся привести в какую-то систему и выразить в общезначимых словах то, что само по себе в этом, по существу, не нуждалось. Именно так возникли христианские догматы, вероопределения и т.п. – все то, что составляет предмет богословия. Но совершенно очевидно, что человеку, который еще не уверовал, еще не принял Христа в свое сердце, все утверждения и определения Церкви о Нем ничего не скажут. Как с их помощью убедить неверующего в том, что Христос – совершенный Бог и совершенный Человек, что Он Сын Божий, ставший Человеком, по слову церковного Символа веры, «нас ради... и нашего ради спасения»? Очевидно, что эти утверждения и определения, имеющие такой огромный и поистине решающий смысл для верующего, только потому так и важны, что выражают нечто уже ставшее очевидным, то есть

саму веру; что они символичны и, как всякий символ, понятны и нужны тем, кто знает, символом чего они являются.

Но тогда остается вопрос: как же все-таки поведать о своей вере, чтобы другому возможно было если не понять, то хотя бы ощутить, в чем она? И остается, очевидно, только один путь: рассказать, насколько возможно, о собственном опыте этой веры – о том, как входит Христос в душу и как овладевает ею. Вот мы, говоря о религии и рассуждая о ней, всегда противопоставляем верующих неверующим. Но ведь мало кто из верующих имеет нравственное право сказать о себе, что он верующий всегда, что он все время живет своей верой. И потому нет, в сущности, слишком большой разницы между теми, кто, как я, например, родились и всю жизнь прожили в Церкви, и теми, кто в какой-то момент своей жизни обратились к вере от неверия. Нет разницы потому, что даже истово верующий человек вновь и вновь обращается к вере, ибо время от времени не то что теряет веру, но как бы перестает ею жить, выпадает из нее.

И вот, может быть, самое лучшее – внутренним взором, духовной памятью проследить все эти наши обращения, этот всегда новый опыт встречи с Христом, ибо в нем всякий раз что-то происходит с самой верой. Принято говорить, что вера в этом опыте углубляется. А может быть, лучше сказать, что она упрощается, хоть на малую долю приближаясь к той детской вере, про которую Сам Христос говорит: «Если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него» (ср.: [Мк.10:15](#)). Для многих, но, увы, далеко не для всех, особенно в наше страшное время открытого восстания на веру, опыт ее связан прежде всего с детством. Безбожники знают, что делают, стараясь именно детей, именно детство лишить веры и религиозного опыта. Об этом недавно писал А.И.Солженицын: «...Мы должны отдать детей беззащитными, не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой примитивной и недобросовестной»<sup>330</sup>. Ибо для того, кто имел этот детский опыт веры, он навсегда остается опытом рая, в который нужно вернуться, который нужно воскресить, восстановить в себе. И вера здесь – совсем не знание, не мысль, не рефлексия. И нет



еще здесь никакой личной, осознанной встречи с Христом, но есть все, без чего, пожалуй, и встреча, и обращение – уже личное, т.е. всего моего сердца, ума и сознания ко Христу, – остается неполным. Есть то, что Достоевский называл касанием, «прикосновением души мирам иным», есть чистая радость, чувство светлой тайны, пронизывающей всю жизнь, весь мир, есть безотчетное, но несомненное убеждение, что все в этой жизни, в этом мире – таинственный, радостный, чудесный дар. И всякая вера, всякое обращение всегда начинаются с этого детского ощущения дара, как если бы не я приходил к вере, а она приходила ко мне, как дар, ничем не заслуженный. И об этом слова Христа: «Будьте как дети» (ср.: Мф.18:3).

## Откуда берется вера. Отечество «чужих»

Недавно в Англии вышла книга очень известного английского журналиста Малькольма Мэггериджа. Он давно уже прославился своими статьями сначала в знаменитейшей английской газете «Manchester guardian», потом в «Dailytelegraph» и наконец как многолетний редактор прославившегося на весь мир сатирического журнала «Punch». Книга эта наделала много шума, вызвала почти скандал, ибо вся она посвящена одной теме: обращению в христианство уже престарелого, известного своим ироническим скептицизмом журналиста. Книга так и называется: «Иисус снова найден»<sup>331</sup>.

Мэггеридж родился и вырос в семье, где процветал культ утопического социализма. Его отец был влиятельным членом рабочей партии, и Малькольм еще мальчиком участвовал в предвыборных кампаниях, раздавал тракты<sup>332</sup> и как в Бога верил в грядущий социалистический рай на земле. Никакого особого религиозного образования он не получил, хотя не было в семье и враждебного отношения к Христу, Которого воспринимали там, по словам самого Мэггериджа, как «прототип доброго, человеколюбивого социалиста». Ничего божественного за этим образом не признавалось, родители исповедовали спокойный агностицизм, и в этом агностицизме сам Мэггеридж прожил долгую и вполне благополучную жизнь, близкий к власти и крупнейшим мировым событиям, преуспевающий и знаменитый. Как многие люди его поколения, он увлекался всем левым, всеми утопиями земного рая, с надеждой и любовью взирал из Англии на Мекку коммунизма – красную Москву. И вот русскому слушателю небезынтересно будет узнать, что именно в Советском Союзе, куда привлекла его вера в коммунизм, Мэггеридж заново обрел веру в Христа и в этой вере – счастье, удивительным светом пронизывающее всю его книгу.

Но сначала произошло крушение первой веры – в утопический земной рай. Он приехал в Советский Союз, желая стать верующим коммунистом, а уехал оттуда верующим

христианином. «Это произошло, – пишет Мэггеридж, – на пасхальной службе в Киеве, в дни, когда полного разгара достиг страшный голод, вызванный коллективизацией, а Бернард Шоу и другие наивные журналисты Запада повествовали всему миру о переполненных амбарах и краснощеких доярках Украины<sup>333</sup>. Что это была за церковь, где люди сгрудились, как сардинки в банке! Притиснутый к каменной колонне, я едва мог вздохнуть. Вокруг множество лиц, серых от голода, но одинаково светящихся, точно на картине Эль Греко<sup>334</sup>. И как они поют, Боже мой, как они поют! Поют о том, что нет иной помощи, кроме Тебя, что не к кому, кроме Тебя, обратиться, что нет иного утешения, как только в Тебе». «Мне кажется, – продолжает Мэггеридж, – что там, в этой церкви, я смог почти прикоснуться к Тебе. Нестранно ли, что наибольшую близость к Тебе я ощутил в стране, где христианская религия... грубо задавлена, где Евангелие запрещено, где Тебя поносят все печатные органы всемогущего государства, так же как некогда поносили Тебя Твои распинатели – римские солдаты. Но если вдуматься, все это перестает быть странным. Ибо ненависть власть имущих много лучше их объятий, и там, где граница между Божиим и кесаревым столь очевидна для всех, кроме безумцев, ясно, что соглашение между обоими мирами невозможно. В коммунистических странах непроходимая пропасть отделяет Царство Твое и царство земное, некогда предложенное дьяволом Тебе и Тобою отвергнутое. Тут, только тут имеются идеальные условия для нового расцвета христианской веры. И потому я смотрю на Восток, не на Запад, с Востока жду новой вифлеемской звезды». «Кто же Ты для меня?» – вопрошает он далее Христа. И сам же отвечает: «Живое присутствие в мире Того, Кто из всей многомиллиардной человеческой семьи один пришел непосредственно от Бога и к Нему непосредственно вернулся, оставшись при этом навсегда с нами. Все в мире подвластно времени, в Тебе одном – вечность. На пересечении времени и вечности Ты всегда встречаешь нас с напоминанием, что, живя, мы умираем, а умирая, живем. Воистину Ты свет миру. Со света начался мир величественным Божиим повелением: Да будет свет! (Быт.1:3), и Ты вошел как свет в

последние тайники человеческой боли – туда, где царствует наше “я”, владеющее нашими темными страстями. И завидев этот другой свет – свет любви, уничтожающий тьму ненависти, свет мира, уничтожающий тьму вражды и хаоса, свет творчества, уничтожающий тьму разрушения, – я обращаюсь к нему, как растение обращается к солнцу. В истории преобладает тьма, которая готова покрыть нас и наш мир, но Ты преодолел, победил историю, Ты пришел как свет в мир, дабы никто, верующий в Тебя, не остался во тьме, и Твой свет во тьме светит, и тьма его не объяла (Ин.1:5) и не объемлет никогда».

И в свете этой заново обретенной, такой живой и такой радостной веры в Христа Мэгтеридж вдруг вспоминает о том, что исподволь, тайно вело его к ней: о странном чувстве, не оставлявшем его всю жизнь с самого детства – чувстве, что он на этой земле пришлец и чужой. «Чувство это, – пишет он, – я никогда до конца не терял, как бы ни был поглощен жизнью. Для меня всегда оставалось – и это я считаю величайшим даром – некое окно, в котором не умирал до конца свет. Я убежден поэтому, что единственная по-настоящему непоправимая катастрофа для нас в том, чтобы чувствовать себя здесь, на этой земле, до конца и без остатка дома. Пока мы хоть чуть-чуть сознаем себя чужими, мы не можем забыть наше подлинное Отечество – то Царство, что провозгласил Христос».

## Откуда берется вера. Из света и радости

«Никакие аргументы – логические, исторические, психологические, философские, – не могут *доказать* (здесь и далее курсив Н. Арсеньева. – ред.) душе Бога, а только, в лучшем случае, предрасположить ее к вере или содействовать укреплению веры. Бог нами, нашими аргументами *недоказуем*»<sup>335</sup>.

Так пишет в своей недавно вышедшей за рубежом книге профессор Николай Сергеевич Арсеньев. Называется она «О жизни преизбыточествующей» и посвящена тому, с чего, по существу, всегда нужно начинать всякий разговор о вере, – религиозному опыту. Ибо «есть один путь, – продолжает Арсеньев, – одно решающее, единственно веское, убедительное доказательство Бога: когда Бог Сам Себя доказывает душе, когда Он встречается с душой и касается ее... Встреча Бога и души – вот стержень и смысл религиозного опыта»<sup>336</sup>.

Неверующий, позитивист<sup>337</sup> или просто «здравомыслящий» человек улыбнется: «Какая путаница! Мы не знаем, есть ли Бог, и сами вы не можете доказать Его существования, но тут же говорите о встрече Бога с душой». Да, пожалуй, нелогично. Но нелогично совершенно в ту же меру, в какую нелогична, например, любовь, пока не ударит она в наше сердце, пока не станут для нас вот это лицо, эти глаза, эти руки единственными, ни с чем не сравнимыми – всей жизнью, всей радостью, всей тоской. До этого можно много, долго и умно говорить о любви, но все эти разговоры и останутся словами. Реален ли в мире и жизни религиозный опыт – вот основной вопрос. Антирелигиозная пропаганда (и это, конечно, не случайно) не отвечает на него и предпочитает вести бой на поле «научных доказательств», развенчания христианских догматов или, еще проще, отрицания за религией ее универсальности.

Правда, и на этом поле она частенько терпит поражения. То окажется вдруг, что какой-нибудь крупный ученый тайно, а то и явно верует в Бога и даже служит диаконом, как это случилось

несколько лет назад в Ленинграде. То придется признать (как совсем недавно журналу «Наука и религия»), что отрицать историческое существование Христа, после того как отрицание это сорок лет выдавалось за давно доказанную «научную истину», далее невозможно<sup>338</sup>. То, наконец, на съезде пропагандистов откроется, что в религию и Церковь идут девушки и юноши, сдавшие на «отлично» экзамены по диалектическому материализму. Но все это – тактические неудачи. Что же касается религиозного опыта, то его-то больше всего и боится антирелигиозная пропаганда, ибо, согласно выработанным ею принципам, трудно спорить с человеком, который говорит, что видел, слышал, знает, и все это с такой уверенностью, с такой радостью, против которых не устоят никакие слова. Если же это не один человек, а тысячи, миллионы, в том числе бедные и богатые, образованные и малограмотные, больные и здоровые, – тогда опыт этот нужно принять во внимание, тогда от него нельзя просто отмахнуться как от единичного и потому незначительного явления, а нужно как-то его объяснить. Но чем? Психозом, истерией, избытком воображения, нервной неуравновешенностью? Но как подвести под это Паскаля и Серафима Саровского, Франциска Ассизского и Владимира Соловьева, Достоевского и в особенности такого уравновешенного, такого жизнелюбивого и «земного» Пушкина?

Итак, этот религиозный опыт имеет центральное значение в религии как ее самосвидетельство, как ее лицо. Но прежде чем делать отсюда первые выводы, хорошо хотя бы вслушаться, взглядеться в него, почувствовать, в чем его суть. И один из самых общих видов этого опыта – религиозное восприятие природы. Вот перед нами живший в XVII веке брат Лаврентий Воскресный (le frère Laurent de la Resurrection)<sup>339</sup>, выходец из французских крестьян, который стал впоследствии великим учителем духовной жизни. Смолodu он ничем особым не выделялся – ни умом, ни талантами, и казалось, что ему доступна одна черная работа. Раз вышел Лаврентий на дорогу, увидел обнажившееся дерево (дело было в ноябре), и вдруг представилось ему, что весною заново покроется оно листьями и цветом и соки распространятся по всем его ветвям. Внезапное

откровение о величии и всемогуществе Божиим потрясло юношу. С этой минуты он стал человеком большой духовной глубины, пылавшим любовью к Богу и людям. Бог, как мы видим, открылся ему в голом дереве.

А вот другое свидетельство – рукопись № 9202, до сих пор хранящаяся в парижской Национальной библиотеке и содержащая, казалось бы, бессвязные слова. Эту бумажку нашли вшитой в одежду Паскаля, величайшего французского философа и математика XVII века, после его смерти. На ней дрожащей рукой написано: «Огонь», и дальше: «Понедельник, 23 ноября, приблизительно с половины одиннадцатого вечера до половины первого ночи: огонь, огонь, слезы радости»<sup>340</sup>. И сколько их, свидетельств об этом опыте как об опыте именно огня! «О, блистание огня!» – пишет величайший испанский мистик Иоанн Креста<sup>341</sup> о том, что испытал сам. И сколько раз в самом Новом Завете повторяется: мы видели, мы слышали, мы осязали и мы свидетельствуем о том, что знаем (ср.: Ин.1:14, 21:24; 1Ин.1:1–3).

И главное, конечно, то, что в этом религиозном опыте – а о нем собран теперь колоссальный материал, относящийся ко всем временам и цивилизациям, – нет ничего болезненного, никакой подавленности и страха. Всюду и везде, в Индии и Древней Греции, в Ветхом Завете и христианстве он выражен почти теми же словами: огонь и свет, радость и тишина, счастье и слава. «Счастье того, кто через глубокое созерцание омыл свой дух от всякой нечистоты... не может быть описано никакими словами: это нужно самому испытать в глубине сердца». Это из индийского религиозного трактата «Упанишады»<sup>342</sup>. А вот греческий текст: «Я вышел из круга тяжелого и горестного, достиг желанного венца... блаженнейший и счастливейший»<sup>343</sup>. И Ветхий Завет: «Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (ср.: Пс.18:2). И наконец, Новый Завет: «О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели, что мы рассматривали нашими глазами, что руки наши осязали, – о Слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и теперь открылась нам»

(ср.: 1Ин.1:1–2). Подобные примеры можно умножить до бесконечности, и на их основании, я думаю, нельзя уже оспаривать, что в опыте, который мы называем религиозным, нет тех признаков, какие стремится отыскать в религии антирелигиозная пропаганда. Этот опыт – в первую очередь положительный, светлый и радостный.

Тогда возникает следующий вопрос: в чем же его конкретное содержание? Можно ли в нем найти некую логику? Или, еще лучше: о чем он свидетельствует?



## **Попытка осмыслить. Исповедание, вызов, напоминание**

«Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым».

Нет дня – да нет, конечно, и часа – когда не произносят эти слова в мире на множестве языков, вслух или про себя, в уме; нет дня, нет часа, нет минуты, когда не исповедует человек свою веру в Бога, свое твердое убеждение, что Бог есть, что Он Отец, Вседержитель и Творец. Мы, верующие, так привыкли с первых дней детства к этому исповеданию, к этому, как мы называем его, Символу веры, что редко задумываемся над его содержанием. А между тем пришла пора задуматься. Почему? Да потому, что мы живем в мире, где составляем меньшинство, – в культурах, цивилизациях, системах мысли, которые открыто или прикровенно заявляют о своем богоотступничестве, не хотят никакого Бога и утверждают, что без Него можно обойтись; потому, что в этом неверии, в этом богоотступничестве воспитываются миллионы людей; потому, что в мире идет грандиозная война против Бога, и цель ее – вытравить веру, вытравить из человеческого сердца саму память о Боге. Первый раз в истории человечества принято решение построить мир без Бога, больше того – на основе открытого и активного Его отрицания. Такого еще никогда не бывало. Бывало, и часто, что вера оказывалась слабой, поверхностной и номинальной; бывало, и часто, что люди не вдумывались, не углублялись в нее, но все же и по отдельности, и, главное, все вместе так или иначе относили себя к высшему бытию, отдавали себя под его защиту и покров, в нем искали и вдохновение, и цель своей жизни, его признавали мерой всех своих мыслей и поступков. Были, конечно, всегда и неверующие, и сомневающиеся, но не случалось никогда, чтобы человеческое общество в целом отвергло Бога и начало утверждать самодостаточность, самообъяснимость и самостоятельность мира. А если так, то слово «верую», ключевое наше утверждение и основа всего остального в нас, перестает быть выражением общего

убеждения и превращается в вызов миру, в вызов меньшинства большинству. Да, мы открыто заявляем: мы те, кому никакая наука не доказала, что Бога нет; мы те, кто всеми фибрами своего сознания убежден, что отречение от Бога несет миру страшные страдания, хаос, кровь и ненависть; мы те, кто верит, что без Бога нет ни закона, ни общества, ни подлинной человеческой жизни, что мир и жизнь без Него становятся адом. И именно потому мы больше не можем, не имеем права верить только для себя, рассматривать свою веру как частное дело, до которого никому дела нет, но которому тоже нет дела до чего бы то ни было в мире.

В неверии, в богоотступничестве мы видим не личную драму, а страшную трагедию мира, как если бы в семафорах на железной дороге произошла ошибка и паровоз понесся по ложным путям навстречу неминуемой гибели. Пассажиры в удобных вагонах беспечно беседуют и смеются, их увлекает эта быстрая езда, эта мощь движения, эта победа над временем и пространством, они уверены, что скоро, очень скоро прибудут в прекрасный город. Одного не знают они, как, может быть, не знает и сам машинист паровоза, – что где-то произошла страшная ошибка, не так переведена была стрелка, и что движутся они по неверному пути к страшной гибели. Внешне ничего не переменилось: то же дух захватывающее ровное движение, те же поля и леса и просторы за окнами, те же удобные и красивые вагоны... Но вот еще несколько часов, несколько минут – и все сменится воплями ужаса, страшными мучениями, кровью и смертью. Но может быть, кто-то знает об этой ошибке? Может быть, он бросится к машинисту и объяснит, что произошло, уговорит, убедит его, и катастрофа будет предотвращена? А ведь именно такова в сегодняшнем мире миссия верующего. Было время, когда он действительно мог думать и заботиться о спасении только своей души, но сейчас настало время подумать о душах братьев. Вера снова должна стать исповеданием, вызовом, напоминанием.

Настало время, когда верующий не может, не должен мириться с тем, как отрываются от Бога одна за другой все стороны человеческой жизни. Ибо и Сам Учитель наш сказал: На

суд пришел Я в мир сей (Ин.9:39) и нам не оставил иного завета, чем быть свидетелями Его учения в мире: Вы же свидетели сему (Лк.24:48), и потому Идите повсему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк.16:15). И вот оказывается, что уже недостаточно просто сказать «верую», ибо в мире все больше и больше людей, которые готовы спросить: «Ты веруешь? Но почему? Но во что? Но как?»; в мире все больше и больше людей, чувствующих, пусть неясно и подсознательно, какое-то нарастающее неблагополучие и обеспокоенных всеобщим движением к пропасти. А это значит, что мы должны прежде всего сами продумать свою веру и попытаться хотя бы частично обозначить то, что стоит за этим нашим «верую». Между тем именно так и возник тот Символ веры, ныне приносимый за ежедневным богослужением и ставший неперменным элементом нашего религиозного воспитания, нашей религиозной жизни. Будучи сперва очень кратким, всего в несколько строк, Символ этот, по мере того как христианское вероучение сталкивалось с недоумениями, вопрошаниями и возражениями, пополнялся все новыми утверждениями, выражавшими глубинный опыт веры.

Попытаемся и мы поступить так же, дав другим увидеть и почувствовать, что стоит за каждым словом и утверждением «верую», наполняет его смыслом и глубиной, делает выражением живого опыта. «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца». Как это кратко и как это полно! Быть может, ни к чему так не готов современный человек, как к тому, чтобы услышать, что же скрывается за этими древними, но и вечно новыми словами. К ним, к посильному их объяснению мы и перейдем в следующей нашей беседе.

## Попытка осмыслить. Уверенность в невидимом

Христианский Символ веры, то есть краткое перечисление всего, во что мы верим, начинается со слова «верую». Что значит для меня сказать: «Я верую»? Что значит сказать это не раз навсегда, а повторять постоянно, в одиночестве или вместе с другими верующими? Короче говоря, что это значит – веровать?

С одной стороны (и тут безбожники правы), никакой веры как будто и не нужно, когда есть знание: я знаю, что дважды два – четыре, знаю, сколько мне лет и т. д. Значит ли это, что вера начинается там, где кончается или становится невозможно знание? Но тогда не правы ли опять враги веры, утверждая, что по мере расширения знания сужается область веры и рано или поздно наступит время, когда знание покроет собою все и не оставит места для веры? Да, конечно, это так, если только под верой и знанием разумеать две функции нашего сознания, направленные на одно и то же – на тот же объект, но с разными степенями достоверности и возможности проверки. Так, например, я знаю, что Наполеон взял Москву в двенадцатом году, но я верю, что загадка раковых заболеваний будет когда-нибудь разрешена. Тут на первый взгляд вопрос только в степени достоверности, так что когда загадка рака будет наконец разгадана, никакая вера как знание – но знание, так сказать, условное и проблематичное – уже не понадобится. Однако более глубокое, религиозное значение слова «верую», как и само понятие веры, – совсем другое.

Здесь следует вспомнить то место в Евангелии, где о Христе сказано, что Он не мог совершить чудес из-за неверия людей (см.: [Мф.13:58](#)). Ведь мы-то привыкли думать, что чудеса для того и нужны верующим, чтобы подтвердить веру и, таким образом, превращать ее в знание. Но вот, оказывается, Христос творил чудеса не с тем, чтобы в Него поверили, а потому, что в Него верили, или, иными словам, не вера была от чудес, а чудеса от веры. Вера, следовательно, не есть знание в том смысле, в каком мы обычно употребляем это слово, и не

предполагает замены ее знанием. Вера – нечто иное. Что же? Может быть, издалека, приблизительно, пробно можно определить ее как такое знание, которое невозможно подвергнуть «объективной» проверке.

Да, действительно, всякое знание – это всегда и прежде всего то, что можно не только провозгласить, но и доказать, а главное – проверить. Всякое знание проверкой или хотя бы возможностью проверки только и держится; всякое знание по природе своей должно быть одинаково убедительно, одинаково объективно для всех и каждого. Это касается и формулы «дважды два – четыре», и любого факта, относящегося к внешнему знанию. Но вот я говорю: «Я верую, что Человек Иисус есть Бог. Я верую, что высшая доступная человеку радость – это участвовать в таинственном священнодействии, в котором мы едим хлеб, пьем вино и верим, что приобщаемся Телу и Крови Христа, Бога и Человека». И наконец, я говорю: «Я верую, что есть Бог». Эта моя вера есть для меня, несомненно, и знание, и притом знание опытное: у меня есть опыт молитвы Христу, опыт радости от общения с Ним, да и, попросту говоря, опыт любви, который был бы невозможен при отсутствии Любимого.

Но в том-то и дело, что знание это, для меня несомненное и опытное, все то, что я вкладываю в торжественное мое «верую», я не могу доказать так, как «дважды два – четыре» или всякую другую научную истину. Итак, если бы вера не была моим, хотя бы только моим знанием, она была бы пустой выдумкой, и тогда зачем же я, в сущности, жил бы ею? А ведь миллионы и миллионы людей всех времен, всех стран жили и живут верой, и уж никак нельзя сказать, что все они неучи, не достигшие подлинного знания. Но с другой стороны, если бы моя вера была знанием, подобным научному, т.е. знанием проверенным и проверяемым, зачем бы я тогда называл это «верой» и как отличал бы ее от обычного человеческого знания?

Ошибка, страшная ошибка всех современных споров о религии в том, что каждой стороне – и верующей, и неверующей – очень хотелось бы решить этот спор окончательным и бесспорным доказательством. Неверующие все твердят, что они

уже, собственно, доказали ложность веры, но это доказательство все равно не убеждает верующих, которые по-прежнему ищут каких-то «вещественных доказательств» своей веры и думают доказать неверующим ее правильность чудесами и всяческим «сверхъестественным».

В сущности, это жалкий спор, не имеющий ни малейшего шанса благополучно разрешиться в ту или другую сторону. Вера, скажу я, есть знание того и о том, что иначе как верой узнать нельзя. Как слух не заменяет зрения, а зрение не заменяет осязания, так знание рассудочное и поддающееся проверке не заменяет веры, а вера, как знание внутреннее и опытное, не заменяет знания внешнего. И единственное, что действительно доказывает вера, – это наличие, реальность объекта, не подлежащего знанию внешнему. Вера же, – пишет апостол Павел, – есть ... уверенность в невидимом (Евр.11:1). Вот! Увидеть невидимое, услышать неслышимое, ощутить неоощутимое... По простой человеческой логике, лежащей в основе внешнего и рассудочного знания, это просто абсурд. Но для верующего это опыт и знание, уверенность в невидимом.

Поэтому-то вера и не рождается, и не возникает никогда из рассуждений и доказательств, из логики и логических выкладок, но только из встречи. Так, я могу многое слышать о человеке и многое знать о нем, но это еще не прямой опыт этого человека. И вот я встречаюсь с ним, и мне уже не нужно знать о нем, ибо я знаю его. Так и в вере: мы можем только свидетельствовать, что эта встреча была в нашей жизни, что мы приобрели вот эту «уверенность в невидимом». Когда и как произошла, совершилась эта встреча? Все, что я скажу о ней, покажется, наверное, неубедительным тем, кто этой встречи не имел. Я ничего не могу ни доказать, ни проверить, но я могу и должен сказать: «Верую». И рядом со мной другой, и третий, и четвертый человек тоже говорят: «Верую», и мы почти без слов понимаем друг друга, и оказывается, что это та же встреча, тот же неизъяснимый, но реальный опыт, та же радость, та же любовь, тот же свет! «Верую» – свидетельство о том, что есть это странное знание, этот очевидный опыт того, о чем простое знание ничего знать не может.

Но кто же тогда может сказать мне, что это неправда, если для меня это опыт и самоочевидность? Итак, выражением этого опыта и этой самоочевидности, – не случайных, а постоянных сквозь все века, сквозь все культуры, – и будет таинственная сила, которой исполнено слово «верую».

## Попытка осмыслить. Начало богосыновства

«Верую во Единого Бога Отца». Так начинается, так всегда начиналось христианское исповедание веры.

Подчеркнем сразу же, что в исповедании этом сказано не «в одного Бога», а «во Единого». Наше ухо, наше сознание, возможно, не улавливают оттенков, присущих двум этим словам. А между тем «один» – не совсем то же, что «единый». Конечно, христианство, как до него ветхозаветное иудейство, а после него и магометанство, всегда проповедовало, всегда защищало монотеизм, или единобожие, – веру в то, что есть только один Бог. Защищало против языческого политеизма – против веры во многих богов. Но слово «один» имеет в русском языке некий количественный привкус: один, второй, третий... «Один» Бог – это как бы Бог одинокий, застывший в своей единственности. Унаследованное же от славянского языка слово «единый» богаче, шире и глубже: Единый Бог не столько количественное, сколько качественное определение. Единый, единственный, такой, каких больше нет, потому что и быть не может.

Верить в одного Бога – значит еще ничего не знать, а потому и ничего не выразить о Нем; верить в Единого Бога – значит уже знать Его в абсолютной единственности, что-то предчувствовать, предсознать о Нем. Сказать о Боге, что Он один, – дело логики, почти здравого смысла; сказать о Нем, что Он един, – уже выражение веры, религиозный акт. Как часто, любя кого-нибудь, мы говорим ему, что он единственный! Более того, всякая любовь всегда превращает любимого в единственного. И чем больше любовь, тем больше эта единственность, эта неповторимость любимого. А ведь вера в Бога есть не что иное, как акт любви: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим (Мф.22:37); Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди (Ин.14:15). Это только наш рассудочный, «научный» век все спорит о вере как о каком-то научном предмете, все ищет внешних, «научных» доказательств либо



существования, либо несуществования Бога. Но наш век так же спорит и о всем, так же познает и все остальное. Больше всего не хочет современный человек как раз единственного и неповторимого, это ему кажется «ненаучным», несерьезным. Но поэтому это и безлюбивый, холодный мир. Ибо только любви открывается единственность и неповторимость и только любовь радуется о единственном и неповторимом.

Никто еще не радовался простой статистике, знанию, выраженному в числах. Но под какую статистику, под какое «объективное», «научное» знание можно подвести понятие Бога? Конечно, ни под какое. И вот современный человек, гордый этим своим рассудочным и безлюбивым знанием, самоуверенно заявляет, что никакого Бога быть не может. Но с таким же правом может каждый из нас удивиться любящим, для которых те, кого они любят, – единственные, или, как говорят на языке любви, «дороже всего на свете». Нелюбящие недоумевают: «Что они нашли в них?» Ибо действительно, не любя, нельзя и увидеть как раз самое ценное в человеке: его единственность, его неповторимость, его единственное на свете «я». Мы говорим: «Женщина как женщина, мужчина как мужчина, человек как человек...» Но достаточно полюбить этого «человека как человека» – и находится все больше оснований видеть его единственность и все больше его любить.

Все эти рассуждения, все эти примеры – только для того, чтобы дать почувствовать значение этих слов: «Верую во Единого Бога», дать ощутить, что они корнями своими уходят в любовь. Ведь любовь возможна только к кому-то – кого знаешь, кто хоть как-то, так или иначе открылся тебе. И это значит, что сама вера есть всегда ответ Тому, Кто первый обратился к тебе, Кто позвал тебя, Кто заговорил в тайниках твоей души с тобою. Там, на самой глубине нашего опыта, почти несказанного, почти невыразимого, узнали, встретили мы Того, в Ком сразу же почувствовали Единственного среди всех единственных, Кого на немощном, лепечущем человеческом языке называли и называем Единым Богом, Кого полюбили, ибо, узнав, не можем не любить.

Так открывают первые же слова Символа веры что-то самое важное о вере. Она есть, прежде всего, единственный в своем роде опыт любви. И христианство назвало многобожие, язычество ложным не по отвлеченно-философским причинам, а потому что в опыте многобожия как раз нет этого опыта любви и единственности. Там, в многобожии есть опыт силы и могущества – и действительно, почему не быть множеству сильных и могущественных? Но ведь не за силу и не за могущество любим мы Бога! Там, в многобожии, есть опыт бесконечного разнообразия таинственных сил, действующих в мире, но ведь не за таинственность, не за непостижимость любим мы Бога и верим в Него ! Нет, именно в этом притяжении бесконечно Единственного и бесконечно Любимого – суть веры, и потому мы исповедуем его Единым.

И потому, что любим, и потому, что в любви постигаем Его единственность, мы сразу же прибавляем к слову «Бог» слово «Отец». Отец у каждого может быть только один и единственный. Слово «Бог» сразу же наполняется содержанием, сразу становится выражением основного религиозного опыта. Ибо много других слов, других определений употребляем мы, говоря о Боге: мы называем его Господом, Владыкой, Вседержителем, Творцом, Источником, Светом, Жизнью, Любовью, мы, в конце концов, применяем к нему слова, которыми называем все лучшее в жизни. Но ни одно из них не может сравниться со словом «Отец». И не случайно та единственная молитва, которую оставил нам как основу и образец всех молитв Сам Христос, начинается именно с этого обращения к Богу: «Отче наш!» Ибо даже наш земной опыт отцовства – опыт особенный и единичный: от отца жизнь как физическое бытие, и этим бытием мы, следовательно, обязаны ему и целиком от него зависим.

Но от отца же – жизнь как любовь и свобода, как свободное и радостное общение. Полная зависимость и полная свобода, полная зависимость и полная любовь. «Верую в Бога Отца» – и вот мы уже по ту сторону только зависимости, только страха, только послушания. Мы уже свои Богу, и Он – свой нам. И мы любим единственного и по-единственному обращенному к

каждому из нас, нашего, моего Отца. Тут начало самой радостной тайны христианской веры -тайны нашего богосыновства.

## Попытка осмыслить. Бог Творец

«Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым».

Так начинается исповедание веры, которое верующие христиане читают ежедневно, торжественно поют во время церковной службы, в котором они перечисляют все то, во что они поверили, все то, во что они верят. Мы говорили уже в этих беседах о начальных словах Символа веры: о смысле слов «верую», «Бог», «Единый», «Отец». Сегодня остановимся на ключевом, бесконечно важном слове «Творец».

Мы называем его ключевым, потому что именно тут, как в узле, сходятся нити всех извечных споров о религии, всех сомнений, недоумений и вопрошаний. В сущности, неверующие всех времен и всех идеологий отрицают Бога именно как Творца, а у верующих их вера, их интуиция и Бога, и мира, и человека, начинается именно с этого ощущения и переживания Бога прежде всего как творческой силы, как Начала и Источника всего.

В древние времена христианские богословы и философы начинали свои доказательства бытия, т.е. существования Бога, именно с утверждения, что мир должен иметь начало, или первопричину. Все в мире, говорили они, имеет причину своего существования вовне, ничто не начинает жить само, а значит, и миру во всей его сложности и слаженности – миру и как целому, и во всех его частях – необходимо иметь причину существования вне себя. И вот эту-то причину, эту творческую силу, творческую премудрость, заключали они, мы и называем Богом. В каком-то смысле этот очень древний аргумент сохраняет свою силу и сегодня.

Однако современный ум, требующий эмпирической, опытной проверки, перестал быть восприимчив к такому аргументу. Если Бог как первопричина, как начало и источник всего существующего пребывает вне мира и вне опытного познания, если Он непознаваем нашими человеческими методами, то и говорить о Нем невозможно: Он есть сплошное

неизвестное. А материалисты идут еще дальше, утверждая вечность, то есть несотворенность материи, а следовательно, и самого мира. Но ведь и это также недоказуемо, ибо понятие вечности и безначальности невозможно подвергнуть логической проверке.

Поэтому оставим понятие Творца как всего лишь причины. Ибо наше человеческое представление о творце и творчестве шире, глубже и богаче... Можно сказать, конечно, что Лев Толстой есть «причина» романа «Война и мир», но такое определение прозвучит как-то странно. А вот если сказать, что Толстой – великий творец, а «Война и мир» – его гениальное создание, отражающее в себе его творческий гений, то это что-то говорит нам, соответствует какой-то ощущаемой нами правде. Так и всю глубину, всю силу слова «Творец» в Символе веры мы скорее ощутим, быть может исходя из нашего человеческого опыта творчества. Творчество, творение всегда отражает и являет своего творца. В каком-то смысле мы больше узнаем о Пушкине из его поэзии, из его вечно живых стихов, чем из самой лучшей, самой научной его биографии. Из биографии мы узнаём о Пушкине, в стихах мы узнаём и чувствуем самого Пушкина, входим в таинственное общение с ним: «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья избежит»<sup>344</sup>. А это значит, что творение возводит к творцу, являя и открывая его нам как бы изнутри.

Но то же говорит, и задолго до всех творцов, Библия. Как прекрасен, как извечно верен древний псалом: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь (Пс.18:2)! И об этом же – радостное исповедание Бога Творцом в Символе веры. Мы узнаём о Нем или, лучше сказать, Его Самого не из логических выкладок, не из математики, не из философского понятия «причины». Нет, все в мире говорит верующему сердцу о Боге, все возводит к Нему, все отражает Его – совершенного, премудрого и благого Творца. Да, признаем смиренно: мы не можем объяснить, как сотворил Бог мир, но не может объяснить и наука, ибо когда и каково было это начало, остается тайной. Но ведь и всякое рождение – тайна: всякий раз, как загорается радостный и таинственный огонек жизни,

раздается первый слабый крик и то, чего не было, тот, кого не было, приобщается самому прекрасному из всех даров – дару жизни... Тайна эта необъяснима, да и незачем ее объяснять. Но вот в самой жизни все яснее и яснее ощущаем мы, что не исчерпывается она мимолетным временем, разрозненным опытом, половинчатым знанием. За всем в ней что-то светит, все говорит о чем-то другом, и разве все человеческое творчество не есть сплошная попытка запечатлеть этот свет, проникнуть в эту тайну, воплотить ее в словах, в звуках, в движениях, в красках? Таким образом, само человеческое творчество есть свидетельство о Творце, радостный ответ на Его творчество.

Ибо творчество не объяснить ни из биологии, ни из химии, ни из экономики. Оно есть дух и о духе – о том духе, про который сказано в Евангелии: Дух дышит, где хочет... а не знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин.3:8). Кто, как, когда наваял Пушкину эти поразительные слова: «Духовной жаждою томим...»? Откуда, с какой таинственной высоты упали они в душу этого веселого, жизнерадостного, такого земного человека? Но сам-то он, сам Пушкин, никогда не усомнился бы в ответе, ибо твердо знал – от Бога. От Того, Кто в одной молитве церковной назван «Изряднохудожником»<sup>345</sup>, от Того, Кого хвалит, о Ком поет «и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда». И в сущности, это мы и говорим, это утверждаем, это победно и радостно возвещаем, когда в самый торжественный момент богослужения поем: «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». За видимым – невидимое, за миром – Творец, за всем – вечная красота, правда и мудрость Того, кто призвал нас к жизни. Это и есть наша вера в Бога Творца.

## Попытка осмыслить. Небо

Я возвращаюсь сегодня к начатым еще до Рождества беседам о Символе веры. Почти за каждой службой в Церкви<sup>346</sup> православные христиане торжественно провозглашают то, во что они веруют, – содержание своей веры. И надо сказать, что сами верующие так привыкли к Символу веры, что как бы «оглохли» к нему. Им зачастую кажется, что достаточно просто сказать: «Я верю в Бога»; они забывают, что этим-то и пользуются враги религии, вкладывающие в их бесхитростное исповедание совершеннейшую бессмыслицу, дабы дискредитировать веру и представить ее грубым суеверием.

В наши дни, да, пожалуй, и во все времена, такой упрощенной веры недостаточно. В Писании сказано: И бесы веруют, и трепещут (Иак.2:19). Верили по-своему и те, кто распинал Христа. И наконец, верят, пусть и в некое страшное божество, те, кто хотят разрушить религию. Так или иначе, все в мире движется верой, только вера эта может быть светлой, истинной и доброй, а может быть темной, ложной и злой. Нет, невозможно сказать: «Я верю в Бога, а в содержании своей веры не копаюсь». Апостол Петр на заре христианства сказал: «Всякому спрашивающему у вас будьте готовы дать ответ о своем уповании» (ср.: 1Петр.3:15). И вот в наши дни – дни путаницы, неразберихи, столкновения всевозможных идеологий – мы больше чем когда-либо должны быть готовы такой ответ дать. Вернемся поэтому к Символу веры.

Исповедовав Бога как Творца, о чем мы уже говорили раньше, Церковь немедленно прибавляет: «...небу и земли, видимым же всем и невидимым». На этом утверждении нужно остановиться. Ибо нет, кажется, более популярного объекта для нападок на религию, чем это самое «небо» и это самое «невидимое». Религия всегда говорила о небе, это один из ключевых ее символов. И вот на него-то и направлена критика атеистов, полагающих, что этот символ легче всего сокрушить, представить доказательством «бессмысленной косности» и «ненаучности» религии.

Древний человек в своем неведении научной космологии представлял себе небо как некую твердь, как иной мир, где пребывает Бог и куда Он берет души людей после смерти. Эта древняя мифология поддерживалась, конечно, и самим физическим опытом, или восприятием неба – его бездонностью, красотой, лучезарностью. Воистину небеса поведают славу Божию (Пс.18:2). Но потом произошла знаменитая «космологическая революция», когда человек узнал сперва, что Вселенная не геоцентрична, то есть не имеет центром нашу маленькую планету, а затем, что и сама Солнечная система, в которой вращается Земля, – ничтожно малая величина в необъятной Вселенной с ее миллиардами миров. Человек выяснил, что небо – все тот же, а не иной мир, и опыт неба как чего-то потустороннего, казалось, безнадежно рухнул.

Вот этим-то и воспользовались враги религии: «Если ключевой религиозный символ – обман, то, значит, обман и суеверие все ваши религиозные представления, а стало быть, и вся ваша религия. Если нет неба, то нет и вашего небесного бога, ибо где же еще ему быть?» Все это выразил, помнится, крайне грубо и упрощенно космонавт Гагарин своим знаменитым утверждением, что никакого Бога в космическом пространстве он не заметил. Его изумительного подвига оказалось, увы, недостаточно. Этот подвиг ему приказано было использовать в интересах той убогой идеологии, которую насаждает государственная система.

Но оставим Гагарина и вернемся к небу. Ибо нетрудно доказать, что борьба безбожия с небом, его «развенчание» неба примитивно до убожества. Примитивность же эта проистекает от полнейшей неспособности позитивистов понять лежащий в основе всей религии символизм, или, лучше сказать, символизм, присущий самому человеку. Будь советская власть последовательной, она должна была бы запретить своим законопослушным писателям выражения наподобие «солнце встало», ибо всем известно, что не Солнце встало, а Земля в очередной раз обратилась вокруг собственной оси. Но если человек былых времен и не знал всех тайн мироздания, это совсем не значит, что слово «небо» употреблялось им в каком-



то «научном» смысле. Христиане изначально возвещали о своем опыте «неба на земле», называя небо престолом Божиим, утверждали не только вездесущие, но и трансцендентность Бога, т.е. то, что Он вне всех понятий, символически нами к Нему применяемых. А один великий христианский мыслитель и проповедник, разъясняя понимание неба в христианстве, воскликнул: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?»<sup>347</sup> О святых, достигших такой просветленности, такого сияния всего своего существа, такой благодати и духовной красоты, что для описания их недоставало человеческих слов, Церковь и верующие говорили, что они сделались «небесными».

Человек не может говорить о Боге, о своем опыте Бога, как, впрочем, и об опыте всего глубокого и высокого иначе чем при посредстве символов. И хотя невежественные люди сплошь да рядом употребляли эти символы в огрубленно-сниженном значении, искать извечный смысл таких слов, как «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым», следует, конечно, не у них.

Только теперь, высказав все это, можно по-настоящему поставить вопрос о смысле этого торжественного исповедания. К его объяснению мы и перейдем в следующей нашей беседе.

## Попытка осмыслить. Небо на земле

Вернемся к исповеданию Бога как «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Что значат эти слова, эти противопоставления? На что указывают они в содержании христианской веры? Этими вопросами закончил я свою прошлую беседу, где говорил о грубых попытках безбожной пропаганды именно с этого понятия неба как «бессмысленного» и «ненаучного» начать разрушение и разоблачение религии. Говорил я и о лжи такого «разоблачения», основанного на замалчивании исконного и неистребимого символизма, который свойствен религиозному языку. Пытаясь обозначить абсолютно иное, безмерно превосходящее наш опыт, все наши понятия и слова, человек не может не прибегать к символам. Итак, символ – не что иное, как описание и объяснение абсолютно иного в понятиях нашей жизни и нашего земного опыта. «Горячая любовь», «высокое умонастроение», «светлый ум» – можно до бесконечности умножать примеры этого самоочевидного символизма, который присущ человеку и без которого человек, в сущности, не мог бы сказать ничего, кроме «дважды два – четыре», хотя даже математики признают, что без символов им не обойтись.

Что же стоит за этим ключевым для христианства и религии вообще символом неба? Прежде всего, подчеркнем еще раз, что Символ веры одновременно и противопоставляет, и соединяет понятия «небо – земля», «видимое – невидимое». Он не говорит сперва о земле и видимом как об этом мире, а затем о небе и невидимом как о мире ином, загробном, не говорит о разных, не сводимых друг к другу мирах. Напротив, называя Бога Творцом, он включает в понятие творения небо и землю, видимое и невидимое. Уже одно это в корне разрушает типичное для безбожной пропаганды и ложное истолкование неба, ключевого религиозного символа, как абсолютной противоположности земле. Ибо в Символе веры ясно утверждается, что сотворенный Богом мир включает в себя небо и землю, видимое и невидимое.

Утверждение это имеет, однако, решающее значение, чем и объясняются, по-видимому, яростные выпады антирелигии в адрес «неба». Ибо антирелигии неуютно, чтобы наш мир включал в себя какое бы то ни было «небо», чтобы сквозь видимое просвечивало, определяя его собой, какое бы то ни было «невидимое». Неслучайно в наши дни она, антирелигия, с таким пафосом, с такой страстью отождествляет себя с материализмом. Ведь материализм по своей духовной и психологической сущности – не просто утверждение, но прежде всего чудовищное, едва ли не патологическое отрицание: «Я не хочу неба, не хочу невидимого. Только земля, только видимое!»

И отрицание это направлено, конечно, против извечного опыта человека, который всегда знал если не умом, то подсознанием о присущей всей жизни, всему миру полярности высокого и низкого, доброго и злого, чистого и нечистого. Знал о небе и земле, видимом и невидимом не как о научных понятиях, а как реальностях своего человеческого духовного опыта. Знал, да и сейчас, конечно, знает, что небо и земля, видимое и невидимое таинственно сочетаются прежде всего в нем самом, что тянет его, и зачастую неодолимо, к земному и видимому, но столь же неодолимо – к небесному и невидимому. «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Ничего не поделаешь: об эту подлинно небесную строчку лермонтовского «Ангела» всегда будут разбиваться все гладкие, псевдооптимистические теории и утверждения той казенной идеологии, которая лучше всего определяется как бездонная скука. Вот уж действительно последняя и самая скучная из всех «песен земли». И рухнет эта идеология, конечно, прежде всего от пронизывающей ее бездонной скуки. Да она уже и рухнула, и если бы не недреманное око власти, то все давно с ужасом и отвращением отвернулись бы от нее.

Небо, невидимое – это то, что стоит за всем земным, просвечивая сквозь него, то, что дает смысл всему видимому. Мы видим человека, но любим только невидимое в нем, – то, о чем свидетельствует, что выражает его облик, то, по отношению к чему весь он, вся его «видимость» есть прекрасный, но, увы, так часто помрачаемый символ! Мы видим мир, но любимся в

нем тем, что отражает его невидимость; видим землю, но по-настоящему, подлинной и глубокой любовью мы любим в ней небо. Нет, это не иной, «загробный» мир, не мир призраков и привидений, это сама вера, любовь и надежда, которые делают наш мир и нашу жизнь видимостью невидимого, а землю – небом и небесным. «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом!» – восклицает святой Иоанн Златоуст. А святой Франциск Ассизский в своем потрясающем «Гимне твари» превращает весь мир – воду и землю, человеческое тело и саму материю – в сплошную хвалу Богу, в сплошной порыв ввысь.

И обо всем этом – такое простое и краткое утверждение Символа веры: «...во Единого Бога... Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Здесь нет ни исповедания дуализма, ни разделения, ни ухода или бегства, но только соединение и претворение. Это утверждение неба на земле – самой глубокой, самой радостной, самой победной из всех интуиций христианства.

## Встречая Рождество. Возврат к детству

С началом декабря во всем мире начинает чувствоваться приближение Рождества. Это совсем особенное время. И никакая антирелигиозная пропаганда, никакое развенчание и изобличение религии как обмана и суеверия ничего не могут против рождественского настроения, которое каждый год вот уже сотни лет воцаряется в мире в эти декабрьские дни. Что такое это рождественское настроение?

Можно сказать, что это, прежде всего, ежегодный возврат к нашему детству, к его радости и простоте, чистоте и ясности. Мы живем и действуем в мире взрослых, и конечно, иначе быть не может. Все на земле должно возрастать, умнеть, углубляться. Человек, чтобы быть до конца человеком, должен стать взрослым, ответственным, разумным, деловым. Но есть в нашей взрослости и утрата чего-то, и на это указывает Евангелие, когда говорит: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (ср.: Мф.18:3). И чтобы быть до конца и по-настоящему человеком, я должен не только повзрослеть, но и сохранить верность своему детству и тому, что так легко, так просто дается в детстве, но затем как бы отнимается взрослой жизнью. Что же это? Ответить можно просто, одним словом: вера. Я говорю сейчас не о религиозной вере, но о вере как доверии – о том простом, светлом, радостном отношении к жизни и окружающим, которое присуще детству. Ребенок верит в людей, в то, что все вокруг хотят добра и живут добром; верит в жизнь – в то, что каждый день может и должен быть радостным праздником. Он поистине живет доверием, и это доверие наполняет его радостью, делает жизнь такой полной, такой счастливой. И вот, глядя и радуясь на детей, каждый из нас, взрослых, должен бы задаваться вопросом: неужели же детство – просто самообман? Неужели то светлое чувство, с которым мы входим в мир и которому правда и любовь открываются как сущность жизни, а радость – как ее неотъемлемое содержание, – неужели оно лишь детская глупость? Но если так, то стоит ли взрослеть? И в чем же преимущество нашей взрослости?

Неужели правы те, кто мало-помалу приучают нас жить подозрительностью, недоверием, страхом, видеть мир и жизнь в нем как беспросветную борьбу за существование?

И вот возвращается Рождество и каждый год говорит нам: «Нет, они не правы!» Говорит запахом елок и жарким блеском свечей, говорит радостью детских глаз, в которых отражается этот блеск, и, главное, – всем образом Того Ребенка, Который навеки воцаряется над миром из убогой пещеры, из света вифлеемской звезды, из молчаливой радости пастухов и мудрецов, животных и всей природы.

Неправда все то, что не различает в этом Ребенке Свет и Правду мира, все то, что превращает мир только в борьбу за земные цели, за выполнение какого-то вечно ускользающего от нас «плана». И единственная правда – в беззащитности этого Ребенка, в Его радости

и доверии, свете и чистоте. Неслучайно приходит к нам Рождество в короткие зимние дни, когда весь мир словно покрыт коркой льда, когда холодно и темно. И в самой глубине этой тьмы, этого холода загорается свет, и светит, и греет, и вся наша жизнь как бы оттаивает в нем. Так и взрослый человек: жизнь замедляет его холодным снегом и само сердце его так часто превращается в лед. Но благо тем взрослым, которые хранят под этим льдом свет и тепло своего детства, помнят эту таинственную радость веры; благо тому, кто не предает свое детство, не изменяет ему и тем самым – человеку в себе. Об этом вновь напоминает нам приближающийся и нарастающий свет Рождества.

Как говорить обыденным, рассудочным языком о самом важном и непередаваемом в человеке – о его религиозном опыте? Ибо опыт этот и вправду почти непередаваем и как только начинаешь излагать его словами, получается нечто холодное, тусклое и отвлеченное... Вот почему такими нудными кажутся в большинстве своем споры о религии, участники которых слишком редко договариваются до главного. Непотому ли и в Евангелии сказано: «Будьте как дети» (ср.: Мф.18:3)? Что это может означать? Ведь все в нашей цивилизации направлено как раз на то, чтобы поскорее сделать детей взрослыми, т.е. такими же рассудочными и прозаическими существами, как мы сами. Нерассчитаны ли все наши доказательства, рассуждения и споры именно на этого взрослого, для кого детство всего лишь время роста, подготовки – время, иными словами, медленного изживания в себе детства? Но вот «будьте как дети» – говорит Христос, и еще: Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне (Мф.19:14). Если так сказано в Евангелии, то нам, верующим, незачем стыдиться несомненной детскости, присущей и нашей религии, и нашему религиозному опыту. Неслучайно первое, что мы видим, входя в храм, – это образ юной Матери с Ребенком на руках, точно это самое главное в Христе, точно Церковь боится, что мы забудем об этом самом важном явлении Божественного в мире. Ибо та же Церковь утверждает, что Христос есть Бог, Истина, Мудрость, Сила. Но вот все это явлено сперва в образе Ребенка, как будто именно это явление – ключ ко всему остальному в христианстве.

Итак, спросим себя: что же значат эти слова: «Будьте как дети»? Вряд ли это призыв к какому-то искусственному опрощению, к отказу от развития, образования, накопления опыта, т.е. от всего того, что мы называем подготовкой к жизни, умственным и физическим созревaniem. И про самого Христа сказано в Евангелии, что Он преуспевал в премудрости (Лк.2:52). Следовательно, «будьте как дети» – это никак не поощрение инфантилизма, не противопоставление физического

детства физической взрослости; призыв Христа вовсе не означает, что для приобщения к религиозному опыту нужно стать каким-то простачком-дурачком. Я настаиваю на этом потому, что враги христианства сводят его к сказкам и басням, на которые могут клюнуть только дети или недоразвившиеся взрослые.

Но что же тогда означают слова Христа? Для ответа на этот вопрос нужно сперва задать другой – не о том, что приобретает человек, становясь взрослым (ибо это ясно без слов), а о том, что теряет он, выходя из детства. Ибо нет сомнения: человек теряет то единственное и драгоценное, из-за чего вспоминает детство как утраченный рай, как золотой сон, с окончанием которого жизнь стала печальнее и страшнее. Я думаю, что если бы нужно было определить это одним словом, то это было бы слово «целостность». Ребенок не знает еще разделения жизни на прошлое, настоящее и будущее, этого печального опыта безвозвратно утекающего времени. Он весь в настоящем, весь в полноте того, что сейчас, будь то радость, будь то горе. Он весь в радости, и потому говорят о «детском смехе», «детской улыбке», он весь в горе и отчаянии, и потому говорят о «слезах ребенка», ибо дети с равной неудержимостью и плачут, и смеются. Ребенок целостен в своем отношении не только к времени, но и ко всей жизни, он отдается весь всему; он воспринимает мир не рассудочно, не аналитически, не одним из чувств, а всем своим существом без остатка, но потому и мир раскрывается ему во всех своих измерениях. Если для него звери говорят, деревья страдают или радуются, солнце улыбается, а пустая спичечная коробочка чудесно преображается в дом, автомобиль или аэроплан, то это не потому, что он глуп и неразвит, а потому, что ему в высшей степени дано, открыто это ощущение чудесной глубины и связи всего со всем, потому, что он имеет дар полного слияния с миром и жизнью.

И вот, вырастая, мы безнадежно теряем все это. Теряем прежде всего эту самую целостность. Мир постепенно распадается в нашем сознании на составные элементы, но вне глубинной их взаимосвязи все они остаются лишь сами собой и



потому – плоскими и одномерными. Мы все больше понимаем и все меньше воспринимаем, мы узнаем обо всем и не имеем настоящего общения ни с чем. Но ведь ощущение всеобщей взаимосвязи, дар во всем единичном видеть целое, способность к полной самоотдаче и слиянию, внутренняя открытость и доверие к миру – это и есть слагаемые религиозного опыта, это и есть различение во всем Божественной глубины и красоты, это и есть непосредственное переживание Бога, наполняющего Собою все во всем! Само слово «религия» означает по-латыни «связь». Религия не есть лишь часть опыта, лишь один из способов постижения, но она есть связь всего со всем, а потому – последняя правда обо всем. Религия – это глубина вещей и их высота; религия есть свет, льющийся из всего, но потому и все освещающий; религия есть опыт присутствия во всем, за всем и над всем той последней реальности, без которой ничто не имеет никакого смысла. Эта целостная Божественная реальность постигается только целостным восприятием, к которому и относятся слова: «Будьте как дети».

К этому восприятию и призывает нас Христос, когда говорит: Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Лк.18:17). Ибо увидеть, почувствовать, пожелать Царство Божие – значит постичь глубину вещей, постичь то, о чем они в лучшие минуты жизни нам вещают, постичь тот свет, который начинает литься из них, когда возвращаемся мы к детской целостности.

## Встречая Рождество. Как исполнить заповедь

В прошлой беседе я пытался объяснить, что означают в Евангелии слова Христа «будьте как дети». Я говорил, что детство означает ту целостность мировосприятия, ту открытость и доверчивость, тот дар сливаться со всем, который присущ детству и который мы безвозвратно теряем, уходя из золотого его рая и вступая в расколотый, серый, скучный «взрослый» мир. И отсюда это: Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф.18:3).

Но как же стать «как дети»? Как вернуться к этому потерянному раю? Как восстановить эту целостность? Как, одним словом, исполнить заповедь Христа «будьте как дети»?

Вместо ответа я хочу привести рассказ знаменитого французского поэта Поля Клоделя о его обращении. Клодель в юности потерял веру и с головой погрузился во всевозможные философские и научные объяснения мира, но противоречивость и поверхностность их привели к тому, что он почувствовал себя совершенно потерянным. Было это в конце прошлого века, в эпоху торжества всевозможных «позитивизмов», безграничной веры в науку, долженствующую дать, и очень скоро, ответы на все вопросы, – в эпоху, когда ожидали близкого рая на земле. Но никакое торжество науки, никакие ожидания не могли исцелить странной, кровоточащей раны в душе.

«Таков, следовательно, был, – пишет Клодель, – несчастный юноша, который 25 декабря 1886 года отправился в парижский собор Богоматери к рождественским службам. Я начинал тогда пописывать, и казалось, что в католических обрядах, воспринимаемых мною как утонченным дилетантом, можно найти некое возбуждающее средство для эстетических упражнений. В таком настроении, затерянный в толпе молящихся, я присутствовал на службе. Хор детей в белых длинных одеждах запел гимн, о котором я уже потом узнал, что это евангельская молитва Марии: “Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем”. Я стоял в толпе у второй колонны при входе в алтарь, и в эту минуту

совершилось то, что определило всю мою жизнь. Сердце мое содрогнулось, и я поверил. Поверил с такой силой, с таким участием всего моего существа, с убеждением столь мощным, с такой уверенностью, что с тех пор ни одна книга, ни одно рассуждение, ни одно из событий сложной и длинной моей жизни не смогли поколебать этой веры или даже, по правде сказать, как бы то ни было прикоснуться к ней. Это было внезапное и раздирающее чувство вечной детскости Бога, это было несказанное откровение».

Вот рассказ Клоделя. И главное в нем – эти таинственные и удивительные слова о «вечной детскости Бога». Это значит, что «будьте как дети» можно перевести «будьте как Сам Бог». Это значит, что вера, религиозный опыт есть таинственное вхождение в душу, в само существо человека Божественной простоты и целостности, которых уже нет, не может, увы, быть в нашем взрослом, рассудочном, кислотами анализа разъеденном знании. Это значит, наконец, что дар веры, дар восстановления изначальной детскости – от Бога.

Ибо самое удивительное в рассказе Клоделя то, что тогдашнее обращение далеко не сразу разрушило или изменило другие его взгляды и убеждения. Он пишет: «Мои философские убеждения и сомнения остались при мне. Бог как бы с презрением оставил их там, где они были, я не менял их. Католическая религия продолжала казаться мне все тем же набором бессмысленных утверждений, ее священники и верующие вызывали во мне чуть ли не прежнее отвращение. Все здание моих убеждений и знаний осталось стоять, и я не видел в нем никаких трещин и недостатков. Случилось же попросту то, что я сам из этого здания вышел».

Ибо религиозный опыт, – и именно об этом говорил Клодель, – это отнюдь не система идей, все тем же рассудком продуманная, все тем же анализом проверенная. Идеи могут рождаться из этого опыта, но сам он никогда не рождается из идей. Из этого опыта можно вывести, конечно, философские и богословские системы, своды моральных предписаний и множество других полезных вещей. Но ничто из них само по себе не дает, да и не может дать собственно религиозного

опыта. Он приходит незримо и часто нечаянно. Он приходит в те редкие минуты, когда мы сбрасываем с себя свою «взрослость» или же на время забываем о ней и хотя бы отчасти становимся снова детьми.

Таков в нашей жизни прежде всего опыт красоты. Что и когда мог сказать об этом опыте рассудок? Но вот мы стоим перед совершенным произведением искусства и плачем. Таков в нашей жизни опыт любви, таинственной и пожигающей всю «взрослость». Таков, наконец, в нашей жизни еще более таинственный, еще более неизъяснимый опыт добра. Все это – уже начало религиозного опыта, еще не знающего о себе, безотчетно-чудесного. Все это – воскрешение детства в нас, ибо ни о красоте, ни о любви, ни о добре так и не научился говорить взрослый человек. И когда те приходят к нему, он, чтоб воспринять и пережить их, должен заново стать «как дитя».

Поэтому на вопрос, как же исполнить завет Христа «будьте как дети», ответ приходит не от рассудка. Этот ответ – в самой нашей жизни, когда сгущается она до предельного накала в любви, радости, горе, восхищении; когда ничто «взрослое» уже не помогает и только мешает; когда только эта глубинная наша «детскость» соответствует тому, что происходит с нами.

Тогда, становясь «как дети», мы вступаем в опыт неизъяснимого – в опыт веры.

## Встреча Рождество. Главный опыт

Детская вера... Думается, что даже тот, кто не получил в детстве никакого религиозного воспитания, не имел специфически детского религиозного опыта, поймет, о чем тут речь и почему именно про детей сказал Христос: Таковых есть Царство Небесное (Мф.19:14), а также в другом месте: Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Лк. 18:17). Поймет, потому что, как всякий человек, имеет опыт детства, а про носителя этого опыта нельзя сказать языком взрослых, что он «верующий ребенок», в противоположность «ребенку неверующему». Слова и категории эти к детству неприменимы, ибо детство по самому существу своему есть время веры, но не такой, как понимают ее взрослые, – т.е. не рассудочной, не догматической или какой-либо еще.

Ребенок верит подобно тому, как он дышит, ибо именно вера лежит в основе его обращенности к родителям, к другим людям, к вещам, к животным, да и просто ко всему в мире. Его мировосприятие не осложнено, не отравлено никакими сомнениями, никакой рефлексией. Ребенок весь целиком в своей радости и весь целиком в своей горе. И весь мир для него чудесен, радостен, но и часто страшен; этот мир может в одно мгновение распасться и быть затоплен потоком слез и так же мгновенно – воскреснуть в своей первозданной красоте, счастье, радости.

И вот взрослые, хотя и говорят с умилением о «детской доверчивости», «детской чистоте», «детской радости», воспринимают все это, в сущности, снисходительно, как результат неспособности мыслить «разумно» и «самостоятельно», как то, что «пройдет», как проходят детские болезни. А между тем, став взрослым, ни о чем не вспоминает человек с такой радостью и трепетом, как о потерянном рае детства, даже если было это детство внешне ничем не замечательным, бедным, убогим.

Оказывается (в минуту раздумья, когда остается человек наедине с собой), что ни разум, ни опыт, ни все приобретенные

знания не дают такого цельного переживания радости, как детство; оказывается, что вместе с детством ушло что-то самое важное, самое насущное – то, что как будто уже нечем заменить. Что же это? Да та самая целостность, незамутненность, чистота восприятия, которую невозможно найти ни в чем внешнем, но только внутри себя, в собственной душе.

И если, говоря о вере, я начинаю с детства как основного ее опыта, то это потому, что вырастает она из первозданной детской целостности. Того, кто не верит, никакими рациональными доводами к вере не привести. Тот же, кто верит, не поколеблется в своей вере из-за глупейшего заявления космонавта, что никакого Бога на небе он не нашел. А ведь, в сущности, все «научные доказательства» безбожия похожи на это заявление.

Разум, чтобы принять веру и отдаться ей, должен сначала сам переродиться, должен осознать свою не столько ограниченность и беспомощность (ибо в собственной области он, пожалуй, и неограничен, и всемогущ), сколько внутреннюю раздробленность по отношению к жизни и к миру, да и к самому себе.

Трагедия и бездонная печаль нашего мира в том, что взрослый в нем просто заменяет собою ребенка, воспринимая свое детство как одежду, из которой он вырос и которую остается только выбросить. Между тем не только религия, но и современная психология все увереннее настаивают на определяющем значении детства для формирования человека. Детство можно подавить, заставить молчать, подчинить террору «взрослости». Но вот оказывается, что нельзя его уничтожить до конца, ибо именно в детстве, сами того не зная, мы совершаем тот выбор, от которого будет зависеть наша взрослая жизнь. Но ведь за тысячелетия до выводов современных психологов и психиатров, сделанных как бы в потемках, без ясного понимания того, о чем они в действительности говорят, то же самое сказал Христос: «Будьте как дети» (ср.: Мф.18:3) и Если кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Мк.10:15).

Нет, это не значит впасть в детство, искусственно восстановить в себе детскую наивность. Это значит не столько вернуться куда-то, сколько в самих себе найти на последней глубине ту неистребимую детскость, без которой высыхает, оскудевает, умирает наша человечность. Это значит не разумом и не волей только, а всем существом своим ощутить ту цельность, которую мы разучились ощущать и которая проявляется в душе внезапно, как озарение, как радость. Это значит, наконец, воскресить в себе ту веру, которой действительно живет ребенок и которая постепенно заглушается в нем будничной взрослостью.

Поразительно на все времена то, что по христианской вере Бог пришел к людям как Ребенок. Некак владыка и повелитель, не как мудрец и учитель, но как беспомощный Младенец. И взирая на этого Ребенка, Чей образ заполнил мир, мы можем не только сокрушаться об утраченной детской вере, но и заново обрести ее.

Так опыт встречи с Христом в Евангелии, в Церкви, в собственной жизни начинается встречей с Младенцем, к Которому, как древние мудрецы, приходим мы из песков сомнения и одиночества и в Котором начинает светить нам несказанный, радостный свет.

## Встречая Рождество. От объяснения к ожиданию

В прошлой беседе я говорил о Ребенке, в образе Которого, согласно христианской вере, приходит на землю, является людям Бог; говорил о несравненной и для нашего одичавшего «взрослого» мира непостижимой глубине этого образа. И вот как раз в эти дни стал приближаться к нам (о, еще издалека!) праздник Рождества Христова, ежегодной встречи с Богомладенцем.

Только к двум самым большим своим праздникам, к Пасхе и Рождеству, готовит нас Церковь на протяжении многих недель, словно знает, как трудно нашему миру, всей этой шумной, грохочущей «современности», увидеть, расслышать, уразуметь их глубину, их несказанную духовную красоту и, главное, – значение для нашей жизни. И то, что делает Церковь, готовя верующих к Рождеству, в первую очередь духовно возвращает нас к временам до пришествия Христа – в те бесчисленные века, что даже в мирских календарях отмечены как времена «до Рождества Христова». Наука о человеке, так называемая антропология, раздвинула границы этих времен примерно до ста тысяч лет, когда, как полагают антропологи, появляется существо, названное ими *homo sapiens*, наделенное пусть самым примитивным, но разумом, самой элементарной, но рефлексией.

Замечу мимоходом, что по сравнению с историей самой Земли, то есть той планеты в космической системе, на которой мы живем и на которой началась человеческая история, эти сто тысяч лет – даже не мгновение, а бесконечно малая доля мгновения, ибо историю Земли современные ученые определяют приблизительно в пять миллиардов лет. Тем не менее именно в последние сто тысяч лет – и с этим согласится каждый ученый, верит он в Бога или нет, – происходит решающая в истории Земли мутация, когда человек, который представлял собой плод космической эволюции, превращается в ее основной фактор, а именно начинает эту эволюцию направлять и контролировать и из существа, всецело ею



детерминированного, становится – хотя бы отчасти, но с каждым днем все более – хозяином ее и двигателем.

А произошло это не потому лишь, что он овладел «силами природы», нашел более совершенные способы управлять материей, но прежде всего потому, что в нем пробудилось сознание. И не просто как мысль вообще, но в первую очередь как вопрос о жизни. И не о том только, как быть сытым, здоровым, защищенным от врагов и стихий (ибо всему этому гораздо быстрее человека обучается любое животное), а о том, для чего жить и что значит сама эта жизнь.

И именно этот вопрос, сколь бы он ни был поначалу безотчетным, почти инстинктивным, в каком-то смысле проводит черту между так называемыми человекоподобными существами (или, по научному, антропоидами) и человеком в полном смысле этого слова. И никакой «научный атеизм» не отменит того факта, что черта эта выражается прежде всего в религии. Как бы далеко ни зашли мы в изучении человека, мы всегда находим в нем хотя бы зачатки религиозного чувства. Homo sapiens есть сразу же, изначально и homo religiosus. Изображения священных символов, встречающиеся на стенах самых древних пещерных жилищ, свидетельствуют о том, что человеческое сознание зарождается одновременно с религиозным жизнеощущением и с переживанием религии как того, что одно способно дать жизни смысл и направление.

Нам незачем останавливаться на так называемой первобытной, или примитивной, религии. Достаточно того – и в этом согласны сегодня все исследователи, мало-мальски серьезно и объективно, а не по партийной указке занимавшиеся ее изучением, – достаточно того, что, возникнув с человеком как внутренняя его глубина, как средоточие его сознания, религия, подобно самому человеку, уже не переставала развиваться. И в этом смысле история религии есть история человеческого сознания, обращенности человека на самого себя, на смысл своей жизни, на свое место в мире.

И важнее всего для нас то, что религия, начавшись как объяснение, стала в конце концов ожиданием. Человек ни на одной стадии своего развития не удовлетворился простым

объяснением. Узрев однажды через все в мире пробивающийся таинственный свет, подивившись однажды его красоте и силе, человек всем существом своим ощутил, что не только его жизнь, но и жизнь вообще, сам мир обращены к какому-то последнему свершению, к решающему исполнению.

Вот об этом мы и должны подумать в дни, когда снова наступило для нас время ожидания рождественского чуда, явления на земле, среди нас, в нашей жизни, Божественного Ребенка, с Которого мы и начали нашу беседу.

## Встречая рождество. Встретившиеся у яслей

В евангельском рассказе о Рождестве Христовом есть всем знакомый и все же таинственный эпизод – поклонение Христу восточных мудрецов. Нам неизвестно точно, кто они были и откуда пришли. Вот все, что сказано о них в Евангелии: Когда... Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (т.е. мудрецы. – прот. А.Ш.) с востока – и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф.2:1–2). И дальше сказано о том, как, достигнув места, где был Младенец, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариєю, Матерью Его, и пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф.2:10–11).

Краткий рассказ этот, конечно, всегда поражал воображение, и вокруг него стали создаваться легенды, в которых мудрецы с Востока были названы по именам. Что же, все это естественно – все это любовь и естественно рождающаяся из нее поэзия, все это те украшения, которые мы с любовью и радостью вешаем в рождественские дни на елку, чтобы они сияли при свете свечей. Но остается сам рассказ, остается его таинственный смысл.

Что запомнилось тут христианскому сознанию, в чем вечное, непреходящее, к нам и к нашим дням обращенное его значение? Думается, что на этот вопрос можно ответить примерно так. У колыбели Младенца в одинокой пещере ночью мы видим людей двоякого рода. Первые – это пастухи, т.е. люди самые простые, или, как сказали бы теперь, «люди низов» – бедные, безгласные, смиренные, чья жизнь проходила в общении с природой и животными, в отдалении от городской суеты. Другие же – волхвы, или мудрецы с Востока. В тогдашнюю эпоху слово «Восток» было синонимом высшей мудрости, тех недоступных среднему человеку знаний, которые открывали немногим избранным тайну мироздания. Эти мудрецы – удаленные, как и пастухи, от повседневной суеты –

посвятили всю свою одинокую жизнь высшему знанию, или, как сказали бы теперь, науке. А сегодня никто не будет спорить, что все основные принципы, на которых основывается современная наука, были выношены уже тогда, на этом таинственном Востоке.

Итак, с одной стороны, самые ученые и мудрые, с другой – самые простые и смиренные. Богатые мудростью научной и богатые мудростью, приобретенной в одиноком созерцании самой природы. И тут и там – небо, ибо ночное небо в пустыне по-настоящему огромно и таинственно. В городе среди домов солнца почти не видно и можно целые дни и недели провести в суе, ни разу его не заметив. Но в длинные ночные часы безмолвного и одинокого пребывания в пустыне открывается иной образ мира, иное его переживание. «Спит земля, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит»<sup>349</sup> – вот опыт пастухов. А опыт мудрецов – это вникание в смысл беспредельных миров, это ощущение мира как космоса, в котором нарастают таинственные процессы, где числа и линии оживотворяются глубочайшим смыслом, где космическое пространство наполняется светом разума.

И вот поразительно: опыт тех и других ведет к этой пещере, к этому Младенцу, к этой Матери. Одним непосредственно открывается небесная слава, когда вся Вселенная гремит хвалой: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк.2:14–15); другие постигают язык звезд и ведутся ими. И конечно, мы никогда не узнаем по-настоящему, во всех подробностях, как все это произошло, какими путями пересеклись у пещеры Рождества обе мудрости, оба высочайших опыта. И поскольку об этом сказано не газетными фразами, а прикровенно, таинственно – а иначе об этом и не скажешь, не разрушив полноты смысла, – повествование это с легкостью отбрасывается современным всезнайкой, выступающим во всеоружии пропагандистской псевдологии и псевдонауки. «Сказки, легенды, выдумки!», – говорит он и думает, что написанная им для агитпропа убогая брошюрка исчерпала все вопросы.

Да, конечно, и сказка; да, конечно, и легенда! Но легенды произрастают там, где есть зерно такой глубокой, такой всеобъемлющей правды, что она может веками питать, веками наполнять человеческое сознание и воображение. А о тех, кто живут не этой вечной правдой, а сиюминутными заказами скоропреходящих властителей, – о тех сказано: «Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют»<sup>350</sup>. Ибо дело не в легенде, а в той правде, из которой легенда выросла. Правду же эту можно созерцать и сейчас. Ведь и сейчас, как и тогда, только очень мудрые умом или сердцем, только те, кто стоят на высшей ступени знания или на высшей ступени нравственности, вновь идут неизъяснимым образом к этой пещере, вновь с радостью великой узнают в смиренном Младенце истину, красоту и конечный смысл всего. И во имя Его отвергают и разоблачают ложь самоуверенной, но мелкой и жестокой цивилизации, во имя которой мучают и запугивают миллионы людей или же соблазняют их земными игрушками.

«Мы наш, мы новый мир построим...» А строят все тот же очень старый мир, в котором человек живет с пригнутой к земле головой, не имея ни времени, ни желания взглянуть на небо и вздохнуть о его глубине. Строят мир для рабов, да еще для таких, которые день и ночь должны на все лады повторять, что их рабство и есть самая настоящая свобода. Те же, кто своим свободным и часто мученическим путем идут к пещере Рождества поклониться беззащитному и бездомному Младенцу, те знают, что Он явился в мир сказать людям: «Я пришел отпустить измученных на свободу» (ср.: [Лк.4:18](#)).

Вот конечный смысл рассказа о таинственных мудрецах с Востока, которые, увидев звезду, последовали за ней и пришли поклониться Младенцу Христу. Так человеческое знание, человеческая мудрость, человеческая глубина привели их туда, где началось спасение мира.

## Встреча Рождество. Бог – звучит смиренно

Я уже говорил о Рождественском посте как о времени приготовления, ожидания и внутренней самопроверки. Я говорил, что Рождественский пост есть вопрос и призыв к каждому из нас. Вопрос: чем ты живешь, в чем твое главное сокровище – то, что в лучшие минуты наполняет тебя светом и радостью, дает смысл всей твоей жизни? И призыв пробиться сквозь суету и суматоху жизни к тому глубинному ее пласту, на котором человек, часто неведомо для себя, решает коренные вопросы своего бытия.

Только вернувшись к этому пласту, только достигнув некоей внутренней тишины и сосредоточенности, можно задуматься о приближающемся к нам Рождестве. Ибо за две тысячи лет христианской истории мы привыкли и, можно сказать, «оглохли» к нему. Ведь даже неверующий, шумный, деловой, лишь собою занятый мир принял эту зимнюю передышку, это праздничное настроение, сияние елок, оживление за столом, легкую радость подарков. Все это вошло в быт, стало общим достоянием и не вызывает особых вопросов. Но что, если задуматься, если вернуться к источнику всего этого – к простому, но такому необычному рассказу, с которого начинается Евангелие, начинается сама христианская вера?

Вот литературоведы часто употребляют термин «остранение». Он означает литературный прием, с помощью которого привычное, обыденное и в обыденности своей почти уже незаметное становится непривычным и странным. Но такое «остранение» необходимо не только в литературе, но и в духовной жизни. Нам нужно, бесконечно нужно учиться заново удивляться тому, что стало привычным и обычным. Нам нужно учиться выходить из обыденщины, чтобы приближаться к духовным источникам жизни. Праздник Рождества есть праздник пришествия в мир Бога. Конечно, если верить в Бога, нет ничего странного в том, что Бог постоянно присутствует в нашей жизни, в том, что Он вездесущ. Для неверующих же не только

Рождество, но и все разговоры о вездесущем Боге не имеют решительно никакого смысла.

Но сейчас речь о другом – о том опыте Бога, что раскрывается в праздновании Рождества, а этот опыт совсем не равнозначен простой вере в духовную силу, незримо присутствующую и равномерно разлитую всюду в мире. Об этом опыте Бога стоит задуматься не только верующему, но и неверующему. Верующему – потому что он, как уже сказано, слишком часто бывает глух к своей собственной вере, которая, сделавшись привычной, перестает опалять и преображать. Неверующему же – потому что его представление о вере основывается, как правило, на незнании истинной ее сущности. Итак, о чем же говорит нам Рождество – о каком пришествии Бога в мир и о каком Боге?

Антирелигиозная пропаганда постоянно утверждает, что Бог в представлении христиан – это всемогущий тиран, который управляет миром откуда-то с неба и требует нерассуждающей веры, рабской покорности и слепого поклонения; что сама идея Бога неотделима от порабощения человека. Но разве не странно в таком случае, что евангельский рассказ о Рождестве буквально во всем противоречит этим утверждениям казенного безбожия? Ибо если о чем и говорится в нем, то не о всесилии и всевластии, а о немощи и смирении.

В самом деле, Бог приходит в мир не как всемогущий тиран, а как беспомощный, беззащитный Ребенок. Где тут принуждение к «слепому поклонению»? Где «порабощение»? Неразрушаются ли здесь разом все расхожие представления о Боге, не обличается ли все то, во имя чего атеисты требуют отказа от религии? Ведь они постоянно говорят: «Человек – это звучит гордо!» А здесь все наоборот: Бог – звучит смиренно. Ничего внешнего, что принуждало бы человека унизиться, подчиниться, сдаться. Ибо не правда ли: увидеть и признать в этом Ребенке Бога можно только свободно! А это значит, что первая, главная и всеобъемлющая интуиция Бога в празднике Рождества есть одновременно и интуиция человеческой свободы. Все рассказанное в Евангелии о Христе от Его рождения до смерти исключает всякий другой подход, всякую другую веру, кроме

веры свободной. И если бы Бог был действительно таким, каким рисует Его безбожная пропаганда, Он не пришел бы в мир, как говорит апостол Павел, «в образе раба» (ср: [Флп.2:7](#)).

Вот первое, что нужно почувствовать в дни, когда приближается к нам Рождество, – нужно почувствовать всю глубочайшую неправду того выбора, перед которым ставит нас воинствующее безбожие: «Если есть Бог, то человек – раб, и нет у него свободы; если Бога нет, то человек – свободный хозяин своей судьбы». Но Рождество говорит, что это неправда! Рождество есть великое и радостное откровение о свободе человека, ибо Бога человек призван увидеть не в силе, могуществе и славе, а в смиренном Ребенке, в тайне смирения, и не подчиниться Ему он призван, а полюбить Его, принять в свое сердце, обрадоваться всей бесконечной красоте и глубине этого смирения. Но ни полюбить, ни обрадоваться, ни принять в сердце нельзя, опять-таки, без свободы, и потому христианская вера, растущая из опыта, радости и света Рождества, есть вера свободная: к ней ничто не принуждает, нет в ней ничего слепого. Можно пройти мимо этой пещеры, мимо этого Ребенка на руках у Матери, можно в темной ночи не различить слабого света, мерцающего во тьме. Именно так не заметил тогдашний мир рождения Христа. Он продолжал поклоняться своим богам, своим властям, своим достижениям, своей культуре. И только те, кто были свободны от всех этих призрачных вер, заметили, поверили, обрадовались.

И вот снова приближается все тот же призыв к самому глубокому, самому лучшему, самому свободному в нас – призыв выбрать между свободой призрачной и свободой настоящей; между человеком, превращающим себя во «всесильного бога», и Богом, являющим себя в смиренном Человеке; между подчинением внешним авторитетам, призрачным ценностям, ограниченным истинам и свободой встречи с духом и истиной. И все это – призыв Рождества, правда Рождества, сила Рождества. Вот почему звучат в церквях эти удивительные слова: «Христос рождается, славьте; Христос с небес, встречайте; Христос на земле, возноситесь!»



## **Встречая Рождество. Приходит Сам, ибо совершенен**

Главное содержание праздника Рождества, а для верующих и главная радость его – то, что на землю пришел, в образе Младенца родился Сам Бог – остается, несомненно, безумием для неверующего рационалиста, привыкшего ко всему подходить с требованием непреложных доказательств.

Но весть о Боге, пришедшем в мир, кажется безумием не только современному человеку. Ее отвергали, над нею издевались и в древности. Уже апостол Павел говорил о христианстве, что оно для иудеев соблазн, а для еллинов безумие (1Кор.1:23). И действительно, Бог, рождающийся как Младенец в убогой пещере, Бог, распинаемый и умирающий на кресте, – все это кажется таким нелепым, таким чуждым самой идее Бога! Ведь Бог по определению должен быть существом неотмирным, потусторонним. К Нему применимы такие наименования, как «Высший ум», «Первопричина», «Провидение». О Нем можно философствовать, но как можно говорить о Его рождении, страданиях и смерти?

И антирелигиозная пропаганда, всегда выдающая себя за науку, пользуется этой «неувязкой», этим противоречием и всегда бьет в ту же точку: «Древние суеверия, легенды, и ничего больше!» Суеверие противоречит идее всемогущего и запредельного Бога, и потому оно ложное, сама же идея Бога противоречит науке, и потому она, идея эта, тоже ложная. Итак, вопрос решен: истина о жизни и смерти устанавливается в физических или химических лабораториях, и больше нигде.

Ведь вот сравнительно недавно еще радио «Москва» передавало беседу о происхождении религии, и в ней в который раз повторялись оскомину набившие утверждения: «Первобытный человек размышлял над сложными явлениями природы и своего бытия, но, не умея их правильно объяснить, связывал с действиями сверхъестественных сил. Отсюда видно, что социальные корни религии тесно переплетаются с познавательными. Религия есть род социального недуга, дурной

сон человечества, детская болезнь общественного развития». Нам казалось, признаюсь, что такого рода утверждения уже отжили свой век и недостойны столичного радио; нам казалось, что спор должен перейти в более высокий, идейный план, стать более интересным. Но, видимо, нет. И опять приходится удивляться тому, что к «первобытным людям» причислены Данте, Паскаль и Кант, Бетховен и Бах, Павлов и Достоевский. Ясно, что все эти доказательства – чепуха, не имеющая никакого отношения к выяснению истинной природы религии.

Гораздо важнее и интереснее то «противоречие» между идеей Бога и опытом Бога, на которое я только что указал и которое усматривается, как мы сказали, в празднике Рождества. С одной стороны – надмирность, отчужденность, неизменность Бога, с другой – Его устремление, приближение к миру и, наконец, встреча с ним. «Приближается Христос»<sup>351</sup> – так начинаются многие предрождественские песнопения Церкви. Приближается Христос, и вот навстречу Ему – звезда с неба, пастухи со своего поля, мудрецы с далекого Востока. Начинается удивительное движение навстречу друг ко другу Бога и мира, Христа и человека. И как же согласовать два этих подхода: чисто умозрительный, выраженный в отвлеченной идее Бога, и опытный, выраженный в радости сердца, которое услышало призыв: «Христос рождается, встречайте! Христос на земле, возноситесь!»?

Повторяю, с точки зрения элементарной логики, которую только и знает казенное безбожие, тут прямое противоречие. Но его нет, оно снимается в живом религиозном опыте всего человечества, в опыте, где религия и есть как раз то совпадение противоположностей, что бывает явлено конечному, высочайшему прозрению человека и составляет последнюю, самую глубокую его радость. В вере не только снимается противоречие, но в этом совпадении противоположностей раскрывается радостная тайна бытия, ибо Бог потому и приходит к нам, что Он совершенен.

«Совершенство», «надмирность», «вечность» – все это человеческие слова, указывающие на такую запредельную высоту, для которой, может быть, нет настоящих слов. Но в

религиозном опыте полнота жизни раскрывается как любовь: Бог – это совершенство, и потому Он любовь. А любовь – это всегда движение, всегда пришествие, встреча, слияние. «Приближается Христос» – вот вечное откровение о вечном Боге: Он Тот, Кто приходит, Кому я нужен, кого Он любит. И чем выше идея Бога, тем проще становится принять Его как любовь, как пришествие, как живую встречу. И потому вся история есть сплошное приближение, вхождение в мир Бога, про которого блаженный Августин еще сказал: «Для Себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится наше сердце, пока не найдет Тебя». Иными словами, противоречия просто нет: чем выше и совершеннее идея Бога, тем проще становится принять Его как любовь, как встречу, как пришествие. Над философией и ее определениями возвышается Живой Бог – Бог любви и движения, про Которого во все времена люди радостно утверждали, что Он приходит. Это знал такой великий специалист в области отвлеченной философии и точной науки, как Паскаль, который написал: «Бог живой, Бог не ученых и философов, а Бог Авраама, Исаака и Иакова»<sup>352</sup>.

Так идея Бога подводит к опыту Бога, а опыт Бога светит и согревает нас рождественским песнопением «Приближается Христос». Приближается Бог, и сама моя жизнь становится устремлением ввысь, встречей и соединением с Ним. Он родился в Вифлееме почти два тысячелетия назад. Но это событие как бы повторяется для каждого, кто верит во Христа. Оно происходит всякий раз, когда мы устремляем к нему свой духовный взор. Ибо Бог родился на земле потому, что Его извечной целью было всегда рождаться в сердце и жизни каждого человека.

## Встреча Рождество. Из очевидного сердцу

Как я уже говорил в прошлой беседе, праздник Рождества – это праздник главного христианского утверждения, что Бог во Христе принял нашу человеческую природу, стал человеком и даровал нам возможность жить богочеловеческой жизнью. Я говорил также, что утверждение это встречает самое сильное сопротивление и глубокое непонимание в современном мире.

Поэтому вернемся к этой теме еще раз. Спросим себя: что означает все сказанное для нас, называющих себя христианами? Отвечая на этот вопрос, я не намерен уходить в область философии или отвлеченного богословия. Ученик Христа оставил нам завет: «Каждому спрашивающему вас будьте готовы дать ответ о вашем уповании» (ср.: [1Петр.3:15](#)). Так вот, в чем мое упование? Почему ни многолетнее изучение естественных наук, философии и богословия, ни целая жизнь, прожитая в крупнейших центрах нашей технологической и материалистической цивилизации, не поколебали веру в то, что в Иисусе Христе соединились Бог и Человек? Почему все это, напротив, так укрепило ее, что вера в богочеловечество Христа видится мне последним и всеобъемлющим ответом на все «проблемы» бытия, над которыми тщетно бьется современное человечество при всех его внешних достижениях? На этот вопрос я хотел бы ответить как можно проще и как можно прямее.

И конечно, все в наших ответах на вопросы о конечном и главном всегда начинается с Бога, ибо что бы ни утверждали враги религии, религиозный опыт, т.е. опыт Бога и Божественного, многообразен. Так, первобытный человек называет Божеством, в сущности, ту тайну, которую не может разгадать сам, но всем своим существом ощущает в себе и вокруг. В мире действуют таинственные силы, как доброжелательные, так и враждебные человеку. И вот первобытная религия направлена, собственно говоря, не на Бога, а на эти силы – на то, чтобы при помощи обрядов, магии, жертв и т.п. враждебное превратить в доброжелательное. Таким

образом, первобытный человек стремится подчинить эти силы себе. Он еще не задается вопросом о добре и зле, об истине и лжи, как и вопросом о Боге. В его жизни, если можно так выразиться, все «религиозно» – повседневные занятия и отношения с другими людьми, любовь и смерть, – но религия эта замкнута целиком на каких-то таинственных силах, не на Боге. Это самый первый, самый древний религиозный опыт, который христианство называет теперь суеверием и с которым оно с самого начала вступило в смертельную борьбу.

На второй ступени религиозного опыта человек воспринимает Бога как верховный авторитет, высшую власть, переносит на Него собственные понятия о том, какими этот авторитет и эта власть должны быть. И вот те законы, те органы власти и порядка, которые человек находит в своем обществе и без которых он не может жить, возводятся им к Богу как верховному законодателю, источнику всякой власти и порядка. И если в первом религиозном опыте Бог – это некая сила, разлитая в природе, то теперь Он переживается как устроитель и законодатель человеческого общества. Итак, сперва бог-природа, затем бог-закон.

Но только на следующей, третьей ступени своего развития и углубления религиозный опыт освобождается от антропоморфизма и утилитаризма, т.е. от подчинения религии человеческим представлениям и нуждам. Только здесь религиозный опыт становится опытом встречи с Богом – встречи, в которой человек находит не отражение, но цель и смысл своего бытия, узнает о себе, что он призван к вечной жизни, к обладанию вечной мудростью и истиной, вечным добром и красотой. Только здесь Бог начинает переживаться как личный Бог, ибо встреча с Ним переживается как любовь, а любовь бывает только там, где есть любящий и любимый. Только тут вся природа и весь человеческий мир раскрываются как откровение Божественной любви, как то, что Бог создал Своей любовью и любовью же дарует нам как нашу жизнь, как нашу встречу с Ним – Вечной Любовью, Вечной Жизнью, недостижимым и вот близким, непостижимым и вот

открывающим Себя, запредельным и вот присутствующим в нас и исполняющим нас последней радостью.

В этом религиозном опыте кончается религия страха, тайны и закона, ибо тот, кто ощутил Бога, живет не страхом, а верой, не тайной, а знанием, не законом, а любовью. И только из этого опыта вырастает вера в пришествие Бога в мир, только из этого опыта вырастает опыт Бога, опыт Христа. Ибо пока Бог ощущается только как стихийная сила, только как власть и закон, ничего нельзя ни понять, ни расслышать в христианстве.

Но если мы ощутили Бога как надмирную и вечную Любовь, а человека и мир – как дар и отражение этой Любви в нас, то Его пришествие, Его близость к нам становятся самоочевидны – не разуму, быть может, а душе, сердцу, вере. Ибо разве не знаем мы всем существом своим, что там, где любовь, там всегда желание единства, стремление быть вместе, там движение друг к другу, ибо только в них и исполняет себя любовь. С веры в Бога-Любовь начинается наша вера в Христа.

## Встречая Рождество. Невидимый мир

В евангельском рассказе о Рождестве много раз упоминаются ангелы. Ангелы воспевают славословие в пустыне ночью и возвещают пастухам о рождении Христа; ангел является во сне Иосифу; ангельское внушение заставляет волхвов, минуя Ирода, уйти в свою страну.

Все это позволяет антирелигиозной пропаганде представлять Рождество Христово как один из многочисленных мифов, не имеющих под собой никакой исторической основы. «Ангелы – это сказки для детей и первобытных людей». Но и среди верующих есть много таких, кого смущают эти ангелы, как смущает их все сверхъестественное, чудесное в Евангелии. Все это заставляет нас лишний раз задуматься об ангелах и о том, какое место занимают они в нашем религиозном сознании. Особенно своевременно это в предрождественские дни, когда в самом воздухе, кажется, начинает звучать ангельская песнь: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк.2:14)

Слово «ангел» по-гречески означает «посланный», т.е. отправленный с поручением. Священное Писание часто употребляет в отношении ангелов и другое слово – «дух», подчеркивающее невидимость ангелов, недоступность их бытия чисто физическому восприятию. Какая же духовная реальность стоит за этими словами? На что они указывают?

Я бы ответил очень просто и кратко: они указывают на реальность духовного мира. Это значит мира, не познаваемого чувственным опытом, не подчиненного земным законам, но, тем не менее, вполне реального и очевидного духовному сознанию. Христианский Символ веры начинается с утверждения двух реальностей: видимой и невидимой, вещественно-материальной и духовной. «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Это утверждение – не выдумка. Оно основано на повсеместно-извечном опыте человечества. Ибо к этому невидимому, но очевидному для духовного взора миру

принадлежат и те понятия, которыми мы все время пользуемся, – ум, красота, любовь, духовность, доброта, умиление, сострадание. Но даже самый грубый материализм не может отрицать, что за этими понятиями стоит вполне определенная реальность. И как бы ни пытались вывести эту реальность из материи, приходится признать, что она есть. В самом деле, существует невидимая и таинственная «надстройка» над материальным, видимым «базисом» земного существования. Таинственная, ибо никакой эмпирический анализ, никакое исследование веса и состава мозга не объяснит возникновения той духовной реальности, которую мы называем Пушкиным или Бетховеном, преподобным Серафимом Саровским или Эйнштейном. Таким образом, даже при последовательно материалистических убеждениях невозможно отрицать невидимую, или духовную, сторону жизни, изучение и постижение которой глубоко отлично от изучения видимого, материального мира.

Но далее, так же очевидно, что два этих мира, видимый и невидимый, находятся в непрерывном взаимодействии. Официальный материализм признает лишь один аспект этого взаимодействия, утверждая, что все традиционно именуемое «духовным» зависит от материального и всецело им определяется. Но при этом материализм сам себе противоречит, ибо на деле постоянно руководствуется обратным принципом. Действительно, что лежит в основе всей атеистической пропаганды, как не убеждение, что духовное, т.е. слово и убеждение, способно влиять на материальное, или, иными словами, что невидимая реальность может оказывать эффективное воздействие на реальность видимую?

Но там, где материализм непоследователен и противоречив, христианское миропонимание, напротив, последовательно и состоятельно. Оно не отвергает материю во имя духа, как не отвергает невидимое во имя видимого. Оно просто говорит, что мир есть то и другое, видимое и невидимое, духовное и материальное, или, если пойти еще дальше, небесное и земное. Все то, что так очевидно каждому из нас в собственном опыте, все то, что так ясно выражено тютчевской



строкой «есть целый мир в душе твоей»<sup>353</sup>, христианство закономерно распространяет на строй всего мироздания, радостно утверждая о Боге, что Он Творец «небу и земли, видимым же всем и невидимым». «Так ты – жилище двух миров», – говорит тот же Тютчев, обращаясь к своей душе, и эту правду отрицать невозможно без трагического и в конце концов глупо-априорного упрощения человеческой сущности.

Духовный мир, духовная реальность... О ней говорят, на нее указывают понятия «ангел», «дух». Церковь не утверждает об ангелах ничего, кроме того, что есть духовный мир, живой и динамический, окружающий нас и таинственными путями открывающийся нам в редкие, исключительные минуты. Мы не знаем в деталях и не узнаем никогда, что произошло на том поле, той ночью с пастухами, не знаем даже их имен. Но если Лермонтов мог сказать: «В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом»<sup>354</sup>, если все поэты, да и все почти люди ощущали, пусть изредка, то, что Достоевский называл «касанием мирам иным», то мы не вправе отбросить евангельский рассказ как сказку или легенду. Или, вернее, мы должны признать, что все сказки и легенды, они в конечном итоге о той Правде, о которой иначе не расскажешь. И как только человек перестает тупо сопротивляться этому очевидному опыту духовного мира, как только допускает, признает его, слово «ангел» перестает казаться несуразным и ненужным. И внезапно ощущаешь, что есть, существует оно, это ангельское измерение бытия, что просвечивает дух сквозь плоть, что все вокруг нас полно таинственной жизни, силы и света.

И пусть тайна остается тайной, пусть невозможно перевести ее на сухой и скучный язык человеческой науки. Душа по-другому, иными путями узнает все то, что не только могло быть, но и вправду было: пустыня, ночь, очень простые, очень бедные люди и эта радостная хвала, этот неслышный уху, но всей глубиной души различимый голос: «Я возвещаю вам радость великую» (ср.: Лк.2:10). И голос этот мы снова начинаем слышать в эти предрождественские дни.

## Переживая Пасху. Это нельзя выдумать

Христос воскрес! – Воистину воскрес!

Как бы ни был далек человек от религии, от веры, от Церкви, он не может не знать этих слов, не может не чувствовать, что в них вложено нечто бесконечно радостное и глубокое. Ночь в церкви, когда вдруг вспыхивает свет, и радость, горячей волной заливающая сердца, когда раздаются эти слова!.. Ведь даже не веруя, нельзя не признать, что нет в жизни человека более светлых, чистых, небесных минут. И каждый год в мире раздается это благовестие о новой жизни, разрушении смерти, воскресении и обновлении. Каждый год со словом «Пасха» входит в нашу жизнь, хотя бы на время, вера, что новая жизнь и торжество любви возможны. Иначе о чем была бы наша радость и откуда бы рождалась эта потребность простить, забыть все злое и начать все заново по-хорошему, по-доброму? «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обьемем, рцем: братие. И ненавидящим нас простим...»<sup>355</sup> – поет Церковь в светлую ночь. И еще: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя; да празднует убо вся тварь...»<sup>356</sup>, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?.. Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство...»<sup>357</sup>

Такие слова, такие чувства, такой внутренний опыт нельзя выдумать. Эта светлая радость, поднимающаяся со дна души, это чувство добра и братства не могут быть каким-то ложным самовнушением, ибо нет ничего в мире человечнее, чем этот пасхальный свет. Никогда человек не бывает так похож на человека, как в момент, когда он озарен и наполнен этим светом любви.

Итак, задумаемся, вслушаемся, взглядимся в себя: способны ли мы еще увидеть, пережить этот радостный свет? Способны ли мы на чистую радость? Возможна ли Пасха в нашей душе? Иными словами, сохранилось ли еще в нас стремление к обновлению себя, всей жизни вокруг нас и всего мира, призванного стать общим Царством?

Если да, то праздник Пасхи – это праздник всех нас, всех людей.

Христос воскрес!

## Переживая Пасху. Радость любящих

С незапамятных времен в пасхальную полночь крестный ход, то есть множество людей со свечами в руках, обходит темный храм и останавливается перед его закрытыми дверями. И каждый раз приходит минута, когда все мы, не всегда даже сознавая это, задаем себе тот же вопрос, что и женщины, пришедшие «зело заутро, возсиявшу солнцу ко гробу» (ср.: Мк.16:2). Вопрос этот: Кто отвалит нам камень от двери гроба? (Мк.16:3)

В самом деле, произойдет ли и на этот раз то, что происходит всегда в такую же ночь? Ударит ли и на этот раз в сердце та же таинственная радость? Станет ли ночь светлее дня, как сказал когда-то очень давно один христианский проповедник<sup>358</sup>? Что мы празднуем? О чем эта радость? О чем этот свет?

Вот еще несколько секунд, и раздастся «Христос воскрес!», и уже не остановится пение, и начнет все наполняться ликованием. Но эти несколько секунд еще не прошли. Ночь еще не взорвалась, свет еще не ринулся сквозь тьму, побеждая ее своей радостью. И мы можем еще подумать о миллионах людей, для кого Пасха – ничего не значащее слово, смутное напоминание о чем-то невероятно далеком от современности, одержимой земными достижениями и успехами. Где во всем этом место Пасхе? Как хотя бы поверхностно, хотя бы намеком рассказать о ней тем, кто этого не хочет? Им так долго твердили, что Пасха – это пережиток исчезнувшего, утонувшего в безвозвратном прошлом мира, так долго – и, разумеется, «научно» – объясняли, откуда она произошла, их отделили такой глухой стеной от мира веры и радости, что они разучились слышать, понимать, вдумываться. И как объяснить этому самоупоенному миру, этому «современному человеку», убежденному, что он способен всего достичь, все понять, – как объяснить то, что необъяснимо на том языке, на каком обращается к нему антирелигиозная пропаганда? «Ага, – скажет он, – не можете объяснить? Значит, вы согласны, что вся ваша

религия и сама эта Пасха – всего лишь иррациональный дурман! Вы, следовательно, сдаетесь нам, для которых все объяснимо, все просто, как дважды два, все изложено в соответствующем идеологическом руководстве!»

И мы молчим. Но не потому, что нам нечего ответить, а потому, что нам от души жаль этого бодрого, самоуверенного человека со всей его одномерной цивилизацией. Он похож на того, кто сидит в комнате без окон, освещенной лишь электрической лампой. Действительно, все видно, ни на что не наткнешься, можно читать и писать, жить и даже быть счастливым. Но только если не знать, что есть солнце.

И вот современный человек попросту не знает, что солнце есть. Он никогда его не видел и убежден, что достаточно электрического света. К нему приходит тот, кто видел солнце, кто знает, как играет оно весной на молодой листве, как наполняет весь мир теплом, счастьем, ликованием. Но тот ничему не верит: «Я этого не видел, и, значит, этого нет и быть не может».

Повторяю: такого человека жаль, он не вызывает ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Но как бы хотелось взять его за руку и без всяких объяснений просто вывести на солнце: смотри, любуйся, радуйся! Но даже этих слов «любуйся», «радуйся» нет в его словаре, в его толстых учебниках и идеологических руководствах. Там все объяснено, но объяснено так, что в мире не на что больше любоваться и радоваться. А между тем вся Пасха – о мире, который озарен Солнцем Правды и который только в любовании этим Солнцем, только в радости о нем становится настоящим миром: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христово, в немже утверждается»<sup>359</sup>.

Нам говорят: «Но как можете вы радоваться тому, чего не видели, какой-то древней легенде? Как можно в наш век космических полетов верить, что женщины, пришедшие когда-то ко гробу своего Учителя нашли его пустым, а Учителя – живым?» На это можно ответить: «Да, меня не было тогда, в то утро в том саду; я не видел, как взошло утро этого дня, не слышал сам призыва “Радуйтесь!” и потому ничего не могу

доказать так, как вам хочется, т.е. – с помощью приборов и вычислений. Но я знаю одно: радость Пасхи реальна, и она продолжается, возвращаясь к нам всякий раз с той же силой, с той же самоочевидностью уже две тысячи лет. Так вот, спрошу и я вас: откуда она, эта радость? Почему мы готовы отдать все на свете, а Пасхи и пасхальной радости не отдадим? Мы знаем о воскресении Христа из мертвых не потому, что узнали об этом научным путем, но потому, что радуемся Его воскресению. Ничто в мире не бывает без причины. Так говорит наука, «ваша» и «наша», ибо наука одна. Нет и радости без причины. И все в религии можно выдумать, но радость ни выдумать, ни заказать нельзя. Мы стоим перед закрытыми дверями – сотни свечей, сотни освещенных лиц и тишина... Мы ждем. Но разве вы не видите, не чувствуете, не понимаете, что это все человечество, вся природа, весь мир стоят, озаренные надеждой, что выше и лучше этой минуты нет на земле?

Как будто с бесконечной высоты самого неба приходят, падают эти единственные, ни на какие другие не похожие слова: «Христос воскрес!» И радость – вот она, здесь, во мне, на этих лицах, в этих глазах, в этом сиянии огней! Она заливает сердце, соединяет всех, поднимает куда-то в самое средоточие света, и как будто не мы, а сам этот свет, сама эта радость отвечают, точно громом, точно бурей, точно молнией: «Воистину воскрес!» И никаких других доказательств не нужно, как не нужно доказательств тому, кто видит солнце, радуется и любит его, и сам наполняется, сам становится светом и любовью, и из глубины сердца говорит всему, что есть вокруг: «Радуйтесь!»

## Переживая Пасху. Доказательства не нужны<sup>360</sup>

Христос воскрес! – Воистину воскрес! «Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество есть торжество!»<sup>361</sup> Какие еще нужны слова? Действительно, сегодня «пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство»<sup>362</sup>. Но вот произносишь эти чудные слова, радуешься им, веришь в них – и тут же приходит на ум, сколько миллионов людей в эту единственную ночь, в этот лучезарный день не слышат их и, может быть, никогда не слышали! Скольким людям они ничего не говорят, ничего не возвещают! И сколько людей с враждой, скепсисом и иронией, слыша их, пожимают плечами! Как можно радоваться, когда столько людей не знают этой радости, отворачиваются от нее, закрывают ей сердце! И как объяснить им это, как тронуть этим их сердце? Ведь, опять-таки, что мы можем доказать? Сам Христос сказал про таких, что даже если кто восстанет из мертвых и явится им, они все равно не поверят (см.: Лк. 16:31). Что же можем мы со своими бедными «доказательствами»?

Но быть может, вся сила, вся победная сила Пасхи именно в том, что доказать тут ничего нельзя, что все человеческие доказательства как в одну, так и в другую сторону, весь бедный человеческий разум оказываются здесь бессильными.

Вот в конце прошлого века в самом сердце России в семье священника растет мальчик Сережа, Сергей Булгаков. Растет, овеянный поэзией и красотой церковных служб, безотчетной, слепой, бездоказательной верой. Никаких вопросов, никаких доказательств... «Да они и не возникали, – писал он позже, – не могли возникнуть, эти вопросы в нас самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы любили храм и красоту его служб. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися»<sup>363</sup>.

Но вот пришло время доказательств и вопросов. И из этого детства, безотчетного, бездоказательного, вышел искренний, горячий, честный русский мальчик в безверие, в атеизм, в мир

только доказательств, только разума. Сережа Булгаков, сын смиренного кладбищенского священника, стал профессором Сергеем Николаевичем Булгаковым, одним из вождей русской «прогрессивной» революционной интеллигенции, русского научного марксизма. Германия, университет, дружба с вождями марксизма, первые научные труды, политическая экономия, слава ученого, уважение, как тогда говорили, всей «мыслящей России»... Если кто-нибудь прошел весь путь вопросов и доказательств, так это действительно он. Если кто постиг всю науку и ее якобы увенчание и «вершину» – марксизм, так это он; если кто отвернулся от бездоказательной, безотчетной веры, так это он. Несколько лет ученой славы, несколько толстых книг, сотни последователей...

Но вот постепенно, одно за другим рухнули и в пыль обратились эти «доказательства», вдруг не осталось от них ничего. Что же случилось? Болезнь, умопомешательство, горе? Нет, ничего не случилось внешне, житейски. Случилось то, что душа, что глубина сознания перестала воспринимать эти плоские вопросы и эти плоские ответы. Вопросы перестали быть вопросами, ответы – ответами. Вдруг стало ясно, что все это ничего не доказывает: рынки, капитал, прибавочная стоимость... Что знают они, что могут сказать они о душе человеческой, о вечной ее неутоленности, о той неизбывной жажде, что не умирает никогда на последней глубине, в последних тайниках этой души? И началось возвращение. Нет, не просто к безотчетной детской вере, не просто к детству. На всю жизнь остался Сергей Николаевич Булгаков ученым, профессором, философом, только теперь о другом стали вещать его книги, о другом, совсем о другом загремело его вдохновенное слово.

Я вспомнил о нем в этой сегодняшней пасхальной радости, потому что лучше всех, мне кажется, отвечает он нам всей своей жизнью, всем своим опытом на вопрос: как можно доказать? И вот он снимает этот вопрос, ибо он-то знал всю силу и всю немощь всех доказательств, он-то уверился, что Пасха не в них и не от них. Вот послушаем его в пасхальный день под самый конец его жизни. «Когда отверзаются двери, – говорит он, – и мы входим в сверкающий огнями храм при пении ликующего



пасхального гимна, сердце наше заливают радость, ибо Христос воскрес из мертвых. И тогда пасхальное чудо совершается в наших сердцах. Ибо мы видим Христово воскресение; “очистив чувства”, мы зрим “Христа блистающуюся” и приступаем “исходящу Христу из гроба, яко жениху”. Мы тогда теряем сознание того, где мы находимся, выходим из себя самих. В остановившемся времени, в сиянии белого луча пасхального погасают земные краски, и душа зрит только неприступный свет Воскресения: “Ныне вся исполнишася света, небо, и земля, и преисподняя”. В пасхальную ночь дается человеку в предварении уведать жизнь будущего века, вступить в Царство славы, в Царство Божие. Неимеет слов язык нашего мира, чтобы выразить в них откровение пасхальной ночи, это радость совершенная. Пасха – это жизнь вечная, состоящая в боговедении и богообщении. Она есть правда, мир и радость о Духе Святом. Было первое слово воскресшего Господа в явлении женщинам – “Радуйтесь!” и слово его в явлении апостолам: “Мир вам!”»<sup>364</sup>

Это, повторяю, слова не ребенка, не простачка, еще не достигшего «вопросов» и «доказательств», – это слова того, кто уже после вопросов, после доказательств. Это не доказательство Пасхи – это свет, сила и победа самой Пасхи в человеке.

Поэтому в эту светлейшую и радостнейшую ночь нам нечего доказывать. Мы только можем всему миру, всем дальним и ближним из полноты этой радости и этого знания сказать: «Христос воскрес! – Воистину воскрес Христос!»

## Переживая Пасху. Не поздно еще<sup>365</sup>

Не поверил ученик Христа Фома, когда сказали ему другие ученики, что они видели воскресшего Учителя. «Если сам не увижу, не поверю. Если сам не прикоснусь, не ощущу, не трону, – не поверю» (ср.: Ин.20:25). И конечно, то же самое вот уже веками повторяет человечество. Разве не на этом «увижу, прикоснусь, проверю» основана вся наука, все знание? Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии? И не только невозможного, но как будто чего-то неправильного требует от нас Христос: Блаженны невидевшие, – говорит Он, – *и уверовавшие* (Ин.20:29).

Но как же это так – не видеть и поверить? Да еще во что: не просто в существование некоего высшего, духовного существа, Бога, не просто в добро, или справедливость, или человечность, нет! – а в воскресение из мертвых, в то неслыханное, ни в какие рамки не укладывающееся благовестие, которым живет христианство, которое составляет всю его сущность: «Христос воскрес!» Откуда же взяться этой вере? Разве можно заставить себя поверить в такое? И вот с печалью или же с озлоблением уходит человек от этого невозможного требования и возвращается к своим, простым и ясным: увидеть, тронуть, ощутить, проверить...

Но вот что странно: сколько он ни смотрит, ни проверяет, ни прикасается, все остается столь же неуловимой и таинственной та последняя истина, которую он ищет. И не только последняя истина, но и самая простая житейская правда. Человек как будто определил, что такое справедливость, но нет ее на земле: все так же царят на ней произвол, и насилие, и жестокость, и ложь. Свобода? Да где она? Вот только что на наших глазах люди, утверждавшие, что они владеют настоящим, всеобъемлющим, «научно-обоснованным» счастьем, – люди эти сгноили в лагерях миллионы других людей, и все во имя «счастья», «справедливости», «свободы»! И не убывает, а усиливается гнетущий страх, и не меньше, а больше ненависть в мире, и не исчезает, а возрастает в нем горе. Увидели,

проверили, тронули; все рассчитали, все проанализировали, создали в своих ученых лабораториях и кабинетах самую что ни на есть научную и проверенную теорию счастья, но выходит так, что не получается от нее даже самого маленького, житейского счастья, что не дает она самой простой, непосредственной, живой радости и все только требует новых жертв, новых страданий, умножает море ненависти, преследований и зла.

А вот Пасха спустя столько столетий и это счастье, и эту радость дает. Тут как будто и не видели мы, и проверить не можем, и прикоснуться нельзя, но подойдите к храму в пасхальную ночь, взгляните в лица, озаренные неровным светом свечей, вслушайтесь в это ожидание, в это медленное, но такое несомненное нарастание радости. Вот в темноте раздается первое «Христос воскресе!», вот гулом тысячи голосов прокатывается в ответ «Воистину воскресе!», вот открываются двери храма, и льется оттуда свет, и зажигается, и разгорается, и сияет радость, которой нигде и никогда нельзя испытать, как только тут, в этот момент. «Красуйся, ликуй!» – откуда же эти слова, откуда этот вопль, это торжество счастья, откуда это несомненное счастье, это несомненное знание? Действительно, блаженны невидевшие и уверовавшие! И вот тут-то как раз доказано и проверено: придите, прикоснитесь, проверьте, ощутите и вы, маловерные скептики, слепые вожди слепых!

Фомой Неверным, т.е. неверующим, называет Церковь усомнившегося апостола. И как примечательно то, что вспоминает о нем и нам напоминает сразу же после Пасхи, первое воскресенье после нее называя Фоминым. Ибо и вспоминает, и напоминает, конечно, не только о Фоме, но о каждом человеке и обо всем человечестве. Боже мой, в какую пустыню страха, бессмыслицы и страдания забрело оно, человечество, при всем своем «прогрессе», при всем своем синтетическом «счастье»! Достигло Луны, победило пространство, завоевало природу... Но кажется, ни одно слово из всего Священного Писания не выражает так состояние мира, как это: «Вся тварь стенает и мучается, ожидая избавления» (ср.: Рим. 8:22–23). Именно стенает и мучается, и в этом

мучении ненавидит, в этих потемках истребляет самое себя и держится только пустой, бессмысленной гордыней: «Если не увижу, не поверю...»

Но Христос сжалился над Фомой, пришел к нему, и сказал: «Вложи пальцы свои в раны Мои от гвоздей и прикоснись ко Мне, и не будь неверующим, но верующим» (ср.: [Ин.20:27](#)). И Фома упал перед Ним на колени и воскликнул: Господь мой и Бог мой! ([Ин.20:28](#)). Умерла в нем его гордость, его самоуверенность, его самодовольство: я, мол, не так, как вы, меня не проведешь. Поверил, отдал себя и в ту же минуту достиг той свободы и радости, того счастья и знания, ради которых как раз и не верил, ожидая доказательств.

В эти пасхальные дни стоят перед нами два образа: воскресшего Христа и неверующего Фомы. От одного исходят и льются на нас радость и счастье, от другого – смятение и недоверие. Кого же мы выберем, к кому пойдем, которому из двух поверим? От одного сквозь всю человеческую историю идет к нам никогда не пресекающийся луч пасхального света, пасхальной радости; от другого – темное мучение неверия и сомнения. В сущности, мы и проверить можем теперь, и прикоснуться, и увидеть, ибо радость эта среди нас, здесь, сейчас, и мучение тоже. Что же выберем мы, чего захотим? Может быть, не поздно еще воскликнуть не только голосом, но и всем существом своим, как воскликнул Фома неверующий, когда наконец прозрел: Господь мой и Бог мой!? И поклониться, как сказано про него далее в Евангелии.

## Переживая Пасху. «Прииди и виждь»

Христос воскрес! – Воистину воскрес Христос!

Небыло и не будет на земле более радостных слов, пусть понимаем мы их по-разному, пусть не всегда догадываемся, не всегда храним в сердце то, что они возвещают, о чем свидетельствуют, к чему зовут. Все это от нашей человеческой слабости, от маловерия, от суеты, в которой мы живем, от неспособности сосредоточиться на главном – на том, что Христос назвал «единым на потребу».

И все же когда слышим мы эти слова, этот возглас и сами отвечаем на него, когда ударяет в сердце этот прилив радости, когда загорается ночь этим непонятым, но таким победным светом, где-то на самой последней глубине своей мы знаем, что касаемся самого важного, самого священного – касаемся, по слову Достоевского, «миров иных».

Боже мой, сколько усилий было положено, чтобы развенчать, оклеветать, оплевать эту глубину, это чувство священного! В каком плоском, бесцветном и унылом мире мы приучились жить! Как давно появились и как всеильны по видимости эти важные люди, «научно» объясняющие тайну жизни, или, вернее, утверждающие, что никакой тайны нет, а есть химия, физика, биология, с помощью которых мы все постигнем и придем к полному счастью!

Но пока нам только и объяснили, что человек – продукт безличных законов природы, что вся его история, все его развитие – продукт животной борьбы за существование, что смысл и содержание этого грядущего счастья в разрешении («научном» и «окончательном»!) экономических проблем. И нет во всех этих объяснениях ни йоты радости, не излучают они никакого света, зато неуклонно создается на их основе железобетонный муравейник, пронизанный такой безысходной тоской, что люди убегают оттуда в пьянство, разврат, одиночество – куда угодно, только бы забыться. Да, из такого миропонимания не могла родиться Пасха, не могла воссиять неизъяснимая радость, не могло зазвучать: «Ныне вся

исполнишася света: небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь востание Христово, в Немже утверждается».

Но вот есть она, Пасха, есть пасхальная радость, есть пасхальный свет, и каждый год мы убеждаемся, что века отрицания и преследования, века сведения человека к безличной материи их не уничтожили. Нет, ни «объяснить», ни «доказать» мы ничего здесь не можем. Как объяснить слепому красоту солнечного утра? Как объяснить глухому красоту бетховенской симфонии? Как доказать материалисту реальность духа? В том-то и дело, что слова «Христос воскрес! – Воистину воскрес!» – не объяснения, не доказательства, а явление такой реальности, которая, будучи реальностью, не требует ни объяснений, ни доказательств, как не требует их ни любовь для того, кто любит, ни красота для того, кто ее созерцает, ни радость для того, кто радуется. В том-то и дело, что мир, сведший все к объяснениям и доказательствам, постепенно теряет способность верить, любить и радоваться; в том-то и дело, наконец, что сама Пасха есть чудо неумирающей веры, неистребимой любви, неисчерпаемой радости в мире.

Итак, мы только и можем из глубины, из реальности этой веры, любви и радости воскликнуть: «Христос воскрес!» И обратить это восклицание к каждому, на каждого направить любовь, силу и радость этого утверждения, как бы говоря: «Не верьте, не поддавайтесь тому плоскому, безрадостному, безлюбивому объяснению мира, которое вам навязывают! Здесь перед вами иной мир, красота и глубина которого несоизмеримы ни с чем на земле. Здесь перед вами вечный свет утра, когда засияла в мире благая весть о том, что вере и любви суждено победить и саму смерть».

Поглощена смерть победою ([1Кор.15:54](#)) – восклицает апостол Павел. И вот из века в век переходят эта победа и эта несокрушимая уверенность, что смерть не есть последняя правда о жизни, что не может погаснуть любовь, раз вспыхнувшая в сердце, не может уйти и раствориться в небытии

единственная, неповторимая, несущая в себе вечность человеческая душа.

«Христос воскрес!» – будь это неправдой, откуда взялась бы наша радость? Откуда приходил бы этот свет и торжество пасхальной ночи? «Христос воскрес!» – будь это обманом, как мог бы жить этот обман две тысячи лет? Все проходит, все умирает, все исчезает. Но вот не умирает Пасха, не умирают этот свет и это торжество, бросаются друг к другу в объятия люди, обмениваясь поразительным приветствием. И потому всякому ищущему, жаждущему, алчущему только и можно сказать: Прииди и виждь ([Ин.1:46](#)).

## Свидетельства. «Глас хлада тонка»<sup>364</sup>

Что лежит в основе религии? – Опыт встречи человека с Богом.

Я говорю это, и сразу же чувствую, насколько такой ответ и прост, и сложен. Он прост, потому что всякий верующий немедленно с ним согласится: «Да, именно встреча, другого слова не подыщешь. Нелогические выводы, не доказательства, а встреча, столь несомненная для души, что после нее непонятно, как можно было не верить, спорить, сомневаться. Но ответ этот и сложен, ибо как только пытаешься объяснить, передать опыт этой встречи привычными словами, чувствуешь бесконечную трудность и даже невозможность слова эти найти. И потому так часто слова наши бывают не те, не о том.

В одной из древнейших книг, Библии, в Третьей книге Царств есть удивительный рассказ о таком опыте встречи с Богом. Там повествуется о голосе Божиим пророку Илии, когда он находился в пещере на горе. И сказал ему голос: Выйди и стань на горе... и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь” (3Цар.19:11–12).

Какие удивительные слова: веяние тихого ветра (или в славянском переводе: глас хлада тонка), и там Господь! Что означают они? Прежде всего то, что не во внешних и внешностью своей подавляющих явлениях совершается встреча души с Богом. Буря, землетрясение, огонь – все это символы внешних событий, всего того, что своей грозной и неодолимой мощью оказывает на нас устрашающее воздействие и хотя бы на время поработает, лишает внутренней свободы.

И именно страхом человека перед такими явлениями объясняют происхождение религии ее враги: человек ищет веры, потому что ему страшно. Однако книга Царств,



написанная тысячелетия тому назад, утверждает: нет, не в этих явлениях, не в буре, не в землетрясении и огне, не в порабощении души и ума начало веры! Нев этом встреча с Богом, не в этом суть религиозного опыта, а в веянии тихого ветра – в гласе хлада тонка. Именно здесь нет ни принуждения, ни подавления, ни устрашения. Ибо не в том ли главная особенность этого тихого веяния, что его можно не заметить, не расслышать внутренним слухом, если душа наполнена иным.

Как удивительно и насколько противоречит всем утверждениям казенного атеизма это через все Священное Писание проходящее откровение! Ненасилует нас Бог, не устрашает Своим могуществом, не принуждает поверить в Него, но приходит к нам в тихом, едва различимом веянии, где мы встречаем Его не запуганными рабами, но как свободные сыны.

Другая книга Священного Писания, Книга пророка Исаии, дает нам образ будущего Спасителя, в Котором совершится последняя, решающая встреча человека с Богом. Нет в Нем ни вида, ни величия, – говорит Исаия, – и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни..... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис.53:2–6).

Христиане всех времен видели в этом тексте пророчество о Христе и Его пришествии к людям. И действительно, что другое можно сказать о Христе, Чей образ извечно светит нам со страниц Евангелия? И не в том ли вся глубина, вся неповторимость христианства, что в средоточие его – Муж скорбей, в Ком встретились Бог и Человек, но Кто не имел ни вида, ни величия и был презираем всеми, искавшими Бога лишь в бурях, землетрясениях и огне, т. е. в подавлении и принуждении.

Но не было никогда, да и сейчас нет никаких внешних причин, которые вынуждали бы человека верить в Христа, с любовью принимать Его в свое сердце и восклицать по примеру

римского сотника, видевшего Его казнь: «Воистину Человек этот – Сын Божий» (см.: Мф.27:54). К Христу приводит только свобода, ибо весь Он, все Его учение, вся Его проповедь к нам есть веяние тихого ветра, и лишь на самой глубине своей – там, где царит тишина и куда не доходят бури и землетрясения человеческой истории, чувствует душа это тихое веяние, слышит глас хлада тонка.

## Свидетельства. Живая встреча (С. Булгаков)

В прошлой беседе я говорил о религиозном опыте как опыте встречи с Богом – встречи решающей, которая не столько отвечает на сомнения и колебания, сколько снимает, так сказать, весь вопрос. Сегодня хотелось бы привести пример такой встречи, взятый из автобиографии Сергея Николаевича Булгакова, бывшего в конце прошлого века одним из вождей марксизма в России, а позже, после разрыва с марксизмом – виднейшего представителя русской религиозной философии. Вот как описывается им собственное обращение к вере в книге «Свет невечерний»<sup>366</sup>.

«Мне шел двадцать четвертый год, но уже почти десять лет в душе моей воцарилась религиозная пустота ... О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь! Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости ... И тогда неожиданно пришло то... Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу...

Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем блаженного заката. Вдали синели уже ближние Кавказские горы. И, вперя жадные взоры в открывшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла к тупой, молчаливой боли в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской ... И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: α если есть... если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь... Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость... А если... если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил пред лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и

слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, ато, мертвящее и пустое, слепота и ложь? Но разве это возможно? разве не знаю я... что Бога нет, разве вообще об этом может быть разговор? могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не испытывая панического страха пред “научностью”? ... О, я был как в тисках, в плену у “научности”, этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков! Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей! И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу... Закат догорел. Стемнело. И то погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись, – от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось... И Бог отошел ...

Но вскоре опять то заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа! Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя истаевала от восторга. И то, что на миг блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело... в торжественном, дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное неподвижное днесь. “Ныне отпускаеши” звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе: победы над смертью! Хотелось в эту минуту умереть, душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и сияло красотой первоиздания»<sup>367</sup>.

Таково описание изначального религиозного опыта Сергеем Николаевичем Булгаковым, выдающимся русским христианским философом. И подчеркну еще раз: это написано рукой человека, в ранней молодости отбросившего религию ради

науки и научности, сыном кладбищенского священника, ставшим вождем русских марксистов и признанным авторитетом в самой что ни на есть марксистской науке – политической экономии. И к решающему опыту этому привели его не житейская неудача, не горе, не страх, то есть не одна из тех причин, в которых официальная доктрина безбожия видит источник религии, не бегство от чего бы то ни было, а эта радостная встреча, это прикосновение к душе чего-то несказанного, невыразимого и в то же время неотразимо победного. Нестрах, не страдания, а радость. Неусилия ума, а откровение красоты.

И позднее, уже открыто и сознательно вернувшись в Церковь, став священником и богословом, Булгаков, сам переживший этот личный опыт встречи с Божеством, уверенно сказал: «Религия зарождается в переживании Бога, и как бы ни кичилась мудрость века сего, бессильная понять религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвлением, – те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о Нем»<sup>368</sup>.

Булгаков – только один из бесчисленного множества людей, попытавшихся опыт этот, встречу эту описать в словах. Есть и другие – и много их, на Востоке и на Западе, повсюду, – которые пережили эту встречу и записали ее, оставили нам это драгоценное свидетельство. В следующей беседе послушаем некоторых из них.

## Свидетельства. Живая встреча (А. Фроссар)

«Религия зарождается в переживании Бога... те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о Нем»<sup>369</sup>. Этими словами русского религиозного мыслителя и богослова, а в прошлом марксиста Сергея Николаевича Булгакова закончил я прошлую мою беседу, в которой приводил его же рассказ о своем обращении, о своей встрече с Богом и о переживании Бога.

Сегодня пример такой же встречи с Богом я хочу привести из совсем другой среды, другого мира. Несколько лет назад вышла книга известного французского журналиста Андре Фроссара<sup>370</sup>, в которой он, тридцать с лишком лет спустя просто и спокойно рассказал о своем религиозном обращении. Булгаков был сыном священника, семинаристом, потерявшим веру и вновь обретшим ее. Он вырос в Церкви, и память о вере всегда так или иначе жила в нем. Но журналист Фроссар родился и вырос в среде стопроцентно безбожной и антирелигиозной. Отец его был первым в истории французского коммунизма секретарем Коммунистической партии<sup>371</sup>, а позднее – виднейшим вождем социализма. Фроссар-сын рассказывает, что все его знания о христианстве ограничивались сведениями, почерпнутыми из произведений Жан-Жака Руссо и Вольтера. Никаких метафизических исканий, никакой метафизической тоски он не знал. И вот солнечным июльским днем произошло событие, о котором он поведал только тридцать лет спустя.

Дело происходит в Париже. Молодой Фроссар едет в автомобиле своего друга, они собираются вместе поужинать. Друг его останавливает автомобиль около одной ничем не знаменитой парижской церкви и просит Фроссара подождать несколько минут, пока он зайдет в соседний дом по одному спешному делу. Фроссар пишет: «О чем я думал в этот момент – не помню, но во мне не было никакого волнения, ни грусти, ни тоски. Мой спутник вышел из машины. Что же касается меня, спокойного безбожника, то я не знал, конечно, что через несколько минут стану христианином, что мне наскучит ждать в

автомобиле и я войду через маленькую железную дверь в церковь – войду как зевака, желающий поглазеть на произведения искусства. Мой взгляд различит огоньки свечей, монахинь, застывших в полумраке, ярко освещенный престол и внезапно, не знаю почему, остановится на второй свече слева от Распятia. Нена первой, не на третьей, а на второй... И в этот момент внезапно начнется то, что в одно мгновение разрушит абсурд моего существа и преобразит меня в ребенка, которым я никогда до этого не был. Сначала я услышу слова “духовная жизнь”, сказанные не мне, а произнесенные рядом со мною кем-то, кто видит нечто, чего я еще не вижу. И едва успев расслышать последний слог, я буду захвачен каким-то потоком, устремившимся не сверху, а снизу. Нет, небо не раскроется – оно хлынет, словно выплеснувшись из маленькой церквушки, где до этого тайно присутствовало. Какими словами все это выразить? Я видел перед собой цельный кристалл, ослепительно светозарный, чье сияние, как я отчетливо помню, пронизано синевой. Тобыл мир иной, но такой светлый и такой подлинный, что в его свете наш мир казался слабой тенью какого-то неясного сна. Этот иной мир и есть действительность, и есть истина. Я так ясно вижу его с темного берега, к которому все еще привязан! И на самой вершине, за этой светозарной мглой – несомненное для меня присутствие Того, Чье существование я за минуту до этого отрицал и Кого христиане называют Отцом. И радость – радость спасенного, радость потерпевшего крушение, но вовремя избавленного от гибели! Все эти чувства, которые я с таким трудом пытаюсь выразить на заведомо негодном языке, все эти чувства даны мне сразу, как единое чувство, единый опыт, и я спустя столько лет по-прежнему не могу осознать всей их бездонной глубины. Все пронизано присутствием Того, Чье имя я уже никогда не смогу произнести без страха оскорбить Его любовь и перед Кем я имею счастье быть прощенным ребенком, который рожден непрестанно узнавать, что все и всегда есть дар».

Так описывает французский журналист Фроссар свою встречу с Богом – встречу, определившую всю его жизнь. Он не стал ни монахом, ни священником, как ему хотелось в первый

момент после этого переживания. В жизни его было много трагедий. Война, сопротивление нацистским оккупантам, тюрьма, где он ждал смертной казни. Фроссар потерял двоих детей, испытал полную меру страданий. Одно никогда не дрогнуло в нем – простая, детски радостная вера, полученная им как дар в той таинственной и лучезарной встрече с Богом. «То, что я написал о Боге, – говорит он, – написано только затем, чтобы вы еще больше любили Его, если вы Его уже любите. А если не знаете Его – то для того, чтобы хоть раз подумали о Том, к Кому тянется, неведомо для самой себя, каждая душа. Ибо человек – дитя любви, и он призван вернуться к любви своей верой и надеждой, сквозь страдания и смерть. И призвание это человек не в силах в себе уничтожить».

Булгаков и Фроссар – люди разных миров, разных культур, разные во всем. И вот все тот же опыт света, радости, полноты и все та же не умирающая с той поры уверенность, что этим светом, этой радостью и этой полнотой вошел в их жизнь Сам Бог.



## Свидетельства. Живая встреча (Н. Мотовилов)

Говоря о религиозном опыте, или, точнее, о встрече с Богом, лежащей в основе веры, я в моих предыдущих беседах приводил примеры такой встречи из автобиографии отца Сергия Булгакова и из книги французского журналиста Андре Фроссара. Все это наше время, наши современники. Но к какой бы эпохе, к какой бы среде такие примеры ни относились, самое поразительное в них – тождественность содержания. Везде те же слова, те же образы, и это несмотря на полную невозможность каких бы то ни было соприкосновений между свидетелями этого опыта. .

Вот еще один пример, взятый на этот раз из записок русского помещика Николая Александровича Мотовилова, посетившего в конце двадцатых годов прошлого века старца Серафима Саровского и записавшего свою беседу с ним<sup>372</sup>. Записки эти пролежали неизвестными свыше шестидесяти лет и были открыты только в начале нынешнего века. Мотовилов, как принято говорить в наше время, интересовался религиозными вопросами и для разрешения их обращался к разным лицам. Приехал он и к старцу Серафиму, и тот принял его.

В ответ на обычный вопрос, в чем смысл жизни, как найти Бога, как жить, старец сказал, что смысл жизни состоит в стяжании благодати Святого Духа. Тогда Мотовилов спросил: «Но как же и где я могу ее, эту благодать, видеть? Добрые дела видны. А разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мною Он или нет?»

Старец сказал: «Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания: “Видел Адам Господа, ходящего в раю” (ср.: Быт.3:8) и все те места, где говорится о явлении Бога людям. Вот некоторые и говорят: “Эти места непонятны. Неужели люди так очевидно могли видеть Бога?” А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание оттого, что мы удалились от простора первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о чем другие до

того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога не казалось странным. Бога и благодать Святого Духа люди не вовне видели и не в исступлении расстроенного воображения, а истинно въяве».

Мотовилов отвечал: «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божиим. Как мне самому распознать Его истинное явление?»

«Тогда отец Серафим, – свидетельствует Мотовилов, – взял меня крепко за плечи и сказал: “Мы оба теперь в Духе Божиим с тобою. Что же ты не смотришь на меня?” Я отвечал: “Немогу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли”».

«Представьте себе, – продолжает он, – в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну, и снег, падающий сверху, и меня, и старца. “Что же чувствуете вы теперь?” – спросил меня отец Серафим. “Необыкновенно хорошо!” – сказал я. “Да как же хорошо?” – “Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу”. – “Что же еще чувствуете вы?” – спросил меня отец Серафим. “Необыкновенную сладость!” – отвечал я. И он продолжал: “От этой сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете?” – “Необыкновенную радость во всем моем сердце!” И отец Серафим продолжал: “Когда Дух Божий снисходит к человеку, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радости, ибо Дух Божий радостотворит<sup>373</sup> все, к чему бы Он ни прикоснулся. Но как бы ни была утешительна радость эта, все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам Господь устами Своего

апостола сказал, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1Кор.2:9). Предзадатки этой радости даются нам теперь. Если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована на небесах плачущим здесь, на земле?»».

Таков рассказ Мотовилова. Как видим, снова, хотя и в других словах, свет, радость, полнота. Словно через века и через пространство перекликаются друг с другом все те, кто имеет опыт этой живой и самоочевидной встречи, этого прикосновения Бога к душе. «И все же, – могут возразить нам, – это немногие, это единицы!» На это ответим так: «Многие или немногие, мы не знаем. Ибо сколько из них нашли нужным рассказать об этом опыте, а сколько живут им потаенно, из боязни, что, рассказав о нем, покажутся гордецами, ищущими признания! Так или иначе, одно несомненно: каждый верующий, если только по-настоящему вдумается в жизнь свою, вспомнит таинственное мгновение, когда совершилось это прикосновение, когда дан был, пусть мимолетный, опыт света, радости и полноты. Небудь этого, нам, в сущности, не о чем было бы говорить и мы не знали бы, как объяснить самое таинственное, в сущности, из всех слов человеческих – “Бог”».

Но остается несомненным, что всякий раз, когда мы по-настоящему верили, не было в душе страха и уныния – только любовь, только радость, только свет. Се, стою у двери и стучу (Откр.3:20). Слышим ли мы этот стук Божественной любви в наше сердце?

## Свидетельства. О беседе преподобного Серафима с Мотовиловым

В истории русского Православия нет более яркого и вместе с тем более простого описания прямого религиозного опыта, чем запись беседы, какую имел русский помещик Николай Александрович Мотовилов с преподобным Серафимом Саровским.

Преподобный Серафим скончался в 1833 году, и в последние годы его жизни слава о нем как о замечательном старце-монахе, который помогает всем приходящим, распространилась по всей России. Одним из таких пришедших к нему за советом и помощью в духовных исканиях был Мотовилов, человек образованный и начитанный. Мы приводим отрывки его записи, только чуть-чуть упрощая трудные и для современного уха непривычные церковнославянские выражения<sup>374</sup>.

«Это было в четверг, – начинает Мотовилов, – день был пасмурный, снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда отец Серафим начал беседу со мной на ближней своей пажинке. “Господь открыл мне, – сказал старец, – что с детства вы усердно желали знать, в чем состоит цель нашей христианской жизни”. Я должен прибавить тут, что с двенадцатилетнего возраста мысль эта меня, действительно, неотступно тревожила. И я, действительно, ко многим обращался с этим вопросом. “Но никто, – продолжал отец Серафим, – не сказал вам о том, зеленому. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. Но они не так говорили, как бы следовало. И вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит”».

В рукописи за этим введением следует пространная запись слов преподобного Серафима о том, что целью христианской жизни является соби́рание, или «стяжание», Святого Духа. Но Мотовилов все не удовлетворяется, он хочет большего:

«Батюшка, вот вы все говорите о стяжании Святого Духа как о цели христианской жизни, но как же и где я могу Его видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мною Он или нет?»

На это преподобный Серафим отвечает: «Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания: “Видел Адам Господа, ходящего в раю” (ср.: Быт.3:8) или когда мы читаем у апостола Павла: “Мы пошли в Ахайю, и Дух Божий был с нами” (ср.: Деян.16:6–7). Вот некоторые говорят: эти места непонятны, неужели люди могли так очевидно видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание оттого, что мы удалились от простора первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам и кажется непостижимым то, что древние так ясно понимали».

Когда же Мотовилов все еще не понимает и спрашивает: «Каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Святого Духа?» – старец Серафим отвечает: «Это очень просто!» «Он взял меня, – продолжает рассказчик, – крепко за плечи и сказал мне: “Мы оба, батюшка, теперь в Духе Божиим с тобою, что же ты не смотришь на меня?” И я отвечал: “Я не могу смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли”. Отец Серафим сказал: “Небойтесь, и вы теперь сами так же светлы, как и я. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть”. Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе: в середине солнца, в самой яркости его блистательных лучей, человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение его рта, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, но не видите ни самих себя, ни фигуры его, а один только свет ослепительный, простирающийся далеко кругом и озаряющий ярким блеском и поляну, и покрывающий ее снег, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и старца.

– Что же вы чувствуете теперь? – спросил меня отец Серафим.

– Необыкновенно хорошо, – сказал я.

– Да как же хорошо? Что именно?

Я отвечал:

– Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу.

– Это тот мир, – сказал отец Серафим, – про который Христос сказал своим ученикам: Мир Мой даю вам: не так как мир дает, Я даю вам (Ин.14:27). Что же еще чувствуете вы?

– Необыкновенную сладость, – отвечал я.

И он продолжал:

– От этой сладости наши сердца как будто тают и мы оба исполнены такого блаженства, какого никаким языком выражено быть не может. Что же вы еще чувствуете?

– Необыкновенную радость во всем моем сердце.

И отец Серафим продолжал:

– Когда Дух Божий нисходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии: “Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Когда же родит, то уже не помнит скорби за радость, яко человек родися в мир”» (ср.: Ин.16:21).

Эта запись Мотовилова с предельной ясностью раскрывает нам реальность религиозного опыта как основу веры и религиозного сознания. Повторим снова: религии рождаются не из умозаключений и доказательств, а из исканий, из духовной жажды и духовного голода всего существа человеческого. А про это искание раз и навсегда, навеки, сказано: Ищущий находит, и стучащему отворят (Мф.7:8).

## Часть V. Таинство таинств

## Таинство таинств. Два замечания

Несколько слушателей просили меня, и неоднократно, объяснить в этих беседах смысл Божественной литургии. Дело в том, что именно на литургию, на то самое богослужение, что с первых дней христианства составляло средоточие всей христианской жизни, всегда были направлены громы и молнии антирелигиозной пропаганды, насмешки и разоблачения так называемого научного атеизма. И это потому, что в убого-упрощенном мировоззрении, выдающем себя за последнее слово человеческой науки, нет и конечно не может быть места духовным реальностям, о которых свидетельствует и которые выражает собою христианское богослужение.

В самом деле, так легко, казалось бы, высмеять странное действие, относительно которого вполне взрослые люди утверждают, будто хлеб и вино превращаются здесь в тело и кровь Человека, умершего почти две тысячи лет тому назад, и что главное назначение христианства в том, чтобы все люди в этом странном действии участвовали. Какая легкая мишень для антирелигиозной пропаганды! И вот она начинает на все лады «развенчивать» литургию: «пережиток древних кровавых жертвоприношений, когда приносившие жертву тут же и съедали ее», «варварский обычай, бессмысленный и дикий» и т.д., и т.д., и т.д. Бесчисленные брошюры, музейные экспозиции с текстами и диаграммами...

Конечно, христианин, у которого есть личный и непосредственный опыт литургии, знает бессмысленность всей этой атаки, не имеющей никакого отношения к тому, что реально происходит в храме. Он знает всю духовную глубину и красоту этого ни с чем не сравнимого священнодействия. Но вокруг нас миллионы тех, кто этого непосредственного опыта и знания не имеет и с детских лет воспитан на плоской псевдонаучной пропаганде! И они продолжают думать, что в христианских храмах совершаются какие-то архаические обряды, во время которых люди в странной одежде произносят таинственные заклинания, убеждая всех веровать в некую «магию» с хлебом и



вином. Вот почему о литургии нужно говорить, вот почему нужно объяснять ее пресловутому современному человеку, который, быть может, внезапно для себя увидит, что служба эта имеет самое прямое отношение к нему, к его жизни, к его столь далеким, казалось бы, от религии и богослужения интересам и чаяниям.

Мой метод в этих беседах будет очень простым. Я начну не с «древних верований и обрядов», как делает обычно антирелигиозная пропаганда, а с того, что сейчас, в наши дни совершается каждое утро в бесчисленных храмах по лицу всей земли. И вот самое первое и простое, что нужно понять: для миллионов людей это таинство хлеба и вина есть самое насущное в их жизни, и оно не только не уводит их в какое-то «архаическое» и «примитивное» мировоззрение, но, напротив, видится им ключом к пониманию современного мира, его сложной, противоречивой и трагической судьбы.

Но прежде чем перейти к объяснению каждого священнодействия литургии, сделаем два замечания. Первое относится к последней трапезе Христа с учениками, за которой Он, согласно Евангелию, и установил это таинство хлеба и вина. Это произошло всего за несколько часов до Его ареста, суда, страданий и смерти на Кресте. Христос послал двух учеников с поручением приготовить комнату, в которой Он мог бы совершить пасхальную трапезу с двенадцатью апостолами. И вот во время ужина, когда по тогдашнему обычаю глава дома должен был преломить хлеб и раздать его присутствующим, а также разделить с ними чашу вина, Христос к обычным словам традиционной молитвы благодарения прибавил слова о хлебе: Сие есть Тело Мое (Мф.26:26; Мк.14:22) и о вине: Сие есть Кровь Моя (Мф.26:28; Мк.14:24) и потом Сие творите в Мое воспоминание (Лк.22:19)<sup>375</sup>. И с тех пор христиане делали это всегда.

Второе замечание касается пищи и питания, как понимал его, да и сейчас понимает верующий человек. Ненужно никаких экскурсов в историю первобытных религий, чтобы почувствовать исключительное значение пищи в жизни человека (материализм же и всю человеческую историю выводит из экономики, из

необходимости для каждого прокормить себя и своих). Несколько упрощая, можно сказать: пища – это жизнь, ибо она есть то, что постоянно претворяется в тело и кровь человека, делая его живым. С этой точки зрения можно утверждать, что в мире безостановочно совершается превращение, или пресуществление, пищи, «хлеба насущного», в тело и кровь, в жизнь. И потому для человека всех времен прием пищи всегда был не просто физиологическим процессом, но и торжественным актом. В самом деле, семейное собрание, встреча гостя, выражение дружеских чувств – почему все это всегда воплощалось и воплощается в застолье, пиршестве? Повторяю: и без всяких эзотерических объяснений ясно, что пища именно в силу своего физиологического значения имеет и значение символическое, в котором сходятся основные для человека понятия о мире и жизни как общении, любви, единстве.

Все эти простые и бесспорные вещи нужно помнить, когда мы подходим к объяснению центрального христианского богослужения – Божественной литургии.

## **Таинствотаинств. Для всех, от имени всех, всеми**

Нет для христиан ничего более святого и сокровенного, чем служба, которая издревле называется Божественной литургией и которую завещал Сам Христос, установивший ее в ночь, когда Он предан был в руки врагов.

В ту ночь, когда евреи совершали свой праздник Пасхи – воспоминание об избавлении от египетского рабства, – Христос, по рассказу евангелиста, послал двух учеников приготовить горницу большую, устланную (Мк.14:15). Они сделали, как Он сказал, и приготовили пасху. А одним из главных обрядов, совершавшихся той ночью в каждом еврейском доме, была молитва благодарения, которая произносилась главой семейства над хлебом и чашей вина. Этот обряд и исполнил Христос. По словам евангелиста Луки, когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания... И взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою... И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается ... Так же и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Лк.22:14–15,17,20). Сие творите в Мое воспоминание (Лк.22:20).

И вот с тех пор никогда не переставали христиане, сходясь вместе на собраниях Церкви, приобщаться Тела Христова под видом хлеба и Крови Его под видом вина. Было время, когда они не имели общепризнанной записи учения Христа и апостолов, т.е. Четвероевангелия. Было время, когда они, преследуемые Римской империей, не имели храмов, когда не существовало ни икон, ни богословских трактатов, ни христианских школ – всего того, без чего немислима теперь Церковь и церковная жизнь. Но в истории христиан не было с той единственной ночи такого времени, когда не собирались бы они совершать в воспоминание о ней службу приношения хлеба и вина.

Об этом богослужении, которое христиане называют, как мы сказали, Божественной литургией, а еще – Евхаристией (что в переводе с греческого и означает «благодарение»), или Трапезой Господней, – написаны сотни, тысячи книг. Историки и богословы проследили развитие литургии на протяжении двухтысячелетней истории христианства как на Востоке, то есть в грекоязычной части Римской империи, так и на латиноязычном ее Западе. Сегодня нам известно, что развитие это было сложным, что Литургия, какой мы знаем ее теперь, не сразу приобрела такую торжественность и обрядовое богатство, такое оформление в словах и песнопениях. Но известно также и то, что в сердцевине своей она осталась неизменной как воспоминание о Христе в Им Самим установленном и нам заповеданном акте – приношении хлеба и вина, в освящении их молитвой благодарения в причащении им, по словам молитвы, как «самому Пречистому Телу и самой Честной Крови»<sup>376</sup> Господа и Спасителя мира Иисуса Христа.

Каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье, т.е. в день, который в древней Церкви назывался, а у греков и поныне называется «День Господень», все христиане, живущие в каком-либо городе, собирались, согласно древнему памятнику, «в одно место» и происходило «раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено было благодарение»<sup>377</sup>. «Дары эти – говорит тот же автор, – заповедал приносить Господь наш Иисус Христос в воспоминание страдания, подъятого Им за людей, очищающих свои души от всякого греха, а вместе для того, чтобы мы благодарили Бога как за то, что Он сотворил для человека мир и все, что в нем находится, так и за то, что освободил нас от греха, в котором мы были, и совершенно разрушил его власть над нами»<sup>378</sup>.

«Собрание», «приношение», «благодарение», «освящение», «причащение» – слова эти, определяющие последовательность Божественной литургии, ее содержание и смысл, имеют ключевое значение для всей христианской веры. Поэтому постараться постичь это «святое святых» Церкви – службу, в которой бьется ее сердце, в которой навеки выражена и каждый

раз заново выражается и исполняется ее сущность и земное назначение, – значит постараться постичь само христианство.

Наше объяснение литургии уместно начать с краткого растолкования самого этого термина. «Литургия» – слово греческое, которое в классическую эпоху древнегреческой культуры означало служение, осуществляемое отдельными гражданами или группой граждан от имени и для пользы всего общества. И именно этим словом христиане называли богослужение, через которое Церковь выполняет свою миссию по отношению не только к ее членам, но и ко всему миру, всему творению. Так слово «литургия» стало означать не просто общее дело, но дело, совершаемое для всех, от имени всех и, на последней своей глубине, всеми. Неслучайно в самый торжественный момент литургии, на вершине молитвы благодарения, священник, поднимая приносимые Ему дары ввысь, к небу, к Богу, возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»<sup>379</sup>. Этот всеобъемлющий – небесный и земной, Божественный и человеческий, всемирный и надмирный смысл богослужения Евхаристии, в котором, повторяю, во всей полноте раскрывается смысл христианства, мы и попытаемся заведомо немощными словами передать в дальнейших беседах. И пусть основным тоном их будут слова одной из самых древних молитв литургии, дошедших до нас: «Благодарим Тя, Отче наш, за жизнь и знание, которые Ты явил нам чрез Сына Твоего Иисуса; Тебе слава вовеки. Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана Церковь Твоя от концов земли в Твое Царство. Ибо Твоя слава и сила – чрез Иисуса Христа вовеки»<sup>380</sup>.

## Таинство таинств. Вечно новое понимание

Продолжая объяснение Божественной литургии, я хочу остановиться сегодня на самом слове литургия.

Слово это греческое, и в древнем, дохристианском мире оно имело вполне определенное, но не религиозное значение. Литургией в греческом городе-государстве называлась должность или деятельность, совершаемая для блага всего общества. Так, например, литургией было устройство общественных игр, столь популярных в античной Греции, литургией был надзор за общественными школами и т.д. Иными словами, понятие «литургия» подразумевало общее дело, совершаемое от имени всех и для блага всех.

VIII веке до нашей эры в Александрии был осуществлен перевод Ветхого Завета на греческий язык, и слово «литургия» использовалось в нем для обозначения особой миссии еврейского народа, состоявшей в приготовлении мира к пришествию Мессии, то есть Спасителя – иными словами, в приготовлении всего человечества к спасению от зла, греха и смерти. Таким образом, и здесь слово «литургия» означало общее дело, общее служение, выполнение миссии, необходимой для человечества. Я останавливаюсь на истории этого слова потому, что в применении его христианами к главной своей службе уже заключен глубочайший смысл и, главное – новизна христианского и церковного понимания богослужения. И на этой новизне следует остановиться.

Дело в том, что религию критикуют и осуждают чаще всего как эгоистическую сосредоточенность человека на себе и своем благополучии (не важно, материальном или духовном). Разве не слышим, разве не читаем мы постоянно заезженные осуждения вроде следующих: «Религия уводит от земных интересов; религия приводит к равнодушию, злу и несправедливости; религия – это величайшая форма эгоизма». Но сколько бы ни было в этих суждениях злостного преувеличения и попросту клеветы, некое зерно истины в них все же есть. Ибо в своем первичном, первобытном воплощении религия действительно в

определенной степени понималась как гарантия здоровья, успеха, безопасности, благополучия и т.д. Люди приносили жертвы, чтобы спасти себя от землетрясений и наводнений, испросить у Бога урожай, победить врагов. И богослужение, особенно же древнейшая его форма – жертвоприношение, в известной мере служило таким эгоистическим, если угодно, целям.

Но потому-то так важно понять и прочувствовать ту глубочайшую революцию, что совершило внутри самой религии христианство, и прежде всего – учение Иисуса Христа. Свою проповедь, Свои заповеди Христос противопоставляет не просто безбожию, злу и греху, а в первую очередь – ложной религии. И ложной тем, что под видом служения Богу она оказывается служением себе, своим интересам, своему эгоизму. Пойдите, научитесь, – говорит Христос, – что значит: милости хочу, а не жертвы? (Мф.9:13) И все учение Его, а вернее сказать – вся Его жизнь состояла в обличении этой псевдорелигии и провозглашении религии истинной, которая вся в последнем счете сводится к заповеди любви. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою...Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин.13:35,15:13). Вместо молитвы о себе и своем благополучии здесь предлагается отдать себя на служение другим. В притче о последнем суде мерилom нашей религии, единственным и окончательным, оказывается только то, послужили ли мы другим – страждущим, голодным, больным, заключенным, исполнили ли мы эту всеобъемлющую заповедь любви (см.: Мф.25:31–46).

Повторяю: христианство означало глубочайшую революцию внутри самой религии, перевод ее в совершенно новое измерение. И революцию эту лучше всего выражает то, что главное свое богослужение христиане называли литургией – словом, которое, как я только что показал, заключало в себе идею общего дела на благо всех, исполнение спасительной миссии. Оно выражало глубочайшую перемену в основной направленности религии, некогда сосредоточенной на себе и своем, но превратившейся в служение всем. Ибо литургия – это

служение, выполнение мною и моими братьями нашего христианского назначения в мире. Назначение же это указано Самим Христом: «Если вы Мои ученики, – говорил Он, – то поступайте в мире сем, как Я» (см.: [Ин.8:31;13:35](#)). А мы знаем, как поступал Он: отдал всего Себя за жизнь, спасение и вечную радость мира.

Таков изначальный смысл слова «литургия» в христианстве. И в раннехристианские времена его употребляли не только применительно к богослужению, но и по отношению к особому призванию, особому служению, особой функции каждого христианина (литургия епископа, литургия диакона, но также и литургия каждого члена) Церкви, ибо все и каждый призваны к продолжению служения Христа, к исполнению великого и действительно общего дела любви. И если потом, с течением времени слово «литургия» все больше и больше сужалось до своего, так сказать, собственно «литургического», или богослужебного, смысла, то это потому, что именно в богослужении, и прежде всего в Евхаристии, христиане видели источник вдохновения для своего служения в мире. Они собирались вместе в воспоминание Христа, чтобы снова услышать Его слова, Его призыв к служению, чтобы снова и снова убедиться в вечной новизне, вечной силе этого учения; чтобы обрести эту силу в любви друг к другу и в общей радости; для того, наконец, чтобы, выйдя с этой трапезы Господней, нести в мир заново обретенную веру и радость, служа ими миру, то есть совершая свою литургию.

В следующей беседе мы постараемся показать, каким образом Божественная литургия выражает это вечно новое понимание религии, внесенное в мир Христом, и каким образом она, по видимости отделяя нас от мира, одновременно открывает нам, в чем состоит христианское служение в мире.



## Таинство таинств. Небывалая связь

В прошлой беседе я начал объяснение Божественной литургии, то есть самого главного и самого священного для христиан богослужения, с самого слова «литургия». Оно означает, говорил я, «общее дело», то есть акт служения, совершаемый не только сообща, всеми, но также от имени всех и для всех. Это «от имени всех и для всех» подразумевает не только всех христиан, всех членов Церкви, но и всех людей и, более того, весь мир как творение Божие. Но потому и смысл этого слова остается не вполне ясным без отнесения его к другому ключевому для христианства слову. Если Литургия есть общее дело Церкви и дело, совершаемое ею от имени всех и для всех, то это значит, что конечный свой смысл оно получает от того, что вкладывается нами в слово «Церковь».

В греческом языке ему соответствует слово *ἐκκλησία* (экклеси́а), означающее буквально «собрание призванных», то есть тех, кого призвали и чей долг – прийти. Происходит оно от глагола *καλέω* (калэ́ω) – «призываю, созываю, зову». Это позволяет уяснить не только всю важность для христиан понятия Церкви как собрания, но и всю исключительность христианства среди остальных религий. Христианство вошло в мир не просто как идея, как отвлеченное учение, которое каждый человек может принять, с тем чтобы осуществить в своей индивидуальной жизни. Оно вошло в мир прежде всего как совершенно новая, доселе не бывшая связь между людьми – как связь видимая, конкретная и все время осуществляемая как собрание. Прежде чем Христос стал учить и проповедовать, Он призвал двенадцать учеников, которые на протяжении всего Его земного служения были с Ним, собранные вокруг Наставника и образующие первую и основную ячейку нового единства. После смерти и воскресения Христа ученики, по слову Священного Писания, «пребывали вместе» (ср.: Деян.1:14,2:1) – вместе друг с другом и со всеми, кто уверовал в Него, так что о самих этих уверовавших говорится, что «Бог прилагал их к Церкви» (ср.: Деян.2:47).

Выше я сказал, что это изначальное воплощение христианства в Церкви как собрании, в том, чтобы быть вместе, есть явление в религиозном смысле исключительное. Действительно, все остальные известные нам религии – за исключением ветхозаветной еврейской, к которой я еще вернусь, – не были Церковью, то есть не воплощали свою сущность в некоем специфическом сообществе. Язычество, например, было явлением социальным, т.е. религиозной проекцией семьи, государства, той или иной профессии. Но представляя их перед Богом (или богами), оно не составляло Церкви. Одно только ветхозаветное еврейство было в известном смысле «церковью», ибо утверждалось на идее богоизбранного народа, т.е. народа, выделенного Богом из всех других для служения Ему Одному и для раскрытия Его воли в человеческой истории. Однако «церковь» эта была как бы слита с одним конкретным народом и им ограничена. Новизна же и исключительность христианства состояла именно в том, что христианская Церковь или, как называли себя христиане, «новый народ Божий», не сводилась к каким-либо земным признакам. Как писал апостол Павел в Послании к галатам (то есть к христианам, жившим в Галатии), все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал.3:27–28). Подчеркнем это одно, ибо оно означает не только то, что всякий человек, независимо от всех природных ограничений, может уверовать в Христа, принять Его учение, исполнять Его заповеди, но также и то, что все уверовавшие соединены между собою новой связью, составляют новое единство. И единственная основа, единственное содержание этого единства – Сам Христос.

Церковь для первых христиан была реальностью, несоизмеримой с государством, нацией, общественным устройством. Как говорит один христианский писатель II века, «нам всякое отечество – чужбина, и всякая чужбина – отечество»<sup>381</sup>. И это ощущение, этот опыт принадлежности к новому народу, состоящему из всех призванных, в истории

религии представляется действительно чем-то совсем новым и исключительным. Быть христианином означало быть в Церкви, быть членом нового народа Божия, собранного и созданного Христом. Новизна эта была столь радикальна, что вступление в новое единство переживалось как смерть и возрождение – как смерть всего старого, то есть жизни, ограниченной природными формами, и как рождение в новую жизнь, которую тот же апостол Павел определяет как жизнь «не по стихиям мира сего, а по Христу» (ср.: [Кол.2:8](#)), ибо Христос во главу всей жизни поставил любовь. Поэтому и Церковь связана изнутри прежде всего любовью: любовью ее членов к Христу, любовью в Нем друг к другу и ко всем, ибо Христос пришел в мир для спасения всех людей. Итак, Церковь есть единство; единство выражает и воплощает себя в собрании; собрание есть собрание любви.

И вот теперь, после этого краткого экскурса, мы можем сказать, что Божественная литургия, которая заключается в совместном нашем причащении Тела и Крови Христовых, есть таинство любви. Любви Бога к миру, любви Христа к людям, любви людей к Богу, любви их во Христе друг к другу. Литургия – это таинство Церкви как любви и таинство любви как единства. И потому она есть общее дело, источник самой жизни Церкви и жизни в ней каждого христианина.

Только после этих предварительных замечаний можно перейти к объяснению актов, или священнодействий, Божественной литургии.

## Таинство таинств. Небопроницаемый мир

В прошлой беседе я говорил, что само слово «литургия» означает «общее дело», несет в себе идею служения другим – миру, людям. Это обстоятельство следовало особенно подчеркнуть, ибо оно указывает на подлинную революцию, какую произвело христианство в мире религии. Если раньше, до проповеди Христа, функция религии сводилась преимущественно к помощи, защите, ограждению от всевозможных страхов (и в этом смысле религия действительно выражала природный эгоизм человека), то в христианстве – во всяком случае, в его замысле и предельном воплощении – религия всецело и до конца подчинилась идеалу любви, самоотдачи, жертвенного служения. Христианство – это религия Христа, а Христос живет в памяти и опыте Церкви как Спаситель, Который избавляет человека, принося Себя в жертву.

Отсюда самый первый и самый глубокий смысл Литургии, который состоит в том, что она, будучи общим делом, есть продолжение служения Христа. Литургия для того и установлена, для того и совершается, чтобы Его любовь и милосердие, Его призыв к человеку, Его заповедь совершенной жизни продолжались в мире.

И тут мы подходим к парадоксу, на котором необходимо остановиться. Ведь религию вообще и христианство в частности обвиняют все в том же эгоизме, в равнодушии к миру. Огромные и богатые храмы, длинные торжественные службы, как бы растворяющие наше сознание в своей красоте и уводящие от скучной, трудной, часто трагической действительности, песнопения, призывающие нас отложить попечение обо всем земном, – все это разве не подтверждает правоту знаменитых слов о религии как «опиуме для народа»? Неопровергают ли эти призывы от всего уйти, погрузиться в сладостное небытие наше объяснение литургии как действия, превращающего всю христианскую жизнь в подлинное служение? Не об этом ли

писал Лермонтов в своем «Ангеле» – стихотворении о душе: «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли»?

Итак, небо или земля? Я думаю, что понять христианское богослужение во всей глубине невозможно, если не принять лежащий в основе его парадокс. Парадокс же этот в том, что служить миру по-настоящему можно, лишь уйдя из него вначале. Чтобы исполнить в мире то, чему учит и к чему зовет Христос, нужно сперва обратить свой взор – и более того, все сознание, всю душу, все существо свое – ввысь. Небо или земля? На вопрос этот христианство отвечает – и прежде всего своим богослужением, своей Литургией – не просто «и небо, и земля», но «небо на земле», то есть земля, пронизанная небом и небесным, небо как мерило всего земного.

Еще одно сравнение: чтобы увидеть окрестности, понять их красоту, но также и то, чем они живут и в чем нуждаются, нужно подняться на гору. Как мало видно снизу! И пока мы сами – часть этого низа, этой суеты и шума, что мы видим и что мы знаем? Непознается ли все по-настоящему лишь из некоего отдаления, из некоей отрешенности? Пока мы судим о людях и мире по газетам и радиопередачам, по мимолетным встречам и т.п., мы ничего о них не знаем. Но вот мы удалились, взойшли на гору, и с этой высоты, из света и тишины этого восхождения видим и узнаем то, чего никогда не увидели и не узнали бы, оставаясь внизу.

Так и богослужение. Да, оно сначала уводит, да, оно призывает сперва закрыть глаза, затворить слух, или, вернее – всматриваться и вслушиваться в иное, увидеть то, чего мы обычно не видим, услышать то, чего обычно не слышим. «Всякое ныне житейское отложим попечение»<sup>382</sup>, «Да молчит всякая плоть человека... и ничтоже земное в себе да помышляет»<sup>383</sup>, «Горé имеем сердца!»<sup>384</sup> (т.е. возведем на высоту души и сердца, посмотрим ввысь) Да, все это – уход, и к нему всегда призывает, его поистине всегда требует христианство, и он составляет как бы первое движение, первый акт литургии.

Вот вошли мы в храм и сразу пересекли таинственную черту, которая отделяет мир (то есть все этим словом

называемое – заботы, суету, погружение в повседневность) от... А в самом деле – от чего?

Оглядевшись, мы и в храме увидим, в сущности, тот же мир, но совсем в ином свете и облики. Это пространство, возводящее к алтарю и самой направленностью своей зовущее нас ввысь... Эти лики икон, то есть образы все тех же людей, но изливающие на нас подлинно небесный свет, словно они так очистили, истончили, преобразили себя подвигами, молитвой, любовью, что теперь сами являют собою небо. И отовсюду в храме льется на нас эта небесная красота, небесная правда. И каким бедным, плоским и пустым кажется теперь оставшийся за дверями его мир!

Таков первичный опыт богослужения, знакомый каждому, кто в богослужении участвовал. Это уход не в какой-то другой мир, а в мир все тех же звуков и красок, движений и слов, но такой, где они становятся совершенно иными. Вступив туда, мы узнаём в нем наш собственный мир, но обновленный, очищенный, преображенный, весь струящийся светом и добром, радостью и красотой. И с этим опытом прямо связано первое назначение богослужения: ощутимо явить правду о мире, о его замысле, о его богоданной сущности – правду, которую мы иначе не могли бы почувствовать, потому что духовно ослепли и оглохли.

И вступая в этот небом пронизанный мир, мы восходим ввысь, но не затем, чтобы просто отдохнуть от грубой земной жизни, не для погружения в какую-то сладостную нирвану, но чтобы там, наверху, найти путь подлинного служения миру, изнемогающему во тьме, суете и зле.

## Таинство таинств. Явление единства

Собрание Церкви – так в прошлой беседе предложил я определить первый акт, или священнодействие Божественной литургии, самого главного богослужения христиан. Итак, собрание Церкви или, лучше, Церковь как собрание, ибо, как я уже говорил, само греческое слово *эклесия* в буквальном переводе означает «собрание». На этом определении я настаиваю потому, что в нем наиболее ясно, наиболее полно выражен и явлен изначальный смысл христианства. Христос пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино (Ин.11:52). И в ночь предательства Он молится Отцу о Своих учениках, чтобы они были едины, как един Он, Христос, Сын Божий, со Своим Отцом.

В мире – с этого всегда нужно начинать объяснение христианства – воцарилось разделение. Разделение между людьми, разделение между человеком и природой, разделение внутри самого человека. Говоря о грехе, Евангелие имеет в виду не нарушение закона, правила, нормы, а прежде всего отпадение человека от Бога. И результат этого отпадения – борьба всех против всех. Разделение в мире имеет поистине всеобъемлющий характер, ибо, как нетрудно показать, даже то, что по видимости объединяет одну часть людей, разъединяет их со всеми остальными. Всякое «мы» определяется в первую очередь через самопротивоположение «им», каждое «я» – через самоутверждение перед «ты». Упрощая, можно сказать, что мир, созданный как любовь и единство, превратился во вражду и разделение. И это случилось потому, что человек, призванный все соединять в любви и единстве, сам отделился от Бога, противопоставил себя Ему, захотел жить для себя, а не для Бога и в Боге. Поскольку же истинный смысл жизни – только от Бога и в Боге, жизнь стала тьмой, в которой идет, как мы сказали, страшная борьба всех против всех.

И вот к людям, находящимся в этой тьме разделения и вражды, или, как говорит Священное Писание, «сидящим во тьме и тени смертной» (ср.: Мф.4:16), пришел Христос, явился

Спаситель. Пришел с новой заповедью о любви и единстве как смысле и содержании жизни. И с Его пришествия, с явления в Нем Божественной любви началось и вечно происходит собрание «рассеянных чад Божиих» воедино. Поэтому христианство вошло в мир и пребывает в нем как Церковь, т.е. как собрание и единство. Поэтому и главный акт, в котором Церковь являет закон своей жизни законом любви и единства, есть Божественная литургия, всегда начинающаяся как собрание и зримое соединение. Поэтому, наконец, и все акты самой Божественной литургии суть акты любви и единства, явление и осуществление той новой жизни, что воссияла внутри тьмы и ужаса разделения.

В свете этого назначения Церкви и нужно рассматривать собрание, с которого начинается Литургия и которое есть исполнение слов Христа: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф.18:20). Это собрание – не толпа, которая ужасает тем, что хотя участники ее по видимости сплочены, склеены в какую-то массу, каждый все равно остается в одиночестве, всегда отделен и готов обороняться от остальных, но собрание любящих Христа и в Нем узнающих, любящих и приемлющих друг друга. Мы идем в церковь, чтобы быть с Христом, но, встречая Христа, встречаем тех, кто любит Его и кого любит Он. И вот мы уже вместе, и вот мы уже одно. Неодинокие в своем эгоизме и непрерывном самоутверждении индивиды, не безличная, подавляющая личность толпа, но собор, единство, любовь.

Я знаю, конечно, что и в самой Церкви много разделения, что многие ищут в ней и в ее богослужении только своего. Но тогда и духовно, на глубине не получают они того дара новой жизни, в сообщении которого все назначение, вся сущность Церкви. И если мы хотим хотя бы отчасти проникнуть в эту сущность, ответить на вопрос: для чего нужна она, Церковь? – то ответ – только тут, в словах Христовых: «Я пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино» (ср.: Ин.11:52).

Итак, мы собраны в Церкви прежде всего затем, чтобы быть едиными во Христе, явить самим себе и миру любовь Христову. Нет, не затем, чтобы просто помолиться (ибо молиться можно и



дома, в одиночестве, и сам Христос сказал: Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись (Мф.6:6)), не затем, чтобы насладиться красивыми обрядами и песнопениями, а затем, чтобы исполнить заповедь Христа и в самих себе осуществить Его прошение к Отцу: Да будут все едино (Ин.17:21). Собираясь в храм для участия в литургии, мы на время оставляем повседневные заботы и суету. Войдя в храм, мы пересекаем черту, отделяющую нашу старую, всегда старую жизнь с ее непрестанной борьбой и разделением от новой, где все возвещает о любви и единстве, зовет к ним, являет их Божественную силу и красоту. Так, с этого собрания всех за одним богослужением, с собрания всех во Христе начинается наше общее дело – Божественная литургия.

## Таинство таинств. Собрание

Продолжая начатое в прошлых моих беседах объяснение православной литургии, я останавлиюсь сегодня на первой ее части, которая с самых ранних дней христианства называлась «собранием». Здесь следует заметить, что литургия всегда состояла из двух частей: первой, в центре которой чтение Священного Писания, и второй, выстроенной вокруг приношения и благословения хлеба и вина. Но и та и другая части предполагают как необходимое условие именно собрание, то есть соединение верующих в одном месте.

Характерно, что само слово «церковь» (по-гречески ἐκκλησία) означает прежде всего собрание, то есть видимое единство всех верующих. Так, когда апостол Павел в одном из своих посланий пишет христианам: Когда вы собираетесь в церковь... (1Кор.11:18), то для современного уха это звучит как «когда вы идете в церковь», т.е. в храм. Но достаточно вспомнить, что во времена апостола, да и двести лет после него у христиан не было и не могло быть храмов (ибо религия их запрещалась римской властью и принадлежность к ней каралась смертной казнью), чтобы понять: апостол имеет в виду совсем иное, а именно составление христианами Церкви как видимого и живого единства. Перевести слова его на наш язык можно приблизительно так: «Когда вы, собравшись вместе, составляете живое духовное единство...»

Так вот, это собрание было с самого начала главным актом, центром всей христианской жизни. Английский ученый Дикс<sup>385</sup> хорошо показал, что основным, если не единственным преступлением христиан с точки зрения Римской империи было еженедельное (в первый день недели) собрание. Верой христиан римская власть интересовалась мало, частной их жизнью – еще меньше, а вот собрание это нарушало римский закон, не допускавший никаких частных обществ и собраний. Иными словами, идя по воскресным дням в свое собрание на литургию, христианин каждый раз рисковал жизнью, и из древних памятников христианства мы знаем, что именно эти

собрания часто были поводом для преследования христиан как римской толпой, так и самой государственной властью. И несмотря на это, участие в таком собрании, или в Церкви, было для христиан столь важным и насущным, что на протяжении двухсот с лишком лет они готовы были рисковать всем, включая жизнь, чтобы на нем присутствовать.

Все это указывает на центральность идеи собрания в христианстве, и потому на нем нужно остановиться. А понять его, опять-таки, легче всего от обратного – от тех привычных и примелькавшихся обвинений, которые сыпятся на религию. Когда идеологи безбожия говорят о религии, они неизменно имеют в виду либо религиозное учение, т.е. догму – систему представлений о Боге, мире, человеке и т. д., либо то, что сами же называют «культом» или «обрядами», т.е. «таинственные» и большей частью «непонятные» церемонии, совершаемые священником перед молящимися как перед зрителями. Но при этом замалчивается то, что основная форма культа и, следовательно, обряда в христианстве есть именно собрание, и это, в свою очередь, потому, что в центре христианской проповеди и веры стоит восстановление единства. «Я пришел, – говорит Христос, – чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино» (ср.: [Ин.11:52](#)).

Главное зло, главный грех – это разделение, это распад жизни, это воцарившаяся в мире борьба всех против всех, это утверждение каждым себя самого как последней и самодовлеющей ценности, это истекающие отсюда недоверие и зависть, вражда и ненависть. И этому разделению и распаду христианство противопоставляет собрание, собрание, собор. Глубоко знаменательно то, что когда христианство после двухсот лет гонений и преследований получило наконец свободу и возможность строить особые здания для собраний, здания эти так и стали называться собранием, т.е. церковью, и не только назвались собранием, но и сами сделались воплощением его идеи. Православный храм – это прежде всего живой символ восстановленного единства, любви, лада. Небо и земля, люди (живые и умершие),

животные, растения, вся природа – все тут соединено в один собор, все заново связано любовью и миром.

И потому первым актом литургии – как, впрочем, и всякого христианского богослужения – всегда является это собрание всех в Церковь, этот живой опыт единства всех в Боге, единства, в котором все устремлены к одному – горнему, Божественному, все молятся, как сказано в одной молитве, «едиными устами и единым сердцем»<sup>386</sup>. Это движение к единству можно проследить духовным взором в воскресенье утром. Вот выходят люди из домов – иными словами, каждый из своей, такой индивидуальной, такой неповторимой жизни, каждый со своими печалью и радостями, со своими, как говорим мы теперь, «проблемами». Один только что потерял родного человека и весь изнемогает от горя, к другому, напротив, после долгой разлуки приехал кто-то близкий, и он не чувствует под собой земли от радости; один здоровый, другой больной, один молодой, и перед ним вся жизнь, другой старый, уже склоняющийся к закату... Тысячи жизней, таких разных, целый мир, во всей сложности и многообразии своем, во всей радости и во всей печали. И вот все эти жизни сходятся, соединяются в Церкви, в собрании. Еще не началась служба, еще только раннее утро, еще все впереди, но уже совершилось и продолжает совершаться нечто таинственное. Всех нас собрал тот же вечный голос, та же любовь, тот же призыв: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф.11:28).

Сколько бы нас ни было и сколь бы ни были мы различны, все мы пришли сюда за тем же – услышать голос правды, увидеть подлинную жизнь, наполниться ее силой и светом. Мы пришли вместе начать трудное восхождение к тому, о чем раз навсегда сказано: «Ищите прежде Царства Божия, и все остальное приложится вам» (ср.: Мф.6:33). Мы оставили за дверью храма мир с его шумом и суетой, с его вечными буднями, и вот теперь в этой тишине ожидания раздаются первые слова литургии: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». С этих слов, с

этого благословения мы и начнем нашу следующую беседу, посвященную объяснению литургии.

## Таинствотаинств. «Благословенно Царство»

Продолжая начатое в прошлых беседах объяснение литургии, мы остановимся сегодня на возгласе, с которого она начинается. Когда все готово к службе, когда верующие собрались в храме, священник берет книгу Евангелия, всегда лежащую на престоле, и, творя ею знак креста, возглашает: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков!»

Вот на этом возгласе нам и нужно остановиться. Нужно потому, что верующие так привыкли к нему, что обычно не слишком вдумываются в его слова. Неверующему, случайно зашедшему в церковь, возглас этот, должно быть, ничего не скажет. А между тем именно в нем заключен весь смысл литургии. Он действительно ее начало и та основа, из которой вырастает все остальное. Ибо Царство Божие есть содержание и одновременно цель христианской веры. Проповедь Христа началась словами: «Приблизилось Царство Божие» (ср.: [Мф.4:17](#)). Об этом Царстве Христос говорит, что к нему нужно стремиться: «Ищите прежде Царства Божия, и все остальное приложится вам» (ср.: [Мф.6:33](#)). О нем молимся мы в молитве, оставленной нам Христом: «Да приидет Царствие Твое».

Так что же такое Царство Божие? Проще всего описать его как знание Бога, любовь к Нему, жизнь в Нем. Царство Божие – это единство с Богом как Источником жизни, как самой Жизнью, для которой и создан человек. В Нем была жизнь, – говорит евангелист Иоанн, – и жизнь была свет человеков ([Ин.1:4](#)). От этой жизни отпал человек, и отпадение это есть грех, суть которого в том, что Богу он предпочел себя самого и собственную, на себе самой сосредоточенную, эгоизмом, себялюбием и гордыней пронизанную маленькую жизнь. Мир забыл своего Бога и Царя, стал жить только для себя и собою. Но именно потому, что без Бога нет жизни, ибо жизнь – от Бога, мир наполнился страхом, бессмысленной борьбой всех против всех, распадом и смертью.

Но Бог не отвернулся от мира. Как сказано в одной из священнических молитв Литургии, он не отступил, пока не возвел нас на небо и не даровал нам Свое Царство.<sup>387</sup> Этого Царства, то есть возвращения к Богу, воссоединения с Ним, ожидали, молясь и тоскуя о нем, лучшие люди всех времен. Его предвозвещали пророки, к нему, как к своей цели и исполнению, направлена была вся Священная история, записанная в Библии и освященная не человеческой святостью (ибо вся она полна греха, падения и измены), а тем, что через нее приуготовлял Бог явление Своего Царства, Своей любви и мудрости, красоты, добра и силы. И вот, как сказано в Евангелии, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие (Мк.1:15). Во Христе в человеческую жизнь, в человеческую историю вошел сам Бог. И вошел не для того, чтобы судить и наказывать, а чтобы простить, соединить с Собой, спасти от зла, бессмыслицы и смерти. Христос принял нашу жизнь, но с нею принял также страдание и смерть. И смерть в Нем побеждена была Его любовью и полнотой Божественной жизни. А потому Христос – и в этом вся вера христиан – уже царствует в мире, и всякий верующий в Христа, любящий Его и живущий по заповедям Христовым уже в этом мире, в этой жизни принадлежит Царству Божию, приобщается его свету и радости, ибо знает Бога и живет новой, Богом очищенной и возрожденной жизнью.

Христос есть Господь – таково самое древнее исповедание христианской веры. Но в отличие от всех земных царств, господств и властей, Царство Христово узнается и принимается только верою. Оно, как говорит Евангелие, скрыто «внутри нас» (ср.: Лк.17:21). Нет внешних признаков этого Царства на земле, потому что только в славе второго пришествия узнают все истинного Царя мира. Только тогда все гнавшие или попросту не заметившие Его увидят, Кого они гнали или не заметили. Но для тех, кто поверил и принял Царство Божие, оно и теперь уже несомненное всех доказательств и явственнее всех очевидностей. И вот Церковь, как собрание и единство во Христе, есть предвосхищение на земле Царства Божия, которое во всей своей силе и славе явится в конце земной истории.

Небойся, малое стадо! – говорит Христос, – ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк.12:32).

А литургия – это и есть таинство Царства. «Таинство» означает явление невидимого в видимом, Божественного в человеческом, небесного в земном, духовного в материальном. Таинство это Христос установил на Тайной вечере, которую совершил с учениками в ночь предания Его на смерть. Тогда и сказал Он: Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем (Лк.22:29–30). Вот почему и начинается Литургия торжественным исповеданием Царства: «Благословенно Царство...» Благословенно означает наше приятие этого Царства как смысла и света, цели и полноты жизни, означает нашу радость о принадлежности этому Царству и о грядущей встрече с Христом, в Которого мы веруем как в Спасителя, Господа и Царя мира. И потому на это торжественное благословение мы отвечаем «аминь», что на древнееврейском языке означает «да будет так». Этим возгласом и этим ответом указана цель нашего собрания, к которой мы начинаем восходить в священнодействии литургии. Об этом восхождении – в следующей беседе.



## Таинство таинств. Великая ектения

В прошлой беседе, посвященной объяснению литургии, я говорил о начальном возгласе священника «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа...». За этим возгласом следует великая ектения, то есть ряд прошений (просьб), на каждое из которых верующие отвечают: «Господи, помилуй». Вслушаемся в эти прошения, ибо в содержании их, как и в самой последовательности, раскрывается сущность церковной молитвы.

Миром Господу помолимся – возглашает священнослужитель. В переводе с церковнославянского этот призыв звучит примерно так: «Начнем нашу молитву Господу в мире, мирно». О каком мире здесь идет речь? Почему так часто, на протяжении всех церковных служб мы слышим: «Мир всем»? Мир здесь – слово ключевое. Люди всегда и везде молились и молятся. Но мы должны понять всю новизну молитвы, данной нам Христом, – молитвы в Церкви. Ибо Христос и есть мир, примирение между Богом и людьми. Мир есть прежде всего то, что противостоит греховному разделению, которое царит в мире, проявляясь в борьбе всех против всех, в разгуле эгоизма. От этой вражды, от этого разделения и пришел спасти нас Христос, Который в конце земного Его служения сказал: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин.14:27). В Церкви Христос Сам молится в нас и мы молимся во Христе. Христос воссоединяет и примиряет, побеждает страшный закон разделения даром Своей любви. И вот об этом даре, об этом мирном состоянии мы и просим Бога, начиная нашу молитву.

О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся – вот второе прошение ектении. «О свышнем мире» – значит о мире свыше, т.е. с небес, от Бога, о том, что в Евангелии названо «единым на потребу» (ср.: Лк.10:42), то есть самым главным – о стяжании Царства Божия, искать которое прежде (Мф.6:33) заповедал Сам Христос и которое апостол Павел определил как «радость и мир в Духе Святом» (ср.: Рим.14:17). «И о спасении душ наших». На языке Евангелия

«душа» – это сам человек в его подлинной природе, подлинном назначении. Душа – та частица Божественного, которая делает человека образом и подобием Божиим и из-за которой последний грешник в очах Бога есть бесценное сокровище. Душа есть дар Божий, и потому какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф.16:26) Спасти душу – значит соединить ее с Источником жизни, Богом, укоренить в том, что свыше. Итак, прошение это обращает нас к самому главному, указывает высочайшее назначение нашей жизни – то, ради чего мы созданы и к чему должны стремиться.

О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

«О мире всего мира» – значит о том, чтобы мир и любовь Христовы распространились на всех, о том, чтобы брошенная в мир закваска подняла, по слову апостола, все тесто (см.: Гал.5:9), чтобы все, дальние и ближние, стали соучастниками Царства Божия.

«О благостоянии (т.е. благом стоянии) святых Божиих церквей...» Церковь пребывает в мире для свидетельства о Христе и Его Царстве, о том, что ей завещано Его дело. Вы – соль земли... Вы – свет мира, – говорит ученикам Христос. И тут же спрашивает: Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? (Мф.5:13–14) Если христиане забывают о служении, на которое все они, от первого до последнего, поставлены, кто будет благовествовать миру Царство Божие и вводить человека в новую жизнь? Пршение о благостоянии церквей есть, таким образом, молитва о непоколебимой твердости и верности христиан своему назначению, о том, чтобы Церковь, рассеянная по всему миру, была повсюду свидетельством о Царстве Божиим, солью земли и светом миру.

«И соединении всех». Соединение и единство всех в Боге и между собою есть последняя цель творения и спасения. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино (Ин.11:52). Об этом соединении и молится Церковь – о преодолении всех разделений, об исполнении молитвы Самого Господа: Да будут совершены воедино (Ин.17:23).

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь (в него). Вера, благоговение, страх Божий – все это условие нашего подлинного участия в молитве и таинстве Церкви, плод нашего знания Христа. И каждый входящий в храм должен испытать себя: есть ли в его сердце живая вера и благоговение перед присутствием Божиим, тот спасительный трепет, который мы так часто теряем, привыкая к богослужению и к Церкви?

О епископах, священниках, диаконах, обо всем народе Божиим,<sup>388</sup> – продолжает великую ектению диакон. И это значит – о Церкви, об общине, к которой мы принадлежим и где все служения направлены к одной цели – чтобы мы были единением любви, братства и верности.

О богохранимем стране нашей... о граде сем... о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных... о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных... Господу помолимся. Молитва расширяется и распространяется. Она охватывает теперь не только Церковь, но и весь мир, всю природу, все человечество. Маленькой общине дана власть и сила возносить эту вселенскую молитву, ходатайствовать пред Богом о всем Его творении, любить мир со всеми его нуждами той любовью, которой извечно любит его Бог. Как часто сужаем мы нашу веру до собственных нужд и забот, превращаем ее по сути в эгоистическую! Как часто забываем мы, что весь смысл христианства в любви и значит – в отречении от себя ради других, что назначение Церкви, по апостолу Павлу, в том, чтобы совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков (1Тим.2:1). И как часто этот эгоизм наш враги религии объявляют самой ее сутью! И потому уже с самого начала литургии призываемся мы всем существом войти в ритм этой всеобъемлющей, подлинно церковной молитвы и ею расширить свое сердце и сознание до полноты Церкви.

И наконец, помянув всех святых и, таким образом, еще раз утвердив сущность Церкви и нашего собрания как единства во Христе, мы всецело предаем себя Ему, или, по слову ектении, сами себе (себя) и друг друга, и весь живот наш (всю нашу

жизнь) Христу Богу предадим. Мы предаем, т.е. посвящаем свою жизнь Христу не для земного благополучия, не из эгоизма и страха. К нам всегда обращен призыв апостола Павла: О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе (Кол.3:2–3). Мы предаем свою жизнь Христу, потому что Он – наша жизнь, потому что в крещальной купели мы умерли для жизни по законам мира сего и подлинная наша жизнь скрыта в таинственном возрастании Царства Божия. Мы предаем нашу жизнь Христу, потому что Он есть истинная жизнь всех, в себе самой раскрывающая нам всю высоту нашего призвания, а главное – потому что Он Сам Себя предал нам, возлюбив нас прежде, чем мы Его. И предавая себя Ему в ответ на этот поток любви, мы в подтверждение тому произносим вместе со всем собранием: Тебе, Господи. Этим завершается великая ектения.

Таков смысл, таков объем этой великой ектении, с которой начинается литургия. Это как бы глубокий вздох всем нашим существом, переход из нашей всегда неизбежно маленькой, ограниченной жизни во всемирную, вселенскую полноту Христовой любви.

## Таинство таинств. Восхождение призванных

В прошлой беседе, посвящённой объяснению Божественной литургии, мы остановились на великой ектении, то есть на тех кратких прошениях, с которых она начинается и в которых, как я старался показать, уже заранее дан и явлен универсальный, всеохватывающий характер церковной молитвы христиан.

После этой ектении, после пения молитв и псалмов<sup>389</sup> совершается так называемый вход<sup>390</sup>. Священник и его помощник диакон берут книгу Евангелия, всегда лежащую на престоле, и, предшествуемые другими церковнослужителями со свечами, выходят боковыми воротами алтаря иконостаса к народу и снова торжественно входят в алтарь через центральные ворота, называемые царскими.

Чтобы понять смысл этого входа, нужно обратиться к прошлому. В древности христиане собирались перед литургией не в самом храме, а в его преддверии, которое и поныне еще называется притвором. Тут произносились первые молитвы, пелись псалмы, и лишь затем все собрание во главе со священником или епископом торжественно входило в храм.

Таким образом, этот вход был входом всех. И в те времена именно двери храма, через которые совершался этот общий вход, назывались царскими. Нужно помнить, что в эпоху, когда после более чем трехсотлетнего преследования началось христианское храмостроительство, храм сразу же стал восприниматься христианами как символ, как предчувствие, или предвосхищение, Царства Божия – Царства небесной красоты, единства всего творения в Боге, любви, радости и чистоты. Сам облик храма – купол, заливающий светом внутреннее пространство, иконопись, резные украшения – выражал дорогую всем поколениям христиан идею неба на земле. Так, рассказывая о посольстве князя Владимира Киевского в Константинополь, древнерусская летопись особо отмечает, что попавшие на богослужение в знаменитый храм Святой Софии княжеские послы не знали, по собственным их словам, на земле они или на небе.

«Небо на земле...» Это значит, что само богослужение, и в первую очередь Литургия, воспринималось древними христианами как вхождение в духовную реальность, в присутствие Божие, в Царство Небесное. «В храме стояще славы Твоя, на небеси стояти мним»<sup>391</sup> – эту фразу можно очень часто видеть на алтарных арках православных храмов. Так вот, если храм есть земной символ присутствия на земле, в нашей жизни неба, если все назначение христианства в том, чтобы соединить с небом всю нашу жизнь здесь, т.е. просветить ее Божественным смыслом, Божественным добром, Божественной красотой, если, наконец, первое и главное назначение богослужения, и особенно Литургии, – являть нам эту небесную реальность, то отсюда понятно и подлинно центральное значение этого входа. Он был торжественным восхождением народа Божия, собранного и призванного Им к Его Престолу, к Нему Самому.

Позднее, в силу разных обстоятельств, этот общий вход, общее восхождение Церкви к подлинной, т.е. небесной, родине человека выпал из литургии и был заменен теперь уже только символическим входом возглавителя собрания – священника. Но смысл его, тем не менее, остается прежним, и в лице священника все мы по-прежнему входим туда, куда открыл нам доступ Христос, туда, где явлен последний смысл, последняя цель нашей жизни. В каком-то смысле этот вход напоминает нам, что вся наша жизнь во Христе стала входом и восхождением. Об этом поем мы в пасхальную ночь: «И отверзл еси нам райския двери»<sup>392</sup>, об этом свидетельствует, к этому призывает нас всей своей неземной красотой, всем своим устремлением ввысь православное богослужение.

И этот смысл входа раскрывается далее в Трисвятой песни – молитве, которую, согласно Библии, воспевают на небе ангелы<sup>393</sup>: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Что означает, что выражает это имя Божие – Святой? Объяснить его нам не могут никакое дискурсивное мышление, никакая логика.

А между тем это ощущение святости Божией, это чувство святого и священного есть, можно сказать, основа и источник

всех религий. И вот, дойдя до этого момента, мы, быть может, наиболее глубоко осознаём, что богослужение, не объясняя, что есть святость Божия, тем не менее являет ее и что в этом явлении – извечная сущность всякого культа и священнодействий, смысл которых почти неотделим от воплотившего их жеста – благословения, поклона, воздеяния рук и т.п. Ибо культ и вырос из этой потребности, из этой жажды человека выразить и явить святое, которое он ощутил, прежде чем научился мыслить и рассуждать о нем. «Как будто одно только богослужение, – пишет христианский ученый, – знает весь смысл этого непроницаемого для разума понятия. Оно одно, во всяком случае, способно передать его и научить ему: этот религиозный трепет, это внутреннее головокружение перед чистым, перед недостижимым, перед абсолютно Иным; и вместе с тем это ощущение невидимого присутствия, притяжения такой бесконечной любви, и притом любви столь личной, что, испытав его, мы уже не знаем, что еще называется любовью. Только богослужение может передать чувство всего этого – единое и непередаваемое. В богослужении оно как бы льется отовсюду: из слов, из священных жестов, от светильников, от благоухания, наполняющего храм, как в видении Исаии, – из того, что за всем этим, что не есть ничто из всего этого, но что всем этим целостно передается, подобно тому как прекрасное выражение лица мгновенно раскрывает нам всю душу человека, хотя мы и не знаем как»<sup>394</sup>.

И вот мы вошли и стоим теперь перед Святым. Мы освящены Его присутствием, мы озарены Его светом; и это трепетное и сладостное чувство присутствия Божия, радость и мир, равных которым нет на земле, – все это выражено в медленно и торжественно повторяющемся пении Трисвятого: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас» – в небесной истине, провозглашаемой на земле и свидетельствующей о совершившемся примирении ее с небом – о том, что Бог явил себя людям и что нам дано, по слову апостола, иметь участие в Его святости (см.: 2Петр.1:4; Ефес.2:19). И под это пение священник восходит еще выше, в самую глубину храма, в то место, которое называется горним,

то есть высоким, – в самое Святое святых. Так узнаем мы о той высоте, на которую вознес человека Сын Божий.



## Таинство таинств. Приближение к престолу

В прошлых беседах, посвященных главному христианскому богослужению – литургии, я говорил о ее начале, причем в двояком смысле: в смысле духовном, т.е. об укорененности ее в сущностной глубине христианской веры, в самом содержании христианства, и в смысле собственно богослужебном, т.е. о тех священнодействиях, которыми Литургия начинается и через которые выявляет себя первый, духовный смысл ее священнодействий.

Так, я говорил, что Литургия начинается как собрание верующих, ибо это видимое единство выражает главный призыв Христа – греховному разделению противопоставить единство в любви, сила которой явлена в Нем Самом. Далее я говорил о начальном возгласе литургии «Благословенно Царство» как об указании последней цели, к которой направлена христианская вера. Цель эта – Царство Божие, то есть победа Божией истины, Божией любви, Божия единства над воцарившимся в мире злом. И наконец, говорил я о тех молитвенных прошениях, что следуют непосредственно за благословением Царства и в которых молитва Церкви объемлет собою весь мир, все творение Божие.

Все это и есть начало Литургии, которое после ряда песнопений завершается входом, то есть процессией, в которой священнослужители движутся через царские врата к престолу.

Когда-то, в древности, та часть литургии, которую я назвал началом, свершалась не в алтаре, а на середине храма. И таким образом, шествие в алтарь и приближение к престолу были зримым выражением замысла литургии как восхождения и вхождения: восхождения к Богу, к Небесному Его престолу и вхождения в новую реальность Царства Божия, куда вводит нас Сам Христос, пришедший исправить последствия нашего грехопадения. И вот это восхождение-вхождение совершилось. Человек снова стоит пред Богом, имеет доступ к Нему, к славе и первозданной красоте Божия творения. И потому хор – а когда-то в древности и все собрание, все верующие – завершает этот

вход торжественной песнью: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас». Это перифраза ангельской песни «Свят, свят, свят!», воспеваемой у Престола Божия, которую, согласно Библии, слышал в своем небесном видении пророк Исаия (см: Ис.6:3). А ангелы – это небо, та безмерная высота и запредельность, та дух захватывающая красота и слава, что открываются нам в имени Бог в редкие и лучшие минуты нашей жизни, которые Достоевский называл «касанием мирам иным». И вот на эту высоту зовет нас литургия, ее являет и дарует нам в медленно-торжественной Трисвятой песни, в именовании Бога Святым.

Слово «святой» потускнело в нашем сознании, но его исконное значение несет в себе этот самый опыт запредельности. «Боже Святой...» – произносит священник, став перед престолом, и в этом обращении выражено все: и ощущение безмерной бездны между Богом и нами, и Его близость к нам, и непостижимость Бога, и наше знание о Нем, счастье, но и страх этой близости, этого знания. Вот на какую высоту вознесла нас литургия, и теперь нам предстоит услышать слово Божие.

Следующую за входом часть литургии можно назвать «учительной». Она открывается чтением Апостола, то есть отрывка из посланий либо апостола Павла (их дошло до нас четырнадцать), либо других апостолов (их известно семь). Церковь называет себя Апостольской, и это именование включает в себе двоякий смысл. Оно связано, во-первых, с тем, что Церковь основана на проповеди и свидетельстве нескольких человек, которых избрал на служение благовестия Сам Христос, и, во-вторых, с тем, что миссия Церкви – проповедовать, свидетельствовать и спасать о Христе – есть продолжение дела апостолов. Это учение, эту проповедь свидетелей Христовых мы и слышим каждый раз, собираясь за литургией. Мы никогда не должны забывать, что учение Церкви – это то, в чем изначально видела она не плод человеческих домыслов, а Божественное откровение. Конечно, христиане не могут это исчерпывающе доказать, да и какие возможны тут доказательства? Разве что одно – опыт миллионов людей,

которые сегодня, как вчера, как две тысячи лет назад, черпают в этом учении свет, силу, истину и ответ на все свои вопрошания. И потому послания апостола Павла, написанные много веков назад христианам древних городов, звучат так, словно они адресованы мне, нам, всему человечеству сегодня.

За Апостолом следует чтение Евангелия, то есть описания земной жизни и учения Христа, которое дошло до нас в виде четырех книг, составленных Его учениками – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Мы слышим слова Самого Христа, и они снова и снова наполняют наше сердце радостью и благоговейным страхом. Ибо всякий, внимательно слушающий их, не может не сказать вместе с апостолом Петром: Ты имеешь глаголы (то есть слова. – прот. А.Ш.) вечной жизни (Ин.6:68) и не может не повторить вслед за посланными от фарисеев для уличения Христа: Никогда человек не говорил так, как этот Человек (Ин.7:46).

И наконец вслед за Апостолом и Евангелием произносится проповедь, то есть объяснение прочитанного священником, призыв не только услышать Слово Божие, но и принять его в свое сердце и им измерять, им судить свою жизнь. На этом учительная часть литургии заканчивается, и мы переходим к следующему священнодействию – приношению Святых Даров.

## Таинство таинств. Слово Божие

Продолжая начатое в прошлых беседах объяснение Божественной литургии, мы подходим сегодня к той ее части, что посвящена чтению Священного Писания и проповеди.

В древние времена литургия очень отчетливо делилась на две части. За первой могли присутствовать все уверовавшие в Христа, но еще некрещенные. Их называли «оглашенными», так как до принятия крещения они должны были пройти длинный период оглашения – обучения основам христианской веры. Отсюда и первая часть литургии, посвященная научению, называлась, да и теперь еще называется «литургией оглашенных», в отличие от «литургии верных», то есть крещеных, к которой мы перейдем в дальнейшем.

«Слово Божие» – выражение это издавна служит камнем преткновения и соблазна. Соблазн и недоверие вызывает у неверующих прежде всего сама уверенность христиан в том, что одна книга, один сборник текстов столь разительно отличается от миллионов других человеческих книг тем, что содержит в себе слово Самого Бога. А с тех пор как ученые – филологи, лингвисты, историки, археологи – раскрыли, так сказать, «естественную историю», иначе говоря, установили последовательность создания этой книги, выявили разночтения в рукописях и т.п. – соблазн этот еще больше усилился, и антирелигиозная пропаганда вообразила, что она торжествует победу. Поэтому так важно остановиться на том моменте литургии, когда происходит чтение Евангелия, и попытаться понять, какой смысл вкладывают сами христиане в утверждение, что книга эта, несмотря на все попытки развенчать ее как «просто человеческий документ», есть слово Божие.

Да, христиане всегда признавали и признают Библию сборником текстов, написанных в разное время разными авторами, отражающих эпоху, когда они создавались, индивидуальные черты авторов и непосредственные нужды тех, для кого предназначались. Так, читаемые за литургией книги

Нового Завета – тексты эти представляют собой запись апостольской проповеди о Христе. Это относится и ко всем четырем Евангелиям, и к Деяниям апостолов (т.е. к повествованию об их миссионерских трудах), и к Посланиям – письмам апостолов конкретным христианским общинам или отдельным лицам. Христиане признавали и признают, что книги эти можно изучать, как и другие письменные памятники прошлого, и что во многом они не избежали общей судьбы таких памятников – ошибок при переписке, разночтений, утраты древнейших рукописей и т.п. Христиане, повторяю, верят, что книги эти имеют свою «естественную историю».

Но вот Церковь говорит нам, что это человеческое писание есть слово Божие и, значит, не только человеческие слова о Боге, но и слово Самого Бога, обращенное к нам; не только запись истины, но сама истина; не только авторитетный источник наших сведений о Христе, но и вечный источник веры, знания жизни. Слово Божие в слове человеческом, или слово богочеловеческое. И слово это Церковь не просто читает – она им живет. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (Ин.6:63), – учит Христос. И дальше: Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную (Ин.5:24).

И вот что важно: доказать это нельзя. Извне это неубедительно, как неубедительны красота и единственность человека, которого мы любим, для того, кто не испытывает к нему такой любви. Ибо Божественность Писания становится очевидной лишь изнутри, а «изнутри» – это и означает: во время чтения его в Церкви или в собрании верных. Мы верим и знаем: когда мы собраны во имя Христа, Он Сам присутствует среди нас и мы слышим Писание как Его слово, обращенное к нам. В этом чтении (таков вечно обновляемый опыт Церкви) с нами говорит, сегодня и здесь, Сам Христос. И сердце наше горит в нас, узнавая Говорящего, как горело оно у учеников на пути в Эммаус, когда, по рассказу евангелиста Луки, таинственный Спутник объяснял им Писание. И только потом, вспомнив об этом горении сердца, они поняли, что с ними был Сам Христос (см. Лк. 24:15–32).

За чтением Евангелия обычно следует проповедь, то есть объяснение слышанного, применение его к нам, к нашей жизни, к нашему времени, к нашим нуждам. И может быть, ничем так не доказывается божественность Евангелия, как тем поразительным фактом, что оно не стареет. Ибо сколько бы мы ни слушали его, оно звучит всегда по-новому, всегда оказывается ответом на мой вопрос, утешением сейчас, вдохновением здесь. Книги, написанные каких-нибудь столетий лет назад, кажутся нам сегодня устаревшими, архаическими. Все в них так мало походит на современную нашу жизнь, так мало отвечает на наши запросы. Но вот мы открываем Евангелие, и эта книга, написанная в условиях, бесконечно отличных от наших, оказывается не просто современной, но содержащей слова жизни вечной, конечные ответы на все вопросы, неугасимый свет, немеркнущую правду. Ведь не случайно власть, объявляющая неопровержимо доказанным, что Библия – сплошной обман и древние суеверия, не позволяет ее, тем не менее, печатать, и книгу эту приходится переписывать тайно, от руки. Ведь, казалось бы, если это такой очевидный обман, то нет лучшего оружия против христианства – печатай и распространяй, пусть все увидят, в какие дикие выдумки верят христиане. Но нет, власть этого не делает и не сделает никогда, потому что боится силы этой книги. Запрет на нее – лучшее доказательство того, что утверждают христиане. А утверждают они то же, что и посланные к Иисусу тогдашней властью и вернувшиеся со словами: Никогда человек не говорил так, как Этот Человек (Ин.7:46).

Итак, Церковь живет Евангелием. И прежде всего в те мгновения, когда, собранная на литургии, с радостью вслушивается в эти никогда не стареющие слова. Вновь и вновь ударяют они в мое сердце, обнажают всю мою жизнь, судят и просвещают ее, наполняют светом и утешением. Они указывают путь, открывают мне, кто я такой, научают тому, что должно делать и куда идти.

## Таинство таинств. «Елицы вернии»

В нашем объяснении литургии, начатом в прошлых беседах, мы подошли к моменту, когда в ней совершается как бы некий перелом.

Я говорил уже, что первая часть литургии, еще и сейчас называемая «литургией оглашенных», за которой по преимуществу читается слово Божие и произносится проповедь, заканчивалась в древности удалением из церкви оглашенных – тех, кто уверовали во Христа, но еще не принял крещение. Вслед за ними покидали собрание и «кающиеся», то есть временно отлученные от участия в таинстве. В одном из древних текстов литургии мы находим такой призыв диакона: «Пусть никто из оглашенных, никто из тех, чья вера не тверда, никто из кающихся, никто из нечистых не приближается к Святым Таинствам!» С этого момента в собрании остаются, таким образом, одни верные, т.е. члены Церкви в полном смысле этого слова, и все они призываются теперь общей молитвой подготовить себя к главному священнодействию литургии – к приношению хлеба и вина.

«Елицы вернии» – только верные<sup>395</sup>. С этих слов, повторяю, в службе совершается перелом, значение которого необходимо понять, ибо в нем раскрывается сама сущность Церкви. В наше время двери храма открыты в продолжение всей литургии, и войти туда может кто угодно в любое время. Ибо литургия со временем стала восприниматься как служба, совершаемая в алтаре священником для мирян, участвующих в ней индивидуальной молитвой, иногда причащением. Но быть может, пора вспомнить, а в наше время, когда христианство снова преследуется больше, чем когда-либо, что литургия по самой природе своей есть собрание закрытое и что в собрании этом все до единого посвящены, все служат, все участвуют – каждый на своем месте и в своем звании – в едином священнодействии Церкви.

А вспомнить это нужно потому, что не только далекие от Церкви люди, но и сами христиане очень часто воспринимают

свою веру как удовлетворение потребности, отчасти эгоистической, в защите и утешении. Но призывая всех к Себе, Христос говорил: Кто Мне служит, Мне да последует (Ин.12:26). Он заповедал поступать в мире как Он. И говоря о Церкви – т.е. о единстве верующих в Него, учил о ней как о служении Богу и людям, видел ее назначение в жертвенной любви. И литургия, как будет видно дальше, есть та главная, центральная служба, в которой мы снова слышим и принимаем этот призыв, снова посвящаем себя Богу и Его делу в мире. Иными словами, мы приходим в Церковь не только затем, чтобы получить от нее нечто, но прежде всего затем, чтобы отдать себя Богу, то есть посвятить себя Его любви, Его учению, Его заботе о ближнем. В этом смысл наименования «верные», которое дается Церковью ее членам. Ибо «верные» – это не просто верующие, но и хранящие верность той вере, весь смысл которой в самоотдаче и служении. И поэтому истинно православное учение о Церкви различает духовенство и мирян не в том смысле, что одни активны, а другие пассивны, одни властвуют, а другие подчиняются, одни учат, а другие учатся, а в том, что через возглавление, научение и служение духовенства каждый мирянин находит свое место, свое служение в общем деле Церкви – в деле Христовом.

Совершая литургию, мы всякий раз отделяемся от внешнего мира, от всех, кто еще не стал верными. Но отделяемся для того, чтобы осуществить свое единство, осознать себя народом Божиим, который посвящен на служение Богу и превыше всего в жизни ставит Его дело, Его любовь. Мы отделяемся для того, чтобы взглянуть на мир как бы очами Божиими, чтобы получить силу для служения Божия в мире. И потому, услышав эти слова, «елицы вернии», спросим себя: исповедуем ли мы себя верными? Согласны ли мы исполнять то служение, на которое каждый из нас был посвящен в день своего крещения? Тут не место ложному смирению и отделению себя от собрания по причине собственных грехов. Никто никогда не был достоин этого участия, и нет такой праведности, которая делала бы человека достойным приносить жертву Христову за



мир. Но Он Сам освятил нас и поставил на это служение и Сам в нас совершает его.

Надо вспомнить, наконец, что мы не своего ищем в Церкви, не для себя приходим к ней, а для служения делу Христову в мире. А если ищем спасения для себя, то нет иного пути к нему, кроме отдачи своей жизни Христу, возлюбившему нас, – как пишет апостол, – и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему (Откр.1:5–6).

Антирелигиозная пропаганда вечно твердит, будто христианство унижает и порабощает человека, низводя его до рабского смирения. Но она никогда не говорит о том, что в Священном Писании христианин определяется в первую очередь как царь и священник. Она никогда не говорит, что весь смысл христианства – в возвращении человеку его настоящего места в мире, утраченного после того, как он подчинился инертной и бездушной материи, сам себя свел к детерминизму слепых законов природы, – иными словами, поверил в то, что выдается атеистической пропагандой за «научное мировоззрение». И христианство в ответ на это самопорабощение человека напоминает ему, что он царь и священник. Царь – значит властелин, призванный управлять; священник – значит тот, кому дана власть все превращать в дух, все наполнять любовью, всему сообщать печать Божественной истины и Божественного призвания.

Как далеко все это от той карикатуры на религию, которую навязывают поколению за поколением без малого пятьдесят лет! О, если бы они могли свободно войти в собрание Церкви и услышать, что Бог соделал их царями и священниками, дал им всю власть, все знание, всю любовь, дабы жизнь их стала предельно осмысленной, предельно вечной не только в смысле бесконечности, но и как преисполненной знания и истины!

«Елицы вернии» – всего лишь один возглас литургии. Но какой потрясающий смысл, какая сила в нем! И понятны становятся слова Христа: Небойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк.12:32). И теперь, приближаясь к главному моменту литургии, мы начинаем понимать, почему в

центре христианства стоит жертва. О ней, об этой жертве, мы и будем говорить в следующей нашей беседе.

## Таинство таинств. Наша и Его жертва

Мы подошли сегодня к центральному акту этого богослужения – к тому, что всегда составляло его главную радость, главный смысл для верующих и камень преткновения, камень соблазна для неверующих. А именно, мы подошли к приношению хлеба и вина.

Хлеб и вино... Принося и полагая на престол эти смиренные человеческие дары, нашу земную пищу и питье, мы повторяем, сами того часто не сознавая, древнейшее, исконнейшее священнодействие, которое с первых дней человеческой истории составляло сердцевину всякой религии, – мы приносим жертву Богу. Богословы и историки, этнографы и психологи, каждый со своей точки зрения пытался объяснить сущность жертвы. И какова бы ни была ценность всех этих объяснений, несомненным остается одно: где и когда бы ни обращался человек к Богу, он неизменно ощущал потребность принести и отдать ему в жертву самое драгоценное из того, что имел, самое насущное в своей жизни. Со дней Каина и Авеля кровь жертв ежедневно обагряла землю и дым всесожжений непрестанно восходил к небу. Наше утонченное сознание ужасается и теперь этим кровавым жертвам первобытных религий. Но в этой псевдокультурной «утонченности» не забываем ли мы, не упускаем ли из виду то самое главное и основное, самое первичное в религии, без чего, в сущности, ее нет? Ибо на последней своей глубине религия есть не что иное, как жажда Бога. И об этой жажде хорошо знали так называемые первобытные люди, знал Псалмопевец и потому навеки запечатлел ее в словах: «Жаждет душа моя Бога Живого» (ср.: Пс.41:3). Жажда Бога – значит всем существом своим уверовать, что Он есть, что вне Его нет ничего осмысленного, что Он причина и цель, смысл, радость и жизнь всего существующего.

Это значит возлюбить Его всем сердцем, всем разумом и всем помышлением. И это значит, наконец, ощутить всю нашу беспредельную оторванность от Него, страшную нашу вину и

страшное наше одиночество в этом отрыве; это значит познать, что есть, в конце концов, один только грех – возжелать иного и, как говорил Леон Блуа, «есть только одна подлинная печаль – не быть святым»<sup>396</sup>, не иметь освящения, то есть единства с единым Святым. И вот там, где есть эта жажда Бога, то есть сознание греха и неизбывная тоска по подлинной жизни, там всегда есть жертва. В жертве человек хочет отдать себя и свое Богу, ибо, узнав Бога, не может Его не любить, а возлюбив – не отдать Ему себя.

Но отделенный от Бога грехом, человек в этой жертве ищет искупления и прощения. Он приносит ее за грехи, он как бы хочет заставить Бога дать ему прощение и освящение. Он вкладывает в нее всю боль своего бытия, чтобы страданием, кровью, уничтожением жизни заплатить за собственную вину, сделать бывшее словно небывшим. И важно понять: как бы ни огрублялось и ни затемнялось религиозное сознание человечества, как бы грубо и утилитарно ни объясняло оно подчас то, что делал и к чему стремился человек, стремление его всегда было связано с жаждой Бога. И в своей жертве, в этих бесчисленных приношениях и всесожжениях человечество, пусть дикое и первобытное, пусть впотьмах, но искало Того, Кого невозможно не искать, ибо, как сказал блаженный Августин, «для Себя Ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет Тебя».

Но мы, христиане, знаем, что все эти жертвы, все эти порывы к небу бессильны были уничтожить грех. К ним ко всем, а не только к ветхозаветным жертвам можно отнести слова апостола Павла, что жертвы эти никогда не могут сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов (Евр.10:2). Эти жертвы были бессильны, потому что грех есть не только вина или преступление, которые можно искупить, но и отрыв от Бога, отпадение человека, а через него и всего мира от подлинного бытия, растление, подчинение самой жизни смерти и распаду. Поэтому жертвы были столько же порывом к Богу, сколько и свидетельством о непреодолимой власти греха над

человеком. И поэтому все они были также прообразом, ожиданием и знаком другой, единственной и совершенной жертвы – той, в которой Сын Божий, став Сыном Человеческим, принес Себя Богу за спасение мира и в которой это спасение совершилось. В ней открылся и исполнился предвечный смысл жертвы как совершенной любви, состоящей в совершенной самоотдаче. Так возлюбил Бог мир, – сказано в Евангелии, – что отдал Сына Своего Единородного (Ин.3:16). И в Нем так возлюбил человек Бога, что отдал Ему себя до конца. И в этой двуединой отдаче ничто не осталось неотданным. Как говорил в прошлом веке митрополит Филарет Московский в своей знаменитой проповеди на Великую пятницу, «любовь Отца – распинающая. Любовь Сына – распинаемая. Любовь Духа – торжествующая силою крестною»<sup>397</sup>.

В этой жертве совершилось то, ради чего безуспешно приносились все прочие жертвы, – человеку было даровано наконец прощение грехов. Христос был распят всем злом, всем грехом мира, и в Нем все было прощено. И наконец, в этой жертве утолена была тоска человека по освящению и причастию Божеству: Бог опять стал нашей жизнью, нашей пищей, нашим питием. Во Христе Бог навеки соединился с человеком, и каждому с тех пор дана возможность стать участником нового человечества, соединенного с Богом и живущего жизнью Самого Христа. И эта новая жизнь, жизнь Богочеловека Христа, есть настоящая цель всего человеческого рода. Будучи жизнью Христовой, жизнь наша состоит в вечном исполнении того, что совершено Христом. Мы снова и снова приходим со своим приношением, и приношение это есть приношение Самого Христа. Наша жертва оказывается Его жертвой, наша любовь – Его любовью, и все мы – Его телом. Он в нас, и мы в Нем. За каждой литургией мы снова узнаём, что грехи наши прощены, что все наше воспринято Им, принесено Отцу и вновь даровано нам как наша пища и питье.

## Таинство таинств. Принесение даров

Собрание, общая молитва, чтение слова Божия, проповедь, а теперь и принесение к алтарю, полагание на престоле даров, хлеба и вина, – такова последовательность главного богослужения Церкви, которое издревле называется Божественной литургией.

Эту последовательность можно описать и так. Вначале, как основа всего, – собрание, и, значит, единство, но не по какому-то человеческому, земному и потому неизбежно ограниченному принципу, а в Боге и для Бога, для встречи с Ним, ибо в Боге, во Христе – единство любви. И это потому, что Христова заповедь о любви – первая и основополагающая заповедь для Церкви. Где нет любви, где действует и собирает нелюбовь, там нет Бога и Христа, сколько бы ни было там «религиозных обрядов». Об этом мы должны напоминать себе неустанно, ибо в самой религии может восторжествовать, и так часто, увы, торжествует наш эгоизм, наша обращенность на себя. И тут на все времена даны удивительные слова апостола Павла из Первого послания к коринфянам: Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы (1Кор.13: 2–3).

Итак, сперва любовь и потому единство, и потому собрание, затем молитва, и это, как мы уже знаем, молитва любви, объемлющая собою и Церковь, и весь мир, затем слово Божие – учение о Христе, речения Самого Христа, в которых Его благая весть, Его заповеди, Его призыв, и все это снова и снова как безмерная, нескончаемая любовь, обращенная на нас и нам даруемая.

И вот теперь приношение, дар – наша жертва Христу и Богу. Я начал с единства, собрания и любви, Божественной и человеческой, потому что только по отношению к ним, только в их свете возможно понять подлинный смысл этого приношения, этой жертвы. Ибо очень многие, в том числе верующие, не

понимают смысл этого акта, не чувствуют в нем нужды. Поэтому нужно спросить: что происходит, когда медленно, при торжественном пении хора выносит священник боковыми дверями алтаря Святые Дары – хлеб и вино, а затем снова вносит их через царские врата в алтарь и полагает на престоле? В чем смысл этого, как называет его Церковь, Великого входа? Если это наш дар Богу, то для чего он нужен? Язычники, те хотя бы воображали Бога каким-то ненасытно-жадным деспотом и приносили ему то, что сами считали наиболее драгоценным, – золото, серебро, лучших животных и даже людей. Но к чему эти простые и смиренные дары, хлеб и вино, христианскому Богу – Богу любви? А между тем смысл Великого входа именно в принесении Ему даров, в принесении жертвы.

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сначала уяснить смысл жертвоприношения. Большинство людей склонно понимать жертву исключительно как страдание, на которое идут из чувства долга. Сказать «он принес себя в жертву» означает почти то же, что «он пострадал, причинил себе страдание». Но это лишь один, и притом второстепенный смысл жертвы. Главный же, и именно христианством раскрытый ее смысл – в любви. Любовь всегда жертвенна, потому что нет любви без самоотдачи. Если я люблю, то прежде всего отдаю себя. Но в этой самоотдаче заключена самая чистая из всех доступных нам радостей, поистине высшее счастье. Бог возлюбил нас и во Христе отдал нам Себя.

И вот нужно помнить, что христианство и Церковь – это прежде всего ответ на такую Божию любовь. Нет, Богу не нужны хлеб и вино, но ему нужны мы, потому что Бог любит нас. Если любите меня... (Ин.14:15), – говорит Христос. И хлеб и вино, приносимые нами Богу в момент Великого входа, – это символы нашего приношения Ему себя самих, о котором говорилось в заключительной части великой ектении: «Сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим». Ведь хлеб и вино, как, впрочем, и всякая пища, не имеют смысла сами по себе. Все их назначение в одном – стать нашей плотью, нашей кровью, и, значит, нашей жизнью, и, значит, нами. Поэтому приношение хлеба и вина есть символическое выражение

нашего духовного самоприношения, нашей жертвы любви, нашей жажды Бога. И не только нашей: в этом хлебе, в этом вине – символ всего творения, всего мира, всего сущего, всего призванного Богом к жизни и всего, что Он возлюбил.

Это начало спасения мира, это поворот от страшного эгоизма нашего мира, где все служит только себе, любит только себя и свое, к Богу – источнику подлинной жизни и подлинного совершенства. Слово «символ» нужно, таким образом, понимать здесь реалистически – не как изображение чего-то, но как саму нашу любовь, само наше восхождение и приближение к Богу. Именно здесь – суть нашего приношения.



## Таинство таинств. Самих себя, друг друга, всю нашу жизнь

Говоря о литургии, пытаюсь хотя бы кратко объяснить сущность и смысл этого самого главного и основополагающего богослужения Церкви, мы останавливались до сих пор на таких его элементах, как собрание (выявляющее сущность литургии как общего дела, которое совершается в любви и единстве), общая молитва, чтение слова Божия и проповедь.

Эти элементы составляют первую часть литургии, которая до сих пор называется «литургией оглашенных». Термин «оглашенные» применялся в древности к тем, кто уверовал во Христа, но еще не принял крещение, не вступил в Церковь. Их «оглашали», то есть обучали основам христианской веры, и потому они могли присутствовать за той частью Литургии, центральным моментом которой было как раз научение и объяснение. Но с окончанием этой части диакон призывал оглашенных покинуть собрание, ибо теперь надлежало приступить к акту, который с тех пор, как его совершил Сам Христос, стал навсегда средоточием всей жизни Церкви. Этот акт, это священнодействие начинается с торжественного перенесения Святых Даров на престол. Поэтому первый вопрос: каково значение самих Даров, а также их перенесения и поставления на престол?

Скажем сразу, что для всех, кто мало-мальски знаком с историей религий, очевидно, что акт этот имеет все признаки жертвоприношения. А мы знаем, что жертвоприношение Богу или, как в языческой древности, богам всегда было одним из самых главных религиозных проявлений. Историки религий, антропологи, этнологи, психологи и другие специалисты написали тысячи книг о жертвоприношениях, выводя их из самых разнообразных причин. Говорить об этих исследованиях и их выводах в краткой нашей беседе мы, естественно, не можем. Заметим только, что само многообразие выводов указывает на огромную сложность и глубину проблемы. Ясно одно: всегда и везде, на всех ступенях своего исторического

развития человек испытывал потребность принести, отдать, пожертвовать Богу то, что с его, человеческой точки зрения было самым лучшим, драгоценным и необходимым. Враги религии, стремящиеся все в ней вывести из низменных побуждений, объясняют обычай жертвоприношений страхом, невежеством, незнанием законов природы. Человек, мол, боялся огня, ветра, неурожая, врагов, смерти и т.п. и вот чтобы застраховать себя от всех этих опасностей, как бы подкупал Бога жертвами.

Однако все серьезные ученые знают сегодня, что этот элемент страха, если и имелся в жертве, то не был решающим и основным. Ведь и сами безбожники, не верящие ни в какие сверхъестественные силы, неизменно зовут к жертвам – «принести себя в жертву» Родине, «пожертвовать собой» ради блага человечества, свободы и тому подобных вещей. Неозначает ли это, что в самой природе человека заложен опыт чего-то высшего, который заставляет его преодолевать все в мире свойственный инстинкт самосохранения или, проще, эгоцентризм?

Но можно пойти и дальше. Неочевидно ли также, что жертва есть там, где есть любовь? Любовь – это всегда выход человека из себя к другому, к чему-то или кому-то, что ощущается им как высшая ценность, ради которой он так или иначе готов пожертвовать собою и своим. Любовь всегда и везде выражает себя в жертвенности, и очевидно, что если нет жертвенности, то нет и любви. И вот уместно сказать следующее. Да, в религии может присутствовать страх, она может быть эгоистичной, равно как суеверной и т.п. Но не эти недостатки и падения определяют религию, не в них ее сущность. Когда Христос говорит: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих ([Ин.15:13](#)), то в словах этих нет никакого страха, никакого эгоизма. Напротив, высшее достижение, высшая победа любви в том, что она, по слову апостола Иоанна Богослова, изгоняет страх ([1Ин.4:18](#)). Но совершенная любовь, о которой говорит апостол, – это и совершенная жертва, совершенная самоотдача.

Христос отдает Себя нам, приносит Себя в жертву за нас. И вот самое важное в этой самоотдаче: Христос являет нам, что высший и последний смысл жизни – в любви, а потому – в жертве. И Собою, Своею жертвой, Своим примером Он открывает нам доступ к этой высшей, совершенной, жертвенной жизни – к жизни, наполненной любовью и непрестанно исполняющейся в любви. Царствующий в мире беспощадный закон борьбы всех против всех, закон эгоизма и самоутверждения (а потому и страха, а потому и разделения) Христос заменяет светлым и освобождающим законом – новой заповедью любви и самоотдачи, радостной и животворящей жертвы. Вот почему в самом средоточии церковного богослужения находим мы акт приношения, находим жертву.

Хлеб и вино – это то, что призвано, как всякая пища, стать нашим телом, нашей кровью, нашей жизнью. Ведь вне этого претворения пища не имеет никакого смысла. И потому пища – образ и символ нас самих. Нехлеб и вино, но самих себя, друг друга и всю нашу жизнь приносим мы как жертву любви, благодарения и хвалы Богу, возлюбившему нас и во Христе отдавшему Себя Самого. Но и мы в Великом входе за Божественной литургией приносим Творцу и Спасителю самих себя, друг друга и всю нашу жизнь.

## Таинство таинств. Целование мира и исповедание веры

За принесением хлеба и вина к престолу на Великом входе следует целование мира и исповедание веры. Остановимся кратко на двух этих моментах, в которых еще глубже раскрывается смысл литургии.

Возлюбим друг друга... – возглашает диакон. В древней Церкви вслед за этим возгласом все собравшиеся за литургией целовали друг друга. Теперь такое целование совершается только в алтаре, между священнослужителями. Но смысл его остается тем же: литургия есть таинство любви, ибо сама вера и Церковь Христова основаны на любви. Но необходимо решительно подчеркнуть, что та любовь, которую мы, по слову апостола Павла, запечатлеваем святым целованием (1Кор.16:20), не есть любовь падшего мира, которая и сама оказывается по преимуществу любовью падшей. Будучи поистине даром Божиим, любовь после грехопадения человека отравлена его эгоизмом и себялюбием. Об этом и предупреждал Христос Своих учеников: Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? ...Нетак же ли поступают и язычники? (Мф.5:46) Любовь к себе, к «своему» неизбежно оборачивается если не прямой ненавистью, то, во всяком случае, нелюбовью ко всему «чужому».

В мире бесконечно много любви. Однако не в том ли падение мира, что любви этой почти всегда, словно тень, сопутствует нелюбовь? Но Христос пришел разрушить этот страшный закон падшего мира и разрушил Его тем, что даровал нам Свою Божественную любовь, которая объемлет всех и каждого, превращая их в братьев и ближних, т.е. своих Ему и друг другу. Достичь такой любви собственными силами мы не можем. В лучшем случае можно достичь доброжелательности, терпимости и т.п. Но для того чтобы в каждом человеке, так или иначе входящем в нашу жизнь, увидеть своего и ближнего, нужна помощь свыше. И эту помощь, этот дар любви подает нам Сам Христос.

Можно сказать совсем просто: в Церковь, т.е. в собрание верующих, мы идем не для того только, чтобы помолиться. Молиться можно и должно всегда, но для этого не нужно Церкви. Сам Христос говорит: Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне (Мф.6:6). В Церковь мы идем за любовью – чтобы получить и принять этот самый высший, но и самый трудный, самый, так сказать, невозможный из всех даров – Божественную любовь. И теперь, когда приближается в литургии момент полного нашего соединения с Богом в любви, Церковь напоминает, что соединение это может не произойти, если мы не возлюбим друг друга. Апостол Иоанн говорит, что невозможно любить Бога, которого мы не видим, если не любим брата, которого видим. И вот в целовании мира Церковь являет, осуществляет, актуализирует себя как союз или, по чудному слову русского богослова Хомякова, как «организм любви»<sup>398</sup>.

Любовь Христова, соединяющая нас с Ним, соединяет нас и друг с другом.

И только это единство любви делает нас способными в единомыслии, «единым сердцем и едиными устами» исповедать нашу веру. Провозглашение Символа веры есть последнее приготовление к освящению принесенных Даров. В этом акте Церковь являет и исповедует себя как нерасторжимое единство любви и веры, ибо вера – от любви к Христу, а сама любовь – от веры, ибо невозможно знать Христа и не жить Его любовью.

Итак, теперь, когда все подготовлено к центральному моменту Божественной литургии, диакон призывает нас: Станем добре, станем со страхом... святое возношение в мире приносить. «Станем добре» в буквальном переводе означает «Будем стоять хорошо». Это не просто призыв к порядку или даже к миру душевному, к внутренней сосредоточенности, но нечто гораздо большее. «Хорошо» – то самое слово, которым Бог, согласно Библии, благословляет Свое творение: И увидел Бог, что это хорошо (Быт.1:8). Но это хорошо помрачилось злом и грехом. Богосозданный мир стал царством страдания и смерти, долиной печали и слез. И что же есть Церковь, как не

возвращение к этому изначальному, к этому вечному хорошо? Что есть вера, как не знание душой, что победа над злом и смертью уже совершилась изнутри и воскресший Христос открыл нам доступ к этому Божественному хорошо и что здесь, сейчас, за этой литургией, дарованы будут нам сила, свет и радость Царства Божия, которое, по слову Христа, уже пребывает внутри нас (см.: Лк. 17:20)?

Но тогда понятно, почему вслед за этим хорошо немедленно говорится о «страхе». О нет, это не тот томительный страх, которым пронизано и порабощено все в мире. Призывая нас стоять «со страхом», Церковь подразумевает страх Божий – состояние души, прикоснувшейся к надмирному, вечному, святому, сознающей свое недостойнство и этим блаженным страхом себя очищающей.

Итак, все готово теперь к тому, чтобы нашими руками, нашим сердцем, нашей любовью принесена была жертва хваления.

## Таинство таинств. Молитва благодарения

Молитва, которая составляет вершину литургии и через которую, по вере Церкви, совершается преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, именуется благодарением, или по-гречески евхаристией.<sup>399</sup>

Когда исполнено все, что так или иначе подводило нас к этой вершине, когда Церковь исповедала себя как единство любви и веры, священник возглашает: Благодарим Господа. И на этот возглас собрание верующих всегда, с первого дня существования Церкви отвечает Достоинно и праведно, тем самым подтверждая это благодарение как свое. И именно потому, что благодарение открывается нам как вершина и завершение, как акт, в котором исполняется все, о чем мы молились, к чему стремились и восходили, к чему звала и во что включала нас Литургия (и, можно прибавить, вся христианская вера), следует хотя бы вкратце определить смысл благодарения как такового и его место в нашей жизни.

И здесь, как всегда, нужно сперва пробиться сквозь ту привычку, из-за которой мы перестаем по-настоящему слышать и воспринимать не только слово «благодарение», но и множество других слов, которые, если в них вдуматься, должны бы постоянно нас удивлять и радовать, или, напротив, исполнять страха и трепета. Ибо привычка есть своего рода способность защищать себя от всего, что делает жизнь трудной, и в особенности трудной в высоком смысле этого слова, то есть требующей усилия не только физического, но и духовного. Нам легче жить в буднично-привычном мире, отношения с которым – с составляющими его людьми, вещами и явлениями – не требуют от нас внутреннего усилия. «Перемелется – мука будет» – говорит пословица. И вот эта «мука», густым слоем которой покрыта вся наша жизнь, есть привычка, позволяющая не вдумываться, не удивляться, не ужасаться – словом, не тратить, как принято говорить, «душевную энергию». В духовной же жизни привычка – самая большая опасность. Вот пример: входя в храм, мы видим Распятие, то есть Крест с

пригвожденным на нем Богочеловеком. Но мы так часто видим это Распятие, что, бросая на него привычный взор, по-настоящему не замечаем его. Ибо привычка есть то самое состояние, о котором Христос сказал: Слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите (Мф.13:14).

Между тем вера, как состояние, отличное от простого и привычного знания, по самой сути своей не может и не никогда не должна превращаться в нечто привычное. В Бога, в Христа нельзя верить «по привычке». В том-то и суть веры, что она врывается в мир, усыпленный привычкой, снимает с жизни покров привычки и ставит нас перед лицом высшей реальности всегда как бы впервые.

И вот если вдуматься теперь в сущность того, что мы называем благодарением, нельзя не подивиться ему как некоему чуду. Ибо «природный», а лучше сказать – падший мир не просто не нуждается в благодарении, но живет, так сказать, в постоянном его отрицании. «Борьба – закон жизни», «в борьбе обрешь ты право свое», «борьба классов», «борьба за национальное самоопределение» и т.п. – именно такое миропонимание прививают нам с первых дней жизни. А чего достигают борьбой, за то не благодарят. И вот оказывается, что благодарность, благодарение является в этом мире как чудесное исключение из его правил. Ибо благодарение есть абсолютно свободный ответ на дар – ответ, нарушающий всемирный закон борьбы, которым как раз и исключается всякий бескорыстный дар. Падший мир и весь опыт жизни в нем говорят: «Подарков не бывает, за все нужно бороться, за все нужно платить». Благодарение само собою доказывает возможность дара, а значит – совсем иной жизни, где царят свобода, радость и любовь. Ибо дар – это то, что дается без борьбы, без принуждения, от полноты сердца, дар – это то, что радует, ибо он только там, где любовь. Благодарение и есть, следовательно, признание и приятие дара, радость о нем и ответная любовь, и все это – как дело внутренней свободы.

Безбожники отрицают Бога на том основании, что если Бог есть, тогда человек – всего-навсего раб. Но там, где есть



благодарение, преодолевается, заканчивается, исчезает рабство. Раб не благодарит, но либо по-рабски покоряется, либо по-рабски же бунтует. Благодарность освобождает человека и одновременно дает ему познать Бога не как деспота, а как любовь, воплощенную в даре. Благодарение, как и дар, всегда свыше и никогда снизу. Вот почему оно составляет вершину литургии, ее увенчание и исполнение. Литургия возводит нас к чистому благодарению, к чистой хвале, а потому – к чистой, свободной и поистине Божественной жизни. Благодарим Господа! – Достойно и праведно. Вот снова с нами вся полнота, весь свет подлинной жизни, утерянной нами в грехе, который – и это так важно понять! – есть по самой сути своей отпадение в рабство и мрак себялюбия, а стало быть – отказ от благодарения. «Благодарим Господа» – это знание Бога, это постижение мира и жизни как Божественного дара и это постижение себя и собственной жизни как ответного дара Богу.

И только достигнув этой полноты, можно уразуметь последнюю тайну: почему хлеб и вино, т.е. Божественный дар пищи и одновременно наш дар Богу, становятся в этом благодарении дарованием Тела и Крови Христа, т.е. самой богочеловеческой Его жизни. Об этом – в следующей беседе.

## Таинство таинств. Преложение в жизнь с Богом

Молитва благодарения, о которой говорилось в прошлой беседе и которая, как мы видели, составляет вершину и увенчание литургии, начинается торжественным, свободным и радостным исповеданием Бога как самой жизни, как содержания этой жизни, этой свободы и этой радости<sup>400</sup>.

«Достоин и праведно, – говорит священник, – Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебя восхвалять, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, ибо Ты Бог неизреченный, неведомый, непостижимый, невидимый, вечно сущий, вечно Тот же<sup>401</sup>».

Эта хвала переходит в благодарение Богу за полученную от Него жизнь и за спасение нас, отпавших от Него. «Ты из небытия в бытие привел нас, и отпавших снова восстановил, и не отступил до тех пор, пока не возвел нас на небо и даровал Царство Твое будущее. За все это мы благодарим Тебя<sup>402</sup>, за все ведомые и неведомые<sup>403</sup> благодеяния Твои»<sup>404</sup>.

И вот наконец, после хвалы и благодарения, вспоминается ночь, когда Христос был предан на крест и смерть, но перед этим совершил с учениками Тайную вечерю – торжественную пасхальную трапезу. «Ты так возлюбил мир Твой, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он же, придя и исполнив все, что было нужным для нас, в ночь, когда Он предавался, лучше же сказать, Сам Себя предавал за жизнь мира, приняв хлеб во святые Свои и пречистые руки, благодарив, благословив, освятив, преломив, подал его святым Своим ученикам и апостолом и сказал: “Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов!” Также и чашу после трапезы, сказав: “Пейте от нее все, сие есть Кровь Моя, которая за вас<sup>405</sup> изливается во оставление грехов”. Итак, вспоминая эту спасительную заповедь, все то, что было совершено ради нас – Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, по правую руку Отца сидение, Второе и славное Его пришествие, мы приносим Тебе Твое от Твоего, за всех и за

все<sup>406</sup>. Приносим тебе сию духовную и бескровную службу и просим, и молим, и умилоствляем Тебя: ниспошли Духа Твоего Святого на нас и на подлежащие дары сии и сотвори хлеб сей честным Телом Христа Твоего, ато, что в чаше сей – честною Кровью Христа Твоего. Аминь».

У тех, кто слышит эту молитву впервые, несомненно возникает вопрос: что означает это претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа? Как мы уже не раз говорили, этот таинственный акт изначально составлял самую сердцевину жизни Церкви, но он по-прежнему остается и, наверное, навсегда останется камнем преткновения и соблазна для неверующих. И зная всю немощь, всю недостаточность слов человеческих, сделаем все же хотя бы попытку намекнуть на его сокровенный смысл.

Я говорил уже, что хлеб и вино, приносимые как дары Богу за литургией, знаменуют собою нас самих, ибо они – пища и питье, а то и другое дано нам Богом для претворения в нашу жизнь. Поэтому, принося их Богу, мы приносим в дар и жертву Ему самих себя, всю свою жизнь. Но если мы веруем в Христа и любим Его, то наша подлинная, т.е. глубокая жизнь, все ее содержание, весь ее смысл – в Нем. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков (Ин.1:4). Он, Сын Божий, стал Человеком, чтобы нас, людей, соединить с Богом, причастить Божественной жизни. Но это значит, что принося себя в дарах хлеба и вина как жертву Богу, мы приносим Ему то, что составляет нашу жизнь и ее содержание, – Самого Христа. На Тайной вечере Господь отождествил себя с нашей земной пищей, ибо если пища дает жизнь и если жизнь – это Христос, то Он есть истинная наша пища, о чем и Сам свидетельствует в Евангелии от Иоанна: «Я есмь хлеб, сшедший с небес и дающий миру жизнь» (ср.: Ин.6:33, 41).

Таким образом, Тайная вечеря – это самоотдача Христа нам, это насыщение нас Им Самим. Человек, как существо алчущее и жаждущее, зависит от пищи, и всякий, кто испытал голод и жажду, знает об этой абсолютной зависимости. Но в своем отделении от Бога мы забыли, что не хлебом единым жив человек, что ему свойственно искать не только физического, но

и духовного насыщения, что на последней своей глубине он жаждет Бога, как и сказано в псалме: «Жаждет душа моя Бога живого» (ср.: [Пс.41:3](#)). И эта жажда Бога, жажда подлинной жизни находит свое утоление в Христе. «Приимите, ядите, пейте – это Мое Тело, это Моя Кровь и, значит – Моя жизнь, которую Я отдаю вам, чтобы были прощены ваши грехи, чтобы вы в себе имели Мою вечную жизнь», – говорит Он.

В этом акте раскрывается, следовательно, истинный смысл пищи, а значит – материи, т.е. богосозданного мира. Цель и назначение этого мира не в нем самом, как и смысл хлеба не в нем самом, а в том, чтобы претвориться в познание Бога, в общение с Ним, в Божественную жизнь. Хлеб, который мы едим, чтобы жить, исчезает как хлеб, но оживает как наше тело и кровь, как наша жизнь. Равным образом и мир, как материя, имеет конец, но в этом конце вновь оживает как жизнь, ибо претворяется в жизнь с Богом. Таким образом, жизнь наша перестает быть переходом из ниоткуда в никуда, от бесцельного рождения к бессмысленному обрыву смерти. Все находит свой смысл и совершение в этом конце всех концов, в исполнении всех чаяний, в утолении всяческого алкания и жажды. Ибо нам сказано: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком ([Ин.10:10](#)). И на Тайной вечере эта жизнь даруется нам, и мы принимаем ее всем нашим благодарением, всей нашей любовью, всей нашей жаждой. И за каждой Божественной литургией мы вновь и вновь обретаем себя и свою жизнь в той единственной ночи, за той единственной трапезой, когда Христос явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их ([Ин.13:1](#)). До конца возлюбил и до конца отдал Себя всем, кто любит и верует в Него.

## Таинство таинств. Самоприношение Божие

Мы знаем, что после Тайной вечери, за которой Христос даровал нам Свою жизнь, Свое грядущее страдание и смерть, как и грядущую победу над смертью, – после этого торжества любви Он был предан на позорный суд и распятие. Тело Его, которое Он преподал накануне ученикам, стало воистину телом, за них «ломимым», то есть страдающим, а кровь – воистину кровью, за них изливаемой. Иными словами, на Тайной вечере Христос открыл, что все подлежащее ему в ближайшие часы совершается ради нас как предельное выражение Божественной любви. Эту связь между Тайной вечерей и крестным подвигом Христа бесконечно важно понять, ибо только через нее можно уяснить значение литургии как таинства Тела и Крови Христовых.

С первого дня своего существования Церковь проповедовала, что Христос пострадал, умер и воскрес «нас ради человек и нашего ради спасения». И вот верующие так привыкли к этому утверждению, что редко в него вдумываются. Неверующим же, но стремящимся понять сущность христианской веры, особенно трудно уразуметь это «нас ради». Что вообще значит умереть за другого? В каком смысле чья бы то ни было смерть, и тем более случившаяся две тысячи лет назад, может быть сегодня моим спасением, и не только моим, но и всех людей? Однако апостол Павел в одном из посланий утверждает, что приобщаясь хлеба и вина как Тела и Крови Христовых, мы всякий раз смерть Господню возвещаем, Воскресение Его исповедуем (ср.: [1Кор.11:26](#)). И потому в этой связи между Тайной вечерей, смертью и Воскресением Богочеловека Иисуса Христа и той литургией, какую мы совершаем здесь и сейчас, раскрывается само сердце христианской веры, христианского опыта и, прибавим, христианской радости. Я говорю «сердце», ибо слово это лучше всех других, пожалуй, указывает на главную трудность, возникающую при попытке объяснить такую связь посредством наших бедных, плоских и однозначных слов. Приближаясь к

этой тайне всех тайн, мы постигаем ее не умом, не через объяснения, а сердцем, то есть той глубиной всего нашего существа, на которой совершается подлинная встреча с истиной, с любовью, с Богом. А когда встреча эта совершилась, не нужно ни слов, ни объяснений.

И все же постараемся хоть намеком, бледным и заведомо недостаточным, тайну эту объяснить. Вряд ли нужно доказывать, что объяснение это зависит целиком от того, верим ли мы в Христа как Бога, сшедшего с небес, воплотившегося и соединившегося с нами. Это объяснение зависит, далее, от того, верим ли мы в то, что христианство утверждает о Боге, а именно что Бог есть любовь и что Его сошествие к нам – это поток Божественной любви, который устремлен к человеку, созданному Богом, но от любви Его отпавшему. И вот если только мы верим и ощущаем, что вся сущность, или, употребляя ужасное современное слово, вся «проблема», Бога для христиан сводится к встрече с Ним как с вечной, всеобъемлющей и живой любовью, тогда все остальное – Его вочеловечение, Крест, смерть и Воскресение – оживают в своем победном и лучезарном смысле, становятся для нас, как я уже сказал, сердцем нашей веры и нашей жизни.

Так возлюбил Бог мир (Ин.3:16) – это и только это по-настоящему возвещает христианство, а не отвлеченные представления о Боге как «абсолюте», «первопричине» и т.п. Если Бог есть любовь, то Он – любящая Личность, если же Он любящий, то Он и действующий, а если любящий и действующий, то Он приходит к нам, отдает Себя нам, ибо в чем же Его любовь и Его действие, как не в отдаче Себя, чтобы и мы могли отдать Ему свою любовь! И вот все это, т.е. предельное, завершающее явление Божественной любви, составляет сущность Тайной вечери. «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое» – что это значит, как не «Я отдаю вам Себя, потому что люблю вас и хочу совершенного единства с вами, хочу, чтобы Моя жизнь стала вашей жизнью»?

Но сделаем теперь второй шаг. Последним и абсолютным мерилom любви и самоотдачи даже в нашем грешном мире считается смерть. Умереть за другого – значит на деле явить,

что этот другой мне дороже собственной жизни. И Христос «вольно», т.е. по собственной воле, принимает смерть. Принимает во всем ее ужасе, одиночестве, раздирании и мучении. Но Он отдает Свою жизнь нам, чтобы она стала нашей победой над смертью, ибо смерть Его сокрушает всеобщую смерть как победу над жизнью. Ибо во Христе в смерть нисходит, принимает смерть в Себя Сын Божий. Сама смерть Его есть торжество любви, а не распада и разлучения, сама смерть Его явлена нам как жизнь, как победа, как любовь. Как любовь, которая сильнее смерти, как любовь, разрушающая смерть и воскрешающая мертвых. И вот эту единственную на все времена смерть – смерть-жизнь, смерть-победу – даровал нам Христос на Тайной вечере. И этот дар принимаем мы всякий раз, когда совершаем таинство воспоминания Христа – таинство литургии.

Снова и снова собираемся мы за Тайной вечерей, но жив воскресший Христос, и жива Его любовь, и снова изливается на нас, становится нашей любовью, нашей жизнью, нашей силой. Приимите, ядите... Пийте от нея... – нет, не «магия» это, не «загадочный обряд», а вечный дар нам любви Христовой. «Я создал мир как вашу пищу, – словно говорит Бог, – Я подарил вам жизнь, и если вы веруете, что все в мире от Меня, как Моя любовь, то знаете, что и хлеб, который вы едите, и вино, которое вы пьете, чтобы быть со Мною, – это Я Сам, Мое Тело, за вас ломимое, Моя Кровь, за вас изливаемая, и потому – Моя воскресшая, Моя Божественная жизнь».

Вот почему именно в литургии – сердцевина всей веры и всей радости христианства.

## Таинство таинств. Исполнение любви

Сразу по освящении Святых Даров, то есть после призывания Духа Святого, дабы Он осуществил то, для чего установил Христос в ночь Своих страданий таинство литургии (преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Его, а нас – в носителей Его жизни, Его любви, Его царства), молимся мы о том, чтоб приобщение Христу было исполнением и нашей любви. Нас же всех, – молится священник, – от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастие<sup>407</sup>. И это значит, что если христианство не переживается нами как любовью Христовой дарованная сила восстанавливать в себе единство, которое разрушили грех и смерть, то оно – ложное. «Соедини не только с Собою, но и друг с другом! Сделай нас одним телом, одной душой, одной жизнью!» – вот смысл этой молитвы.

Со времен апостольских христиане саму Церковь, то есть саму общину христианскую, называли Телом Христовым. И апостол Павел в своих посланиях не раз показывает, что единство Церкви укоренено в причастии всех ее членов Телу Христову и потому исполняется в единстве этого Тела. Напомнить это необходимо потому, что христиане слишком часто забывают о сущностном смысле причащения, воспринимая его как всецело личное соединение каждого с Христом. Но в том-то и дело, что соединиться с Христом – значит принять в себя Его жизнь, а Его жизнь – это любовь, это соединение в Себе всех. Поэтому нельзя любить Христа, не любя ближних, нельзя принимать Его Тело, не соединяясь со всеми, кого Он Сам сделал членами этого Тела. Как лучи солнца, чем ближе они к самому солнцу, тем ближе они и один к другому, так и верующие: чем ближе они к Христу, тем сильнее их единство в любви Христовой друг с другом.

Далее вспоминает священник всех святых, начиная с Пресвятой Богородицы – Матери Христовой. Но и это воспоминание – не что иное, как утверждение, что мы, соединяясь с Христом, вступаем в общение и с тем невидимым



телесному взору миром, который зовется у христиан Церковью торжествующей<sup>408</sup>. Для нас привычным стало понимать под Церковью лишь видимую ее организацию – епископов, приходское духовенство, храмы, обряды и т.д. И как часто эта видимая Церковь огорчает, смущает и даже искушает нас! В ней находим мы те же человеческие слабости, что и вне ее – то же малодушие, слабость, мелкие страсти, половинчатость, что и во всем мире, во всех человеческих сообществах. И потому многие соблазняются Церковью и по внешнему судят о ее внутреннем.

Но существо Церкви не исчерпывается этой видимостью, которая отнюдь не есть главное в ней. И вот, как будто предупреждая все наши сомнения и смущения, Евангелие подчеркивает человеческую слабость самих апостолов – тех, кого Сам Христос поставил быть Его свидетелями и проповедниками, живым основанием Церкви. Малодушествует Петр и начинает тонуть, а позже в страшную ночь предательства трижды отрекается от Учителя. Бросают Христа и разбегаются в страхе прочие апостолы. Неверит в Его воскресение и требует доказательств Фома. Слабые люди, и всегда и всюду все «человеческое, слишком человеческое»...

Но подлинное чудо Церкви в том, что этими слабыми человеческими руками вопреки всем немощам и малодушию осуществляется преемство церковной жизни. Падают империи и царства, все исчезает в прошлом, а эта слабая и как будто всеми ветрами колеблемая Церковь живет и пребывает в мире. И не было за эти две тысячи лет дня, чтобы не звучали в мире слова Христа: Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, чтобы остался мир без таинственного присутствия Христова в Его Церкви – присутствия, обещанного Им Самим: *И се, Яс вами во все дни до скончания века (Мф.28:20), Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее (Мф.16:18)*. И это так, повторяю, потому, что Церковь – не только видимая организация, но и присутствие невидимого, однако реального для верующих Христа и с Ним всех святых, в ком уже восторжествовала, уже воссияла Христова победа над злом. И наше воспоминание их за литургией – это не воспоминание о временах, когда они жили

на земле, но утверждение, опознание их присутствия здесь, среди нас, с нами и со Христом.

И помянув их, поминает священник Церковь земную, весь мир, всех людей. Нет, не для нас одних, не для удовлетворения наших только «религиозных нужд» совершается Божественная литургия, но и за всех и за вся, объединяемых в ходатайстве обо всем мире и о каждом человеке в нем. А за поминовением «всех и вся» следует священнический возглас: «И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать пречестное<sup>409</sup> имя Твое». Мы соединены Христом, и в этом единстве любви молимся о спасении и прославлении мира.

И только совершив все это, исполнив долг любви и ходатайства, приступаем мы теперь к самому завершительному священнодействию – причащению Тела и Крови Господа.

Эти беседы я хотел бы посвятить вере... и прежде всего тому, как прорастает она в отдельной душе. В самом деле, что бы я ответил, если бы меня спросили: «Что значит для вас Бог?.. Кто такой для вас Христос?.. Вы говорите всегда о Церкви – но в чем ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов, но за всеми этими словами должен ведь стоять живой личный опыт, иначе к чему они? А между тем в нашем мире, далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем!»

Так вот – попробуем. За тридцать лет священства я понял, что самое трудное дело – говорить о самом простом и самом насущном. Как легко излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами и как трудно – от сердца к сердцу! Итак... попробуем начать с Начала всех начал – с Бога.

На вопрос всех вопросов «Почему я верю?» можно ответить только одно: потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал как дар, в реальности которого удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего внешнего не зависящий мир, которые ощущаю в себе в те редкие минуты, когда слово «Бог» перестает быть только словом, становясь изливающимся на меня водопадом света, любви, красоты, истинной жизни. Мир и

радость во Святом Духе (Рим.4:17) – так сказал об этом апостол Павел, и нет уже других слов. Ибо когда веришь и живешь верой, слов не нужно, да они и невозможны.

---

## Примечания

<sup>1</sup> - Перевод с английского У.С. Рахновской под редакцией Ю.С. Терентьева.

<sup>2</sup> - См.: Sosin G. Sparks of Liberty: An Insider's Memoir of Radio Liberty. Pennsylvania state university press, 1999. P.5.

<sup>3</sup> - Sosin G. Sparks of Liberty... P. 4.

<sup>4</sup> - Оpubл. как: О вере, 2 //Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. М.: Паломник. 2000. С.10–12.

<sup>5</sup> - Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное во святей и светоносный день... Христа Бога нашего Воскресения // Триодъ Цветная. Утреня во святую и великую Неделю Пасхи.

<sup>6</sup> - Мысль, что «все полно богов», высказывал древнегреческий философ Фалес (ок.640–ок.547 до Р.Х.). См.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. М.: Наука, 1909. С.114.

<sup>7</sup> - Оpubл. как: О вере, 3 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 13–15.

<sup>8</sup> - Сартр, Жан-Поль (1905–1980) – французский философ-экзистенциалист. В зрелые годы был близок коммунистам, впоследствии перешел на крайне левые позиции. Формула «Человек есть бесполезная страсть» (L'homme est une passion inutile) содержится в его книге «Бытие и ничто» (L'être et néant, 1943).

<sup>9</sup> - Бл. Августин Иппонийский. Исповедь. Кн.1, гл.1. Ср.: «Ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» // Августин, Аврелий. Исповедь / Пер. М.Е.Сергеенко. СПб.: Азбука, 1999. С.5.

<sup>10</sup> - Оpubл. с сокр. как: О вере, 4 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.16–18.

<sup>11</sup> - Ср.: «Утешься: ты не искал бы Меня, когда бы уже не обрел» (/Паскаль, Блез. Мысли / Пер. Э. Фельдман-Линецкой. СПб.: Азбука, 1995. С. 289). Паскаль Б. (1623–1662) – французский математик, физик, религиозный мыслитель.

<sup>12</sup> - Ср.: «Христе, Свете истинный, просвещающий и освящающий всякого человека грядущего в мир...» (Молитва 1-го часа).

<sup>13</sup> - Ср.: «...Всякий из нас пред всеми во всем виноват» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн.6. Гл.2 // Полн. собр. соч. в 30 т. Т.14. Л.: Наука, 1976. С.262).

<sup>14</sup> - Опубл. как: О вере, 5 // Шмеман А., протоиерей Проповеди и беседы. С.19–21.

<sup>15</sup> - Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855)

<sup>16</sup> - Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

<sup>17</sup> - Франк С.Л. Материализм как мировоззрение [1928] // Христианство, атеизм и современность. 2-е изд. Париж: YMCA-Press, 1969. С.145. Франк Сергей Людвигович (1877–1950) – русский философ и религиозный мыслитель. В 1922 г. выслан большевистским правительством за границу.

<sup>18</sup> - Из стихотворения А.А. Блока «Обреченный» (1907). Следует: «Тайно сердце хочет гибели...»

<sup>19</sup> - Св. Иустин Философ, или Мученик – христианский апологет, пострадавший за веру в 166 г.

<sup>20</sup> - Климент Александрийский (2-я половина II – начало III вв.) – церковный писатель, учитель Александрийской церкви.

<sup>21</sup> - По-церковнославянски: «Христос рождается, славите. Христос с небес, срящите. Христос на земли, возноситеся» (Рождество Христово. Утреня. Первый канон, песнь 1, ирмос).

<sup>22</sup> - Ср.: ««...Конечно, ничего потом нет». Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо: “Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь”. А между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз» (Набоков В.В. Дар [1938]. Гл.5 // Собр. соч. в 4т. Т.3. М.: Правда, 1990. С.279).

<sup>23</sup> - Сельвинский Илья Львович (1899–1968) – русский поэт и драматург. Цитируемый далее его роман в стихах «Арктика» опубл. в 1956 г. Озеров Лев Адольфович (1914–1996) – русский

поэт, переводчик и литературовед. Оба письма были напечатаны в «Литературной России» (1966, №33,39).

<sup>24</sup> - Сельвинский И.Л. Избранные произведения. Т.1. М.: ГИХЛ, 1960. С.251.

<sup>25</sup> - Федоров Николай Федорович (1828–1903) – русский религиозный мыслитель и философ-космист, учивший о преодолении смерти как «общем деле» всего человечества. «Философия общего дела» – название сборника, в котором ученики Федорова опубликовали ряд его статей и набросков (Т.1. 1903; Т.2.1913).

<sup>26</sup> - Булгаков Сергей Николаевич (1873–1944) – русский философ, проделавший путь от марксизма к христианскому мировоззрению, экономист, богослов, церковно-общественный деятель, православный священник. В 1922 г. выслан большевистским правительством за границу. Теме смерти посвящены, в частности, его работы «Жизнь за гробом» (опубл. 1955) и «Софиология смерти» (опубл. 1978–1979).

<sup>27</sup> - Иоанн Креста, или Иоанн Крестный (Хуан де ла Крус) (1542–1591)– католический монах, писатель-мистик. Канонизирован Римско-католической церковью как «учитель Церкви».

<sup>28</sup> - Полностью: «Животе, како умираеши, како и во гробе обитаеши, смерти же царство разрушаеши и от ада мертвыя возставляеши?» (Утренняя Великой субботы. Похвалы. Статья 1).

<sup>29</sup> - Тропарь Пасхи.

<sup>30</sup> - Камю, Альбер (1913–1960) – французский писатель, близкий по мироощущению к представителям экзистенциализма. Упоминаемый далее роман «Чума» (La Peste) опубликован в 1947 г.

<sup>31</sup> - Из стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

<sup>32</sup> - Из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

<sup>33</sup> - Цикл романов «В поисках утраченного времени» (так в опубликованном русском переводе; в оригинале: *A la recherche du temps perdu*) – основное произведение М.Пруста (1876–

1922), последние части которого неоднократно перерабатывались автором.

<sup>34</sup> - Ср.: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно не знает ничего или очень мало» (Чехов А.П. Записные книжки. Книжка первая. С.49 // Собр.соч. в 12 т. Т.10. М.: ГИХЛ, 1956. С.439).

<sup>35</sup> - «Религия есть опиум народа» – формула К.Маркса из введения к «К критике гегелевской философии права» (1844), обычно цитируемая вне контекста. Ср.: «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа» (Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения в 51 т. Изд. 2-е. Т.1. М.: Политиздат, 1955. С.415).

<sup>36</sup> - Великий канон свт. Андрея Критского. Песнь 7, ирмос. Чтение этого канона назначено церковным уставом на первой и пятой неделях Великого поста.

<sup>37</sup> - Навечерие Богоявления. Чин великого водоосвящения. Молитва священника.

<sup>38</sup> - Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – русский философ, религиозный мыслитель, публицист. В 1922 г. выслан большевистским правительством за границу.

<sup>39</sup> - Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – русский философ, экономист, писатель-публицист, общественный и политический деятель, участник Белого движения. С 1920 г. – в эмиграции.

<sup>40</sup> - Опубл. как: О вере и неверии // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.119–121.

<sup>41</sup> - Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский религиозный философ, поэт, литературный критик. Его сочинение «Оправдание добра» опубликовано в 1897 г.

<sup>42</sup> - «Великий инквизитор» – «поэма» Ивана Карамазова (см.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч.2. Кн.5. Гл.5).

<sup>43</sup> - С нами Бог, разумеете, языцы, и покарайтесь, яко с нами Бог! – начальный и конечный стихи песни на Великом повечерии, составленной из избранных стихов Книги пророка Исаии (гл. 8).

<sup>44</sup> - Кондак Рождества Христова.

<sup>45</sup> - Розанов В.В. Уединенное // [Сочинения в 2 т.] Т.2: Уединенное. М.: Правда, 1990. С.243. Розанов Василий Васильевич (1856–1919)– русский религиозный мыслитель, публицист, литературный критик.

<sup>46</sup> - Зеньковский В.В. Основы христианской философии. Т.2. М.: Канон, 1996. С 262. Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) – русский писатель, богослов, религиозный мыслитель, педагог и общественный деятель. С 1920 г. – в эмиграции. С 1942 г. – православный священник.

<sup>47</sup> - Из стихотворения В.С.Соловьева «Потому ль, что сердцу надо...» (1892). Следует: «...Потому ль, что нет отрады / Неотдавшему себя...»

<sup>48</sup> - Выражение Ф.Энгельса (см.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.,1966. С.288).

<sup>49</sup> - Опубл. как: Парадокс христианской веры // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.55–58.

<sup>50</sup> - Воскресная утренняя. Песнь по Евангелии «Воскресение Христово видевше...».

<sup>51</sup> - Ср.: «Любовь к человечеству даже совсем немислима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой» (Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1876. Декабрь // Полн. собр. соч. в 30 т. Т.24. Л.: Наука, 1982. С.49. Курсив авт.).

<sup>52</sup> - Т.е. по истечении первой пасхальной, или Светлой, недели (седмицы).

<sup>53</sup> - Ср.: «Пречисте, нескверне, невидиме, непостижиме, неизследиме, непременно, непобедиме, неизчетне, незлобиве Господи...» (Вечерня в Св. Пятидесятницу. Первая «коленопреклонная» молитва).



<sup>54</sup> - Из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

<sup>55</sup> - Федотов Г.П. О гуманизме Пушкина (1949) // Собр. соч. Т.9. М.: Мартис, 2004. С.315.

<sup>56</sup> - Из стихотворения А.С. Пушкина «Отцы пустыnnики и жены непорочны...» (1836).

<sup>57</sup> - Из стихотворения А.С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829).

<sup>58</sup> - Курочкин П.К. Модернизация идеологии современного Православия // Политическое самообразование. 1964. №6. С.27–35. Курочкин П.К.– автор ряда работ (1960-е – начало 1980-х гг.) о Русской Православной Церкви в XX в., выдержанных в официально-советском «разоблачительном» духе.

<sup>59</sup> - Курочкин П.К. Модернизация идеологии... С.31.

<sup>60</sup> - Источник цитаты не установлен. Парийский Л.Н.(1892–1972) – профессор Ленинградской духовной академии, автор ряда статей в «Журнале Московской Патриархии» (далее – ЖМП).

<sup>61</sup> - Источник цитаты не установлен. Священник В.Поветкин – возможно, клирик Симферопольской епархии, скончавшийся в 1966 г. (см.: ЖМП. 1966. №2. С.35).

<sup>62</sup> - Нибур, Райнхолд (1892–1972) – американский религиозный мыслитель, протестантский богослов.

<sup>63</sup> - Узенер, Герман (1839–1905); Дитрих, Альбрехт (1866–1908); Хакман, Генрих (1864–1935); Шантепи де ла Соссе, Пьер-Даниэль(1864–1920)– исследователи мифологии и религиозных верований языческой древности.

<sup>64</sup> - Речь идет о статье Е.Беляева «Начинающий мракобес критикует В.И.Ленина» (Наука и религия. 1965. №10. С.83–84) по поводу диссертации Э.Адлера «Философия религии Ленина» (Мюнхен, 1964).

<sup>65</sup> - Тейяр де Шарден, Пьер (1881–1955) – французский священник-иезуит, религиозный мыслитель, ученый-исследователь в области палеонтологии и антропологии.

<sup>66</sup> - Эпикурейцы – в собственном смысле: последователи греческого философа Эпикура (ок.342-ок.270 до Р.Х.), учение которого не было, однако, проповедью бездумного наслаждения.

<sup>67</sup> - Гедонизм – направление в западноевропейской этике, зародившееся в эпоху Ренессанса и по традиции возводимое к древнегреческому философу Аристиппу (ок.435 – ок.355 до Р.Х.).

<sup>68</sup> - Ср.: «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств» (Паскаль Б. Мысли. С.39).

<sup>69</sup> - В повести Л.Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича» данный текст (с незначительными вариациями приводимый о. Александром и в других беседах) отсутствует. Ср.: «Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру» (Толстой Л.Н. В чем моя вера? (1884) // Полн. собр. соч. в 91 т. Т.23. М.: ГИХЛ, 1957. С.402).

<sup>70</sup> - Эпифеномен – побочное, привходящее явление.

<sup>71</sup> - Тезис «Человек есть мера всех вещей» впервые сформулирован древнегреческим философом Протагором (V в. до Р.Х.), представителем т.н. старшей софистики.

<sup>72</sup> - Моно, Жак-Люсьен (1910–1976) – французский биохимик и микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1965). Его книга «Случайность и необходимость» (Le Hasard et la Nécessité) вышла в Париже в 1970 г.

<sup>73</sup> - Слова Чацкого из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), действие 1, явление 7.

<sup>74</sup> - Шабанис, Христиан (правильнее Шабани, Кристиан) (1936–1989) – французский религиозный философ, писатель, журналист; лауреат Католической премии по литературе (1985). Речь идет о книге: Chabanis C. Dieu: existe-t-il? “Non” répondent P. Anquetil, R. Aron, Ch. Boule... (Есть ли Бог? – «Нет!» – отвечают П. Анкетиль, Р. Арон, Ш. Булле...). Paris: Fayard, 1973.

<sup>75</sup> - Кастлер, Альфред (1902–1984) – французский физик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии 1966 г. за исследования в области оптики.

<sup>76</sup> - Морен, Эдгар (р.1921) – французский философ и социолог, исследователь современной западной цивилизации.

<sup>77</sup> - Пастер, Луи (1822–1895) – французский химик и микробиолог.

<sup>78</sup> - Французский экономист Ж. Элгози (1909–1989) известен также трудами по политологии.

<sup>79</sup> - По церковному уставу пасхальные песнопения, как и возглашение «Христос воскрес!», звучат в православных храмах до Отдания Пасхи, совершаемого перед праздником Вознесения Господня.

<sup>80</sup> - Неделя о Фоме. Утреня. Ексапостиларий.

<sup>81</sup> - Неточная цитата из записи Б. Паскаля (ноябрь 1654 г.), найденной близкими после его смерти и получившей известность как Memorialde Pascal (Памятная записка Паскаля). Ср.: «Огонь .... Уверенность, уверенность. Уверенность. Ощущение (Его), радость, мир...» (Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель: Жизнь с Богом, 1966. С.224).

<sup>82</sup> - Комбинация из фрагментов канона и стихир Пасхи.

<sup>83</sup> - Тропарь Вознесения Господня.

<sup>84</sup> - Кондак Вознесения Господня.

<sup>85</sup> - Прокофьев Василий Иванович (1909–1987) – специалист в области «научного» атеизма с преимущественным уклоном в критику христианской морали. Основные публикации – сер.1960-х – нач.1980-х гг.

<sup>86</sup> - Ср.: Лк.15:28; Мф.9:22; Мк.5:34, 10:52; Лк.7:50, 8:48, 17:19, 18:42.

<sup>87</sup> - Бергсон, Анри (1859–1941) – французский философ-интуитивист.

<sup>88</sup> - Маритен, Жак (1882–1973) – французский католический философ.

<sup>89</sup> - Нравственному доказательству бытия Божия И.Кант (1724–1804) посвятил особый раздел в сочинении «Критика способности суждения» (1790).

<sup>90</sup> - Имеется в виду выдвинутое Р.Декартом (1596–1650) и разрабатывавшееся Н.Мальбраншем (1638–1715)

«онтологическое доказательство», согласно которому идея бесконечности в человеческом уме служит достаточным основанием для вывода о существовании Бога.

<sup>91</sup> - Ср.: «Человек произошел от обезьяны, поэтому будем любить друг друга» (Соловьев В.С.Идея человека у Августина Конта // Соч. в 2 т. Т.2. М.: Мысль, 1988. С.579).

<sup>92</sup> - Позитивизм – в собственном смысле: направление в западной философии 2-й половине XIX – начале XX вв., отвергающее метафизическую проблематику и единственный источник «положительного» знания усматривающее в специализированном эмпирическом исследовании. Здесь: собирательное наименование учений, признающих лишь рационально-эмпирический путь познания.

<sup>93</sup> - Древнегреческий философ Парменид (около 540 – около 450 до Р.Х.) учил о единстве, неподвижности и вечности космоса, наилучшим выражением которого является сферическое тело («шар сущности»).

<sup>94</sup> - Теория Большого взрыва как начала существования Вселенной является сейчас общепринятой в научном мире без всякого соотнесения с метафизическим измерением.

<sup>95</sup> - Анаксимандр Милетский (610 – около 540 до Р.Х.) и Гераклит Эфесский (ок.540–480 до Р.Х.)– древнегреческие философы-досократики. Стоики – последователи стоицизма, философского учения, родоначальником которого был Зенон Китийский (336–264 до Р.Х.).

<sup>96</sup> - У С.Н.Булгакова встречается выражение «христианский материализм» (например, в предисловии к «Философии хозяйства», 1912. См.: Соч. в 2 т. М.: Наука, 1993. Т.1. С.51).

<sup>97</sup> - Из стихотворения Ф.И.Тютчева «Как дымный столп светлеет в вышине...» (ок.1849). Следует: «...Не светлый дым, блестящий при луне, / А это тень, бегущая от дыма».

<sup>98</sup> - Источник редакцией не установлен. Примечательно, что аналогичное название (также без указания источника) имеет проповедь на Рождество прот. С.Н.Булгакова (см.: Булгаков С., прот. Слова. Поучения. Беседы. Париж: YMCA-Press, 1987. С.87).

<sup>99</sup> - Оpubл. как: Музыка нашей эпохи // ШмеманА., прот. Проповеди и беседы. С.72–75.

<sup>100</sup> - Из стихотворения «Голос из хора» (1910–1914).

<sup>101</sup> - Вorig.: «Der Mensch ist, was er isst». Формула голландского физиолога Я. Мошотта (1822–1893), воспроизведенная Л.Фейербахом в рецензии на его книгу «Физиология средств питания» (Physiologie des Nahrungsmittel, 1850).

<sup>102</sup> - Доброта – красота (церковнослав.).

<sup>103</sup> - Лат. adorans означает, скорее, «поклоняющийся».

<sup>104</sup> - Слова Сатина из пьесы М. Горького «На дне» (1902), действие 4.

<sup>105</sup> - Кондак молебного пения Пресвятой Богородице.

<sup>106</sup> - Тропарь Казанской иконы Божией Матери.

<sup>107</sup> - Последование об усопших. Кондак «Со святыми упокой...».

<sup>108</sup> - Ср.: «...Христианство в глубине его, в чарующих его особенностях... вышло из народных вздохов, народного умиления к Богу» (Розанов В. [Из выступления в Религиозно-философском собрании]. Записки Религиозно-философского собрания (собрание XVIII) // Новый путь. 1903. №11. С.457).

<sup>109</sup> - Ср: «И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут..» (Тургенев И.С. Касьян с Красивой Мечи // Полн. собр. сочинений и писем в 30 т. Т.3. М.: Наука, 1979. С.119).

<sup>110</sup> - Ср.: «Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей Христа Бога нашего, любви светлостью, молитвы блистанием, чистоты очищением, благомужества крепостью...» (Понедельник 1-й седмицы Великого поста. Утренняя. Седален по 3-м стихословию).

<sup>111</sup> - Великий канон свт. Андрея Критского. Песнь 1, тропарь 1-й.

<sup>112</sup> - Ср.: «Лучезарная Твоя молния возсияй ми, Боже мой Триипостасне, Вседетелю, и дом мя покажи Твоя неприступная

славы, светел и светоносен, и неизменен» (Полунощница воскресная. Тропарь 6-й по Троичном каноне).

<sup>113</sup> - Оpubл. как: О вере, 1 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. М.: Паломник, 1993. С.7–9.

<sup>114</sup> - Из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» (1826).

<sup>115</sup> - Оpubл. как: О духовности, 2 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.68–71.

<sup>116</sup> - Вольтер (Аруэ), Франсуа-Мари (1694–1778); Дидро (латинизир. Форма – Дидерот), Дени (1713–1784); Руссо, Жан-Жак (1712–1778)– французские философы, в различной степени подготовившие торжество идеологии Просвещения.

<sup>117</sup> - Вorig.: «A thing of beauty is a joy for ever». Из поэмы Джона Китса «Эндимион» (1818).

<sup>118</sup> - Из стихотворения Н.С.Гумилева «Фра Беато Анджелико» (1912)

<sup>119</sup> - Церковнослав.: «...Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю» (Молитва Святому Духу).

<sup>120</sup> - Клише «духовный (чаще – «моральный») облик советского человека» широко использовалось в официальной лексике СССР после XXII съезда КПСС (1961), провозгласившего курс на построение коммунистического общества и воспитание «человека нового типа».

<sup>121</sup> - Дудинцев Владимир Дмитриевич (1918–1998)– русский писатель. Опубликованный в журнале «Новый мир» за 1956 г. его роман «Не хлебом единым» вызвал резкие нападки советской критики как «клеветнический».

<sup>122</sup> - Из стихотворения А.А. Блока «Я насадил мой светлый рай...» (1907). Следует: «...Что прежней радости не надо / Вкусившим райского вина ...»

<sup>123</sup> - Св. Пятидесятница. Великая вечерня. Стихира 1-я на Господи, воззвах.

<sup>124</sup> - Из стихотворения Г.В. Адамовича «Осенним вечером в гостинице, вдвоем...» (1928). Следует: «О том, что мы умрем. О том, что мы живем».

<sup>125</sup> - Ср.: «Иже и в сей последний и великий, и спасительный день Пятидесятницы праздник тайну... Святыя Троицы показавый нам...» (Вечерня в Св. Пятидесятницу. Третья «коленопреклонная» молитва).

<sup>126</sup> - Впервые опублик. как статья: Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник. Сергиев Посад. 1892. Январь. С.89–97.

<sup>127</sup> - Опублик. как: О духовности, 1 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.65–68.

<sup>128</sup> - Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

<sup>129</sup> - Опублик. как: Сосредоточенное устремление // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.161–170.

<sup>130</sup> - Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый // [Соч. в 2 т.] Т.2. М.: Правда. С.299.

<sup>131</sup> - Опублик. как: Вопрос о совести (по роману А.И. Солженицына) // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.144–147.

<sup>132</sup> - Солженицын А.В. Круге первом. Париж: YMCA-Press, 1969. С.401–402. Текст романа в этой и следующей беседах цитируется о.Александром по более ранней редакции, опублик. почти одновременно в Нью-Йорке и Париже и существенно отличающейся от окончательной его версии в: Солженицын А. Собр. соч. в 20 т. Вермонт, Париж: YMCA-Press. Т.1–2, 1978.

<sup>133</sup> - Там же. С.635.

<sup>134</sup> - Опублик. как: Религия или идеология, 1 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.122–125.

<sup>135</sup> - Опублик. как: Религия или идеология, 2 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.125–128.

<sup>136</sup> - Термин, который бытовал среди западных интеллектуалов леволиберального толка с середины 1950-х гг. и означал гуманную альтернативу социализму советского образца, реализованную, как казалось, в Чехословакии периода «Пражской весны» (январь–август 1968 г.).

<sup>137</sup> - Заранее, до всякого обсуждения (лат.).

<sup>138</sup> - Ницше, Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, критик христианства. Этика «любви к дальнему» разработана им в сочинении «Так говорил Заратустра» (1885).

<sup>139</sup> - Всеобщая Декларация прав человека – документ, принятый Генеральной ассамблеей ООН в декабре 1948 г. Имея рекомендательный, а не обязательный характер, «Декларация», тем не менее, легла в основу международных договоров, определяющих основные политические, гражданские, экономические и другие права человека.

<sup>140</sup> - Из стихотворения «Silentium!» (1829).

<sup>141</sup> - Ср.: «Христе, Свете истинный, просвещай и освящай всякого человека грядущаго в мир...» (Молитва 1-го часа).

<sup>142</sup> - Райнер Мария Рильке, Стихотворения (1895–1905), Сборник

<sup>143</sup> - Кондак Великого канона свт. Андрея Критского

<sup>144</sup> - Оpubл. Как: Вечная детскость Бога // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.134–137.

<sup>145</sup> - Слова Поля Клоделя. Клодель Поль (1868–1955) – французский поэт, религиозный писатель, драматург, дипломат.

<sup>146</sup> - Следует: «.. .Старики, только что вернувшиеся из церкви, испускают сияние» (Чехов А.П. Собр. соч. в 12т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1955. С.104).

<sup>147</sup> - По-церковнослав.: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онъ...» (Запев к стихире 4-й Пасхи).

<sup>148</sup> - Франциск Ассизский (1182–1226) – святой Римско-католической церкви, основатель ордена нищенствующих монахов.

<sup>149</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о христианском понимании смерти, 1 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.101–104.

<sup>150</sup> - Подразумевается герой романа М.А.Алданова «Пещера» (1934) Александр Браун

<sup>151</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о христианском понимании смерти, 2 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.104–107.



<sup>152</sup> - Из стихотворения Б.Л.Пастернака «Я понял: все живо...» (1936). Следует: «И мы по жилищам / Пройдем с фонарем...».

<sup>153</sup> - Ср.: «Воскреснут мертви, и восстанут сущие во гробех, и все земнороднии возрадуются» (Великая суббота. Утреня. Канон. Песнь 5, ирмос).

<sup>154</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о христианском понимании смерти, 3 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.107–110.

<sup>155</sup> - Ср.: «...И к жизни нестареем, святии, и присносущней преставльшеся...» (Суббота. Заупокойная утреня. Тропарь 2-й по Непорочнах).

<sup>156</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о христианском понимании смерти, 4 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 110–113.

<sup>157</sup> - «Апостольский символ», доныне употребляемый в Католической и Англиканской церквях, сложился не ранее V в., однако первоначальный его вариант восходит к более древним временам.

<sup>158</sup> - Оpubл. как: Христианство как религия спасения // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.85–88.

<sup>159</sup> - Оpubл. как: Христианское учение о смерти // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.172–175.

<sup>160</sup> - Ср.: «Будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а повсем углам пауки, и вот вся вечность» (Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Ч.4. Гл.1 // Полн. собр. соч. в 30 т. Т.6. Л.: Наука, 1973. С.221).

<sup>161</sup> - Из повести В.В. Набокова «Отчаяние» (1936), гл.6: «Поэтому я все приму, пускай – рослый палач в цилиндре, а затем – раковинный гул вечного небытия» (Набоков В. Собр. соч. в 4 т. Т.3. М.: Правда, 1990. С.394).

<sup>162</sup> - Экзистенциализм (от лат. *existentia* – существование) – одно из главных философских направлений XX в., возникшее вне русла академической философии, занятое проблемой бытия человека в отчужденном мире и ориентирующее его на прорыв к собственной «подлинности».

<sup>163</sup> - Анимизм (от лат. *anima* – душа) – вера в духов, управляющих природой и человеком.

<sup>164</sup> - Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – русский историк-медиевист, профессор Московского университета.

<sup>165</sup> - Подразумевается официально-советская история русской общественной мысли, основанная на марксистско-ленинской методологии.

<sup>166</sup> - Имеется в виду изд.: А.И.Герцен в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1956.

<sup>167</sup> - Огарева-Тучкова Наталья Алексеевна (1829–1913) – вторая жена Н.П.Огарева, ставшая по приезду в Лондон женой А.И.Герцена.

<sup>168</sup> - А.И. Герцен в воспоминаниях современников. С.220.

<sup>169</sup> - Опубл. как: Христианское понятие свободы, 1 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 88–91.

<sup>170</sup> - Опубл. как: Христианское понятие свободы, 2 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 92–94.

<sup>171</sup> - Опубл. как: Христианское понятие свободы, 2 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.92–94.

<sup>172</sup> - Шопенгауэр, Артур (1788–1860) – немецкий философ-иррационалист

<sup>173</sup> - Опубл. как: О прекрасном человеке // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 170–172.

<sup>174</sup> - Розанов В.В.Опавшие листья. Короб первый // [Соч. в 2 т.]. Т.2: Уединенное. М.: Правда, 1990. С.328.

<sup>175</sup> - Розанов В.В.Опавшие листья. Короб первый // [Соч. в 2 т.]. Т.2: Уединенное.

<sup>176</sup> - Бубер, Мартин-Мордехай (1878–1965) – еврейский религиозный мыслитель, чьи идеи во многом близки раннему экзистенциализму.

<sup>177</sup> - Эйхман, Адольф (1906–1962) – офицер СС, один из авторов плана по уничтожению еврейского населения Европы в годы Второй мировой войны. В послевоенные годы скрывался в Аргентине. Похищен и вывезен израильской разведкой в Иерусалим для суда, закончившегося смертным приговором.

<sup>178</sup> - Утренняя. Песнь Пресвятой Богородицы, припев.

<sup>179</sup> - Ср.: «Радуйся, Премудрости Божия Приятелище...»  
(Акафист Пресвятой Богородице. Икос 9)

<sup>180</sup> - Присутствие на крестинах обоих родителей с представлением паспортов (а местами – и письменного согласия) стало вводиться как обязательное летом 1962 г. (см.: Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999. С.383).

<sup>181</sup> - Ср.: «У сердца немало своих собственных разумных, по его понятию, чувств, непостижимых разуму» (Паскаль Б. Мысли. С.174).

<sup>182</sup> - Акафист Пресвятой Богородице. Икос 1.

<sup>183</sup> - Акафист Пресвятой Богородице. Икосы 1 и 5.

<sup>184</sup> - Ср.: «Образ есмь неизреченная Твоя славы...»  
(Суббота. Заупокойная утренняя. Тропарь 4-й по Непорочнах).

<sup>185</sup> - Частично опубл. как: Жены-мироносицы // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.192–193

<sup>186</sup> - Ср.: «Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе подложше, очистим душу, очистим плоть...»  
(Вечерня в Неделю сырную. Стихира 3-я на Господи, воззвах);  
«Постящися, братие, телесне, постимся и духовне: разрешим всякий союз неправды...» (Вечерня в среду 1-й седмицы Великого поста. Стихира 1-я на Господи, воззвах).

<sup>187</sup> - Из «Легенды о двенадцати разбойниках» – песни неизвестного автора, текст которой частично восходит к поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1863–1876).

<sup>188</sup> - Т.е. молитва преподобного Ефрема Сирина.

<sup>189</sup> - Имеются в виду судебные процессы 1097–1938 гг. над рядом видных партийно-государственных деятелей СССР.

<sup>190</sup> - Ср.: «Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе подложше, очистим душу, очистим плоть, постимся ... добродетельми наслаждающиеся Духа. В нихже совершающиеся любовью, да сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и святую Пасху, духовно радующеся»  
(Вечерня в Неделю сырную. Стихира 3-я на Господи, воззвах).

<sup>191</sup> - Ср.: «Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей Христа Бога нашего, любве

светлостию, молитвы блистанием, чистоты очищением, благомужества крепостию...» (Понедельник 1-й седмицы Великого поста. Утреня. Седален по 3-м стихословию).

<sup>192</sup> - «Постящися, братие, телесне, постимся и духовне: разрешим всякий союз неправды, расторгнем стропотная нуждных изменений. Всякое списание неправедное раздерем, дадим алчущим хлеб и нищия безкровныя введем в дома...» (Вечерня в среду 1-й седмицы Великого поста. Стихира 1-я на Господи, еоззеах).

<sup>193</sup> - Ср.: «Приидите, вернии, делаим во свете дела Божия, яко во дни благообразно да ходим, всякое неправедное списание от себе ближняго отъимем, не полагаяще претыкания сему в соблазн. Оставим плоти сладострастие, возрастим души дарования, дадим требующим хлеб и приступим Христу...» (Вечерня в пятницу 1-й седмицы Великого поста. Стихира 1-я на Господи, воззвах).

<sup>194</sup> - Ср.: «Оно [Слово Божие] вочеловечилось, чтобы мы обожились...» (Свт.Афанасий Александрийский. Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти, 54 // Творения в 4 т. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. Репринт. Т.1. С.260).

<sup>195</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 1 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.15–18.

<sup>196</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 2 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.18–21.

<sup>197</sup> - Из стихотворения «О этот юг, о эта Ницца...» (1864).

<sup>198</sup> - Ср.: «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным...» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть 2. Кн.6. Гл.3 // Полн. собр. соч. в 30 т. Т.14. С.290).

<sup>199</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 3 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 21–23.

<sup>200</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 4 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.24–26.

<sup>201</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 5 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.26–29.

<sup>202</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 6 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.29–32.

<sup>203</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 7 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.32–35.

<sup>204</sup> - Ср.: «...От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Нестоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка... А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... НеБога я не принимаю... я только билет Ему почтительнейше возвращаю» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч.2. Кн.5. Гл.4 // Полн. собр. соч. в30 т.Т.14. С.262).

<sup>205</sup> - Оpubл. как: Цикл бесед о молитве Господней «Отче наш», 8 // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.35–38.

<sup>206</sup> - Из стихотворения В.Ф. Ходасевича «Звезды» (1925).

<sup>207</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 1 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.34–36.

<sup>208</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 2 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.36–38.

<sup>209</sup> - С некоторыми отличиями опубл. как: Символ веры, 3 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.38–40.

<sup>210</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 4 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.40–42.

<sup>211</sup> - Ср.: «Яко Ты еси един Свят, Ты еси един Господь (Утреня. Вседневное (по будням) и Великое (по праздникам) славословие).

<sup>212</sup> - Преимущественно в Книге пророка Иезекииля (см.: Иез.6:11, 7:5, 21:24, 37:9).

<sup>213</sup> - Тропарь Рождества Христова.

<sup>214</sup> - С некоторыми отличиями опубл. как: Символ веры, 6 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.45–48.

<sup>215</sup> - Выражение Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Ч.3, гл.6). См.: Полн. собр. соч. в 30 т. Т.6. Л.: Наука, 1973. С.212.

<sup>216</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 7 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 48–51.

<sup>217</sup> - По-церковнослав.: «Чюжде матерем девство, и странно девам деторождение...» (Рождество Богородицы. Утреня. Второй канон. Песнь 9, ирмос).

<sup>218</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 8 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.51–53.

<sup>219</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 9 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 53–56.

<sup>220</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 10 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.56–60.

<sup>221</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 11 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 60–63.

<sup>222</sup> - Ср., в частности: «Радуйся, живоносный Гробе, в немже Христос яко Человек почи, и яко Бог воскрес тридневен» (Свт. Иннокентий Херсонский. Акафист Живоносному Гробу и Воскресению Господню. Икос 1).

<sup>223</sup> - По-церковнослав.: «Животе, како умираеши? Како и во гробе обитаеши?» (Великая суббота. Утреня. Похвалы. Статья 1).

<sup>224</sup> - Ср.: «На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет сего, Владыко, даже до ада снизшел еси ищяй» (Там же); «Адама и Еву свободити, Мати, не рыдай, сия стражду» (Там же); «О како утаилася Тебе бездна щедрот, Матери в тайне изрече Господь. Тварь бо Мою хотя спасти, изволих умерети...» (Великая пятница. Повечерие. Канон. Песнь 9, тропарь на Слава...).

<sup>225</sup> - Ср.: «Спит Живот, и ад трепещет...» (Великая суббота. Утреня. Стихира 1-я на Хвалитех).

<sup>226</sup> - Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное...

<sup>227</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 13 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 66–69.

<sup>228</sup> - Ср.: «Общее воскресение прежде Твоя страсти уверяя...» (Тропарь Лазаревой субботы).

<sup>229</sup> - Великая суббота. Утреня. Канон, песнь 5, ирмос.

<sup>230</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 14 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.69–72.

<sup>231</sup> - Полностью: «Что мне до неба, когда я созерцаю Владыку неба, когда сам становлюсь небом?» (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание к Евреям. Беседа 16, гл.3 // Творения в 12 т. Т.12. Кн.1. СПб.,1906. С.146).

<sup>232</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 15 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 73–76.

<sup>233</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 16 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 76–78.

<sup>234</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 17 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 78–81.

<sup>235</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 17 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 78–81.

<sup>236</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 19 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 85–88.

<sup>237</sup> - «Приняв это учение и эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру... тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме» (Свт. Иринея Лионский. Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания. Кн.1. Гл. 10,2 // Творения. М.: Паломник; Благовест, 1996. С.50).

<sup>238</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 20 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 88–90.

<sup>239</sup> - Ср.: «В то же самое время и умирали вы, и рождались; и спасительная она вода соделалась для вас и гробом и матерью» (Св. Кирилл Иерусалимский. Тайноводственное поучение 2-е // Творения. М., 1855. С.361).

<sup>240</sup> - Оpubл. как: Символ веры, 21 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 91–93.

<sup>241</sup> - Пасхальная утренняя. Канон. Песнь 7, тропарь 2-й.

<sup>242</sup> - Оpubл. как: Об откровении, 1 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 22–24.

<sup>243</sup> - Стих «Бог Господь и явился нам» (Пс.117:27), предваряющий тропари праздников или дневных святых на утрени.

<sup>244</sup> - Оpubл. как: Об откровении, 2 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 25–27.

<sup>245</sup> - Из одноименного стихотворения Ф.И. Тютчева (нач.1830-х гг.).

<sup>246</sup> - Оpubл. как: Об откровении, 3 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 27–30.

<sup>247</sup> - Ср.: «...Безначальне, невидиме, непостижимо, неопишанне, неизменне, Отче Господа нашего Иисуса Христа...» (Литургия свт. Василия Великого. Молитва Евхаристического канона).

<sup>248</sup> - Оpubл. как: Об откровении, 4 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С. 30–35.

<sup>249</sup> - Ср.: «...Вземляй грехи мира» (Утренняя. Вседневное (по будням) и Великое (по праздникам) славословие).

<sup>250</sup> - Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

<sup>251</sup> - Прот. С.Булгаков, «Агнец Божий»

<sup>252</sup> - «и даждь нам единими усты и едином сердцем...» – священнический возглас за Божественной литургией.

<sup>253</sup> - Данной беседой редакция не располагает.

<sup>254</sup> - Теодицея – букв.: богооправдание (гр.-лат.). Термин, введенный в 1710 г. немецким философом Г.-В.Лейбницем (1646–1716) и ставший затем общим обозначением всех философско-богословских попыток увязать наличие зла в мире с учением о всеблаготворителе Боге.

<sup>255</sup> - Песнопение воскресной утрени от Недели о мытаре и фарисее до Недели 5-й Великого поста, исполняемое по псалме 50.

<sup>256</sup> - Чемберлен, Хьюстон Стюарт (1855–1927) – английский философ и социолог прогерманской ориентации, отчасти предвосхитивший расовую доктрину нацизма.

<sup>257</sup> - Подразумевается книга Чемберлена «Основания XIX века» (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts), опубликованная в Германии (1899).

<sup>258</sup> - Ср.: Люби грешников и ненавидь дела их (Преп. Исаак. Сирин. Слово 57. В кн.: Иже во святых отца нашего Исаака



Сириянина слова подвижнические. М.: Правило веры, 1993 репр.. С.305).

<sup>259</sup> - «Человеческое, слишком человеческое» (Menschlich, allzu menschlich) – название сочинения Ф.Ницше (1878).

<sup>260</sup> - Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

<sup>261</sup> - Из стихотворения Н.М. Минского «Два пути» (1900).  
Следует: «Нет двух путей добра и зла, / Есть два пути добра... / Блаженство в том, что все равно, / Каким путем идти».

<sup>262</sup> - Латинское religio (благоговение, благочестие, богослужение) происходит от глагола religare, означающего, в частности, «связывать», «привязывать».

<sup>263</sup> - Флуссер, Давид (1917–2001) – израильский историк, профессор Иерусалимского университета, авторитетный исследователь кумранских текстов и раннего христианства, сочетавший верность традиционному иудаизму с научной непредвзятостью. Книга Д.Флуссера «Иисус» получила широкую известность в переводах на английский (1-е изд. – 1969, перераб. –1997) и другие языки. Только что она издана и на русском: Флуссер Д., Булътман Р. Загадка Христа: Две эпохальные работы об Иисусе. – М., Эксмо. 2009.

<sup>264</sup> - Издание редакцией не установлено.

<sup>265</sup> - Из стихотворения А.А. Ахматовой «Все расхищено, предано, продано...» (1921). Следует: «И так близко подходит чудесное / К развалившимся грязным домам...»

<sup>266</sup> - Опубл. как: Притча о блудном сыне // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.149–151.

<sup>267</sup> - Опубл. как: Притча о Страшном Суде // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.152–154.

<sup>268</sup> - Данной беседой редакция не располагает.

<sup>269</sup> - Из стихотворения А.А. Блока «Дым от костра струею сизой...» (1909). Следует: «...Вздохни небесной глубиной».

<sup>270</sup> - Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) – русский поэт, переводчик, эссеист. В феврале 1964 г. арестован по обвинению в тунеядстве, в марте того же года приговорен к пятилетней ссылке, но под давлением мировой общественности приговор этот через полтора года был отменен. С 1972 г. и до

самой смерти жил и работал в США. Лауреат Нобелевской премии 1987 г.

<sup>271</sup> - Ср.: «Крест— хранитель всея Вселенная, Крест — красота Церкви...» (Ексапостиларий на утрене ряда служб Кресту Господню).

<sup>272</sup> - Воздвижение Креста Господня. Утреня. Канон. Песнь 5, ирмос.

<sup>273</sup> - Опубл. как: Почитание Божией Матери, 1 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.219–220.

<sup>274</sup> - Неделя 8-го гласа. Утреня. Седален 2-й, богородичен. Этот же текст — песнопение, исполняемое вместо «Достойно есть» за Литургией свт. Василия Великого.

<sup>275</sup> - Благовещение Пресвятой Богородицы. Утреня. Канон. Песнь 9, ирмос.

<sup>276</sup> - Благовещение Пресвятой Богородицы. Утреня. Величание.

<sup>277</sup> - Опубл. как: Почитание Божией Матери, 4 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.227–229.

<sup>278</sup> - Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы.

<sup>279</sup> - Булгаков С.Н., прот. Светлый Покров над миром. Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы (1925) // Слова. Поучения. Беседы. Paris: YMCA-Press, 1987. С.47–48 (с изм.).

<sup>280</sup> - Там же. С.49 (с изм.).

<sup>281</sup> - Ср.: «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором» (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, припев).

<sup>282</sup> - Ср.: «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия днесь вводится в дом Господень...» (Кондак Введения во храм Пресвятой Богородицы).

<sup>283</sup> - Опубл. как: Почитание Божией Матери, 8 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.238–241.

<sup>284</sup> - Ср.: «Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли яко Человек нас ради? Каждая бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: ангелы пение, небеса звезду,

волсви дары, пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли, мы же Матерь Деву...» (Рождество Христово. Великая вечерня. Стихира 4-я на Господи, воззвах).

<sup>285</sup> - С некоторыми отличиями опубл. как: О почитании святых, 1 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.113–116.

<sup>286</sup> - С некоторыми отличиями опубл. как: О почитании святых, 2 // Шмеман А., прот. Воскресные беседы. С.116–119.

<sup>287</sup> - Священномученик Игнатий Антиохийский (память 20 декабря ст. ст.) пострадал в 107 г.

<sup>288</sup> - Ср.: Свт. Игнатий Антиохийский. Послание к римлянам, гл. 4–6 // Писания мужей апостольских. М.: ИС РПЦ, 2003. С.354–355.

<sup>289</sup> - В приведенном тексте речь идет о другом мученике Иустине, память которого совершается в один день со св. Иустином Философом – 1 июня ст.ст. См.: Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского. Кн. X.М., 1913. С.20.

<sup>290</sup> - Св. мученик Иустин Философ пострадал в 166 г.

<sup>291</sup> - Федотов Г.П. Святые Древней Руси // Собр. соч. в 12 т. Т.8. М.: Мартис, 2000.

<sup>292</sup> - Там же. С.17.

<sup>293</sup> - Там же. С.20.

<sup>294</sup> - Там же. С.21. Следующий далее обширный фрагмент до слов: «Федотов пишет...» соединяет в себе неточную цитацию и свободный пересказ текста на с.21–24.

<sup>295</sup> - Там же. С.24.

<sup>296</sup> - Федотов Г.П. Святые Древней Руси. С.26.

<sup>297</sup> - Там же. С.27.

<sup>298</sup> - Князь Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) – русский политический и военный деятель. Первоначально близкий друг царя Ива- на Грозного, впоследствии, после бегства в Польшу, – обличитель его жестокостей. Отношения Грозного с митрополитами Германом и Филиппом освещены Курбским в главе VIII сочинения «История о великом князе Московском». Цитаты оттуда, как и из жития святителя Филиппа

Московского, приводятся о. Александром в редакции Г.П.Федотова по его книге «Святые Древней Руси» (Гл.6. Святители).

<sup>299</sup> - См.: Федотов Г.П. Святые Древней Руси. С.96.

<sup>300</sup> - По другим сведениям – в 1567 г.

<sup>301</sup> - Федотов Г.П. Святые Древней Руси. С.97.

<sup>302</sup> - Там же.

<sup>303</sup> - Там же.

<sup>304</sup> - Федотов Г.П. Святые Древней Руси. С.29.

<sup>305</sup> - Там же. С.31.

<sup>306</sup> - Там же. С.33–34.

<sup>307</sup> - Федотов Г.П. Святые Древней Руси. С.36.

<sup>308</sup> - Там же. С.39.

<sup>309</sup> - Там же. С.40 (с изм.).

<sup>310</sup> - Тропарь прп. Серафиму Саровскому.

<sup>311</sup> - Прохор Мошнин (прп. Серафим Саровский) происходил из весьма состоятельной купеческой семьи.

<sup>312</sup> - См. прим. к беседе «Нужнее всего», с.451.

<sup>313</sup> - Афоризм, приписываемый в разное время множеству авторов от Плутарха до Бомарше.

<sup>314</sup> - Образ земной жизни как пещеры присутствует в 7-й книге сочинения Платона «Государство».

<sup>315</sup> - Т.е. явление вторичного порядка. Из материалистов этот термин употребляли представители т.н. «естественнонаучного материализма» – в частности, английский зоолог Т.Гексли (1825–1895).

<sup>316</sup> - Из поэмы А.К.Толстого «Иоанн Дамаскин» (1859).

<sup>317</sup> - Из стихотворения БЛ.Пастернака «Давай ронять слова...» (1922). Следует: «Всесильный Бог деталей, / Всесильный Бог любви...»

<sup>318</sup> - Из стихотворения В.Ф.Ходасевича «Звезды» (1925). Следует: «...Твой мир, горящий звездной славой / И первозданною красой».

<sup>319</sup> - См. прим. к беседе «Два пережитка», с.119.

<sup>320</sup> - От лат. exorcismus – заклинание, заклятие. Этому термину, принятому западным христианством, и перешедшему без изменения в грекоязычные церкви православного Востока, в Русской Православной церкви соответствует термин «запрещение» (см.: Требник. Молитва во еже сотворити оглашенного).

<sup>321</sup> - Ср.: «Небеса убояшася, земля вострепета...» (Преображение Господне. Великая вечерня. Стихира на Господи, воззвах, Слава и ныне).

<sup>322</sup> - Из стихотворения Ф. Тютчева: «О вещая душа моя...» (1855). Следует: «Так ты – жилища двух миров...»

<sup>323</sup> - Ср.: «Напиши его в книзе жизни Твоя...» («Молитва во еже сотворити оглашенного», предшествующая в Требнике «Последованию святого крещения»).

<sup>324</sup> - Подразумеваются запрещения, которые произносятся священником над оглашаемым (см.: Требник. Молитва во еже сотворити оглашенного).

<sup>325</sup> - Ср. церковнослав.: «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих» (Навечерие Богоявления. Чин Великого водоосвящения. Молитва священника).

<sup>326</sup> - См. беседу «Носительница сердца», с.232, прим.178.

<sup>327</sup> - Свете тихий – песнопение вечерни.

<sup>328</sup> - Источник цитаты редакцией не установлен.

<sup>329</sup> - Из стихотворения «Silentium!» (1829).

<sup>330</sup> - Солженицын А.И. Всероссийскому Патриарху Пимену великопостное письмо [март 1972 г.] // Собр. соч. в 20 т. Т.9. Вермонт, Париж: YMCA-Press, 1981. С.121.

<sup>331</sup> - Книга Малькольма Мэггериджа (1903–1990) «Christ Rediscovered» опубликована в 1969 г.

<sup>332</sup> - Брошюры (от англ.tract).

<sup>333</sup> - Подразумевается голод 1932–1933 гг., охвативший обширные территории СССР, в том числе Украину, и приведший к массовой гибели населения. Умышленному сокрытию этого бедствия большевистским руководством страны чрезвычайно

помогла просоветская позиция многих западных интеллектуалов. Среди последних видное место занимал английский драматург и публицист Бернард Шоу (1856–1950), посетивший в 1931 г. Сталина и имевший репутацию «друга Советского Союза».

<sup>334</sup> - Эль Греко, Доменико (наст. фамилия и имя Феотокопулос, Доминикос) (1541–1564) – испанский живописец греческого происхождения, произведения которого отличаются, помимо глубоко своеобразной манеры, необычным колоритом.

<sup>335</sup> - Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель: Жизнь с Богом, 1966. С.41. Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977) – русский философ, богослов, исследователь отечественной и западноевропейской культуры. С 1920 г. – в эмиграции.

<sup>336</sup> - Там же.

<sup>337</sup> - Позитивист – здесь: поклонник эмпирического знания, полностью отвергающий метафизическую и духовную проблематику.

<sup>338</sup> - Возможно, имеется в виду статья известного советского византиниста А.П.Каждана «Историческое зерно предания об Иисусе Христе» (Наука и религия. 1966. №2. С.8–13).

<sup>339</sup> - Лаврентий Воскресения, или Лаврентий Воскресный (1611–1691) католический монах-визионер.

<sup>340</sup> - Ср.: «От приблизительно десяти с половиной часов вечера до приблизительно половины первого ночи. Огонь ... Уверенность, уверенность. Уверенность. Ощущение (Его), радость, мир ... Радость, радость, радость, слезы радости. (Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. С.224–225).

<sup>341</sup> - См. прим. на с.31.

<sup>342</sup> - Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. С.25.

<sup>343</sup> - Цит. по: Там же. С.30 (со ссылкой на тексты орфиков).

<sup>344</sup> - Из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

<sup>345</sup> - Ср.: «...да всеми благодарит Тя, Изряднохудожника...» (Требник. Чин миропомазания. Молитва на пострижение влася).

- 346 - Подразумевается Божественная литургия.
- 347 - Слова свт. Иоанна Златоуста. См. прим. к беседе «Восшедший на небеса», с.302, прим.229.
- 348 - Оpubл. как: Будьте как дети // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.131–134
- 349 - Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841). Следует: «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...»
- 350 - Из стихотворения М.Горького «Легенда о Марко» (1902).
- 351 - Ср.: «Приближается Христос, звезда предозаряет, небесное множество воинства приницает умных сил» (Утреня 22 декабря. Стихира 1-я на стиховне).
- 352 - Ср.: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не философов и мудрецов» (Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. С. 224).
- 353 - Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!» (1829).
- 354 - Из стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» (1841).
- 355 - Пасхальная утренняя. Стихиры Пасхи, Слава и ныне.
- 356 - Пасхальная утренняя. Канон. Песнь 3, тропарь 3-й.
- 357 - Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное...
- 358 - Источник цитаты не установлен. Ср.: «Назначенные... люди по всему городу зажигали высокие восковые колонны... озарявшие всякое место, так что эта таинственная ночь становилась светлее самого светлого дня» (Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М.,1998. С.151).
- 359 - Пасхальная утренняя. Канон. Песнь 3, тропарь 1-й.
- 360 - Оpubл. как: Пасха (посвящается о. Сергию Булгакову) // Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С.48–52.
- 361 - Пасхальная утренняя. Канон. Песнь 8, ирмос.
- 362 - Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное...
- 363 - Булгаков С.Н. Автобиографические заметки. Париж, 1946. С.16.
- 364 - Источник цитаты не установлен.

<sup>365</sup> - Оpubл. как: В неделю Антипасхи (Фомино воскресение)  
// Шмеман А., прот. Проповеди и беседы. С. 52–55.

<sup>366</sup> - Оpubл. в 1917 г.

<sup>367</sup> - Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994.  
С.13–14.

<sup>368</sup> - Ср.: «Итак, в основе религии лежит пережитая в личном опыте встреча с Божеством, и в этом заключается единственный источник ее автономии. Как бы ни кичилась мудрость века сего, бессильная понять религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвением, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о религии, знают ее сущность» (Булгаков С.Н. Свет невечерний. С.16). Первая фраза приведенной о. Александром цитаты («Религия зарождается...») относится у С.Н. Булгакова к другому абзацу.

<sup>369</sup> - См. предыдущее примечание.

<sup>370</sup> - Фроссар, Андре (1915–1997) – французский католический писатель, журналист, художник. В годы немецкой оккупации участвовал в Сопротивлении, находился в заключении. Историю своего обращения описал в книге «Dieu existe. Je L' ai rencontré» (1966; рус. пер. под назв. «Богесть– я Его встретил»)опубл. В журнале «Символ», 2004, №48). Отец Александр цитирует текст Фроссара в собственном переводе.

<sup>371</sup> - Отец А.Фроссара, Луи-Оскар Фроссар (1889–1946), был генеральным секретарем Французской компартии в 1920–1923 гг.

<sup>372</sup> - Беседа Н.А.Мотовилова (1809–1879) с преподобным Серафимом произошла в ноябре 1831 г. Запись ее обнаружена и впервые опубликована С.А.Нилусом в 1903г. Текст беседы воспроизводился в русско-эмигрантских изданиях, в т.ч.: Ильин В.Н. Преподобный Серафим Саровский. Париж: YMCA–Press, 1925; Вениамин (Федченков), архиеп. Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский. Париж: Православное изд-во, 1932. Цитируется отцом Александром с сокращениями и изменениями.

<sup>373</sup> - Радостотворит – исполняет радости (церковнослав.).



<sup>374</sup> - См. прим. к беседе «Переживание Бога (Н. Мотовилов)», с.564.

<sup>375</sup> - Согласно Евангелию от Луки, эти слова произнесены Господом по благословении хлеба.

<sup>376</sup> - Ср.: «... верую, яко сие есть самое Пречистое Тело Твое и сия самая есть Честная Кровь Твоя» (Молитва ко Св. Причащению).

<sup>377</sup> - Св. Иустин Мученик. Первая апология. Гл. 67. Ср.: Иустин Философ и Мученик. Творения. [М.] Паломник; Благовест, 1995. С. 98–99.

<sup>378</sup> - Он же. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 41. Ср.: Там же. С.196–197.

<sup>379</sup> - Возглас священника, предваряющий молитву Евхаристического канона о преложении Святых Даров.

<sup>380</sup> - Учение двенадцати апостолов. Гл. IX, 3–4. Ср.: Писания мужей апостольских. М.: Издат. Совет РПЦ, 2003. С.52–53.

<sup>381</sup> - Ср.: «Для них всякая чужая страна есть отечество и всякое отечество – чужая страна» (Анонимный автор. Послание к Диогнету. Гл.5. Ср.: Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель: Жизнь с Богом, 1978. С.595).

<sup>382</sup> - Херувимская песнь.

<sup>383</sup> - Начальные слова песнопения, исполняемого вместо Херувимской песни за литургией в Великую субботу.

<sup>384</sup> - Один из возгласов священника, предваряющих молитвы Евхаристического канона.

<sup>385</sup> - Дикс, Грегори (в миру Джордж Эглинтон Элстон; 1901–1952) – настоятель бенедиктинской общины в Нэшби (Великобритания), выдающийся исследователь древнего литургического предания. Наиболее известна его работа «Форма литургии» (The Shape of Liturgy. Westminster: Dacre Press, 1945), на которую о. Александр Шмеман неоднократно ссылается в своих книгах «Введение в литургическое богословие», «Евхаристия. Таинство Царства» и др.

<sup>386</sup> - «и даждь нам еди́ными усты и еди́ном сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое...» – возглас

священника по завершении Евхаристического канона.

<sup>387</sup> - Ср.: «И не отступил еси вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее» (Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молитва Евхаристического канона).

<sup>388</sup> - Вольное изложение молитвенного прошения о предстоятеле Церкви, «честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех».

<sup>389</sup> - Подразумеваются «изобразительные антифоны», состоящие из псалмов 102,145 и «блажен» (заповедей блаженства— Мф.5:3–12).

<sup>390</sup> - Имеется в виду Малый вход, называемый так в отличие от Великого, который совершается во время Херувимской песни.

<sup>391</sup> - Молитва по Трисвятом в заключительной части великопостной утрени.

<sup>392</sup> - Пасхальная утренья. Канон, песнь 6, тропарь 1-й.

<sup>393</sup> - Согласно прп. Иоанну Дамаскину, Трисвятая песнь «составлена из двух мест Священного Писания: 1) из славословия серафимов: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф [Ис.6:3]; 2) из сих слов псалма 41: Возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому [Пс.41:3], или бессмертному. Последние же два слова, т.е. помилуй нас, присоединены Церковью как обыкновенное заключение всех прошений...» (Цит. по: Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. [М], 1993, репр. С.218).

<sup>394</sup> - Цитата из Луи Буйе. См.: Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М.,1992. С.72.

<sup>395</sup> - Точный перевод греч. ὅσοι πιστοί, как и церковнослав. елицы вернии – «все, кто верные».

<sup>396</sup> - Блуа, Леон (1846–1917) – французский писатель, литературный критик и публицист. Приведенные строки – цитата из его романа «Бедная женщина» (La femme pauvre, 1897).

<sup>397</sup> - Свт. Филарет Московский. Слово в Великий пяток (1816 г.) // Святитель Филарет (Дроздов). Избранные труды, письма, воспоминания. М.: ПСТБИ, 2003. С.125.

<sup>398</sup> - Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – русский религиозный философ, богослов, поэт, духовный вождь славянофильства. Приведенное определение Церкви дал Ю.Ф.Самарин в «Предисловии к богословским сочинениям А.С.Хомякова» (1860). Полностью: «Церковь есть живой организм, организм истины и любви, или, точнее, истина и любовь как организм» (Самарин Ю.Ф.Сочинения. Т.6. М.,1887. С.352).

<sup>399</sup> - Т.е. собственно молитвы Евхаристического канона.

<sup>400</sup> - Тексты, опущенные автором в следующем далее русском переводе евхаристических молитв, в примечаниях приводятся нами по-церковнославянски.

<sup>401</sup> - Далее: «...Ты и Единородный Твой Сын».

<sup>402</sup> - Далее: «...и Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго».

<sup>403</sup> - Далее: «...явленных и неявленных».

<sup>404</sup> - Далее: «...бывших на нас».

<sup>405</sup> - Далее: «...и за многи».

<sup>406</sup> - Другой вариант перевода «о всех и за вся» и его обоснование см. в: Всенощное бдение и литургия: Разъяснение церковного богослужения. М.: ИС РПЦ, 2006. С.138, прим. 6.

<sup>407</sup> - Литургия свт. Василия Великого. Молитва Евхаристического канона.

<sup>408</sup> - Церковь торжествующая — синоним «Церкви невидимой» (или «небесной»), объединяющей всех святых и скончавшихся в истинной вере. Восходит к словам апостола Павла: Вы приступили... к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах (Евр. 12:22–23).

<sup>409</sup> - Далее в церковнослав. тексте: «...и великолепое».